

ВЕРЮ В ЧЕЛОВЕКА







ВЕРЮ В ЧЕЛОВЕКА

Голоса демократической Америки

Антология

Перевод с английского



Москва "Радуга" 1986

ББК 84.7 США
В31

Составитель *О. Кириченко*
Предисловие и общая редакция *Г. Злобина*

Редактор поэтических переводов *О. Кириченко*

В31 Верю в человека. Голоса демократической Америки. Антология. Пер. с англ. /Составл. О. Кириченко; Предисл. Г. Злобина. — М.: Радуга, 1986. — 576 с.

Широк и многообразен жанровый и тематический диапазон этой книги, различны творческие манеры ее авторов — более сорока прогрессивных писателей США, наших современников. Сборник составлен при участии американских литераторов. Подавляющее большинство произведений публикуется на русском языке впервые.

© Составление, предисловие, перевод на русский язык, кроме произведений, отмеченных в содержании знаком *, и справки об авторах издательство "Радуга", 1986

В $\frac{4703000000-239}{030(05)-86}$ 60-85

ББК 84.7США
И (Амер)

ДРУГАЯ АМЕРИКА ОБРЕТАЕТ ГОЛОС

В. И. Ленин говорил: "Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре"¹ антагонистической общественной формации.

В условиях капиталистических отношений господствует буржуазная культура. Она господствует потому, что те, кто владеют средствами *материального* производства, располагают и распоряжаются средствами производства *духовного*. Любое культурное начинание или творческое усилие наталкивается на мощную, отлаженную, освященную социально-экономической практикой, правом, общественными взглядами и эстетическими вкусами систему создания, тиражирования, продвижения, пропаганды художественных ценностей, угодных господствующему классу или приемлемых для него.

Господствующая культура многолика, чаще всего она принимает форму коммерческой, либо элитарной, либо откровенно официозной литературы, кинематографа, телевидения, театра, живописи; нередко эти формы перемешиваются, образуя самые неожиданные сочетания.

Обстоятельства и образ жизни подавляющего большинства трудящихся в странах Запада таковы, что неизбежно порождают идеологию оппозиционную, демократическую, социалистическую. Зачатки коллективистского сознания в свою очередь порождают демократическую и социалистическую духовную культуру, которая находит выражение в самых разных видах художественного творчества и противостоит культуре буржуазной. Подлинной зрелости она может достигнуть лишь в неустанной борьбе против частнособственнических и корпоративных отношений, в рамках которых она существует, в борьбе за социальную справедливость, прогресс и мир.

Само собой, принципиальное разграничение народной, демократической культуры и культуры господствующей, буржуазной в живой исторической практике не превращается в непродолимую пропасть. Они состоят в сложных диалектических отношениях столкновения, взаимодействия, отталкивания. Известны случаи, когда признанный в обществе, увенчанный лаврами и обеспеченный доходами прозаик или художник создает произведение, проникнутое гражданской тревогой за положение дел у себя в стране или в мире и близкое демократическим

¹ Ленин В.И. ПСС, т.24, с.129.

чаяниям народа. Бывает наоборот: никому не известный радикальный автор вдруг возносится на волне сенсации, кассового успеха и — порой даже помимо своей воли — вживается в культурную верхушку, становится частью господствующей системы.

Определенные предпосылки объединения и общности всех людей литературы и искусства создает та самая "враждебность" капитала истинному творчеству, о которой писал еще Маркс и которую тоже не следует понимать механистично, абсолютно, в упрощенно-социологическом смысле.

Книга, которая предлагается читателю, необыкновенна в своем роде. Впервые за многие годы предпринята попытка собрать и показать образцы последовательно демократической, прогрессивной, социалистической литературы Соединенных Штатов Америки за последние пятнадцать-двадцать лет. В подготовке ее неоценимую товарищескую помощь оказали американские литераторы; среди них в первую очередь надо назвать поэта и пропагандиста прогрессивной книги Фреда Уайтхеда из Канзас-Сити и критика и издателя Джона Кроуфорда из Лос-Анджелеса.

Истоки такой литературы уходят в глубь национальной истории страны — к годам революции и Войны за независимость, к периоду реформ 20—30-х годов прошлого века, к аболиционистскому подъему, Гражданской войне и Реконструкции Юга, к антимонополистическому движению в канун века нынешнего. Конкретная обстановка и особенности исторического этапа диктовали формы художественного творчества — от антибританской сатирической песни и аболиционистской листовки до острого социального или дерзкого утопического романа и гневного антиимпериалистического памфлета.

Десять дней, которые потрясли мир, повернули ход американской культуры. Кризисные, "красные" тридцатые вывели прогрессивную литературу на общенациональную арену. То была славная пора, когда сливались в одно голоса Голда и Дос Пассоса, Драйзера и Дюбуа, Колдуэлла и Конроя, Одетса и Райта, Стеффенса и Стейнбека, Фрэнка и Фаррелла, Хемингуэя и Хьюза...

Какие трудности ни переживала после второй мировой войны левая творческая интеллигенция, как ни гнали из литературы передовых писателей, как ни душили саму традицию вольного слова в темный период маккартизма, как ни искажала и ни подрывала ее изнутри псевдобунтарская "контркультура" 60-х годов, прогрессивная литература выстояла. Борьба афроамериканцев за гражданские права, бурные молодежные волнения, широкое антивоенное движение против агрессии во Вьетнаме придали ей в конце 60-х новый импульс. Другая Америка снова громко заговорила языком образа. Наступил новый этап развития народной культуры и культуры для народа.

Было бы наивно преувеличивать влияние прогрессивной сло-

весности — будь то в США или любой другой развитой капиталистической стране. Так же неверно недооценивать ее, особенно в условиях подъема национального культурного и классового самосознания самых широких трудовых слоев населения США. Недооценка оправдывается отвлеченными эстетическими критериями, неопределенными соображениями "истинной" художественности и т. д.

Да, соперничества с господствующей культурой на книжном и критико-рекламном рынке Америки литература социального, национального, антимонополистического и антимилитаристского протеста действительно выдержать не способна — иначе она перестала бы быть таковой. Что до художественности, то если в это понятие включать — как полагается — не только техническое исполнение, но и идейно-содержательный момент, то окажется, что многие произведения левых литераторов Америки куда глубже, гражданственнее, перспективнее, чем просто "хорошо написанная" книга. Подлинная художественность достигается тогда, когда органично сливаются мировоззрение, мастерство, материал.

Оппозиция к тем или иным социальным институтам в стране, к политике, проводимой монополистическим капиталом, военно-промышленным комплексом и администрацией, критика уродливых явлений в американской действительности и реалистический загляд в завтра определяют возможности демократической литературы, ее характер, масштаб достижений и место в национальной жизни.

Никак не скажешь, что антология "Верю в человека" создавалась совсем уж на голом месте. За последние годы в читательский обиход вошла литературная и социологическая эссеистика Джозефа Норта, Альвы Бесси, Филлипа Боноски, в том числе его ценнейшее марксистское исследование культурно-идеологической обстановки в США конца 60-х — начала 70-х годов — "Две культуры"; исповедальная проза Джеймса Болдуина и историческая повесть его черного собрата Эрнеста Дж. Гейнса "Автобиография мисс Джейн Питтман"; неповторимые по духу и колориту произведения писателей индейского происхождения — Лесли М. Силко, Саймона Ортиса и других, собранные в книге "Я связан добром с землей"; панорамные романы Ларса Лоренса, образующие многотомный эпический цикл "Семена", посвященный рабочему движению в 30-е годы; героические трагедии Барри Стейвиса, интеллигента до мозга костей, который положил годы и годы, чтобы создать на театре правдивые образы Джо Хилла и Джона Брауна; страстная, извергающаяся словесным водопадом поэзия Уолтера Лоуэнфелса и его поэтическая публицистика "Революция — это гуманность" и медитативно-язвительная виртуозная лирика Томаса Макграта, чье творчество — все! — это бесконечное "письмо воображаемому другу"; романы "Стачка в зеленой долине" Дэвида Чандлера

и "Брасеро" Юджина Нелсона; пятисотстраничный, изданный полумиллионным тиражом том американского фольклора "Народ, да!" и др.

И все-таки наши представления о новейшей последовательно демократической литературе США отстают от ее действительных достижений. О творчестве прогрессивных писателей (если они вообще сумеют найти издателя) почти не говорится на страницах "большой" прессы Америки, присяжные критики и обозреватели не замечают их книг, книготорговцы не берутся распространять. Повести, рассказы, стихи, очерки, создаваемые от имени народа о народе и для народа, появляются благодаря усилиям энтузиастов, чаще всего в небольших некоммерческих издательствах и малых журналах, раскиданных по всей стране, и мы не всегда знаем о них. Сказывается отсутствие такого общенационального литературно-художественного и общественно-политического журнала, какими были "Мэссиз", "Нью мэссиз", "Мейнстрим", "Америкен дайэлог". Сборник "Верю в человека" восполняет этот пробел, хотя и не до конца — разве объять одной книгой целый пласт, широкое литературное движение, растущее, развивающееся, набирающее силу. За его пределами остались, например, автобиографические книги старейшин социалистической журналистики Арта Шилдса — "Годы становления" и Хесуса Колона — "Пуэрториканец в Нью-Йорке". Осталась проза Элис Чилдресс, Маргарет Уокер или, скажем, Пол Маршалл и других видных писательниц-афроамериканок. Остались драмы Нормана Фрида и воспоминания Лестера Коула — "Красный в Голливуде", частично известные советскому читателю. Осталось многое другое, на что должны обратить внимание советские критики, переводчики, редакторы.

Кто они — авторы этой книги (а их более сорока)? Это люди разного возраста и цвета кожи, живущие в разных частях страны и пишущие о разном и по-разному. Одни — настоящие профессионалы, давно и плодотворно работающие в литературе. Другие совмещают сочинительство с работой на заводе, в школе, на ферме, в газете, так как существовать литературным трудом в Штатах, пожалуй что, и невозможно — такое может позволить себе лишь горстка избранных. Третьи — начинающие авторы, только оттачивающие свое перо. Самое общее, что их объединяет, — это серьезное отношение к творчеству, которое они рассматривают как часть самой жизни и борьбы за лучшее будущее, и глубокая, неиссякаемая вера в народ.

С некоторыми из этих людей я был знаком раньше, по встречам в Москве и Нью-Йорке. С другими довелось познакомиться во время поездки в США в начале 1985-го. Третьих знаю лишь по их сочинениям и переписке. Дружеское общение, совместные прогулки по улицам Манхэттана и Канзас-Сити, застолья и заходящие за полночь разговоры с Меридел Лесюр и Барри Стейвисом, с Фредом Уайтхедом и Прерией Фаркас, с Филлипом Бо-

носки и Ольгой Кэбрел, а также давнишние незабываемые беседы с теми, кого уже нет в живых: с Уолтом Лоуэнфелсом и Джо Нормом, — все это позволило глубже понять и прочувствовать то, чего не вычитаешь ни в каких книгах. Как нелегко им живется и пишется — так нелегко, что повседневная работа сплошь и рядом превращается в подвижничество. Как берегут они дух товарищества и единства всех, кому дороги идеи переустройства общества на справедливых началах и прочного мира на земле. С какой надеждой, несмотря ни на что, смотрят в будущее.

Сердцевину книги составляют произведения ветеранов народной культуры. Взять Меридел Лесюр, "первую леди" социалистической словесности в США. Уроженка Среднего Запада, ровесница века, она вошла в литературу в конце 20-х. Это о ней говорил еще Карл Сэндберг: "Мисс Лесюр, нашедшую свой собственный стиль, влекут значительнейшие темы современного мира, ее произведения отмечены редким уважением к людям и проникнуты сокровенной гордостью за женщин, матерей". Всякий, кто прочитает поэтический и мудрый автобиографический очерк "Древний и новый народ", написанный Меридел сорок лет спустя, убедится в правоте выдающегося барда. В 1936 г. Меридел написала роман "Девушка" (опубликован в 1979 г.), ставший классикой рабочей литературы, и много других книг — прозу, репортажи, стихи, — сыгравших свою роль в левом движении 30-х годов. "Она одна из немногих революционных писателей, кто слил мощный реализм и тонкое чувство красоты", — писал известный писатель Нелсон Олгрэн, и именно за свою гражданскую позицию Меридел попала после войны в черные списки и была лишена возможности печататься.

Время ставит все на свои места, история отсеивает полосу от полнозрелого зерна. Американские писатели, собравшиеся осенью 1981 года на общенациональный конгресс, поручили ей открыть его. 80-летняя Меридел обратилась к участникам: "Я пришла к вам, чтобы воссоздать забытое..." Но, по сути, ее речь прозревала будущее и дороги к нему: "Нам нельзя терять чувство локтя".

Иная судьба у Дона Уэста, иная в житейских подробностях, но та же по целям творчества и целям земного пути. Выходец из южных Аппалачей, из бедной фермерской семьи, он сеял хлеб, добывал уголь, учил индейцев, был бродячим агитатором и профсоюзным организатором. Однако прежде всего Дон Уэст был и остается поэтом — певцом родного края и его прошлого, певцом простого человека и его труда на земле.

Здесь мой отец пахал
Поля на склонах крутых,
С землею зерна делил,
Надежд не делил пустых.

(*"Едино с этой землей"*)

Говорят, что американцы — космополиты, перекаати-поле, стремятся жить там, где лучше. Неверно это! Непоседливость — не прирожденное свойство, оно вызывается социальными причинами: уезжают, когда оставаться на месте невмочь. Тема сыновней привязанности к земле, нерасторжимости с корнями проходит через многие и многие помещенные в книгу стихи и рассказы даже у молодых авторов.

"Почвенность" не мешает Уэсту, потому что он "постоянно стремился быть свидетелем самых острых, может быть, даже переломных моментов истории" (из интервью 1979 года). Для таких людей, как он, быть на "острие истории" — это значит подвергаться арестам и пережить сожжение куклуксклановцами ценнейшей библиотеки в "Стране изобилия" — так иронично названа последняя книга Уэста; это значит с превеликим трудом создать в 1965-м просветительский и художественный Народный центр Юга Аппалачей, а в начале 80-х собрать группу молодых людей — фермеров, учащихся, рабочих — и отправиться с ними в поездку по Советскому Союзу.

Только борьба, одна борьба — и росток, и семя, и плод...

("Ким Малки, человек с гор")

Далеко от Дона Уэста, в массачусетском городе Ньюберипорт, живет и трудится Трумэн Нелсон, зоркий наблюдатель общественных потрясений послевоенной Америки. Впрочем, "наблюдатель" — неподходящее слово для активного участника социальных схваток и антивоенных выступлений. Нелсон работал на заводе, прошел журналистскую школу, был проповедником, потом начал писать романы. Главный творческий интерес его — традиции освободительной борьбы американского народа и его мечты о совершенном обществе. О его романе, посвященном Джону Брауну, Уильям Дюбуа отзывался так: "Сильная книга... написанная безоглядно, будоражащим слогом, потому что автор хотел создать сложную картину, проникнутую видениями будущего". Сочинения и выступления Нелсона воплощают, если воспользоваться его собственными словами, "ту священную ярость, тот дух сопротивления, который единственно и спасает нас от отчаяния, цинизма и злобы и даже от форменного помешательства и самоуничтожения". Для нашей книги отобрано публичное выступление Нелсона, состоявшееся в бостонской церкви в начале нынешнего десятилетия. Острейшая критика политической системы США естественно переходит в призыв начать работу для построения нового общества. "Не будем сейчас спорить, как назвать это новое общество, если оно будет создаваться для того, чтобы положить конец эксплуатации человека человеком ради доллара, ради наживы, ради прибыли..." Сатирическая предметность, высокий гуманистический пафос: "восславить жизнь, выжить и восторгаться" — и удивительный ритмический рисунок де-

лают эту речь образцом ораторского искусства.

Таковы трое из авторов этой книги, принадлежащие к старшему поколению и практически неизвестные нам, писатели-ветераны, писатели-борцы, прошедшие закалку пламенем социальных и идеологических битв. Рядом с ними — другое поколение, условно — поколение сорокалетних, тех, кто уже вполне мог бы быть внуками Меридел Лесюр или Дона Уэста. Их много, лучшие из написанных ими стихов, рассказов, очерков — это живая здоровая плоть сегодняшней прогрессивной литературы США и одновременно залог ее будущности. О ком сказать, кого выделить? Каждый — яркая индивидуальность, человеческая и творческая.

Саймону Ортису — поэту, журналисту, рассказчику — за сорок. Уроженец Нью-Мексико, выходец из индейского племени акома, он рос, наверное, как тысячи и тысячи его сверстников-индейцев. Но в отличие от многих он после службы в армии сумел получить университетское образование, занимался преподаванием, редактировал индейскую газету. Ортис вошел в литературу в середине 70-х и сейчас уже занял в ней прочное место, являя собой наглядный пример подъема национального и культурного самосознания американских индейцев. Для него, представителя теснимого и гонимого коренного населения страны, есть одна непреложная истина: неразрывна связь земли и народа — значит, надо беречь и то, и другое.

Истинно,

труд для земли
и народа являет жизнь
и ее продолжение.

("Мы много чего слышали, но знаем, где истина")

Мироощущение Ортиса естественно окрашено индейской мифологией, колоритом древних сказаний. У Чайна-Лейк в Калифорнии били горячие ключи. Поговоришь с водой, выпьешь глоток — и к тебе, по поверью его народа, "из дальних глубин, из недр" приходит сила и покой. Но однажды священное место обнесли забором, за которым — военная база, где испытывают оружие. Давний обычай и волшебная животворная сила ключей столкнулись с грубой силой разрушения, и с тех пор то место индейцам не дает покоя.

Самое крупное и цельное прозаическое произведение в сборнике принадлежит Майку Хэнсону — кадровому рабочему из Цинциннати. Известно, что он вышел из фермерской семьи, батрачил, был строителем, он, белый, работал активистом в негритянской общине и все это время писал — писал истово и самозабвенно. Некоторые его рассказы были напечатаны в различных "малых" журналах Среднего Запада. Публикуемая повесть "Найди свое!" — его первое крупное произведение, открываю-

щее нам незаурядного прозаика, знающего жизнь, так сказать, изнутри и идущего на дерзкие формальные эксперименты. Легко ли описать переживания молодого человека, бродяги, безработного, наркомана, поднимающегося с самого дна общества и приходящего к осознанию собственного достоинства, силы и нужности людям? Хэнсон виртуозно воссоздает процесс труда, в ходе которого и благодаря товарищескому участию "смутьяна" Рея происходит медленное, мучительное, но необратимое выпрямление человека, "социальное возрождение" героя повести Сета, как формулировал в послесловии к повести критик и издатель Хэнсона Джон Кроуфорд. Скорее именно в этом является классовое чутье автора, а не в картинах того, как полицейские избивают до смерти Рея или как живет обездоленным, бездомным, бедствующим в нынешней Америке. Майк Хэнсон обещает вырасти в настоящего художника слова. Запомним это имя.

К тому же поколению сорокалетних принадлежит Элис Уокер. В отличие от Майка Хэнсона она — профессиональный литератор, публикуется более пятнадцати лет и завоевала широкую известность романом "Меридиана" (1976). Роман воссоздает эпизоды движения за гражданские права афроамериканцев в 60-е годы, изобилует нравственно-психологическими коллизиями, в центре его — полнокровный цельный характер — молодая негритянка. Кроме того, Элис Уокер — тонкий гражданственный лирик, именно в этом качестве с нею сейчас знакомится читатель.

Широк и на редкость разнообразен видовой и жанровый, тематический и интонационный диапазон произведений, составивших эту книгу, богата и красочна палитра индивидуальных стилей и манер ее авторов. Прямое публицистическое высказывание вроде статьи "Мое кредо" старейшины партийной журналистики Джозефа Норта, автора замечательной мемуарной книги "Нет чужих среди людей", соседствует с социологическими размышлениями другого литератора-коммуниста Филлипа Боноски о самом юном поколении Америки — сегодняшних детях, которым предстоит стать людьми XXI века, и бытовым, можно сказать, очень личным очерком Майка Дэвидоу "В пути".

Наряду с отрывками из большого многопланового романа "Профсоюзные взносы" Джона Сейлса, основанного во многом на реальных событиях (борьбе внутри профсоюза горняков и зверском убийстве одного из его лидеров — Джозефа Яблонски) и передающего бурную действительность страны конца 60-х — начала 70-х годов, читатель найдет тонкую и трагичную новеллу-притчу Лесли Мармон Силко "Сказители" — о девушке-эскимоске, вынужденной вести жалкое, примитивное существование и мстящей за гибель своих родителей, или бесхитростные на первый взгляд зарисовки из жизни калифорнийских нефтяников Уильяма Ринтула.

Одноактная пьеса-шарж Луиса Вальдеса "Распродажа", исполненная в духе театра агитпропа и высмеивающая обывательские и официальные стереотипы мексиканцев, совсем не похожа на сцены из монументальной исторической драмы Б. Стейвиса "Саднящая рана победы", наглядно воссоздающей половинчатость и острейшие противоречия буржуазно-революционной Войны за независимость, противоречия, частью не изжитые в США и по сей день. Но оба произведения демонстрируют пути развития демократического театра.

Стихотворения-памфлеты, стихотворения — отклики на самые злободневные события, которые публикует, например, Энн Садовски, органично сочетаются с зажигательной песенностью Джимми Дарема, использующего образность индейских легенд и былей, или с философичной лирикой Дона Гордона, чью поэтическую мысль я определил бы так: будет ли продолжаться человеческая история?

И разумеется, стихи о любви — трудной и радостной, тихой и громкой, подчиняющей и возвышающей, потому что любовь, настоящая любовь, — это не только слияние двух сердец и двух тел. По выражению Эрла Нурми, она — "первейший общественный акт": с нее начинаются дети и любовь к детям, к людям, к своему делу и свободе. Совсем не случайно Дениза Левертов возносит "Молитву о революционной любви":

Да укрепится их дело любовью,
И укрепится их делом любовь.

В совокупности публикуемые произведения составляют объемную, панорамную и правдивую картину жизни современного американского общества, главным образом самого широкого, трудового его слоя: будни и беды, заботы и заблуждения, радости и разочарования, братство и борьбу миллионов простых мужчин и женщин.

"Разве не прекрасны движения рыбака, бросающего гарпун? Разве не красноречив девиз, начертанный на знамени профсоюза?.. Разве лишена поэтической правды картина раннего завтрака рабочей семьи?.." — пишет нью-йоркская служащая, общественница и поэт Прерия Фаркас в заметках о книге Лонни Нелсон, чьи стихи — некоторые из них напечатаны в нашем сборнике — посвящены докерам, шоферам, забастовщикам, безработным.

Полемичность Прерии не беспочвенна: в США много таких писателей, кто считает, будто труд и человек труда — низкий, недостойный художника предмет. На книжном рынке страны, законы которого диктуются интересами монополистического капитала, книги о положении трудящихся, о попрании их социальных прав, о безработице, бездомности и расизме, разъедающем душу Америки, — не ходкий товар. Бросая вызов существующим порядкам, отказывается вынести на оборот титу-

ла своего последнего сборника "В стране изобилия" знак охраны авторских прав Дон Уэст: "Поэзия и другие виды творчества должны быть оружием в борьбе народа за внимание к его нуждам, человеческие права и достоинство".

Прерия не просто призывает к созданию литературы о народе и для народа. Ее собственные стихи, в которых чувствуется уитменовский пафос и размах, говорят сами за себя: "Прекрасна магия рабочих рук, что пишут повесть созиданья", они — "первооснова зерен и гвоздей, поворотимы света". И не одна она. Проникновенные строки труду на земле для блага людей посвятили Саймон Ортис и тот же Дон Уэст. Красно-речивы стихотворения Питера Орсика "Вдовы Питтсбургского сталелитейного", "Элмер Руис" и особенно "История стекла", в котором социальные обобщения преломляются сквозь картину непосредственного производственного процесса.

Основательная филологическая подготовка, участие в демократических движениях и опыт работы сварщиком позволили Фреду Уайтхеду поместить тему труда в широкий историко-философский контекст. Поэта мучит противоречие между созидательной природой человеческого труда и обезчеловечивающим характером труда подневольного. Молот как предмет, как орудие труда, пишет в стихотворении "Молот" Уайтхед, "древнее бесплотной идеи Платона". И поныне

все начинается с моей легкой руки,
приручившей тяжелый молот.

С другой стороны:

Теперь, в день по десять часов погруженный
в нереальную тьму сварочной маски...
и гадаешь: не упало ли семя
на бесплодную почву не забил ли его сорняк
и придет ли когда-нибудь час твоей жатвы?

(*"Притча о сеятелях"*)

В самой сути системы наемного, несвободного труда заключен такой драматизм, такие социально-психологические коллизии, что перед писателем, который наделен гражданским талантом и нравственным пониманием задач творчества, раскрываются почти что безграничные возможности художественного исследования человека в обществе и общества через человека. Авторам, кто не отворачивается от таких возможностей и не бежит от трудностей, неизбежно возникающих при преобразении "сырого", фактического материала в эстетическую реальность, удастся, как правило, создать неприкрашенные, полнокровные и психологически точные образы рабочих. Удача тем значительнее, когда художественный характер вбирает в себя как лич-

ные свойства героя, черты его натуры и т. п., так и силу обстоятельств, обстановки, окружения.

Повинуясь отцовскому долгу, пускается на поиски ушедшего из дому сына немолодой аппалачский шахтер Хантер Макнатт в романе "Профсоюзные взносы". Он не задумывается, что с ним теперь будет: нет ничего хуже, чем оставить или потерять работу — даже для такого квалифицированного специалиста, как он. Тягостна полоса случайных занятий, мытарств, унижений. Чтобы получить приличное место, Хантер, насилуя себя, вынужден сделать как бы вступительный взнос — попросту говоря, дать взятку... Суховатое, "объективное" письмо Д. Сейлса подчеркивает трудность выбора, на который решается недавно принципиальный активный профсоюзный деятель, не привыкший идти на поклон к боссу.

Идет суд над Робертом Чарлзом Ли, застрелившим управляющего авторемонтным предприятием. Все, что мы узнаем о деле и личности подсудимого, мы узнаем косвенно, из протоколов заседаний, которые перечитывает судья перед вынесением вердикта, — Дж. А. Макферсон, собственно, и строит текст рассказа в виде записи судебного разбирательства. Однако, чем дальше вчитываешься в свидетельские показания, спор обвинения и защиты и т. д., тем больше крепнет убеждение, что никто, решительно никто, не заинтересован в установлении истины. В первоклассном механике и одаренном, как бы называли его мы, рационализаторе видят лишь темного жестокого черного с Юга. На самом же деле он долго сносил издевательства и наглый обман белого начальника, пока тот не довел его до последней черты — убийства ("Суть дела").

Выше говорилось о повести Майка Хэнсона, чей молодой герой, опустившийся на самое дно общества, находит в себе силы распрямиться, снова почувствовать себя человеком и благодаря трудовому товариществу проникнуться коллективистским духом.

Три характера — три судьбы. Помимо классовой принадлежности, у них мало общего. Общее — в писательской позиции авторов: художническая честность, беспощадная правдивость, боль за рабочего человека и — неугасимая вера в него.

Мы еще не до конца осознали тот факт, что единоплеменная литература США, и более всего ее прогрессивное, радикальное крыло, — многонациональна, несет явственную этническую окраску. Творчество негритянских поэтов, прозаиков, драматургов, публицистов давно уже стало весомой и неотъемлемой частью американской культуры. С каждым годом все увереннее входят в нее представители других национальных меньшинств, которые и сегодня остаются на самых нижних ступенях социальной лестницы, постоянно испытывают двойное принуждение: классовое и национальное.

Так и в нашей книге помещены стихотворения Ольги Кэб-

рел, в чьих жилах течет португальская кровь, американки китайского происхождения Фэй Чанг, выходца из семьи финских иммигрантов Эрла Нурми, дальнего потомка словаков Питера Орсика, рассказ Амадо Муро и пьеса Луиса Вальдеса — американцев мексиканского происхождения, — чикано, как они называют сами себя, поэзия афроамериканки Джун Джордан и проза ее черного собрата Джеймса Алана Макферсона, произведения писателей-индейцев — Лесли Мармон Силко, Джимми Дарема, Ланса Хенсона...

“Наша страна, — говорил в отчетном докладе XXII съезду Коммунистической партии США Гэс Холл, — имеет богатое художественное наследие, складывающееся из обычаев, танцев и изобразительного искусства коренных американцев, из песен, ремесел, вообще творчества рабов, вывезенных из Африки, из художественных достижений первых поселенцев, фермеров и трудящихся-иммигрантов, прибывших из Европы, Азии и Латинской Америки. Все это стало частью Соединенных Штатов, придав культурному облику страны яркий народный многонациональный характер. Сегодня в самой гуще народностей, подвергающихся расовому и национальному угнетению, идет бурное развитие поэзии, театра, литературы, изобразительных искусств”.

Естественно, что писатели из национальных меньшинств часто обращаются памятью к прошлому своего народа, к горькому опыту предков, позволяющему извлечь уроки стойкости и надежды.

Днем отец был разнорабочим,
Зарабатывал нам на хлеб... —

пишет в стихотворении “Семейные узы” индеец Дарем. И ему вторит Питер Орстик:

Хочу взять его старую, выдавшую виды боль.
Примерить ее на себя...

(“Отец”)

“Отцы” — это, конечно, не только те, кто дали тебе жизнь, но и те, кто своим героическим примером и сейчас дают силы одинаково выстоять перед полицейскими дубинками и сомнительными соблазнами “стопроцентного американизма”. Вот почему Джимми Дарем рассказывает о Текумсе, возглавлявшем в начале прошлого века вооруженную борьбу индейских племен на Среднем Западе против колонистов-захватчиков их исконных земель. Вот почему Джун Джордан слагает “Песню о Соджорнер Трут”, которая словом и делом поднимала свой народ на сопротивление рабству. Вот почему Трумэн Нелсон в своей речи-проповеди обращается к именам Теодора Паркера, страст-

ного проповедника и аболициониста, и Уильяма Э. Дюбуа, а Фред Уайтхед пишет стихотворения "Пасха в Киндаро" (посвящено Джону Брауну) и "Глаза "Большого Билла" Хейвуда". Как бы летописью борьбы за "великую мечту", то есть революционные традиции Америки — от деятельности Томаса Пейна до боевых выступлений горняков в 30-х годах, — является стихотворение Дона Уэста "Кое-что об Америке".

Прогрессивные писатели не замыкаются в заботах и среде единокровцев, они не только чутко отзываются на страдания и стремления людей других национальностей и дома, и за границей, но и ощущают свое родство с ними и общность целей. Когда финн Нурми обращается к другу-индейцу:

Смуглый брат, ты один из многих.
Я мечтаю быть вашим, одним из вас...

("Воспоминание о Морелии")

то это воспринимается не как фигура поэтической речи, а как действительная потребность в коллективизме, в единении, в солидарности.

...что это за пытка такая —
каждый день пробуждаться
черным в белой Америке,
что это такое — бороться
за утверждение себя самого...

Это пишет Дениза Левертов, "белая американка, /неразделимая смесь/ кельтско-семитской крови", в стихотворении "Далеким окольным путем", посвященном черным подругам Элис Уокер и Кэролайн Тейлор. И Элис словно бы отвечает ей:

...я открою двери и ближним и дальним —
даже живя в единственной комнатухе, —
вот какая у меня мечта.

("Разговор с моей бабушкой, скончавшейся в бедности")

Характерны даже названия иных стихотворений: "Рабочая демонстрация" у Прерии Фаркас, "Вместе за всех" у Лонни Нелсон, "Мы народ" у Ланса Хенсона. Свой сборник 1981 года Эрл Нурми озаглавил так: "Моя страна — весь мир". Выразительный поворот темы нашел Ричард Клоук в стихотворении "Меньшинства":

Наш мир — весь из меньшинств,
случается, из одиночек

.....

Когда же мы все,
из разных меньшинств,
однажды сольемся вместе —
мы станем
одним большинством.

Для того чтобы приблизить этот день, надо жить и сознавать себя

...единосушно со всем,
случившимся в прошлом,
случающимся в настоящем
и должным случиться в будущем, —

призывает С. Ортис в "Молении среди Америки". Так сообщается создается поэзия, создается искусство единства, та самая "эстетическая община сопротивления", о которой говорила Анджела Дэвис на теоретической конференции "Марксизм и искусство", проведенной в декабре 1984 года в Нью-Йорке.

Истинный интернационализм потому и интернационализм, что он не знает языковых и иных барьеров, связанных с происхождением, не знает географических разделов и государственных границ.

Сила горечи, ведомая всем обездоленным, притесняемым, угнетаемым на земле, сеет семена национально-освободительных движений.

И созревает горькое семя
на индийских полях,
в гетто пуэрториканцев,
в стычках на юге Африки,
на угольных шахтах Уэльса,
на азиатских желтых полях...

(Фэй Чанг, "Горькая сила")

Ни в чем так ярко и так последовательно не выражается интернационалистский характер прогрессивной американской литературы, как в подходе к темам войны, антиимпериалистической революции и мира, так же, к стати сказать, как в правом крыле буржуазной литературы страны более всего в конечном счете проявляются империалистические устремления правящих кругов США.

По-разному преломляются события второй мировой войны в творчестве писателей-демократов — одним ближе ее героика, другие сосредоточиваются на ее трагедиях, но все, решительно все, призывают извлечь уроки из борьбы с фашизмом и милитаризмом.

...Ее не позабыть,
Как мертвых невозможно разбудить.
И навсегда ушедших — не вернуть.

(Т. Макграт, "Воспоминания об острове")

"Мы помним замученных, умерших голодной смертью, истребленных, отравленных в газовых камерах; они оживают в нас..." — говорила Лесюр на общенациональном писательском конгрессе в 1981 году.

Сорок лет прошло с тех пор, как был разгромлен германский рейх и милитаристская Япония. И все сорок лет над миром висит черная грибовидная тень от атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В небольшой по объему, но удивительно емкой поэме "Ксенонодышащие" О. Кэбрел рисует возможные страшные последствия испытаний водородной бомбы на атолле Бикини: Мегасмерть, Мегапрах, Мегаубийство. Но и без Мегавойны то в одном, то в другом месте планеты льется кровь. 58 тысяч погибших во Вьетнаме и национальный позор — такой ценой расплачивался американский народ за имперские амбиции властей предрежащих в США. Однако гораздо больше было тех, кто на всю жизнь остался искалеченным физически или духовно. Один из них — Дарвин, сын Хантера Макнатта в романе "Профсоюзные взносы". Неотвязные воспоминания о Вьетнаме на дают покоя рабочему-нефтянику по прозвищу Солдат из рассказа У. Ринтула "Субботняя ночь Солдата", тем и объясняется его неприкаянность среди разбитных дружков.

Нескончаема цепь преступлений, которые творит империализм, и это вызывает скорбь, возмущение, гнев писателей.

Глотки заткнули
певцам,
размозжили руки
строителям,
в тюрьмы швырнули
танцоров —

пишет Д. Левертов в стихотворении "Чили, 1977".

Яростным протестом против насилия и войн проникнута поэзия Дона Гордона: "Вы видели, как черепами играют / Дети в Бейруте..." Старому поэту вторит молодая, Энн Садовски:

...В сальвадорской деревушке сотни трупов —
не сосчитать, не отомстить!

("И вновь призыв к войне...")

Дать отпор милитаризму и сохранить мир на земле — эта мысль решительным рефреном проходит через всю антологию.

Она звучит у Т. Нелсона, Д. Уэста, Э. Нурми, С. Ортиса, М. Макэнелли, Л. Нелсон и многих-многих еще. В "Марше Мира" Миллена Брэнда, пацифиста, борца за социальную справедливость, литератора, чьи рассказы печатал еще довоенный "Нью мэссиз", есть слова, которые можно считать поэтическим посланием сегодняшней прогрессивной литературы Америки всем людям на земле:

Иная сила, нежели оружие,
для человечества необходима,
чтобы выжить.

* * *

Из множества впечатлений от недавней поездки в США мне особенно запало в память сердца одно.

26 января 1985 года, Канзас-Сити, скромное, мест на двести, помещение театра "Фулкиллер" на углу Главной улицы и 39-й — название его можно перевести так: "Дави дураков!" Завершается конференция "Неизвестанное наследие народной культуры", на которую съехались участники из Канзаса, Миссури, Миннесоты, Южной Дакоты, Оклахомы, Калифорнии. На сцене музыкальная группа исполняет старые боевые песни американского пролетариата — одну, другую, третью. И вдруг люди встрепенулись, даже самые молодые, двадцатипятилетние, словно волна пробежала по рядам. Певцы начали самую известную, самую любимую, самую массовую: "Когда в твою рабочую кровь войдет профсоюзный дух..." И зал подхватил хором припев: "Солидарность — навсегда! Солидарность — навсегда!"

Песня, родившаяся ровно семьдесят лет назад, росла, крепла, казалось, ей становится тесно и она выливается на улицы, распространяется по всему городу.

Наши руки пашут землю и возводят города...

В хор вступали новые голоса, другие люди подхватывали слова, и песня разносилась все дальше и дальше, и, казалось, никто и ничто не остановит ее.

Солидарность — навсегда!

Г. Злобин



На летний закат, пересекая реки пыльцы
золотарника, маиса и подсолнухов с обступивших дорогу полей,
я иду в поисках пращуров, с которых я начался в сердце равнин,
это словно они с горящей на западе гряды облаков —
улыбаются мне, прошедшему жизненный путь наполовину.

Среди этих небесных башен и шпилей пылающей памяти,
на этой земле, в которой они обрели покой,
я воистину — потомок урожаев, что они собирали,
снопов душистой пшеницы, ячменя, кукурузы и озимой ржи...

Фред Уайтхед.

*Вступление к поэме
"История подсолнуха"*

МЕРИДЕЛ ЛЕСЮР

Меридел Лесюр (Meridel Le Sueur) — поэтесса, прозаик, журналист, видный общественный деятель. Род. в 1900 г. в г. Марри (штат Айова); вся ее жизнь и деятельность тесно связаны с Средним Западом США. Сейчас писательница живет в городе Сент-Пол (штат Миннесота). Меридел Лесюр — ветеран и лидер пролетарской литературы США. Ее перу принадлежат такие прогремевшие в США в 30-е годы произведения критического реализма, как книга "Я шла в строю" ("I was Marching"), 1934, роман "Девушка" ("The Girl"), 1936, и сборник рассказов о детстве "Привет весне!" ("Salute to Spring!"), 1939. В эпоху маккартизма имя Лесюр, как имена многих прогрессивных деятелей того времени, было занесено в "черные списки".

Сегодня, несмотря на почтенный возраст, писательница полна энергии и творческих сил, о чем свидетельствует ее последняя книга, "Пора зрелости" ("Ripening"), 1982, откуда взяты стихи и эссе "Древний и новый народ" ("The Ancient People and the Newly Come"). Участница I Конгресса Луизианских писателей, проходившего в Нью-Йорке в 1935 году, Лесюр с пламенной речью выступила почти полвека спустя на очередном форуме американских писателей (1981). Мы приводим эту речь по публикации в журнале "Политикал афферс", 1981, № 12 (см. с. 123—128).

ДРЕВНИЙ И НОВЫЙ НАРОД

Появляюсь на свет в белой сорочке северной зимы, вокруг — мерцающий горизонт, древняя земля, как колыбель, качает меня... Я училась читать по священным письменам, впечатанным в следы зайцев и волков, древних и новых людей. В начале века дым индейских хижин еще сливался с дымом наших очагов, но граница не знала покоя, кровавые стычки и резня не раз ломали ее. Равнины содрогались зимними ночами от разбоя, от плача по утраченному. Из величественных, как храмы, амбаров грабили зерно, отчаяние молило о возмездии.

Здесь, как нигде, человек, родившись, сразу попадал в огромное, отзывающееся гулким эхом пространство, в необъятность этой шири Среднего Запада, где, как лассо, хлещут ветры,

неся громы и молнии, и скрещиваются гневны всевышнего в зените неба.

Тело человека повторяет очертания земли, они питают друг друга и творят друг друга. Меняется земля, меняемся и мы вместе с великими переселениями, стремительным переходом через рубеж веков, равного которому еще не бывало на нашей зеленой планете. Еще не родившись, я угадывала над собой холмы материнской груди, и это благословило, подготовило мой выход в мир, в прерии, вздымающиеся холмами.

Я родилась зимой — снег, темнеющий в сумерках, звук шагов на деревянных тротуарах, скрип скользящих по снегу саней, звон колоколов. На пороге нашего двухэтажного приземистого деревянного дома — длинные тени от зажженной керосиновой лампы — стоят бабушка и дядя с тетей, двое миссионеров, только что вернувшихся из Индии.

Это было на севере, очень давно. Век дерева, еще не бронзы. Я лежала, затерявшись среди холмов и долин материнского тела, просторного, как земной шар, а от него кругами растекались в бесконечность и темноту припущенные лесом зеленые просторы. Ощетинившись трезубцами, круглая луна опрокинулась в знаке Нептуна, рыбы-близняшки несли свое созвездие на смену Водолею.

Наш дом, типичный для Новой Англии, квадратный, четыре комнаты внизу, четыре наверху, стоял на прочном фундаменте ровно, воздвигнутый по всем правилам пуританской геометрии, он торчал среди равнины как вызов, как ультиматум победителя, как крепость бога нашего, как щит, ограждающий от греха и излишеств.

Меня зачали в бурное лето, взрастили при свете дня и свете звезд, что скатывались с неба, чтобы слиться с моими зелеными корнями, будь то травинка, или знак, или сверчок, бобр, лиса. Я впитала все, что ни есть на древней индейской земле. Материнская грудь и грудь прерии баюкали меня, ограждая от бед. Степное воронье будоражило, наполняя карканьем сны.

Долгими зимами, прижавшись тесней к древней индейской земле, мы постепенно прозревали и постигали суть явлений. Слышали грохот ледниковых морен, видели губительные лесные пожары, стыли на морозе, понимали, что значит саранча, преступность, война, неурожай, засуха, нищета. Климат, суровый круглый год, неприветливость этих мест и заглядывавшие в окна лица тех, у кого мы отняли эту землю, вселяли в нас чувство вины, стыд за содеянное. Деревни часто заносило снегом так, что не было видно домов. Когда наступало время кормить скотину, люди шли к хлеву, держа за веревку, и от стужи промерзали до костей. Но могущественная земля прерий, священная индейская земля, земля междоусобных битв и древних ритуалов, возрождалась каждую весну, кормила нас и учила жить.

Мы двигались по ней в глубь материка, земля отталкивала нас, наказывала засухой, гнала дальше на запад. Одних манили золотые россыпи, перед ними брезжил мираж: богатство, благоденствие, братство. Через деревни проходили тысячи, оставляя там только трупы. Они ложились в землю, удобряя ее, новые сорта пшеницы и кукурузы вырастали на этой земле. От них рождались идиоты, фанатики, пророки, изобретатели. Теперь нам некуда идти, говаривал один старик фермер: если ветер пригвождает тебя к двери твоего амбара, надо построить мельницу, научиться пахать без лошади и изобрести колючую проволоку. Один священник из Дакоты предрекал: "Этот край станет родиной пророков".

Нигде весна не возникает так внезапно, как у нас на северо-западе. Она словно взрывает ветви, твердые, как железо. Равнины, поднимающиеся к Скалистым горам, набухают от тепла, вокруг царит тишина, колышется прозрачное марево, а нежный ветерок сулит, что скоро все расцветет. Как крокусы, поднимались к солнцу из холодного подземного мрака мы, жители плененного зимой поселка, где за зиму всех детей скошил дифтерит. Когда выглянуло солнце, те, кому удалось выжить, похоронили мертвых и на первом же весеннем празднике затеяли лихую пляску, а потом пили и ели сколько влезет, заглушая боль. В этой пляске они топтали чужую, не свою, землю Америки, а потом валились в сено, чтобы зачать новых поселенцев.

Весной все оживало. Прерии раскрывались, как веер. Люди оттаивали, сходились вместе, женщины собирались вечерами, стегали одеяла, толковали, как солить, что варить. Пахать и сеять начинали сразу же, едва в поле стаивал снег; соседи помогали друг другу. Когда семена уже покоились в земле, начинались церковные пикники, крестины. Женщины в ярких ситцевых платьях ставили на широкие столы множество снеди, дети затевали игры, мужчины играли в бейсбол и в "подкову".

Детей рожали дома, в качестве повитухи призывали соседку. Мне было всего двенадцать, когда я помогала повитухе: крепко держала роженицу, которая громко кричала и до крови кусала губы. Ребенок родился мертвым, он был задушен пуповиной, и повитуха вытаскивала его неживого.

Некоторые, пережив тяжелую зиму, умирали весной, а оставшиеся в живых пели над покойниками псалмы "Старый деревянный крест", "Соберемся ли мы у реки", "Господь пребудь с тобой до нашей встречи".

Самые веселые праздники были у поляков и ирландцев. Они продолжались по два, даже по три дня. Хотя и на баптистских религиозных собраниях, на которых запрещались танцы, пели много. Отпускали грехи сотням обидчиков, служба велась на родном языке. Однажды я видела женщину, которую хотели

крестить в проруби; она визжала от страха, но ей внушали, что это необходимо для ее "спасения".

В субботу вечером все бросали работу — все, кроме прогибиционистов¹ и протестантов-трезвенников (их дразнили "панинками"), те ходили в церковь к воскресной заутрене. Таверны заполняли азартные игроки, мошенники и спекулянты; вино, женщины, азартные игры делали свое дело — переселенцы оставались и без денег, и без участков. В городке Стилуютер были специальные игорные дома для богатых и даже бега. В Сент-Поле некая Нина Клиффорд — весьма ловкая особа — открыла два дома терпимости: один для джентльменов, другой для лесорубов, наведывавшихся в город промотать заработанные потом и кровью "бумажки". Говорили, что в городе Сент-Пол есть три власти: епископ Ирландский захватил холм, железнодорожный магнат Джим Хилл сделал всех своими пассажирами, а Нина Клиффорд прибрала к рукам остальное.

Четвертого июля, если к тому времени "хлеб успевал подняться до колен", как пелось в песне, если дожди были обильны и солнца хватало, устраивали веселый праздник — пикник, участники которого соперничали в ораторском искусстве. Без всяких громкоговорителей они произносили речи так, что было слышно на всю рощу (ораторы заранее готовились, "ставили голос"). Эти навыки им, кстати, пригодились: когда из-за махинаций на Хлебной бирже в Миннеаполисе упали цены на сельскохозяйственные продукты, фермеры собирались прямо на поле, в парке, на городской площади, у здания суда и произносили речи против засилья монополий. На эти митинги приезжали издалека, до и после сбора урожая: целыми семьями являлись в город на своих фургонах. Распространяли листовки и выступали с призывами создавать организации, которые защитили бы их от "хищников".

Нигде на свете нет такого августа, такого сбора урожая, такого бабьего лета, как в Миннесоте. Соседи вместе собирают и шелушат кукурузу. Сперва неторопливо ездят по полю на телегах, и мужчины острыми ножами срезают початки и бросают в телегу. Потом шелушат кукурузу, а уж после этого устраивают танцы, и если какому-нибудь парню достанется спелый початок, он может поцеловать свою девушку. В августе устраивают большие ярмарки, фермеры привозят кукурузу, хлеб и скот, а рабочие — косилки и жатки.

Кончилась осень с ее радостями и волнениями, и все со страхом ожидают холодов. Чего только мы не запасали на зиму — солили, квасили, варили варенье, что-то просто зарывали в песок. Нужно было спешить с заготовкой дров, до первых морозов снять с грядок и засолить помидоры, фасоль, нашинковать

¹ Ярые противники спиртных напитков (от англ. Prohibition — запрещение). — Здесь и далее примечания переводчиков.

и засолить другие овощи. Мы словно готовились к великой битве. Бабушка заворачивала каждое яблоко в газету и укладывала их слоями в бочонках. Шинковали и солили капусту, тоже целыми бочонками. Забивали старых кур; меня всегда поражало, как моя ласковая, добрая бабушка, придавив ногой шею своей любимой пеструшке, вмиг сносила ей голову метким ударом топора.

Постепенно дни становились все короче, листва желтела, лекарственные травы на веревках высыхали. В конце лета прерия преобразается: все растения созревают, гремят громовыми раскатами бездонные небеса. Однако главное спасение от страха, которое несет с собой зима, от одиночества, от связанных с ней опасностей — это осенние вечеринки с танцами. Прежде чем заполнить амбары припасенным на зиму сеном, их превращали в танцевальные залы. Приподняв длинные юбки, женщины отплясывали "шотландку", вальс, кадрили. От звуков скрипок и гармоник звенели стропила амбаров.

Когда на землю ложились желтые листья, покрывая ее персидским ковром, и пустели кукурузные поля, наша великая Земля опять являлась взорам горбатой, обнаженной. Лишь кое-где поля стояли под озимой пшеницей. Роскошные покровы лета, исчезая, мало-помалу открывали ее всю, и тогда становилась видимой, яснее читалась на ней человеческая беспомощность.

В час охоты сова носится над лугом. Лиса выслеживает в полях фазанов и куропаток. Юпитер повис над Антаресом, полная луна лепится к бугоркам прерии, и, когда с Мандана начинается дуть суровый ветер, индейцы возвращаются в резервацию с летних поселений. Овен, этот небесный самец, прыжком бросается к Земле, чтобы сочетаться с нею браком. Корень и семя превращаются в плоть. Во тьме люди тянутся друг к другу, чтобы пережить эти короткие дни, этот полный опасностей холод, на самом краю вечной пустоты.

Сейчас трудно поверить, что, когда мне было двенадцать, прошло уже целых четырнадцать лет с начала войны между Испанией и Америкой, двадцать два года со дня Пляски Духов и битвы у Вундед Ни¹, что оставалось всего четыре года до первой мировой войны².

Я росла под присмотром трех цветущих, возвращенных прерией женщин, которые все время что-то делали — сеяли, убирали урожай, рожали детей, старательно ухаживали за полем. Я расцветала в атмосфере их справедливой и благожелательной любви, как груша, окруженная другими грушами, зреет в их микроклимате.

¹ Поселок в штате Южная Дакота, место зверского уничтожения индейцев племени сиу в 1890 г.

² США вступили в первую мировую войну в 1917 году.

Одной из этих женщин была моя бабушка, Антуанет Люси, родом из Иллинойса. Она была дочерью настоящей ирокезки, которая вышла замуж за своего учителя, проповедника-аболициониста, и приехала с ним на Запад. Моя прабабка поклялась, что не переживет своего мужа ни на один день — так оно и случилось. Бабушка же была истая пуританка в неприступной броне длинных юбок; она даже мылась в сорочке, чтобы не видеть собственной наготы. С мужем она разошлась — неслыханный в ее кругу поступок. Он был пьяница и пропивал одну за другой завещанные ей отцом фермы. Потом она пересекла в легкой коляске, прихватив с собой ружье, Средний Запад, чтобы добраться до Христианского союза женщин. Позже мы участвовали в антиалкогольных демонстрациях: разъезжали в белых платьях на телегах и выкрикивали, уподобляясь вопиющим в пустыне: "Трепещи, тиран алкоголь! Губы, которые прикасаются к спиртному, никогда не коснутся моих!"

Мэриан Уортон, ее дочь и, значит, моя мать, училась в колледже, а бабушка готовила на общину, чтобы платить за ее учебу. В девятнадцать лет мать вышла замуж за молодого повесу, тоже проповедника. У нее было четверо детей, один из них умер грудным ребенком. Мать читала работы Эллен Кей¹ и слушала выступления Эммы Голдман², и к тому времени, когда родился ее самый младший, она знала уже, что имеет право распоряжаться собственной жизнью и телом. Пройдя курс сравнительной религии, Мэриан порвала с христианством. Но в те времена по законам штата Техас женщина и ее дети считались безраздельной собственностью мужа. Им не полагалось ни имущества, ни гражданских прав. И вот моя мать бежала с детьми среди ночи на север, словно рабыня-негритянка. Она хотела пересечь границу штата Оклахома, где законы были более либеральны. Отец пытался вернуть нас как преступников или как частную собственность, но ему это не удалось.

Третья женщина была индианка по имени Зона. Она жила в роще, вместе с индейцами племени мандана, которые нанимались летом к белым работать в поле. Кроме того, Зона помогала нам консервировать овощи и фрукты. Муж ее умер от горя: индейцам не удалось вернуть погибших бизонов с помощью ритуального танца; после кровопролития у Вундед Ни правительство США запретило индейцам и ритуальные танцы, и курение священной трубки, и "общество щита". Тут, говорила Зона, даже черника перевелась в лесу.

Я росла среди этих женщин, могучих, как деревья, — зеленый саженец, в тяжелые годы уходящий корнями вглубь, чтобы

¹ Кей, Эллен (1849—1926) — известная писательница и общественный деятель. В 80-х гг. участвовала в движении за эмансипацию женщин, которому посвятила книгу "Женское движение" (1909).

² Голдман, Эмма (1869—1940) — видная деятельница анархистского движения в США.

почерпнуть живительные соки. Их сближали странные вещи. Все они на своем опыте узнали, что общество меняется быстро и перемены эти для женщин тяжелы. Их оскорбляли мужья и окружающие, они страдали от скитаний и семейных неурядиц. Каждая из них жила своей жизнью, и в то же время что-то связывало их. Они разделяли одиночество своих детей, проводя ночи в одиноких постелях, они жили среди врагов.

Они не ждали, что земля откроет для них свои недра, что где-то рядом найдут золотые россыпи, что к северу потянутся железные дороги. Они не жаждали прогресса и не ждали новых завоеваний и даров. Они ждали, когда сбудутся предсказания апокалипсиса, когда придет мессия. А бабушка хотела воссоединиться со своими близкими на небесах, заслужив это скромной и честной жизнью и бережливостью. Житейский опыт приучил их к мысли, что в этом мире правит мужчина — деспотичное, придирчивое, грубое, неизменно пьяное существо.

После сбора урожая мы работали все вместе, занимались консервированием, доили коров, отсиживались во время циклонов в подвалах, и эти женщины казались мне огромными, как континенты, наполненные криками новорожденных и плачем по славным усопшим. Все они были тесно связаны с деревенским бытием: рождением, смертью, болезнями, починкой дорог и преобразованием школ.

Часто мне удавалось улизнуть из дома вместе с Зоной: я выбиралась из окна над летней кухней, потом спускалась вниз по яблоне и сквозь весеннюю светлую ночь шла туда, где горели костры индейцев. Индейцы били в барабаны, и вот, казалось, исчезала деревня и какое-то буйство возникало на древней земле. Мир съеживался, он весь умещался на освещенном пятнышке земли у главного костра. Горизонт становился шире, звезды вереницей двигались по небу, вновь и вновь мелькал перед глазами хоровод плясунов.

Мы с Зоной прятались в траве. Зона была высокая и сильная, как большинство индейцев с равнины. Лицо у нее было широкоскулое, щеки круглые, как яблоки, смуглые, как кокос, а волосы густые, черные. Она рассказывала о тех временах, когда трава, темная, как вино, волновалась под ветром — еще жила извечная плоть матери-земли, в которую не вонзил свои хищные зубы страшный стальной плуг. Когда-то, говорила Зона, антилопа, олень, лось и дикие птицы привольно жили на равнинах; и равнины кипели и бурлили весной, и над ними гремел грозный рев — это бизоны справляли свои свадьбы. Было слышно, как рога бьются о рога, как в яростном возбуждении барабанят по земле копыта. Она рассказывала, как мужчины уходили на охоту, чтобы запасти на зиму мясо. Рассказывала, как летом здесь собирали в изобилии ягоды и сливы, как заготавливали пеммикан — сушеное мясо, — как наступало потом для молодежи время ухаживаний и игр. Бизоны уходили на юг, к солонча-

кам, а манданы забивались в просторные жилища из сухой травы, в которых зимовали и складывали разные сказы и легенды о горах и о сверкающем на западе море. Зона считала, что индейцы были первыми людьми на свете, сначала они жили в недрах матери-земли, а потом выбрались наверх по огромным виноградным лозам. Одна лоза обломилась, поэтому часть народа так и осталась под землей. А еще Зона рассказала мне, как бродячие торговцы привезли в деревню манданов зараженную оспой одежду, в ту же зиму вымерла большая часть деревни, и вся северная равнина была покрыта смердящими трупами, потому что их не успевали хоронить.

Зона объяснила мне, что земля на самом деле круглая, священная, говорила она; никто не может ею завладеть. Землю нельзя захватить, говорила она, и меня тоже нельзя захватить. И еще: ничего нельзя брать по пять штук или в квадратных метрах, а надо — по четыре или по семь. Нельзя поделить землю на квадраты. Я слушала ее, и мне казалось, что все движется вокруг меня. Она говорила, что земля уходит далеко вглубь и белые люди могут покупать и продавать друг другу только верхний слой. Земля ждет, говорила она, ее пальцы переплетены, как стебли. Для убедительности она соединяла свои собственные смуглые пальцы. И у мужчин и у женщин есть корни, говорила она, и все сплетены воедино и тянутся к центру земли. Зона не верила ни в рай, ни в ад. Ей было достаточно, что мы — есть, мы — здесь. Она верила: земля восстанет на белого человека страшной, разрушительной войной за то, что он ее калечит, пашет, загрязняет. Все возвращается, говорила Зона, и все — есть, все — сейчас. А прошлое, настоящее и будущее выдумал белый человек.

Основа всему — трава, Зона в это верила непоколебимо. Трава — самая питательная еда на земле, кроме того, в траве прерий столько разных солей и белка — больше, чем в любой другой пище. До того как землю начали пахать, этой травой можно было насытить несметные стада — весь скот, живущий на земле. Ведь насыщались же ею бизоны! Они не уничтожали на пастбищах всю траву дочиства — поев в одном месте, шли дальше. А сейчас, говорила Зона, плуг вывернул плоть земли, ветер выдувает почву. Значит, трава уже не вырастет, и бизоны не вернутся.

А еще Зона говорила: правительство не в силах запретить индейцам читать молитвы и исполнять ритуальные танцы: индейцы унесут все это под землю, к тем людям, что остались в ее недрах, когда обломилась лоза. Она запустила вдаль к горизонту свое ритуальное перо, чтобы показать, как безграничен мир и как все вернется: и земля, и попранные права. И это привиделось мне в игре переливов того перышка, словно живая птица на глазах меняла окраску, погружаясь то в солнечный свет, то в лунный от быстрого вращения нашей матери-земли.

Все, что возвращается, говорила Зона, обязательно вернется. И я ей верила.

Я знала: земля и женщина всегда защитят меня. Меня окружали могучие, сильные женщины, среди них я была "птенцом", девочкой с малышкой-грудью, где еще негде развиться ненависти. И все же проблескивала и я — непорочная, нагая, как земля; я училась защищать землю и ненавидеть ее врагов. Я думала о том, как возродить новое племя: людей, для которых страдания этих женщин станут уроком; чтобы воины этой расы не попирали ногами землю и жен на свою же погибель.

Я наблюдала этих женщин: необъятную, как прерия, рать матерей и бабушек, пестующих детей, принимающих воинов, прощая им набеги, поражения, кровь. Как пуританки, так и индианки несут в себе несокрушимую отвагу и силу. Эту силу трудно измерить, она даже не видна, но она существует — магическая сила деторождения, сохранения очага, сила земли и плоти.

Неистовые объятья этих женщин страшили моих братьев и меня: они словно хотели сокрушить нас. На их лицах печать страдания, их стать рождает в памяти неукротимых героинь истории и литературы, тех, кого преследовали, ссылали, продавали в рабство. Бабушка вспоминала, как ирокезы ее деревни спасались бегством от своих убийц; о том, как она одна ехала через весь штат Огайо. Мать рассказывала о бегстве из Техаса в Оклахому, где женщинам разрешалось самим воспитывать своих детей. Зона рассказывала, как в 1890 году во время резни в Вундед Ни погибла ее мать — она бежала, прижимая к себе грудного младенца, ее застрелили солдаты, а ребенка так и оставили на морозе у труп матери. И еще Зона рассказала, что ее отец все ждал и ждал после Пляски Духов, не выйдут ли из скал призраки бизонов, но так и не дождался.

Три женщины сидели, прямые как свечки, с вдохновенными лицами, и истории, которые они рассказывали друг другу, были чем-то странно похожи одна на другую. Я на всю жизнь их запомнила, так они были неистовы, яростны, пламенны. Их сила была в том, что они вставали на защиту людей: страшная, неумная жажда возмездия владела ими, наказания за содеянное, таинственного избавления от чего-то.

От Зоны моя бабушка узнала, какие травы растут в том краю и от чего они лечат. Как правильно использовать части растения и что в растении бывает ядовито в пору роста. Узнала, что из высушенных корней черемухи можно приготовить отвар — вязкую жидкость, способную останавливать кровь у раненых. Что кора черемухи весной спасает от дизентерии; что из ствола черемухи можно вырезать ложки, а ягоды класть в сушеное мясо, которое, нарезав длинными полосками, запасают на зиму или берут с собой в дорогу.

Бабушка отвела специальное место в "большом погребе"

для этих растений и наклеила на полочки аккуратные этикетки. Высокая ялапа, что вырастала летом на лугу, была нашим другом и спасителем — она являла собой аптечное чудо. Мы никогда не обирали все плоды — оставляли часть на семена, чтобы ялапа выросла снова, и она не подводила нас. Из медвежьей травы мы плели чаши, не пропускавшие воду. Были здесь и растения, из которых делали палки взрыхлять почву, метлы, рыболовные сети, изготавливали ладан, колдовское зелье, ткани, мыло, масла и краски, вещества, при помощи которых дубили кожи и ставили клейма. Бабушка особенно прилежно изучала все, что касалось корней, луковиц и клубней, она боялась, что нас застанет врасплох неурожай, голод, пожар, болезнь или смерть. Полсотни растений было заготовлено в баночках с наклейками, чтобы добавлять в салат, в муку крупного и мелкого помола, изготавливать сироп. Пять банок предназначалось для напитков, в трех находились средства, спасающие от кровотечения и змеиных укусов. Ей были известны двадцать шесть растений, которыми лечили от летних и зимних болезней и которые употреблялись для компрессов, для поднятия тонуса, для слюноотделения и уменьшения жажды. Ядовитые растения так и использовали — по назначению. Прострел, он же сен-трава, учила бабушка, — смертельный напиток для врага. Мы сушили большие подсолнухи, мололи семечки и пекли из этой муки лепешки. Из дохлой лягушки готовили какое-то мерзопакостное зелье. Мы не отказывались ни от чего, любую травинку лелеяли и заботливо выращивали. Я до сих пор не могу просто вырвать травинку из земли: слышу, как она плачет.

Зона внушала сладостную уверенность, что Вселенная добра к человеку. Однажды она повела меня к мандамам в селение, расположенное у города Бисмарка, за рекой. Ничего прекраснее этих жилищ я в жизни не видела: огромные земляные курганы, поросшие травой, — совсем без окон, лишь отверстие на самом верху, через которое, как в соборе, проходил свет, а когда топили — оттуда выходил дым. Она показала мне эти жилища внутри, человеческий мирок вокруг вечно пламенеющего костра праматерей. Зона твердила, что насилие — только линия, а любовь — шар.

Однажды, когда мы сидели на крыльце и рубили для закваски капусту, Зона рассказала нам про Пляску Духов. Когда правительство запретило индейцам собираться вместе и совершать ритуалы, наступил черный день, с тех пор даже черника перевелась.

Бабушка и мама кивали, сетуя на человеческую ограниченность, пытающуюся силой повлиять на то, что человеку неподвластно.

Зона с грустью вспоминала про Пляску Духов, говорила, что тогда не очень в это верила и своими сомнениями, должно быть, ослабила силу бизонов, вот они и не показались из-за скал. А

муж ее побывал в дальних краях и говорил с пророком Вовокой, который уверил его, что Иисус, божество белых людей, поможет индейцам и что если они все вместе исполнят ритуальный танец, то все их предки, все их бизоны появятся вновь и помогут им вернуть свою землю. Муж, вернувшись, рассказал ей об огромном медном ложе в святом храме на песчаном холме в Оклахоме. Вокруг ложа горели свечи и стояли разные священные предметы. Сюда, по слухам, каждую ночь приходил Иисус отдохнуть после добрых дел, сотворенных им для индейцев.

Я мужа убеждала, говорила Зона, что не может того быть, чтоб мертвые вернулись и стали потом истреблять вернувшихся из мертвых бизонов. Нет, поверить можно только в то, говорила Зона, что земля будет снова принадлежать ее народу. Стравливание пастбищ прекратится, тогда и все травы разом вернутся на луга. Зона еще помнила настоящую траву, ту, что меняла цвет и волновалась от ветра как шелковое море. Травы брали цвет и у севера и у юга, у востока и запада. Сейчас же трава короткая, говорила Зона, азота в почве мало, и цвет у травы один. Канули в прошлое старые прерии, покрытые зыбкой, высокой травой. Она помнила те времена, когда индейцы выходили и призывали бизонов принести себя в жертву, дать людям пищу. И земля тогда была полна любви и силы.

И вот наступил тот день, последняя попытка вернуть бизонов. Старухи индианки принесли в священных сумах разные снадобья, которыми надеялись вызвать животных из скал. Они принялись петь древние заклинания. Муж Зоны пришел в рубашке духов, она сама ему сшила, — говорили, что через такую не проникают пули. Он далеко ездил, в Техас, добыл для той рубашки шкуру молодого бизона. Оттуда же он принес и бизоний череп для священного вигвама. Это была последняя попытка индейцев вернуть свою защитную силу. Добрую силу. Вовоке было видение: белый спаситель, распятый на сияющем кресте.

Четыре ночи после поста и омовения индейцы пели заклинания, не сводя глаз со скалы, из которой, возвращаясь из подземного мира, должны были выйти их предки и бизоны. Мною владели неправильные мысли, говорила Зона, один раз я подумала: успею ли я уйти с дороги, если они и впрямь с шумом, с топотом вырвутся наружу? — и засмеялась. Она думала, что ждать их бессмысленно: прошлое иногда возвращается, но совсем не так. И все же всю ночь ждала, кому-то вроде почудилось, будто услышал под землей шум. Индейцы плясали до тех пор, пока не повалились без сил. Муж Зоны стоял, обливаясь потом, лицо в грязи, в разорванной священной рубашке. Он говорил, что вера его светла и сильна, и Зона любила его за это, за его попытки вернуть предков, бизонов, прекрасную траву и ключевую воду.

Вдруг он протянул вперед руки и крикнул: это конец! Нет, нет, закричала Зона, у жизни нет конца, она идет по кругу. Но он ее не слышал. Недолго он прожил после той ночи: таял на глазах, ничего не ел, стал как тростинка. В лесу исчезли дикие сливы, рассказывала Зона, и дичь, которая водилась в этих местах. Наше племя голодало, мы кочевали с места на место и стали похожи на тени. Однако жизнь продолжается, все же считала Зона, потому что внизу, под землей, все мы связаны воедино. Мы должны сохранить все живущее на земле для детей.

Слушая ее рассказ, моя мать и бабушка кивали. Они понимали. Много и они хлебнули, чтоб добыть себе землю, потом ее отобрали те же руки, что ограбили индейцев. Бабушка говорила: наш долг — начинать круг жизни заново, чтобы старое встречалось с новым. А потом пела старую обрядовую песню: "Мы придем в веселье, мы принесем снопы".

По ночам в природе открывалось материнское начало; святой и заботливой женской силой дышали поля и луга. Сейчас, когда взгляд мой скользит по обрывистым берегам Миссисипи, я вижу, что предсказания Зоны верны, и даже более, чем она могла предполагать. Будьте бдительны! — однажды громко сказала она. Берегитесь. Будьте осторожны. Не поддавайтесь. Она ощущала безграничную и гневную мощь земли, предвидела ее способность отомстить тем, кто ее захватывал и осквернял.

Детство, проведенное в деревне на северо-западе Америки, было щедрым: я радостно впитывала в себя обычаи и культуру самых разных народов. Все мне было доступно: я пела в норвежском хоре, танцевала в финском ансамбле. Тогда еще соблюдались старые обычаи. У нас даже было несколько шотландцев, игравших на волынках. В день св. Патрика они шли по улицам, одетые во все зеленое, потом в парке слушали адвоката, который читал наизусть последнюю речь Роберта Эммета¹ под сенью трепещущих на ветру флагов. Мне нравилась острая пища, и я чувала в глубине души, что нрав у меня буйный, не в бабушку.

Особенно я любила танцы. Они были такие пестрые, такие разные, а иные так чувственны, так прекрасны. Танцы освобождали от пут пуританского аскетизма, от убеждения, что любое удовольствие — вина перед богом и грех.

Помню свой первый танцевальный вечер. Уж не знаю, каким образом мать и бабушка отпустили меня, помню только, что не обошлось без предостережений, угроз — меня стремились оградить от всяческих соблазнов. Платье я надела белое, хотя в глубине души предпочла бы красное или даже желтое. Но, по мнению бабушки, только польские потаскухи одевались так ярко,

¹ Эммет, Роберт (1778—1803) — национальный герой Ирландии, борец за освобождение своей родины от британского господства. Был организатором восстания в 1803 г., схвачен и приговорен к смерти. Широкую известность приобрела пламенная речь Эммета, произнесенная перед казнью.

поэтому я пошла на танцы в белом платье и белых туфлях с узким красным кантиком и на каблучке. Волосы я накануне накрутила на обрывочки газеты — это казалось мне отчаянной дерзостью.

За мной заехал на двухместной бричке Джон, экипаж его был отделан бахромой, хотя впряжена в него была обыкновенная тягловая кобыла. Только что убрали урожай; загорелые руки Джона светились золотистым пушком. От моего кавалера пахло мякиной, хотя, видно, намывался он так, что чуть кожу не содрал. Непослушные вихры соломенного цвета он смазал медвежьим салом. Джон помог мне сесть в двуколку и показался вдруг огромным и совсем незнакомым. Мы медленно ехали по аллее, меж убранных золотом осин. От меня пахло тальком, от Джона тоже. Мало того: я натерла щеки влажной красной помажкой и подвела глаза обгорелыми спичками: мимо бабушки пришлось проскользнуть незаметно, чтобы ей не бросился в глаза мой "распутный" вид.

Старая кобыла удивленно оглядывалась на нас: мы сидели так тихо, словно нас и не было совсем. В роще все повозки-экипажи остановились и, так как было еще рано, пошли шуры-муры. Слава богу, у нас с Джоном обошлось без этого. Бабушка мне внушила, что на вечеринке ничего нельзя пить, — точь-в-точь как Деметра убеждала Персефону ничего не есть в царстве Аида, та же, конечно, послушалась, вкусила зернышки граната и осталась у мужа. Бабушка считала, что опасен даже грушевый напиток. Если он с градусом.

Все стояли у стен в большом пустом зале, отпускали шуточки и ждали. Ребята смущенно глядели в пол; они казались непомерно высокими. Девушки сияли, каждая — в своем лучшем платье. Они слишком громко смеялись и обнимали друг дружку, чтобы показать, как приятно обниматься.

Но вот вытащили затычку из пивной бочки и наполнили кружки. Одни пили пиво, другие "упивались" лунным светом. А как же насчет этого: "Губы, которые прикасаются к спиртному, никогда не коснутся моих"? Я и без пива была возбуждена, расхрабрилась, голова шла кругом — впервые в жизни на танцах, с кавалером, на почти высоких каблуках... и при этом жду первого танца.

Начали скрипки. К ним присоединился аккордеон, и мы пустились в пляс. Я переходила от парня к парню, мои ноги едва касались земли, и я не разбирала слов выкрикалы. Знать фигуры танца не обязательно: я просто подражала другим. Я летела от одного фермера к другому, из объятий в объятия, они смеялись, кричали, "тискали" меня, как это называли наши девушки. Мы порхали несколько часов подряд, взмокли, нас прижимали, потом отшвыривали, мы отбивали ногами такт, вращались и наталкивались на кого-то. "Поднимай ее повыше и подбрасывай смелей, коли долетит до крыши, всем нам будет веселей. Сам

скачи почти до неба, кружку пива пей до дна, никогда так весел не был до сегодняшнего дня”.

Ночная темнота сгустилась, скрипачи разошлись враз. Девушки бросались в объятия кавалеров, вперед, назад, все перемешалось, слилось. Я уже не различала лиц. Кто-то из девушек вывел меня во двор; девицы присели на одном краю поля, парни выстроились спиной к нам — на другом. Никогда я еще не слышала такого смеха, еще никогда не ощущала, как опасна ночь, — некоторые парочки вернулись в зал с сухими травинками в волосах, загадочно улыбаясь. Казалось, мы все на краю геенны огненной. Но никому не было страшно, казалось, броситься в этот омут так же приятно, как на ложе из роз.

Так я чувствовала себя всего один раз в жизни.

Бабушка получила участок земли для фермы и построила дом в суровом протестантском духе. В доме этом отразилось все, что было типичным для бабушкиной жизни: простота, аскетизм, бережливость, суровый труд во имя долга и необходимость откладывать на черный день. Поселившись в диком краю, она наняла столяров и каменщиков и потребовала, чтобы дом точно соответствовал ее желаниям и по размерам и по духу своему. Может быть, она нарисовала его на куске бумаги, а может, словесно воссоздала его как воплощение своей мечты о бережливости и благоразумии. Как бы там ни было, получился типичный для Новой Англии дом, с летней кухней, комнатой на первом этаже, где рождались дети, и гостиной, закрытой на замок, окна которой всегда были зашторены. Вероятно, бабушке не было дела до того, что дом построили на девственной земле, где стояли лишь пирамидальные и конусообразные строения, возведенные руками индейцев, на земле, которой не касался плуг. Она не задумывалась и над тем, что землю эту бесцеремненно отняли у народа, жившего на ней испокон веков. А если бы и задумалась, то, безусловно, пришла бы к выводу, что христианство и англиканская церковь принесут этим людям только благо и спасение.

В детстве красота этого дома, его планировка трогали меня до глубины души, а теперь, когда я вижу среди прерий такие же, как он, дома, брошенные владельцами, я горько плачу. То была крепость, укрывавшая нас от бурь, приносимых беспокойным временем, и его стены обещали нам защиту от холода и возможность жить и расти в суровой и спартанской обстановке.

Клочок земли, который в день раздачи участков достался бабушке и на котором она позже воздвигла свою скромную деревянную цитадель, был крайним. Когда в деревне появились улицы, то и до нашего участка добрался один из переулков. При постройке дома бабушка распорядилась, чтобы прежде всего вырыли два погребов. “Большой погреб” частично находился под

домом, а так называемый "подвал от ненастья" был расположен отдельно и служил хранилищем продуктов, одеял, воды — всего, что могло понадобиться в случае разного рода стихийных бедствий. Однажды во время лесного пожара этот погреб действительно нас выручил: мы задохнулись бы от дыма, если бы не укрылись там. У бабушки, как и у многих фермеров, была мечта: иметь клочок земли, свободный от закладных и достаточно большой, чтобы посадить на нем виноград, крыжовник, клубнику, спаржу и ревень — чтоб все непременно плодоносило каждый год, — три персиковых дерева, одну яблоньку и еще завести огорожок. У нас была одна корова, она регулярно телилась, кроме того, каждую весну мы покупали новорожденного поросенка. К осени поросенок жирел, откормленный объедками со стола, его закалывали, коптили окорока и бекон, запасали на всю зиму свиной жир. Нам оставалось покупать (или менять на продукты, или отрабатывать) только керосин, дрова, кофе и муку, причем муку мы могли молоть из собственной кукурузы и желудей. А могли — из той травы, что росла на болотах, как это делала Зона. Кстати, молодые побеги той же травы она ела вместо салата.

Как я уже сказала, подвал был подведен только под часть дома, снаружи он был облицован желтым речным камнем — эта же облицовка в один фут вышиной служила фундаментом; желтый песчаник остался таким же надежным и крепким много лет спустя, когда я снова побывала здесь. Сосновые доски пола были все так же прямолинейны в своей наивной простоте и симметрии. Ни центральная ось, ни балки не прогнулись, пол не покособился, половицы не покосились. Дом строили на совесть, твердо веря в то, что он простоит по крайней мере лет сто, даст кров и тепло простым и достойным людям. В доме ни одна щепка даром не пропадала, не было ничего избыточного. Во всем доме насчитывалось всего два "излишества". Первое — маленькое окно-фонарь, простенькое — самая обыкновенная ниша, в которой умещался столик. Из этого окна я в детстве видела сразу две улицы; позже за этим столиком я написала свои первые рассказы. Вторым "излишеством" была парадная дверь с резьбой, изображавшей желуди, они были покрашены в черный цвет, а может, почернели от времени.

Передняя комната была гостиная, она и впрямь предназначалась только для гостей. Шторы в ней всегда были задернуты, чтобы не выгорали большие красные розы на ковре. На двух подставках стояли литографии — портреты родителей моей бабушки. Дверь из этой комнаты вела в малую гостиную, а оттуда — в кухню, расположенную частично в доме, а частично в саду под персиковыми деревьями. Жили мы в основном на этой кухне: здесь стояла дровяная печь, у которой каждый вечер по субботам мы все мылись в большом корыте. Меня и братьев мыли в одной воде, потому что воду нужно было носить от

колонки с улицы. Кроме того, возле дома под карнизом стояла бочка с дождевой водой. Я завидовала тем, у кого возле дома была цистерна, в которой скапливалась дождевая вода и перекачивалась потом в кухню.

В летнюю кухню мы ходили по коридору, сбоку открытому, как терраса, дальше попадали в маленькую комнатку, где принимались роды. В хорошую погоду те, у кого хватало денег на "керосин господина Рокфеллера", как говаривала бабушка, готовили в летней кухне: с керосином не нужно было зря изводить дрова и отапливать весь дом. (Помню, бабушка говорила: "Керосин вздорожал на два цента, если Рокфеллер будет и дальше так наживаться на нас, придется перейти на свечи".) Рядом с кухней была еще одна комнатка — наша единственная спальня. Мы с братьями спали в маленькой гостиной, на кушетках.

Я забыла упомянуть еще одно небольшое "излишество" в нашем доме: узкую веранду, огибавшую две трети фасада, ее поставили на обтесанные деревянные столбики. Позже вокруг этой веранды сделали дорожку для прогулок.

Дома такого типа разбросаны повсюду в прериях Среднего Запада — это своего рода чудо культурного наследия, их простые, четкие линии рассказывают о том, как элементарны были потребности первых поселенцев, о тех строителях и тех материалах, которые они использовали. И поселенец, и время, и дерево — все было воплощением добротности. Все было строго, достойно, без дурачеств, жестко и скупое, как мир самого пуританина. Наш дом отражал характер моей бабушки, ее потребности, ее неприятие вольных нравов пограничной полосы, бесчинств, ее верность суровому и мстительному, но справедливому богу. Эта женщина, в одиночку боровшаяся с трудностями, целомудренная до того, что старалась не видеть даже собственного тела, когда мылась, оставила во времени и пространстве память о своей порядочности, прямоте, чувстве долга.

Дом был сперва обставлен мебелью моей тетки-миссионерки; такая мебель была модной в свое время, потом в моду вошли старинные вещи, а тяжеленные кресла, обитые искусственной кожей, достались нам, бедным родственникам. Я благоговела перед просторным уютом нашего дома. Здесь я впервые услышала музыку: по вечерам бабушка садилась к маленькому органу и пела песни, она знала их совсем немного. И пела так, как поют все пуританки, уныло и тихо, словно звучно и весело петь было неприлично. Когда бабушка пела в церкви, у нее на шее вздувались жилы, а голос звучал жалобно, в нем слышалась скорбь и мольба и мечта о земле обетованной: "Введи нас в дом свой, возьми нас за руки, о боже, и выведи из этой пустыни, дай нам отдохнуть в лоне твоём". Пела она и о тяготах нашей скорбной юдоли: "День за днем тружусь я в поте лица своего, печаль живет в моей страждущей душе, смерть глядит из таинственной тьмы, зовет нас из мрачных могил. Дай простешествовать

мне, во славе, к месту распятия твоего, к тому дереву, к тому устрашающему свету, к цветам, побледневшим от страха. Томлюсь я по тебе, о боже, где же скрываешься ты?" А потом пела единственную известную ей песню о любви: "Иисус, возлюбленный сердца моего, позволь прийти в твои объятия".

Только по этим псалмам могла я представить себе всю глубину печали моей бабушки, ее страшное одиночество, жажду смерти и то, как старательно она все это скрывает. Иногда я слышала, как она плачет по ночам, но не могла войти к ней и утешить — я чувствовала, что это ее унижит. Днем от этих слез не оставалось и следа. Скрывая свои чувства за броней иронии, она выполняла свои обычные обязанности, хрупкая и в то же время сильная, воистину вставая цитаделью пуританства, вместилищем души, в которой боролись надежда и отчаяние. Все мы жили, робко съжившись на чужой земле, стараясь переждать непогоду, ночами наш дом напоминал корабль, где капитанами были женщины.

Дома с белыми стенами, такие же, как наш, воплощение пуританской демократической идеи, до сих пор сверкают среди прерий. Их покидали, к ним возвращались, потом покидали опять, как и мы оставили дом бабушки в годы депрессии, перед первой мировой войной. Об этих домах все еще помнят те, кто когда-то ушли на заработки в город или на поля сражений, в чужие края. Маленький надежный дом со светлыми стенами преследует нас и во сне, сон этот не кончается, он тянется, покачиваясь на волнах времени. Спуститесь внутрь этих заброшенных стен, словно в морскую пучину, поищите там сокровища — чтоб не бессмысленно было ваше нашествие. В диковинном свечении дна морского эти домики сияют в нашей памяти мощным, лучистым светом.

В таком деревянном доме жила моя бабушка; в ее мыслях витали ангелы, тайная вечеря, вознесение девы Марии на небеса. Мы читали псалмы, читали о воскрешении Христа. Бабушка ждала дня своего вознесения в рай. Она верила, что и она, и все, кого она любит, непременно попадут в рай. А этим, земным, миром управляет дьявол.

Живя на пограничных землях и сражаясь в одиночку, трудно было уберечь христианские добродетели. Их скрывали под кружевными косынками, длинными юбками, корсетами, перчатками. Прямая, суровая, с застывшей на губах иронической улыбкой, она покинула в восемьдесят пять лет эту обитель дьявола — жизнь земную.

* * *

После второй мировой войны я отправилась в прерию навестить дом бабушки. Он стоял все там же, в деревне, которая пре-

вратилась к тому времени в промышленный поселок. Ориентируясь по солнцу, я шла к нашей улице. Вот она, эта широкая улица, и на перекрестке дом: он такой же, как и раньше, сияющий и светлый — незадолго до моего приезда какой-то ретивый протестант покрасил стены. Веранда, идущая вдоль фасада, совсем не покосилась, она все так же крепко стоит на своих незатейливых столбиках. И окно-фонарь на месте. Вокруг заднего крыльца все та же решетка, погибли лишь розы, которые когда-то обвивали ее. Старый верный друг — куст сирени — не подстрижен, неряшлив на вид, но он жив, а маленькие ирисы все еще растут у фундамента из речного камня, надежно и крепко поддерживающего дом. Виноград одичал. Одно из персиковых деревьев сохранилось, только разрослось вширь и смахивает на почтенную матрону. Я уверена, что оно все еще родит персики, хоть немного, но родит. Видно, у нынешних хозяев дома не все в жизни клеится: лестницы, ведущие в подвалы, усеяны бутылками от виски и кока-колы, возле "подвала от ненастья" валяется кукла без головы. Но видны следы перестройки: внутри дома, в одной из бывших кладовок, даже появился туалет — как видно, его сделали, когда в деревню провели водопровод. Хорошо растет трава, я даже углядела ландыши у заднего крыльца.

Когда мне открыли парадную дверь, я вошла со страхом: воспоминания детства обвились вокруг меня. Казалось, вот-вот появится у двери высокая фигура бабушки, она встанет, спрятав руки, как всегда, под фартук.

— Вот видишь, — скажет, — какой хороший дом я построила.

— Да, — отвечу я. — Даже полы не покосились. Ты построила его на века.

Обои на стенах, судя по всему, переклеивали. Было и чудно, и радостно снова попасть в этот надежный деревянный сундучок. Казалось, весь наш измученный век тронулся по лабиринтам этого дома. Я представила себе, как из поколения в поколение его обитатели варили виноградное желе, красили яркими красками добротные, крепкие стены, и прекрасная эта обитель служила памятником бабушке, ее стойкости, ее мудрости и силе.

Как часто наша слабость оборачивается силой. Дом выглядел под своей крышей таким же целомудренным, сдержанным, как бабушка под шляпкой от солнца. Он выдержал, как и мы, все бури нашего времени, все циклоны человеческой борьбы, все катастрофы Америки.

А потом я уехала, и оглядываться не было нужды. Ящик Пандоры открылся в моей душе, в нем мерцал апокалипсический свет.

Мое поколение за одну жизнь пережило многое — от пограничного фермерства до века машин и механизмов. На моих гла-

зах были разорены тысячи фермеров-хлеборобов. В тот год, когда я родилась, династии Хиллов и Морганов, вопреки запрету на монополии (такой закон был принят популистской партией), слили воедино свои несметные богатства, дабы навеки обеспечить, как они объяснили, благополучие своих внуков. Я видела все это и все выстрадала: опустошение, душевную боль и скорбь моего народа.

За свою жизнь мы повидали многое: колониальный гнет, войны, налоги, закладные. Я была в рядах тех, кто вдохновлял на борьбу разгневанных рабочих и фермеров, этих Давидов, поднявших пращи на могучих Голиафов.

Прожив несколько лет в Канзасе, мы вернулись на север, как раз во время крупных забастовок и депрессии, до начала мировой войны. В городе Форт-Скотт (штат Канзас) в Народном колледже моя мать познакомилась с юношей по имени Артур Лесюр; он организовал совместно с Юджином Дебсом¹, Эллен Кей и Чарлзом Штейнмцем² самую известную в стране школу трудовой молодежи. Тысячи фермеров и бедняков из горных районов, шахтеров и рабочих учились там заочно, овладевая английским языком, основами юриспруденции, историей по программе, составленной специально для них.

Моя мать, Мэриан Лесюр, организовала издание самого поразительного учебного пособия Америки — так называемых "голубых книжек". В тексте приводились цитаты из Маркса, Джефферсона, Тома Пейна (потом рабочие спрашивали ее, что это за люди, из каких они мест). Достать дешевые издания книг этих авторов было невозможно, книги, которые издавала Мэриан, были небольшого формата, их можно было носить в кармане комбинезона, и стоили они пять центов. Миллионы "голубых книжек" разошлись по стране, их можно было увидеть в руках фермеров на пшеничном поле, на фабриках и в товарных вагонах.

Артур и Мэриан Лесюр не претендовали на роль единственных в те годы просветителей. Они были простыми солдатами огромной армии сподвижников, проявлявших беспримерную стойкость. Они вели борьбу с королями, захватившими власть в нашей бескрайней молодой империи. Они примыкали на своем веку ко многим прогрессивным движениям и никогда не теряли веры в свое дело. Отец до последнего дня своей жизни (он умер 85-ти лет), даже предчувствуя приближение смер-

¹ Дебс, Юджин (1855—1926) — деятель американского рабочего движения, один из организаторов Социалистической партии США.

² Штейнмец, Чарлз Протеус (1865—1923) — участник социалистического и рабочего движения, известный электротехник. В 1889 г. эмигрировал из Германии в США, сделал ряд открытий и изобретений. В 1922 г. обратился с письмом к В. И. Ленину, в котором приветствовал социальные преобразования в Советской России, предлагал свое содействие в осуществлении плана ГОЭЛРО. В ответном письме В. И. Ленин выразил благодарность за добрые пожелания и предложенную помощь.

ти, продолжал бороться. А мать, когда ей было семьдесят пять, выставила свою кандидатуру в сенат, чтобы убедить Америку не вступать в войну.

Артур родился в боевой по духу семье: после поражения Французской революции его родители на лодке пересекли Ла-Манш и поселились на острове Джерси, где познакомились с Виктором Гюго, отбывавшим там ссылку. Позже, в поисках свободной земли, семья перебралась в Америку, в штат Миннесота, и поселилась в цветущей долине, которая называлась так же, как и штат, — Миннесота, в городе Нинингер, где в свое время жил Игнатий Доннелли¹. Этому городку суждено было стать Афинами тех мест. После смерти матери Артур, его двое братьев и сестра Энн работали не покладая рук, чтобы у них не отобрали землю в годы депрессии.

Артур впервые попал в суд, когда судили его отца: тот исхлестал кнутом банкира. Банкир пришел к ним на ферму и объявил, что закладная просрочена и долг погасить невозможно. Тогда-то Артур решил стать адвокатом и защищать бедных. Привыкший с детства к одной овсянке, он до шестнадцати лет рос плохо и в школу пошел только тогда, когда парты начального класса были для него малы. Позже он заработал на сборе урожая денег, чтобы поступить в юридическую школу в городе Энн-Арбор, и там получил прозвище Лесной Бык. Купил старую жатку фирмы Маккормик и летом сдавал ее напрокат. Вырученных денег хватило до окончания школы. Получив диплом юриста, он открыл контору в городе Майнот, в Северной Дакоте. Обставил ее скромно: кухонный стол, пара стульев, на столе — свод законов, на стенке ружье. Он отстаивал здесь законы пограничной полосы, кроме того, подрабатывал, выступая адвокатом в суде.

Еще в молодые годы Артур вступил в спор о боге со знаменитым епископом Уипплом из Сент-Пола, который однажды побывал у них на ферме. А в девять лет, идя за плугом, Артур бросил вызов самому господу богу, предложив ему как-нибудь проявить свою мощь — ну, к примеру, поразить его насмерть, — а не сможет, так и сидел бы тихо. Кары небесной не последовало. Наверное, поэтому Артур и стал борцом за народное дело: еще в детстве он избавился от страха, комплекса вины и веры в могущество религии.

По ночам, сидя на берегу реки Маус, он изучал труды Маркса и стал социалистом. Его избрали мэром города Майнот от партии социалистов, но в первый же день его пребывания на этом посту Артур угодил под арест. Дело в том, что он приказал снять с ног узников кандалы и бросить в реку гири и цепи.

¹ Доннелли, Игнатий (1831—1901) — американский писатель, сторонник либеральных реформ. Автор известного утопического романа "Колонна Цезаря. История двадцатого столетия" (1891).

Его обвинили в разбазаривании городского имущества.

Артур Лесюр любил беспокойную жизнь границы и тосковал, когда все кончилось. Он был коренастый, с сильным телом пахаря, лицо его было смуглое, как у индейца, потому что он подставлял его солнцу и ветру прерий. Главной его чертой была, пожалуй, невероятная, неколебимая неподкупность. Ему было присуще огромное чувство ответственности и социальной справедливости. Считал, что главное в человеке — характер, врожденное свойство, которое нельзя купить, продать и даже выкопать из-под земли.

Артур Лесюр имел особый талант — талант защитника. Защищать невинно пострадавших было для него делом чести, мерилом порядочности и мужества. Его требования к себе и к людям были суровы. Зато бурный судебный процесс возбуждал его, как состязание на приз, и он блистательно проявлял все свои способности, защищая угнетенных. Он участвовал в открытой дискуссии, развернутой "Индустриальными рабочими мира" (ИРМ), и был арестован вместе с членами организации. Ему предложили свободу; он отказался и выступил защитником рабочих в суде. А однажды с ним произошел такой случай: какой-то фермер просрочил долг, и банкир потребовал, чтобы наложили арест на стадо коров, принадлежащее этому фермеру. Артур пригнал это стадо прямо к зданию банка и заявил банкиру: "Получайте ваше имущество!" Жизнь ему казалась неинтересной, если не случалось доброй схватки с неприятелем. Он всегда хорошо изучал врага и не имел обыкновения его недооценивать.

Артур не брал в рот спиртного, был целомудрен и застенчив, знал бездну всяких историй и сказок про Баньяна¹. Он читал стихи Роберта Бернса и рассказывал смешные истории на местном наречии.

Артур Лесюр черпал силы в земле и в людях. Больше всего ему нравилось преподавать. Людям лишь надо научиться понимать, говорил он. И считал, что сам учится у народа. Он объезжал в своем стареньком автомобиле небольшие городишки Дакоты и Миннесоты, возя с собой свернутую трубкой карту. Я побывала с ним во многих поселках и на железных рудниках Миннесоты, где мы распространяли листовки. Нам часто приходилось делать это тайно, потому что шпики Пинкертон и нанятые компаниями бандиты рыскали как ищейки и могли пристрелить на месте человека за то, что он продает левые газеты. Мы приезжали в поселок после полудня, просили разрешения занять на вечер школу. Потом раздавали приглашения: "Мы расскажем, как Хлебная биржа одним росчерком пера обставляет вас!" Дальше шли к кому-то из друзей пообедать, а если в поселке знакомых не было, закусывали бутербродами прямо

¹Поль Баньян — сказочный лесоруб, совершавший фантастические подвиги вместе со своим быком Бейбом.

в скверике на скамейке. В семь вечера мы входили в школу, зажигали висячую керосиновую лампу, развешивали на стене карту и схемы.

По схемам было видно, как мошенничают на Хлебной бирже: первосортное зерно записывают третьесортным и отнимают таким образом у фермеров миллионы долларов дохода. Артур рассказывал, почему им живется плохо и как можно улучшить их жизнь. Он возил с собой схемы из книги по сельскому хозяйству, написанной Дж. Пауэллом в 1878 году, которые помогали многое понять. Например, почему невыгодна ферма площадью в 160 акров. Фермерам следовало бы давать больше земли, разрешать объединяться в кооперативы, так как им нужны общинные пастбища и коллективный контроль за общинной собственностью и водоемами. Автор пояснял, почему вредно пахать плугом, отчего бывают пылевые бури, почему вырубка леса вызывает наводнения. На последней странице книги Пауэлла рассказывалось о том, что эксплуатировать землю, принадлежащую всем, захватывать железные дороги и иметь монополию на продажу пшеницы позволено горстке людей — таким, как местные семейства Пилсбери или Уошберн. У них, как подшучивали фермеры, новорожденному на мягкое место ставят печать конгресса, чтоб с рождения обеспечить туда доступ.

На этих сходках в амбарах и на многолюдных пикниках, куда съезжались целыми семьями и даже деревнями, редко предавались мрачным размышлениям. Женщины устраивали богатые застолья, потом пели песни: "Только фермер кормит всех", "Боевой гимн республики", а иногда "Алый флаг, что реет над народом, — это кровь погибших за свободу". Если в ранней юности вы никогда не слышали, как поет на сходке простой народ, не дрожали всем телом как осиновый лист, ощущая, что у вас над головой словно гремит сама история, тогда вам трудно представить себе эти сходки в тополиных рощах, а то и в открытом поле, с дозорными, которые, как правило, чуяли приближение шпика миль за пятьдесят, а в хорошую погоду — так и за сто.

При последней схеме книги Пауэлла был начертан призыв Игнатия Доннелли: "К шатрам твоим, Израиль! Верни землю американскому народу, спаси плодородную почву от плутократов-хищников, дай американцам право голоса, сделай их хозяевами жизни — сейчас они пешки и автоматы в руках монополистов. Скоро явится на свет партия трудового народа — это младенец, который сразу родится гигантом. Уже сейчас из десяти миллионов сердец рвется призыв к борьбе за лучшее будущее. В руках армии тружеников кузнечный молот. Это ваша партия. Троны тиранов пошатнулись; вперед, на битву!"

Эти пламенные слова вызывали бурный отклик. Их фермы отстояли миль за сто друг от друга, у них не было общих предков, и говорили они на разных языках, но вот кто-то захотел объединить их и повести за собой. Им наконец-то объяснили,

что именно "посланники господ" отбирают у них зерно, а вскоре отберут и фермы. И люди задумывались: почему мы не можем прокормить себя, живя на такой плодородной земле, среди таких сочных трав? Почему так дорого стоят машины и не вредят ли земле ограждения?

На руднике вспыхнула стачка. Я понимала: если рабочие потребуют восьмичасового рабочего дня, их просто перестреляют. Арестовали Билла Хейвуда¹. Шахтеры требовали сокращения рабочего дня и повышения зарплаты. Хозяева привезли несколько тысяч охранников, наняли штрейкбрехеров в Миннеаполисе, на улице Гейтуэй, которая считалась крупнейшим рынком рабочей силы на северо-западе. Вооруженный охранник убил разносчика Литвалу. Пересажали всех левых лидеров на двадцать миль вокруг. Совершенно безоружных рабочих обвиняли в убийстве. Руководителей ИРМ тоже бросали в тюрьму.

Артур был одним из основателей ИРМ, созданного на съезде в 1905 г. Он выступал в защиту горняков в Ладлоу. Он был защитником Билла Хейвуда, членов ИРМ, противников войны.

В наше время все, пожалуй, уже осознали, как жестоки были репрессии и унижения, которым подвергали в начале столетия ирмовцев, социалистов, пацифистов. А тогда к этому относились совсем иначе. Наша семья не просто оказалась в изоляции за антивоенные настроения — нет, в нас стреляли, обыскивали дом и забирали книги, потом сжигали их на костре прямо перед нашим домом в Сент-Поле, на Дейтон-авеню. В окна к нам швыряли завернутые в бумагу камни, а на бумаге писали бранные слова. Организаторов Лиги непричастных били, измывали дегтем и обваливали в перьях. Деготь, между прочим, нелегко отмыть; я проводила с пострадавшими целые дни, стараясь смыть деготь, не ободрав при этом и кожу. В штате Миннесота был создан так называемый "Комитет бдительности" (или Комиссия общественной безопасности), это была фашистская организация с неограниченными правами, во главе которой стоял губернатор Бернкуист.

За Чарлзом Линдбергом-старшим, участником красного парада, состоявшегося в городе Ред-Уинг, Миннесота, погнались фашисты. Колонна машин красного цвета завернула к какому-то фермеру, толпа потянулась следом. Перед ними вырос амбар, выкрашенный желтой краской. Не исключено, что Линдберга измывали бы дегтем и вываливали в перьях, если бы не счастливая случайность: по полю проходила железная дорога, и в это время поле пересекал поезд, машинист которого тоже был противником войны. Он остановил состав, втащил Линдберга на паровоз и увез от преследователей.

¹ Хейвуд, Уильям (1869—1928) — деятель рабочего движения в США, один из создателей и лидер организации "Индустриальные рабочие мира", член Социалистической партии, позже — член Коммунистической партии США.

В 1916 году на съезде в Сент-Луисе произошел раскол в Социалистической партии в связи с вопросом войны и мира. Артур и Мэриан Лесюр голосовали против войны. Сенатор Лафоллет, депутат от штата Висконсин, единственный во всем сенате голосовал против войны. После этого его портрет в Мадисоне, в здании правительства штата, повесили лицом к стене, в самого Лафоллета плевали на улице.

Фрэнк Литтл, рабочий железных рудников и член ИРМ, отправился в Бьютт, чтобы присоединиться к забастовке местных шахтеров. В одной из стычек он сломал ногу, его выволокли из дома и повесили на городском мосту. Вся вина Литтла заключалась в том, что он протестовал против трагической гибели 163 шахтеров, сгоревших во время взрыва в одной из шахт Анаконды.

Мне страшно вспомнить годы войны. Из тех мальчиков, с которыми я училась в школе, почти ни один не вернулся с фронта. Наша семья была на нелегальном положении: мы, дети, почти не смели появляться в школе. Но в 1918 году в Северной Дакоте при поддержке Лиги непричастных к власти пришло социалистическое правительство. Целый год социалисты были ближайшими советниками губернатора, да и в законодательных органах они были в большинстве. Они экспроприировали элеваторы, шахты, издания газет. Вместе с фермерами и другими юристами Артур впервые создал свод законов, защищающий рабочих и фермеров. Среди них были законы, предусматривающие соцобеспечение, пособия по безработице, изъятие монопольных прав у отдельных компаний, отзыв выборных лиц, не выполнивших наказания избирателей. Позже эти положения легли в основу так называемого Нового курса — законодательства, принятого при Франклине Рузвельте¹.

Самой удивительной чертой радикалов того времени был их неистребимый оптимизм. Артур пережил тяжелые времена — стачки, разгромы организаций, созданных им и его товарищами. Руководители этих организаций и их последователи попадали в черные списки, им угрожали расправой и иногда действительно убивали. Однако Артура нельзя было сломить ни угрозами, ни расправами. Он был убежден: народ восстанет снова. Когда ему было шестьдесят, он баллотировался на пост муниципального судьи, но "денежные мешки" провалили его кандидатуру. Его же сторонники были бедняками. Уже в возрасте восьмидесяти лет, полуслепой, почти без клиентуры, он все же взялся защищать узников Стилуотера, которых считал несправедливо осужденными.

В этом мире "прямолинейного", по выражению Зоны, зла

¹ Комплекс законодательных мероприятий, осуществленных правительством в 1933—1939 гг. с целью преодоления экономических и политических затруднений, вызванных кризисом 1929—1933 гг.

я росла, привыкая к всевозможным переменам. Мне повезло: живя в эпоху катаклизмов, я осознала свои истоки, увидела их социальные корни. Я не строила замков на песке; я росла в такое время и в такой стране, где быстро расстаются с иллюзиями, но я знала, что есть земля и есть люди и что они достойны любви.

Я училась в хорошем колледже, жила в местности, где происходили колоссальные стихийные и социальные потрясения. В человеческом обществе, как и в нашей необузданной природе, яростно боролись противоборствующие силы. Вовсю, неистово качался маятник. В иммигрантах, туземцах, ссыльных революционерах жил непокорный, бунтарский дух, и такая же взрывная сила жила в нашей почве, и в нашем пейзаже, и в бурной природе. Когда-то мы поселились в лесу, где земля, словно ковром, была покрыта слоем перегноя, он накапливался в течение миллиона лет, с поры образования Великих озер и рек. А еще за пятьсот миллионов лет до этого долину реки Миссисипи то взрывали вулканы, то заливало море. Мы жили на ледниковом оползне, на земле, которая горела, взрывалась, когда-то была целиной, а потом давала неслыханные урожаи. В ее недрах четыре с половиной миллиарда лет таились медь, железо, золото и никель. Уже на моем веку снег стал радиоактивным, а почву отравил стронций-90. Здесь рождались сильные, могучие люди. Вернувшись сюда из других краев, видишь, как глубоки корни, как разворочена земля.

И поэтому нет ничего удивительного в том, что здесь прожили четыре или пять поколений — и радикалы, и сектанты, и аболиционисты, и красные республиканцы, и антимонополисты. Все эти течения начинались глубоко и развивались извилистым путем, словно корни люцерны.

Меня взрастила эта местность, это время, эти люди. Наш дом на Дейтон-авеню давал приют изгнанникам-радикалам, этому храброму племени. Очень большое влияние на меня оказали члены ИРМ: они утверждали, что лишь в среде рабочего класса рождаются поэты, певцы, пророки, герои и мученики. Они разъезжали по стране с красной книжечкой ирмовца в кармане и устремлялись в первую очередь туда, где попирались права рабочих. Иногда они ненадолго останавливались в нашем доме передохнуть, набраться сил, поесть, помыться — и тогда рассказывали истории, от которых волосы становились дыбом. О скитаниях в товарных вагонах, о землепашеских фермах, о доках Сан-Диего, о лесорубах, об ораторских поединках в Сизтле. Они наперечет знали все тюрьмы, в которых можно спокойно перезимовать, пополнить свое образование, почитать нужную литературу, прокормиться до весны.

Чарлз Эшли, сын английского лорда, постоянно ходил с

тросточкой и томиком стихов; он появлялся на пшеничных полях, где разъяснял фермерам их права и читал им стихи. Джо Хилл, высокий блондин с незабываемыми голубыми глазами, пел на улице Гейтуэй, на митингах в Сент-Поле, в парке Смита и Рейса, где рабочие получали образование у оратора, поднявшегося на ящик из-под мыла. Очень часто такой урок прерывала полиция, а наставник отправлялся на "ночлег" в тюрьму.

Эти люди носили в карманах стихи, маленькие "Красные песенники", листовки, в которых тоже были стихи и песни. Носили и экземпляры "Призыва к разуму"¹, распространяя миллионные тиражи этой газеты. Работали на сборе урожая, копили деньги, чтобы открыть школу где-нибудь на задворках Хеннепин-авеню или в квартале у реки и преподавать там всю зиму курс классовой борьбы. Готовясь к тюрьме, они учили стихи, постигали искусство преподавать без книг. То были просветители, носители знаний.

Кейт Ричардс О'Хара, высокая ирландка, была арестована в Северной Дакоте за антивоенные выступления. Она приехала к нам накануне процесса, жила у нас в доме и рассказывала о марше детей в Вашингтон, который она организовала. Это было после так называемого "Восстания в зеленой кукурузе". Отцы этих детей — фермеры штата Оклахома — не подчинились военному призыву и спрятались среди высоких стеблей кукурузы, где отсиживались до конца лета. Когда кукурузные листья пожухли, полиция штата открыла стрельбу и вынудила их покинуть ставшее ненадежным убежище. Пацифисты были арестованы, но их дети, под предводительством Кейт О'Хары, пересекли всю страну, питаясь подаванием фермеров, к которым заходили по дороге; к ужасу президента Вильсона, под окнами Белого дома внезапно появилась толпа голодных и оборванных детей, пришедших просить амнистии для своих отцов.

Наш дом в Сент-Поле был небольшой — чуть больше бабушкиного, — двухэтажный, с лестницей, на которой при желании могло уместиться человек пятьдесят. Здесь мы слушали шахтеров из Колорадо, исхудавших и измученных. Сюда же тайно приехал Линкольн Стеффенс², объявленный Вильсоном вне закона, — чтобы рассказать о событиях в России.

У нас же скрывался Билл Хейвуд, одноглазый шахтер огромного роста. Рассказывая, он мерил шагами маленькие ком-

¹ Социалистическая газета, пользовалась популярностью в США в начале 1900-х гг.

² Стеффенс, Линкольн (1866—1936) — американский писатель и публицист, лидер движения "разгребателей грязи" в начале 1900-х гг. Посетил Россию в 1917, 1919 и 1923 гг. Огромное воздействие оказала на Л. Стеффенса встреча с В. И. Лениным. По возвращении из России он произнес свою крылатую фразу: "Я видел будущее, оно наступило". В 30-е годы переходит на позиции коммунизма.

наты нашего дома. В то время его освободили под залог; он говорил, как надо преодолевать свои слабости, чтобы стать борцом за дело рабочего класса; признавался, что любит выпить и иногда пускается в загул, тогда бродит по кабакам, читает стихи, затевает шумные ссоры. Потом — ради борьбы за правое дело — берет себя в руки и забирается в свою "берлогу", где изучает Маркса, Моргана¹ и Дж. Лондона. Он очень любил Шекспира, наизусть читал целые сцены. А иногда, как он сам говорил, "укреплял себя постом".

Хейвуд считал, что его первыми учителями были шахтеры. У каждого была какая-нибудь книжка, и один передавал свою другому, кроме того, всегда находился какой-нибудь грамотей, который учил других. От одного из таких наставников Билл впервые услышал слова: "Если плохо одному — плохо всем". Хейвуд рассказывал нам о "мучениках Хеймаркета²". Ему показалось, говорил он, что от этих людей исходит яркий свет. А мне казалось, что сам он огромное дерево, выросшее среди мрака и ужаса шахты. Он рассказывал о каторжном труде, который калечил шахтеров, о том, что кожа у шахтеров оловянных рудников мертвенного, пепельно-серого цвета, что они медленно умирают от отравления оловом. Но он не только их оплакивал, он за них боролся.

На судебном процессе адвокат Кларенс Дэрроу произнес в защиту Хейвуда речь, которая продолжалась одиннадцать часов. На демонстрацию протеста в одном только Бостоне вышло 50 тысяч человек. Теодор Рузвельт назвал Дэрроу "нежелательным гражданином". В ответ на это мы вышли на улицы, неся плакаты: "Я — тоже нежелательный гражданин". В своей речи Дэрроу сказал: "Я выступаю в защиту бедных, в защиту слабых, в защиту тех, кто, живя во мраке и отчаянии, несет на себе бремя труда, выпавшего на долю человечества". Весь мир ждал приговора. Суд признал Хейвуда невиновным.

Юджин Дебс был человеком, подобных которому я не встречала ни до, ни после. Он излучал любовь, он не стеснялся этого чувства и выражал свою любовь открыто, он любил людей, он целовался при встрече. В прериях, где я выросла, было не принято целоваться, но Юджин Дебс целовал и своих товарищей, и женщин, и детей. Такой человек мог появиться только на Среднем Западе. Он знал множество стихов, читал наизусть предисловие к уставу ИРМ, помнил решительно все пословицы и поговорки. Мне кажется, Дебс воплотил в себе наш народ.

Битвы того времени вскормили и закалили Юджина Дебса.

¹Морган, Льюис Генри (1818—1881) — американский историк и этнограф.

²Хеймаркет-сквер — площадь в Чикаго, получившая известность в связи с расстрелом рабочей демонстрации 4 мая 1886 г. Событие легло в основу празднования 1 Мая как Дня международной солидарности рабочих.

Они же и поглотили его без остатка. Он любил землю Америки и ее народ. Помню, как он сидел у нас на кухне и декламировал предсмертную речь Джона Брауна¹. Он верил в силу ораторского искусства, в силу поэзии и любви. Это был худой, долговязый человек, жестами и движениями напоминавший деревенского мальчишку: казалось, его так и тянет застенчиво отступить за чью-нибудь спину. Тонкие черты лица, лысая голова — весь его облик излучал доброту, даже нежность. Он тоже любил выпить с рабочими в баре, наизусть читал стихи, рассказывал им всякие истории, слушал их рассказы.

Он был блестящим оратором. Во времена, когда еще не было никаких микрофонов, его отточенные фразы звучали набатом, словно резонировала его душа. Он расхаживал взад и вперед, поднимал свои длинные руки и говорил как учитель и в то же время как влюбленный юноша. В 1908 году во время президентских выборов Артур предпринял вместе с Дебсом поездку на "Красном поезде". Каждый час они произносили с платформы речи, фермеры слушали их, бросив работу в поле, на станциях рабочие подходили прямо к поезду.

В те времена завелась традиция: стоило Дебсу окончить речь, к нему шли девушки с букетами роз. Одетые в белые платья, мы несли эти розы — символ пролитой рабочими крови. Каждая из нас хотела сказать ему что-нибудь, и он наклонялся, чтобы выслушать. Никогда не забуду, как со слезами на глазах я произнесла цитату из его же собственной речи: "Дайте народу землю — больше нам ничего не нужно". Он взял цветы, потом наклонился и поцеловал меня и других девушек. Все присутствующие плакали. Нас наполняла такая нежность, какой мы не испытывали раньше. Как-то в Сиэтле я встретила одного старика, который тоже помнил тот солнечный день, речь Дебса в парке и точь-в-точь повторил его слова, хотя прошло уже полвека. Он плакал, вспоминая об этом.

А еще я помню рассказ Дебса о том, как он на улице в Сент-Поле столкнулся лицом к лицу с Джимом Хиллом, железнодорожным магнатом. Это было как раз после того, как в 1896 году поезда Хилла встали во время Пульмановской забастовки, организованной Дебсом, хотя Хилл бахвалился, что ни один из его рабочих не будет бастовать, потому что он, мол, знает каждого из них в лицо. Однако рабочие пошли за Дебсом и выиграли забастовку, а потом Дебс рассказывал, что, когда он уезжал из Сент-Пола, тысячи железнодорожников, обнажив головы, выстроились вдоль путей и стояли в глубоком молчании. Самое большое счастье, выпавшее мне за всю жизнь, сказал Дебс, я испытал в эти минуты: они стояли с лопатами в руках, их лица сияли от счастья, в глазах были слезы. Это было призна-

¹ Браун, Джон (1800—1859) — борец за освобождение негров-рабов в США, был повешен по приговору рабовладельческого суда.

ние куда более драгоценное, чем все в мире цветы.

Вот они, пророки, вышедшие из прерий, где возделывают хлеб, вот они, сказания народа. Они живут в соках, питающих корни, в белках, строящих клетки.

DOÀN KÊT¹

I

Сестры, как нам встретиться с вами?

Как нам, разделенным преступным пространством, услышать друг друга?

Как пробиться друг к другу сквозь ужас кровавых цветов?

Для меня вы всегда рядом, ваша боль, как дыхание
вашей давней, великой борьбы, вашей нежно-уверенной силы.

Огромные динозавры погибли! Выжили легкокрылые бабочки
и шмели!

Ни один из моих внуков не поднял оружия против вас!

А губители без конца травили все живое на нашей планете.

По всем народам прошлись тяжкие копыта завоевателя!

Белые охотники стреляли и в наших соотечественников, разрушали
селенья

и на нашей земле. Мертвые деревья, истерзанные поля,
загубленные всходы!

Мы тоже находимся в оккупации, тоже томимся во чреве акулы.

Взгляните на плотоядные лица наших губителей:

Форд, Рокфеллер, Киссинджер — вот кто возглавляет
вторжение в Азию.

Захваченная, поруганная, стонущая земля, и голодные женщины
в жутком хоре истерзанной плоти; воздух, пропитанный
угарным газом и миазмами грабежа.

От нашего тела исходит серное свечение бесчисленных лет
эксплуатации. Наш праведный крик, словно яркая вспышка света,
озаряет развалины, обнажая человеческую жестокость и
несправедливость, человеческую низость и мерзость,
человеческое величие и святую правду незаживающей раны.

¹ Doàn Kêt (вьет.) — означает "солидарность". Это стихотворение было передано Союзу женщин Демократической Республики Вьетнам, где его перевели на вьетнамский язык. Оно встретило теплое сочувствие читателей. Автор получила от вьетнамских женщин письмо с выражением благодарности.

Ныне подлинным знанием обладают лишь те, у кого отобрали последнее.
Земной шар ревет, как израненный, связанный великан,
готовый в любое мгновение порвать путы и ринуться на грабителя.

Запирайте покрепче ваши дома.

Ничто в этой жизни не проходит незаметно, особенно — смерть!
Все, к чему вы сейчас прикасаетесь, того гляди, взлетит на воздух.

Еще немного, и зараза охватит весь мир.
Опустошенная земля взрывоопасна. Жуткие оскалы убитых солдат
рвут воздух. Природа мстит тем, кто наносит ей раны.
Земля не сдается, земля провозглашает: "Жизнь!"

Ваши невзгоды, сестры, — это и наши невзгоды!
Ваша боль отзывается во всем мире.
Сочувствие — это то, что естественно присуще любому ребенку.
Единство корня и стебля — вот что позволяет цветку расцвести.
Боль обездоленных — вот святая правда сегодняшней жизни!

Мы храним в себе нежность и не даем иссякнуть живительным
сокам земли.
Наши сердца пышут жаром, словно лава в невидимых недрах
планеты.

Мы зажигаем друг друга. Наше пламя неугасимо.
Наш призыв — это крик миллионов.
Быть матерью, бабушкой, сестрой — значит обладать
великой силой, значит гореть!

II

Сестры! Губители, словно микробы, задумали подтачивать нас
изнутри.

Они порешили питаться нами бесплатно.
Они возмечтали выжать из нас неплохой капиталец.
Они вознамерились прокусить наши вены,
высосать, вытянуть, выдавить
из матери-земли нефть, пожрать ее плоть.
Женскую плоть и все, что она породила!
Ее телом будут торговать во всех притонах.
Владельцы потогонных мастерских наживутся на ее коже.
Хищники будут жиреть за счет дешевого женского труда.
Они станут молотить нас, как зерно.
"Дженерал моторс", "Ма Белль", "Анаконда" будут богатеть
за счет изможденных сборщиц хлопка и кофе,
за счет тех, кто дарит миру
его будущих строителей и его будущих матерей.

Пожиратели планеты точат клыки.
Они утратят свое состояние за счет бесплатного женского труда.
Женщин эксплуатируют, унижают, презирают,
обращаются с ними как с отбросами.
Половина пуэрториканок стерилизована;
солончатые волны нашего пота накатывают,
будто океанский прибой.
Во всех портах завоевателя бордели именуют мясными лавками.

Мы — опрокинутый, продырявленный винный бочонок.
Мы — несметные закрома загубленного зерна.
Мы — подбитые голуби.
Мы — кожа и кости. Годы труда согнули наши спины.
Захватчики издеваются над нашим телом.
Нас избивают, грабят, у нас крадут детей.
Земля завалена растоптанными женскими трупами.
Всякая смерть — мука! Всякая смерть — необратима!
Когда над телом измываются, оно гибнет.
Смерть — всегда конкретна! Смерть — всегда рядом!
Наши тела образуют общее тело.
Каждый миг нашей жизни — частичка нашей общей борьбы.

Вы были в моем сердце, когда я стояла у зловещих ворот,
за которыми тикала "Мать Бомба". Я уберегала от пушек моих
внуков.
Я сгибалась под гнетом чудовищных замыслов Джонсона, Никсона,
Киссинджера.
Я задыхалась под сапогами, которыми топтали вас.
Я видела, что дула их орудий нацелены на всех нас.
Из таких пушек стреляли в моих сестер!

Сегодня белые преступники Белого дома в новом обличье.
Их свирепые лица обращены к Вундед Ни. Белье негодяи
воруют завтраки у наших детей и взамен грозятся увеличить
нашу армию.
Они убивают младенцев.
Я сама слышала вопли черных матерей, видела их слезы.

Женщины Земли, не дайте покорить себя угнетателям!
Унесите нас в таинственную тьму,
в заповедную глубину лона, чтобы мы, воскреснув
из криков раненых и океана пролитой крови, песней светили миру!

Я видела, как женщины планеты шли навстречу друг другу.

Я видела, как женщины всех народов

славили друг друга

и дарили друг другу тепло.

Все лица лучились любовью и светом единства!

Раны преображались в хлеба и детей.

Во всем мире настало великое лето.

Свободные и счастливые, с песней

шагаем мы по цветущим лугам.

Выбегаем на склоны, чтобы кинуть семена в теплую землю.

Освобождаем всех заложников.

Зажигаем огонь в чаше жизни.

Наша свободная песня

несется через моря,

ее слышат на всех континентах,

ей внимают деревья,

навстречу ей распускаются цветы.

Подобно тому как золотистые пчелы

несут в ульи

невесомую цветочную пыльцу,

мы приносим вам наш огонь.

Знайте: мы никогда не покоримся

губителям нашей страны!

Мы призовем на них

молнии.

В нашей душе возгремят громы.

Вы слышите пение?

Это поют наши сестры.

Это поет

хор миллионов.

Н. СКОТТ МОМАДЕЙ

Н. Скотт Момадей (N. Scott Momaday) — род. в г. Потоне (штат Оклахома) в 1934 г. Один из видных современных прозаиков и поэтов, индеец, лауреат премии Пулитцера 1969 г., присужденной за его наиболее известный роман, "Дом, из рассвета сотворенный" ("House Made of Dawn"), 1968. Роман, а также повесть "Путь к горе дождей" ("The Way to Rainy Mountain"), 1969, переведены на русский язык.

Момадей — доктор филологии, преподает литературу в Стэнфордском университете.

В своих стихах Момадей как бы увековечивает "миги" своей прозы, запечатлевая образ времени, образ своего народа.

Момадей выступает также как народный просветитель: он много ездит по стране с лекциями для индейцев, составляет культурные программы, участвует в международных писательских форумах. Дважды посещал СССР — в 1974 и 1977 гг.

Стихотворение взято из авторского поэтического сборника "Танцор с погремушкой" ("A Gourd Dancer"), 1976.

ПЕСНЯ РАДОСТИ ТСОАЙ-ТАЛИ¹

Я перо на блистающем небе
Я сиреневый конь, проскакавший равниной
Я плотва, промелькнувшая искрой в воде
Я проворная тень, убежавшая вслед за ребенком
Я вечернее солнце над гляncем лугов
Я орел, заигравшийся с ветром
Я пригоршня раскрашенных бусин
Я свечение далекой звезды
Я студеное веянье утра
Я гуденье дождя
Я сверкание снежного наста
Я дорожка луны на пруду
Я огонь четырех полыхающих красок
Я олень, на закате застывший у леса

¹ Тсоай-Тали — Сын Каменного Древа (индейское имя С. Момадея).

Я раскинувший ветви сумах
Я станица гусей среди зимнего неба
Я прожорливость юного волка
Я мечта обо всем, что рассказано мной

Погляди — я живу, я живу
Потому, что я связан с землею
Потому, что я связан с богами
Потому, что я связан с прекрасным
Потому, что я связан с дочкой Цен-Тайнте¹
Я живу, я живу, я живу

¹ Цен-Тайнте — Белая Лошадь.

НОРМАН РАССЕЛЛ

Норман Расселл (Norman Russell) — род. в 1921 г., происходит из индейского племени чероки. Поэт, ученый-ботаник, преподаватель. Его перу принадлежат не только сборники оригинальной поэзии, но и научные труды. Увлеченность естественными науками придает особый, осязаемо "природный" колорит стихам Н. Расселла, однако не навязывает наукообразия его лирике.

Самый первый поэтический сборник Расселла, "В зоопарке" ("At the Zoo"), был опубликован в 1969 г., а в 1980 г. вышла небольшая книжка избранных произведений Расселла — "Размышления индейца: мой путь".

Стихотворение взято из антологии произведений современных поэтов-индейцев "Набирайте мощь!" ("Come to Power!"), 1974.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК

можжевельник зашелся смехом
можжевельник зашелся криком
можжевельник раскинул руки
и сказал

я силен
я прекрасен
я смел
я высок
я умен

это я забираюсь на самые кручи
возвышаюсь над пихтой и елью
выживаю в любые морозы
самым первым приветствую солнце
это я накормил столько птиц

можжевельник сказал мне присядь
под единственной тенью на этих утесах
можжевельник сказал отдохни подо мной
и постигнешь извечную тайну познания

РОБЕРТА ХИЛЛ

Роберта Хилл (Roberta Hill) — происходит из племени висконсинских индейцев-онайда. Род. в 1947 г. в Барабу (штат Висконсин). Окончила факультет психологии Висконсинского университета, затем отделение изящных искусств университета в Монтане. Живет и преподает в резервации Роузбад (штат Южная Дакота). Ее стихи печатались в журналах. В 1983 г. вышел в свет ее авторский сборник "Звездное одеяло" ("Star quilt", 1983).

Особый романтизм поэзии Хилл раскрывает натуру яркую, ищущую, возможно, одну из наиболее самобытных среди поэтов-индейцев ее поколения. Стихи взяты из антологии индейской поэзии "Хранители Круга Вещих Снов" ("Carriers of the Dream Wheel"), 1975.

ПАДАЮЩАЯ ЛУНА

Достань до стрел слетающего света. В этом храме
пел человек. Луна, припав к нему
всей щедростью лучей, слегка коснулась лиц
его народа — глаз, темнее крови,
рук, сохранявших теплоту жилища.
Тут кедровые пьют прозрачный воздух.
Лишь руины достались нам, идущим за дождем
туда, где тени
слушают друг друга.

А здесь кирпичной кладкой повторяли белесое кольцо луны.
Когда она, свистя, как оленуха,
взошла в спокойном блеске,
кое-кто спустился в логова, в глубины волчьих ям
с их чистотой
покинутого крова.
Что там еще? Лишь ненависть да прах.
А ниже кромки мира
земля линяет с легкостью молитвы.

Но наши маски и того страннее.
Цистерны студят прерию, пройдя
семь миль от Поркьюпайна. И в громах
цветут сполохи всплесками комет.
Мальчишка скорчился в грязи. Он прикасался к солнцу.
Оно в нем дышит жестокостью огня. Подобно снегу,
валились миннеконжу — искрящийся народ воды.
И смерть, как пепел, будет петь им в уши.
Недвижность набирает рост.

Из глубины шуршащего огня —
шуршанье крыл. Когда поющий ястреб
умрет, то в горле у меня взорвется вена,
в беспамятстве дремоты вздрогнут сны.
Достань до стрел крепчающего света.
Как скорлупа ракушек,
блещут кости
среди зеленых трав солончака.
И тонкая луна над соснами взмывает,
ни в чем пустое поле не вина.

Я вижу след заплаканной березы,
проложенный листвою на ветру.
Из мари кличут совы.
Чем я отмечу эту боль? Мы живы
огнем заката. И в попону пыли колотит дождь.
Каньоны, встретясь, как всегда, скрывают и плоть, и кровь.
Над чернотой воды взмывают духи, пляшут,
как куропатки в пересохшем устье. Верь
далеким льдам, напористости шторма.

ЛАНС ХЕНСОН

Ланс Хенсон (Lance Henson) — род. в 1944 г. в городке Калюмете (штат Оклахома), происходит из племени индейцев-шайеннов. Служил во флоте. Закончил Колледж свободных искусств в Чикашейе (Оклахома) в 1972 г. В том же году вышла первая книга его стихов, "Хранитель стрел: стихи для индейцев-шайеннов" ("Keeper of Arrows: Poems for the Cheyenne"). Стихи Хенсона неоднократно публиковались также в литературных журналах и антологиях поэзии американских индейцев. Поэт пишет о себе: "Мне интересна сущность легендарного бытия истинного уроженца Америки, я хотел бы выразить то, во что он верит, то, как он мыслит, его духовную связь с современной жизнью его родной земли". Публикуемые стихи взяты из авторского сборника "Дай тьме название" ("Naming the Dark"), 1976.

МЫ — НАРОД

легко мелькают дни над старыми холмами

я прохожу вдоль мокасиновых троп
заросших сорняками ржюю банок
перед закатом на лесной поляне
жду песню закипающего ветра

здесь так всегда
исчезло расстояние
между названием моего народа
и выкриком совы
и осторожным
бобровым плеском

да мы народ родившийся под символами что
встают из праха чтоб коснуться нас
проходят через тело кедров где
уснули деды
шепчут нам о чем они мечтали

БАРРИ СТЕЙВИС

Барри Стейвис (Barrie Stavis) — род. в 1906 г. в Нью-Йорке, в семье польских иммигрантов. Драматург, творчество которого всегда противостояло законам коммерческого театрального бизнеса. Его пьесы ставились и с успехом шли на подмостках независимого профессионального нью-йоркского театра "Нью стейдж". Три пьесы Стейвиса — "Светильник, зажженный в полночь", "Человек, который никогда не умрет" и "Харперс-Ферри" — были переведены на русский язык (М., "Прогресс", 1980). Пьеса "Саднящая рана победы" ("The Raw Edge of Victory"), фрагменты из которой мы публикуем, представляет некоторые малоизвестные страницы американской Войны за независимость. Она была поставлена городским театром в Мидленде (штат Техас) осенью 1976 г. Историческая тема (драмы Стейвиса посвящены Галилею, Джо Хиллу, Джону Брауну, президенту Вашингтону) издавна давала Стейвису возможность, направив взгляд в прошлое, зорче всмотреться затем в современность, проследить традиции борьбы за свободу, социальную справедливость, за человеческое достоинство, вскрыть всевозможные формы общественного порока, в какие бы одежды он ни рядился.

САДНЯЩАЯ РАНА ПОБЕДЫ

Сцены из пьесы

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена освещается. На холщовом заднике изображена старинная гравюра: флотилия боевых кораблей под британским флагом и надпись: "Стратегические планы. Осень 1780 года".

Сцена первая

Нью-Джерси, западный берег Гудзона. Холодный ветреный день, низкое свинцовое небо. В а ш и н г т о н, главнокомандующий американской армией, и граф де Рошамбо, командующий французскими экспеди-

ционными силами, рассматривают что-то в подозрительные трубы. Рядом с ними генерал-майор маркиз де Лафайет, подполковник Александр Гамильтон, личный адъютант Вашингтона, и барон фон Штейбен. Чуть поодаль один стоит барон де Виомениль, заместитель Рошамбо.

Рошамбо. Западнее той колокольни, видите?

Вашингтон. Основательно возведено, граф, весьма.

Рошамбо. Осмотрите береговую линию.

Вашингтон. Да, такие фортификации одной атакой не возьмешь.

Рошамбо. Теперь севернее ярдов на пятьдесят.

Вашингтон (*наводит подозрительную трубу в указанном направлении, потом отдает ее Лафайету. С горечью*). Четыре года назад, граф, когда мы оставили остров Манхаттан, Корнуоллис преследовал нас по пятам. Его солдаты почти настигали нас, мы даже слышали их издевательский клич: "Трави лису!" Мы сражались за нашу жизнь и за новое государство. Для них же это была всего лишь лихая забава, лисий гон. Они смеялись над нами, измотанным деморализованным ополчением... Что ж, англичане немало преуспели с тех пор, как Корнуоллис вынудил нас уйти с Манхаттана. Мощные укрепления.

Рошамбо. Боюсь, что нам понадобится вдвое больше людей, чем у Клинтона, чтобы начать штурм Нью-Йорка. А каково ваше мнение?

Вашингтон. Чтобы прорвать такую оборону — вдвое, не меньше.

Рошамбо. У Клинтона пятнадцать тысяч штыков.

Виомениль. И корабли, прикрывающие его с моря.

Рошамбо. У меня под началом четыре тысячи человек. У вас, генерал Вашингтон...

Лафайет (*обращаясь к Рошамбо*). А что слышно о второй дивизии вашего экспедиционного корпуса? Когда они придут, эти пять тысяч человек?

Рошамбо. Трудно сказать... Это зависит от многих обстоятельств в Европе, над которыми я не властен. Так сколько же человек вы можете выставить, мой генерал?

Вашингтон. Около семи тысяч.

Рошамбо. А когда вы ожидаете подход других частей?

Вашингтон. Не знаю. Конгресс направил обращение во все штаты. (*В замешательстве.*) Ответы, однако...

Виомениль. События тоже вышли из-под вашей власти, генерал?

Рошамбо. Понятно... У меня дивизия во Франции, но неизвестно, когда она будет переброшена, а ваше подкрепление еще предстоит собрать. Итак, для немедленных боевых действий у нас четыре тысячи моих солдат и ваших — около семи тысяч... Может быть, разумнее считать — шесть?

Удрученный вид Вашингтона свидетельствует, что Рошамбо попал в точку.

Значит, всего десять тысяч. У генерала Клинтона, отсиживающегося за мощными укреплениями, — пятнадцать.

В и о м е н и л ь. Двойной перевес в живой силе не совсем получается. Кроме того, у англичан превосходство на море. *(Вскидывает руку в сторону Гудзона.)* Это их корабли стоят на Гудзоне, не наши.

Р о ш а м б о. Рано или поздно придут флотилии из Вест-Индии и Франции. Когда они соединятся с нашими морскими силами в Ньюпорте, у нас будет преимущество в весе ядра. Но на это потребуется по меньшей мере четыре месяца.

В и о м е н и л ь. По моим подсчетам — шесть.

Р о ш а м б о. Тогда уже настанет глубокая зима.

В и о м е н и л ь. И тем не менее вы, генерал Вашингтон, предлагаете начать штурм Нью-Йорка не позднее, чем через месяц?

Л а ф а й е т. Генерал Гейтс проиграл Корнуоллису сражение у Кэмдена, открыв тем самым англичанам путь на Юг. Гейтса заменили генералом Грином, а мы обязаны помочь ему. Штурм Манхаттана отвлечет силы противника от Грина.

Р о ш а м б о *(порываясь перебить Лафайета, говорит раздраженно)*. Вы не сказали нам ничего нового, генерал Лафайет. Хуже всего сражается тот солдат, который не верит в своего командира. Он перестает верить, если видит, что его жизнь подвергается неоправданному риску. Я потерял в разное время пятнадцать тысяч убитыми. Но мне не в чем упрекнуть себя. Ни один из них не погиб понапрасну из-за моего тщеславия, уязвленного самолюбия или жажды мести. Меня, уверяю, не надо подстегивать, но и бросаться человеческими жизнями я не хочу. *(Поворачивается к Вашингтону, резко.)* В какой степени ваше намерение взять Нью-Йорк диктуется желанием смыть позор сдачи города?

В а ш и н г т о н. Да, мне нужен Нью-Йорк. Я не твердокаменный. Однако есть более веские причины. Страна истощена до невозможности. Конгресс беспомощен. У него нет ни денег, ни солдат. Если мы не развернем боевые действия, все развалится.

Р о ш а м б о. По воле моего короля я в полном вашем распоряжении. Если вы отдадите приказ, чтобы мои войска пошли на штурм вместе с вашими, я подчинюсь. Но если мы потерпим неудачу, сумеете ли вы собрать новую армию? Война будет проиграна.

Оба молчат.

(Словно бросая Вашингтону вызов, веско.) Вы решитесь отдать такой приказ?

В а ш и н г т о н *(неопределенно качает головой, потом идет к реке)*. Кажется, будет дождь. *(Поеживается.)*

Рошамбо делает знак Штейбену подать плащ Вашингтона. Граф накидывает его на плечи главнокомандующему. Вашингтон благодарно кивает. Потом внезапно поворачивается к Рошамбо, они обнимаются.

Рошамбо. Нью-Йорк будет ваш. Но лучше избрать круглой путь. Я думаю, мы должны навязать англичанам решающее сражение на Юге.

Вашингтон *(в раздумье)*. На Юге?

Рошамбо. Считаю, что нужно послать Лафайета и Штейбена с подкреплениями к генералу Грину. И чем скорее, тем лучше. Для нас же здесь, на Севере, тысяча семьсот восьмидесятый год закончился. Скоро нам предстоит развести части по зимним квартирам. Новую кампанию мы начнем уже в восемьдесят первом, вот так.

Вашингтон. Но как мы продержимся зиму? Со всех сторон поступают донесения, что солдаты сбиваются в кучки, о чем-то говорят меж собой... Пахнет бунтом.

Актеры покидают сцену, и свет гаснет, обозначая, что действие переносится в другое место. Задник заменен другим: на нем поднятая рука с ружьем и надпись: "Бунт. Январь 1781 года".

Сцена вторая

Занимается день. Сцена постепенно освещается — это восходит солнце.

Входит бригадный генерал Уэйн, его движения осторожны.

С другой стороны сцены появляется полковник Поттер.

Поттер *(вполголоса)*. Все готово, генерал.

Уэйн *(тоже вполголоса)*. Посты расставлены, полковник? Пушки наведены?

Поттер. Лагерь полностью окружен, генерал. Мы приняли все меры предосторожности.

Уэйн *(обычным голосом)*. Тогда дайте сигнал общего сбора.

Полковник Поттер делает знак бутафорам. Раздается резкая, отчетливая барабанная дробь.

Уэйн *(выкрикивает)*. Лагерь окружен частями, верными командованию. Бунт будет подавлен.

Барабанная дробь.

Приказываю всем построиться на плацу!

Барабанная дробь.

Оружие не брать, строиться в шеренги!

Пауза.

С холма на лагерь наведены пушки. Даю две минуты на построение.

Барабанная дробь.

Быстро, быстро... В шеренги становись!

Барабанная дробь.

Смирно-о! Полковник Поттер, приказываю вызвать зачинщиков бунта.

Поттер (*выкликает*). Сержант Джек Уилсон, по прозвищу Макаронщик Джек!

Уилсон (*из-за кулис*). Здесь!

Поттер. Рядовой Леви Хит.

Хит (*из-за кулис*). Здесь!

Поттер. Рядовой Ричард Варни!

Варни (*из-за кулис*). Здесь!

Поттер. Пять шагов вперед — марш!

Входят Уилсон, Хит и Варни; у Уилсона в фуражку воткнуто перо.

Смирно!

Уэйн. Вы трое обвиняетесь в попытке поднять бунт. Вас будет судить военный трибунал.

Хит. Трибунал?!

Уилсон (*Поттеру*). Полковник, два дня вы вели с нами переговоры. И одновременно за нашей спиной вызвали другую часть, окружили лагерь и нацелили на нас пушки. Вы злоупотребили нашим доверием, полковник Поттер.

Поттер. Я не нуждаюсь в доверии бунтовщиков!

Уилсон (*Уэйн*). Бунт — одно, а настоятельная просьба рассмотреть наши жалобы — совсем другое. Нам было обещано...

Уэйн. Под трибунал, немедленно! Полковник, построение закончено.

Поттер (*кричит*). Разойдись! Командиры рот, распорядитесь, чтобы солдаты разошлись по баракам. Любой, кто покинет барак без разрешения, будет застрелен на месте.

Вбегает Сара, ее выкрик сливается с распоряжением Поттера.

Сара. Джек! (*Судорожно обнимая Уилсона.*) Что случилось, Макаронщик Джек, что?

Уилсон (*ласково, пытаясь высвободиться из ее объятий*). Все будет в порядке, Сара.

Поттер (*направляясь к Саре*). Назад, в барак.

Сара (*не отпуская Уилсона*). Джек, что они хотят сделать?

Уилсон. Сара, уходи.

Уэйн. Полковник Поттер, уберите эту женщину.

Уилсон мягко высвобождается из объятий жены, и Поттер грубо оттаскивает Сару от него.

Поттер. Прочь отсюда!

С а р а. Помогите! Джек!
У и л с о н. Сара, уходи, ну пожалуйста.
П о т т е р (*толкает Сару, ударяет ее по спине плоской стороной сабли, она падает*). Я что сказал? Прочь отсюда!
С а р а. Джек!
У и л с о н (*делая шаг к ней*). Сара...
У э й н. Стоять на месте!
С а р а. Он же бьет меня...
У э й н. Смирно-о!
У и л с о н. Иди ты знаешь куда...

Кидается к Поттеру, но тот быстро оборачивается и приставляет острие сабли к его груди. Кажется, что Уилсон вот-вот ринется на клинок. Хит и Варни хватают его за руки, оттаскивают в сторону.

У и л с о н (*размеренным, упавшим голосом*). Уходи, Сара. Иди в барак. Все будет хорошо.

Сара уползает со сцены.

У э й н. Смирно!

У и л с о н (*едва слышно, себе*). Бедная Сара...

У э й н. Прекратить разговоры! (*Делает знак бутафорам.*)

Те приносят три походных стула и стол.

Полковник Поттер, назначаю вас членом трибунала. (*Кричит за кулисы.*) Майор Бекман!

Входит майор Д ж е й м с Б е к м а н, 28 лет.

Назначаю вас членом трибунала. (*Кричит за кулисы.*) Капитан Маклеллан!

Входит капитан М а к л е л л а н, 25 лет.

Вы назначаетесь секретарем трибунала.

Уэйн усаживается за стол посередине. По обе стороны от него садятся Поттер и Бекман. Бутафор приносит еще один стул и столик с чернильницей, пером, бумагой и ставит в глубине сцены.

Маклеллан садится за свой столик.

Заседание военного трибунала объявляю открытым... Сержант Уилсон, рядовые Хит и Варни, вы преданы суду на основании статьи три, часть вторая Военного кодекса. (*Читает из кодекса, лежащего на столе.*) "Любой солдат или офицер, который будет изобличен в подготовке бунта или измены, в подстрекательстве или причастности к бунту или измене в любом военном подразделении, находящемся на службе Соединенных Штатов, подвергается смертной казни или другому наказанию, на усмотрение военного трибунала". (*Закрывает кодекс.*) Вы трое обвиняетесь в подстрекательстве к бунту солдат, расквартированных в этом лагере, в том, что побуждали их составить отряд и направиться в

Трентон, где находится законодательное собрание штата Нью-Джерси, в том, что призывали добиться от вышеназванного собрания удовлетворения своих требований силой оружия. Что имеете сказать в свое оправдание?

У и л с о н. Мы не зачинщики бунта, как вы нас называете. Вздуроражен весь лагерь. Кругом невыполнение обещания и обман. Мы терпели пять лет.

В а р н и. Шесть, шесть лет.

У и л с о н. Братья солдаты выбрали нас своими представителями. Мы с гордостью выполнили их поручение. Нам и раньше приходилось говорить за всех, например в Вэлли-Фордж¹.

Х и т (Уэйну). По отношению к нам допущена несправедливость. Мы хотим, чтобы это было исправлено. Мы требуем справедливости — разве это бунт?

П о т т е р. Записываясь в армию, вы взяли на себя обязательства подчиняться правилам и приказам. Вы подписали контракт.

Х и т (Уэйну). Но в том же самом контракте говорится, что правительство обеспечивает нас пищей, обмундированием и платит жалованье — верно я говорю? Да, пища у нас — куда сытнее. (Поттеру.) Зачем вы избили Сару Уилсон на глазах у Джека? (Уэйну.) Теперь обмундирование. Каждому из нас положено каждый год новое. Посмотрите на нас, генерал Уэйн! Посмотрите получше. И наконец, жалованье. Платят нам бумажными деньгами. А они ничего не стоят, годовое жалованье — все равно что один серебряный доллар.

В а р н и. Если с нас спрашивают выполнение условий контракта, то почему правительство не выполняет свои обязательства?

Х и т. Или не распустит нас по домам?

П о т т е р. Вам нужно напоминать, за что мы сражаемся?

У и л с о н. Патриотизмом сыт не будешь. И красивые слова не греют.

У э й н. У конгресса нет денег. У штатов тоже казна пуста. Всем нам приходится терпеть.

У и л с о н. У нас есть еще жалобы.

У э й н. Говорите.

У и л с о н. Когда мы записывались в армию, многим из нас говорили, что срок службы — три года или меньше, если война кончится раньше. Три года давно прошли.

Х и т. Теперь офицеры все перевернули и говорят, что срок службы на всю войну или три года, если она кончится раньше.

¹ Долина Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания, — место стоянки с декабря 1777 по июнь 1778 года одиннадцатитысячной армии Д. Вашингтона в один из самых критических периодов Войны за независимость. Мужество солдат и офицеров, выдержавших голод, холод и болезни, не только предопределило успех летней кампании 1778 года, но и заложило фундамент победы.

У и л с о н. Мы обратились за разъяснениями, а вместо них заработали телесные наказания. Нас силой оставили в армии.

В а р н и. Я сражался при Банкер-Хилле. Почти шесть лет назад. Кто знал, что война протянется так долго?

У э й н. Что еще можете сказать в свое оправдание?

Х и т. Мы все сказали.

П о т т е р. Предлагаю закончить заседание.

Б е к м а н. У меня вопрос...

У э й н. Задавайте.

Б е к м а н (*солдатам*). Известно, что кое-кто из вас общался с неприятелем...

П о т т е р. Не слишком ли вы отвлекаетесь?

Б е к м а н. Бунтовщики, как правило, заручаются поддержкой у неприятеля. Поскольку они этого не сделали, это веский довод в их пользу.

Поттер делает нетерпеливый жест.

Как член трибунала я считаю своим долгом обратить внимание на этот факт. Они не заручались поддержкой у неприятеля. (*Солдатам.*) Расскажите, как было дело.

Х и т. Ну, пришли двое англичан... Начали нас уговаривать...

У и л с о н. Какое там уговаривать! Твердые обещания давали... Невыплаченное жалование предлагали в металлических деньгах, одежду и еды вдоволь. Воевать за них не принуждали — разве кто добровольно согласится.

Б е к м а н. И как же вы ответили на это заманчивое предложение?

У и л с о н. Кое-кто из наших солдат давно хотел переметнуться к англичанам. То один, то другой рассуждали: "Кто же наш настоящий враг — американцы, которые отнимают наши права, или англичане, которые обещают обеспечить их?" Таким мы сказали, что вздернем любого, кто попытается перебежать. За нами бы дело не стало.

Б е к м а н (*солдатам*). Эти двое англичан, которые вам предложили сделаться перебежчиками, — как вы с ними поступили?

У и л с о н. Всем известно, что мы сдали их командиру. Так как они были в штатском, их судили как шпионов и повесили.

Б е к м а н. Вам предложили пятьсот долларов золотом за то, что вы задержали англичан. Вы отказались от вознаграждения — почему?

У и л с о н. Мы, американцы, любим свою страну — поэтому и задержали этих двоих. Если мы что и заслужили, то благодарность от народа, а не деньги. Меж собой мы решили, что другой награды нам не надо.

Б е к м а н (*Маклеллану*). Вы записываете?..

Маклеллан кивает.

Х и т. Мы голодаем, поэтому вынуждены предъявить требования. И еще мы требуем права тоже решать, как вести войну. Мы в ней жизни кладем.

У и л с о н. И права решать, как строить новое государство, за которое мы погибаем. Вместо старых хозяев приходят новые. Мы не желаем сражаться за торговцев, спекулянтов, за крючкотворов и земельных собственников. Чтобы наскрести денег в казну, штаты распродали поместья лоялистов... тех, кто на сторону англичан встал.

П о т т е р. Вы считаете это неправильным?

У и л с о н. Конечно.

П о т т е р. Почему? Говорите откровенно.

У и л с о н. И скажу — чего мне вас бояться, полковник Поттер?.. Кто покупает эти описанные поместья, да еще по дешевке? Купцы да спекулянты — вот кто. Которые наживаются на войне. А почему бы не попрiderжать эти земли до заключения мира? Тогда бы и нам что-нибудь досталось.

П о т т е р. Это гражданские дела. Вы солдат, вас они не касаются.

У и л с о н. Когда снова гражданским сделаюсь, будет поздно. Поместья будут распроданы, на все богатства страны будут заявлены права собственности. С чем мы тогда останемся?

В а р н и. Те, кто останется в живых.

У э й н (*после напряженного молчания*). Что-нибудь еще имеете сказать в свое оправдание?

У и л с о н. Мы все сказали.

У э й н. Заседание закрывается. (*Бекману.*) Распорядитесь, чтобы обвиняемых взяли под стражу. (*Солдатам.*) Вас позовут.

Уилсона, Хита и Варни уводят. Свет перемещается за Уэйном, Поттером и Бекманом, которые идут к другой стороне сцены, где уже стоят Вашингтон и полковник Гамильтон. Бутафоры уносят с прежней игровой площадки столы и стулья.

У э й н. Этот лагерь составляет лишь небольшую часть наших войск в Нью-Джерси, мы полностью контролируем обстановку по всему фронту. Пора научить наших солдат беспрекословно подчиняться приказам. Мне жаль этих троих, но наказание послужит уроком для других. (*Вздыхает.*) Их требования справедливы, но действия неправомерны.

В а ш и н г т о н. С Массачусетского и Коннектикутского фронтов тоже поступают жалобы... пока, к счастью, только жалобы.

У э й н. У нас нет гарантии, что солдаты, которых мы перебросили сюда для подавления мятежа, не встанут в конце концов на сторону бунтовщиков. У них тоже достаточно поводов для недовольства. Тогда это будет сигналом для общего восстания армии.

Б е к м а н. Да, но чаяния этих троих... Да и с ними-то что будет? Пройдет два часа, и их расстреляют. Расстреляют, поймите... Известно, что некоторые офицеры, движимые патриотическими чувствами, или честолюбием, или желанием получить добавочное вознаграждение за лишнего завербованного, пошли на прямой обман при составлении вербовочных контрактов.

Поттер делает протестующий жест.

Да-да, обман! Многие солдаты не умеют ни читать, ни писать. И когда они ставили свои закорючки, они думали, что подписывают контракт на три года службы. Но там-то было написано "на срок войны". А когда солдаты начали жаловаться, потребовали разъяснений, мы ответили телесными наказаниями и силой заставили их продолжать службу! Нет, так нельзя! Мы обязаны доверять нашим солдатам. На их плечах вся тяжесть войны. Они правы в своих претензиях.

П о т т е р. Так претензии не заявляют. Их поведение равносильно бунту. Вот из чего мы должны исходить!

У э й н. Я разделяю это мнение... хотя солдаты правы в своих претензиях.

Б е к м а н. А если правы, то где же справедливость в отношении этих троих?

Г а м и л ь т о н (цинично). Мы проявим справедливость в другой раз и при других обстоятельствах. Может быть, проявим.

В а ш и н г т о н. Нет, мы должны быть всегда справедливы по отношению к нашим солдатам. Но наше решение диктуется необходимостью.

Г а м и л ь т о н. Что же, я полагаю, можно сказать и так.

В а ш и н г т о н. Я не допущу развала армии, потому что без нее мы ничто. Сохранить же армию можно лишь на основе беспрекословной исполнительности. Двумя голосами против одного трибунал признал этих троих солдат виновными. Они будут расстреляны. Наказание послужит хорошим уроком остальным. (Гамильтону.) Полковник Гамильтон, подготовьте через час, если сумеете — раньше, приказ по армии, где говорилось бы...

Г а м и л ь т о н. Прошу прощения, генерал Вашингтон, я уже составил приказ.

Б е к м а н. Каким образом? Вы знали решение генерала Вашингтона заранее?

Г а м и л ь т о н. У нас каждый час на счету. Поэтому я подготовил два варианта приказа: один — содержащий смертный приговор, другой — о помиловании. (Достает из кармана два листа бумаги, читает один из них.) "Главнокомандующий глубоко озабочен тем, что армия несет непомерные тяготы, и не устает выискивать средства для облегчения их. Он убежден, что конгресс и законодательные собрания штатов также делают все от них зависящее. Наш же долг состоит в том, чтобы мужествен-

но превозмочь временные трудности. Нам придает силы убежденность, что страна щедро вознаградит нас за доблестную службу, когда будет располагать такой возможностью". Остается добавить заключительный параграф.

В а ш и н г т о н. Неплохо. Добавим в приказ вот что. Вы расстреляете только двоих. Третий останется жить. Он будет стоять на коленях, с завязанными глазами, пока весь лагерь не пройдет строем мимо наказанных.

У э й н. На коленях, с завязанными глазами?

В а ш и н г т о н. Да, мы помилуем его. Потом ему развяжут глаза, снимут веревки с рук и ног и препроводят в его взвод. (Гамильтону.) Составьте соответствующий параграф.

Г а м и л ь т о н. Что-нибудь в этом роде: "Главкомандующий с удовлетворением проявляет снисходительность и ограничивается казнью лишь двух самых злостных бунтовщиков. Он уверен, что подобные чрезвычайные меры не запятнают впредь историю наших вооруженных сил".

В а ш и н г т о н. Неплохо.

У э й н. Который из них будет помилован?

В а ш и н г т о н (Поттеру). Кто из них менее виновен?

П о т т е р. Они все равно виновны.

Б е к м а н. Или равно невиновны.

В а ш и н г т о н. В таком случае безразлично, кого мы помилуем. Киньте три бумажки с именами в шляпу и тяните жребий.

У э й н. Так я и сделаю.

Б е к м а н. Один из них — Макаронщик Джек, он зимовал в Вэлли-Фордж.

Молчание.

В а ш и н г т о н (заметно опечален). Наше решение остается в силе.

У э й н (Бекману). Майор Бекман, вы назначаетесь ответственным за приведение приговора в исполнение. Отберите команду для расстрела — из числа ближайших друзей осужденных. Два солдата со штыками, которые встанут рядом, тоже должны быть их приятелями. Могилы выкопают люди из их барака. Церемония будет сопровождаться медленным барабанным боем. Процедура казни должна донести до сознания каждого солдата всю серьезность их проступка.

Б е к м а н. Я не считаю этих солдат виновными. Прошу освободить меня от этого задания.

У э й н. Меня не интересует ваше личное мнение. Я не освобождаю вас от выполнения приказа.

Б е к м а н. Вы возлагаете на меня тяжкое бремя, генерал.

У э й н. Делаю это намеренно.

Б е к м а н. Я подчиняюсь приказу.

У э й н. Вы взмахнете белым платком — это будет сигнал к расстрелу. У вас есть?

Бекман достает из кармана белый платок и в отчаянии зарывается в него лицом.

(Вашингтону). Я обещаю вам восстановить порядок и абсолютную дисциплину. Обещаю.

Вашингтон и Гамильтон уходят. Свет перемещается на первую игровую площадку, где на расстоянии нескольких футов друг от друга стоят на коленях с завязанными глазами Уилсон, Хит и Варни. Уилсон посередине, впервые он без шляпы. Руки и ноги у них спутаны веревками. Рядом с осужденными стоят Меткаф, солдат, и Темнокожий солдат с примкнутым к ружью штыком. Сюда с другого края сцены переходит Бекман, по-прежнему прижимая платок к лицу; за ним следуют Уэйн и Поттер. На протяжении всей этой сцены слышна негромкая барабанная дробь. Бекман медленно отнимает платок от лица, поднимает его и резким движением опускает вниз. За сценой раздается ружейный залп, Хит падает мертвым. Бекман снова поднимает платок, но в этот момент выбегает Сара и, увертываясь от двух солдат, которые гонятся за ней, кидается к Уилсону. Она крепко обнимает его, двое солдат стараются оттащить ее.

Уэйн. Я приказал выгнать эту женщину из лагеря. Кто пропустил ее сюда?

Уилсон. Сара, перо, которое ты мне дала... оно у меня в петлице.

Сара (вытаскивает перо). Я выброшу его, растопчу. (Топчет перо ногами.)

Поттер (присоединяется к двум солдатам, которые пытаются справиться с Сарой, бьет ее плашмя саблей). Убирайся, шлюха!

Уилсон. Сара, зачем ты здесь?

Солдаты оттаскивают ее от Уилсона и ведут прочь. Она вырывается, падает на землю.

Варни. Да помогите же кто-нибудь!

Поттер. Убирайся, шлюха! Вон из лагеря.

Уилсон. Уходи, Сара, уходи...

Сара, рыдая, отбивается, ее бьют и тащат со сцены.

Варни. Я сражался при Банкер-Хилле в семьдесят пятом. Я требую священника! Хочу исповедаться, хочу спасти свою душу.

Уилсон. Придется ей самой спасаться.

Бекман взмахивает платком. За сценой залп. Уилсон валится набок, стонет.

Бекман (в ужасе). Он жив...

Уэйн (Бекману). Вы что, уснули? Давайте солдата со штыком.

Бекман. Ты, выйди вперед.

Темнокожий солдат выходит вперед.

Бекман (*пересиливает себя*). Прикончи его. Избавь от мучений.

Темнокожий солдат мотает головой, умоляюще смотрит на офицера.

Прикончи его, я приказываю.

Темнокожий солдат. Вы хотите, чтобы я заколол своего товарища?

Варни. Что же это делается? (*Стонет.*) Ой-ой...

Бекман (*начинает дрожать*). Да, немедленно.

Темнокожий солдат отрицательно качает головой, в глазах у него страх и мольба.

За неподчинение приказу ты будешь серьезно наказан.

Темнокожий солдат. Нету страшнее наказания, как убить товарища.

Бросает ружье, отворачивается. Бекман опускается на землю и рыдает, дрожа всем телом.

Поттер (*солдату, показывая на негра*). Взять его под стражу.

Солдат уводит Темнокожего солдата.

Уэйн. Эй ты, сюда, быстро!

Меткаф подходит, Уэйн сует ему в руки ружье с примкнутым штыком. Меткаф отшатывается.

Имя?

Меткаф. Мозес Меткаф. У нас фермы по соседству.

Уэйн (*достаёт пистолет, приставляет к виску Меткафа*). Рядовой Меткаф, даю тебе десять секунд.

Меткаф под дулом пистолета медленно подходит к Уилсону.

Варни. Помогите...

Теряет сознание, валится набок. У Уилсона спала повязка с глаз, он видит, как Меткаф со штыком наперевес надвигается на него.

Уилсон. Мозес Меткаф! Сосед, друг...

Меткаф (*всаживая в Уилсона штык*). Прости меня! (*Снова всаживая штык.*) Прости! (*Делает еще несколько ударов штыком, выкрикивая.*) Я позабочусь о Саре! Позабочусь! Не дам ее в обиду.

Уходит оцепенелый, оглушенный, волоча ружье по земле.

Уэйн (*показывая на Варни, второму солдату*). Развяжи его.

РОБЕРТ ХЕЙДЕН

Роберт Хейден (Robert Hayden). 1913—1970. Негритянский поэт. Родился и жил в Детройте. Окончив Мичиганский университет, преподавал там литературу, а также работал в других колледжах страны. Своим творчеством внес значительный вклад в процесс роста самосознания негритянского населения США, особенно в 60-е годы. Его драматическая по звучанию поэзия, отражая многовековые чаяния негритянского народа, пламенным ораторским словом обращена в настоящее и будущее цветного населения Америки. Хейден издал несколько поэтических сборников, в том числе "Отпечаток сердца в пыли" ("Heart Shape in the Dust"), 1940, "Лев и стрелок из лука" ("The Lion and the Archer"), 1948, а в 1966 г. вышел том избранных стихотворений поэта. Поэма "Невольничьим путем" ("Middle Passage"), опубликованная, в частности, в антологии "Поэзия американских негров" ("American Negro Poetry"), вышедшей в свет в 1963 г. под редакцией Арны Бонтана, получила большой резонанс в связи с борьбой афроамериканцев за свои права в 60-е годы.

НЕВОЛЬНИЧЬИМ ПУТЕМ

I

"Звезда", "Иисус", "Надежда", "Милосердие":

Кинжально вспыхивают паруса
под ветром, и огни святого Эльма
на мачтах пляшут в трепетном бреду.

Невольничьим путем:
сквозь ад крошечный — к жизни
на этих берегах.

"10 апреля 1800 года.
Брожение среди черных. Наш толмач
так объясняет их стенаний смысл:
все молятся о ниспослание смерти
себе (а заодно и нам). Кой-кто
не ест, не пьет, а трое черномазых

с безумным смехом прыгнули в пучину,
где их акулы поджидали жадно”.

“Желание”, “Отвага”, “Тартар”, “Энн”:

Курс на Америку. Везут домой
груз кости черной, золота живого.

В зловонном трюме твой отец
лежит недвижный, как мертвец.
Там, в Новом Свете, в божьем храме
его костям — скамьею стать.
Глазам — алтарными огнями
отныне суждено блистать.

Иисусе, Кормчий мой,
укажи мне путь прямой!

О боже! Отврати кровопролитье!
Даруй благополучное прибытие
судам, языческие эти души
везущим к свету веры христианской!

Иисусе, Кормчий мой!

“Пробило восемь склянок. Сон бежит
от глаз моих, и тошнотворный страх
захлестывает все мое нутро.
Пишу, склонясь над судовым журналом,
пишу, как будто этим приношением
могу умиловить духов злых.
Четыре дня штормило. Наконец
волнение улеглось. Все это время
в кильватере за нами, как акулы
(божки, с усмешкой затаенной в пасти),
не отставая, следуют напасти.
За что такая кара нам? Быть может,
какой-нибудь злодей, тайком от всех,
сразил своею пулей альбатроса?
Ужасное поветрие напало
на черномазых наших. Слепота
их поражает, словно бич господний.
Не пощажен тяжелым сим недугом
наш капитан. Есть жертвы и на баке.
А плаванья еще на три недели...”

Не шутки ль это Дэви Джоунза?
Ведь говорят, суда нередко

теряют управленье, став
игрушкой волн. Их экипажи слепнут.
И ярость, словно дикий зверь,
всех, кто на палубе, когтит.

Ты, что всех светил светлее,
Шел по водам Галилеи.

“Свидетель показал, что “Белла Й.”
покинула Гвинею с пятьюстами
невольниками — для продажи их
рабовладельцам на флоридских рынках.
Скотинной этой черной до отказа
забито было судно. Не хватало
не токмо что еды, но и питья,
и негры пили собственную кровь.

В пути и капитан и все матросы,
забыв о деле, тешились любовью
с девицами из черных. Краше всех
была одна. Цветок! На корабле

она Гвинейской Розой прозывалась.
Из-за нее-то завязалась драка.
А тут пожар. Свистали всех наверх,
но было слишком поздно для тушенья.

Закованные в цепи, выли негры —
в огне, в дыму, но экипаж успел
покинуть судно. Только капитан
сгорел в своей каюте с черной девкой...”

Вот все, что показал свидетель этот.

Иисусе, Кормчий мой!

II

“Я видел, парень, множество факторий
близ устьев Рио-Понго, Калабара
и Гамбии. Работоторговцы знали,
как управляться с этим черным сбродом.

Бывало, стравят племена, а сами
хватают всех подряд, не разбирая.
Туземных королей я видел, парень,
чья алчность многим стоила свободы.

Был среди них один (между собой
его мы называли "Антрацитом") —
сидит как идол под зонтом и пьет
вино, а кубок — череп человеческий.

Закатывал пиры частенько он,
к нам подсылал девиц, в любви искусных.
За ситец, за короны жестяные
и за серебряные погребушки

он был готов на все. Его войска
в селеньях вырезали стариков,
а молодежь в оковы забивали
и скопом приводили на продажу.

Я двадцать лет проторговал рабами.
Богатство так и плыло в руки. Если б
жар лихорадки не ломил мне кости,
я до сих пор бы жал на этом поле..."

III

Плывут суда, плывут во тьме полночной.
Их бег — подобье суеты челночной
на ткацком стане быстротечных лет.
Есть что-то в велелепных их названиях
напоминающее рот убийцы
с подчеркнутой насмешливостью складок.
Плывут суда, плывут во тьме туманной
к тем берегам, где миф с фата-морганой,
сплетаясь, жизни противостоят.

Невольничьим путем:
сквозь ад крошечный
на зафрахтованных жестокостью
судах.

Под палубой, где мертвые с живыми
покоятся в обнимку, все в крови,
сгущаются миазмы, вырываясь
наружу через приоткрытый люк.

В зловонном трюме твой отец
лежит недвижно, как мертвец,
и милосердие изгрыз
сонм шастающих всюду крыс.

О, этот взгляд, где боль, тоска —
и ненавидящий огонь, —
он тянется издалека,
как прокаженного ладонь.
Вам не забить его в колодки.
Бессильны ваши плетки
над волей к жизни, над бессмертным
желаньем жить.

“Когда б не этот ураган внезапный,
стеной вздымавший волны перед нами,
достиг бы наш “Амистад”, я уверен,
порта Принчипе в два-три дня, сеньоры.
Мятеж был неожиданным для нас,
как нападение пумы. Воцарилось
недолгое безлунное затишье —
лишь плеск воды да скрип канатов, — вдруг
неистовые крики, топот ног.
С мачете и со свайками в руках
мятежники обрушились на нас —
исчадья мрака. Выбившись из сил
от долгого боренья со стихией,
мы не смогли им дать отпор достойный.
Наш Селестино выбежал с ружьем.
И я при свете фонаря увидел,
как нож в него вонзился на лету.
Метнул его Санкез, жестокий зверь,
который выдает себя за принца.
Взошла заря. Вся палуба была
в крови. Скользили ноги. Тошно вспомнить,
как эти чернозадые швыряли
тела убитых братьев-христиан,
как жалкие ошметки, за борт. Мне
немногое осталось досказать.
Двоих из нас им пощадить пришлось,
ведь надо ж было довести корабль
до Африки. Мы, двое уцелевших,
повахтенно стояли у штурвала
и, тайно сговорясь, держали путь:
днем — на восток, а по ночам — на запад,
пока не очутились здесь, у вас,
в Америке. Я требую, сеньоры,
немедленной же выдачи смутьянов —
всех, во главе с Санкезом. Мне прискорбно,
что многие из вас бездумно склонны
оправдывать зачинщиков резни.
Мы знаем, что свободы нашей древо,
равно как и богатство, коренится

в труде рабов. Так почему ж, скажите,
превосходительный Джон Квинсли Адамс
поддерживает этих дикарей?
Его послушать — так Санкез герой.
Я вынужден настаивать повторно
на выдаче рабов — всех поголовно.
Да будет правосудье свершено!
Санкез же, этот самозванный принц,
получит по заслугам. Смерть ему!..”

Бессмертна воля к жизни,
желанье жить бессмертно.

Воплощена в Санкезе эта воля,
желанье это,
преобразующее всех вокруг.

Невольничьим путем:
сквозь ад крошечный — к жизни
на этих берегах.

ТОМАС МАКГРАТ

Томас Макграт (Thomas McGrath) — род. в 1916 г. в Северной Дакоте, в семье фермеров-ирландцев. Поэт, наследник демократических традиций поэзии Уолта Уйтмена, Карла Сэндберга, Уолтера Лоуэнфелса; его творчество тесно связано с жизнью рабочих США. Участвовал во второй мировой войне. Даже в самые черные годы реакции, во время разгула маккартизма 50-х, Макграт продолжал неутомимо работать, заведомо зная, что его стихи не угодны организаторам "охоты на ведьм". Стихами, выступлениями перед рабочей аудиторией, лекциями перед студентами, словом прозаика-сатирика Макграт хлестко бичевал и бичует толстосумов Америки, вскрывая коррупцию буржуазного мира, проповедуя единство и сплоченность демократических сил в моменты наступления реакции. Стихи поэта неоднократно публиковались на русском языке в журналах и сборниках. В 1984 г. издательство "Радуга" выпустило сборник стихов и прозы Макграта "Письмо к воображаемому другу".

Стихи Макграта народны по своему существу, его лирический герой Долговязый О'Лири наделен народной мудростью, юмором, сметливостью. Он обаятелен и узнаваем. Представляемые стихи — как уже известные, так и новые — взяты из поэтической книжки "Долговязый О'Лири предлагает действовать" ("Longshot O'Leary Counsels Direct Action"), 1983.

ИНТЕРВЬЮ¹

Записано весной 1977 года Джимом Дочняком во время работы студенческого семинара "Искусство и политика" в экспериментальном колледже при университете штата Миннесота

Томас Макграт. Ваш первый вопрос: как случилось, что я стал писателем? Пожалуй, именно с него и стоит начинать разговор. Каждый, конечно, приходит в литературу по-своему, и

¹ Печатается с сокращениями по тексту, опубликованному в сборнике Т. Макграта "Письмо к воображаемому другу". М., "Радуга", 1984.

обычно рассказывать об этом интересно; не думаю, правда, что у меня это случилось как-то особенно, хотя... Наверно, подтолкнуло меня к сочинительству то, что я рос в деревне и в годы моего детства радио еще только-только появилось, о нем мало кто знал. Электричества у нас не было, только батарейные радио-приемники кое у кого, и в город люди не мотались так часто, как сейчас, дороги были ужасные — кто потащится по грязи в такую даль до ближайшего города? А зимой — так по тем дорогам вообще не проехать. На зиму фермеры свои машины — если были, потому что в те годы у немногих были машины, — ставили на прикол и в город ездили на санях, и это мероприятие занимало целый день. В общем, если батарейки у радио изнашивались, немедленно в город не кинешься перезаряжать. Потому и замолкало у нас радио надолго: вот в эти-то паузы люди и развлекались кто как мог — тогда еще всякие народные затеи и праздники были в ходу...

Вопрос. Это в Северной Дакоте?

Т. М. Да, мои родители ирландцы, и в нашей семье долго жили ирландские традиции, отец помнил множество старинных народных песен. И хотя он почти не учился, окончил, может быть, всего класса три-четыре, но книги читал. По-моему, он знал все старые хрестоматии Макгафи наизусть, все сказки, все стихи оттуда помнил — некоторые, правда, никудышные, и все же... еще он знал много народных песен и всяких прибауток; память у него была изумительная, и он умел прекрасно рассказывать... Так вот, я хочу сказать: с самого раннего детства я не боялся поэзии; а ведь многие у нас боятся. Как, например, часто случается со школьниками? Им кажется, будто поэзия — что-то слишком мудреное, а на самом-то деле разве это так? Что к ней трудно подступиться; даже если вовсе не трудно, все равно боятся. Или читаются всякой чепухи, которую и понять-то невозможно, и думают: раз мне ничего не понятно, значит, поэзия — это не для меня. И больше ни на какие стихи в жизни не взглянут.

В общем, мальчишкой, уже старшекласником, сперва я все хотел пьесы писать... К тому времени, начитавшись кое-какой поэзии, в основном по школьной программе, Теннисона наверное, я внутренне содрогался: "Ух ты, это ж небось невозможно трудно — так сочинять!" А потом вдруг говорю себе: "Ну а я, интересно, смог бы?" И решил: надо попытаться. Вот тут меня и разобрал страх (*смеется*); такой я человек: если за что взялся, ни за что не брошу, пока не получится. Из-за этого я раньше, бывало, пускался бегать бог знает как далеко — и каждый раз меня разбирал страх, говорю себе: добегу в-о-о-н дотуда, бегу, а самому страшно, вдруг не выдержу, упаду — и дух вон (*смеется*). Такой вот страх меня и обуял, когда я решил писать стихи. И как тогда разбегался, так с тех пор каждый раз разбегаюсь.

Самое мое первое стихотворение мне очень понравилось, це-

лый день я ходил и думал: как я его здорово написал; день прошел, снова сел писать. Писал я традиционным рифмованным стихом, тогда мне было лет десять-двенадцать и никакой другой поэзии я не знал. Потом учитель дал мне томик новейшей поэзии — она тогда так называлась: "новейшая", а не "современная", как сейчас, — и вот с этого момента и наступило у меня прозрение: темы этих стихов были мне ближе, да и написаны стихи были иначе. В общем, лет эдак только через пять, а может, через шесть я наконец написал что-то похожее на поэзию, ну и, как уже сказал, пишу до сих пор.

Думаю, что желание сочинять стихи родилось во мне прежде всего благодаря отцу: это он открыл мне пусть не очень богатую, не очень содержательную, но все же поэтическую культуру. Я стал поэтом не потому, что я — прирожденный поэт, и уж никак не благодаря телевидению или радио — оттуда много не почерпнешь, — нет, тут не в том было дело. Ну вот, каждый в жизни, конечно, начинает по-своему; я вот так начал...

В. Когда и каким образом в вашем творчестве появились политические темы? С самого начала или нет?

Т. М. Не сказал бы, что с самого. Отец много лет состоял в ИРМ, только... только он при этом, как это ни странно, не слишком вникал в политику. Он, например, не очень-то признавал выборы, считал, что это надувательство, хотя и не упорствовал в своих взглядах. В кое-какие политические события местного значения все же вникал. Не помню, чтобы он вообще принимал участие в выборах. Кажется, только за Рузвельта голосовал. И еще в 1940 году — за год до нашего вступления в войну — за кандидата от компартии. Лесоруб, откуда у него было взяться настоящим политическим убеждениям? Хотя, конечно, ИРМ его немного просветила... В теории отец был слаб, и классовое самосознание у него было в самом зачаточном состоянии; но с ИРМ, как я уже сказал, он был связан. Потому постепенно и стал кое в чем разбираться.

И опять как со стихами: мне была изначально присуща стихийная политическая ориентация, я чувствовал, что классовая борьба существует, хотя теоретически объяснить этого не мог. Позднее, уже в старших классах, начал читать "Энкаунтер"¹, нашел у Джорджа Бернарда Шоу его определение социализма, а еще в одной книге, не помню сейчас ее названия, наткнулся на краткое изложение сути марксизма и, помнится, был поражен: "Господи, как здорово!" Тогда-то и начал искать литературу, это было нелегко, почти невозможно. Кое-какие книги американских социалистов еще можно было раздобыть — у тех, кто у

¹ "Энкаунтер" — английский общественно-политический журнал, в 30-е годы придерживался левой ориентации; с 50-х годов редакция журнала перешла на буржуазно-охранительные позиции.

нас голосовал за социалистов, но это когда я уже учился в колледже... В общем, сами видите, в те годы я мало чего понимал и в поэзии, и в политике.

И мое политическое невежество тех лет сослужило мне плохую услугу: я решил, что газетам верить нельзя, и вообще перестал их читать. В результате я чуть ли не целый год перевозносил Франко, прослышав, что он против существующего порядка, ну а всех, кто против, я считал, надо поддерживать (*смеется*). И так продолжалось до тех пор, пока не поговорил как-то со своим другом, с моим самым близким школьным товарищем, который не просто читал газеты, но еще и думал над тем, что читал... он тогда поступил в колледж и вот приехал домой на каникулы, а я в тот год не готовился, поступил в колледж на следующий. Принялись мы с товарищем обсуждать войну в Испании, и вдруг вижу: у нас с ним прямые разногласия; тогда он и открыл мне глаза, рассказал, что такой Франко на самом деле.

Ну а потом, когда уже учился в колледже, чего я только не узнал... в те годы в литературном мире столько было разных политических группировок. Я смотрю на вас, многие совсем молодые, наверное, не знают даже, что в шестидесятые годы было. А то далекое время было очень похоже на шестидесятые. Только попестрее, группировок побольше: были тогда технократы — о таких вы сегодня и не услышите, — и социалисты самых разных уклонов, и коммунисты, и еще какие-то партии... У нас в колледже я и познакомился с коммунистами, в основном это были рабочие парни. Одного пригласили выступить перед студентами, очень обаятельный парень оказался, каменщик. Мы с ним потом подружились. И еще с одним, его звали Бодетт, родом из городка Бодетт, что в Миннесоте... В общем, стал я заниматься политикой уже в колледже, вступил в Американский студенческий союз; мы устраивали забастовки сторонников мира... В те годы много возникало всяких организаций, время такое было: активизация массового сознания. Позже я участвовал в разных политических выступлениях то там, то здесь. То на юге, если оказывался там, то в Нью-Йорке и даже на западном побережье — перед самой войной и после.

В. Скажите, формируясь как писатель, вы думали, для кого вы пишете?

Т. М. Стихи у меня, конечно, были бунтарские; но, сами посудите, пока я не выяснил, что Франко вовсе не герой, можно ли было всерьез говорить, что я писал политические стихи? (*Смеется*.) Куда уж там! Ну а потом, вскоре после того, как разобрался с Франко, стали у меня появляться и политические стихи. Начал посвящать некоторые из них самым актуальным темам времени. Испания, например, тогда всех очень волновала, мы с другом решили вступить в Интербригаду, но тут к власти пришли фалангисты. И хоть мы не осуществили своей цели, но все ж записались, готовы были ехать воевать. События

в Испании никого не оставляли равнодушными. Для нас эта война была тем же, чем для поколения шестидесятых — война во Вьетнаме...

Думаю, именно тогда я начал писать настоящие стихи. Одно стихотворение особенно хорошо помню — оно было написано сразу после окончания испанской войны: я только что узнал, что умер Антонио Мачадо, умер, покидая родину, когда поток эмигрантов оттуда хлынул через Пиренеи... И вот это *событие*, смерть Мачадо, побудило меня сочинить стихи.

Я стал отсылать свои стихи в еженедельный журнал "Нью мэссиз"; они возвращались обратно. Отвечали мне разные люди — Норман Ростен, например, не помню, кто еще. И я понял: мои стихи еще недостаточно точны по мысли, не в полной мере, как я сформулировал уже позднее, "конкретно-целевые". Я не упал духом, сказал себе: "Ладно, зато теперь я знаю, как надо писать". Всегда я писал как бы два рода стихов; до сих пор так пишу.

Уже позже я разработал свою поэтическую теорию о том, что существует поэзия "конкретно-целевая", то есть поэзия *о стремлении к цели*, созданная *стремлением к цели*, усиливающая его. Такая поэзия связана с текущим моментом, она открыто и непосредственно носит политический характер. Такие стихи, скорее всего, надо писать традиционно, потому что многие раньше, да и теперь, связывают поэзию прежде всего с рифмой. И еще я думаю — может, тоже мне по наследству передалось, — эти стихи должны звучать как песня... Между тем мои издатели такие стихи не печатали, но меня это не останавливало. Я продолжал писать поэзию открыто политического звучания; потом стал сочинять и другие стихи, не политические, иной раз всякую ерунду.

В сороковые годы я написал книжку, где нашла отражение моя поэтическая теория, и тут критики из "Нью мэссиз" — да и не только они — переполошились, обрушились на меня со всех сторон. Я уже сказал, что признаю два вида поэзии: это "конкретно-целевая", актуально-политическая, и другая, скажем более экспериментаторская, она не так, как первая, актуальна политически, хотя может и перерасти в таковую, поскольку поэту трудно избежать политики. Потом я выпустил поэтический сборник, чтобы частично проиллюстрировать свой взгляд на поэзию; книга называлась "Поэтическая антология Долговязого О'Лири на каждый день". Не всякое стихотворение там подпадало под мою теорию, только некоторые. Я хотел предложить еще подзаголовок "...или Граната-самоделка", но издатели решили, что название получится чересчур длинное, а может, слишком подрывное (*смеется*), кто их знает! В общем, вполне возможно, что те мои стихи еще недостаточно хорошо отражали смысл того... что я хотел сказать...

Прежде всего я всегда считал, что мои читатели должны быть такими же, как я: ведь я обычный, вовсе не из ряда вон выходящий человек. Но все же я и не самый заурядный человек, у меня есть свои собственные политические убеждения, так ведь? Хотя я и не считаю себя при этом человеком особенным, выдающимся. Кто я? Революционно настроенный поэт, представитель своего времени.

Отсюда и мое отношение к моей аудитории. Вообще говоря, я никогда слишком не раздумывал над тем, кто именно будет читать мои стихи, хотя, если говорить о той моей книге, она была предназначена для образованных рабочих, под ними я подразумеваю политически активных рабочих, не из профсоюзных деятелей, а именно из тех, кто читает литературу, кто стремится к знаниям. Вот вам, пожалуйста, пример: был у меня друг, организатор портовых рабочих на том и другом побережье, это он, под именем Мак, стал героем моих больших поэм, он был для меня как бы вторым отцом, наставником, так вот, если бы представить в идеале, для кого я тогда писал, я бы сказал: для него. Он воплощал собой всю массу политически активных рабочих — не интеллигентов, нет, а именно рабочих, я их хорошо знал: это и судовые механики, и портовые грузчики Нью-Йорка, и водители грузовиков, кое-кого я помнил еще с детства.

Вот о них я и думал, когда писал. Поэтому-то я обычно придавал своим стихам традиционную форму, хотя временами нет-нет да и сбивался, смеха ради, на нерифмованный стих, на всякие выверты. Словом, вот какими я видел своих читателей. Были, правда, и такие, пусть даже и политически активные, читатели из интеллигенции, кто с детства привык к свободному стиху, к разным его формам, и их, бывало, отпугивал мой традиционный стиль. Такие меня не заботили. Я думал прежде всего о тех, кто с удовольствием читал тогда мои стихи. И я не ошибусь, если скажу, что я один из немногих в нашей стране поэтов, который может похвастать, что имел свою собственную аудиторию, хоть и не слишком большую, но живую и, во всяком случае, заметную. Меня читали мои читатели, а ведь сейчас про многих ли поэтов такое скажешь?

В. И ваша аудитория... соответствовала вашему идеалу?

Т. М. Я думаю, да. Мои читатели, особенно в те годы, были, пожалуй, самые передовые, политически активные и образованные рабочие своего времени.

В. А та ваша книжка была написана для них? Или вы для них специально помещали стихи в их газетах и журналах?

Т. М. Видите ли, я думаю, что поэтические сборники вообще покупают не так уж часто. В те годы мои стихи выходили в "Дейли уоркер", "Пиплз уорлд", "Колл", старой газетке ИРМ "Солидэрити", еще кое-где. Мои стихи пятидесятых годов — сейчас уже не помню, какие точно, — публиковались, кажется, в пяти-шести радикальных газетах. А значит, стихи эти были на

виду, читались. Потому-то я и говорю, что у меня была своя аудитория, мои желанные читатели, самые важные для меня читатели. Теперь эта аудитория в какой-то степени поредела, надо пополнять ряды.

В. А что произошло?

Т. М. Многих уже нет в живых. С тех пор столько произошло разных событий, включая и то, что в пятидесятые почти все левые силы сошли на нет, их организации, их журналы прекратили существование. Старый прогрессивный журнал "Нью мэссиз" сохранился, но стал совсем другим, ежемесячным журналом. В шестидесятые, правда, кое-что начало восстанавливаться, и, мне кажется, этот процесс продолжается и по сей день, сейчас стали читать больше. Хотя аудитория уже не такая однородная, как в те годы, но побольше как будто. Сегодня студентов среди моих читателей по сравнению с тридцатыми годами прибавилось. В шестидесятые поэзия начала привлекать к себе молодежь — буквально все тогда писали стихи. Сейчас пишут меньше, мне это заметно: я веду литературный семинар в университете. И представьте, студенты сейчас совсем другие. Уже нет тех гривастых парней, которые, кстати, работали поинтересней, чем многие теперь. Нынче как рассуждают: "Да-а, надо бы подойти на этот семинар — в языке поднатаскаюсь, немножко подучусь, чтоб уметь писать рекламные тексты". Раньше, знаете ли, так не рассуждали.

В. Скажите, а в те годы вы не выступали с чтением стихов накануне выхода поэтической книги в свет?

Т. М. Очень-очень редко... Раза два-три, наверное, я читал публично свои стихи, но мои выступления не шли ни в какое сравнение с тем размахом, с каким читалась поэзия в шестидесятые; сейчас стихи тоже читаются, правда уже не так, как тогда. Вообще-то сами эти чтения начались раньше, еще в пятидесятые, — читали в кафе. Знаменательнейшее было событие — "поэзия из кафе", теперь такого, к сожалению, уж нет и в помине. Особая популярность пришла с появлением так называемых битников; хоть само чтение началось раньше, но, видно, этот процесс вдохновил битников; а в самом начале скромно все проходило, не так шумно, как потом...

Моя книга была опубликована в "Интернэшнл паблишерз", издательстве, которое и по сей день является органом Коммунистической партии США, а это хорошая рекомендация для книги. Издательство тогда охотно напечатало мою книгу. Надо сказать, оно крайне редко печатает поэтов. Отчасти потому, что поэзия мало раскупается, не так, как популярная литература; отчасти потому, что поэзия не считается таким уж важным предметом, как, например, та политическая литература, которую это издательство выпускает...

Я отвечал как-то на вопросы анкеты, предложенной "Миннесота ревью"; тема была примерно такая: "Какое значение для современного поэта имеет марксизм?" — так, кажется, точно не помню. Я написал тогда, в частности, вот что: не говоря уже о многом другом, марксизм следует ценить хотя бы за то, что он открыл ранее неизвестную сторону производства и производственных отношений — сферу общественных отношений, и эта сфера чрезвычайно важна для поэта, марксист он или не марксист... Мне думается, в любом случае, пишет ли поэт открыто политическую поэзию, нет ли, представление о марксизме и о революционном движении иметь необходимо, даже если иной поэт рассуждает так: "Я не хочу писать о том, что происходит вокруг, я пишу сонеты на далекие от реальности темы". А по-моему, сонеты получились бы ярче, если б поэт имел представление о марксизме, об общественных отношениях. Мне кажется так.

Маркс ставил Бальзака выше всех его современников-романистов, называл великим социальным романистом. А Бальзак был роялист; как же все это увязать? Роялизм — даже не мелкобуржуазная стихия, это самая что ни на есть реакция; так почему же Бальзак как писатель велик, а как политик не состоятелен? Да потому, что он обладал талантом видения и, как художник, был предельно честен. Однако, будь Бальзак знаком с марксизмом, может, он стал бы еще более великим художником? Как знать! Может, эта новая правда так бы его потрясла, что он сделался бы еще проницательнее и, возможно, осознал бы свое истинное место в мире? Хотя я вовсе не утверждаю, что, став последовательным революционером, писатель автоматически становится первоклассным художником, это абсурд. В искусстве свои законы. Тут простой смертный может творить лучше, чем сам господь бог. Кто его знает, что определяет успех в искусстве — случай, гены? Ведь этот успех не зависит от того, хороший вы человек или нет...

В. Ваше основное занятие — преподавание?

Т. М. Литературный труд не кормит. Надо подрабатывать. Хорошо бы, конечно, ответить: у меня нет в этом необходимости! Куда там, приходится подрабатывать так или эдак. Я рано начал работать. И знаете, наверное, то, что я работал мальчишкой, так и осталось самым сильным воспоминанием детства — об этом у меня есть в поэме. Кто знает, может, именно мое трудовое детство и послужило основным импульсом к созданию поэмы. Сначала работал на фермах. А летом, знаете, батраком нанимался: тогда на летние работы, особенно на сбор урожая, много нанималось поденщиков. Чуть подрос — каждое лето. Братья помогали отцу вести хозяйство, а я деньги зарабатывал...

Потом поступил в колледж и, пока учился, работал на трех разных работах. Какое-то время учился на стипендию. Потом мне выпала стипендия Родса, я мог поехать учиться в Англию, но это было невозможно — шла война. Тогда я поехал поступать в Луизианский университет, окончил его, получил степень магистра. После университета год преподавал в штате Мэн и решил: хватит, больше никогда не буду преподавать. Отправился в Нью-Йорк, там пробавлялся всякой случайной работой. То подготавливал какие-то материалы для корпорации адвокатов, защищавших одного прогрессивного деятеля, которого собирались выслать за пределы США. То работал на верфи, а потом меня забрали в армию — еще три, даже три с половиной года пришлось здорово потрудиться. А после войны мне одна неприятная работа досталась. Место в агентстве, где выплачивают пособие по безработице. Пришел туда за пособием, а у них самих место оказалось. Это было в апреле. Проработал я там с неделю — тут майские праздники. Я решил: "К черту! Пойду на первомайскую демонстрацию, не выйду на работу". Пошел и туда больше не вернулся...

Но все же работать-то надо. А где работу взять? И тут Мак, один мой приятель, говорит: "Ты вот все хвастаешь, что, мол, писатель, какой же ты писатель, раз прокормить себя не можешь?" Я отвечаю: "Куда мне! Я и не знаю, как это делается". А он: "Пройди по улице, увидишь витрину — там всяких дешевых журнальчиков, наверно, с полсотни выставлено. Купи десяток, домой принеси, просмотри внимательно, и, если не сможешь для них ничего подходящего написать, нечего тогда писателем зваться!" Видите, я бы сказал: трудовой, рабочий подход к делу. Пошел я, полистал журнальчики, я и раньше их проглядывал, когда еще в армии служил. Сел за стол да и написал эдакую зловещую историю, так себе, конечно... надо было к тому же подгонять под журнальный стандарт — у них с этим строго-сти, ни дать ни взять сонетная форма! — такой-то объем, ну и так далее. В общем, отослал я свой опус и — заработал деньги. Ну, думаю, красота! Пустяковина, милые забавы, да и только. Примерно год я так халтурил, хотя, правда, случалось — подолгу засиживался. Только потом я понял, как мне все это боком вышло.

Через год я уехал в Англию, учиться в Оксфорде на выделенную мне стипендию Родса. Год проучился всего, бросил. Слонялся без работы. Задумал тогда написать роман. Написал. Но напечатать его не удалось, до сих он у меня в рукописи. После этого я вернулся домой. А через пару лет отправился на Запад, искал там работу, безуспешно. Опять вернулся на Восток, снова метнулся на Запад. Так меня и носило какое-то время взад-вперед. Приятель один, рабочий-штамповщик, говорит мне как-то: "Пошел бы ты на конвейер в "Дженерал электрик". Там работа тяжелая. Люди долго не задерживаются. Всегда рабочие руки нужны". Ну я и пошел. Думал, механиком устроюсь, еще раньше

освоил эту профессию. Но поработать мне не пришлось, потому что в те годы очень въедливо всех проверяли — на крупных предприятиях через такую тьму допросов проводили, а на мелкие тоже просто так не попадешь, через головные оформляться надо. Это на Западе дело было, там самолеты в основном собирали. Но даже если б я и попал на конвейер — а я не попал, — ничего хорошего мне та работа не сулила: такая сумасшедшая гонка, люди прямо-таки обалдевали. Мне мой приятель предлагал: "Бери машину, у нас вторая есть. Поезжай, попроси по колледжам в округе, может, найдешь работу". А к тому времени я уж был готов идти работать посудомойщиком. Совсем отчаялся найти работу. Зашел в одну контору по найму, там мне говорят: "Вот вам анкета, заполняйте!" Я что-то написал, а клерк посмотрел на меня и говорит: "Мы, извините, не можем вам доверить посуду мыть. Вы с Востока, порядков наших не знаете".

Вот тут я и вспомнил про того приятеля с машиной. И решил — это последнее, что мне осталось. Говорю ему: "Знаешь, еще немного — и спать мне под открытым небом". Ну он в ответ: "Давай, — говорит, — действуй!" Так я и сделал — сам не знаю, как все вышло. Сел в машину, объехал несколько колледжей, потом остановился в одном месте у книжного магазина. Зашел книги посмотреть. Листаю книги, спрашиваю: "А что это у вас за здание напротив?" Мне отвечают: "Это лос-анджелесский государственный и городской колледж". А я: "Как это — все в одном здании?" "Это, — отвечают, — государственный колледж. Городской и одновременно государственный. Только-только открывается". Я вошел в то здание и получил работу. Так вместо мойщика посуды со знанием обычаев Запада я стал младшим преподавателем или ассистентом, кажется.

Вдруг меня потянуло писать сценарии к документальным фильмам. Лет пять я этим занимался. Потом узнал, что попал в "черные списки" то ли Си-би-эс, то ли Эн-би-си, не помню. Мне сделалось так противно, уехал я тогда к своим старикам на ферму в Северную Дакоту. Меня взяли преподавателем в университет Северной Дакоты. Ну я и решил, что незачем мне возвращаться в Нью-Йорк, который мне порядком опостылел. Я вообще не любитель больших городов, да и жена моя тоже. Так мы и осели в Северной Дакоте, я жил там и преподавал лет, наверное, двенадцать-тринадцать. И все эти годы продолжал время от времени писать сценарии к документальным фильмам... Вот вам моя трудовая биография. Чего только не было!..

В. Как сказались на вашем творчестве то, что вы писали рассказы для дешевых журналов?

Т. М. Я обнаружил, правда не сразу, что не такие это милые забавы, как мне раньше казалось. Ведь за все это время я не написал ни единой поэтической строчки, тогда и пришла мысль: "Может, это все, со стихами покончено?" И все-таки я решил выждать, затаиться: вдруг возникнет из небытия что-нибудь эдакое.

Долго я просидел однажды за столом, сосредоточившись, и вот — явились стихи, к тому же неплохие; слава богу, что так все кончилось. После этого я снова стал писать — правда, не каждый день и не так, может быть, активно, как раньше. Но главное — я понял, что эта литературная халтура мне сильно навредила. Ничто не проходит бесследно. Теперь я вижу, как вредно заниматься не своим делом, и вам не советую. Ничто не проходит бесследно, а если в литературе братья не за свое, то такие опыты тяжело отзываются, потому что заполняют все помыслы, даже если хорошо известно, что почем. Хоть знаешь, дешевка все это, все же убеждаешь себя — а может, не дешевка? Ведь однажды поверив в свои творческие силы, трудно расписаться в собственной никчемности. По-настоящему счастливы, должно быть, те производители халтуры, кто в литературе ничего не смыслят и потому считают, что пишут очень здорово...

ПЕСЕНКА О МИЛОСЕРДИИ

Рабочему перчатки босс
дарил на Рождество,
а тот потом лишился рук
на фабрике его,
на фабрике его.

Рабочему на юбилей
босс дарит башмаки,
а тот на фабрике потом
остался без ноги,
остался без ноги.

С рабочими на Первомай
был мил и ласков он,
а их на улице потом
дубасил фараон,
дубасил фараон.

Когда твердят, что подставлять
щеку учил Христос,
гляди, чтоб зубы кулаком
тебе не выбил босс,
тебе не выбил босс.

Пусть опять лукавый босс
талдычит про любовь,
не забывай, что на станках
твоя ржавеет кровь,
твоя ржавеет кровь.

А если уж любить людей,
то самых дорогих,
свою жену, своих детей,
товарищей своих.
Не кровопийцу же тебе
любить, как любишь их!

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОСТРОВЕ В ТИХОМ ОКЕАНЕ

Хотя истек уже немалый срок,
Тот тихоокеанский островок
Мне памятной навязчивого сна.
На Тихом океане шла война...
Выл норд, лил дождь, и океанский вал
Обрушивался на причал.

Во сне ли, наяву — сперва вдали
Туманно проступают корабли.
Я слышу скрежет якорной лебедки
И вижу, как идет к причалу лодка,
Ищу на ней товарищей моих,
И страшно, что меня нет среди них.

Вот, башмаками шаркая устало,
Они проходят молча по причалу,
Боб, Чарли, Гарри и еще другие,
Кого я вижу, кажется, впервые,
Но вдруг я узнаю себя в одном
Из них, и сон перестает быть сном,

Как та война. Ее не позабыть,
Как мертвых невозможно разбудить.
И навсегда ушедших — не вернуть.
Но я на обжигающем ветру
Товарищей с тех пор все жду и жду...
Зато правителям моей страны
Опять уже нейдет без войны.

ОДА АМЕРИКАНЦУ, ПОГИБШЕМУ В АЗИИ

1

Бог возлюбил тебя — пускай хотя бы он,
Труп в рисовых полях, а может — на холме,
Средь летней разрушительной войны,
Не прощенной тобой. А все твои фальшивые знамена —

Невежество и мужество — подобны школьным картам
С раскраской стран, куда тебе не забрести,
Вплоть до того уикенда в вечности,
Когда, смешлив, вооружен, умел,
Готовый пристрелить хоть собственного брата, ты был послан
Начальством в свой грядущий день. О мертвый на холме,
Труп в рисовых полях, пиявками раздут до черноты,
Ты свергнут в бездну носок. Мы скорбим о подменном:
о тебе,
Ты продан бедности и сбегрен на войну,
Не зная тех, кто всем вершил в твоей судьбе.

2

Пчеле, прядущей солнце, как стальную нить,
Пугливому кроту, что, будто мелкий призрак,
Вошел в полночный пласт, — счастливым, им спешить,
Подобно поездом, по непреложным рельсам
Слепых инстинктов. Счастлив летним безрассудством,
Ты подрывал культуру, что начинена войной.
Властям — воспитывать тебя, религии — благословлять,
А старшим — знать, что ничего не знаешь.
Тебе не подали чепец познания, крикнув, что должны
На мертвом море гибнуть рыбы стаи,
Не одолев — без ног — хождения науку.
Правители тебе гранату дали в руку,
Ковчег — чтоб уцелеть в потоп. Но в пору перемен
Не выжить только смелостью: незрячий крот умрет,
И ты упал на холм из-за незнания правил.

3

Промокнув на ветру, готовящем рассвет,
Хрипатый ворон тащится, покинут всеми, к дому.
И бог (который птиц обрушит наземь,
Как благодать иль конфетти) моргнул — и вот его уж нет,
И нет тебя. Бесстрашья пугало в тебе растет,
Ржавая, словно лилия, когда цветет
В Дакоте роза и благоухает биржа.
Аренда, роза — все хотят украсить твой конец,
Неся живой огонь как царственный венец.
Идет наемных плакальщиков ряд: чтоб уронить
Слезу на Форум. И придется нам почтить
По истечении года тебя, чьей храбрости хватило бы вполне
На все известняковые рассказы: невежествен, бесстрашен,
изумлен.
Погиб на рисовых полях, на никому не ведомом холме.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

После окутавшего остров тумана и криков чаек,
После последнего несчастного случая и последнего самоубийства,
После того как мы разорвали наконец узы разлуки,
После того как наш корабль приблизился к берегу

И земля распахнулась, как детская книжка с картинками
(Холмы были окрашены нашим одиночеством, озера — годами
изгнания) —

Впрочем, география вскоре восстановила свой гражданский
статус, —

И едва уловимый запах смерти без следа развеялся в
безмятежном мраке,

Мы почувствовали, что настоящее возвращение только начинается.
Мы поняли, что сила, влекущая нас домой —

Где нам непременно придется разыгрывать роль чужестранцев,
Чьи имена мы давно забыли, хотя все еще продолжаем носить, —
Что эта сила есть страх, родившийся в дверном проеме нашего
дома,

Вдали от ночных патрулей и ночных кошмаров.

Вдали от мертвого мальчика, навсегда оставшегося в Прошлом.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ ПРОРОКА

И вот ворвался в каменную пустыню весьма сильный вихрь,
И се глас, подобный громыханию громовному,
Ишел из вихря, говоря: смерть четырем царям равнодушия!
Смерть похищающим у нас честь и труд!
Смерть порочащим святое причастие!
Да разрушатся храмы сих благочестивых нечестивцев!

И отвечали на это либералы: потише, приятель!
Ну конечно, мы поможем тебе. Но сознаешь ли ты,
Как это опасно — открывать людям правду о них же самих?
Ради бога, не буди этого спящего зверя!

И вот глас, словно пылающий голубь, полоснувший небо
Проклятием-клеткотом, подобным железному визгу заводского
гудка,

Возопил из мрака, говоря: смерть трем шлюхам истории —
Церкви, государству и собственности! Горе
Привилегированным фальшивомонетчикам жизни!
Сровняйте с землей бездушные бастионы Времени!

И отвечали на это наемники: заткнись, Джек!
Что за унылый вой?! Не размазывай сопли,
Ляг и расслабься! Все будет о'кей!
А не то до завтрака ты прогуляешься в ад, а зимой не выпадет
снег.

И вот глас, подобный гудению колокола на разрушенной башне
совести,
Поколебав искусственные цветы в саду моральных устоев,
Возгремел, говоря: смерть двум монахиням принуждения,
Крадущим блаженные лакомства детства! Горе
Хитроумному похитителю юности, девятирукому богу
Ростовщичества, ночующему в наших карманах!

И отвечал на это врач, недобро сверкая глазами:
Немедленно ложитесь и считайте до двадцати.
И затем он повернулся к банкиру и сказал: скальпель и щипцы,
пожалуйста!

И они проникли в тело, не имея на то никаких прав.

Но вот глас, подобный звуку трубному, донесся из колодца его
израненного горла;
И сердце с воплем выпрыгнуло из рва его переломанной груди;
Из окон его пылающих глаз вылетели ястребы первых четырех
времен года,
Красный флаг пятого расцвел в его грезящей крови!

ПЕСНЯ РАССВЕТА

Город медленно покидает материк безначального сна
И на волнах клубящихся сумерек несет к небесам
Проступившие раны асфальта, горьковатую смесь
слез, надежды и дыма,

Напитавшую стены домов, чьи прямые углы
Сочетают известное с неизвестным.

Высоко над землей,
Покорясь непреклонному времени, заключенному в клетки
Мерцающих башен,
бьют

стальные куранты.
На их сдавленный стон отвечают другие,
И блестящие звуки рассвета срываются вниз и впадают
В миражные улицы,

темные реки,
несущие Время...

Где все мы

Со свечами в руках бродим в поисках хлеба,
Порою — веселые, чаще — печальные.

Скинув тонкий покров, разукрашенный бисером
Ярких огней и узором рекламы,
Городская фата-моргана выплывает из мрака;

свет

Превращает в реальность бестелесные призраки снов и
полночных кошмаров;
Камни вновь облачаются зыбким прахом
Старинных легенд и далеких традиций.

Туман обычаев и квартплаты
Сгущается в крепкие стены,
Эктоплазма несчастий и банковских чеков
Творит крыши и доки; бьют куранты,
Сверкают стальные громадины башен,
И под гулкими шагами первых прохожих
Рождаются тротуары, уводящие город к реке.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПОВОДУ ПОСЛЕДНИХ ВЫБОРОВ

И вот, друзья, на наших глазах революция
Вновь сошла на нет. Но никогда еще этому не предшествовало
Явление такого числа пророков.
Такого множества священных книг — все до одной в переводе.
Стольких молодых людей с длинными волосами и поэтов
С короткими мыслями!

И звон гигантских колоколов!

О-ля-ля! И фимиам!

И цветы!

Цветы, которые, впрочем, так и не нашли ствол
Того орудия, из которого произрастает власть.

Но вот Президент,
возрожденный

Из мистического тела Единой и Всеобъемлющей
Выборной машины, снимает маску.

Густая, тяжелая

Тьма, подобно ржавчине, проникает в оружие электрогитары.
Президент заставит летать бумажного змея! "Благодарные

мертвецы"

Действительно будут ему благодарны. Президент составит новые
"Упанишады"...

На улице ливень; на дорогах — гололед.

Но в каждой капле дождя воскресают матросы "Потемкина".

ПРОЩАЛЬНЫЙ БЛЮЗ

Пусть галдят генералы, замысливая войну,
Пусть вопят адмиралы, дружно идя ко дну,
Пусть вы сами дойдете до точки — клянусь, господа,
Ради вашего блага и пальцем не шевельну!

Я ловил крокодилов и тигров стрелял иногда,
Бороздил океан и на горы всходил без труда,
Даже прыгал однажды с тринадцатого этажа,
Но прислуживать вам?! Нет, увольте меня, господа!

Джентльмены, мне мнится, что в гибели стольких солдат
Не один только случай, испортивший все, виноват,
Мне убийственно ясен ваш непроницаемый взгляд...
Я смываюсь отсюда — надеюсь, мне это простят.

Мне на третьей ступеньке едва не снесли головы,
Я летал на Луну, чтоб попробовать лунной травы,
Я бродил по пустыням и лазил в гудящий вулкан,
Но — кричи не кричи — вам меня не дозваться, увы!

Господин патриот, чутким ухом приникший к земле,
И кудрявый профессор, любитель реле и желе,
Толстолая леди с душою в стеклянном чехле,
Я пришлю вам открытку, как только растаю во мгле.

Я познал, что Общественным Благом считает народ,
Я придумал язык, не приемлющий лживых красот,
Я спокоен, поскольку уверен, что в этих краях
Тренированный гангстер не всадит мне пулю в живот.

Чистоплотный убийца, чья бомба сжигает дотла,
Захолустный сенатор, чья кожа лилейно-бела,
О небесная техника разнообразного зла,
Я смываюсь отсюда, где даже хвала — кабала.

До скорого! Привет!
Аривидерчи, чао,
Ауфвидерзейн, адье,
Оревуар, гуд-бай!

ДЖЕК КОНРОЙ

Джек Конрой (Jack Conroy) — род. в 1899 г. в городке Моберли, штат Миссури. Прозаик, поэт, критик, эссеист, мемуарист, журналист, участник I Конгресса Лиги американских писателей, патриарх пролетарской литературы Америки. Крупнейший его роман, "Обездоленные" ("The Disinherited"), 1933, посвящен борьбе американских рабочих-шахтеров в 30-е годы. Произведения Конроя наряду с произведениями Дос Пассоса, Фаррелла, Хьюза, Одетса и др. были включены в антологию "Пролетарская литература в США", вышедшую в 1935 г. Джек Конрой был редактором известного прогрессивного журнала "Наковальня" ("Anvil"), 1933—1941. Подвергался репрессиям в годы маккартизма. Статьи, рассказы, репортажи Конроя 30-х и 40-х годов печатались в СССР. Был переведен и роман "Обездоленные". Писатель живет в своем родном Моберли, городке, который за его культурно-просветительскую роль в общественной жизни США Конрой именует "Афинами Запада". Писатель по-прежнему один из вдохновителей радикальной литературы Америки. Он был участником Конгресса писателей США в 1981 г. Много работает с творческой молодежью.

КОГДА РАБОЧИЙ СТАНОВИТСЯ ПИСАТЕЛЕМ

Из выступления на I Конгрессе
Лиги американских писателей, 1935 г.

Трудности, с которыми сталкивается рабочий, если он начинает писать, многочисленны и разнообразны. Ведь только единицам из писателей-рабочих удастся закончить университет или выпадает счастье пожить годик-другой в Париже, где-нибудь в Латинском квартале, — там иные постигают суть пролетарской литературы, копируя стиль Марселя Пруста или Джеймса Джойса. Тяжелый физический труд высасывает из рабочего творческие силы, а привычность повседневной работы порой отвращает от нее, и, случается, писатель-рабочий забывает, что именно в ней источник его литературного опыта. Познать иное в жизни у него практически нет возможности.

Не без помощи кое-кого из передовых критиков у нас бытует точка зрения, будто пролетарский писатель не только вносит новую тему в художественную прозу, но и должен, кроме того,

выработать некий новый, специфический художественный стиль, будто надо отказаться от привычного словаря и знакомой образности, и пусть новый язык гудит как мотор, грохочет молотом, отдается звоном стали. Зачастую в результате такой отчаянной погони за новым строем фразы, за новым образом возникает какая-то бессвязная речь, большинству вовсе непонятная; или стараниями экспериментатора вместо обогащения, совершенствования композиции произведения получается, увы, скучнейшее повествование.

Писатель-рабочий должен научиться выражать свою мысль предельно ясно и просто; и еще ему следует научиться отбрасывать банальное, ненужное. По-моему, создать текст призыва к стачке или пламенную листовку гораздо важнее, чем создать, пусть профессионально гладко написанный, толстенный том о страданиях какого-нибудь повесы, а что до любовных страстей дамочки из высшего общества, то без них человечество вполне может обойтись. Тому, кто принимается за текст призыва к стачке или за текст листовки, надо, вне всякого сомнения, изрядно потрудиться, вложить смысл в каждое слово, чтобы оно разило как удар, чтобы дошло до каждого рабочего. И для этого вовсе необязательно выкручивать экзотические словосочетания или заниматься словотворчеством. Грейс Лампкин в своей книге "Зарабатывая свой хлеб" и Майкл Голд в романе "Еврейская беднота" прекрасно продемонстрировали, как можно с помощью простых и даже, по выражению иных свехутонченных критиков, "банальных" и "обыденных" слов создать удивительно яркую метафору. Чтобы понять такие произведения, ни одному читающему рабочему не потребуется ни специального словаря, ни специальной расшифровки.

Русские пролетарские писатели имеют значительное преимущество по сравнению с их американскими коллегами. Ведь американская пролетарская литература — и это вызвано нашей ситуацией — повествует не о том, что есть, а о том, что видится в надеждах; она создается в условиях кризиса капиталистического общества, что накладывает свой отпечаток на судьбы людей, в условиях чередования поражений и побед забастовочного движения, демонстраций политической мощи рабочих. Майкл Голд отмечал, что три акта революционной драмы — первые три — написать сравнительно нетрудно. В четвертом же, однако, действие должно достичь той или иной кульминации: либо это разгром стачки, но непокоренные рабочие клянутся, что не оставят борьбы; либо в герое пробуждается классовое сознание; либо хозяева пошли на уступки, и, окрыленные успехом, рабочие сплывают силы для окончательной победы. И все-таки: каким же должен быть в произведении пролетарского писателя или драматурга реальный финал, чтобы вселить в читателей или зрителей убежденность в естественности, в неизбежности того или иного исхода? Вот в чем для нас состоит главная проблема...

...К сожалению, пролетариат в Америке пока не победил. Но среди нашего трудового народа есть живые герои и героини. Это Роберт Майнор, Анджело Херндон, Мамаша Блур, Том Мунн, Джо Хилл, Юджин Дебс. Их не счесть — неизвестных, большей частью безымянных организаторов негритянских забастовок, протеста издольщиков на Юге, мужчин и женщин из толпы пикетчиков, всех тех, кто трудится и борется на фабриках, в шахтах, на фермах. Своей книгой "Земля изобилия" Роберт Кэнтуэлл доказал, что пролетарский писатель способен описать и фабрику и ее рабочих с такой же убедительностью и достоверностью, как Томас Харди описывал в своих романах жизнь уэссекской провинции.

Наша задача воссоздать живую картину непрекращающейся борьбы, надежд, побед, разочарований будущих хозяев земли — трудящихся. Это нелегкая задача. Нам не все еще ясно, у нас почти не на что опереться, мало опыта на этом пути, нам не хватает культуры, над нами постоянно висит угроза безработицы, нас сковывает физическая и творческая усталость. И все же мы несем новую, живую тему в литературу. Наша первейшая цель — попытаться писать о том, что важно народу, а вторая — излагать это просто и ясно, чтоб охватить как можно более широкую аудиторию читателей.

ДОН УЭСТ

Дон Уэст (Don West) — род. в 1907 г. в семье бедных фермеров в штате Джорджия. Поэт, просветитель, организатор рабочих. С самой ранней юности стал горячим поборником прав американской бедноты, призывал к братской солидарности трудящихся разных национальностей США в борьбе против капиталистического правопорядка. Активный борец против маккартизма, в 50-е годы неоднократно подвергался аресту, его библиотеку, предназначенную для рабочих, сожгли куклуксклановцы. Поэтический сборник Уэста "Комья южной земли" ("Clods of Southern Earth"), 1946, разошелся небывало высоким для поэтической книги в США тиражом, какого не помнили со времен выхода "Листьев травы".

В 1965 г. в Пайнстеми, штат Западная Виргиния, Дон Уэст основывает Народный центр юга Аппалачей, созданный на личные сбережения поэта и его друзей. Здесь есть школа, музей, картинная галерея и библиотека, насчитывающая более 50 тысяч томов. Уэст и его сподвижники учат бедняков и их детей понимать истинную историю своего народа, а также стимулируют развитие народных искусств и ремесел этой области, бедного шахтерского района в Аппалачах, где живут представители многих национальностей — потомки ирландских, шотландских, норвежских, английских, французских, немецких иммигрантов — и где большую часть своей жизни прожил и проработал сам Дон Уэст.

Дон Уэст — продолжатель "демократических далей" Уолта Уитмена. Вслед за Карлом Сэндбергом Уэст поэтизирует труд и рабочего человека. Его поэзия прежде всего песенна, фольклорна. Публикуемые произведения Дона Уэста взяты из его последнего сборника стихов и прозы, "В стране изобилия" ("In a Land of Plenty"), 1982.

ИНТЕРВЬЮ

Какая искра зажгла огонь вашей поэзии? Когда вы начали писать?

Мы были страшно бедны. Возделывали клочки земли на горных склонах, тем и кормились. Жизнь нас не баловала. Она, точно заправский боксер, осыпала родителей ударами своего желез-

ного кулака. Жили мы в горной глуши. Основным развлечением были народные песни, баллады и предания. Вечерами мать часто пела нам. Это все, пожалуй, и разожгло во мне первые искры поэзии.

А кто в этом смысле повлиял на вас больше всех?

Мать, отец и дед Ким Малки. Мать не раз говорила, что песня облегчает боль и страдание. А дедушка Ким поведал нам, что именно белый человек первым начал снимать скальпы и что человек должен оставаться человеком, независимо от цвета кожи. Дед носил длинную, едва ли не до пояса, белую бороду. По-моему, господь бог — вылитый дедушка Ким.

В предисловии к одной из своих книг вы пишете, что "поэт — это как бы два человека в одном лице — первый живет среди людей, второй — сам по себе". Что вы имели в виду?

Для поэта важно знать людей, жить внутренней болью, надеждами, стремлениями народа. В них он черпает свой творческий материал, который потом перерабатывает внутри себя, выковыывая поэтические строки. И чтобы совершить такую переработку, рассказать о том, что он открыл в людских душах, ему порой необходимо остаться одному.

А еще вы говорили, что народный поэт не может быть циником. По-вашему, поэзия, искусство могут сыграть определенную роль в борьбе за более гуманное общество?

У циника выход один — тупик. Следуя великой и давней традиции, самые прекрасные творцы всегда присоединялись к борьбе за более гуманное общество. Конечно, мне бы хотелось, чтобы и меня причисляли к этой группе.

Многие авторитетные поэты и критики обрушиваются на искусство и поэзию, которые занимают активную политическую позицию. По их мнению, существует различие между человеком, на котором лежит определенная ответственность, и художником, поэтом, не обремененным ею. Что вы думаете по этому поводу?

Ну да, старый довод сторонников "искусства ради искусства". Но в природе таких людей нет. Поэт или художник никогда не бывает нейтральным. В мире голодных и сытых борьба между угнетателем и угнетенным продолжается бесконечно. Те, кого

устраивает существующее положение вещей, становятся на сторону угнетателей, стремящихся сохранить статус-кво. Человек, бросающий вызов этому статусу, может навлечь на себя обвинения в тяжких преступлениях, но в этом, бесспорно, и есть долг всякого народного поэта. Такие поэты и художники внушают человечеству веру и надежду на будущее. И тем самым поднимают свой народ на невиданную высоту. Вот в чем основная задача поэта и художника.

Многих удивляет то, что 15 000 экземпляров вашей книги "Комья южной земли" были проданы еще до выхода ее из печати и что она стала одним из самых популярных в стране поэтических сборников со времен "Пистьев травы" Уитмена. Когда она была опубликована и в чем вы видите причины ее популярности?

"Комья южной земли" — моя четвертая книга стихов. Она вышла в 1946 году. Горячее тогда было времечко. С гневом и надеждой зашевелился рабочий люд, особенно в Аппалачах и на Юге. 30-е годы стали свидетелями грозных и отважных битв шахтеров и рабочих-текстильщиков за свободу и нормальные условия жизни. Власти встретили их огнем и штыками. Прядильщики навсегда запомнят Гастонию и Марион в Северной Каролине. А Харлан, Логан, Кэбин-Крик и гора Блэр стали символами мужества шахтеров. В ожидании лучших времен рабочие воспринимали свои поражения как временные. А Конгресс производственных профсоюзов США в 40-е годы все еще жил новыми надеждами и призывал к действиям.

Тогда-то и появились "Комья южной земли". В книге обо всем этом говорилось просто и в открытую. Не было вопроса, на чьей она стороне. Стихи были посвящены нуждам и чаяниям бедняков. По-моему, поэзия — средство общения. Я всегда стремлюсь к общению. Но поэту, чтобы поведать о чем-то людям, недостаточно нанизать связки бранных слов, назвав это стихами. Помню, как однажды я увидел у моего нью-йоркского издателя письмо из одного профсоюзного объединения в Теннесси с заказом на тысячу экземпляров "Комьев". Книгу вручали каждому члену профсоюза как рождественский подарок. Один из крупных книжных магазинов Атланты устроил распродажу книг с автографами: в тот день было продано 1100 экземпляров сборника. Среди них были книги и в переплетах, и в обложках. Я предпочитаю, чтобы мои книги выходили в дешевых бумажных обложках — ведь у людей не всегда есть деньги на покупку книг.

Пожалуй, я могу сказать, что поэзия моя отражает мою собственную жизнь. Я постоянно стремился быть свидетелем самых острых, может быть, даже переломных моментов истории. Оттого, я думаю, мои стихи обращаются к угнетенным и выступают в их защиту.

Хотя ваша поэзия известна в Аппалачах и многие молодые поэты отзываются о ней с восхищением, ваши работы не включены ни в одну из современных литературных и поэтических антологий региона, которые используются как учебные пособия в колледжах Аппалачей. Чем, по-вашему, это объясняется?

Причины те же, что и тогда, когда никто в колледжах Аппалачей с их поэтическими антологиями и рта не посмел раскрыть против вооруженной расправы над шахтерами. Совет Южных гор в то время хранил строгий нейтралитет. Нынешние составители антологий из той же породы. Тех из нас, кто был связан с борьбой шахтеров, не привечали ни в самом Совете, ни на страницах его журнала "Маунтин лайф энд уорк".

Как вы думаете, жив ли еще в поэзии дух независимости и борьбы, которым она могла бы зажигать сердца людей?

Основную часть своего боевого заряда поэзия сохранила. К сожалению, слишком большое хождение имеет сейчас гнусный тип "безмозглого расиста-южанина". Подобно истории негритянского народа, наша история тоже не попала на страницы книг. Наш народ во многом лишен доступа к его историко-культурным завоеваниям. А ведь именно наши горцы были зачинателями борьбы против системы рабского труда — примером тому героическая борьба шахтеров и текстильщиков. Некоторые поистине великие песни труда пришли из Аппалачских гор. "Солидарность навсегда" родилась в стойкой борьбе рабочих Кэбин-Крика в начале века, а затем ее подхватили рабочие многих стран мира. С песней "На чьей ты стороне" в 30-е годы шли на битву за свои права горняки Харлана. И как ни запугивали шахтеров вооруженные до зубов палачи, труженики наших гор жили в то время под девизом: "Один за всех и все за одного".

Все это и есть тот материал, над которым должен работать народный поэт.

1979

ИСТОРИЯ АППАЛАЧЕЙ

ВВЕДЕНИЕ

По-моему, история — страшно важная штука. Ее надо бы сделать основным предметом школьной программы. Но этого не происходит. Почему? Может быть, историю преподают слишком нудно? Так или иначе, большинство студентов и вообще людей явно ее недолюбливают.

В этих заметках я попытаюсь рассказать кое-что, о чем вы вряд ли слышали. Попробую говорить просто и понятно: я думаю, писатель должен всегда к этому стремиться. И не буду морочить вам голову всякими сносками и ссылками. Они, мне кажется, приводят только к непониманию, а иногда и к искажению истории.

ЧЕМ ВАЖНА ИСТОРИЯ?

Почему для нас так важно знать и понимать историю? И особенно нашу историю — историю Южных гор?

Я считаю, что народу для самоопределения необходимо изучить свое историческое развитие. Вам не приходило в голову, что это очень важно — видеть себя как бы со стороны, знать, какой ты есть на самом деле? Такое знание станет решающим для всех ваших поступков. И это верно не только для отдельно взятого человека, но и для целой страны, общества, народа. Если мы узнаем, что с нами было раньше, то нам наверняка станет яснее, что будет с нами и впредь.

НАС СДЕЛАЛИ "ДРЕМУЧИМИ"

Много нелестных слов говорят о "южном горце". Иногда, прямо скажем, помоями обливают. Нам слишком долго внушали, что мы "дремучие дикари", "деревенщина", и вот многие из нас поневоле уверовали в эту чушь. Такие персонажи, как Малютка Эбнер, Беверли Хиллбилли и т. п., вряд ли помогут нам вырасти в собственных глазах.

Тут же всплывает штампованный тип "расиста-южанина". Сам слышал, что говорят ученые мужи обеих рас о "психологии дикаря-горца", когда разглагольствуют насчет корней южного расизма. Но все это чистейший вздор, что я и попытаюсь доказать в своих заметках.

Итак, вы сами видите: искажение исторического и культурного развития народа приводит к тому, что нас неверно оценивают другие и — что еще хуже — мы неверно оцениваем сами себя.

"ДЖОННИ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ЗАПАЗДЫВАЕТ"

Так что же мы за люди? И кто этот "дикарь", о котором нам прожужжали все уши?

Федеральное правительство утверждает, что район Южных гор находится в депрессии. А это значит, что нам не на что жить, что работы на всех не хватает и т. д. и т. п. Журналы, миссионеры и прочие доброхоты во всяких там очерках и рассказах досконально описывают нашу нужду и горести. Думают нас этим удивить! Да ведь горный люд испокон веку вкалывал за гроши. Удивительно другое: слишком уж поздно правительство и иже с ним осознали то, что нам известно всю жизнь. Тот самый случай, что и с пресловутым "Джонни, который всегда запаздывает"

ет". Нет, мы не отказываемся от помощи, просто мы убеждены, что проблему нельзя решить извне. Мы должны решить ее сами.

Нынче много народу занимается нашим "благосостоянием". Одни говорят, что мы дикари и нечего с нами возиться, дескать, все равно от этих бездельников мало толку. Другие "благодетели" из всех сил втолковывают нам, что мы мусор, отбросы общества. Боятся, как бы те жалкие гроши, которые нам перепадут, не разорили вконец федеральное правительство!

ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ ИЛИ ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ?

Немало и таких, кто считает нас "вчерашним днем". Послушай их — так мы, чтобы решить свои проблемы, должны отказаться от старомодных взглядов и причуд и, как вся остальная Америка, придерживаться мелкобуржуазной морали.

Но мы оспариваем это. Ведь и в нашей культуре могут отыскаться духовные ценности, которые необходимо изучать, сохранять и пропагандировать. Правда, большинство у нас поглощают мелкобуржуазную продукцию американского телевидения и других средств массовой информации. А продукция эта довольно низкого пошиба. Кроме того, для нас не секрет все те политические махинации, нищета, расизм, бандитизм, что царят в больших городах Северной Америки.

Временами заглядывают к нам представители крупнейших политических и деловых династий. Сейчас, например, гостит Рокфеллер. А когда Джон Кеннеди баллотировался на первичных выборах в Западной Виргинии и выложил четверть миллиона долларов, чтобы пробить себе дорогу в Белый дом, то на избирательных пунктах было столько бесплатной выпивки, сколько мы за всю жизнь не видели. Но щедрость эта не уничтожила нашей нищеты: мы и по сей день нищие. Мы отлично знаем, что "патриоты" вроде Аль-Капоне, "Коза ностра" и грязные политические сделки — такие же атрибуты американского образа жизни, как расовая дискриминация.

Вот потому-то мы и сомневаемся, стоит ли нам уподобляться всей остальной Америке. Уж лучше быть старомодными и держаться своих причуд.

Итак, есть ли в истории и культуре наших гор что-либо ценное, что следует охранять и всячески пропагандировать?

Мне думается, есть. Помню, в 30-е годы я преподавал в Траблсам-Крике — это на востоке Кентукки; как раз тогда и была впервые выдвинута программа по социальному благоустройству. Однажды мы с Дэном и Мэри Пратт приехали в одну деревушку на левом отроге Траблсама, и местные жители нам рассказали, как к ним явился один деятель и предлагал кое-какие товарные излишки. Да, люди Траблсама бедны и нуждаются, это верно. Но они сказали: "Мы не нищие и подачек не берем".

Мы от предков унаследовали такой характер: собственное

достоинство, независимость, гордость для нас превыше всего.

Много воды утекло с тех пор; пережили мы и Кэбин-Крик. А мужчины по сю пору глядят в голодные глаза своих детей. Людям Траблсама, как и многим другим горцам, приходилось не раз принимать подачки. Жизнь стала иной. В горы теперь проникли крупные корпорации: выкачивают свои прибыли. Если прежде человек мог прокормиться, вырубив и распахав себе участок на склоне, то теперь этому пришел конец. Из наших людей выбили человеческое достоинство и гордость, которые некогда были в крови у каждого горца. В изменившихся условиях жизни человек почти полностью потерял уважение к себе, зато приобрел острые зубы и железную хватку. Наш народ стал жертвой обстоятельств, возникших независимо от его воли и вопреки ей. А вот корпорациям новые условия оказались на руку: они нажили миллионы.

Правда, горцы так легко не сдаются. Они сражались за каждую пядь своей земли. В 30-е годы их мужество и решимость нашли свое отражение в профсоюзной борьбе Харлана, Гастонии, Мариона, Элизабеттона, Кэбин-Крика, Уайлдера, — в борьбе, полной героики. Сегодняшние выступления против опустошительной открытой добычи угля в Пайквилле, Криер-Крике, Траблсам-Крике и других поселках свидетельствуют о том, что народ не склонил головы. У него есть еще мужество бросить вызов всему, что навязывает ему истэблшмент.

Возможно, людям гор придется вновь спасать нацию, как во времена Гражданской войны (об этом я расскажу ниже).

Быть может, вместо того чтоб навешивать на нас этот ярлык — "день вчерашний", стоит задуматься: а что, если мы, напротив, "завтрашний день" Америки.

У НАС ЕСТЬ МУЖЕСТВО БРОСИТЬ ВЫЗОВ

У жителей гор культурная закваска совершенно иная, нежели у рыцарей с побережья или равнинных рабовладельцев. Горцы всегда отличались свободолобием и независимостью. Они выходцы из простого народа — главным образом шотландцы (иногда их называли ирландскими шотландцами). У себя на родине они боролись против религиозного и политического гнета. Некоторое время скрывались от преследований в Северной Ирландии, а затем отправились в Новый Свет. Были среди них и французы-гугеноты, немцы, валлийцы, швейцарцы, англичане. Эти независимые люди не боялись отстаивать свои убеждения даже в одиночку, даже рискуя жизнью. Они были бескорыстны: главная ценность для них — человек, а не богатство.

Поначалу большинство поселенцев были пресвитериане. Они выступали за свободу вероисповедания. Народ Западной Виргинии решительно протестовал против налога в пользу официальной государственной англиканской церкви. Это сразу стало яб-

локом раздора между горцами и жителями побережья. Добавьте сюда махинации на выборах, рабство, сепаратизм — и вот вам картина нового штата Западная Виргиния.

НЕ СЖИГАЛИ ВЕДЬМ НА КОСТРАХ

Несмотря на сильные кальвинистские настроения, горцы, в отличие от пуритан Новой Англии, никогда не навязывали другим своих верований. В горах никого не преследовали ни за иную веру, ни за атеизм. Здесь не сжигали ведьм на кострах. Человек мог быть прихожанином, а мог и не быть. Он мог даже открыто провозглашать свое неверие. Это было право свободного человека.

Время шло, а край наш по-прежнему оставался в изоляции: сменявшиеся правители штата никаких реформ не проводили, система образования не развивалась, школ почти не было, железных дорог тоже. Южные горы превратились в самую настоящую глухомань, населенную "странными людьми", которых аристократы с побережья часто с презрением называли "дикарями".

НО К ИСТЭБЛИШМЕНТУ МЫ НИКОГДА НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛИ

Вероятно, эта самая "дикость" была одной из черт нашей независимости. Поскольку люди с каменистых склонов никогда не принадлежали к истэблишменту. Они никогда не являлись ни с наследными принцами, ни с торговцами живым товаром.

Наши горы стали пристанищем всех свободолюбивых людей. Это наше неоценимое достоинство. Корни его уходят во времена первых поселений. Здесь возникло первое общинное самоуправление — Ассоциация Уатоги; ее конституцию написали белые уроженцы Америки. Здесь люди, победившие в битве при Аламансе английского губернатора Северной Каролины Тайрона, создали государство Франклина. Многие из тех ветеранов, с охотничьими ружьями в руках, совершили бросок через перевалы Грейт-Смоукс и у Королевской горы наголову разбили войска британского генерала Фергюсона. Эту победу Томас Джефферсон назвал решающей для американской революции.

КОЛЫБЕЛЬ АБОЛИЦИОНИЗМА

Через эти горы и долины переправляли на свободу, в Канаду, чернокожих невольников. В нелегком, изнурительном пути негры и негритянки всегда находили в бедняцких горных лачугах приют и пищу и проводника. Здесь в 1857 году родилась знаменитая книга Хелпера "Неминуемый кризис", ставшая пропагандистской литературой в ходе кампании 1860 года за избрание Линкольна.

Отсюда с Южных гор пошло аболиционистское движение за свободу для четырех миллионов чернокожих рабов. Здесь

оно росло, набирало силу и, окрепнув, разбило цепи рабства, дало негру право называться человеком.

Здесь начала печататься первая в Америке газета, посвященная уничтожению рабства. Уильяму Ллойд Гэррисону было только десять лет от роду, когда Элиу Эмбри уже выпускал своего "Освободителя".

И именно сюда, в эти горы, пришел трудиться в поте лица благородный Ланди. Пришел, чтобы создать здесь после смерти Эмбри своего "Гения всемирного освобождения".

1970

ЛЮДИ ГОР В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ

Выдержки из интервью 1970 года

Не могли бы вы кратко рассказать о вашем участии в организации профсоюзов?

В 30-е годы я действительно занимался организацией профсоюзов. Я уже упоминал историю Барни Грэхема, вернее, балладу о Барни Грэхеме, которую написала его дочка Делла Мэй. Барни был моим близким другом и одним из первых организаторов и председателей профсоюза, с которым мне довелось познакомиться. В 1933 году мы работали вместе в профсоюзе Уайлдера (Теннесси); там его и застрелили двое наемных убийц. На его похоронах мне пришлось выполнять официальную миссию проповедника, поскольку о службе в церкви и думать было нечего... Все население Уайлдера числилось в черных списках, а когда президентом стал Рузвельт, всю деревню переселили в Камберленд, неподалеку от Кросвилла. Федеральные власти специально для этого закупили несколько тысяч акров земли.

Около трех лет я руководил рабочим союзом в Восточном Кентукки. Тридцать шестой для нас был годом борьбы. 300 безработных шахтеров Восточного Кентукки совершили марш протеста до Вашингтона и там вместе с 10 000 других рабочих провели почти целую неделю.

А в Харлане вы тоже работали?

Да, в 30-е годы я работал и в округах Харлан и Белл. Первым харланским профсоюзом, возникшим в 1929 году и впервые организовавшим забастовки, был не Объединенный союз горнорабочих, а Национальный союз горнорабочих. Из рядов его вышли такие люди, как Джим Гарланд, Уолли Джексон и другие. Вот они-то и написали песни, которые я никогда не забуду.

ду, к примеру "На чьей ты стороне?" или "Нам не нужны ваши миллионы, мистер". Да, я был там; что и говорить, тяжело нам пришлось: и били нас, и даже убивали. Хэрри Симза убили, Бойса Изразла избили так, что он уже не поднялся. А сколько еще было убитых и раненых! Меня несколько раз сажали за решетку — в Пайнвилле, например. А однажды пришли за мной шесть помощников шерифа — одеты по форме, со значками; сказали: приказано доставить тебя в тюрьму, а сами завели в горы, избили до потери сознания и бросили у дороги. Это было в порядке вещей — ведь я уже говорил, что в те времена насилие было привычным делом. Иногда я думаю: мне еще повезло, что жив остался.

О борьбе, которую вели вы и ваши товарищи, в учебниках истории не упоминают. Однако сейчас много говорят о необходимости введения в учебную программу курса по истории Аппалачей.

Я уже много лет постоянно твержу об этом. Не правда ли, интересно, что сегодня едва ли не каждый профессор считает своим долгом высказаться за введение такого курса. Наконец-то большинство людей осознало, что Аппалачи — этот район, который до сих пор находится на положении колонии, — имеют собственную, неповторимую историю и мощные традиции борьбы. Наш народ слишком долго ничего не знал о самом себе, о своем прошлом; это чрезвычайно важно, чтобы у всех в конце концов открылись глаза.

В силу тех или иных причин профсоюзное движение, особенно на раннем этапе, столкнулось в Южных горах с наиболее активным, ожесточенным и злобным противодействием со стороны владельцев шахт. Должно быть, все дело в том, что хозяева были выходцами из Новой Англии, что они вложили в угледобычу огромные капиталы и видели здесь последнюю возможность для эксплуатации дешевой, неорганизованной рабочей силы, которую хотели сохранить как можно дольше.

В 1929 году в Гастонии была предпринята попытка создать отделение Национального союза рабочих-текстильщиков. Рабочие тамошних предприятий получали семь долларов за шестьдесят часов каторжного труда. Владельцы компании обращались с ними хуже, чем со скотом; для жилья им сдавали внаем жалкие лачуги. И вот горцы, ставшие рабочими, не пожелали больше сносить эти издевательства и решили объединиться; но едва они начали действовать, против них обратили силу, как и против шахтеров.

В том же году в Марионе рабочие устроили массовую сходку, где по наущению хозяев было убито шесть человек. В Марио-

не до сих пор поют песню о них. Горцы всегда слагали народные песни о своей борьбе. Аналогичные события происходили и в Элизабеттоне, а Кэбин-Крик и Пейнт-Крик, думается, вписали самые драматичные страницы в историю борьбы рабочего класса. Если я не ошибаюсь, издательство "Движение Аппалачей" выпустило сборник песен Пейнт-Крика, среди них — "Солидарность навсегда", известная во многих странах мира... Атмосфера накалялась. Ведь бедняки бастуют, только когда жизнь становится совсем невыносимой. Забастовка — это последнее средство, акт отчаяния. Некоторые утверждают, что рабочих хлебом не корми, а дай им побастовать. Чепуха! Если рабочий люд бастует — значит, у него нет иного выхода. Случилось же, что одновременно два округа — Пейнт-Крик и Кэбин-Крик — не смогли примириться с насилием, учиненным над их собратьями — шахтерами из Логана, объединились, взяли в руки оружие и двинулись на помощь товарищам, чтобы вместе скинуть ненавистный гнет.

А шерифом в Логане был некий Дон Чэфин, содержавший штат из 300 помощников, иными словами — из 300 наемных убийц, которых он использовал для одной-единственной цели — не допустить создания профсоюза в округе. Этот шериф получал от хозяев по 10 центов с каждой добытой тонны угля, а взамен гарантировал, что профсоюза в Логане не будет. Или вспомним партизанскую войну 1922 года: люди наших гор представляли тогда организованную военную силу, у них были фуры, медикаменты, сестры милосердия и даже врач. Среди руководителей народного войска были участники первой мировой войны. Одним из самых известных вожakov был негр, шахтер. Партизаны встретились с противником на пути к Логану; завязался бой. Легкие аэропланы засыпали шахтеров разрывными гранатами. Наконец в дело вмешалось правительство. Шахтеры заявили, что не будут стрелять в правительственные войска, и сложили оружие. Потребовалось два грузовика, чтобы увезти их винтовки и боеприпасы.

Положение у шахтеров было отчаянное. Они взялись за оружие не потому, что они прирожденные вояки, просто дедаться им было некуда. Ведь в них самих стреляли, а они хорошо помнили, какая участь постигла шахтеров из Пейнт-Крика и Кэбин-Крика, когда войска обстреляли палаточный городок. До нас дошли поистине драматические легенды о тех событиях.

Была в тех местах одна энергичная личность — матушка Джонс, все ее знали. Любопытная старушка! Она была блестящим агитатором, правда непосредственно организацией масс не занималась. Зато она умела воодушевить людей, внушить им стремление к организованности. Это ей удавалось великолепно. Как-то раз в Кэбин-Крик пришло сообщение, что вскоре придет воинский эшелон со штрейкбрехерами. Тогда матушка Джонс и матушка Близард собрали всех женщин поселка,

раздали им ломы, кирки и велели снять рельсы на целом участке железной дороги и побросать их в протекавшую неподалеку речушку. Как только "Лось", армейский эшелон специального назначения, подошел к разобранному полотну, ему поневоле пришлось остановиться. Эшелон так и не добрался до пункта назначения, чтобы сорвать забастовку. Так что женщины тоже активно участвовали в забастовочной борьбе шахтеров. И этот случай — прекрасное тому подтверждение.

Мне кажется, эти памятные моменты нашей истории дают нам веру в наши возможности и надежду на лучшее будущее. Да, нелегко пришлось в те годы людям гор. Их движение было подавлено. Наступила полная безысходность. Чтобы провести собрание или сходку, рабочие были вынуждены прятаться в лесу или в подвале заброшенного здания — об открытых митингах или собраниях и думать было опасно, но эти люди все равно проводили их. В невыносимо тяжелой обстановке они все-таки добились своего — создали профсоюзы. И на первых порах это была действительно боевая организация, подчинявшаяся демократическому контролю. Лишь позднее они превратились в аппарат, сдерживающий борьбу горнорабочих. И в этом весь трагизм сегодняшнего дня.

Как же это произошло?

После того как были завоеваны определенные позиции и профсоюз окреп, шахтеры впали в благодушие и все дела поручили своим представителям. Была создана целая система контроля за принятыми решениями. Рабочие не избирали районных уполномоченных. Их назначал бюрократический аппарат, он же контролировал их работу. Никакой учебной программы по истории профсоюзного движения Аппалачей не существовало. По-моему, главная беда всех профсоюзов Америки в том, что у них практически никогда не было действенной программы обучения, которая развивалась бы наряду с самой организацией. Что знают молодые члены профсоюза о прошлой борьбе? Почти ничего. Основательных знаний у них нет, и неоткуда им взяться. Об этом ведь нигде не пишут. Их интересует только то, что они обеспечены работой, хорошо зарабатывают и т. д. Никакой преемственности традиций. А в такой обстановке профсоюзные боссы, пользуясь их невежеством, ловко обделяют свои делишки. Попробуй убедить нынешнюю молодежь, что нельзя доверять руководство бюрократической машине. Вспомните прошлогодние выборы, когда Яблонски¹ выступал против

¹ Яблонски, Джозеф — профсоюзный лидер шахтеров Западной Виргинии; в 1970 г. был зверски убит вместе с семьей наемными бандитами.

Бойла¹. У Яблонски в Западной Виргинии были довольно сильные позиции. За ним стояли шахтерские массы. Мы устроили тогда забастовку — выступили против руководства профсоюза и администрации штата, против управляющих и владельцев шахт. Это была одна из самых крупных за последнее время забастовок в Западной Виргинии. Народ требовал человеческого обращения, нормальных условий труда, которые сократили бы профессиональную заболеваемость и т. п. Эта борьба вылилась в целое движение — "Шахтеры за демократию". Активисты развернули широкую пропагандистскую работу среди шахтерских масс: они говорят о необходимости демократического управления профсоюзом. Люди должны сами обеспечить свою безопасность, сделать это можно лишь путем борьбы.

В газете "Голос шахтера" (это печатный орган движения "Шахтеры за демократию") иногда встречаются заявления, с которыми я никак не могу согласиться. Вот в передовой статье одного из последних номеров, посвященной Джону Л. Льюису², говорилось, что он совершил большую ошибку, назначив Тони Бойла своим преемником. А по-моему, главная ошибка в том, что Джону Л. Льюису еще задолго до этого назначения предоставили право выбирать себе преемника. Вот в чем корень зла. Людей приучили воспринимать это как должное, и теперь преодолеть инерцию мышления дьявольски трудно...

Правда ли, что расизм, как и другие предрассудки, зародился именно на угольных копях и в основе его лежала ненависть к штрейкбрехерам?

Совершенно верно. Правда, не все это понимают. Дело в том, что в самом начале профсоюзного движения шахтеры время от времени объявляли забастовку, и тогда хозяева угольных корпораций привозили из Алабамы или Джорджии неопытных, необученных исполщиков для работы в шахтах. Негров использовали как штрейкбрехеров. Вот такой неприглядный исторический факт. Потому-то в угледобывающих областях страны такой большой процент негритянского населения. Все верно, и расизм и предрассудки были, особенно на юге штата. Но, сами понимаете, разве может быть иначе, если для срыва забастовок привозили именно чернокожих?

И не только это придумали владельцы угольных шахт. Оглянитесь в прошлое, поройтесь в истории. Правящая верхушка всегда использовала конфликт между белыми и черными. Из

¹ Бойл, Тони — скандально известный профсоюзный лидер, организатор убийства Джозефа Яблонски; был приговорен к тюремному заключению.

² Льюис, Джон Л. — председатель объединения горнорабочих Америки с 1920 по 1960 г.

поколения в поколение белым беднякам на Юге внушали идею, что единственные виновники всех их несчастий — чернокожие. И наоборот, неграм вбивали в голову, что белая беднота — главное исчадие зла. Власть имущие даже изобрели презрительные клички — “ниггеры” и “белый сброд”, чтобы сравнить белых и черных. А сами тем временем брали за горло и тех и других, наживаясь на их счет.

Когда вы разговариваете с людьми из вашего округа, воодушевляют ли вас эти беседы?

Мне кажется, люди у нас такие же, как и повсюду. Как и во всей стране, здесь очень сильно влияние средств массовой информации. Каких-то вещей наши горцы не понимают, а в чем-то разбираются вполне прилично. Нет, общение с ними не разочаровывает меня. Скорее, наоборот, ободряет, вдохновляет.

Вы имеете в виду встречи в вашем центре?

Вообще-то у нас бывают самые разные люди. Многие приходят из других районов. Попадают настоящие оборванцы — не подумайте, я не хочу сказать о них ничего худого. В письмах нам часто пишут: мы хотим познакомиться с вашим народом. Знаете, для меня это звучит так: они хотят поглядеть на туземцев. Это немного обидно. К тому же большое число посетителей — люди весьма обеспеченные, и, как бы сочувственно они к нам ни относились, у них зачастую отсутствует чувство реального.

Несмотря на трудности в работе, наш Центр народной жизни Аппалачей за все время своего существования не подвергался особо злобным нападкам, за исключением нескольких случаев. Одна принстонская газета целый год нас третировала. Она опубликовала не менее дюжины передовиц, отзывавшихся о нас с неприкрытой враждебностью. Их автором был один молодой человек, который не знал толком, о чем пишет. Мы встретились, побеседовали, и теперь он наш хороший друг. В духе этих передовиц высказывались еще пять человек: один — радиопроповедник, другой — начальник гражданского авиапатруля и так далее. Потом они приходили с извинениями, сожалели о своих словах. А среди простых людей есть настоящие друзья, и немало; они читали и слышали ту напраслину, которую на нас возводят, но никто не поверил. А ведь нас обзывали и приверженцами свободной любви, и хиппи, и красными... Типично американский обычай, не правда ли? Но мы продолжали работу. И большинство на нашей стороне.

Живи мы в Джорджии, особенно на юге, нас бы давно унич-

тожили. У меня там сожгли три дома, библиотеку, рукописи, архивы, которые я собирал всю свою жизнь. И все из-за того, что в 1948 году я выступил в защиту одной негритянки: вместе с двумя детьми ее приговорили к смерти на электрическом стуле за то, что к ней в дом вломился белый человек и пытался ее изнасиловать, а ее сын взял ружье и пристрелил негодяя. Итак, мать и двое сыновей, младшему всего 13 лет, были осуждены на смерть. Местные негритянские лидеры пришли в университет, где я преподавал, и попросили меня выступить на митинге. Им нужно было, чтобы выступил белый, но никто не соглашался. И когда я выступил в Мэйконе, на меня спустили всех собак. Из университета уволили, и найти работу по специальности в своем родном штате мне больше не удалось.

Очевидно, у людей, способных на такие поступки, жестокость в крови.

Я в это не верю. Дело не в природе человека, а в социальных условиях. Людей приучили к жестокости. Я бы выразился так: их души намеренно отравлены теми, кому это выгодно. Я, кажется, уже говорил, что власть имущие в своих личных интересах разжигают расовую вражду. Низменные инстинкты, жестокость бедняков им только на руку. Вот, скажем, в куклукс-клане много неимущих, но заправляют всем юристы, врачи, представители избранного общества. И организация действует ради осуществления их корыстных целей. Мне приходилось часто слышать от своих студентов — "это в природе человека". Помню один спор, возникший по вопросу о конкуренции. Они в один голос заявили: "Конкуренция в природе человека". "Погодите, погодите, — возразил я, — а что, по-вашему, решает судьбу людей — человеческая природа или условия жизни?" Потому я так высоко ценю антропологию. И потому в нашей круглогодичной школе антропология станет основой учебной программы. Ведь в других цивилизациях конкуренции не придают такого огромного значения. Там презирают человека, пытающегося одолеть или обойти себе подобного из личной выгоды. А в нашем обществе того, кто карабкается вверх по головам других, окружают почетом. Для нас не важно, каким способом человек разбогател. Если ты богат — почет тебе и уважение. Такие взгляды культивируются с самого детства. Мы поощряем конкуренцию среди наших учеников. Конкуренция не заложена в природе человека. Она создана условиями и законами общества. Мы с женой провели немало времени, изучая обычаи индейских племен, и обнаружили, что у индейцев очень развито чувство локтя. Многие племена, например, воспитывают детей совместно, всей общиной. Их учат быть товарищами, а не соперниками. Индейцы могут гордиться тем, что никогда не охоти-

лись на человека. И так, наши действия в основном продиктованы внешними социальными условиями, а не внутренней природой. Я думаю, что любой человек по натуре прекрасен, и добр, и миролюбив. Я просто уверен в этом. Но когда человека развращают и обманывают, он озлобляется.

Я прежде всего поэт, всегда хотел им быть и потому не могу мыслить иначе.

1971

АМЕРИКАНСКИЙ ФОЛЬКЛОР

Не для меня надуманные мифы
Нахальных дебоширов-пионеров —
Будь это сам Майк Финк
Или обросший мышцами мошенник
Поль Баньян...
Пусть всякий недоросль обезьяний
Протараторит с ходу, без запинки,
Весь список ярких, как картинки,
Их геройских дел.

Но попросите
Вспомнить тех, кто смел, —
О Джонни Эпплсиде¹
Я бы спел...

ЕДИНЫ С ЭТОЙ ЗЕМЛЕЙ (Горы Северной Джорджии)

Черная грязь земля
Где колос пшеницы свят
Где каждая пядь в слезах
Где мертвые наши спят.

Здесь мой отец пахал
Поля на склонах крутых
С землею зерна делил
Надежд не делил пустых.

Время зимы текло
Снег на полях лежал

¹ Эпплсид, Джонни (1774—1847) — один из американских пионеров, прославившийся своими яблоневыми садами.

За дальним холмом отец
Обтесывал сотни шпал.

Сдирал и скреб кору
За которой шел на Карткей
Потом на себе ее
Тащил в Эллиджей.

Кору на мясо менял
Да на мешок муки —
Тем слаще любовь была
Чем горше слезы текли.

Ведома тайная суть
Тому чья душа чиста
Без ваших верных сердец
Земля моя будет пуста.

Едины с этой землей
Я холм и скала
По этой земле пойду
Куда бы ни повела.

ЧЕЛОВЕК-ПОЭТ

О чем же мне написать вам,
Дети мои,
Вам, цветам наших весен?
Назвать ли перечень только предсмертных слов
Безысходности,
Бед, боли, обмана
Или открыть, что в чреве нашей земли
Иссякли
Вольные юные силы?
Обвинять ли бескрайнее одиночество
Замкнувшегося человека
Или крылатую бомбу —
Последний символ современной науки?
Надо ли вам напомнить, что люди
Как волки,
Что человек, этот вечный охотник,
Наконец сговорился со смертью?

Нет, дети мои, я не скажу вам о смерти.
Я вам велю усомниться,
Увидеть ложность догадок,
Правоту мыслей, не убитых и бомбой,

Сердце надежды, с которым
По-прежнему жив человек...

Я скажу, что не самоубийство
Суждено человеку,
Не ускользнувшая смерть, скрытая
В непониманье глухом.
Я скажу, что людские чувства,
Отточенные философом и поэтом,
Творцами человеческих душ,
Низвергнут крылатый символ
Смертоносной науки.

Я не заставлю вас отвернуться
От безобразного в мире,
Но велю вам пройти по нему, как я,
Споря с ним,
Одолевая жестокость,
Инстинкты и смерть
В образе бесчеловечном...

Я научу вас
Человеческой вере друг в друга.
Человек-поэт, неумный мечтатель,
Умеющий верить,
Пишет для дней грядущих
И себе не изменит...

Я прославлю величие человека,
Чудеса творенья,
Любви,
Человека, который придет, создав
Себя самого...

Я скажу, не стыдясь, о любви,
О людях разумных, о цене человеческой жизни,
О священности человека,
Об инквизиторском застенке, оглохшем
От стонов замученных,
Вспомню Билль о правах —
И сколько газовых камер
Слышали крики шести миллионов
Казненных евреев.
И пусть никогда
Не станут концлагерь,
Хиросима и Нагасаки
Весом и мерой
Цены человеческой души и плоти!

И еще я скажу вам
О наследии,
Очищенном страданиями и мечтами
Суровых людей, но нежных.
Я скажу вам,
Настала пора пробужденья,
Время великого эпоса,
Который опишет
Тревогу людей о собратях
И будет разыгран
На рыночных площадях...

НАСЛЕДИЕ ГОР

Послушайте,
Дети гор,
Ты, седая женщина, и ты, мужчина,
Я призову вас
Вернуть свое наследство!..

Суждено ли и нам заблудиться,
Как заблудилась Америка
В зарослях лютой жадности?
Может, мы ничего не ищем,
Кроме собственных поражений?

Я вам напомню
О других временах,
Когда Аппалачи делили с Югом все сокровенное,
А корни Америки ожили
В самом сердце независимости и свободы!

В те времена другие,
Когда земля пропиталась дымом Гражданской войны,
Над Аппалачами пламенел факел,
Освещаая дорогу к свободе!

КИМ МАЛКИ, ЧЕЛОВЕК С ГОР

Он мечтал об одном только чуде —
о человеке, нашедшем себя на земле.
Он утверждал — и поверить хотел, —
что люди как капли
живого потока, который

рвется, в грозном величье,
навстречу щедрой судьбе.
Для судьбы каждый равен другому,
ее разделяли все племена,
и отчаянная мгновенность одной жизни
становилась дольше вечности,
если сложить все жизни.
Ибо кратко и зыбко все,
кроме жизни самой;
и, когда усыпляющий мрак
окутывал землю,
это тоже был миг,
канувший в красный восход
неизменного утра.
Биение его сердца, единственного,
утихнет, и он обретет бессмертие
в необъятном, могучем сердце сотворяющего человека,
всех людей вместе,
входящих в море борьбы, где ни края, ни дна.
Только борьба, одна борьба — и росток, и семя, и плод...
Он знал — ничего нет живее жизни —
вот негасимое пламя.
В это он верил, ради этого жил и сражался,
надеялся и любил, знал цену жизни
и был готов умереть, чтобы ее сберечь.

Достойный памяти
Ким Малки, старина Ким, человек с гор,
кузнец,
первый герой моей юности,
научивший надежде, душа моей зрелости.

МОИ СТИХИ

Я рожден в горах,
у моей истории живое сердце,
народ, умевший любить.
Мои стихи сплочены,
как Харланские шахтеры на тайных сходках,
разгромленных наемными убийцами,
или как рабочие прядильных фабрик
в Гастонии и Марионе
в 1929-м.
И мои стихи ничьи,
так же ничьи, как дыхание Берла Коллинза,
хрипящее в легких, почерневших
за тридцать пять лет, прожитых в шахтах,

как муки Розы,
ожидающей возле пасти шахты
изломанное тело Берла,
так же ничьи, как втянутый живот
голодного ребенка,
заглянувшего в яму с отбросами,
где царит мертвый язык
отчаяния,
где красота всплакнула
и поспешила прочь,
случайная гостья в наших холмах...

Мои стихи болят,
как сгорбленные спины сильных мужчин,
поставленных на колени, как заломленные руки,
которые хочется выпрямить,
как сутулые тела женщин, отдающих
все силы борцам.
Больно моим стихам!..

Я брат каждому
бедняку, оскорбленному, искалеченному,
каждому из них...

И я брат
вечному лучу,
pronзившему мрак над краями,
которые помнят время весны в зеленых горах
и звонкую кору
густых горных дубов,
заслонивших крутые гребни...

Мои стихи делят
землю и жизнь с бедняками
и берегут красоту,
сестру надежды.

Мои стихи звучат,
чтобы заглушить неистовый бред
ядерного безумия...

Живы мои стихи!..

КОЕ-ЧТО ОБ АМЕРИКЕ

Друг однажды сказал:
"Хочешь стать истинным патриотом,

не ройся в подробностях истории
своей страны..."

Но я знаю одну Америку,
землю моей любви
и нежной гордости,
и знаю другую Америку — и ненавижу.

Великая Мечта,
как зря долгожданного утра,
Томасу Пейну
так и не стала равной.
Документ превратил ее
в мечту несбыточную —
умолчал о рабстве,
отдал Билль о правах белым людям,
вычеркнул негров, краснокожих мужчин, женщин
всех цветов и оттенков кожи...

В простых сердцах
Томас Пейн выжил.
Там не было рабства,
там краснокожий народ жил на своей земле.
Джон Барнетт исходил все тропы
слез и горя вместе с чероки.
Пришедший с Аппалачей Джон Фэрфилд
заплатил своей жизнью
за путь чернокожего люда
к свободе.

Несметные забытые заголовки,
события незаписанной летописи
хранят слова о мире и справедливости.
Рабочие, скромные бедняки, незаметные люди,
причастные созиданию,
не замышляют побоищ, не развязывают войн,
проливающих кровь
ради безбрежных потоков
денег...

Многих я знаю, кто и теперь
отворяет двери миру, добру, справедливости:
Джон Вуди и Эффи
берегут искру надежды
в заброшенной Матоаке.
48-летний Джон Вуди всю жизнь
дождался смерти от почерневших легких,
в девять лет он спустился в шахту —
это была его школа.

Шахта украла его
у детей и Эффи,
им осталось лишь плакать, стиснув зубы,
на печальных холмах Матоаки.

Но не сломлено мужество Джона,
еще он помнит гору Блэр,
Пещерный и Румяный Ручей,
Ладлоу и Угольный Ручей —
время сплоченья шахтеров,
время тайных сходов в укромных местах.

После забастовки я наткнулся на Джона,
избитого, без сознания,
посреди дороги, изрытой следами;
пустой гроб, страшный знак,
чернел у него во дворе,
с надписью "Джон Вуди".
Узнав об этом,
он усмехнулся,
"Этого мне не хватало", — сказал.

Пещерный Ручей: оживший в славных легендах,
никем не написанных.
Там в горькой хижине Клифтон и Мэри Брайант
развели негасимый огонь.
Гора Блэр, год 1921-й.
Десять тысяч восставших шахтеров,
осколки бомб, пронзившие воздух.

В Западной Виргинии знали Дебса —
узника маундсвиллской тюрьмы,
в 1912-м пятьдесят пять сторонников
его партии победили на местных выборах!
Горцев Западной Виргинии,
свободных от рабства с 1863-го,
поработили, спустя годы, всеисильные корпорации —
"Консолидейтед", "Континентал",
"Пибоди", "Ю. С. стил",
Рокфеллер...

И был еще Ладлоу —
горькая память Ладлоу!
Палаточный лагерь —
приют голодных шахтеров,
под пулями Рокфеллеровых отрядов
шахтеры вырыли яму под своими палатками,
убежище для детей и женщин.

Отряды Рокфеллера, вымокшие до нитки, открыли огонь.
Тринадцать детей и беременная женщина
сгорели заживо.
Застрелены пять шахтеров и еще одна женщина.

О, славьте воскресшего Христа
в пасхальное воскресенье 1914-го,
славьте убийство 19 рабочих!

Ладлоу!..
Теперь составители карт о нем забывают.
Высеченный из камня шахтер,
женщина и сраженный ребенок у подножия
возвышаются здесь:
"...мужчинам, женщинам и детям,
погибшим за дело свободы,
апрель, 20, 1914".
Ладлоу, горькая память Ладлоу!

И Угольный Ручей в Теннесси,
весь в каплях крови.
Туристы едут развлечься
в Лейк-Сити, не зная
горькой — и славной —
правды Угольного Ручья.
Дайте другое имя,
сотрите память!..

Надежда и боль, кровь и ужас
в памяти тяжелее камней Угольного Ручья.
Люди гор там высекали искры
борьбы с оковами,
душившими свободный труд.
В 1891-м их называли коммунистами.

В 1934-м, в Кентукки, в камере смертников,
вместе с тремя узниками, приговоренными к казни,
я услышал песню:
"Заложники шахты на Угольном Ручье",
ее пел осужденный на смерть.
Песню нашли, когда вырыли
28 тел,
слова на клочке бумаги, пропитанной кровью,
среди угольных глыб.

Я знаю одну Америку,
землю моей любви и нежной гордости,
и знаю другую Америку — ее ненавижу.

Ладлоу!..
Угольный Ручей!
Клифтон и Мэри Брайант!
Джон Вуди и Эффи!
Билл Блиэзард!
Флоренс Рис!
Пещерный Ручей!
Проклятый Харлан — процветание корпорации!
Джон Д. Рокфеллер Четвертый —
"слишком богат, чтобы грабить".

Ладлоу!..

ПЕСНЯ

Я друга в песню позвал,
Простую, как свист щегла,
Чтоб друг был всегда со мной,
А песня общей была.

Я друга в песню позвал,
Понятную, словно крик
Отчаявшейся нужды
И вздох печалей моих.

Я друга в песню позвал,
Бесхитростную, как стон,
Чтоб друг меня в ней узнал
И чтоб меня понял он.

Я друга в песню позвал,
И ко мне пришло много друзей.

МЕРИДЕЛ ПЕСЮР

"...НАШИХ КНИГ ЖДЕТ МНОЖЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ"

Обращение к Конгрессу писателей США, октябрь 1981 г.

Я родилась в 1900 году. На моих глазах деятели искусства разворачивали активную деятельность против вступления США в первую мировую войну. Я присутствовала на судилище над "Либереитором", знаменитым мятежным журналом социалистов. Я была на процессе над Эммой Голдман, Александром Беркманом и анархистским журналом "Мать-земля". Я помню то театрализованное представление для забастовщиков Патерсона в Мэдисон-сквер-гарден, которое было организовано Джоном Ридом. Мне было восемнадцать, а ребята, мои сверстники, остались лежать на полях Европы. Моя мать атаковала ворота Белого дома, отстаивая права суфражисток. Я помню процессы над Сакко и Ванцетти, над Томом Муни. Я была свидетельницей кризиса тридцатых и организации советов безработных и рабочих союзов.

В 1935 году я участвовала в работе Первого конгресса американских писателей. Помню, с каким единодушием мы составляли планы содействия писателей, художников, актеров работе Управления по трудоустройству¹, планы выступлений против фашизма в Испании; помню, как впервые именно на этом конгрессе прозвучала живая мысль об общественном и творческом единении писателей и широкой читательской массы.

Я пришла к вам, чтобы воссоздать забытое. Мои предки с давних пор укоренились на Среднем Западе. Мне и некоторым моим соотечественникам удалось уцелеть в этот век кровопролитий. Уцелеть — в какой-то мере значит выстоять перед злом; но, если все эти годы рядом гибло столько миллионов людей, чтоб истребить зло, только уцелеть недостаточно. Я получила жизнь как мандат, как завет любить, чтобы, делая свое дело, отстаивая свои убеждения, жить, вливаясь в монолитное человеческое содружество нашей Вселенной.

Только имея за плечами прошлое, можно воспроизвести в памяти все, что происходило за твою жизнь. Да, мы живем в эпоху смертельных опасностей, но мы знаем: у нас есть прошлое, и наша культура имеет глубокие корни — с первых дней нашей

¹ Это федеральное управление было учреждено в период президентства Ф. Д. Рузвельта в 1935 г., чтобы облегчить положение с безработицей в стране, и просуществовало вплоть до 1943 г.

революции, разорвав пуповину, связывавшую нас с Англией, наши предки в кровавых потемках истории ковали нашу культуру.

Тогда, в преддверии нашего вступления в первую мировую войну, представителей искусства, которые выступали против нее, бросали за решетку. Художники в помещении арсенала устроили выставку живописи и скульптуры, Стейглиц повесил табличку: "Павильон Америки". При поддержке Джона Рида Рэндолф Борн, Поль Розенфельд, Джеймс Оппенгейм и Уолдо Фрэнк основали журнал "Сеуен артс", вызванный к жизни подъемом рабочего движения в стране. Демократическая борьба американского народа против монополий находила отражение на страницах журналов "Либерейтор", "Мэссиз", "Мать-земля" и многих других. Выпускаемые в Форт-Скотте, штат Канзас, книжки серии "Литтл блу букс", размером с карман спецовки, стали школой для многих поколений рабочих. Журнал "Призыв к разуму", выпускаемый при поддержке социалистов и ИРМ, имел миллионный тираж. Несмотря на то что Дебс находился в заключении, ему отдали голоса более миллиона трудящихся. ИРМ вдохновляла грузчиков, фермеров, политзаключенных братья за перо, писать стихи. В знаменитых вечерних школах Дакоты и Монтаны круглый год получало образование множество рабочих и батраков.

Их было много, тех писателей и художников, кто жили кипучей жизнью, насыщая нашу культуру, внося всесторонний вклад в политику "нового курса", в организацию мер по сокращению безработицы; их имена можно перечислять бесконечно.

Наш сегодняшний конгресс возник не на пустом месте, его вызвало время.

Первый конгресс проходил в самый разгар экономического кризиса в США — когда возникла угроза фашизма, когда пылала гражданская война в Испании; наш конгресс способствовал сплочению крупнейших писателей и художников Америки, тех, кто с тревогой воспринял нараставшую в те годы опасность. Было ясно: не только в Америке, во всем мире деятелям литературы и искусства необходимо объединить усилия, чтобы выступить против варварства и дикости во имя жизни и продолжения человечества.

Вот что говорилось в обращении к участникам конгресса: "Никогда еще до сих пор писатели США не сходились вместе обсудить насущные вопросы. Наш конгресс охватит все стороны писательской деятельности, направленной на борьбу против войны, на отстаивание гражданских свобод, на искоренение в мире фашистской заразы... Надо крепить свои ряды!.." Будем же помнить и чтить тех, кто выступил с этим страстным призывом!

То были годы, когда миллионы безработных толпились перед закрытыми воротами фабрик. Тогда не было пособий по без-

работице, не было страховок, не было социального обеспечения, не было запрета на конфискацию имущества под залог. Этот конгресс свел нас вместе, чтобы — пусть в трудах, пусть в муках — мы все же выковали единодушие. Чтобы поняли: кто мы, что за цель нас объединяет, в чем суть нашего дела. И вот после четырехдневных горячих дискуссий на свет появилось новое единство... родилось наше мощное движение, и иного быть не могло. Либо гнить в утробе старого мира, либо возродиться с новой зарей.

Сколько ростков нового породил тот конгресс — не сосчитать, его делегаты разъехались во все концы страны.

Подобные конгрессы проходили и в Чикаго, и в Сан-Франциско; писатели собирались на сходки по всей Америке. И те, кто участвовали в этих форумах, открывали для себя новые массы читателей, новых друзей, новые творческие связи, понимая теперь, о чем писать, для кого писать.

Назову лишь несколько имен тех участников, чтобы показать размах новых возможностей, открывшихся для нашей литературы.

Это Нелсон Олгрэн, рабочий, исходивший всю страну; Лэнгстон Хьюз, поэт-негр из Джоплина; Джеймс Т. Фаррелл, автор "Стадса Лонигана"; Лили Загсмит из Кентукки; Грейс Лампкин, написавшая роман "Зарабатывая свой хлеб"; Майра Пейдж, писавшая о шахтерах и о заводских рабочих; Джозефина Хербст, автор трилогии о буржуазном клане из Айовы; Вардис Фишер с Запада; Рут Маккинни с Индустриального Востока; Ллойд Браун, чернокожий рабочий-путеец; Генри Рот, автор книги "Назови это сном"; Джек Конрой, автор "Обездоленных" и редактор знаменитого журнала "Энвил"; Пьетро ди Донато с его книгой "Христос в бетоне"; Леонэр Эрлих, он же Г. Г. Льюис, автор "Громкоговорителя с Миссисипи"; Натанаэл Уэст и его "День саранчи"; Мейер Левин, написавший книгу о Миллене Брэnde; Майк Голд, Джон Говард Лоусон, Тилли Олсен, Альберт Хэперн, Кеннет Фиринг, Альберт Мальц и многие, многие другие. Благодаря им в те черные дни реакции, репрессий и кризиса чувство солидарности не покидало нас.

Избранный в 1935 году председателем конгресса, Уолдо Фрэнк, наш известный, ныне забытый, писатель, предвосхищая будущее, сказал: "Мы определим свой путь. Научившись критически относиться к себе, мы поймем, что никогда нам не будет покоя, ибо мы несем в себе частички Вселенной, а каждый миг для нас — доля вечности. Каждый, пусть он смертен, пусть до поры одинок, найдет других в сумятице американских будней. Где один, там возникнет и второй, третий. Давайте же делиться искрами своего огня. Давайте протянем друг другу руки. Давайте объединяться, спланиваться. Давайте создадим такое жизне-

способное единство, где люди думали бы не только о себе, о своем благе. Такое товарищество всегда активно. Потому что рождено пылающими сердцами. Пусть оно поведет за собой массу, станет глазами незрячей Америки. Из нашего движения может родиться новая жизнь. Так будем же всеми силами стремиться к этому!"

Нынче не 1935 год, но наступление мирового империализма, о котором говорили наши писатели еще перед первой мировой войной, не прекращается. Мы живем в эпоху, когда миру грозят ядерные силы. Сегодня наше правительство не скрывает готовности отдать пятьдесят миллионов американцев в жертву новой, небывалой по разрушительности войне, которая принесет кошмар и опустошение, которая умертвит зародыши грядущих поколений, изменит человеческую расу до неузнаваемости, если вообщем не обречет на вымирание.

Мы понимаем, что драматические события тридцатых были лишь прелюдией алчного безумия нынешних облеченных властью преступников. Что такое "Акт Смита—Маккарена", Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, что такое маккартизм в сравнении с сегодняшней готовностью возвести фашизм и идею мирового господства в государственный принцип! Биллю о правах грозит реформа, если не полное аннулирование. Все меньше становится общественных организаций содействия и взаимопомощи, что занимаются социальным обеспечением и выплатой пособий по безработице или вспомоществования национальным меньшинствам; возможности их сводятся к нулю. Сокращаются фонды на бесплатную поставку молока на фабрики, на бесплатные школьные завтраки, потому что эти средства идут на вооружение.

Стоит просто разобщить людей между собой, и 1-я поправка к Конституции США станет пустым звуком.

Чем выше цены на бумагу, на почтовые расходы и рассылку, чем больше времени уделяется цензуре, тем проблематичней становится издание и распространение литературы. И если вновь воспрянут те, кто готов кидать книги в костер, в наш век они станут действовать пострашней. Теперь они будут сжигать целые города, целые народы. Но если разразится атомная война, наши книги вслед за нами взлетят на воздух.

Новый политико-экономический гнет побуждает писателей, как и весь народ: рабочих, фермеров, индейцев, чикано, мужчин и женщин — объединяться, чтобы защитить друг друга. Все мы — мишень реакции. И если мы не осознаём до конца нашу общественную и политическую мощь, реакционерам она хорошо известна.

Когда глас литературы подавлен, тогда реакционная идеология овладевает умами народа. В фашистской Германии писате-

лей бросали за решетку, высылали, истребляли. Великий лирик Лорка был расстрелян в Испании. Чилийскому певцу Виктору Хара отрубили руки, но он пел, пока билось его сердце. Альберт Парсон громко требовал восьмичасового рабочего дня, и ему заткнули рот, но, когда, перед тем как повесить, ему на голову накинули черный колпак, он крикнул: "Голос народа не заглушить!" В дни гражданской войны в Испании солдаты-республиканцы в окопах кровью своей выводили строки стихов Пабло Неруды.

Сегодня мы должны дать политический бой по всем фронтам, и этот бой созвучен борьбе всего нашего народа. Писатель не должен быть одинок. На земле не должно остаться полых, трухлявых людей. Долой нытье, да здравствует борьба! Мы не хотим кошмаров прошлого. Мы не дадим сломить себя — беззащитных одиночек, — как это было в годы маккартизма! Мы не должны допустить, чтобы это повторилось. Нам нельзя терять чувство локтя, нельзя отдавать себя на съедение волкам!

Наверное, писательский конгресс 1935 года недооценил тогда сил врага. Мы позволили расстроить наши ряды, выловить нас поодиночке. Обвинение в соучастии связало нам руки. Цензура читала наши письма. Мне было запрещено выезжать за пределы города. Мне запрещалось преподавать, распространять свои книги, даже детские мои книжки попали в черный список, их приходилось продавать тайно. Мы были лишены и финансовой, и моральной поддержки, нам не давали возможности собраться, чтобы обсудить план действий: как жить, как бороться. Этого не должно повториться. Нам надо защищать друг друга.

Сейчас нет другого выбора. Нам грозит кошмар куда более чудовищный, куда более реальный.

Лев Толстой писал: "Искусством будут считаться только те произведения, которые будут передавать чувства, влекущие людей к братскому единению, или такие общечеловеческие чувства, которые будут способны соединять всех людей. Только это искусство будет выделяемо, допускаемо, одобряемо, распространяемо"¹.

Великие темы сказаний прошлого ждут своего воплощения в великой драматургии грядущего. наших книг ждет великое множество читателей. Настало время всемирного форума, чтоб судьба всех мужчин и всех женщин слилась в одну судьбу, чтобы жить нам не в потемках торгашеского мира, но озаренными солидарностью всех народов нашей земли, жить и праздновать торжество нашей силы, нашей крепости, нашего расцвета. Пусть угроза смерти и мук сегодня велика, но ей нас не остановить. И под копытами реакции мы вспыхиваем как искры.

Сейчас мы вспоминаем все, что забыто. Мы помним замучен-

¹ Толстой Л. Собр. соч., в 20-ти томах. М., "Художественная литература", 1964, т. 15, с. 213.

ных, умерших голодной смертью, истребленных, отравленных в газовых камерах, они оживают в нас.

И колебаниям не должно быть места. Смерть восторжествовать не может. У ядерного взрыва нет будущего. Мы должны победить жизнью эту смерть, потому что нас много, мы сильны правотой своего дела, всей логикой своей борьбы, нам дали на это право наши предки, наши потомки.

Пусть вновь зазвучат слова Уолдо Фрэнка, произнесенные им на Первом конгрессе: "Давайте жить в единстве, в союзе, давайте являем собой человеческое братство!"



...Я одна из нас,
отбросивших на сегодня
искусственные личины, —
у каждого в левой руке транспарант,
а в правой эмблема, и каждый — частица,
искорка сверкающей молниями грозы,
атом крепчайшего в мире единства,
где ты — это я и я — это ты,
а мы — это дом,
бесстрашно открытый
и жаркому солнцу,
и снежным ветрам.

Д. Левертов. Сегодня

ДЖОН СЕЙЛС

Джон Сейлс (John Sayles) — род. в 1950 г., живет в г. Хобокен (штат Нью-Джерси). Окончив в 1972 г. колледж и получив диплом психолога, Сейлс долго ездил по стране. Был простым рабочим, санитаром, батраком на ферме, играл на подмостках любительского театра, ставил любительские спектакли. Ему, начавшему писать еще со школьной скамьи, был необходим именно такой опыт познания жизни. Сейлс — автор двух романов и сборника рассказов. Удостоен премии О'Генри за лучший рассказ. Джон Сейлс пишет преимущественно о людях труда — шоферах, шахтерах, фермерах. Его рассказы наполнены обаянием естественности, жизненной правдой и вместе с тем добром. Описывая жизнь своей страны, своего народа, писатель провозглашает единство судеб тружеников земли с природой.

Роман "Профсоюзные взносы" ("Union Dues", 1977), отрывки из которого помещены здесь, повествует о тех днях, когда агрессия во Вьетнаме начала разрушать души американцев, человеческие связи, семью.

МАКНАТТ-СТАРШИЙ

Фрагменты из романа "Профсоюзные взносы"

Когда Хантер Макнатт, нагруженный продуктами, позвонил в дверь, никто ему не открыл. Пришлось поставить сумки на пол и лезть за ключом. Хоби не было дома. Странно, уже вечер, не мог же он забыть, что завтра ответственная игра с Бекли и надо прийти пораньше. Да если тренер позвонит и узнает, что Хоби нет дома, он с ума сойдет.

Хантер положил сумки на кухонный стол. Его правая, поврежденная, рука, совсем занемела — так бывало всегда, когда приходилось долго нести что-то тяжелое. Хантер заглянул в туалет, в спальню — Хоби и вправду не было.

Записку он обнаружил в холодильнике — она была подсунута под отрывное кольцо банки с пивом. Банка пива перед сном — старая привычка Хантера. Оно успокаивало боль, помогало заснуть. Он прочел записку при свете лампочки из открытого хо-

лодильника, потом сел на аккуратно застеленную кровать Хоби и прочел еще раз.

Отставив пиво, он приготовил кофе. Снова пробежал глазами записку. Отлепил от дверцы холодильника последнюю открытку Дарвина, приклеенную прозрачной лентой, взглянул на нее. Дымящаяся миска тушеной фасоли на фоне очертаний города. Марка и обратный адрес — Бостон. "Остаюсь у друзей, — было написано на обороте, — пока что-нибудь не подвернется". Может, Хоби поехал повидать Дара? Открытка пришла три месяца назад.

Хантер заглянул в шкаф Хоби, в ящики — все ли на месте? Но оказалось, он толком и не знает, в чем ходил его сын. Впрочем, не было армейской куртки Дарвина, вьетнамской, ее-то Хантер помнил точно. Сначала Дар, а теперь и Хоби.

Но почему Хоби вздумалось уехать? Именно сейчас?

Не сказать, что им друг с другом было плохо. Просто как-то... неуютно, что ли. Во всем доме — только их двое. Пока Дар не ушел в армию, все было гораздо легче. Эй, ребятаки, говорил Хантер, почему бы нам не сделать то-то и то-то... И Дар с готовностью откинулся на все, а вместе с ним, само собой, и Хоби. Когда они были для него "мальчишки", "эй, ребятаки", было гораздо легче. А сейчас — каждый сам по себе.

А потом Дар уехал во Вьетнам... Его письма всегда сближали Хантера с Хоби. Они сидели за кухонным столом, и Хоби читал письмо Дара вслух, они его обсуждали: каково там Дару, что он хотел сказать тем или этим. "Мне тут приходится делать такое, — писал он, — чего на бумаге не объяснишь. Расскажу, когда вернусь. Надеюсь, поймете". Только в эти минуты им и было о чем поговорить, кроме новостей в школе да на тренировках.

Ну а когда умерла Молли, когда Дар вернулся и вскорости ушел из дома, стало еще хуже. Они почти совсем перестали разговаривать. Хоби всегда полагался на свое мнение, тут он пошел в мать, но, когда дома был Дар, между Хоби и Хантером по крайней мере была какая-то связь. А без Дара в доме остались два одиноких человека, они ели порознь, каждый сам себе готовил, а вторгаясь на территорию другого, судорожно думал, что сказать. Но в общем-то они ладили. Не ссорились.

Почему же Хоби вздумалось уехать? Ведь завтра игра с Бекли, а Хоби сейчас в отличной форме, да и вообще становится на ноги. Тень брата на него больше не падает. Есть эта Делия Катлип, которая вроде бы втрескалась в него по уши. До окончания школы остался всего год. Куда он уехал? И почему?

Хантер начал разбирать покупки. Все специально для Хоби — кока-кола, инжир, арахисовое масло. Это был их способ общения — в магазин они ходили по очереди, каждый старался купить то, что любит другой. Они никогда не составляли список покупок, вообще об этом не говорили. Пиво Хантера стало уже теплым, кофейное мороженое для Хоби наполовину растаяло.

Надо позвонить в "Голубую звезду" и узнать, не уехал ли Хоби автобусом. Впрочем, нет. Сегодня смена Долли Гривс, ей скажи только слово, и через несколько минут об этом будет знать вся шахта. Надо подождать до завтра — на билетах будет Эмма. Что он скажет людям? Может, позвонить шерифу, пусть последят на дорогах? Пожалуй. Еще надо позвонить в Чарлстон, на вербовочный пункт — вдруг Хоби задумал то, что сделал его брат? Прибавит себе годок-другой — и возьмут, в свое время Хантер и сам провернул такой номер. Хоби семнадцать лет. Не такой уж он маленький мальчик. Хантер в семнадцать успел побывать в Анцио¹. А среди шахтерской братии полно таких, кто в этом возрасте уже работал в забое. И все-таки...

Придется сообщить в школу. Сказать Рею и Люсиль. Дескать, Хоби уехал, куда — неизвестно. Хантер пойдет на работу, будто ничего не произошло, займется делом — глядишь, Хоби передумает и вернется. А если нет, надо будет что-то решать.

Хантер разобрал покупки. Убрал пиво в холодильник. Взяв записку Хоби, сел на кровать. Он сколотил ее для себя, когда Молли стала совсем плоха, подложил лист фанеры, чтобы не болела спина. Было слишком уж тихо, и он включил радио. Установил волну между станциями, чтобы слышать только шум, слова будут отвлекать. Далекий шум. Последнее время у него что-то неладно со слухом. Целый день в забое на горном комбайне — тут никакие затычки для ушей не помогут. Выберешься наверх и несколько часов все слышишь будто издалика, Хоби говорит, а кажется, что он от тебя в полумиле. Невыносимо это — когда все время издалика...

Он прочел записку. Хоби ушел из дома.

Почему?

Пронзительный вой, лязг металла, кругом все черно, черноту пробивают густые от угольной пыли столбы света, сквозь многовековую толщу тьмы мерцают прожектора, горный комбайн вгрызается в кричащую грудь забоя. Верхние дробящие диски разрушают пласт, нижние подгребают черную сияющую породу, прорезают узкую горловину в плоском массиве пласта, потом выбрасывают уголь в длинные короба самоходных вагонеток. Просверки в кромешной тьме, несмолкающий пронзительный вой в забое, от бока комбайна отделяется самоходка, а на смену ей тотчас подходит другая, и каждая уволакивает горку черной породы, тянется за силовым кабелем толщиной в кисть руки, едет быстро, овеивая стены штрека, а потом скидывает свой груз на жужжащий конвейер. Лампа вагонетки прошивает черноту, ее луч выхватывает из тьмы отскочившего грузчика, его черную лоснящуюся кожу; как только вагонетка вы-

¹Место высадки союзников в январе 1944 года, к югу от Рима.

грузилась, он снова подскакивает к конвейеру, прямо в гул, вой и мутное облако угольной пыли, и начинает энергично бросать лопатой просыпавшийся уголь — надо успеть все собрать, пока его не прошьет лучом следующая вагонетка. Вой, лязг, жужжание, скрежет стальной крепи, что держит кровлю над комбайном. Тьма непроглядная, хоть глаз коли, да гуденье машины — коржи породы вывозятся из лавы, а потом уголь бежит по жужжащему конвейеру черной речкой, подальше от воющего штрека и вагонеток-невалышек, от выработки, и наконец снова переливается в низкие угольные кары, которые, едва они наполнятся, оператор отправляет дальше.

Шахтер в белой каске что-то говорит оператору, сидящему почти на корточках — иначе не разместиться в этой пятифутровой выработке. Оператор светит на свои ручные часы, дергает какой-то рычаг, и вдоль штрека раздается громкое бляенье гудка. Вой комбайна враз смолкает. Уголь какое-то время продолжает струиться по конвейеру, оператор подгоняет к месту насыпки новую вагонетку, а шахтер в белой каске, согнувшись, уходит по выработке. Наконец конвейер пуст, из жерла штрека лезет лишь его черный язык. А вот появилось и начало расти круглое пятнышко огонька. Огни проклевываются по одному — это головные светильники на черных касках шахтеров, они сбредаются к главному штреку. Оператор подсчитывает головы и отключает конвейер.

Люди в черном, похожие друг на друга — унылые рабочие спецовки, лица лоснятся от сажи, светильники на касках выстреливают светом. Жуткие белые глаза стремятся за лучом — иначе ничего не увидишь. Под ногами булькает вода, на дюйм слой угольной пыли. Слышно, как шахтеры приближаются — тяжелое дыхание, шаги, стук пластиковых касок о породу. Они идут по выработке пригнувшись, идут к облюбованному штреку по победать. Люди в черном, похожие друг на друга.

Хантер Макнатт идет по выработке последним. Он может любого из них узнать со спины, даже в черной спецовке. Старый Вуди Эстилл без двух пальцев на руке. Размолотил их, когда подогнал вагонетку слишком близко к стенке заброшенного северного штрека. А вон Толмен Кумбс, его легко узнать по опущенному левому плечу, беднягу накрыла рухнувшая крепь и раскромсала ему ключицу. У Лютера перебито колено, это когда разорвалась конвейерная лента, а молодого Локли узнать проще простого — у него все цело, парень пока ждет своего первого несчастного случая. Через каждые несколько шагов Хантер останавливается перевести дыхание, а рука отказывается разгибаться до конца — так бывает всегда, стоит завести рабочий орган комбайна немного не туда и сильно потянуть на себя рычаг верхних дисков. Люди в черном идут обедать, манжеты прочно пристегнуты, шнурки крепко завязаны, чтобы не затынуло в конвейер, они идут молча, пригнув головы.

— Хантер, — сказал Вуди Эстилл, ковыряясь в своей металлической бутерброднице, — ты бы малость сбросил обороты. Не то мы с Лютером обрежем тебе кабель. Этот твой динозавр, того и гляди, всех нас тут похоронит.

Вуди извлек из бутербродницы пакет с румяными пончиками и отправил первый в рот. Шахтеры сидели на полу, упершись спинами о стену, глотали содержимое термосов, подносили белый хлеб к черным лицам.

— Так что, Хант, лучше не надо.

Одна и та же песня каждый день: начальство наверху торопит — гони продукцию, а работяги внизу не хотят сломать себе шею.

— Да я же ничего не могу поделывать, сами знаете, — возразил Хантер. — Тормозни я да начни гонять воздух, чтобы дать вам перекурить, Рупперт мне сразу врежет по первое число. Ведь он, этот комбайн, потому и называется "для поточной работы", что дует безо всяких остановок.

— Может, оно и так, но, когда это твое чудище раздолбает крепь и нам на головы посыплется уголек, около нас не будет ни Рупперта, ни другого мастера. Он будет в это время докладывать начальству по телефону, почему замедлилась подача угля. "У меня тут, — скажет, — двое немножко зарылись, придется их откопать да путь расчистить, а уж потом будем дальше шуровать".

Хантер чуть улыбнулся.

— Мастеру, Вуди, платят не за то, чтобы он уродовался вместе с нами, ты разве контракт не читал? Кто-то должен счет вести. "Шахтеры проигрывают со счетом десять — ноль".

— Если этот негодяй оставит здесь подыхать меня, — вступил в разговор Лютер Джастис, — ох, я ему не завидую! Да ему ни в жисть не отбиться от моих разъяренных поклонниц! — Лютер был посеченный морщинами, похожий на ястреба ветеран и в шахте считался спецом по всяким сальным шуткам и историям. — Нет, сэр, этот сукин сын не скоро забудет, как он со мной обошелся.

— Хи-хи-хи! — посыпались пончиковые крошки, и Вуди шлепнул Лютера по верхушке каски. — Это же надо, рассуждает здесь о поклонницах, когда любому ясно: если на него кто и клюнет, так только в доме для слепых. Да и то темной ночью. Чего там, дяденька, скажем правду — наверху ты такой же красавец, как и здесь, в угольной пыли.

— Я вот тебе дам дяденьку...

Это был обычный обеденный треп, и Хантер к нему особенно не прислушивался. Он захватил с собой поесть, но не было аппетита. Перед сменой он позвонил в полицию, и ему обещали, что будут приглядываться к "голосующим". А вечером, если они, как договаривались, соберутся в "Голубой звезде", он спросит у Эммы насчет автобуса.

Лютер рассказывал очередную байку. Да, все они здесь — народ что надо, Хантер к ним всей душой, но говорить с ними о Хоби... Повалить дурака, подначить друг друга — это пожалуй-ста, с удовольствием, собственно, их разговоры к этому и сводились. А серьезные проблемы, семейные дела каждый держал при себе. Так уж получалось.

— Кстати, — обратился к Хантеру Лютер, набив рот шоколадом "Млечный путь", — что там говорит твой парень, а, Макнатт? Всыплют нам завтра парни из Бекли или нет?

Хантер пожал плечами. Не надо подавать виду, будто что-то случилось. Ясное дело, если Хоби уехал насовсем, они скоро все равно узнают и упоминать его имя не будут долго.

— Да я с ним об этом не говорил, — ответил он. — Вижу его только в выходные, у него — школа, у меня — вечерняя смена, и вообще он в последнее время не сильно разговорчивый. Сам знаешь, какие они в этом возрасте.

— А в колледж его не зазывают?

— Пока нет. Тренер, тот мне сказал прямо: особенно на это не рассчитывайте. У парня не те физические данные. Сухой, жилистый, в меня.

— А если его не возьмут как спортсмена, есть шанс попасть в колледж?

Хантер едва заметно покачал головой.

— Дело больше не в нем, а в его школе.

Он пытался откладывать деньги на учебу для обоих сыновей, но, стоило ему подкопить немного, Молли требовалось повторное лечение, и приходилось влезать в долги.

— Когда я хотел поступить в колледж, — заметил Керт Локли, — мне сказали, что с моими знаниями надо еще два года в школу ходить. Мол, с уровнем местных школ в колледж нечего и соваться.

— Да и стоит эта чертова учеба — мне одному не осилить, — сказал Хантер.

Некоторое время все молча жевали.

— У твоего Дарвина, — заговорил Вуди, — с физическими-то данными порядок, да не было скорости. А Хоби...

— Да, Дарвин был таран...

Дарвин был подходящей темой — со времени его отъезда прошел уже год.

В штреке мелькнула белая каска. Вуди убрал свои пончики.

— Привет, ребята, — поздоровался подошедший Рупперт, упревая руки в бедра. — Как аппетит?

— Ничего.

— Порядок.

— Нормально, Оуэн.

— Уголек сегодня колуем, братцы, как семечки, даже норму для разнообразия переплюнули.

— Угу.

Все продолжали молча есть, и Рупперт улыбнулся в пространство.

— Как у вас в забое, братцы, есть проблемы? От меня что-нибудь требуется?

— Нет, — откликнулся Лютер, — пока вроде все в порядке.

— Что ж, рад это слышать. Вы, братцы, не против, если я приеду.

— Хотя вот этот запашок, — сказал Лютер, и мастер застыл, согнув колени. — Даже не запашок, а... ну, знаешь, какое-то ощущение в воздухе, у самой груди забоя. Может, Оуэн, тебе туда сходить да проверить уровень метана, пока мы нашу тарахтелку не завели?

— Гм.

— Осторожность никогда не помешает, сам знаешь.

Рупперт выпрямился, насколько позволяла кровля, и потопал к входу в забой.

— Пять минут, — бросил он через плечо, и в голосе уже звучали начальственные нотки. — Еще пять минут — и поехали.

Они подождали, пока он скрылся в забое, потом заговорили.

— Поесть спокойно нельзя, — пробурчал Лютер. — Никогда не догадается, что в списке приглашенных его нет.

— Мастер он хороший, — сказал Хантер.

— Да, уж на нашей шахте лучше не сыщешь. Хозяйский прихвостень.

— Но он же мастер, Лютер.

— Точно. По мне, мастер — это просто ничтожество. Всю жизнь положить на то, чтобы быть хозяйским прихвостнем, — тьфу!

— А кто не прихвостень? — вмешался Клитус Спайсер. Эдакий бойцовый петух, когда он горячился, у него краснели уши. — К примеру, Лютер, я слышал, ты отвертелся от вагонеток и перебираешься на кар возить рассыпуху. Как тебе это удалось?

— Профсоюз решил, что человек в моем возрасте не должен трястись взад-вперед в этих дурацких вагонетках, вот они и выложили компании свое мнение. Со дня на день меня переведут.

— А что человек в твоём возрасте будет тягать пятидесятифунтовые мешки рассыпухи — это профсоюз считает нормальным?

— Ну, там найдется какой-нибудь юнец вроде тебя, он и будет спину гнуть. А я — рулить да показывать, куда ехать.

— Как же ты сподобился?

— Не зря говорят: по чинам и привилегии.

— Да, насчет привилегий ты большой любитель, это мы знаем. Не успеешь попасть в ад, наверняка запросишь себе кабинет с кондиционером.

— Я написал заявление в профсоюз, мол, прошу меня перевести, все как положено. И при чем тут прихвостень?

— А я скажу тебе при чем. — Клитус заговорил громче. —

Когда в августе из-за сокращения производства поувольняли народ, ты и пальцем не шевельнул. Подпевал профсоюзному начальству как миленький.

— Оно и понятно. Сокращение производства — куда тут денешься? Мы не учим компанию, как им руководить шахтой, они нас не учат, как руководить профсоюзом. А работа — она у них либо есть, либо ее нету.

— А когда временно уволенных потом не берут обратно и оказывается, что они уже не состоят в профсоюзе, — это как?

— Клит, профсоюзу от них был один вред. Ведь они пошли работать к кустарям, в выработки, которые собирались закрыть. Думаешь, профсоюз будет держать людей, которые выступают против начальства и знать ничего не желают? Да ты должен радоваться, что этих дармоедов исключили, не то пришлось бы платить им из твоих взносов.

— Я знаю одно: люди пришли получить то, что им причитается от профсоюза, а им этого не дали. Куда деваться? Вот они и пошли работать к кустарям...

— Слушай, Клитус, хочешь указать на кого-то пальцем, потерпи до воскресного собрания, пусть тебя послушает представитель из района, а тут лягать начальство нечего!

— Представитель из района пусть идет куда подальше!

— Эй, братцы! — вмешался Хантер, поднимая руки. — У нас же правило: за обедом о политике ни слова, так или нет?

Он быстро взглянул на Спайсера. Они — те, кто собирались встретиться сегодня вечером, — договорились раньше времени своих намерений не выдавать, затаиться. Уши Клитуса горели, он не обратил внимания на Хантера, и казалось, сейчас набросится на Лютера.

Но тут обстановку разрядил Керт Локли:

— Вроде конвейер запускают.

— Это что, Рупперт нам намекает?

— Оуэн никогда не намекает. Ему много чего свойственно, но никак не тонкость.

Шахтеры, скрипя подошвами, поднялись и зашагали обратно к забою. В общем-то, народ подходящий. Работать с ними — лучшей компании не надо. Если придется уехать, Хантеру будет их не доставать.

В штреке два раза проблеял гудок.

Подъездная дорожка шла под уклон, и Хантер выключил двигатель. Старенькому "фэлкону" надо было давать передышку как можно чаще. Каждое утро Хантера мучил вопрос: возмет машина подъем на дорогу номер семь или нет? До Чарлстона она еще доберется, а дальше — ни за что.

Когда Хантер подъехал к "Голубой звезде", Эмма как раз оказалась на стоянке. Освещение было выключено, и за зданием пряталось с десяток машин.

— Я и то удивилась, — сказала Эмма, — что это он уезжает перед самой игрой? Еще предложила ему: возьми сразу обратный билет, а он говорит: дайте сначала туда доехать.

— Значит, он купил билет до самого Бостона?

— Да. Сказал, что едет навестить брата.

— Ну спасибо.

— Почти все уже собрались, — сообщила она, подходя к своей машине. — Заходи сюда, там открыто.

Хантер вошел в подсобку "Голубой звезды" — там все говорили шепотом. Свет горел только в одном углу, на полках вдоль стен стояли запывлившиеся бутылки с джином и виски. Хантеру почему-то вспомнилась старая окружная библиотека. Почти все мужчины встревоженно курили, разместившись полукругом, спиной к двери не сидел никто. У одних волосы еще влажные после душа, другие только что выбрались из постели. Увидев Хантера, все с облегчением вздохнули. Их было человек десять-двенадцать, в основном молодежь или те, кто работали на шахте недавно. Клитус, которому не терпелось начать, брат Вуди Эстилла Пратт, Керт Локли, бедолага Берди Хокс со своим кислородным респиратором, молодой школьный учитель Хинкл. И так, заговорщики в сборе, подумал Хантер. Из работающих шахтеров он был здесь самым старшим.

— Бери стул, Хант. Мы тебя ждем.

Он кивнул собравшимся.

— Прямо съезд гангстеров.

— Хуже, приятель, хуже.

Хантер сел, и все заговорили немного громче, будто его приход гарантировал им безопасность. Клитус и учитель сидели рядом, около стены. На столе перед ними лежал "Журнал Объединения горнорабочих Америки".

— Вы знаете, зачем мы здесь, — начал Клитус. — То, что мы должны собираться вот так, втихаря, тоже кое о чем говорит. У нас никудышный профсоюз, и мы боимся рубануть его в открытую.

— Святая правда, — подтвердил Пратт Эстилл.

— Раньше он был хорошим, — заговорил Хинкл, — одним из лучших в стране. Но потом у шахтеров его украли. Вот мы и хотим заполучить его обратно. — Рукава его рубашки были закатаны, ворот расстегнут — как всегда. Он не принадлежал к шахтерской братии и не пытался разговаривать на шахтерский лад. — В этом году у профсоюзных боссов впервые появился противник, человек с именем, за которым стоят люди и который может дать настоящий бой.

— Крепкий Тони Бойл морочил нам голову целых десять лет, — перебил Клитус, махнув "Журналом", на обложке которого красовался профсоюзный лидер, — и больше мы этого не по-

терпим. Раньше как было: хозяева давят на шахтера, а профсоюз его защищает. Теперь хозяева и профсоюз поддерживают друг друга, а шахтеру приходится драться за свои интересы самому. Нас подменяют машинами, заставляют работать в жутких условиях и не платят компенсацию, загоняют в аварийные штреки — не одно, так другое каждый день, а Тони и его прихлебатели смотрят сквозь пальцы. Хороша лавочка. Скажешь худое слово об одном из них, другой тебе враз напакостит.

Послышался одобрительный ропот.

— Дело не только в Бойле, — вступил Хинкл. — Все началось гораздо раньше. Все началось с Джона Льюиса и его переговоров с начальством при закрытых дверях.

Внезапно наступила зловещая тишина.

Все смотрели на Хинкла. Хинкл, ища поддержки, взглянул на Спайсера.

— Мистеру Льюису, упокой, господи, его душу, — сказал Клитус быстро, — должно быть, втирали очки. Ведь помощником у него тогда, если помните, был Бойл. Такое бывает — честолюбивая сволочь подсаживает большого человека.

— Джон Л... Льюис, — заговорил Хокс, застревая на каждом слове, — был за шахтеров... всегда. Если бы он... не ушел... никаких... п... проблем сейчас бы не было.

— Святая правда.

— Да, проблем у нас — выше головы, — сказал Клитус. — Я вот что скажу: Бойл — ворюга, он ворует и шахтерские деньги, и выборы, и наши с вами жизни. Пора этому, черт возьми, положить конец! Надо сплотиться вокруг нашего человека, добиться, чтобы выборы прошли справедливо, и вернуть себе профсоюз!

— Вот это в яблочко.

— Святая правда.

— Давно пора.

— Клитус, ты ведь был на съезде шестьдесят восьмого года, — впервые заговорил Хантер. — И сам мне рассказывал — во всем этом представлении не было ни одного честного голоса. Как ты собираешься выкурить Бойла, когда все спички у него в руках? И где гарантия, что этот Яблонски будет лучше?

— Будем надеяться, что слова у него не расходятся с делом, другого выхода у нас нет. Я слышал, как он выступал, и это было толково. Чтобы вести предвыборную борьбу у нас, он ушел со своего поста в питтсбургском профсоюзе, там у начальства на него зуб, и назад ему дороги нет. Так что практической выгоды тут для него никакой. Он говорит, что ему надоело смотреть, как с нами обращаются, и я ему верю.

— Ладно, Клит, допустим, здесь ты прав. — Хантер читал несколько заявлений Яблонски для печати, говорил с людьми, которые знали его получше. Этот человек был далек от совершенства, очень далек. Конечно, он гораздо лучше Бойла, но положить его на лопатки не сможет. В этом Хантер не сомневался. —

Но ты должен признать, — сказал он, — что у него нет почти никаких шансов. Почему мы должны прыгать на тонущий корабль?

— Да, что мы от этого получим?

— Сядем в галошу, вот и все.

— Давайте откроем здесь отделение, — предложил Хинкл, — и попробуем привлечь на свою сторону людей. Ведь не только вы сыты по горло, другие тоже.

— Может, люди и сыты по горло, — возразил Пратт, — но это еще не значит, что они пойдут против Крепкого Тони. Ведь это как называется? Антипрофсоюз. Потому что профсоюз — это Тони. И начнут на нас клепать: это, мол, сговор между большим бизнесом и правительством, чтобы расколоть Объединение горнорабочих Америки, а все мы — шайка штрейкбрехеров. Да я уже слышу, как старый Лютер разоряется...

— О-о, этот выскажется... Не упустит случая.

— Такие лизоблюды как раз и были на съезде, для них главное — брюхо себе набить, а дальше хоть трава не расти, на остальных им плевать. Только о своей выгоде и думают.

— А для людей — ничего, только знай под себя гребет.

— Зажравшаяся лицемерная лиса...

— Стоп, стоп, братцы. Не кипятитесь. — Хантер медленно покачал головой. Уж слишком они разгорячились, поддались гневу. — Вы, кто помоложе, небось про Лютера ничего не знаете. Давайте я расскажу о нем кое-что.

Хинкл поморщился и хотел возразить, но Клитус Спайсер тронул его за руку — помалкивай.

— Дело было году в тридцатом, Лютер — молодой парень, а профсоюз тогда едва дышал, пытался подняться на ноги. Это еще до того, как в игру вступили "Консолидейшн" и "Ю. С. Стил", почти все шахты в округе принадлежали семье Макэлени, во главе ее стоял старый судья Макэлени. Да-да, судья. Так что против шахтеров были не только наемные агенты компании, а еще и закон. Агентов, этих подонков, притащили сюда из Цинциннати, чтобы устроить профсоюзам веселую жизнь, а шериф либо смотрел сквозь пальцы, либо этой же падали и помогал. Ну а на шахтах тогда работали люди с гор, вроде Лютера, их заденешь, они дадут сдачи. Так что, само собой, поднялась пальба, а где пальба, там и кровушка течет.

Однажды вечером кто-то из этих агентов застрелил одного профсоюзного организатора, прошили его пулями из машины прямо на крылечке собственного дома, а Лютер и еще люди, жившие рядом, все видели. Они пришли к шерифу, сказали, что могут опознать убийц, назвать имена и все такое, но шериф говорит: нет, мол, было темно, и ничего видеть вы не могли. Никого арестовывать не буду. Ну они другого и не ждали, и Лютер, а с ним еще несколько парней, которые пытались сколотить профсоюз, взялись за дело сами. Вооружились и устроили на

всю ночь засаду возле кабака — был тут раньше один, повыше в горах. Око за око — так они порешили.

Только среди них оказались шпионы. Кто-то шерифу с агентами стукнул, и они окружили шахтеров, напали на них сзади. Лютеру одна пуля вошла в мякоть плеча, другая — чуть не оторвала ему пол-ягодицы, но все же он спрятался под кустом. Так и пролежал всю ночь, истекая кровью, а шериф со своими людьми все шныряли с собаками, светили фонарями и постреливали изредка. Вот и лежи, ни застонать, ни крикнуть, лежи и жди, пока жизнь из тебя не выйдет. В общем, к утру он был полумертвый, однако дотащился до жилища своего двоюродного брата. Срочно нужна медицинская помощь, а где ее взять? Доктор компании, по кличке Мясник, тот либо позволит ему истечь кровью, либо сдаст шерифу. Ну и еще был Красный Крест. Это сейчас Красный Крест помогает голодающим, раздает съестное, лекарства, а тогда он вовсю якшался с компанией, она давала Красному Кресту список людей. Кто поддерживает профсоюз. Попал в этот список — ни ты, ни твоя семья Красному Кресту не нужны.

Хантер смолк. Все прислушались. Скрипнул гравий — это к входу подъехала машина, двигатель продолжал работать. Постояв минуту, машина отъехала. Хантер тут же продолжил, не давая людям времени испугаться:

— В общем, двоюродные братья отвезли Лютера к родне, на Россумс-хилл — знаете, где всю верхушку горы раздраконили? В селение. Там давай ему припарки всякие делать из трав, еще бог знает как отхаживать, он лежал, набирался сил, раны постепенно затягивались. Ну а компания с шерифом решили, что он умер, а может, сбежал навсегда.

А через три месяца он спустился с гор, живой и здоровый, всем, кого встречал, говорил: я, мол, ездил платить профсоюзные взносы. Вот вам и старый Лютер. Так и не отступился, не сдрейфил, и профсоюзы потом все-таки вернулись, заставили компанию признать их, сломали хребет этим Макэленин.

Все сидели и переваривали услышанное, сопоставляя рассказ с толстопузым Лютером Джастисом, любителем постоять на задних лапках.

— Я что хочу сказать? Не думайте, что спихнуть таких, как Лютер, — плевое дело. Ведь эти люди создавали профсоюз, ногтями рыли для него фундамент, и так просто они своего не отдадут, это будет схватка не на жизнь, а на смерть. Да, Лютер и ему подобные с годами заплывли жирком, успехи вскружили им голову, но все равно они — крепкие ребята, не сомневайтесь.

— Вот поэтому, — сказал Клитус Спейсер, — мы хотим, чтобы возглавил нас ты, Хант. Ведь ты из одной обоймы с теми, кто основал профсоюз. И когда будешь говорить ты, тебя будут слушать.

— Погоди, погоди, приятель! Куда же так сразу? Я даже не вступил в гонку, а ты меня уже в лидеры определил.

— Разве ты не с нами?

Сказать им о Хоби он не мог. Еще не был уверен. Как и не был уверен в Яблонски.

— Нет.

— Зачем тогда пришел?

— Послушать, что у людей на уме, а уж потом на что-то решаться. Ты хочешь, чтобы я с завязанными глазами покупал осла? Так всем, кто в это дело влезет, может не поздоровиться.

Общее напряжение спало, шахтеры задвигались на стульях — Хантер наконец сказал то, о чем думали все.

— Хантер прав, — заговорил Верлан Строуд. — Если мы проиграем, нам не скажут: "Не горюйте, братцы, повезет в другой раз, молодцы, что вспомнили о своих демократических правах". Скорее всего, тех из нас, кто постарше, загонят на такую работу, что не приведет господь, а остальным придется вставать в очередь за пособием. Профсоюз не потерпит измены, а на любую оппозицию они смотрят именно так. Как на измену.

— Точно. Вспомните, что вышло с Реем Уилкоксом.

— Как я понимаю, у Бойла на руках все козыри. — Керт Локли указал на обложку "Журнала". — У него единственный печатный орган, все фонды профсоюза, избирательная машина, да и большинство пока что на его стороне. А голоса он набирает не мытьем, так катаньем. У меня в Кентукки двоюродный дед, он состоит в одном из этих липовых местных отделений. У них там одни старики, получают от профсоюза пенсию, а право голоса имеют. Ведь в отделении должно быть самое малое десять работающих шахтеров, а у них — ни одного. А их местное отделение приравнено к нашему. Кому жаловаться, Тони Бойлу? Эти старики прекрасно знают: на каждом пенни, который они получают, отпечатки пальцев Бойла. Чего же им поднимать волну, когда им и так хорошо? Знаете, сколько таких местных отделений, где старики получают деньги прямо из управления профсоюза? Сотни. А у этого Яблонски есть деньги, чтобы откупить все эти голоса?

— Керт, он хочет выиграть честно. Ему нужны люди, а не деньги.

— Я ему не шибко завидую. Людей можно запугать, а деньги — нет. Люди, Клитус, уже запуганы. Лично я — не очень, но почему? Да потому, что я только начал, семья пока нет, особой ответственности — тоже. А другие — куда они сунутся, если придется уйти с шахты? Люди не очень богатые за ту малость, какая у них есть, держатся крепко, так? Вот и у нас с вами ничего нет, кроме работы. Потеряем ее — и окажемся между молотом и наковальней. А что есть у тех, кто свое отшахтерил? Только пенсия. А профсоюзники в Вашингтоне знают сто способов, как ее отнять, если не будешь плясать под их дудку.

— Мою они... украли, — вмешался Берди Хокс, он сразу покраснел, начав говорить. — Двадцать лет протрубил на профсоюз-

ных шахтах, а последние два... ушел к кустарям. Т-тут стало т-тяжело до жути, я не управлялся. Из-за этих двух лет они сказали, что мне пенсия не-не положена. Украли, и все.

— Как у Рея Уилкокса.

— Точно. Как у Реймонда. — Керт разгорячился, голос его чуть осип от табачного дыма, да и время было позднее. — Я на шахте всего восемь месяцев, с ним познакомился как раз перед этим случаем, но я за Рея обеими руками. Работник он что надо, трудолюбивый, всегда знает, что делает, помогал мне, когда я сам не мог разобраться, что к чему. Научил меня работать без травм, пока вот обхожусь без них.

Так что сделал Реймонд? Сказал мастеру, что не будет долбить породу, пока крепь не поставят получше, только и всего. Мол, кровля вот-вот рухнет, ненадежно она выглядит. А мастер, этот сукин сын Будка, говорит: давай не мешкай, будет время, поправим и крепь. А Рей: нет, тогда Будка с угрозой: переведу тебя в подсобную бригаду. А Реймонд, можно сказать, наш лучший водитель комбайна, и Будка это прекрасно знает. К тому же у Реймонда травма спины, и Будке это тоже известно. Реймонд не может работать на разгрузке. — Локли обращался прямо к Хинклу.

— Пока они спорили, крепильщик навел порядок, и кровля стала надежнее. Реймонд согласился запустить комбайн, но сказал: все равно подам жалобу. А Будка ему: валяй, жалуйся, посмотрим, чья возьмет.

А этот Будка у всех в печенках сидит, в его смену больше всего аварий, а сам строит из себя эдакого доку. Всегда цепляется из-за какой-нибудь ерунды, а что и вправду серьезно — прохлопывает. В общем, казалось бы, к жалобе на такого дуба профсоюз должен прислушаться. Ни черта подобного. Старый Лютер и еще этот профсоюзник, паршивый сукин сын, вызывают Реймонда и начинают уговаривать: забери жалобу. Зачем тебе, говорят, репутация смутьяна, надо больше продукции выдавать, а то всем нам не поздоровится. Замечаешь — нам! Ты уже пару раз перед компанией проштрафился, говорят они Реймонд, зачем тебе еще неприятности.

Ну, Реймонд их послал подальше, вы, говорит, получили жалобу, вот и разбирайтесь, это ваша работа. Приходит в понедельник на смену, а его уже Будка поджидает с лопатой и ухмыляется. Ты, говорит, теперь грузчик у конвейера, берись за дело. Ну, Рей прямиком к профсоюзнику и говорит: "Ладно, вот тебе возможность отличиться, вступишь за меня". А тот пожимает плечами, мол, у конвейера тоже опытные люди нужны, и вообще, кого куда ставить — это дело компании, и тому подобная дребедень.

Реймонд вкалывал как мог, отпахал почти целую смену, а потом просто упал от боли. Упал. Ни разогнуться, ни на ноги встать — самоходная вагонетка его чуть не переехала. У него

со спиной давно непорядок, а доктор компании, подлая тварь, — рентген, мол, ничего не показывает, стало быть, никакой компенсации. Тут появляется Будка и говорит: "Работать не можешь, придется тебе идти домой". Реймонд не стал лежать и ждать помощи, пополз на карачках, прицепился к груженому угольному кару и уехал наверх.

После той смены с лопатой у конвейера он пролежал целый месяц. И никакой компенсации, ничего. Мало того — им удалось выбросить его из профсоюза. Нарушение устава, так ему сказали, хотя что именно он нарушил и как — ни слова. Вот что нам предстоит, мистер Хинкл, а ведь всего-то была одна маленькая жалоба. А почувствуй они, что им взаправду угрожают...

— Нам, Хинкл, работу терять не хочется.

— Почти у всех семьи.

— Ты, учитель, никогда не задумывался, что нам дает правительство? Оно смотрит, сколько нам надо, и дает половину. А о второй половине пекись сам.

Шахтеры заволновались и направили свой гнев на Хинкла. Даже Клитус Спайсер вопросительно посмотрел на него: как он вернет собрание в нужное русло?

— Хантер, — мягко сказал наконец Хинкл, — Рей Уилкоккс ваш лучший друг, верно?

В свое время Хантер пережил всю эту историю вместе с Ре-ем. И ему было больно слышать ее в редакции Керта.

— Да, мы очень дружны.

— И что вы сделали, чтобы помочь ему?

— В общем-то, ничего. — Хантер пожал плечами. — Он пришел ко мне, когда эта каша только заварилась, и велел не вмешиваться. Сказал, что ему все осточертело и он будет биться до последнего. Что я ничем не смогу помочь, только себе сделаю хуже.

— Значит, вы сидели и смотрели, как его выгоняли?

— Да. — Хантер поерзал на стуле. — Гордиться тут нечем, но не думаю, чтобы я мог что-то изменить. Они его слопали, как слопали бы и меня, вздумай я жаловаться.

Да, истинная правда. Слопали бы — и не подавились.

— Вот этому-то, Хантер, и надо положить конец. Так они могут поувольнять вас каждого поодиночке. Это раньше не было профсоюза, рабочие не могли бастовать, а теперь?

— Ха! — Клитус Спайсер грустно покачал головой. — О забастовках лучше не напоминайте. Когда члены Объединения горнорабочих Америки последний раз поднялись на официальную забастовку? Шестнадцать, семнадцать лет назад? Семнадцать, и, если мы хотим выйти на улицы, профсоюз от нас отрешивается. Закон против нас, финансовой поддержки нет, на жратву денег нет, и победы нам не видать. Хозяева, чтоб им пусто было, знают это не хуже нас.

— Так я об этом и говорю, — согласился Хинкл. — Что это

за профсоюз, который за семнадцать лет ни разу не поддержал забастовку? Что это за профсоюз, который вместе с администрацией увольняет хорошего работника, вместо того чтобы его отстоять? Как вы можете с этим мириться?

Опять камень в их огород, и им это не понравилось. С виду самый молодой оператор из вечерней смены заговорил фальцетом:

— А чего мы должны шум поднимать, если это — гиблое дело?

— Во-первых, — Хинкл загнул один палец, — никакого оно не гиблое. Мы можем победить. Если шахтерам все до чертиков надоело, мы, вполне возможно, возьмем да и повернем по-своему. Ладно, допустим, мы проиграем. Тогда, во-вторых, чего-то стоит уже сама попытка, легче будет тем, кто попробует в следующий раз, а начальству придется вести более честную игру. Когда Объединение горнорабочих Америки начало требовать компенсацию за "черное легкое"? Только после того, как по всей стране поднялся такой шум, что профсоюзным лидерам деваться стало некуда. А раньше они делали вид, что "черное легкое" — это миф. На выборах в декабре у Бойла будет сильный соперник, и уже из-за этого Бойл будет вынужден как-то ублажать шахтеров — надо же показать себя с хорошей стороны. В ближайшие месяцы Вашингтону придется раскошелиться — если мы заставим их как следует беспокоиться.

Третья причина не практического свойства, но и ее нельзя сбрасывать со счетов. Бывает, из тебя выжимают соки медленно, размеренно, из года в год, пока не отдашь концы... или ты идешь ва-банк — все или ничего, и уж если погибаешь, так по крайней мере в борьбе.

Клитус повернулся к Хантеру:

— Ты прав, дружище, риск тут немалый. Но я готов рискнуть, и не я один. Ясно, твоя помощь нам здорово бы пригодилась, но в случае чего обойдемся и без нее.

Хантер окинул Клитуса долгим, задумчивым взглядом. Люди терли кулаками глаза, отгоняли табачный дым, но зевающих не было.

— Мой Хоби, — заговорил он наконец, — наверное, скоро будет с нами. Я всегда желал ему другой судьбы, но что сделаешь, похоже, нашей участи ему не избежать. В наших краях мужчина либо гнет спину в шахте, либо стоит в очереди за пособием, ну а сразу подаваться в безработные он не будет. Значит, придет к нам, скоро ему понадобятся деньги. Выходит, если закрыть ему дорогу на шахту я не могу, я по крайней мере должен сделать все, чтобы шахтерам жилось не хуже других. Пожалуй, я с вами, братцы.

Хоби вернется. Может, он уже ждет его дома с повинной головой. Должен вернуться, куда ему, как не домой?

Хоби не было. Кровать все так же аккуратно застелена, свет выключен.

Хантер выпил банку пива. Еще одну. Услышал, как в соседнем доме включился насос, поработал немного и, щелкнув, замолк. Услышал, как зашебаршил бурундук, живший у него под крыльцом. Как на кухне заурчал холодильник, как дом устраивается на ночлег.

В желудке нарастала сосущая пустота. Он сидел в темноте. Такую же пустоту он чувствовал в марте прошлого года, когда обвалилась кровля и он оказался в ловушке, в крошечной тьме. Светильник его разбился, руку придавило крепью, а сам он размеренно дышал через самоспасатель-противогаз. Он не знал, каковы масштабы завала, не знал, придут ли за ним. Просто лежал, окруженный тьмой, и ждал. Поначалу его беспокоила только рука, боль пульсировала и рвалась наружу, потом она заполнила крохотную трещину пространства вокруг него, стала отдаваться в нем эхом. Он напряг мускулы, стараясь загнать ее обратно. Не тут-то было. Попробовал переключить мысли на что-то другое. Вообще отделить разум от тела. Тогда и накатила пустота.

Она медленно расплзлась из желудка наверх, к горлу, умерщвляя все на пути, и вот уже исчезла боль, исчезла рука, осталась только тьма вокруг да равномерное посасывание противогаза. Он потерял чувство времени, пространства, лишь смутно понимал, что, может быть, за ним кто-то придет, постарается найти его. Он уже не ощущал краев рухнувшей глыбы, краев собственного тела — все поглотила темнота, в которую он стал проваливаться, лишь изредка в мозгу вспыхивала какая-то мысль. Какая-то неуловимая, настырная мысль, которая целый день пыталась пробиться на поверхность. Эпсомская соль. Она нужна Хоби, в последней игре его как следует приложили, и тренер посоветовал компрессы из эпсомской соли. В то утро Хоби попросил Хантера, чтобы по пути с работы он забежал за ней в магазин. Хантер подышал в самоспасатель. Размял поврежденную руку, вернул в нее боль. Боль все-таки лучше пустоты. Лучшее, чем ничего.

Вот и дома тоже пусто. Хантер пытался взять себя в руки, пробовал думать о собрании, о том, что говорили шахтеры на счет профсоюза, — не помогало. Он им нужен, но они обойдутся и без него. Ему придется уехать. Раз Хоби не вернулся, придется ехать за ним.

Начало светать, синие тона прогоняли черные. Хантер поставил на огонь кофе. Рей Уилкоккс скоро вернется с работы.

— Кофе выпьешь, Хант? — спросила Люсиль.

— Нет, спасибо.

На кухонном столе перед Хантером лежала записка Хоби.

Линованный листок бумаги из школьной тетрадки, его столько раз складывали и разворачивали, что сгибы были грязные и ворсистые. Вместо обращения стояла какая-то перечеркнутая загогулинка. Как Хоби хотел к нему обратиться? Отец? Папа? Уважаемый сэр? Так и оставил свободное место.

— Я много про это думал, — писал он, — и решил, что должен уехать. Извинись за меня перед Делией, тренером, вообще перед всеми. Не думай, что со мной что-то стряслось, нет, да и ты ни в чем не виноват. Дело во мне самом. Оставаться здесь больше не могу. Пока. Хоби”.

— Он пишет, что ничего с ним не стряслось.

— Конечно, нет, Хантер. Он у тебя паренек толковый, хороший.

Люсиль повернулась к плите перевернуть гречишные оладьи, откинула с глаз волосы. На заднем крылечке возле кухонной двери раздались тяжелые шаги — пришел Реймонд.

Не говоря ни слова, он бухнулся в кресло, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Задержав дыхание, чуть помассировал шею, потом выпустил воздух.

— Привет, женушка. Здорово, Хантер. Что это ты в такую рань?

— Хоби сбежал, — сказала Люсиль. Она поставила перед мужем тарелку с подогретой жареной картошкой и поцеловала Реймонда в шею. — Позавчера Хантер вернулся со смены, а Хоби нет.

Хантер передал Рею записку.

— Наверное, подался в Бостон.

Реймонд медленно прочел, держа в руке вилку с наколотой картошкой. Вернул записку.

— Похоже, и вправду уехал. А почему в Бостон?

— Последняя открытка Дарвина была оттуда.

— Бостон... не близко.

— Надеюсь, он сам это поймет и вернется с полдороги.

Рей закашлялся. Зашелся в глубоком, сухом, скрипучем кашле, ухватился за край стола, глаза налились кровью, наконец сгусток черной слизи выбрался из легких, и Рей сплюнул в стоявшую на полу миску. Потом глубоко вздохнул, наладив дыхание, и продолжал, словно ничего не случилось.

— Ну а если он еще через пару дней не явится? Что тогда, Хант?

— Поеду его искать.

— И бросишь все, что у тебя есть?

Хантер усмехнулся.

— Все, что у меня есть? Арендованный дом на четыре комнаты и долг в шесть тысяч долларов по больничному счету? Да если меня тут что и держит, так только Хоби.

— А профсоюз?

— Что профсоюз?

— Ты разве не с теми, кто хочет отвоевать его?

— А ты откуда знаешь?

— Брось, дружище, шахтеры есть шахтеры. Стоит тебе обмолвиться словом, как его услышат все и каждый. Да, потасовка будет не из легких. Тебя это не удержит?

— Нет. Думаю, нет.

— Ты ведь можешь им помочь, Хантер. Если Лютеру и всей их шайке наступить на хвост, они могут быть здоров как окрыситься. Тогда пощады не жди.

— Знаю.

— Если этот Лютер Джастис еще будет ко мне подкатываться на улице, — вмешалась Люсиль, — я ему так врежу, что он свои лошадиные зубы проглотит.

— Лютер просто считает, что перед ним ни одна женщина устоять не может, только и всего.

— Выгнал моего мужа с работы, а теперь у него хватает наглости мне подмигивать.

— Поди пойми, что с такими происходит. — Рей резко отодвинул пустые тарелки. — Когда я только пришел на шахту, мне казалось, он за шахтеров себя не пожалеет. В те времена это было знаешь как опасно! А сейчас, когда "боевых действий" нет и в помине? Да к нему уважения не больше, чем к последней медяшке!

— Люди меняются по всяким причинам, — сказал Хантер. — Точно не скажешь, когда человек сворачивает в сторону. Есть и честные, и смелые, а умными их не назовешь. К такому если попольститься, втереться в доверие, ублажить раз-другой — смотришь, его прежние друзья уже не друзья, а враги, а сам он все такой же смелый и честный, да только выступает уже не за тех. Мало ли как бывает. Озлится за что-то человек на людей — вот и пожалуйста. А Лютер будет постарше нас с тобой, жизнь его сильнее поистрепала. В общем, испортить человека — дело нехитрое, — заключил Хантер. — Может, Лютер просто устал.

— И что же, ты хочешь оставить шахтеров ему на съедение?

— Да вовсе я этого не хочу. Просто выбора у меня нет.

— Выбор у человека есть всегда, дружище. Может, нелегкий, но есть. Хоби стал вполне самостоятельным малым.

— Реймонд! Но пойми, из дома убежал сын Хантера! Не кто-то, а сын! Ясно, если надо, он поедет его искать. А шахтеры управятся и сами.

— Если бы управились, Люси, и разговора бы не было. Уедет Хантер — многие разуверятся в своих силах.

— Ну, про это я не знаю...

— У каждого есть что терять. — Вид у Рея был мрачный, лицо начало сереть. — Те, кто при власти, только так ее и держат — угрожают в случае чего забрать то, что тебе дорого. Для одного это — трудовой стаж, для другого — новая машина. Третий не хочет лишиться премии и едет на съезд, где все голоса куплены

заранее. Четвертому остался год до пенсии, он боится, как бы у него ее не умыкнули. Помилосердствуйте, ребята, говорит он, войдите в мое положение! Я бы с вами всей душой, но... А у кого-то, к примеру, семейные проблемы.

— Муженек, дорогой, это несправедливо. Зачем загонять Хантера в угол? Сам-то никогда не выбирал между семьей и убеждениями? Бросил бы меня с детьми ради какой-нибудь профсоюзной свары?

Рей медленно покачал головой.

— Не знаю, как бы я поступил. Надеюсь, перед таким выбором стоять не придется. А Хантеру приходится, этот выбор глядит прямо ему в глаза. Я не учу его жить, но он должен точно знать: всегда есть два пути. И от выбора, если уж дошло до этого, не уйти никуда. Верно, дружище?

— Реймонд, но Хоби совсем еще мальчик...

— Подожди, Люси, — сказал Реймонд. — Так что, Хант, ты думаешь, парню просто стало здесь невмоготу?

— Боюсь, Рей, дело не только в этом. Наверное, я что-нибудь не так сделал. — Говоря, Хантер теребил в руках записку. — Когда у Молли открылся рак и она слегла, она всегда говорила: будь повнимательнее к Хоби, он все принимает так близко к сердцу. С Дарвином меня разделила война. У нас все было честь по чести, пока его не забрали в армию, а назад он вернулся уже совсем другим человеком. Но с Хоби... Рей, я должен ехать за ним. Не поеду — он решит, что мне на него плевать. Если буду гадать, пробежала между нами кошка или нет, — мне покоя не будет. Конечно, парни в его возрасте уходят из дому. Через месяц-другой я все равно бы его потерял — у него теперь своя жизнь. Но я должен знать, что у нас с ним все в порядке.

— Значит, поедешь в Бостон?

— Других сведений не появится — начну оттуда. Надо ехать сейчас, а не когда тут станет жарко, иначе ребята подумают, будто я сбежал. Знаю, даже если ты не официальный лидер, на тебе все равно какая-то ответственность. Но тут должно быть что-то и для меня, для меня лично, иначе ввязываться не стоит. А без Хоби я буду словно чужак, сердце-то не смогу вложить в эту борьбу.

Реймонд медленно отодвинул свой стул от стола. Вид у него был смущенный.

— Подмогни, Люси.

Люсиль встала сзади и подхватила его под мышки. Он уперся ногами в пол, зажмурился.

— Давай, — распорядился он. — Поехали!

Люсиль сделала глубокий вдох и потянула мужа вверх, одновременно выбив из-под него стул. Реймонд поднялся — краска снова прилила к лицу — и тотчас зашелся кашлем. Он несколько раз отхаркнул в миску, которую Люсиль сунула ему под подбородок, и, когда приступ кончился, с трудом перевел дыхание.

— У нас там этот чертов уголек низшего сорта, — пробормотал он. — Вот и кашляется хуже.

— Что, муженек, помассировать тебя?

— Давай, а то у меня там все узлом завязалось. Пойдем в гостиную, Хантер.

На маленькой кушетке в гостиной лежали одеяла, с валика свешивался фланелевый халат Люсиль.

— Добро пожаловать в мой будуар, — пригласила Люсиль. — Из того дома пришлось уехать, а тут малость тесновато.

Рей осторожно опустился на колени, держа голову прямо и глядя перед собой, Люсиль помогла мужу лечь на пол. Подняв ему рубашку до лопаток, она пошла за какой-то мазью.

— Что, дружище, не сладко?

— Да, Хантер, тут не до смеха. Несчастливая моя спинушка, да, видно, придется терпеть, никуда не денешься. Никакой организации у нас там нет, неделю пропустишь — работа твоя уплыла к другому. Какой-никакой профсоюз, а все же лучше, чем ничего. Господи, дружище, ты бы видел тамошние условия! Про технику безопасности будто слыхом не слыхивали. Тут на днях спускается к нам начальник и говорит — через пару дней нагрянет инспекция из управления шахт. Кто-то ему шепнул, чтобы дать нам время хоть какую-то видимость создать.

— И люди на это идут?

— А что делать, Хантер? Мы думали, профсоюз шахтеров в нас хоть как-то заинтересован. Но нет, куда там. Их лидеры хотят нас прикрыть, а не включить в профсоюз. Крупные компании говорят профсоюзам: не позволим, чтобы эти кустари сбивали нам цену. А профсоюз что — он, как преданный пес, лижет ботинок хозяина. Нашему боссу тоже радости мало, но за него я не волнуюсь, уж он как-нибудь выживет. А бедный работяга, который на него пашет, получает тумачи со всех сторон.

— Несправедливо это...

— Да уж куда несправедливее. Но я сам заварил кашу, сам и расхлебываю. Не думай, Хант, что я строю из себя мученика, я и вправду не могу без посторонней помощи подняться со стула.

— Если бы мы объединились, когда Будка на тебя ополчился, если бы показали им, что не будем терпеть...

— Что толку, Хант? Все бы вместе и схлопотали.

Вернулась Люсиль и, оседлав Реймонда, начала втирать ему в спину мазь.

— У тебя небось сейчас с деньгами туго? Ведь я, если перестану платить за дом, могу...

— Платят мне примерно две трети от зарплаты на профсоюзной шахте, и никаких льгот. Зато я не выбрасываю деньги на взносы и над ухом не балаболит Лютер Джастис. Ничего, проживем. Люсиль сейчас работает в больнице, тоже кое-что приносит. А я детвору в школу провожаю — ни дать ни взять домохозяйка. Не сладко, конечно, но ведь бывало и похуже. Помнишь

времена спада при Эйзенхауэре, когда шахты вообще закрыли? Когда приходилось сидеть на капусте и кукурузной муке? Да, как-нибудь проживем. — Рей улыбнулся. — Люси, радость моя, от такого массажа спина, кажется, сейчас запоеет. Будешь работать в том же духе, придется повысить тебе жалованье.

Хантер поднялся — пора идти.

— Извините, что испортил вам утро, — сказал он, — но надо было с кем-то поделиться.

— Брось, дружище. Слушай, у меня в армии был приятель, он живет где-то в Бостоне. У него брат в сталелитейной промышленности. Он хотел меня ему представить, может, пристроить на какую-нибудь работу, когда была мысль перебраться отсюда. Могу дать для него письмо, мало ли что, вдруг тебе придется вставать в Бостоне на якорь.

— Было бы не худо.

— Может, он уже вернулся, пока мы тут лясы точим. — Люси постаралась, чтобы голос ее звучал убедительно. — Холодная ночь в незнакомом месте может сотворить с человеком чудо.

— Угу, — откликнулся Хантер, — вполне возможно.

— Это бабушка надвое сказала, — заметил Рей Уилкоккс, морщась на полу гостиной — жена продолжала втирать ему в спину мазь. — Иной как вобьет себе что в голову, так молотком не выколотить. Сам знаешь, как бывает.

Когда автобус дальнего следования привез Хантера в Бостон, там шел дождь — судя по всему, уже давно. Человек за стойкой окинул его быстрым взглядом и дал адрес.

— "Курьер", — сказал он. — Почти все, кто ненадолго, останавливаются там.

Хантер уже добрался до гостиницы "Курьер", а дождь так и моросил не переставая. Рядом с гостиницей, стоявшей в начале Чандлер-стрит, почти все соседние здания казались карликами. Хантер подставил лицо под струйки дождя, надеясь хоть немного взбодриться. В автобусе всю дорогу работала печка, а окна были наглухо закрыты. Раньше он любил дождь — влажный воздух не позволял угольной пыли подниматься по шахтному стволу и вероятность взрыва уменьшалась. Но последние годы, когда пошла открытая выработка, дождь намывал сверху потоки глины, к которым примешивалась кислота. Теперь он не радовался дождю.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, гласила табличка над столиком в вестибюле, КУРИТЬ, ГОТОВИТЬ, ПРИНИМАТЬ В НОМЕРАХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. Толстяк, с виду иностранец, оторвался от портативного телевизора и дал Хантеру бланк. Добравшись до клеточки "Профессия", Хантер на минуту задумался, потом написал: "Шахтер". Он просил месяц, но его отпустили

только на две недели. Дескать, не то найдем на твое место другого. Профсоюзник сказал: в контракте на этот счет никаких пунктов нет. Так что особо не задерживайся.

Его поселили на четвертом этаже, лифт не работал. Хантер немного запыхался, пока дошел до своей двери.

В номере была кровать, столик с исцарапанным зеркалом, раковина, лампа и деревянный стул. Из раковины пахло мочой. Хантер сел в углубление в центре кровати, достал из чемодана полотенце, вытер волосы. Давно он не останавливался в гостинице. Да много ли вообще гостиниц он повидал на своем веку? Над дверью висела небольшая картина: Иисус на поляне пасет овец. Что-то там было написано, но с кровати не разобрать. Иисус был очень молодой и улыбался.

Хантеру вдруг подумалось: как там братья шахтеры, как они без него? Он скучал по ним. Вот те на! Когда он уезжал, ему и в голову не приходило, что такое возможно. Какие-то угрюмые шахтеры — задиры и сквернословы, — а он по ним скучает. Они-то без него, без Хантера Макнатта, как-нибудь обойдутся. Мир не остановился, когда уволили Рея, не остановится и теперь. Будет, как и раньше, бежать вверх угольная речка, разыграют спектакль на выборах. Как с ним, так и без него.

Последний раз Хантер останавливался в гостинице два года назад. В Бекли, гостиница "Кинг коул". Лифт скрипел и трясся, ковер протерся до дыр, горячей воды не было часами. Доктора сказали: со дня на день, а ночевать в больнице запрещалось. Хантер оплатил гостиницу за неделю вперед и каждый день звонил Хоби, когда парень возвращался из школы.

"У матери все нормально, — говорил Хантер, — целыми днями спит, болей нет". Он следил, чтобы в голосе его не прозвучали нетерпеливые нотки. Не показать, что он ждет не дожидается, когда все это кончится. "У нее все нормально, сынок. Завтра позвоню в обычное время".

Все началось с Хоби, по крайней мере было замечено после его появления на свет. Молли никак не могла поправиться после трудных родов, врачи говорили, что у женщин это — нормальное явление. Хантер был поражен, когда ему объяснили, как роды влияют на организм женщины. Молли стала терять в весе. Потом начались кровотечения. Как месячные, только всегда неожиданно.

После свадьбы все свои религиозные картинки она убрала подальше, а тут вытащила их на свет божий и развесила на стенах спальни. Хантер смолчал, но, когда она снова прирастилась по воскресеньям молиться в церкви, ходить туда с ней он не стал. "У меня своя вера", — заявил он.

Не сказать, что жилось прекрасно, но жить было можно. Он

работал, росли ребяташки. Но иногда у нее начинались боли, и, сидя посредине кровати, крепко сцепив руки на коленях, она начинала медленно покачиваться и петь. Чем больнее было, тем громче она пела, начинала почти шепотом, но потом Хантер ясно слышал ее даже на переднем крылечке. Наверно, Молли думала, что звук прогонит боль. Если в эти минуты громкого пения он заходил, она просто смотрела на него неподвижным взглядом, а сама продолжала качаться и петь.

Молли все теряла в весе. Он повез ее в Бекли на обследование, и там поставили новый диагноз. Рак, сказали врачи, и то и дело предлагали новые средства для его лечения. Хантер и Молли разговаривали с врачами порознь, уж очень она стеснялась.

Он не мог видеть, как она тает, как сжимает зубы от боли, и плакал сам, но никогда не показывал ей этого. Ни ей, ни сыновьям. От ее взглядов и молитв он чувствовал себя виноватым. И не жаловался, когда приходилось платить за лечение, вкалывал сверхурочно, чтобы заработать на новый курс лечения в Чарлстоне.

Годами врачи, годами священники. А Молли становилась все тоньше, все больше ожесточалась — в доме поселилась болезнь. Весь дом наполнился ее страданиями, ее Иисусом, и вот уже сыновья стали как можно позже возвращаться из школы, с тренировок, и Хантер перешел работать в вечернюю смену. Молли поднималась в десять, ложилась в восемь. Они готовили себе сами, все больше яичницу, картошку, бутерброды с арахисовым маслом. Разговаривали всегда полупшепотом, в доме царил полумрак. И так до самого конца, когда Молли поместили в палату интенсивной терапии, а Хантер снял номер в гостинице "Кинг коул". Молли лежала на кровати съезжившись, кожа лица высохла, натянулась, Хантеру показалось, что перед ним — старая обезьянка.

— Молли? Не спишь?

Глаза ее давно утратили осмысленное выражение, помутнели от лекарств — чего ей только не скармливали!

— Хантер!

— Как ты?

Зрачки — две крапинки в мутной голубой влаге.

— Все плывет. Только и чувствую себя, когда болит. Внизу.

— Хоби звонил, передавал привет. — Хантер прикрыл одеялом бугор ее плеча. — Боишься?

— Нет. Больше не боюсь. Хантер, выполнишь мою просьбу?

— Конечно.

— Открой окна.

Окна были широко распахнуты.

— Конечно, милая.

Она говорила каким-то тонким, далеким голосом, будто заблудилась в густом тумане и звала его оттуда. Хантер сидел

подле нее, пока глаза ее не закрылись от усталости. Вечер он провел со стариками у телевизора в гостинице "Кинг коул", потом пил в номере теплое пиво. В один из таких вечеров она и ушла. Ушла, скрылась в тумане.

Когда Хантер откинул покрывало, на простынях оказался песок, и он смахнул его ребром ладони. За стенкой кто-то кашлял, и слушать это было невыносимо. Долгие изнурительные спазмы с самого дна легких. На шахте ребята про такой говорят: "Кашель с двадцатилетним стажем".

Хантер открыл телефонную книгу. Записал, как связаться с полицией, куда звонить насчет розыска пропавших. Он начнет поиски с утра. Полистал страницы — вдруг у Дарвина есть зарегистрированный номер телефона, тогда можно узнать и адрес. Увы — в бостонской телефонной книге после Макнари сразу шел Макнот. Хантер открыл окно — почувствовать запах дождя — и начал распаковывать чемодан. Разложил на столике фотографии. Прошлогодняя баскетбольная команда, Хоби обведен красным карандашом, держит мяч. Фотография из личного дела девятиклассника — ее дал Хинкл, когда Хантер зашел сообщить в школу. Хоби и сейчас выглядит ничуть не старше. А этот снимок дала Делия Катлип — Хоби и Делия держатся за руки во время экскурсии в Харперс Ферри. Вот и все, что он может показать. На всякий случай он прихватил и фотографию Дарвина — в парадной форме, острижен под новобранца.

Человек за стенкой, казалось, вот-вот задохнется. Кашель давно стал частью жизни Хантера. Дома у мужчин это был как бы второй язык общения, а где-нибудь в церкви во время службы то и дело слышались эти закодированные послания, сухие, отрывистые. На них уже никто не обращал внимания. Но тут эти знакомые звуки воспринимались иначе, в кашле за стеной была какая-то безысходность. В гостиничном номере кашлял одинокий человек.

Хантер свернул за угол, прошел мимо греческого и ливанского ресторанчиков, номера домов стали приближаться к нужной цифре. Он еще раз проверил адрес Дарвина.

Едва ли он их застанет. Дарвин писал в открытке, что здесь ему удобно забирать почту, только и всего, к тому же дело было год назад. Он просил выслать все бумаги — для установления его личности, писал он. Хантер отпер тогда несгораемый ящик, в котором у них хранились важные документы, и отправил бумаги Дарвина заказным письмом. Что ж, вольному воля. Документ о демобилизации, аттестат о сдаче экстерном экзаменов за среднюю школу, свидетельство о рождении. Еще подумалось: если Дарвин решил уничтожить все следы и исчезнуть, тут ничего не поделаешь. Сын стал взрослым. Он прошел войну.

Дверь открыла девушка в джинсах и мужской майке, наде-той на голое тело. Сквозь майку просвечивали соски, не смот-реть на которые было невозможно. Хантер не знал, куда девать глаза. Девушка была босая, и все ногти на ногах были выкраше-ны в разные цвета.

— Его здесь нет. Он здесь не живет, — ответила она.

— Но вы его знаете?

— Знаю, кто он.

— Я его отец, — представился Хантер, потом добавил: — Так что все нормально.

Девушка смотрела на Хантера, а он — куда-то поверх ее пле-ча. Она подвинулась, загородив комнату от его взгляда, и чуть потянула на себя дверь. За ее спиной слышалась какая-то возня, свистящий шепот. Сделав над собой усилие, Хантер посмотрел девушке прямо в глаза. Белки у нее были желтоватые.

— Вы знаете, где он живет?

Девушка немного приоткрыла дверь.

— Скорее всего, по-прежнему в Нью-Гэмпшире. Ага, от кого-то я это слышала. Подался на какую-то стройку, туда как раз народ зазывали. Вроде в апреле, он все хотел поближе к горам.

— А его адреса у вас нет?

— Не-а. Он небось и сам не знал, где окопается. Да я его и не знала толком, так, приходил иногда. Ведь он... сами знаете ка-кой. Слова не выжмешь. А зачем он вам?

Разве мало, что он — отец Дарвина!

— Видите ли, у меня есть другой сын, младший, я его ищу. Ну и решил, может, он встречался с братом.

— Брат. — Девушка шлепнула себя по лбу. — Черт, а ведь бы-ло такое! Его брат! Он приходил.

— Когда?

— С неделку тому назад. Искал Рядового, кто-то с ним го-ворил, точно не помню.

— Кого? Кого искал?

— А-а, Рядового. Это его кличка, все его только так и звали, Дарвина вашего. Из-за армии и все такое.

— А кто с ним говорил?

— Понятия не имею. Неделю как дело было, я же говорю, а тут настоящий проходной двор! Не помню.

— Может, спросите у кого-нибудь? Пожалуйста! — Хантер вдруг заторопился, будто Хоби ушел всего за квартал и с каж-дой минутой удаляется все дальше и дальше. — Может, кто-ни-будь помнит?

— Сейчас. Нет проблем. — Девушка повернула голову назад и крикнула: — Эй!

— Чего? — ответил мужской голос.

— Помнишь, неделю назад кто-то говорил, что приходил брат Рядового. Кто это был?

— А кто спрашивает?

— Его отец. Их отец. Так кто?

— Волк.

— А точно? Не путаешь?

— Точно, он еще стал распространяться насчет того, что парень был в армейской куртке, а его при виде военной формы начинает трясти. Помнишь? Волк, точно.

Девушка повернулась к Хантеру.

— Это был Волк.

— А он здесь живет? Как с ним поговорить?

— Господи, да почему я знаю? Волк просто застрял у нас на время, а сейчас махнул на побережье. Письмо ему не отправишь, ничего не передашь.

— А не знаете, сказал он парню насчет Дарвина? Что он в Нью-Гэмпшире?

— Да нет. Откуда? Волк? Да его три раза спроси, как его зовут, получишь три разных ответа. Его и не было, когда Рядовой уехал. И вообще он смурной. Как хоть он сообразил кому-то сказать, что приходил брат Рядового! Хотела бы вам помочь, да вроде не получается.

Она переступила с ноги на ногу, пожала плечами. Спасибо, сказал Хантер. На улице спросил, как добраться до полиции. Оказалось, она рядом с его гостиницей. Хоби наверняка здесь, в Бостоне.

— Я ищу сына.

Все они ищут сына. Или дочь. Четыре, пять лет назад больше жены охотились за мужьями, которые ударялись в загул, либо им просто осточертели бесконечные счета и семейные свары, вот они и смылись попытать счастья где-то в другом месте. Но сейчас сбегает детишки, родители ищут своих детишек. Запросы со всей страны — из пригородов Бостона, из Нью-Йорка, с Западного побережья, и все хотят, чтобы их детишки вернулись. А почему хотят? Ведь узнаешь, какие эти детишки фортеля выкидывают, с ума сойдешь.

Родители делились на две группы. Первые причитали: "Где я совершил ошибку?" — и хотели поплакаться у тебя на плече, вторые обращались с тобой, как со слугой. Будто ты виноват, что у них сбежал ребенок. Еще неизвестно, с какими хуже иметь дело.

А этот папаша — сразу не поймешь, что за родитель. Он просто сидел и тяжело дышал, будто не мог дожидаться лифта и отмахал несколько этажей по лестнице. Лифт и правда ходит медленно, даже по воскресеньям. Папаша сидел, и не похоже было, что он сейчас начнет рыдать или, наоборот, командовать, не сомневаясь, что все здесь будут по струнке ходить.

— Я ищу сына, — повторил он.

Малкэги заправил бланк в пишущую машинку.

— Сначала давайте заполним это, — сказал он. — Сразу станет ясно, есть у нас что-нибудь на него или нет.

Папаша был человек жилистый, с виду суровый, хотя и не напирал. Одна рука как-то странно висела, а нос был сломан минимум один раз. Виски серебрились сединой, зубы знавали лучшие дни. Он был одет, как человек, только что оттрубивший смену и еще не смывший с себя грязь. На все вопросы о сыне отвечал прямо, с каким-то забавным акцентом. Фамилия, пол, раса, возраст, вес, рост, волосы, глаза, цвет лица, особые приметы, как одет, носит ли украшения. Армейская куртка — это хорошо, но, если парень вправду решил пуститься в бега, он давно от нее избавился. Семнадцать, белый, волосы темные, глаза голубые, рост примерно пять футов шесть дюймов, вес примерно сто двадцать пять фунтов. У папаша все было записано на листочке, имелись и фотографии. Выходило, что он толком не знает, почему парень смылся. Малкэги решил эту тему пока оставить. Папаша рассказал про старшего сына, ветерана вьетнамской войны, и почему младший может оказаться в Бостоне.

— А на старшего сына, на Дарвина, вы не хотите заполнить бланк?

— Нет. Пожалуй, нет.

— Почему?

Папаша подумал.

— Мы перестали понимать друг друга, — произнес он. — Можно так сказать. На многое смотрим по-разному. Если он захочет повидааться, адрес знает.

— А с Хоби ваши взгляды в основном совпадают?

— Не знаю, — сказал он, — но хочу это выяснить.

Да, все это очень интересно, но поди его найди, этого Хоби. Приводов у него нет, ни по каким делам не проходил, судя по всему — вполне толковый малый и, если захочет, запросто уйдет на дно и не будет привлекать ничьего внимания. А отцу не позавидуешь. Мужик он как будто неплохой. Родители вроде него, работяги, обычно ищут своих детей, чтобы их как следует наказали. Пусть полиция сделает то, с чем не справились они сами. Но этот папаша... похоже, он действительно ищет сына, чтобы выяснить с ним отношения. Обычно стоит человеку войти, и ты его как будто узнаешь — таких до него были сотни. Но сейчас в комнате происходило что-то необычное. Впрочем, ладно, переживать сверх меры, принимать все это близко к сердцу нельзя — отразится на работе. А свою работу Малкэги делал хорошо.

Он проглядел папку со сведениями об арестах. Много времени на это не ушло — надо было пролистать записи за последние две недели. Ничего нет. Был какой-то неопознанный покойник, но другого цвета. Получается, если парень не зарегистрируется в телефонной книге или не совершит преступление, найти его практически невозможно. Малкэги выложил папаше все как есть:

— Значит, дело обстоит так. Теперь он у нас на заметке, и стоит ему где-то попасться или даже проходить свидетелем, мы

сразу об этом узнаем и сообщим вам. Понимаете, у нас некому искать людей, которые не хотят, чтобы их нашли, не хватает сотрудников. Город большой, в нем тысячи детей. Но кое-что вы можете предпринять сами. Первым делом обратитесь в полицию Кеймбриджа. У многих беглецов вроде вашего маршрут кончается именно в Кеймбридже, а это вовсе не часть Бостона, как ошибочно полагают приезжие. Это совсем другой город. Постойте там на Гарвард-сквер, постойте и приглядитесь. Если захотите, покажите людям эту фотографию. Мало ли что! Там много болтается таких — детишек, которым некуда податься. Можете дать объявление в какой-нибудь тамошней подпольной газетенке. Там их продают прямо на улицах, купите, и продавцы вам скажут, как поместить объявление. В разделе "Личное", знаете, там часто печатают нечто вроде "Вернись, я все прощу". Будь он постарше, я бы посоветовал вам поискать на бирже труда или в очереди за пособием, но, боюсь, ни там, ни там ему делать нечего. Нам звонить не надо, только если переедете, как что появится, мы дадим вам знать в ту же минуту. А может, он решит, что в большом мире не так уж прекрасно, и вернется сам — надейтесь.

Папаша все сидел, из него будто выкачали воздух и внутри была лишь пустота. Он словно ждал еще чего-то, но что ему еще скажешь? Ничего стоящего, во всяком случае. Малкэги сунул бланк в папку с последними заявлениями.

— А вообще-то всякое бывает, — вдруг, сам себе удивляясь, заговорил Малкэги. — Иногда они такое выкинут — только держись. Был у нас случай недели две назад, просто сказка. У родителей туговато с деньгами, в доме все время свары — посылать их старшего учиться или нет. Из-за этих денег там просто житья не стало. Вы рабочий человек, знаете, как оно бывает. В общем, этот старший взял и сбежал. Прошло пять месяцев, пока они решились к нам прийти. Боялись: вдруг он какой-нибудь травкой промышляет, в газетах-то об этом все время пишут, вот и обрубил концы. Найти-то его они хотят, но не в тюрьме. Таких родителей хватает, боятся нос сунуть в полицию. Ну, мы все записали, ничего не нашли. Дело вроде безнадежное, след давно остыл. Ничем помочь им не можем, у меня на душе кошки скребут из-за этого. Вдруг, через несколько дней после их визита к нам, они получают от него письмо. И чек. Оказывается, парень по липовым документам — приписал себе пару лишних лет — устроился таксистом и сколотил достаточно, чтобы заплатить за первый год учебы, да еще кое-что осталось выслать родителям. Он, стало быть, не мог слушать, как они все время грызутся из-за денег. Ну и решил слезть с отцовской шеи. Знать о себе не давал, потому что гордость не позволяла. А когда малость подзаработал, показал, что способен обеспечить себя сам, объявился. Так что эти детишки иногда подбрасывают нам сюрпризы.

У папаши явно отлегло от сердца, по крайней мере задышал он ровнее.

— Вот, — сказал Малкэги, — а кто сбегает будто бы насовсем, но на самом деле вздыхает с облегчением, если его поймают. Они ведь жуть какие гордые, эти детишки. Бывает, неохота такому признаться, что свалял дурака, сбежав из дому, неохота вот так взять и вернуться — он разобьет какое-нибудь окно, чтобы мы его забрали, а уж потом отправили домой. Я на вашем месте подождал бы так убиваться. Может, он не меньше вашего хочет, чтобы вы его нашли.

Папаша вроде бы совсем отдышался, поблагодарил Малкэги за помощь и совет, сказал, что через день-другой позвонит и оставит свой постоянный адрес. Малкэги слышал, как он дошел до лифта, подождал немного, потом пошел вниз по лестнице.

Сидевшая тут же секретарша спросила: где это он откопал историю насчет парня, который пошел крутить баранку, чтобы заработать на учебу? Ну, выдумал, черт возьми, сказал Малкэги, но кому от этого хуже? Папаша-то, бедняга, совсем было скис. Он не обязан целый день бубнить одно и то же. Иногда надо оставить человеку хоть каплю надежды, даже если надеяться и не на что.

Кеймбридж оказался городом детей. Побывав в полицейском участке, Хантер занял пост под навесом газетного киоска в центре площади Гарвард-сквер. Дождь почти унялся, и со всех сторон мимо него шли дети, отряхивая с волос влагу. Дети, упакованные в кожу, шелк и велюр, в хлопчатобумажные робы. Дети с волосами до пояса и бородами, с разрисованными лицами, в ожерельях, высоких сапогах и перьях. Слишком много детей. Казалось, это было другое государство, другая раса. У них были свои магазины, свои газеты, свои радиостанции, вещавшие из витрин магазинов. Завидев армейскую куртку, Хантер заволновался и привстал на цыпочки, вглядываясь во фланирующую под небом толпу, но вот снова мелькнула такая же куртка, и еще одна, и еще, у него зарябило в глазах от детей, от их униформы, дети шли по городу хозяевами. Как их много, как много, попробуй тут выбери своего! Хантера ужаснуло другое: если он все-таки увидит Хоби, сейчас, на этой улице, он не найдет, что сказать сыну. Дети шли мимо, целый город детей, а он стоял растерянный, одинокий, как никогда в жизни.

Секретарша просунула голову в дверь и сказала:

— К вам мистер Макнатт, сэр.

Пол в кабинете был устлан ковром, стены отделаны панелями под дерево. На столе табличка с надписью "Мистер Арнольд".

— Садитесь, — пригласил хозяин кабинета, не отрываясь от книги.

Хантер сел, расправил плечи, чтобы разгладить складки на выходной куртке.

— Итак, мистер Макнатт. Чем могу быть полезен?

Мистер Арнольд был в пиджаке шоколадного цвета, розовой рубашке и коричнево-красном галстуке. На глазах — дымчатые очки. Вроде бы видишь его глаза, а вроде и нет.

— Я звонил на днях, — сказал Хантер. — Я друг Рея Уилкокса.

— Кого?

— Рея... понимаете, Рей был в армии вместе с вашим братом...

— С каким?

— С Митчеллом.

— С Митчем. Да. Теперь вспомнил, секретарша мне что-то такое говорила. Значит, вы по рекомендации Митча?

— Ну, не то что по рекомендации. Мой друг Рей написал Митчеллу, что я буду в Бостоне и могу позвонить, я и позвонил. А Митчелл сказал, что мне нужно идти прямо к вам.

— Так и сказал? Ну и с чем же вы пришли?

— Мне нужна работа. — Неизвестно почему Хантеру вдруг стало неловко. Как в тот раз, когда он пришел купить гигиенические подушки для Молли, а в открытом доступе их не оказалось. Хочешь не хочешь обращайся к кассирше.

— Вам нужна работа, поэтому мой брат Митчелл послал вас сюда. — Мистер Арнольд чуть улыбнулся и покачал головой. — Стоит немножко приобрести вес в профсоюзе, как люди начинают думать, что ты — член правления или еще бог знает кто и можешь раздавать работу направо и налево. Что у тебя по части найма все тузы на руках, как у большого начальства.

— Так вы не имеете отношения к найму?

Мистер Арнольд расплылся в улыбке.

— Ну, этого я не говорил, правда?

— Я не собираюсь лезть через чью-то голову, — сказал Хантер. — Готов, как все, пойти в отдел персонала или куда у вас полагается.

— Отдел персонала. Ха. Вы можете разбить в отделе персонала палатку и поселить туда свою семью — толку не будет никакого. В отделе персонала работу не раздают. Они счастливы, что у них самих есть работа — перекладывать бумажки. С работой, друг мой, очень туго.

— С ней всегда туго. Я не за подаванием пришел.

Мистер Арнольд улыбнулся.

— Не сомневаюсь. Но многие приходят именно за этим. Хотите знать, почему с работой туго? Из-за всей этой белиберды насчет равных возможностей. Хозяева говорят нам, что вынуждены набирать всяких бестолочей прямо с улицы, а ведь у них ни опыта, ни рабочего стажа, ни соображения, но надо выполнять квоту. Послушать хозяев, они тут ни при чем, это распоряжение федеральных властей. А фактически хозяева в сговоре с правительством, им лишь бы развалить профсоюз. Понимаете меня?

— Не совсем.

— Этот сброд, работнички, взяли себе в голову, что власти на их стороне, а мы им ни к чему, — вот какая штука. Нам приходится принимать их в профсоюз, а он им до лампочки, как голосовать, так они суют нам палки в колеса.

— Вон что.

— Да, — повторил мистер Арнольд, — с работой туго. Но если кого и винить, так это бездельников, любителей сачкануть.

— Я не собираюсь сачковать.

— Разумеется, нет. Вас что, уволили?

— Пришлось уйти с работы. По семейным обстоятельствам.

— По семейным обстоятельствам? А назад нельзя?

— Я работал в Западной Виргинии. А мне надо быть здесь.

— Сталевар?

— Нет, шахтер. Был шахтером.

— Да-а, работенка. Темно, как в каземате, сыро, как в болоте? — Мистер Арнольд оглядел его с головы до ног. — Насколько я знаю, вкалывать в шахте — не подарок. Тяжелее и не придумаешь.

— Тяжеловато.

— Угу.

— Я вот бланк заполнил, который мне женщина дала...

— А-а, бог с ним, с бланком. Это у нас вместо журналов, секретарша дает бланк заполнить, чтобы было чем заняться, пока ждешь.

Хантер поерзал на стуле, думая, как вернуть разговор к интересующей его теме. Пока не ясно, сможет этот тип помочь с работой или нет.

— Мой брат Митч, он на государственной службе. Выдача лицензий. Сел на это место сразу после войны, зарплата у него с тех пор, само собой, выросла, но работа все та же. Он застрял. А ведь человек с его положением, который выписывает лицензии для штата, может немного позаботиться и о себе. Вы меня понимаете? Но Митч... возможности сами плывут к нему в руки, можно сказать, гонятся за ним, а он их будто не видит. Между тем каждый отхватывает от общего пирога свой кусочек, это теперь так естественно, может, даже предусмотрено, как чаевые для таксистов, а ему хоть бы хны. Строит из себя ангела, не желает, видите ли, мараться. Потому и застрял. И вообще, — заключил Гэс Арнольд, — мы с ним в последнее время не особенно...

Видимо, мистер Арнольд намекал, что разговор окончен. И что любой друг Митчелла — ему не друг.

— Очень жаль... — сказал Хантер. — Я в общем-то хороший работник и готов начать с самых низов...

— Разумеется, вы хороший работник. — Мистер Арнольд снова улыбнулся. Когда он улыбался, показывались зубы, частично посеревшие, он тотчас вспоминал об этом и прикрывал их

губой. Наверное, много работал над своей улыбкой. — Во всем мире их пруд пруди, хороших работников. Скажу откровенно — я сейчас завален хорошими работниками, они скоро у меня из ушей полезут. Племянник моего босса уже год как кончил школу, ему нужно что-то постоянное, а работник он хороший. У председателя комитета профсоюза в Восточном Бостоне есть брат, того только что уволили с рыболовного судна. Да куча людей, и все знают какого-нибудь хорошего работника, они приходят ко мне и говорят: слушай, Гэс, ты можешь его устроить? Прикинь, что и как.

— А вы к этому не имеете никакого отношения.

— Напрямую нет. Но люди идут ко мне не случайно.

— Значит, все-таки имеете?

— Видите ли, вы, конечно, можете пойти на какой-нибудь из наших заводов и заполнить в отделе персонала анкету, но там и пальцем не шевельнут, пока мы не дадим добро. А с добром дело туго. На меня со всех сторон давят, всем нужна работа, а тут приходите вы, прямо с улицы, и друг вашего друга не очень ладит со своим братом, не бог весть какой шишкой в профсоюзном управлении...

Хантер начал с извинениями подниматься со стула.

— Э-э, да вы поймите меня правильно. Не спешите. — Хантер снова сел. — Кое-каким влиянием я пользуюсь. Иначе стал бы я десять минут вас мурыжить... да, я могу убедить кое-кого в правильности моей точки зрения. Просто доводы должны быть достаточно убедительными.

— Какие же доводы?

Мистер Арнольд покачал головой.

— Вопрос не в том, какие, друг мой. Доводы те же, что и всегда, те самые, без которых перестанет крутиться наш шарик. Так что вопрос не в том, какие, а сколько.

— Вон что. — Хантер намеренно затянул паузу, просто смотрел на Арнольда, стараясь пробиться за его дымчатые линзы. Он поднялся. — Вас нужно подмазать.

— Не удивляюсь, что Митч послал вас ко мне, он решил, что без вашего визита мой день будет неполным. Погодите минутку, я объясню вам, как у нас обстоят дела. Может, кое-что намочаете на ус. — Арнольд взял со стола книгу, которую читал, когда Хантер вошел, и показал ему обложку. "Как выигрывать в карты" — было написано на ней покерными фишками поверх пикового короля и бубновой восьмерки. — Вы когда-нибудь бывали в Лас-Вегасе, Макнатт?

— Нет.

— Ну разумеется. Вы были там, где никогда не идет дождь и не светит солнце, верно? Что ж, я тоже никогда не видел Лас-Вегаса, все было как-то не по карману, а сейчас для работников нашего профсоюза заказали рейс, и я собираюсь слетать. Так вот, в Лас-Вегасе, если играть с умом, можно выиграть большие

деньги, но главное — не тушеваться, иначе делать там нечего. Хочешь получить куш, сначала будь любезен раскошелиться. Ну, я кое-что отложил, подучился малость, можно считать, к бою готов. Я схожу с самолета, прямиком туда, где идет большая игра, и выкладываю на стол пять сотенных. И это лишь начало, это только моя плата за вход в дом, где играют по-крупному. Этим денежкам я говорю: прощайте! Чтобы получить, нужно сначала истратить. И я думаю, что эта сумма — пятьсот долларов — как раз то, что нужно для человека, который приходит устраиваться на работу прямо с улицы, без опыта и серьезных связей, то, что нужно, чтобы к нему отнеслись с пониманием.

— Я не играю в азартные игры, — сказал Хантер.

Арнольд положил книгу на стол.

— Это видно. Вы человек не азартный. Ну хорошо. Может, это не самый удачный пример. Давайте по-другому. Вот вы хотите у нас работать, тут деньги — уже не вопрос азарта. У вас есть дети, верно? Вижу, есть, и прекрасно знаю, сколько им всего нужно, почему нынче конфетки, почему школа. Все они сейчас хотят в колледж, чтобы набраться ума-разума, да поглядывать на старика отца сверху вниз. Это все мне известно. Так вот, наши работяги заколачивают будь здоров. И если попадете к нам, будете купаться в деньгах.

Это никакой не азарт, а просто-напросто вложение. Слышали о капиталовложениях? Именно так на это и надо смотреть. Вот вы — рыбак, вы покупаете сеть, берете внаем лодку, платите за топливо и все такое, верно? Или продавец фруктов, торгуете с лотка клубникой, вам нужно откуда-то взять товар, нужно заплатить за место. Улавливаете? Сначала выложи, а уже потом работай и получай свое.

Почему же с местом у нас — а оно явно прибыльное, и со сверхурочными у нас хорошо, и привилегий хватает, — почему с ним должно быть иначе? Да вы через пару месяцев этот вклад компенсируете! Через неделю-другую, как разделаетесь с рентгеном и медосмотром, уже начнете грести монету. Все равно что профсоюзные взносы, только платишь их вперед, верно? Следите за моей мыслью?

Арнольд улыбнулся, ожидая, что Хантер снова сядет.

— Пожалуй, не буду больше отнимать у вас время, — сказал Хантер. — Знай я, какие у вас тут порядки, я бы не пришел.

Он повернулся к двери.

— А-а, ну-ну, попробуйте по-другому, — крикнул ему вслед Арнольд. — Поглядим, чего вы добьетесь. Я вернусь из Лас-Вегаса сразу после Нового года. Передумаете — я на месте.

Возвращаясь в метро, Хантер взял себе на заметку: уладить вопрос с рентгеном. О рентгене ему напомнил Арнольд, сам он совсем упустил это из виду, когда решил устраиваться на рабо-

ту, чтобы остаться здесь и продолжать поиски Хоби. Надо написать доктору Ирли, врачу их компании, и никаких проблем не будет. Рентгеновский аппарат Ирли был знаменит тем, что категорически не замечал никаких легочных заболеваний. "Вдохни хоть мешок металлических опилок, — любил говорить Клитус Спайсер, — проглоти ломик и часы со светящимися стрелками — док Ирли все равно выпишет справку, что здоровье у тебя в полном порядке. Да что там, придешь к нему с одним легким, а у дока на снимке получится два, и оба как из магазина". Так что с рентгеном проблем не будет. А вот с работой... Надо отписать Рею и еще кое-кому насчет Арнольда, насчет того, что взяточники, оказывается, есть не только в профсоюзе шахтеров. Это же надо — пятьсот долларов!

Хоби. Найти его здесь не просто, прочесать Бостон и убедиться более или менее наверняка, что он, Хантер, испробовал все пути, — на это уйдет страшно много времени. Город большой, куда больше, чем кажется с первого взгляда, да еще Кеймбридж на этой стороне реки. И столько молодежи! У миссис Ханрахан, конечно, дешевле по сравнению с "Курьером", но, если он хочет еще поболтаться в Бостоне и вести серьезные поиски, надо устраиваться на работу. Пожалуй, стоит съездить в Нью-Гэмпшир, попробовать найти Дарвина, для этого надо брать напрокат машину. Опять деньги. Да, попасть к сталелитейщикам было бы идеально, платят там здорово, а в свободное время можно искать Хоби. Но устраиваться на работу за взятку — до этого он не унизится.

На платформе станции "Бродвей" мелькнула армейская куртка. Но пока Хантер протиснулся к окну, она уже исчезла.

Надо позвонить Малкэги, только из автомата. Миссис Ханрахан имела привычку сидеть рядом, когда ты говорил по ее телефону, а посвящать ее в свои дела незачем. Может, где-то полудни он снова выберется в центр, последит там до темноты за мальчишками.

Хоби.

Есть ли у него крыша над головой? Ведь сейчас и дожди, и холод. Как он, с новыми знакомыми или совсем один? Люсиль переслала ему весточку от Делии Катлип, да и сама черкнула несколько строк. Пожелала удачи и еще написала "бог в помощь". Да, именно так, а Хоби называла "твой сын". "Со спиной у Рея все то же, — сообщала Люси, — он хоть и не написал тебе, но все время беспокоится, как ты там. В клубе, который вы организовали (знаешь, о чем я), дела идут так себе. В шахте упала какая-то крепь и перешибла Керту Локли позвоночник..."

Сначала стало тяжело дышать. Не так, как обычно, когда просто не хватает воздуха — воздух был, но слишком горячий, обжигал кислотой. Тьма, обожженные легкие, он будто в ловуш-

ке, со всех сторон — стены. Он упирался в них, опалая ладони, обдирая их, понимая, что если не выкарабкается, то умрет. Потом почувствовал — кто-то сверху мешает ему. Льет вдоль стен ямы расплавленный свинец, обваривает ему кисти. Яма дьявола. Эти слова засели в мозгу, а жар все нестерпимее, душу сковывает страх, от боли хочется кричать. Яма дьявола. И тут — самая страшная мука — он понимает. Не видя, понимает, что свинцом его поливает Дар, это Дар хочет сварить его в яме дьявола заживо.

Хантер проснулся. Как всегда после кошмарного сна, весь в поту и едва дыша, плохо соображая, где он, боясь за Молли, и Хоби, и Дара. За себя.

Он сел, обхватил голову руками, и постепенно сознание вернулось к нему. Он ищет Хоби. Он в Бостоне, живет у миссис Ханрахан. И сегодня утром, через несколько часов, он начинает работать.

УПАКОВЩИК

Стаж не требуется, обычные обязанности, погрузка тяжестей, есть профсоюз. Обращаться в компанию по разделке мяса "Порчетта пэкинг", шоссе О'Брайена, 500, с 7 до 12.

Хантер обошел двадцать пять мест по объявлениям в воскресном номере "Глоуба", в колонке "Требуется". "Порчетта" по списку оказалась одной из первых, но было не похоже, что здесь что-то выгорит. Женщина в отделе персонала велела ему заполнить карточку. В ответ на его вопрос она со вздохом сказала: у них всего четыре вакансии, а заявлений уже штук двести. Он объяснил ей свои трудности с телефоном и сказал, что лучше позвонит сам, а не наоборот. Пожалуйста, ответила она, звоните в понедельник. Из всех женщин, которых он повидал за эту неделю в отделах персонала, она была самая обходительная.

Почти всюду, куда он приходил по объявлению, ему говорили: место уже занято. Несколько раз он услышал, что слишком стар для этой работы. А где-то обещали послать открытку, если выбор падет на него.

Когда он позвонил в понедельник, голос у женщины был усталый.

— Да, вакансии пока свободны. Две по крайней мере. Макнатт, говорите? Погодите, взгляну. Сейчас... ах, вот, Западная Виргиния. Слушайте, мистер Макнатт, пока я еще не чокнулась, со спиной у вас все в порядке?

— Да.

Вообще-то спина побаливала, но ничего серьезного, не то что у Рея.

— Можете начать в любое время?

— Конечно.

— Так. Если приедете как можно быстрее и разделаетесь с бумагами, думаю, мы вас возьмем. Представляете, двести пятьдесят человек с одинаковой квалификацией — и все ждут от тебя работы!

Когда он приехал, она сказала ему: два места отдали родственникам нынешних сотрудников, а оставшимися двумя босс велел ей распорядиться по своему усмотрению.

— Вы оказались первым, кто позвонил. Будь у вас домашний телефон, как у других, я бы просто закрыла глаза и выбрала двоих наугад.

Итак, с утра он начинает работать. Хантер снова лег, стараясь уснуть. Раньше яма дьявола снилась ему самое малое раз в неделю. Этот сон возник после того, как Дар вернулся и все ему рассказал, но со временем стал гаснуть и совсем исчез. И вдруг снова объявился, хорошего тут мало.

Хантер лежал в своей маленькой меблированной комнате и думал: будь на улице теплее, он открыл бы окно. Было тяжело дышать. Всегда начиналось с этого — не хватало воздуха.

В обеденный перерыв надо было спускаться в погрузочный цех и отмечаться на табельных часах, даже если ты никуда не выходил из здания. Почти все итальянцы из производственного цеха поднимались обратно в раздевалку и ели там, хотя внизу была закусочная со столами и торговыми автоматами.

На этой работе аппетит не разыгрывался так, как в шахте, и Хантер экономил, хотел побыстрее подкопить денег. Он сидел без обеда на деревянной скамье в раздевалке, прикрыв глаза и задумавшись. Вокруг него итальянцы выгребали содержимое своих бумажных пакетов, пили крепко пахнущий кофе из термосов и без усталости болтали. Они ели бутерброды — маленькие белые буханки, разрезанные пополам, а внутри — перец, сыр или ветчина без горчицы или майонеза. В другой руке — помидор.

Хантеру нравилось слушать, как они разговаривают, хотя порой и на непонятном ему языке. Нравилось, как они почти выпевают слова, обращаясь друг к другу, как орут во всю глотку, если спорят, однако тотчас же и отходят. Он сидел с закрытыми глазами, обтекаемый этими разговорами, а сам думал, в каком квартале еще поискать Хоби. Кажется, уже все облазил, ко всем обращался. Но вот гудел гудок, и все снова шли к табельным часам.

Особенно надрываться на работе не приходилось. Платили четыре доллара в час, это чуть меньше, чем на шахте, зато никакой опасности. Народ вокруг был ничего, а добираться всего минут тридцать, максимум сорок пять — на метро.

До конца дня оставалось еще полчаса, а он уже сделал всю работу и пошел к своему бригадиру, Джимми. Тот сказал: делать больше нечего, создавай видимость работы, да только помногу, чтобы не попасться. Хантер взял резиновую швабру, встал возле лужи с водой, чуть склонился вперед — как услышит, что кто-то поднимается по ступенькам или спускается по коридору, сразу погонит воду к стоку, будто он как раз кончает работу. Оттуда, где он стоял, были видны часы — надо убить еще двадцать минут. Самое плохое время дня. Филонить, делать вид, что вкалываешь, — Хантер это ненавидел. Он с удовольствием что-нибудь отнес бы, погрузил, но это значит начинать сегодня, а кончать завтра утром — здесь так не принято. Какое-то время он следил за секундной стрелкой, но от этого она словно стала двигаться медленнее. Он подумал, что приготовит себе на ужин. Прикинул, сколько у него будет денег после очередной полочки в пятницу, хватит ли на прокат машины. Пора ехать к Дарвину. Он подумал: работать здесь можно, вот только мастер Пулизи цепляется.

Кто-то стал подниматься по ступенькам, и Хантер погнал воду к стоку.

“Я тогда первый раз всерьез подумал, что могу умереть. На меня это прямо обрушилось. Тогда-то я все и решил для себя”.

А они в то лето думали: наконец-то Дарвин вернулся, навсегда. Живой, невредимый, как обычно спокойный, но все-таки немного другой. И вдруг его словно прорвало, он говорил без остановки целые сутки, изо всех сил стремясь донести до них, как это было. Чтобы они поняли.

“Мы смотрели телевизор. Сидели в этом бункере, зарытые в землю, а над нами летали снаряды. Я торчал там уже второй вечер, в стороне от базового лагеря. И у них там был телевизор, уж не знаю, как он работал, я в электронике не силен, но факт, что работал и по нему гоняли старые телефильмы. В тот раз крутили “Бонанзу”, любимый боевик. А сайгонцы, у нас над головами, то ли спят, то ли зону охраняют. А может, то и другое сразу. Командир наш уехал в базовый лагерь, значит, за главного пса остался младший лейтенант, малый примерно моих лет, он сидит, скрючившись, вместе со всеми и глядит с нами по ящику приключения Хосса, Маленького Джо и всей их компашки. И тут мы слышим... Сначала отдельные хлопки, будто стреляют вдалеке и не кучно — такая пальба бывает где-нибудь у гребня горы в первый день охоты на оленей. Младший лейтенант говорит: это снайперы, они всю неделю по вечерам стреляют, командиру наших сайгонцев такое не впервой, разберется. Только слышим: пальба все ближе, ближе, вот она уже прямо над нами, хлопают винтовки, захлебываются автоматы, а наши охранники что-то лопочут по-своему, орут во всю глотку. Такой грохот стоит,

будто сама ночь кричит криком, кажется, высунься наружу — в ту же секунду и нет тебя. Уж лучше залезай в пластиковый мешок и стреляйся — по крайней мере избавишь кого-то от лишних хлопот.

В общем, вскочили мы на ноги, кто-то схватился за оружие, и младший лейтенант спрашивает: что, мол, будем делать? Сам вроде принимать решение не собирается. Все молчат, но и наверх никто не рвется. Каждый про себя решил: подождем здесь и посмотрим, что будет дальше. Ну а я... по-настоящему испугался. Вот оно, думаю. Кого-то там снаружи, похоже, ранили, в горло — каждый раз, как он вопит, слышно какое-то бульканье. Вот оно. Противник наседает, кругом пальба, над головой топот, вот уже бегут прямо по нашей крыше, мы все слышим, а сами сбились в кучку, одной маленькой гранатой можно укокошить всех сразу, а по ящику полным ходом идет своя баталия. Тут до меня и дошло, что такое война. Я и телевизор смотрю, и к бою прислушиваюсь с одинаковым интересом. Думаю: если ты сидишь и смотришь "Бонанзу" и вдруг вбегают люди и убивают тебя на месте, значит, никаких правил нет, случиться может все. Так тебя убьют или иначе — один черт, какая, в конце концов, разница? И еще я сказал себе: если выберусь из этой заварухи — а в ту минуту этим и не пахло, — постараюсь остаться в живых любой ценой. Потому что умрешь ты героем или трусом — разницы никакой, все равно ты покойник. Умер ты за какую-то идею о свободе, которую тебе всучили, или за старый, затертый боевик. Главное, что умер. Вот об этом я и думал, пока сидел там в ловушке.

Вдруг стрельба прекратилась и кто-то стучится в люк нашего бункера. Мы — поджилки трясутся — едва не изрешетили его пулями. Но удержались. Оказалось, это командир наших сайгонцев. Их, говорит, малость потрепали, но его люди отбили атаку, и теперь все спокойно. Лейтенант выбрался самолично проверить и принять донесение, а остальные по очереди сходили в окоп по нужде, вернулись назад из духотищи, поболтали насчет всей этой кутерьмы и сели досматривать кино".

Миссис Ханрахан сидела напротив Хантера в своей сумрачной гостиной, ее здоровый глаз, следящий за Хантером, вращался, как у большой птицы. Хантер восторженно, когда она позвала его к телефону: слишком мало людей знает, что он находится здесь.

— Мистер Макнатт?

— Да.

— Сержант Малкэги из "Розыска пропавших". Мы говорили с вами в участке.

— Да. Я помню.

Хантер затаил дыхание.

— Мы нашли вашего сына.

— Да?

— Старшего.

Дарвина.

— Где? В Бостоне?

— Он в Нью-Гэмпшире, как вам и сказали. Я на всякий случай решил проверить тамошних безработных. Позвонил в отдел пособий, у них на это ушло какое-то время — там с электронной слабовато, — но в конце концов они нашли фамилию вашего сына.

— Среди безработных?

— Угу. Я решил, раз он бродит по стране, надо проверить, ведь в Нью-Гэмпшире в это время года работы не густо, думаю, а что, если он на пособии? На зиму многих увольняют, строительство замораживают. Так оно и оказалось — сидит на пособии.

— Вон что.

Миссис Ханрахан наклонила голову к плечу, чтобы лучше слышать. Сержант Малкэги дал Хантеру адрес, сказал, что номера телефона у них нет, а в телефонной книге Нью-Гэмпшира Дар не зарегистрирован. Насчет Хоби пока пусто. Он остается у них на записке, вот и все.

Хантер поблагодарил Малкэги. Потом миссис Ханрахан — за пользование телефоном, и она пожаловалась ему, что кто-то чересчур обильно расходует горячую воду. Счета за воду стали просто убийственные, разве одна за всем уследишь? Он еще раз сказал ей спасибо и, извинившись, поднялся к себе в комнату.

Итак, Дарвин нашелся. Может, и Хоби там, у него? Может, Дар стал каким был прежде и у них снова все наладится? Надо поехать и повидать его. Хантер вытащил маленькую электроплитку, которую пронес тайком от миссис Ханрахан, достал консервную банку с тушеной фасолью, луковицу, пару кусков теплого сыра и слегка трясущимися руками приготовил себе поесть.

Хантер сидел в баре Риордана на Восьмой восточной в Южном Бостоне и пытался напиться. Джимми Кирни предложил после работы сходить куда-нибудь проветриться, пошляться, глотнуть немного свежего воздуха. У миссис Ханрахан живут одни старики, они держатся друг за дружку, смотрят телевизор и стучат по радиатору, чтобы добавили тепла. На каждом этаже — всего один туалет. Услышишь, как спустили воду и открылась дверь, высунешь голову в коридор и увидишь — три или четыре старика уже стоят на стреме с туалетной бумагой в руках, готовые кинуться в туалет и запереться на крючок.

— Чего ты там забыл? — спрашивал Джимми. — Брось, сегодня пятница, деньги ты получил, а парня будешь искать в

выходные. Поехали, у меня возле дома уютный бар, пропустишь пару стаканчиков, малость развлечешься, а? Мешай дело с бездельем, не то сам знаешь, в кого превратишься.

Такого темного бара Хантер еще не видел. Единственным источником света был маленький телевизор в углу. Там шел "Остров Галлигана" и что-то было со звуком — телевизор скрипел и скрежетал старческим голосом. Никто его не смотрел, но никто и не предлагал Риордану его выключить. Они оказались бы в крошечной тьме.

У стойки бара сидели Джимми с Хантером и лучший друг Джимми Френсис Кафлин. И еще к ним подсел некто Старый Флинн. Френсис махнул Риордану, который шел к музыкальному автомату, и они заказали еще по одной.

— Вот он мог сказать за рабочего человека слово. А лицо у него — посмотришь, и все твои грехи врассыпную от страха.

— Знаю я, у кого такое лицо — лицо отважного мужчины, — заявил Старый Флинн. — У мистера Джона Льюиса.

— Это твой профсоюзный босс, да, Хант?

— Был когда-то. — Хантер пожал плечами. — В июне перебрался на тот свет.

— Упокой, господи, его душу, — сказал Старый Флинн. — Вот уж был мужичище. Помню, мы сожгли его чучело, в войну было дело. Он поднял своих шахтеров на забастовку, а нашим парням на позиции позарез был нужен уголь.

— Шахтеры и так убиваются, есть война или нету, — заметил Хантер.

— Это я знаю, и мистер Льюис — человек был прямой и честный. Просто надо выбирать, что важнее, и нам тогда, на позиции, казалось, что с выбором он дал маху. Великие и то ошибаются.

— Это точно.

— Они такие же люди. Порежутся — пойдет кровь, как у тебя или меня. Владыки мира могут ошибаться почище нас с вами. Люди они и есть люди.

Минуту они молча смотрели в свои стаканы. Фрэнк Синатра пел "Мой путь". Наконец Джимми нарушил молчание.

— Старый Флинн, дружище, — сказал он. — От этой мысли мне как-то не по себе.

Хантер оглядел зал — все углы в нем утонули во тьме. Сейчас тьма ему нравилась, будто плывешь ночью под водой, все вокруг тягучее, густое и серое. Даже шум из музыкального автомата был будто завернут в вату. Ничего острого, ранящего.

— В старые времена система работала с возвратом, — сказал Старый Флинн. — Отдаешь что-нибудь, но точно знаешь — что-то получишь взамен. И все в открытую, ты мне, я тебе. Если для своих людей не сделаешь, они тебя на первых же выборах спихнут.

— Оно и сейчас так же.

— Так, да не так. Люди-то какие стали. Я вообще почти никогда голосовать не хожу.

— А я на президентских выборах всегда голосую за кандидата победителя, — объявил Джимми.

— Везет.

— Везенье тут ни при чем. Я жду до самой последней минуты, смотрю, кто из них отхватывает банк, на того и ставлю. Мой голос все равно ничего не изменит, верно? Так чего лишать себя гражданских прав? Раз ты голосовал за проигравшего, выигравший тебе ничего не должен и нет у тебя никаких гражданских прав. С правительства ты и спросить ничего не можешь. Только раз я сомневался, когда схлестнулись Дьюи с Трумэном. Смотрю, вроде шансы у них совсем одинаковые, по газетам не поймешь, ну я и проголосовал за обоих.

— Как это тебе удалось?

— Знаешь, Хант, просто диву даешься, сколько в списках избирателей горемык, отдавших богу душу на десятом году жизни. Жуть сколько покойничков воскрешают раз в четыре года.

— Вообще мир катится к чертям, — вступил в разговор Френсис. — Читал про Калифорнию, про этих дегенератов? Про мэнсонов¹?

— При чем тут это?

— При том, Джимми, при том. Рушится все, на чем держалась жизнь. Система распределения должностей, церковь, семья — все приходит в упадок. В человеке вылезает наружу самое худшее.

— Это все наркотики, — сказал Старый Флинн. — Это они всех с ума сводят. Всех и вся. Я уже вообще ничего не понимаю. Помните Майка О'Дуайера? Так вот, его старшего сына схоронили. Из-за наркотиков. А старика Филли Долана помните, газетный киоск держал? Пырнули ножом — и насмерть. У какого-то наркомана на травку не было, он его и уколошил за горсть мелочи. Я в толк не возьму, ведь уже доказано — эта штука тебя убивает, выворачивает тебе мозги наизнанку, нет, все равно люди колются и курят эту дрянь. С ума посходили.

Старый Флинн недоуменно покачал головой, потом махнул Риордану — давай еще по кругу.

— Да, старина, ничто в этом мире не вечно, — сказал Джимми. — А не меняется что? Всегда есть смерть, налоги, всегда есть...

— Выпивка.

— Точно, всегда есть выпивка. Ваше здоровье, господа. Они выпили.

¹ Имеется в виду злодейское убийство актрисы Шарон Тейт бандой "Сатаны Мэнсона".

В бар вошла сестра Френсиса Хелен, она забралась на табурет между Френсисом и Хантером. Ей было под сорок, но фигурка еще стройная. Губы ярко накрашены, надушена, а одета чересчур шикарно и для бара Риордана, и для телефонной станции, где она работала и куда сейчас направлялась.

— Я теперь работаю в разные смены, — сообщила она Френсису, после того как он познакомил ее с Хантером. — Три раза в неделю выхожу к семи вечера, а еще два раза — к одиннадцати. Спать вообще некогда, но хозяева говорят, если не хочу работать в ночь, ничего другого они мне предложить не могут. Человек я маленький, жаловаться некому.

— Хелен несколько лет как овдовела, приходится самой на хлеб зарабатывать.

— А у меня еще и дети, — добавила Хелен, поворачиваясь к Хантеру, — две девочки.

Она словно извинялась.

— Так это же здорово!

— Так-то оно так, да иногда работы с ними невпроворот. — У нее была очень приятная улыбка. Только помада какая-то странная, прямо сороковые годы. — Когда я ухожу в ночь, оставляю девочек у их тетки, — добавила она, — а днем и когда не работаю, они дома.

— Ты потрудились на славу, Хелен Куин, — похвалил Джимми. — Девчушки у тебя — лучше не бывает.

— Спасибо.

Хелен отпила пива, и на стекле осталась красная полоска.

— Слушай, Хантер, — обратился к нему Джимми. — Ты не стреляешь?

— В смысле?

— В смысле охоты. Мы, может, через недельку устроим маленькое сафари под конец сезона. Поедем пострелять у границы между Вермонтом и Нью-Гэмпширом.

Как раз там Малкэги отыскал Дарвина. В очереди за пособием.

— Знаешь что, — сказал Хантер, подумав минутку, — охотиться — это вряд ли, а вот если вы меня подвезете, будет здорово.

— У тебя знакомые в тех краях?

— Сын.

— Другой, что ли?

— Угу.

— О-о! — воскликнула Хелен и просияла. — У вас есть дети?

— Угу.

— Хантер уже несколько лет вдовец, — заметил Джимми. — Сам их вырастил.

— Вам повезло, — сказала Хелен. — То, что сыновья. Наверное, большая поддержка в жизни.

— Угу.

Когда в ее стакане осталось совсем немного пива, Хелен собралась уходить. Соскользнула с табурета, и Хантер глянул на ее ноги. Для ее возраста — вполне подходящие.

— Извините, что выпила и сразу бежать, — сказала она, — но его величество телефон ждать не будет. Рада была познакомиться, мистер Макнатт.

— Я тоже.

— А почему, как Куина не стало, мы тебя совсем не видим, а? — Джимми подмигнул ей. — Или ты для нас теперь слишком хороша?

— Просто у меня есть дела поинтереснее, — поддразнила она, улыбаясь своей приятной улыбкой, — чем торчать в этом склепе с шайкой пьяных ирландцев.

Хантеру вдруг захотелось сказать, что у него тоже есть дела поинтереснее, но Хелен уже исчезла.

— Чудо, а не женщина, — сказал Джимми. — Просто чудо.

— Эх, до чего тяжело на этом свете одному! Бедная моя сестричка.

Старый Флинн поднял стакан.

— За дам.

Хантеру пришлось подняться в пять утра и вызвать такси, чтобы добраться до миссис Ханрахан, а уже там ждать Джимми Кирни — тот обещал подобрать его по пути в Вермонт. Джимми жил всего в полутора кварталах от Хелен, но ни она, ни Хантер пока не были готовы предать свои отношения гласности. Девочек Хелен оставила ночевать у тети Эгнис, сказав им, что у нее сверхурочная работа.

Хелен поднялась с ним, хотя он был против — у нее и так постоянный недосып. Лица у обоих после сна были помятые — ужас, а не лица. Хелен убрала вторую подушку в ящик для белья.

— С моими девчонками надо поосторожнее, — сказала она. — Такие глазастые, все углядят.

Хелен заглянула в спальню и туалет — не осталось ли каких следов.

— Девчонки, и Френсис, и Джимми, да и остальные все равно скоро узнают, — сказала она. — Если будет в том нужда. А сложится так, что нужды не будет — что ж, мы никому худа не сделали. — Хелен была очень практичная женщина. — Если кто и подозревает, так это тетя Эгнис. Конечно, Куин же был ее любимый племянник. Она еще в день нашей свадьбы что-то подозревала.

Хелен приготовила ему с собой поесть, хотя он просил ее не беспокоиться. Бутерброд она сделала вполне профессионально, разрезав буханку на две части по диагонали и завернув его на диво аккуратно.

— Я всегда собирала для братьев и сестер завтраки в школу, — сказала она. — Нас было девятеро, и это была моя обязанность. Однажды Френсису надоело каждый вечер кипятить бутылочки для детского питания, и мы с ним поменялись. Так его бутерброды никто есть не хотел. Пришлось нам снова поменяться. Я была самой старшей, эдакой мамочкой.

Хантер отвел ее в спальню, и Хелен скользнула под одеяло. Он опустился на колени у изголовья, и они гладили и ласкали друг друга, пока с улицы не раздался гудок такси. Хантер попрощался, обещал позвонить сразу, как вернется. Она пожелала ему удачи с Дарвином. Хантер поспешил к такси. Все-таки здорово, когда есть кому сказать "до свидания", по ком скучать.

На улице была темень, народу никого. Таксист выглядел усталым, словно ездил целую ночь. А воздух — теплый-теплый.

Мимо двери миссис Ханрахан Хантер прокрался на цыпочках. Она наверняка заметила, что два раза он не приходил ночевать, и не дай бог ее уродливая собачонка сейчас поднимет лай — тогда у миссис Ханрахан будет причина завести об этом разговор. От ковра на ступеньках пахло собачьей мочой и стариками. Хантер уже один раз жил в меблированных комнатах, сразу после армии, но то было совсем другое дело. Там хозяйничала бабушка Люсиль Уилкоккс, милейшая старушка восьмидесяти с лишним лет, которая привыкла к шахтерам, и от тебя требовались лишь две вещи: вести себя тихо и состоять в профсоюзе.

Хантер принял душ — ванная комната еще никогда не была в его распоряжении так долго. Обычно, если ты чуть задерживался, все старики включали краны у себя в комнатах, и душ мигом просыхал. Хантер переоделся и вышел на ступеньки перед домом. А вскоре на "рамблере" подкатили Джимми с Френсисом.

— А знаешь, что среди твоей бывшей братии поднялась небольшая заварушка? — спросил Джимми.

— Чего?

— В профсоюзе шахтеров. Я читал насчет выборов, в газете было — кажется, в среду утром. Этот малый Яблонски жуткую бучу поднял.

— М-мм.

— Нет, я хочу сказать: проиграл на выборах, причем разбили наголову, так и ведай себя достойно. А к чему нытьем заниматься: я, мол, особенно и не рвался, да и вообще все голоса были куплены заранее. Шахтерам-то от этого какая польза?

— Ну, может, в этом что-то есть.

— В смысле, что Бойл — мошенник? Ну, знаешь ли, тут ведь не в бирюльки играют. Одного профсоюзного лидера вон в тюрьму посадили, у другого, из профсоюза водителей, от до-

ма только фундамент остался. Так что простачкам тут делать нечего.

— Может быть.

— А ты политикой не занимался? До того, как к нам приехал?

— Нет. Почти нет.

— Я сам толком ничего не знаю, просто читаю газеты, так вот этот Яблонски разоряется насчет выборов, дескать, там дело нечисто.

Джимми впери́л взгляд в дорогу — они поехали через Нью-Гэмпшир по шоссе 89, — и Хантер вытянулся на заднем сиденье. Прикрыл глаза, пристроил голову поудобнее. Как он поступит, если найдет там только Дарвина, но не Хоби? Скорее всего, так и будет. Неприятно даже думать об этом.

— Это много для тебя значит, да? — спросила Хелен. — Поедешь в такую даль, а сам даже не знаешь, там ли он.

— Надо сделать все возможное. Даже если и надежды вроде мало.

Слова, как будто, звучали правильно, но Хантер вдруг засомневался — сам-то он в них верит? Надо сделать все возможное — этого принципа он придерживался всегда: когда болела Молли, в шахте, на войне — и казалось, только так и надо поступать. Но здесь, в Бостоне, все как-то усложнилось. Грани стерлись. Нет ясности — куда себя определить?

— А что он за парень?

— Какой из них?

— Тот, кого ты ищешь. Хоби.

Хантер на минуту задумался.

— Так сразу и не ответишь, — сказал он. — Раньше я думал, что знаю его лучше некуда, но теперь... Так же было и с Даром. Ну, он все-таки побывал на войне — я по крайней мере могу списать на нее, что он оказался не таким, как я считал. А Хоби просто взял и убежал, и я все думаю: может, я его вообще не знал? Вспоминаю какие-то поступки из его детства, пытаюсь из кусочков собрать целое.

— Ну, например? Какие поступки?

Они лежали в темноте рядом друг с другом и тихонько разговаривали.

— Он, Хоби то есть, все время бегал. Бывало, идешь с ним куда-нибудь, а он как припустит вперед, потом снова бегом к тебе. Будто сидело в нем что-то, что надо было выпустить. Прямо как кролик, носится взад-вперед, он еще ходить толком не научился, а уж бегал всюду. И не сказать, что нервный был, ничего такого, да и когда бегал, лицо спокойное, бежит, как плывет, и не поймешь сразу, что бежит-то быстро. А уж наперегонки ему к двенадцати годам равных не было. Бывало, смотрю на него и

диву даюсь. И ведь, главное, я никогда так здорово бегать не умел, а вот смотрю на него и чувствую: наверное, и во мне где-то такая страсть сидела, она ему и передалась. Насчет генов я все это, конечно, знаю, но вот было такое чувство. Выпусти его, он и побежит.

— Но дети же вырастают. Хоби, когда подросток, наверное, уже не бегал?

— Только когда спортом занимался. А так, бегать за-ради бега — почти нет.

— Тут беда и начинается, — сказала Хелен. — Тут и не знаешь, чего от них ждать. Когда они на нас становятся похожи.

— Вот Дарвин, тот и вправду всегда хотел на меня быть похожим. Всегда по пятам за мной ходил, и в шахтеры хотел податься, чтобы со мной рядом работать, а когда я по дому чего делал, таскал за мной молоток или ведро с краской. Может, он и в армию пошел потому, что я в войну воевал. Ну, не только поэтому. Но так все повторять — нельзя это. Дети не могут прожить жизнь своих родителей.

— Надеюсь, что не могут, — сказала Хелен. — Не дай им господь.

Через Коннектикут-ривер они въехали в Вермонт и покатались вдоль нее к северу. Небо чуть подернулось облаками, но воздух еще больше прогрелся. Джимми свернул с трассы и подвез Хантера три мили до Орфорда.

— Счастливой охоты, — пожелал им Хантер, когда они подбросили его до центра города.

— Тебе того же, — откликнулся Джимми. — Подберем тебя прямо здесь от восьми до половины девятого. Надеюсь, пассажиров у нас прибавится.

— Угу. Спасибо.

Завидев магазинчик скобяных товаров, вроде бы открытый, Хантер решил проверить адрес, который Малкэги получил в отделе пособий по безработице. Человек у кассы покосился на листок бумаги.

— Зачем вам туда?

— Хочу кое-кого навестить.

— Знаете Фаццоне?

— Нет. Наверно, тот, кто мне нужен, — его жилец.

— Это мили три к северу, вдоль реки и немного в горы.

Человек стал рисовать ему схему, как добраться до места, но тут случайный посетитель подошел и сказал: туда скоро едет его друг.

— Мейсон Хардуик, — представился он, подъехав на пикапе марки "форд".

— Хантер Макнатт.

— Рад компании, — сказал он. — По пути сделаем пару остановок, вы не против?

— Нет, конечно.

Оказалось, Мейсон работает в горах, на людей, у которых вроде бы живет Дарвин. Они из Нью-Джерси, здесь у них подряд на строительство, и пикап принадлежит компании. Но Мейсон ездит на нем на работу и с работы, потому что он — мастер, может пользоваться им и в выходные. Зато его обязанность — возить все, что требуется, и приезжать по первому зову, как сейчас. Это был коренастый человек, костяшки пальцев выпирали, как наросты на сосновых ветках, лицо заросло седой щетиной. Он только и делал, что ворчал.

— Я вопросов не задаю, — говорил он. — Делаю, и все тут. Говорят — приезжай, я приезжаю. Говорят — строй так, я строю так. Деньги их. Машина их. Профсоюза тут нет и в помине, только они да ты. Будешь много спрашивать — до добра не доведет. А вам-то что там надо?

— У меня там вроде сын.

— Как звать?

— Дарвин.

— Первый раз слышу.

— Такой среднего роста, но крепкий, волосы темные, говорит мало...

— С войны?

— А?

— Из Вьетнама?

— Угу. Он был в армии...

— Тогда он там. Его зовут Рядовой.

— Вы его знаете?

— Он как-то попробовал работать. На два дня его хватило, для него кому-то подчиняться — нож острый.

— Это на него похоже.

Они остановились у закусочной, где ошивались мальчишки и девчонки, целый табун. Мейсон заглянул внутрь и вывел оттуда парня, звали его Инек. Инек вскочил в кузов, и они покатали к выезду из города.

— Ваш, что ли?

— Нет. Велели привезти. А зачем, понятия не имею. У нас работает. На подхвате. Малый ничего, шарики бы побыстрее крутились, было бы в самый раз.

— Что?

— Туго соображает. Не то что идиот или псих, просто туго соображает.

После моста они начали подниматься в гору, потом свернули на недавно проложенную грунтовую дорогу, полную выбоин — следов гусеничного трактора. Скоро подъехали к расчищенной бульдозером площадке в лесу, где на замерзшей почве раз-

местились две группки домов-кондоминиумов¹. У одних крыша доставала почти до земли, другие были выстроены под Старую Англию или что-то в этом роде. Вдоль дороги в Чарлстон Хантер видел примерно такие же.

— Я на минутку, — сказал Мейсон Хардуик, выпрыгивая из машины. — Только проверю.

Он обошел площадку, оглядел тяжелое строительное оборудование, пощупал замок на автоприцепе, подтянул брезент, брошенный на штабель досок. Подобрал что-то и принес к машине. Это был щит с надписью: ПАРК МАШАПАУГ. ЖИЗНЬ НА НОВЫЙ ЛАД. Он был весь продырявлен, особенно буква "О" и вокруг нее в слове НОВЫЙ. Кто-то упражнялся из духовушки.

— Вандалы, — пробурчал Мейсон и швырнул щит в кузов к Инеку.

Дорога стала круто забираться вверх, она была вся в рытвинах, довольно узкая. День был теплый, но небо начинало хмуриться.

— Хозяин дома — молодой парень, звать его Джеки, — сообщил Мейсон, кивая в сторону горы. — Он наш старший мастер. Его дядя отвечает за всю стройку, а принадлежит она его папаше. Так по крайней мере они говорят.

— Вы им не верите?

— Разница-то какая? Доллары все равно зелененькие — что так, что эдак. Есть слухок, будто за этой стройкой стоят некоторые джентльмены из Провиденса. Итальянцы. Но это слухок, кто верит, кто нет.

— В смысле как мафия?

— Приедем наверх, посмотрите. Сами тогда и решите.

Они услышали выстрелы. Хантер выделил три разных звука. Солидные, гулкие выстрелы вразбивку из большой охотничьей винтовки; тонкое потрескивание, будто стреляли из пистолета, и наконец, перекрывая два первых звука, мощный разрыв, какого Хантер не слышал со времен войны.

К дому они выехали сбоку. Швейцарского типа дом в форме буквы "А", выкрашенный в темный цвет, над откосом на сваях укреплен площадкой. У ее ограды Хантер увидел три полусогнутые фигуры. Дальше по холму, ярдах в семидесяти от них, подпираемый шлакоблоками, стоял старый песочно-белый "шевроле импала", четырехдверный, с огромными ребрами-плавниками. Вернее, то, что от него осталось. Сторона его, глядевшая на дом, напоминала кусок мяса, которое кто-то пожевал и выплюнул, металл стонал под пулями, корчился и извивался. Мейсон три раза нажал на гудок и притормозил подальше от стрельби-

¹ Дом-совладение, в котором квартиры принадлежат владельцам как частная собственность.

ща. Стрельба прекратилась, и, подогнав машину к площадке, Мейсон припарковал ее за бледно-зеленым "поршем".

Он шагнул на первую ступеньку и громко кашлянул.

— Валай, Мейс, — послышался голос, — мы перезаряжаем.

Голос принадлежал парню лет двадцати пяти с развязной ухмылкой во весь рот и полуприкрытыми глазами. Курчавые черные волосы, в руках — прекрасная, изящно отделанная винтовка. Рядом с ним в шезлонге сидел седовласый, коротко остриженный мужчина в солнечных очках с желтоватыми стеклами. Между его коленями был зажат стакан со спиртным, а сам он досылал патроны в большой черный револьвер. Оба были в ослепительно оранжевых охотничьих жилетах. Позади них, возле стены, держа в руках, кажется, винтовку М-16¹, сидел Дарвин.

Он был худ, когда вернулся из армии, но сейчас похудел еще больше. Грудь, казалось, совсем провалилась, кожа обтягивала скулы. Он сильно зарос, даже отпустил длинные черные усы, как у китайского доктора-злодея Фу Манчу в старых фильмах. Увидев Хантера, он едва заметно кивнул.

— Здорово, Мейс, как делишки? — воскликнул парень, Джеки.

— Велели пригнать машину. Я и пригнал.

— Вот за это я тебя люблю, Мейс, что ты такой живчик. А это у нас кто? — спросил он, поворачиваясь к Инеку. — Какая цыпочка! Эй, Цыпочка, как дела?

Услышав прозвище, парень вспыхнул и выдавил из себя улыбку. Джеки легонько ткнул его в живот стволом винтовки.

— А кто твой второй друг?

Мейсон указал на Дарвина.

— Его отец.

Джеки совсем расплылся в ухмылке.

— Вот те на! Папаша Рядового, вот это номер! А я, голубок, и не знал, что он у тебя есть, думал, ты инкубаторский.

Дарвин и бровью не повел. Казалось, он несколько суток не спал и так устал, что у него язык не ворочался.

— Так, так, так, — приговаривал Джеки. — Значит, Рядовой Старший, да? Меня зовут Джеки, а это — мой дядя Пол Фационе, более известный, как Кондо.

Мужчина поднял голову от револьвера и кивнул. Хантер поздоровался.

— Ну, красотища! Встреча после долгих лет разлуки. Только гляньте на эту парочку. Как в кино "Это твоя жизнь", сейчас кинутся друг другу в объятия и начнут умиляться: ах, старые добрые времена!

Хантер пересек площадку и сел рядом с Дарвином, вертев-

¹ Автоматическая легкая винтовка, применявшаяся американцами во Вьетнаме.

шим в руках винтовку. Мейсон и Инек остались на верхней ступеньке. Хантер не знал, что сказать при всех этих людях.

Джеки дослал патрон в патронник и вскинул винтовку к плечу. Прицелился в машину через оптический прицел и выстрелил. Отдача была сильной, Джеки немного качнуло назад, а ветрового оконца как не бывало. Стекло, каркасик — все отлетело.

— Ух, — вымолвил Инек.

Ногой Джеки вышиб пустую гильзу с площадки.

— Что, Кондо, неплохо?

— Ты бы еще из ракетной установки выстрелил, чтоб ее! Это же наступательное оружие.

— Ба-бах! — крикнул Джеки. — На изготовку и ба-бах! Вышибить из нее мозги!

— Вот если бы эта машина неслась на тебя миль под шестьдесят в час, а за рулем — какой-нибудь маньяк, тут бы ты задержался, — огрызнулся Кондо. — А то в стоячую стрелять, подумаешь, фокус.

— Да этот тарантас в жизни шестьдесят не делал. Верно говорю, Мейс?

Мейсон не ответил,

Кондо поднялся, вытянул руку с револьвером, крепко сжал кисть другой рукой и начал стрелять, стараясь попасть в кроличью лапку, подвешенную к каркасу лобового стекла. Воспользовавшись шумом, Хантер заговорил.

— Ну как дела, сынок?

— Нормально. — Дарвин не поднимал глаз от своей М-16. — Зачем ты приехал?

— Хоби убежал из дома.

— Да? — Головы он все равно не поднял. — И куда?

— Я думал, может, к тебе.

— Нет.

— И ничего о нем не знаешь?

— Не-а. Вы что, чего-то не поделили?

— Да нет. Такого не было. Такого... ну, как у нас с тобой.

Дарвин обдумал услышанное.

— Что, просто взял и сбежал?

— Оставил записку, примерно месяц назад. Мол, должен уехать, больше оставаться дома не могу. Почему, не знаю. Я ушел с шахты и приехал искать его в Бостон, кое-кто его там видел. Он тебя искал.

— Да, бегать он всегда любил, — сказал Дарвин. — Ничего, справится. — Дарвин наконец взглянул отцу в глаза и чуть покачал головой. — Не нужно было тебе никуда ехать.

— Я думал, он здесь.

Дарвин пожал плечами.

— Жаль, что прокатился впустую.

Стрельба прекратилась.

— Кондо! Кондо! Если меня когда поставят к стенке, попро-

шу, чтобы расстрел доверили тебе. Да если большой палец привязать к дулу, ты в него и то не попадешь.

— Это же оборонительное оружие.

— Побольше практики и поменьше виски — вот и вся штука, Кондо. Кстати, о выпивке, Мейс, я забыл предложить тебе пивка. У нас "Хейнекен". Будешь?

— Нет.

— Рядовой Старший?

— Нет, спасибо, — ответил Хантер.

— А ты, Цыпочка? Хлебнешь?

— Давайте.

Джеки указал винтовкой на охлаждающий ящик возле верхней ступеньки — там в полурастаявшем льду плавали бутылки.

— А он часом не молод, чтобы пить?

— В самый раз, Кондо, в самый раз. Чем еще ребенку заняться в этом занюханном штате? Пусть хоть выпьет спокойно.

— Сколько тебе, Цыпочка, шестнадцать, семнадцать?

Парень на миг заколебался.

— Семнадцать.

— А в каком классе?

— В десятом.

— Точно?

— Меня на второй год оставили.

— Да ты шутишь, Цыпочка. Такой толковый малый. Они, наверно, совсем сбрендили. А тебе на них начхать! Хлебай себе помаленьку.

— Мир вконец ополоумел, — проворчал Кондо. — Малый еще не бреется, а уже хлещет вовсю.

— Мы разлагаемся, дорогуша. Ух как разлагаемся! Эй, Цыпочка, ты хочешь разложиться?

Парень вспыхнул и вытащил бутылку пива. Вытер руку.

— За что я Цыпочку люблю, собеседник из него — второго такого не сыщешь. Наверно, и Мейс такой был в его возрасте. А, Мейс?

— Оставьте вы парня, — сказал Мейсон.

— Значит, семнадцать? — переспросил Джеки, будто не слышал слов Мейсона. — Семнадцать. Слушай, Рядовой, а этому косоглазому, которого ты уколошил, сколько было?

— Тринадцать, — ответил Дарвин. — Может, четырнадцать. У них не разберешь.

Будто речь шла о пустяке. Будто такое происходит каждый день.

— Ну, там в семнадцать лет ты уже мужчина. Имеешь полное право, чтобы тебя уколошил какой-нибудь зверюга, вроде Рядового. — Хантер хотел что-то сказать, но Джеки поднял руку. — Да вы не обижайтесь, сэр, просто ваш сын рассказывал нам о своих армейских приключениях. Перед сном он нас потчует

фронтовыми историями, тем и на хлеб себе зарабатывает. Верно говорю, Рядовой?

— Верно, Джеки.

Дарвин снова занялся винтовкой.

— Скольких ты там ухлопал?

— Не считал.

— Не считал! Во молодчик, а? Вернулся оттуда такой затюканный, что не помнит сколько. Этаким космический ковбой. Цыпочка, ты убийцу никогда не видел? Позвольте представить — Рядовой! Ря-до-вой! Чемпион мира в стрельбе по мартышкам.

Хантер не знал, что сказать, как поступить. Это были его, Дарвина, друзья, его жизнь, а сам Дарвин сидел и молчал.

— Ладно, Джеки, передохни.

Кондо выудил из ящика несколько крупных кубиков льда и бултыхнул их в стакан, стоявший у его ног. Потом стал шарить под шезлонгом в поисках бутылки бурбона, а Дарвин тем временем выстрелил из своей М-16. Ручка передней дверцы "импалы" взлетела в воздух. Кубики льда заскользили по площадке.

— Лунатик чертов. — Кондо наклонился за кубиком, лицо покраснело от натуги. — Вояка полоумный. Возвращается с войны, садится на пособие, покупает пушку-громыхалку и тащит домой. Когда тебя отпускали, у них небось в психушке все места были заняты.

— Цыпочка, а ты стрелять любишь?

Парень пожал плечами.

— Нравится? — Джеки указал на М-16. — Из такого убивают вьетконговцев. Никогда на них не охотился?

— Не-е.

— А вообще охотишься?

— Бывает. С отцом.

— Твой отец! Не шибко ему нравится на нас работать, а? Инек промолчал.

— Не шибко?

— Он говорит, вы скоро уедете.

— Ну да? А он откуда знает?

— Леса уже почти не осталось.

— А это что вокруг? — Джеки был искренне поражен. — Ничего себе разговорчики, леса не осталось! Да этот штат по уши зарос лесом, он тут будет всегда, он тут на деревьях растет, этот лес!

— Он думает, мы тут халтуру гоним, да? — спросил Кондо.

— Да он никогда...

— Конечно, гоним, сынок, все кругом гонят халтуру. Кроме уж совсем полоумных.

— Твой отец, он любитель языком почесать?

— Если вы не против, — вмешался Мейсон, чтобы отвести огонь от Инека, — может, займемся делом? Машина нужна или нет?

- А мы, Мейс, как раз и занимаемся делом. С нашим приятелем Цыпочкой.
- А твой отец не говорит, — спросил Кондо, — где он берет лес для всех своих дел? Для левой работы в выходные? Раз уж он беспокоится, как лес сильно оскудел.
- Покупает на складе, как все.
- А с работы он домой ничего не приносит, а? Ничего не подтибривает?
- Мой отец не ворует.
- Не ворует? Все воруют!
- А он случаем никогда не видел, — спросил Джеки, — как кто-нибудь тащит лес? Или оборудование?
- Инек, казалось, вот-вот заплачет.
- Не говорил случаем, кто на той неделе умыкнул штабель белой сосны?
- У его отца и спрашивайте.
- Не твяккой, Мейс.
- Парень туго соображает.
- Да, приятель? Это он правду говорит? Ты туго соображаешь?
- Ее Сурки забрали! — выпалил вдруг Инек и тихо заплакал.
- Сурки?
- Ну помнишь, эти, — объяснил Джеки, — которые устроили в горах коммуну, вверх по реке? Построили хижину и живут на подножном корму? Еще цепную пилу у нас тогда просили?
- А-а, отбросы общества, — вспомнил Кондо. — Значит, сначала попрошайничали, теперь за воровство взялись. А ты как узнал, парень?
- Видел.
- Видел, как уносили?
- Сосну видел. Я был там у них, один ихний строил раму под водяной матрац, для спанья.
- Водяной матрац. — Кондо сплюнул сквозь зубы. — Моя белая сосенка, ах, сволочи!
- Только не говорите, что это я сказал, пожалуйста!
- Ну, так что будем делать? — снова вмешался Мейсон.
- Еще по пивку. Тони! Тони!
- Да? — Из-за стеклянной перегородки раздался раздраженный женский голос.
- Принеси нам еще похлебать.
- Больше нету.
- Как? А другой ящик?
- Забыла. Надо было список составить.
- Еще одна с погремушками на чердаке, — пояснил Джеки мужчинам. — Прекрасно вписывается в здешний пейзаж. — Он заорал через стекло: — Тогда сделай нам пару самокруточек. В чем дело, Мейс?

— Что с лесом-то? За этим меня звали?

— Терпение, друг мой, терпение. Придет время, поедem и заберем. За тем и машина нужна. А пока немного подзаправимся перед дорожкой.

Стеклянная дверь открылась, и на площадку вышла молодая женщина в шортах и футболке. В одной руке она держала свернутый журнал, шла на пятках, растопыбив пальцы ног — только что сделала педикюр. Не поднимая головы, она передала Джеки самокрутки, повернулась и ушла назад. Дверь захлопнулась.

— Да, на верхнем этаже у нее пусто, — сказал Джеки. Он зажег обе самокрутки — здоровенные, толстые — и передал одну Дару. — Мейс, не желаешь?

— Нет.

— Рядовой Старший?

— Нет, спасибо.

Дар говорил Хантеру, что на войне курил это зелье. Хантер тогда не особенно удивился. Вспомнил: когда сам был солдатом, пил все, что попадалось под руку. И неправда, что эта штука превращает тебя в кретина. Хантер с радостью списал бы все на курево. То, каким стал Дар. Нет, дело здесь не в куреве. Дар глубоко затянулся и задержал дым в легких, а сам стал чистить винтовку.

— Чертовы хиппи, — проворчал Кондо.

— Чокнутые дети природы, торчат себе в хибаре, пять или шесть парней, пять или шесть баб, целыми днями из койки не вылезают.

— Да я про вас двоих. Что вы в этой дряни находите?

— Это никакая не дрянь, Кондо, — возразил Джеки. — И полезно для здоровья. Чудо-гашиш с супердобавками. Только укрепляет организм.

Когда они, наконец, выехали, небо уже посерело, собирався дождь. Хантер хотел обдумать, что скажет Дарвину, но мысли его перескочили на Хелен. Она словно заслоняла все остальное, хотя Дар, родной сын, сидел тут же, за его спиной.

— Если найдешь Хоби, — спросила она вчера вечером, — и все у вас уладится, ты вернешься в Западную Виргинию?

— Не знаю. Вообще-то здесь неплохо.

— Не представляю, как можно враз сняться с места и всю свою жизнь поменять. Я бы никогда так не смогла.

— Конечно, смогла бы. Нужна серьезная причина, только и всего.

— Ну что ты! Я здесь привязана накрепко. У девочек тут подруги, да и как я заберу их из Сент-Бриджид? Найти приличную школу знаешь как трудно! Закладная еще не выкуплена, всюду я задолжала, не говоря уж о долгах Куина. Оставил он

нас в глубоком болоте. Потом у меня же работа! Фирма о нас заботится, только ты, будь любезен, оставайся там, где она тебе велит. Куча всяких льгот, хорошая пенсия, как я все это брошу? Впервые в жизни у меня есть уверенность в завтрашнем дне. Потом мои приятельницы, вся моя жизнь здесь. Ну и я сама. Не могу никуда ехать из-за себя самой. Уж если я к чему привыкла — не брошу.

Это было верно. Хелен упорно красила губы темной помадой, хотя Хантер уверял ее, что она прекрасно выглядит безо всякой косметики. Каждую субботу она ходила на исповедь, даже если исповедоваться было не в чем. Она ставила свечку за своего покойного мужа, хотя признавалась, что не любила его. Не любила даже вспоминать о нем. Вот уже десять лет она почти каждый четверг играла в карты с постоянными партнерами.

— А если не найдешь Хоби, — спросила она, — вернешься в Западную Виргинию?

— Не знаю.

— Ну, если точно поймешь, что тебе его не найти, пока он сам не объявится. Тогда вернешься? Здесь тебя что-нибудь держит?

Он не понял смысла ее вопроса, не уловил намека в голосе.

— Да вроде нет. Нет, наверно.

— Спасибо.

— А?

— Ничего.

— Ты насчет нас с тобой! Конечно, это же...

— Ладно, не надо...

— Как, ну конечно, это очень важно.

— Не делай мне одолжения, Хантер.

Ему не хотелось углубляться в этот разговор. Ведь еще ничего не ясно с Хоби, да и насчет Хелен что-то его беспокоило. Нет, дело не в том, что они не женаты, это ерунда, но ведь он ищет сына, а все остальное его отвлекает, сталкивает с верного пути.

— Да я и не делаю одолжения. Я...

— Вот и не надо. Обойдемся. Я вышла замуж в двадцать восемь лет. Уж думала, не будет этого в моей жизни. И все годы до замужества прекрасно обходилась одна. Без мужчин. А потом еще девять лет терпела мужа. А когда он умер, я опять прекрасно обхожусь без них. Может, Хантер, мне чего-то и хочется, может, когда оно есть, приятно, но я научилась обходиться без этого. Я в тебе не нуждаюсь. Так и запиши.

Джеки велел остановить машину поодаль от домика, и они зашагали вверх по старой и узкой дороге. Элемент внезапности, сказал Джеки. Стало очень холодно, на лес опустилась тьма.

Судя по пням, просеку делали топором. Ближе к домику

подлесок был нетронут. Чуть в стороне — маленький генератор, выкрашенный ярко-голубой краской, он стоял на остатках упаковочной клетки. Тут же — проржавевший "фольксваген", задняя ось лежала на шлакоблоках. На табличке для номерных знаков надпись: ЖИТЬ СВОБОДНЫМ ИЛИ УМЕРЕТЬ.

Домик был не бог весть какой. Когда его сколачивали, бревнам, похоже, не дали как следует просохнуть, и образовались жуткие щели. Два окна со ставнями, на дальней стороне крыши — каменная труба.

Внутри кто-то стучал молотком. Кондо крепко пнул дверь ногой, два раза. Стук прекратился.

— Кто там?

— Серый волк! — заорал Кондо. — Открывай!

За дверью слышались голоса, какое-то шевеление. Дверь приоткрылась, в проеме возникла голова светловолосого, с бородой, как у моржа, парня.

— Что вы хотите?

— Доски.

— Доски?

— Досточки! — крикнул Джеки и, что есть силы отпихнув светловолосого, помог Кондо войти в дом. За ним шагнул Дарвин, а Хантер остановился в дверях, готовый действовать, но плохо представлявший, что придется делать.

В комнате было полно народу. Хантеру вспомнилась старая открытка: мастерская Санта-Клауса. За дубовым столом парень и девушка резали кожу, еще одна девушка на полу плела макраме, на картонном столике лежали отполированные камни, в углу — швейная машинка с ножным приводом, пластиковые мешки с глиной. Вдоль одной стены выстроились небольшие бочонки с надписями: ЯЧМЕНЬ, КРУПА, ПШЕНО, РОЖЬ. У светловолосого в бороде застряли розовые нитки, в руке он держал молоток.

— Вы уверены, что не ошиблись?

— Уверены. Ты кто?

— Меня зовут Капитан.

— Капитан Бравый, — добавила девушка, сидевшая на полу.

— Прекрасно. Ладно, Капитан, не дрейфь. Давай сюда дрошки.

— Не понимаю.

— Белую сосеночку. Со стройки, у Машапауга. Которую вы, мразь эдакая, сперли. Ясно теперь?

Капитан Бравый покачал головой:

— Только без шума. Нам тут никакого шума не нужно. Я все же думаю, вы ошиблись.

Парни в комнате — сплошь бородачи, все в клетчатых фланелевых рубашках, кроме Капитана Бравого. На нем была старая тяжелая армейская шинель, на одном плече — пара соединенных серебряных полосок, на другом — большая красная буква "А"

на фоне хаки. Девушки — длинноволосые, одеты в тяжелую одежду. Все они мало отличались от молодежи в Бостоне, правда, были бледнее, да обращали на себя внимание запавшие глаза.

— Мра-азы! — вскричал со смехом Джеки. — Под-донки! Вы сперли нашу сосенку и знаете об этом. Она здесь, в этом доме.

— Где?

Хантер бывал и не в таких хибарах, только люди там ютились никак не по своей воле. Просто на что-то другое у них не было средств, и, как только заводились деньги, они сразу перебирались в жилье посовременнее. А тут... Хантер не мог этого понять — к чему эта добровольная нищета, ведь на улице такой холод.

— Он спрашивает "где", — сказал Джеки. — Покажи мне ваши спаленки, я покажу тебе где.

— Я правда не понимаю, о чем вы.

— Ладно, ты, мразь, хватит прикидываться. Нам Цыпочка сказал. Знаешь такого? Везде ошивается, путается у всех под ногами? Вот он вас и продал.

— Цыпочка, — повторил Капитан Бравый и сверкнул глазами на девушку, сидевшую за дубовым столом.

— А что я с ним сделаю? — словно защищаясь, она выбросила вперед руки. — Ему нравится приходить к нам. Он безобидный.

— Он сказал, что нашими досточками вы обложили водяной матрац, — сообщил Джеки.

— Мы их хотим забрать. — Кондо вытащил револьвер, и одна из девушек вскрикнула. Хантер неслышно вошел в комнату. Дарвин просто стоял с безразличным видом, ждал, что будет дальше.

— Поосторожнее с оружием, — сказал Хантер. Никто не обратил внимания.

— Только без шума, — попросил Капитан Бравый, отступая и садясь на бочонок с зерном. — Пожалуйста, без шума.

— Уберите оружие, — сказала девушка за столом. Она поднялась, делая руками успокаивающие движения. Под комбинезоном виднелось теплое белье. — Никто здесь с вами воевать не собирается.

— Это точно, лапочка. — Кондо махнул "кольцом" на Капитана Бравого. — Этот птенчик просто покажет нам, где наши доски. Так?

Парень поднялся и провел их в заднюю комнату — она была отделена одеялом, свисавшим с дверного косяка. В середине комнаты лежал наполненный водой синтетический матрац, а рама ложа была сделана из белой мореной сосны.

— Ага, — вымолвил Джеки, — бесхитростный уют пионеров. Нетленные ценности.

— Откуда вы знаете, что это ваши доски? — спросил Капитан Бравый.

— Знаем.

— Но они уже сколочены. Я сделал отличную раму, что же ее теперь, разбивать?

— Можешь заплатить за доски?

— Ну, не наличными...

— Во-во. А полный грузовик ваших самодельных клипс нам ни на черта не нужен. Разбивай раму.

— Вы не имеете права сюда так врыватьяся.

— А сосунок-то с гонором. О правах надо было думать, когда доски воровали.

— Давай, пошевеливайся, — сказал Кондо. — Попытали вы счастья, но раз уж попались — так попались.

— Не понимаю, — сказала девушка в теплом белье, — почему бы вам просто не поделиться с нами. — (У Кондо даже челюсть отвисла). — А что, у вас там древесины полным-полно.

— Дорогая, — сказал Кондо, — вы здесь, может, и делитесь чем ни попадя, а мы живем в реальном мире. За то, что взял, плати, наличными или натурой. Если ты, птишка, хочешь поделиться с нами своими прелестями, может, и сговоримся. А не хочешь — расшибайте эту штуку к чертовой матери и гоните дровишки назад.

— Да там всего-то несколько досок, — не уступал Капитан Бравый. — Я только что...

— Нет! — Вопрос не подлежал обсуждению. Глаза Кондо налились кровью, рука с револьвером напряглась, он прерывисто дышал. Подойдя к матрацу, он прицелился в его верхнюю часть. — Наши доски, — велел он, — или я стреляю.

— Подождите, — вмешалась девушка. — Только без насилия. — На секунду выбежав из комнаты, она вернулась со шлангом. Присоединив его к соску матраца, она пропустила шланг через щель в стене. — Его нельзя держать наполненным без рамы.

В комнату набились все остальные Сурки, и у них на глазах матрац сжался и сморщился. На это ушло мало времени. Потом подошел Дарвин с ломиком, и вместе с Джеки, который помогал ему сапогами, они разбили раму. Конвоируемые Кондо, трое парней погрузили расколотые доски в машину.

— Если еще кого из вас увижу на стройке, — предупредил Кондо, пряча револьвер в кобуру и забираясь на переднее сиденье, — получите подарок меж глаз. Лично от меня.

— Дело даже не в воровстве, — объяснял Кондо на обратном пути. — Стройка есть стройка, воруют все, кому не лень. Мы спускаемся в Куичанк, тащим у них цемент, они поднимаются сюда, тащат у нас дранку. Это правила игры. Но кто украл — вот что меня взбесило! Поганцы, черви, заползшие в горы. Водяные матрацы!

По дороге Джеки два раза пропел "Балладу о зеленых берегах", постреливая при этом в птиц из револьвера Кондо. За рулем сидел Хантер, он вел машину вниз по горной дороге, потом через реку, стараясь ехать как можно быстрее.

— Какой от этого прок? — спросил Мейсон, когда увидел их добычу. — Для стройки уже не годится, все доски вывожены, да и гвоздей в них полным-полно. Испохабили, теперь хоть выкидывай.

— Ошибаешься, друг мой, — заметил Джеки. — Давай-ка, тащи сюда свой инструмент. Сейчас начинаем строительство. Кондо, тебя берем в начальники.

— Что еще выдумал, Джеки?

— Мне надоела наша старая мишень. Сейчас мы с Мейсом сколотим здесь Форт-Сурок — точную копию. И сможем отбавывать карательную операцию — мало ли что, вдруг придется малость проучить этих недоносков?

Хантер и Дарвин сидели рядышком на площадке. Похолодало, опустился вечер, и всех остальных они едва видели.

— Ты здесь давно, сынок?

— Месяца три-четыре.

— И нравится?

— Жилье как жилье. Бесплатное. Как ты меня нашел?

— Через отдел пособий.

— А-а.

— Не можешь найти работу?

Дар качнул головой.

— Могу работать на этих, если захочу. Да вроде незачем, раз уж я в бюро на учете. На жизнь хватает.

— Ты знаешь, что я об этом думаю.

— А ты знаешь, что мне на твое мнение наплевать с высокой горки.

Они немного помолчали. Подул ветер, Хантер поежился. Наконец Дарвин заговорил.

— Значит, Хоби смылся?

— Исчез прямо перед игрой с Бекли.

— Ха. Тренер, наверно, чуть с ума не сошел.

— Он с тобой никогда про это не говорил? Что хочет убежать и куда?

— Мы с ним особенно не делились. Мы... сам знаешь, спорт, то да се, но никогда ничего личного. Ему не хотелось лезть в шахту, это я знаю, а кому хочется? Он якшался с "Аппалачскими добровольцами"¹, а я — никогда. Может, это они забили ему голову. А может, у него своих идей хватало.

¹ Группы анархистски настроенной молодежи, на свой лад поддерживавшие шахтеров Западной Виргинии в конце 60-х — начале 70-х гг.

— Я никогда не знал, что у него на душе. Как он к чему относится.

— Это не твоя вина. — Дар улыбнулся. Когда он улыбался, вид у него был совсем болезненный. Хантер хотел сказать ему: следи за собой, лучше питайся, займись делом и беги от этих людей подальше, хотел сказать так много, но знал — его советы здесь не нужны. Больше не нужны. — Вообще ничья вина, — добавил Дар. — Что происходит, то и происходит. Можешь ты повлиять на это? Черта лысого. Так чего дергаться! Расслабься. И не противься судьбе. Как ни крути — конец всегда один.

— Ты так сюда и попал? Не стал противиться судьбе?

— Пожалуй, да. Джеки хотел стать летчиком-истребителем, скорость у него в крови. Но медкомиссию не прошел — в голове у него жуткий туман, какой он только дрянью себя не пичкал, всю аптеку перепробовал. Притом бредит войной. А я воевал. Ну, вот ему и хорошо, когда я рядом, вроде сувенирного меча.

— И ты со всем этим так запросто мирисься?

Дар снова улыбнулся.

— Помнишь медведей? На которых мы однажды наткнулись, на спящих?

— Помню.

— Вот и я стал такой. Когда я вернулся, была во мне какая-то тревога, да уже вся вышла. Я лежу здесь, курю, сплю. И меня это ни капельки не трогает — Джеки и все вокруг. Медведи, они знают, что делают.

Хантер покачал головой. Ему хотелось плакать.

— Поезжай домой, — сказал Дарвин. — Здесь все чересчур сложно. Это в шахте просто: белое и черное, жизнь и смерть. А тут, на поверхности, тебе всю душу перекорежат. Забудь о Хоби. Он вылетел из гнезда и больше тебе не принадлежит. Поезжай домой.

И они побежали по склону, подгоняемые градинами величиной с горошину, которые пробивались сквозь листья и плясали на крыше дома, похожего на букву "А".

— Как раз вовремя! — заорал Джеки, с топотом взбегая по ступенькам. — Закончили объект вовремя. Отель "Сурок".

Они успели сколотить плоский фасад, имитацию домика-хижины с маленькой фальшивой дверью. Ее мотало под градом взад и вперед.

— Новую мишень опробуем завтра. Недурная работенка, а, Мейс? Может, как-нибудь на площадке преподам вам, дикарям, урок плотничьего дела. Вот зараза, небо прохудилось! Ладно, Мейс, Цыпочка, до завтра. Рядовой Старший, рад был познакомиться. Милости прошу в любое время.

Дар кивнул на прощанье и вместе с Джеки скрылся за стеклянной перегородкой.

Инек сел в кабину между Хантером и Мейсоном. Градины барабанили по металлической крыше. Мейсон остановил машину возле "импалы" и только что построенной ложной хижины — собрать инструмент. Он украдкой взглянул в сторону дома, потом что-то вытащил из кузова и пару раз ударил молотком по фасаду хижины. Хантер вытер запотевшее лобовое стекло — поглядеть, что происходит.

Оказывается, Мейсон прибил на дверь новой мишени табличку со стройплощадки:

ПАРК МАШАПАУГ ЖИЗНЬ НА НОВЫЙ ЛАД

Все произошло очень быстро. Хантер почувствовал недоброе еще с утра: уж слишком притихшими, слишком сдержанными были итальянцы. Обычно они горланили на весь цех, обмениваясь шутками или подначками, один делал вид, что сейчас даст оплеуху другому, и оба весело смеялись. Но в это утро они стояли группками по двое и трое и что-то негромко обсуждали.

Потом подошел Джимми и сказал — наверно, будут увольнения. После работы устраивают собрание насчет контракта на следующий год, придет кто-то из профсоюзного начальства. Видно, неприятностей не миновать.

— Если будут увольнять, ты, Хант, вылетишь почти наверняка, — сказал Джимми. — Иногда закрывают на неделю-другую всю фабрику, иногда просто увольняют пятерых, десятерых — из тех, кого приняли последними. А ты в списке — третий с конца.

— А надолго могут уволить, как думаешь?

— Да кто их знает. В любом случае на более долгий срок, чем тебе скажут. А иногда перед переговорами начальство нарочно пускает слухок об увольнениях, ну и каждый счастлив, что его оставили, проголосует за любой контракт. Всякое бывает.

— Сегодня будет ясно?

— Скорей всего. Выступать будет Сол, из профсоюза, если новости плохие, они любят подсылать профсоюз. Сама-то администрация всегда трусит. В общем, если что, сразу после работы иди и становись на учет.

— Чего?

— Насчет пособия по безработице. Чем скорее зарегистрируешься, тем скорее начнут платить. Ты тут уже долго, кое-что заработал, наверно, имеешь право получать по пособию здесь, в Массачусетсе. А нет, затребуй часть суммы со своей прошлой работы, но на это уйдет больше времени — штаты ведь разные.

— Я не могу.

— Что не можешь?

— Да я же... никогда... никогда не сидел на...

— Брось, старина, что тут такого? Ты что, никогда там у себя не получал финансовой помощи? Отчего не взять, если деньги эти твои, кровные.

— Нет. Нет, не могу я...

Час от часу слухи становились все более грозными. Уволят пять-шесть человек. Как минимум тридцать. Два дня в неделю не будет работать вся фабрика. Целых два месяца, как в шестьдесят седьмом. Забастовка. Если сейчас они зайдут слишком далеко, профсоюз как пить дать организует забастовку. Ведь не bastовали с пятьдесят второго, тогда тут последний год заправлял Рокко-Японец.

После работы кто-то сказал Хантеру: его вызывает к себе мастер Пулизи. В его кабинетике стоял маленький стол, заваленный бумагами и бланками. Пулизи дал Хантеру подписать два голубых бланка. Из одного следовало, что он официально уволен, из другого — что система медицинского страхования на него больше не распространяется. Пулизи за все время не сказал ни слова, лишь ткнул два раза пальцем в места подписи и оторвал вторые экземпляры для компании.

Напротив сидели Фаусто, Кlemente и Раф Скалонья, они о чем-то негромко разговаривали. Хантер заметил, что Фаусто смотрит на голубые бланки у него в руках. Смотрит и молчит. Будто с этой минуты они больше не знают друг друга.

Все произошло очень быстро.

Бюро по трудоустройству находилось сразу за углом гостиницы "Курьер", где Хантер провел первую ночь в Бостоне. Стойка, перед ней деревянные складные стулья. Сидевший за стойкой человек то ли дремал, то ли слушал радио. Народу было немного — на стульях сидело четыре-пять старых негров, по виду любителей промочить горло.

— Сказать по правде, Макнатт, — заговорил человек за стойкой, когда Хантер заполнил бланки, — с работой у нас нынче не густо. Застой. С рождества до Нового года мелкие фирмы все больше закрываются, обычно как раз они нанимают временных рабочих. Ну и надо заботиться о наших постоянных клиентах. — Он кивнул на стариков.

— Я согласен на любую работу, — сказал Хантер, — какая есть.

Он тяжело опустился на деревянный стул, стоявший в стойке, прикрыл глаза. Какое-то время ему даже нравилось спать до восьми, приходил к Хелен, когда ее дочери в школе, но теперь отсутствие работы начало его угнетать. Дело даже не только в деньгах, не в том, что приходилось юлить, когда Хелен хотела куда-нибудь с ним пойти. Просто он не привык бездельничать, не был к этому приучен. А если верить Джимми, на "Порчетту" ему особенно рассчитывать не приходится.

Проглядывая на днях газетную колонку "Требуется", он наткнулся на объявление компании "Армор" в Южном Бостоне: нужны грузчики мяса. Он надеялся, что тут ему повезет: есть какой-никакой опыт, да и в профсоюзе он состоит. Четыре доллара в час. Везде, куда он пытался устроиться, предлагали почти вдвое меньше. Работа в этих краях так или иначе требовала какого-нибудь специального навыка, а то, чему был обучен он, в общем годилось только для шахты.

Объявление приглашало желающих на семь утра, и Хантер был на месте в половине седьмого. А вместе с ним — еще сто человек, мужчины, парни и даже одна крепко сбитая девушка. Все они теснились на погрузочной платформе, молчали, наконец вышел какой-то тип в заляпанном кровью белом фартуке. Со вздохом он сказал: требуется только один человек. Не ушел никто.

В семь часов явился другой тип, в костюме. Завидев столько народу, пощелкал языком, выстроил всех в шеренгу по одному и повел наверх в комнату ожидания перед его кабинетом. Там поместилось человек двадцать пять, остальные ждали на лестнице. Хантеру удалось попасть в первую партию. Тип в костюме вместе с секретаршей раздали карандаши, бланки заявлений и папки, чтобы было на чем писать. На всех карандашей не хватало, приходилось ждать и брать у других. Тип прошел в кабинет и начал прием, но каждые две минуты высовывался и орал на секретаршу, чтобы следила за карандашами и папками — не дай бог, что-нибудь пропадет.

Хантер заполнил бланк и встал в очередь. Люди молчали. Было рано, к тому же все они претендовали на одно место. Он оглядел собравшихся — интересно, кто-нибудь из них на мясной фабрике уже работал? Но в уличной одежде попробуй определи.

— Карандаш вам давали? — спросил тип, когда Хантер вошел и сел. Хантер ответил, что передал карандаш следующему. Тип прочитал заявление и вздохнул.

— Сказать по правде, мистер Макнатт, — начал он, покачивая головой и глядя на бланк, — человек вашего возраста... у нас тяжести... нам нужен постоянный работник... так что извините.

За последнее время он наслушался этих извинений, наслушался о своем возрасте. А ведь он мог выполнять любую работу, на которую претендовал, — и выполнять хорошо.

Двух чернокожих стариков позвали к стойке. Собственно, какие они старики, чуть старше самого Хантера. Просто вид у них такой. Печальный и усталый. Да, именно, усталый.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ, гласил красно-бело-голубой плакат на стене. ЛУЧШАЯ РАБОТА ДЛЯ ЛУЧШИХ РАБОТ-

НИКОВ. На небольшой электрической плитке кипел бесплатный кофе, но ждать, наверное, предстоит долго, и Хантер решил не разгонять сонливость. За окном, осторожно шелестя, по переполненным улицам проносились машины.

В прошлую пятницу Хантер впервые стоял в очереди за пособием по безработице. Ему казалось, что все на него смотрят, хотя, оглядевшись, понял — не смотрит никто. Дома у него на такое не хватило бы духу, ему было неловко даже здесь, где его никто не знал. А людей в этой очереди он представлял себе иными. С виду они вовсе не несчастные, как ему раньше казалось. Нескольких он как будто видел в то утро в "Арморе". Тут и старики, и юнцы прямо после школы. Хантера подмывало спросить у каждого, почему он здесь, особенно у молодых и крепких. Мелькнула мысль: наверно, и они хотят спросить его о том же. А ведь он и не думал отлынивать от работы, просто... просто так сложились обстоятельства.

Денег он пока не получал, дадут самое раннее через неделю. Но по пятницам в половине десятого надо было отмечаться, сдавать справку о работе за прошлую неделю и брать на следующую.

В течение недели до 27 декабря 1969 года (было написано в справке) вы:

Работали на предпринимателя или не по найму?

Нет.

Искали работу помимо прошлого места вашей работы?

Да.

Отказывались от какой-либо работы?

Нет.

Были готовы и хотели приступить к работе с полным рабочим днем и в любую смену, с учетом вашей специальности?

Да.

Изменилось ли количество детей, находящихся у вас на иждивении?

Нет.

Надо было заполнить все клеточки и сдать справку. Тебя ни о чем не спрашивали, в правильности ответов не сомневались. Запросто можно подсунуть "липу". Но все, что написал Хантер, было правдой. Он искал. Искал как мог. Из всех сил.

Хантер сидел с закрытыми глазами и думал: что бы сказали там, дома, узнай они о его положении? Да нет, у них тоже многие сидели на пособии, но он, члены его семьи — никогда. Интересно, как дела в седьмом забое? Даже стыдно, он сейчас наверху, а они — там, внизу, ему ничто не угрожает, а их жизнь в опасности. Он сидит на стуле, а они колупают уголек. Все-таки его тянуло туда к ним.

Но шахта — где-то очень далеко. И как хорошо все время

дышать настоящим воздухом, без угольной пыли и двуокиси кремния, просыпаться утром без колик в желудке, знать, что не надо лезть в шахту и долбить грудь забоя, как хорошо жить без кислых отрыжек, без мучительных болей то тут, то там, без постоянного кашля. Что хорошо, то хорошо.

— Макнатт.

Отогнав дрему, он подошел к стойке.

— Тут появилось кое-что, правда всего на пять часов, но, боюсь, сегодня ничего лучше не дождетесь.

— Согласен.

— Прекрасно, это компания "Кеймбридж новелти", на метро доберетесь прямо до места. Вассар-стрит. Спросите там Джина. Легкая промышленность, мы туда в пиковый период много народу посылаем.

— Что они делают?

— Шарик для пинг-понга, — сказал человек за стойкой. — Делают шарики для пинг-понга. Старайтесь не переутомляться.

Хантер смотрел, как Джимми возит яичницу по тарелке. Похоже было, что она недожарена. А может, так казалось из-за плохого освещения в столовой.

— Такие дела, — говорил Джимми. — Мадьяра уволили, теперь я там вообще один остался, а те, кого подсылают в помощь, в консервировании ни черта не смыслят. Нет, сидеть поджав хвост я не собираюсь. В понедельник беру отгул, пусть увидят, каково там меня. А сам съезжу в город, кое с кем повстречаюсь.

Джимми залил яичницу кетчупом.

— Думаешь, они от тебя откажутся?

— Кто их знает? Мадьяр вон двенадцать или тринадцать лет протрубил на фабрике. Тринадцать лет — они уж и таких выкидывают! Не фабрика стала, а морг. Дом с привидениями. Живых людей не осталось. Рабочих начальство сплавляет, а на их место — новую технику!

— И профсоюз ничего не может сделать?

— Знаешь, Хант, я тут кое-что разведаль. Новая упаковочная машина, которая делает с мясом все, только что не жарит и не ест его, — единственная на всем восточном побережье. Значит, ее делали по специальному заказу, верно? Чтобы все рассчитать да выверить, наверняка потребовался целый год. И компания заказала эту штуку минимум год назад, так? Да оно и в бумагах записано. А профсоюзные боссы эти бумаги еще тогда видели, как пить дать знали, что нас ждет. И компания еще год назад все с ними утрясла. А насчет застоя в мясной промышленности да временных увольнений — это все брехня, чтобы перестройку без лишнего шума провести.

— И на шахтах такое было. Сейчас там вдвое меньше народу осталось.

— Но заколачивают больше, верно? — Джимми стукнул ладонью по дну кетчупной бутылки. — А за так ничего не бывает, сам знаешь, как это делается. Кто остался, брыкаться не будут — они же никогда такую деньгу не зашибали. А кого выперли, этих уже никто не слушает — они больше не в профсоюзе. Господи, Джонни Грека выгнали, и Ника из подвального, и Себастьяно, и нескольких человек из погрузочного. Точно, чувствуешь себя, будто попал в город привидений. А кто остался, трясутся от страха.

Подошла официантка и спросила Хантера, будет ли он что заказывать. Он сказал, что не голоден.

— Ну, ты о том предложении подумал? — спросил Джимми.

— Угу.

— согласишься?

— Не по нутру мне это.

— Я не спрашиваю, по нутру оно тебе или нет. согласишься?

Хантер провел рукой по небритой щеке. От кухонного чада щипало глаза, да еще сосед за стенкой всю ночь кашлял, не давал спать. Кашель, всегда этот кашель.

— А что насчет займа?

Джимми улыбнулся.

— Я кое-куда позвонил. Если надо, сделаю.

— Под какой процент?

— Ну, точно они не сказали, им надо сначала тебя проверить. Во всяком случае, за четыре-пять месяцев рассчитаешься.

— Четыре-пять месяцев.

— Не нравится, можно обратиться к Френсису.

— Нет, — возразил Хантер. — Только не к Френсису. Половину он вытащит из кармана Хелен — ему не привыкать. А я не хочу, чтобы он знал... сам понимаешь... насчет нас.

— Он же ее брат, когда-то все равно узнает.

— Только не сейчас. Нет, у Френсиса занимать не буду.

— Гордый ты мужик, Макнатт.

— Будь я гордым, — пробормотал Хантер, — я бы ни о чем таком не помышлял.

Взяв у официантки мелочь, Хантер закрылся в телефонной будке. Набрал номер.

— Да, я вас помню, — сказал Гэс Арнольд, когда секретарша их соединила. — Приятель моего брата Митча. Чем могу быть полезен?

— Помните, мы говорили насчет работы? — спросил Хантер.

— Помню. Вы хотели к нам устроиться. Потом расхотели. А теперь что?

— Вроде бы передумал.

— Да, без работы не сахар, верно, Макнатт? Особенно когда у тебя нет друзей, некому о тебе позаботиться. Значит, передумали. Прекрасно. Только ведь я своей политики не переменял. Вы это знаете, да? Помните мою политику?

— Да, — сказал Хантер. — Пять сотенных — и вперед.

Арнольд засмеялся в трубку.

— Люблю людей, которые не ходят вокруг да около. Но вот какая смешная штука. Мы с вами говорили до моего отпуска. Я, понимаете ли, ездил в Лас-Вегас...

— Помню.

— Разумеется. Так вот, я ездил в Лас-Вегас, и там... они... в общем, честно говоря, меня там ободрали как липку. Но ничего, это было мне хорошим уроком. Я понял, какова подлинная ценность денег, подлинная ценность хорошей надежной работы. Теперь я знаю, что гораздо больше... гораздо ценнее...

— Сколько? — спросил Хантер.

— Что?

— Сколько?

— Семьсот пятьдесят. И сразу. Конечно, если это проблема, я могу кое-кому позвонить, есть знакомые, думаю, они не откажутся помочь, когда узнают, что вы — у нас. Правда, без небольшого процента не обойтись, но так или иначе за несколько месяцев...

— Ничего не надо. Когда можно начать?

— Хотите, приходите завтра, заполните бумаги. Только... мм... вступительный взнос... приносить пока не надо. Договоримся отдельно. Как у вас с рентгеном?

— То есть?

— Как с рентгеном? Видите ли, то, куда я вас хочу воткнуть... это работа на судах, на пирсе в Восточном Бостоне, и там, знаете, сварка, краска горит и все такое. Испарения. Надо быть осторожным, компания не любит платить за легочные заболевания...

— С рентгеном у меня порядок, — перебил Хантер. — Недавно делал.

Он устал. Жутко от всего устал. Пособие его составляло лишь тридцать долларов в неделю, и он то и дело менял места поденной работы — боялся, что его поймут на этом и сразу снимут с пособия. Работы было немного, а на той, что была, кто-то обязательно принимал тебя за очередного пьянчугу, с которым надо обращаться как с ребенком. Он устал от житья у миссис Ханрахан, от того, что в карманах у него водились лишь деньги достоинством в один доллар, устал от писем на машинке с красной лентой, которыми его бомбило из родных краев агентство по сбору денег за медицинское обслуживание. Устал.

— Я заеду к вам завтра, — сказал Хантер. — С утра.

— Прекрасно. Только насчет денег чтобы без дураков. Мы ведь понимаем друг друга, правда? Никаких фокусов.

Хантер сказал, что все понимает.

— Мистер Макнатт, вы не пожалеете. У нас вы будете купаться в деньгах.

— Ну что? — спросил Джимми, когда он вышел из кабины.

Яичница исчезла, и он уплетал картофель "по-домашнему".

— Он сказал семьсот пятьдесят.

— Достанем и столько. Дольше будешь расплачиваться, да малость дороже обойдется, но достать достанем. Ты, Хант, поступаешь верно. Сталь — тут промашки не будет. Не успеешь глазом моргнуть, я буду у тебя брать взаймы.

— Угу.

— А ссудой я займусь сегодня же. Что-то еще важное было... что-то я где-то видел... черт, выскочило из головы. Ладно, потом вспомню. Ты сейчас куда?

— Схожу в одно местечко на Бич-стрит, узнаю, нет ли у них работы.

— Ладно, дружище, ты только не переживай. Смотри на вещи проще. Тебе не в чем себя винить.

Когда Хантер ушел, Джимми снова уткнулся в утренний выпуск "Геральда" и тут же вспомнил, что хотел сказать Хантеру. Статья на первой странице газеты! Яблонски из Объединения горнорабочих, его жену и дочь застрелили в собственном доме.

Хантер шел к бирже труда. Стояло прекрасное утро. В голове прояснялось, туман сонливости рассеивался. Может, не так все и плохо. По крайней мере он сможет сказать Хелен, что нашел постоянную работу. Ей это понравится, ведь, значит, теперь он останется надолго, теперь он привязан — она сразу оттает. И сегодня же вечером он познакомится с ее дочками. Зайдет как бы между прочим с Джимми, будто они случайно оказались поблизости. Так хотела сама Хелен. Интересно, а он им понравится? Вечная проблема — как держаться, как вести себя с детьми. Вечная проблема.

Не так уж все плохо. Через пару месяцев он выплатит долги. Встанет на ноги. Да что там, будет купаться в деньгах.

ФЭЙ ЧАНГ

Фэй Чанг (Fay Chiang) — родилась в семье китайских иммигрантов в Нью-Йорке. Поэтесса и художница, Чанг в первой своей поэтической книге, "Город противоречий" ("City of Contradictions"), 1980, откуда и взяты предлагаемые здесь стихи, ощущает себя прежде всего частицей современного многонационального Вавилона — Нью-Йорка. Она создает свои картины-миниатюры этого "города противоречий" как бы от лица многоязычной толпы, не только от себя. Но вместе с тем из рокота прочих голосов неизменно выделяется голос поэтессы, и в нем слышится приговор городу-спруту.

НЬЮ-ЙОРК

Казалось, и некуда, и нет возможности
отступать.

я не прочь поболтать с тобою,
узнать, каков ты по сути,
не придавая значенья
обличьям и теням.

По городу Нью-Йорку можно мили и мили шагать,
затерявшись в угарном оцепененье.
И вот я бреду.

Мистики и уличные проповедники
свидетельствуют за Иисуса Христа
иль Кришну в обличье зайца,
славят деву Марию на 42-й авеню.

Я СЛЕП. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ. БЛАГОДАРИЮ.
ТОЛЬКО ТАК Я МОГУ ЗАРАБОТАТЬ НА ЖИЗНЬ.
БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВАС. РАСПРОДАЖА ЛЮБВИ И МИРА
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ. СЛЫТЬ РАДИКАЛОМ — ЭТО ШИКАРНО.
ЛЕВИ СТРАУС НАЖИВАЕТ КАПИТАЛ. ДА. ОДНОМУ БОГУ
ИЗВЕСТНО. ИСТИНА В НЕМ. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ МЫ
(МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА) СБИВАЕМСЯ В СТАДО.

© 1979 by Fay Chiang

На ступенях библиотеки львы рычат по ночам. Так говорят уборщицы. Уличные мальчишки и парни на Бауэри визжат, исходя мечтами о леденцовых феях и эльфах... Смотри на вещи проще, парень... иначе свихнешься.

Газетные сообщения:

женщина бросилась с Бруклинского моста,

прижав к себе ободранную куклу;

в дальнем предместье сын убил

мать и отца;

мисс Америка коронуется в Фэрбенксе, Аляска;

большая часть человечества гибнет от недоедания.

Безработные птичьими стаями устремляются на запад или восток, к побережьям двух океанов. На вопрос, какой же в том смысл, один из участников этого марша ответил: а что еще можно сделать?

Пока старики разглагольствуют о питательных свойствах птичьего корма, в магазинах "Пурина" раскупили консервы для кошек и собак.

Главы правительств собрались на газоне пред Белым домом и ищут пасхальные яйца, припрятанные в кустах.

В ООН до поздней ночи продолжается обсуждение.

Таковы шестичасовые новости.

Отчужденных, в нервной депрессии,

нас мотает в трехмерном пространстве —

вверх-вниз, вверх-вниз,

нас кромсает на части механизм

самоубийств и всяческих маний.

КАПИТАЛИЗМ КАЛЕЧИТ ЛЮДЕЙ!

Отступай, погружайся в себя.

ПОМОГИТЕ! Я СЛЕП!

Всполохи света, беззвучно пульсируя,
впиваются в мой воспаленный мозг. Тишина.

Я — раненое дитя,

затерянное в лесу

творчества и человечности,

доверчиво протягиваю руки.

Диалог:

— Мне жаль, что так получилось. (— Не так ли принято говорить?)

- Этого следовало ожидать. (— Какой смехотворный обычай!)
- Я могу вам помочь? Позвольте. (— Не так ли принято поступать?)
- Нет, все в порядке. (— Помощь приходит в самый последний миг.)
- И все же... Мне хочется вам помочь. (— Почему отвергают мое предложение помочь?)
- Благодарю, но уже ничем не поможешь. (— Где вы бываете каждый день?)
- Я хочу хоть что-нибудь сделать. (— Мне, наверно, не следовало приходиться.)
- Тогда просто побудьте рядом. (— Ах, надоело...)
- Ну что ж... Какая нынче погода?

Я так хочу перемен! Попалась в ловушку ценностей, уже утративших значение, я бессильна, лишена опоры, мечусь, отказываюсь, отрицаю, хочу помочь, но не знаю как, я неловка, чрезмерно осторожна в поступках и делах, в конце концов, я не способна ни на что, кроме молчаливого сострадания к тем, кто ждет поддержки, и к тем, кто сам хотел бы поддержать.

Борись, рви узы, упав — вставай, но не сдавайся
УМОМ, И СЕРДЦЕМ, И ДУШОЙ.

Люди стремятся к чему-то,
поэзия — врожденная тонкость духа,
погребенная под сотнями напластований,
но рвущаяся наружу.
Есть ритм,
должна быть работа,
наступит урочный час.

ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ

Эй, мистер,
найдется у вас десять центов, а?
Они позарез мне нужны.
Господин хороший, дайте хоть в долг.
Слышите?

Я сейчас,
ей-богу, рехнусь!
Сколько бестолочей кругом!
Люди только и делают,
что врут, убивают, воруют,
сходят с ума,
не смотрят в глаза друг другу
и ненавидят друг друга.

Ну дайте же десять центов, черт побери!
Вот этими руками
я землю пахал и рыл, мыл посуду,
эти руки не знают покоя с тех пор,
как я был от горшка два вершка.
Там, откуда я родом,
нет башен из кости слоновой,
и выпивка там —
единственная утеха.
Ну, раскошеливайся! Да побыстрой!
Всего десять центов, о боже!
Они позарез мне нужны.

ЛИ

Ли больше не могла смиряться, и вот однажды ночью она выбросилась с пятого этажа, прямо на асфальт. Мы с ней вместе, бывало, лазили по деревьям, когда она угощалась "травкой", ибо лишь так ей удавалось выплеснуть шальную силу из своего тела, тела бездомной бродяжки. Она меня умоляла не покидать ее, как покидали другие, которые только клялись, что непременно вернутся. Она моталась по всей стране на попутках в надежде отыскать любовь. И однажды нашла, что искала, — в шайке бродяг, расчищавших отбросы и снег. Вам ли не знать, как это просто — упустить свое время?

Малышка, сопливая Ли, мы с ней карабкались через ограды, в трансе глазели на лунный диск, мечтая о феях и эльфах, пляшущих летней ночью на Кэтрин-стрит и Мэдисон-авеню, возле парка; и еще мы мечтали о том, что когда-нибудь сможем делать все что угодно. И вот сейчас наркоманы кружат в вальсе под счет "раз-два-три".

Вам ли не знать, не знать, не знать, каково, коль тебя раздирают, рвут на части и нет больше сил? Вам ли не знать, каково слышать мольбу о помощи в тот самый миг, когда тебя самого уносит в круговороте? Вам ли не знать, что я пытаюсь отвоевать уголок, где могла б отдохнуть и успокоиться?

А каково давать под зад тому, кто выбился из сил, кто угнетен и одурманен мыслью о безнадежности, кто неприкаян, лишен даже малой надежды, кого прогнали сквозь строй? Вы знаете тошнотный вкус лежания на полу, в полусознании, в бреду, вкус обессиленности и надлома?

Вам ли не знать, что надо, надо, надо бороться, ибо нет ничего важнее, чем преодоление утра во имя грядущего дня? Вам ли не знать, что есть чудачки, которые мечтают хоть что-то построить; что знание — это борьба; что наше дерьмовое общество и правящий класс ни во что не ставят бедняков; что мы на задворках жизни и никому не нужны; что есть среди нас немало таких, кому от голода не спится по ночам; что есть больные дети без лекарств, без пищи, одежды и крова над головой? И все это в самой богатой в мире стране.

Нам не на что рассчитывать, пока мы сами не добьемся своего.

Из цикла "Образы"

ВЫБОР

Итак, куда направить путь? Широкое калифорнийское шоссе, сверкая в солнечных лучах, оправленное зеленью обочин, и мягким шелестом прибоя, и скалами прибрежными, и чайками, парящими над морем, уносит вдаль.

Так отступают образы иные — вид раненых и стон измученных бессонницей, чья жизнь подобна тонкой нити, натянутой между реальностью и небытием, — и все из-за экономики нашей капиталистической страны.

Минувшей ночью кроткий ветер гнал облака над крышами домов, окутывая пеленою лунный лик. И нежное дыхание смерти коснулось губ моих. Я ощутила зыбкость жизни, пока была на крыше — над кронами деревьев, над сутолокой улиц, надо всеми, кто занят делом или отдыхает в уютном сумраке квартир, над паутиной призрачных огней. А самолеты пролагали курс во все края земли и...

Бывают ночи, когда не удастся смежить глаз, и я встревоженно брожу, смиряя лихорадку мыслей. Мы все ответственны за то, что происходит в мире, и за то, что еще предстоит совершить для Революции. Ведь личное участие в борьбе предполагает самоотречение и отказ от фальшивого и наносного.

Нам следует увидеть мир и жизнь других народов, объездить все страны и континенты, и в первый черед свою собственную страну, чтобы узнать ее не по книжкам и не с телеэкранов, заполненных смесью грязи и мыльных реклам, изображением чьих-то задворков в Пеории, прославлением яблочного пирога и глянцевиной Мэдисон-авеню.

Перешагни через навязанные с детства представления о том, что другие народы: индейцы, негры, китайцы, латиноамериканцы — все, кого называют "А-ну-ка-подай", кого считают мелким печеньем, испеченным в духовке господ бога, — что все они хуже голубоглазых верзил. Даже сейчас в Аппалачских горах есть белые детишки бедноты, перед которыми мы в неоплатном долгу еще со времен колониальных войн. Классовые различья не так-то просто стереть.

На автостраде нет надобности в стоянках, разве что заправить бак бензином или выпить чего-то. Можешь рвануть в Луизиану, где нынче празднуют масленицу, или во Флориду — окапывать апельсиновые деревья, или на юго-запад, или в Фэрбенкс на Аляске, где вечная мерзлота. Короче, куда угодно.

Вот что я сделаю: взглядом упрусь в небеса — пусть ниспошлют ответ.

ГОРЬКАЯ СИЛА

Горечь —

в слезах, не излившихся
из выжженных пламенем глаз,
в зубах, где зажаты
вскрики гнева и злобы,
в яростно стиснутых кулаках.

Горечь —

в ночных кошмарах, временем смятых,
в воспоминаньях, бредущих по тропам
забытой родины,
в духе, разбитом о скалы.

Горечь —

в мятущихся душах, бесплотных,
кружащих в полете,
в жизни, сведенной к неповторимому мигу.

Сила — это

стремление выжить, невзирая на
смертное пламя,
утробные вопли,
опаленные лавой умы и сердца.
Терпенье куется на наковальне воли.

Горькая сила залита солнцем,

как плечи и спины землепашцев,
как руки, сполна познавшие тягость работы,
как ноги, надежно упертые в землю.

Горькая сила переплелась
с тем, что сливает нас всех
в семье и родстве, —
с материнством, отцовством,
братством, дружбой, любовью;
с тем, что каждый, любя,
отдает и берет;
с потребностью знать,
откуда идут его корни,
куда мы стремимся,
мы — звенья преемственной цепи.

Горькая сила питается жаром
сердец и древних сказаний,
песен в веселом застолье,
мелких утех и общих секретов.

Горькая сила ведома всем —
черным рабам на плантациях хлопка,
филиппинским безродным трудягам,
всем, затравленным геноцидом,
белым беднякам в Аппалачах,
азиатам, загнанным в лагеря,
всем, кто поит и кормит
идущие в рост небоскребы,
прожорливые автомобили,
всемогущий Уолл-стрит,
войны за океаном,
форты и тюрьмы, богатство и власть.
И созревает горькое семя
на индийских полях,
в гетто пуэрториканцев,
в стычках на юге Африки,
на Карибских островах,
на угольных шахтах Уэльса,
на азиатских желтых полях —
всюду, где люди желают знать,
откуда идут их корни,
куда они стремятся,
узнать все звенья преемственной цепи.

Семена революций брошены в почву.

Горькая сила не канула в прошлое.

Горькая сила —
это наши кровные узы.

ПЕРВЫЙ ШАГ КУЛЬТУРЫ — ГНЕВ

Мне говорят:

пора отречься от гнева,
он постыден, позорен,
ты его подави!

Мы, глухонемые с рождения,
вперяем невидящий взгляд
в реальность жизни,
пылаем от боли,
и тщетно рвется с наших губ
отчаянный крик.

Все то, чем наполнены наши жизни,
будет длиться и вториться
в тайном сговоре поколений,
идущих на смену друг другу.

Нам остается только одно:
рвать этот тайный сговор,
себя выплескивать в плаче,
пока гнев не станет
общим знанием и достоянием.

УЦЕЛЕВШИЙ

У них особое чутье на уцелевших:

слезай, не рыпайся,
пригнись пониже,
держись подальше

от вершин почета и славы, цилиндров, моноклей,
реющих знамен и парадных оркестров,
гостиных, театральных залов
и кабинетов, отделанных слоновой костью.

Они — это те, кто мертвой хваткой вцепился во все,
до чего удалось им дорваться, —

в загородные клубы и собственные квартиры,
"кадиллаки" в рассрочку,
уикенды на Карибском взморье,
театральные премьеры.

Они — это те, кто рвется к вершинам почета и славы,
к реющим знаменам,
кому нет никакого дела, откуда берется
все то, что они получают, —

плевать им на грязные задворки и перекрестки,
где в три часа ночи ни пожрать, ни отоспаться,
на телеки, бары и залы для дешевых зрелищ.

Они — это те, кто пытается уцелеть,
те, кто никогда ничего не имел.

Они будто бы сговорились:

ты просто псих, если спрашиваешь: все ли верно?

Ты просто свихнулся, если думаешь: жизнь-то наперекосяк.

Ты просто лишний, тебя пора пустить в расход,
если пытаешься что-то исправить.

Ну и пусть!

Спрашивай,

думай,

вноси перемены!

Только, малыш, не кипятись —

ведь именно они сжигали в Салеме "ведьм".

ЭРЛ НУРМИ

Эрл Нурми (Earl Nurmi) — род. в 1942 г. в Дулуте, штат Миннесота, в семье иммигрантов-финнов. Отец, рабочий, погиб во время катастрофы на заводе. Семье пришлось бедствовать. Первое стихотворение Нурми написал в двенадцать лет. У Нурми пока вышло два поэтических сборника — "Разное" ("A Diverse Gathering"), 1979, и "Мир — мое отечество" ("My Nation The World"), 1981, откуда и взяты предлагаемые стихи. Поэт одинаково мастерски владеет полнотой звучания и полутонами, сложностями ритмического рисунка, рифмической стройностью и прихотливостью верлибра. В его поэзии, возвращенной на американской почве и американской "по закваске", звучат отголоски уходящей для поэта в прошлое исторической родины, характерные приметы тягучей финской лирики, северной аскетичности. В поэтических образах Нурми перед читателем, кроме того, предстает поэт-гражданин, поэт-борец, которого тревожит мысль о завтрашнем дне человечества.

ВОСПОМИНАНИЕ О МОРЕЛИИ¹

И было вино еще недопито,
И мариачи, бродячие музыканты,
Которые так хорошо играли, а ты был пьян...
В ту холодную ночь
Я очнулся на крыше у самой ограды.
Я смотрел на дальние шпили соборов
Под Сатурном,
А перед глазами плыли
Коляски,
Старухи,
Завшивевшие малютки,
Украшения, апельсины и солнце,
Щебенка и камень другого мира
И смуглые сдержанные мужчины,
Потомки Кецалькоатля
(Все божества воскресают в свой час).
В модном

¹ Столица штата Мичоакан в Центральной Мексике.

Отеле

“Еще порцию, шеф?” — официант спросил.

А я уже выпил порядком.

Стоя в лунном свете над городом,

Перед собой видя только бульвар,

Окаймленный листвою, —

Я путешествовал по бульвару! Я стал

Больше чем человек и, однако,

Человеком прежде всего.

Я сделался настоящим

Сыном Кецалькоатля,

Смуглым и хмурым.

Они, мои братья, видели, как я лечу.

“Еще, еще земли запихнуть

В твою ненасытную глотку!”

Нет, нет,

Здесь и так слишком много земли.

Мужчины у вас как комья,

Мужчины с каменными руками,

И этот бульвар ваш

Проходит насквозь

Вокруг и внутри

Земли.

Скажите же, что есть любовь,

Холодно здесь, и звезды так яркие,

Прильнуть бы к груди Земли,

Да она занята другими.

Я хотел бы вашей землею стать,

Я хотел бы идти по вашим аллеям,

Но меня пугают комья и глыбы,

И только в мечтах я ваш.

Подожди! Подожди! Реальность!

Ты же малая сущая часть.

Смуглый брат, ты один из многих.

Я мечтаю быть вашим, одним из вас,

Кто растит маис и месит лепешки.

И говорю я о целом мире

Как живой его современник.

Позвольте мне сделать большую лепешку

Из фондовой биржи

И проглотить...

Я живой современник.

Все ваше — мое.

Земля прорастает из этой точки,

И вся любовь наша здесь,

За этой оградой,
У кромки,
Бродяга! Меня презирают —
И, в общем, за дело.
Смуглый брат, я знаю и признаю
Твой труд, я и предки мои
Знавали такую работу.
Все мы дети времени одного,
И каждый из нас —
Средоточие
Большого труда. Вся жизнь наша здесь,
За кромкою, в самом сердце.
Вся наша общая боль.
Ведь любовь — первейший общественный акт.
Я есть потому, что я — ты,
А ты — это я.
Не нужно больше вина,
Приятель.
Смуглый брат, мы вместе с тобою пойдем
Всей землей по тому бульвару.

ЧУЖИЕ ЛАНДШАФТЫ

Есть безлюдные города,
все в огнях, но как вымерли.
Есть черные бесконечные трассы
непогрешимо
прямые.
Там черные ночные шоссе
и слышится конский цокот,
хотя вокруг никаких коней.
Есть бескрайние степи,
безлистные и холодные.

Здесь человек безумен,
ибо взял на себя
боль мира,
идет спотыкаясь в поисках
харчевни, ночлега, приюта,
безумно алчет комфорта —
комфорта во всем.
Вне и в нем
пустоты миров, городов и слов
и цокот конских копыт,
хотя нет коней кругом.

Так же явственно зрим
этот мир, представляемый им
продолжением зримого мира,
и эти шоссе без конца,
и отчетливый цокот копыт
без единого жеребца.

ИЗ СТИХОВ О СТРАНСТВИЯХ

В начале был лес и были в лесу
ясные и говорливые воды
были северные края суровых мужчин
и сильных суровых женщин
были озера покрытые льдом и ферротипия
рудовозов были дымы
от огрызка карандаша
захолустные города с тишиной и снегом.
были товарищи по печали и товарищи по веселью
братья в труде и братья в беде
и трудные дети их горькие рты
в оскомине от отцовских ошибок
был серый дом из старых преданий
исхлестанный лютым ветром и стылým дождем
были контуры ледников и гигантских камней
валуны и эпические холмы и торфяные болота
были убогие школы, места живые свидетели
моих первых тревог и тайных радостей где бродил
весь смятенный и как чужой всегда как чужой
где бродил в этих добрых краях и искал семена
и укромное место искал отдохнуть от всего
были яркие красные дни осенней уборки
было много чего другого, да, много чего

МЕНЕСТРЕЛЬ

Моя песня, волшебное дерево,
из бесплодной земли поднялась,
из песка она выросла серого
и шумит, зеленея для глаз.
Не для тех, кто с луженою глоткою,
а для тех, кто без пробок в ушах,
то худая она, то короткая,
то высокая в горле у птах.

И летит она в доли широкие,
по озерной несется воде,
здесь ли, там — зачерпнут ее многие,
раньше, позже — услышат везде.

О БОЖЕ ПОДАРИ МНЕ "МЕРСЕДЕС"

Поэт Джэнис Джоплин

О Боже подари мне Тадж Махал
Ты и щедрей подарки раздавал
А нет вели чтоб ангел твой прибрал
Поскольку боль под сердцем ножевая

О Боже укажи мне путь домой
Оглохли уши холод гробовой
В костях намерз пока в тоске слепой
Гребу я Иордан переплывая

О Боже благодать темна твоя
Где в ссадинах бреду на ощупь я
За каждой дверью прячется змея
И я не знаю где земля другая

О Боже если миф дары твои
Возлюбленному розу подари
Скажи что хоть скалу мне отвори
Из рук слепых уйдет вода живая

Но с песней я лечу под своды рая
Мелодии как семена бросаю.

ВРЕМЯ

Время тикает без часов.
Все часы я закину в реку
и однажды найду среди валунов,
там, где вертит река воронки,
ржавые шестеренки.

ФИНСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Ушедшее лето
Не в силах забыть.
Никак не могу я
Тебя разлюбить.

Зимние вьюги,
Дни чередой.
Хоть юность уходит,
Я снова с тобой.

Приди на мгновенье
Надеждой ко мне,
Чтоб долгие годы
Мне сниться во сне.

НОЧНЫЕ МЫСЛИ

Дней заведенных долгое круженье
бегущих стрелок утомляет ход,
вот-вот и прекратится поворот,
движение вперед и возвращенье.

Одни сидят. Те на ходу стоят.
А эти чертыхаются в смятенье
и знай бегут куда глаза глядят,
пытаясь обогнать свои же тени.

Да надо ли? К чему бы этот гон?
Я перед жизнью собственной честен.
Но выход предрешен. Исход известен.
И чем яснее, тем нелепей он.

ДЖАЗМЕН

Джазмен, джазмен, птах чернолесный,
летающий над ночью бездной,
о, вытянет ли Шеф Небесный
такой же леденящий звук?

О чем взывает к высшим судьям
саксофонист своим орудьем,
к высотам джазовым несет он
мелодию и кормит с рук?

Вот барабан рассыпал трели,
и с черной палочки взлетели
корнет и контрабас — и град
ударов перешел в каскад.

Вожак ли певчий зорким глазом
товарищей окинул разом?
Им улыбнулся наконец
тот, чье орудье сам певец.

Джазмен, джазмен, птах чернолесный,
летающий над ночью бездной,
о, вытянет ли Шеф Небесный
такой же леденящий звук?

*Соловью-саксофонисту
Чарли Паркеру*

* * *

Глубок океан и безбрежен как мир
моря мы узнали и земли
Открытостью сердца велик человек
и мудр непредвзятостью зренья

Дар неба огромное солнце над ним
подарок земли шум древесный
Он может бежать если волен душой
а если не волен — петь песни.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Вот крепостные стены,
Зачем их здесь воздвигли?
Чтоб защищали форт.
Но от какой угрозы воздвигли этот форт?
Да мало ль! От индейцев.
От англичан, французов
И от конфедератов.
Да мало ль от кого!
А что, индейцы часто атаковали форт?
Нет.
А британцы часто?
Нет.
А конфедераты?
Нет. Никогда. Никто.

Тогда зачем воздвигли
здесь крепостные стены?

* * *

Смысл ясен,
и цель ясна.
Хотя голод в мире и страх как во все времена,
будет мир и кончатся тяжбы братским согласием.
Смысл ясен,
и цель ясна.

Смысл ясен,
и цель ясна.
Хотя войны еще и свободы растет цена,
будет мир и кончатся войны братским согласием.
Смысл ясен,
и цель ясна.

Смысл ясен,
и цель ясна.
Хотя льется кровь и заря веков холодна,
не сдавайся, друг! будут светлые времена,
будет мир и кончится дело братским согласием.
Смысл ясен,
и цель ясна.

ТЕМ, КТО НЕ СЛЫШИТ НАС

В море войди. Сделайся твердью.
Умри, погребви себя в плоти других.
Червем пролезь в их сердце, кости и мышцы.

Я масса. Я всюду.
Меня нельзя избежать.

Маску сорви, скрывающую лицо
фарисейского милосердия и низкой алчности.
Обведи им веки красною тушью,
крупно выведи их имена
и выстави перед небесным вершителем.

Я масса. Я всюду.
Меня нельзя избежать.

Голодный, я вижу, как вы проходите.
Вы сыты. А я в обносках дрожу.
Вы модно одеты, и вы смеетесь.
А я молчу. Я устал
от всех печалей и всех веселий.
Вас это смущает, да?
И вы не можете спать спокойно?
У вас кошмарные сны?
Да как же случилось, что я вас преследую
оттуда, куда вы меня упекли?
И почему вы меня боитесь?
Разве я вооружен?
Я масса. Меня нельзя уничтожить.
Меня убивали миллионы раз —
однако я жив, как видите.

МАЙК ХЭНСОН

Майк Хэнсон (Mike Henson) — рабочий из Цинциннати, штат Огайо. Его рассказы и стихи публиковались в журналах и антологиях. Повесть "Найди свое!" ("Ransack"), 1980, — первая книга молодого писателя. После нее вышел в свет сборник рассказов "Не комнатуха, а грех на мою голову!" ("Small Room with Trouble on My Mind!"), 1984. Майк Хэнсон пишет о рабочих, о простом люде Аппалачей. Его емкая, насыщенная поэтическим видением проза передает глубокие психологические нюансы характеров; даже в бытии самого безысходного "дна" писатель улавливает ростки человеческого протеста, нравственную чистоту, пробуждение достоинства, самосознания.

НАЙДИ СВОЕ!

Невыносимо в доме без огней,
Но Милосердые дышит у дверей.

Уильям Блейк

Впервые его затянуло в этот омут тогда, на заднем сиденье разбитого "бьюика", что стоял в глухом проулке в тупике. В общем-то в машине ничего, только мало ли как обернется. Могут застукать. Или после хлопот не оберешься. А долго ее тогда уговаривать пришлось, чтоб пошла. Он сидел, поджидал за квартал от ее дома в машине Билли Эрвина, курил, перебрасывался словами с одним, который знал, где берут таблетки. Первая забота — таблетки, выпивка. Откуда еще взять такую мощь, такую свободу, как бывало в те ночные часы в парке, когда они разлягутся на траве, в мальчишеской крови ходят яростные, зыбучие токи, руки кажутся невесомыми, движения растянутыми, в голове кружит, и еще несмелое мужское естество крепнет, наливается, и они катаются по земле от хохота.

— Подонок я, мразь! — вопят.

Или:

— Пропади все пропадом!

И все куда-то проваливается.

А потом они бегут по улицам, а если натыкаются на негров,

обитающих через квартал, тогда, бывает, переулки и пустые автостоянки оглашаются криками, звенит разбитое стекло, слышен топот нагоняющих, топот убегающих. И перебранка:

— Скотина деревенская!

— Черная образина!

А раньше, вспоминал он, до всего этого, были горы, и собаки бежали куда-то, а он лежал ночью в кровати, прислушивался. И тянулся раскатистый лай, подхватываемый то одной, то другой собакой, и уносился далеко, откуда было уже ничего не слышать. А по утрам солнечные лучи, просвечивая сквозь листву, золотили воду горных речек. И отец приходил домой с шахты, а по субботам бывал пьяный и злой; потом шахту закрыли, и отец, пьяный и злой, сидел дома; чтоб прокормить семью, оставалось разве что стрелять дичь, ставить капканы на зверье, валить лес, ну и пособие по безработице, потому они бросили свое жилье в горах, подались в город. Он помнил, все помнил.

Ну, когда вспоминал про нее, ту девчонку, становилось не по себе. Они ныряли с ней в глухой проулок, где стоял растащенный по частям старый "бьюик" Мэрфи; покореженный, с выбитыми стеклами, он походил на разбитую о скалы лодку; разграбленный, ободранный, выпотрошенный "бьюик" уютно примостился здесь в тупичке, среди кирпичных и деревянных строений, в черной решетчатой тени от пожарной лестницы. Из машины растащили все сколько-нибудь пригодное для дела и ценное, осталось только массивное черное сиденье. Ребятишки выбили камнями стекла, и крохотные бусины осколков усеивали площадку, поблескивая там и сям в свете уличных фонарей среди заляпанного мазутом гравия. Под ногами в машине было полно всякого мусора, но заднее сиденье заботливо выбивалось и вычищалось.

Временами откуда-то из окна раздавался крик, будто режут кого. Но в самом проулке никто не появлялся.

Она не говорила ничего обидного. Не упиралась. Ни разу не оттолкнула его от себя. Пятна теней будто вмятинами темнели у нее на лице, на плечах. Он и она срастались друг с другом медленно и тесно, как сплетаются глубоко в земле длинные белые корни.

Но что-то ему постоянно мешало, он никак не мог понять что. Словно сверху на него наваливалось кряжистое дерево, и опутывало ветвями, и не пускало.

В "бьюике" они бывали недолго. Когда все кончалось, оба замирали, вытянувшись на мягком плюшевом сиденье. Как-то раз пошел дождь, они лежали, а капли падали на них, и снова они потянулись друг к другу. Но обычно просто лежали бок о бок, он курил, а она, положив растрепанную голову ему на плечо, пощипывала мягкий, светлый пушок у него на подбородке.

Вот в такие минуты на него и находило, и тогда словно возникало что-то внутри, словно где-то в мозгу вырастало непонят-

ное, новое, упрямо и своенравно пробивая себе дорогу; резко поднявшись, он садился, швырял окурок в окошко и принимался одеваться. Его била дрожь, руки и ноги дергало, трясло, сводило болью. Что-то подталкивало встать, идти. Он говорил себе: "Мне надо уйти от нее". Сам не знал почему.

Когда же она приподнималась и дотрагивалась до него рукой, он весь напрягался, крепился изо всех сил, чтобы не оттолкнуть ее. И никак не мог понять, откуда это напряжение, эта дрожь в ногах, в мозгу, понимал только, что должен идти, если даже тянуло, звало остаться. Потому что в такие минуты он боялся самого себя, боялся — если не уйдет, ему захочется убить ее.

Вот чем памяты были ему те свидания. Что запомнилось ей, он не знал. Встречались раз пять-шесть всего в том старом "бьюике". Потом она куда-то делась, да и он подался из города.

С тех пор у него уже в привычку вошло перебирать в уме, сколько в жизни он упустил всякого, и какой он невезучий и никому не нужный, и ему хотелось только одного — чтоб оставили в покое, не мешали обо всем этом думать.

1

Сет проснулся, от холода сводило руки и ноги, его колотила дрожь; после сна, которого он уже вспомнить не мог, ему было тревожно, тяжело, гадко. В его закутке под лестницей слышно было, как кашляет старик за стенкой — вот так он прокашлял всю ночь. Откуда-то из домового нутра донеслись мелкой россыпью ощутимые, но невнятные утренние голоса — мужской и женский. Раз посреди ночи распахнулась дверь на втором этаже, женский визг вырвал его из сна, он вздрогнул, дернувшись, как рыба на крючке, да так и завис, сонный, не соображая, что происходит, потом визг перешел в ругань, ее оборвала тишина, безмятежная, как стоячая вода.

Всю ночь он промаялся в полузабытии, а слух вбирал дыхание каждой комнаты в доме, точно сипение глухих закоулков в старческой груди. Монотонно, как ходики, кашлял старик, шуршали крысы, заливался младенец, поскрипывали деревянные балки, тащился, спотыкаясь, припозднившийся жилец, трещала усохшая половица, мерно дышали в своих постелях все мужчины, все женщины и все дети, но стоило Сету, проваливаясь в дрему, уютно поплыть в потоке сна, как взорвался этот самый визг, непонятный, резкий. Когда Сет опять стал засыпать, его словно затянуло в сон и закрутило, швыряя, как щепку, и так несло, пока не прибило к берегу.

Голоса из раскрытой двери доносились все явственней — и вдруг оборвались: дверь закрылась, и Сет услышал, как кто-то в сапогах начал спускаться с лестницы, шаги гулко надви-

гались на него. На улице занимался день. Утренний свет, прорвав ночной сумрак яркими лучами, играл на смоляной обмазке телеграфных столбов, высвечивая камешки и влажные следы дождя на темном асфальте, кирпичи и камни на обочине, серебря железное кольцо при обочине, к которому полвека назад призывали лошадей.

Узкий луч света, улизнув с улицы, криво падал в коридор, освещая дощатый пол и истертый камень верхней ступеньки крыльца, обнажая облупленную стену под самой лестницей, выставляя напоказ темные деревянные перила. Однако до Сета не доходил; в углу под лестницей за штабелем ящиков, где Сет провел всю эту долгую, наполненную звуками успокоившегося жилья ночь, было темно.

Сапоги над самой головой прогромыхали по лестнице вниз, затопали по дощатому полу, и мимо Сета прошел человек с завтраком под мышкой. На мгновение возник, освещенный солнцем, в дверном проеме, как портрет в раме. Вышел на улицу.

Сет поднялся, сел, испугавшись, что, если опустится на пол, снова заснет, и тогда его здесь обнаружат. Он натянул куртку и прошмыгнул, пригнув голову и скрючившись, под лестницей, потом по коридору — за порог, на улицу.

На ходу щеки покрывало влажной моросью; Сету хотелось, чтобы поскорей солнце поднялось повыше, растопило затаившийся внутри холод. Начало лета, если спишь на улице, по утрам всегда зябко; когда же шел дождь, Сет забивался на ночь в какой-нибудь подъезд. А к полудню наверняка взмокнешь от жары, придется куртку сбросить.

Впереди на углу он заметил голубую патрульную машину, полицейский выжидающе замер рядом, скрестив на груди руки. Сет напрягся как струна. Потому что, когда вернулся в этот город, его тут же загребли в участок. В тот день Сет сцепился с одним, после этого все руки были в крови. Вспомнил, как стоял тогда на углу, в голове туман от таблеток, внутри все подсакивает, мчится, растягивается, кажется, вот-вот его разнесет на куски; и больше всего на свете хотелось тогда спать. А брата дома не было, дверь оказалась заперта, и, когда он примостился у входа, объявилась какая-то старуха, пригрозила, что позовет полицию, пришлось опять идти на улицу, искать себе прибежища, и только он вышел, к нему прицепился какой-то парень в длинной куртке, Сет огрызнулся: "Отвали!", тогда парень пихнул его к стенке, Сет размахнулся, двинул ему, и тут парень бросился на него, полоснул ножом по рукам и был таков. И Сета с окровавленными и изрезанными руками понесло опять на тот самый угол, и как раз когда он, чувствуя леденящую тяжесть в нелепо подрагивающих на весу руках, рассказывал любопытным, как было дело, мимо проходили двое полицейских. И не успел Сет спрятать руки за спину, те остановились, повернулись и, скрестив на груди руки, уставились на него. И толь-

ко Сет увидел, как они разглядывают его, сжав жесткие, будто из ременной кожи, губы, его словно пригвоздило к месту. Слова застряли в горле, он быстро оглянулся: может, они на кого другого смотрят, — но, увидев, что больше не на кого, потому что остальной народ либо глазел на него же, либо расходился, Сет направился было по улице к дому, где жил брат, но один из полицейских окликнул его:

— Эй! Что там у тебя с руками?

Сет повернулся, хотел рассказать, как на него напал тот парень, объяснить, что сейчас идет к брату, потому что хочет спать, а кисти рук при этом продолжали нелепо трястись перед ним, и полицейский в белой рубашке отпрянул:

— Опусти руки, не марай меня своей поганой кровью!

Сет опустил руки, в мыслях пролетело: "Так вся кровь к черту вытечет!", и он повернулся, чтоб убраться восвояси, но полицейский остановил его:

— Ты что, глухой? Тебя спрашиваю, что с руками?

Снова Сет обернулся к ним, снова хотел рассказать, как его полоснули ножом, но слова застряли в глотке, забились, как птенец в терновнике, и чем отчаянней он пытался высвободить их, тем крепче они увязали. А полицейские все стояли, скрестив на груди руки: крепко зажаты в пальцах дубинки, крепко сжаты губы — и Сет снова поднял кисти, махнул полицейским, чтоб проходили, а сам двинулся прочь по улице, но тяжелая пятерня легла сзади на плечо, и голос произнес:

— Отвечай, я жду!

Тогда Сет взял и стряхнул окровавленной рукой белую полицейскую пятерню со своего плеча. И только перед глазами полицейского ярко блеснула кровь, он тотчас же схватил Сета за кисть и резко вывернул, так, что у Сета все помутилось — казалось, вот-вот лопнут глаза и все, что есть в голове, неистово брызнет наружу, — и с силой швырнул Сета к стене дома. Пока полицейские обыскивали его, кирпичная крошка сыпалась Сету на глаза, на щеки. Он сопротивлялся как мог.

В тюремной камере кровь на руках за ночь свернулась, запеклась черными, мелкими, как муравьи, сгустками, и тут ему стало чудиться, будто кости начинают медленно расползаться. Именно там, впервые оказавшись без таблеток, он понял, что это такое; и это тяжкое похмелье, и эта боль в руках настолько помutilи его разум, что Сет потерял счет дням своего заключения.

Но вот его выпустили, и он снова оказался на улице, а в кармане всего четыре доллара, он стоял и думал: "Надо найти работу, надо куда-то приткнуться. Так дальше нельзя". — "Да где уж!" — мысленно возражал он сам себе, — разве они мне дадут пробиться, если даже найдется работа?" — "Дубина! — обрушивался он на себя. — Сам мимо рук пропускаю, когда случай подворачивается!" Вспомнилось, как однажды он полу-

чил работу на фабрике: надо было укладывать рядами коробочки с детским пластилином, готовить к погрузке. Сотни ярких, красных с желтым коробочек вываливались по скату на конвейер, откуда он хватал их и складывал, хватал и складывал, и так бесконечно, как заведенный, часами, ладони и пальцы горят, а перед глазами только: красный — желтый, красный — желтый, и одна мечта — остановиться, хоть на миг, чтоб хоть руки опустить, чтоб остыли, отдохнули, а потом — опять к конвейеру, хватать и складывать очередной штабель красно-желтых коробок с пластилином. Так и шло — хватай, складывай, — пока наконец, после двух подряд ночных смен, ему не стукнуло в голову: "За каким чертом тратить жизнь на это занудство!", тогда схватил он коробку и плюхнул прямо на ноги мастеру, ну а после этого его рассчитали и с треском выставили.

И вот сейчас, поутру, он стоит посреди улицы, руки в карманах, и ломает голову, куда бы приткнуться, поскольку брат запертил к нему являться.

Сет уехал из этого города, когда мать вернулась в Теннесси, а отец снова как сквозь землю провалился; тогда и Сета понесло дальше, в штат Миссури, в Джексон, а деньги он стянул в лавке в каком-то городишке у подножия гор, в Теннесси. А когда в Джексоне деньги кончились, устроился там работать, но вот и эти места ему опостытели, и он снова, один как перст, пустился в путь, отправился через реки, через пустыни и горы в своей старой джинсовой куртке, с сумкой через плечо, где лежали свернутое одеяло, кое-какая одежда да старый материнский железный крестик, который та вытаскивала наружу в церкви всякий раз, когда молилась, и который отдала сыну, поняв, какая ему досталась доля. Попал в тюрьму в Айдахо. В Колорадо к нему, спящему, на живот заползла гремучка. В Орегоне он перелопачивал навоз для подкормки шампиньонов. В Калифорнии подхватил срамную болезнь и ему вlepили четыре укола в задницу. Там же жил с одной женщиной; как-то ночью та лениво потянулась приласкать его, и тогда вдруг его руки принялись яростно молотить ее, словно их кто-то толкал со стороны, он даже отпрянул, оглянулся, кто направляет его руки, его кулаки, а когда все это кончилось, ему стало жутко: как жестоко его собственные руки избили ее, и он кинулся бежать, словно хотел скрыться от своей беды, от лиха, что засело, спряталось, как загнанная гончими лиса, в глубоких тайниках мозга.

В дороге, поджидая попутку, торча на холоде посреди шоссе, он стоял и смотрел, как постепенно, один за другим, гаснут огоньки в домах, и вот уже весь степной городок погружается во тьму, а он все стоит на том же самом месте, и ему чудится, будто и в нем, как в доме, потухает одно окошко за другим, и неудержимо хочется погрузиться в сон, чтобы взлететь. Долгожданная машина обрушила на него поток света; прибавив скорость, ослепила сиянием фар и промчалась мимо, взметнув на

нем одежду потоком встречного ветра, запустив ему по ногам дребезжащей жестянкой из-под пива. "Сволочи!" — пронеслось в голове. От встречного ветра, от воздушной волны он словно стал неподъемным, как та бетонная труба, что лежала у дороги, ждала, когда закопают. И чтоб не упасть в кювет, чтоб стряхнуть с себя тяжесть усталости, он оторвался от придорожного столба, где стоял, и всю ночь напролет прошагал, не видя шумно и стремительно пронесившихся мимо автомобилей и грузовиков, тянувших на прицепах железные балки; он шел, пока не пришел в очередной городишко, там, горя как в лихорадке, разжился таблетками и снова, глотая их прямо на ходу, шагал бог знает сколько еще дней и ночей, по дороге трижды добывая таблетки, и вот, еле волоча ноги, добрался до Цинциннати, узнал знакомые улицы, и хотя все над головой и под ногами словно принялось рушиться, он все-таки плелся вперед, уворачиваясь от падавших обломков, тащился мимо людей, может, знакомых, но не узнаваемых, пока не забрел в пустой дом, где, помнил, жила когда-то мать, и здесь силы оставили его.

Старик пьяница, что ходил за ним, сказал, будто Сет пролежал так на полу двое суток, бормоча что-то, мечась в забытьи, а потом заснул, и пьяница решил, что он помер, но Сет пришел в себя. Почти на все оставшиеся деньги купили и съели вместе хлеб и колбасу, и Сет еще пару дней прожил в этом старом доме, пока ему не опротивело слышать, как по ночам шуршат и спуют крысы, и пока старика пьяницу не загребли на улице полицейские и не отправили в исправительную тюрьму.

Только он очнулся, немедленно почувствовал, что голоден. И с той самой минуты как Сет пришел в себя в старом доме, где, казалось, должен помнить все закоулки, но где все было ему чужим, ему хотелось только есть, больше ничего.

Тогда-то он и разыскал брата, прожил у него с неделю, приходилось забираться спать повыше, на пожарную лестницу, подалее от детского ора и липких от шоколада рук; всех малышей он никак не мог упомянуть по имени, потому что в доме брата жила еще и сестра братовой жены — уйма народу. Но тут его как раз арестовали, в тюрьме он чуть не свихнулся, и после брата вышвырнул его вон.

Теперь, измученный, больной, бездомный, весь в трясучке, Сет стоял на улице города, единственного в мире, где ему хоть когда-то и в чем-то повезло, где он раз решил: хватит мотаться, и следом же, сам того не желая, влип в историю с полицией, перечеркнувшую все его благие намерения. И Сет сказал себе: "Тут не хуже, чем в любом другом месте. Останусь, только бы не лез ко мне никто". Он стоял утром на углу в той самой куртке, с той же сумкой, с тем же крестиком, а полицейский застыл у машины перед пустым домом у пивной: руки скрещены на груди, усы лоснятся, ремень оттянут баллоном со слезоточивым газом, кобурой, наручниками, коробкой с патронами. Электрон-

ный голос, приглушенный, сиплый, отрывисто вылетал из висевшего на шее аппарата; внезапный щелчок — голос оборвался. Сет не спускал глаз с полицейского, а тот скользил взглядом сначала по Сету, переходившему улицу, и вдоль улицы, и к следующему углу, потом взгляд устремился куда-то вдаль. "Видит, что с вещами, — думал Сет. — Понял, что я бездомный. Что бродяга. Не так ступишь, не туда повернешься — мигом загребет".

Сет свернул за угол, и полицейского уже не было видно. "Хоть бы только они оставили меня в покое", — думал Сет. И вот уж где-то в потемках, в глубине сознания сдвинулось что-то. Ему чудилось, будто чья-то невидимая рука опускается сверху ему на плечо.

*

На земле среди гравия, песка и битого стекла валялось что-то похожее на большую грушу. "Баба, ею стены рушат, — мысленно определил Сет. — Значит, поблизости сносят дом". Крапчатая, как мрамор статуй у здания суда, твердая, округлая поверхность была запорошена кирпичной крошкой, вспорота шрамами. Сверху торчал петлей металлический трос. "За него эту штуку и цепляют, когда по стенам бьют", — подумал Сет. Нагнулся прочесть, что выбито у основания, но буквы начисто стерло от ударов. Сет огляделся. Вокруг стояли три пустых дома. Приколоченные к окнам нижних этажей доски покособились, разъехались. Сету стало не по себе, как-то тревожно, он снова оглянулся, посмотрел на каменную грушу, словно боялся, что она шевельнется. В голове пронеслось: "Им бы только все разрушать. Что им дом снести, где ютятся бродяги, что им живых людей погубить — раз плюнуть; и не узнает никто, разве что камни. Вот так и я однажды проснусь, а на меня потолок рухнет".

Здесь ничего не росло, ни травинки, ни корешка, ни веточки вокруг, лишь одно тоненькое, в обхват ладони, кривое деревце с пучком листьев на верхушке. Худосочными, цепкими, как пальцы, корнями оно впилося в крохотный островок земли на крыше кирпичного гаража за пустым кирпичным домом. "Откуда там земля? — мелькнуло в голове у Сета. — Может, дождем занесло? Что ж это за дождь был такой? Чудно".

На деревце была развешана чья-то одежда — рубашка, кепка и еще что-то непонятное, все рваное, линялое от дождя и солнечных лучей, не баловавших задавленное тенью кирпичной стены дерево.

"Недолго ему тут расти", — подумал Сет.

*

Круто, круто, круто, крах-х-х! Круто, круто, круто, крах-х-х!
Позади заваленного битым кирпичом и развороченного гу-

сеницами тягачей дворика, среди тяжелых клубов желтоватой пыли маячила башня крана с кабинкой-коробочкой, доносилось тарыхтенье моторов и внезапный, тяжкий вздох рушащейся массы: это черная металлическая пасть крана вгрызалась в плоть уходящего кирпичом в землю, стянутого железными скобами, серого каменного с деревянным чердаком дома.

Круто, круто, круто, крах-х-х! Круто, круто, круто, крах-х-х!

Кран откатился, облако пыли на мгновение рассеялось, и Сет увидел крановщика: тот, как боксер перед схваткой, замер, уставившись на дом, руки застыли на рычагах. Вокруг стояли рабочие — несколько человек с ломami в руках, один у грузовика, двое держали шланг, поливали стены, чтобы прибить пыль или потушить огонь, если где загорится; один рабочий срезал автогенom железные скобы и болты с выбитых деревянных балок.

“Может, и мне работа найдется”, — подумал Сет.

Кран снова пошел на дом, поднял ввысь свой зубастый откидной черпак, врезался им в стену, и шарнирные челюсти сомкнулись, захватив обойму кирпича. Потом черпак отплыл назад и, разинув зубастую пасть, обрушил кирпичи вниз, вместе с облаком пыли. После этого кран развернулся и, словно дубинкой, долбанул черпаком по стене, и кирпичи загрохотали вниз, задевая по кабине крановщика; одному из рабочих, которые орудовали шлангом, прибивая струей воды облако пыли, пришлось отпрыгнуть в сторону.

С каждым ударом рушилась часть дома, и осевшая пыль взвивалась с поверженных стен и от груд кирпича и щебня на земле, поднимаясь влажными от шланговых струй клубами и густыми пыльными лавинами, тучи песка, известки, древесной трухи, штукатурки затягивали улицы вокруг, дерево на крыше гаража, Сета.

И когда снесли почти всю крышу и почти всю заднюю стену — обнажилась внутренность. Глазам открылась кухня: на раковине висит тряпка, посреди пола дыра, и у самого края, удивленно, будто застигнутые врасплох, застыли стол и два стула.

В глубине двора, там, куда не долетали рушившиеся кирпичи, Сет углядел рабочего в строительной каске с большой метлой в руках. Подошел к нему, тронул за плечо.

— Работа есть?

— У старшего спроси.

— А где старший?

— Да вон он.

Рабочий указал на того, что стоял руки в боки рядом с человеком в костюме. Сет направился к тем двоим сквозь тучи пыли, сквозь сокрушительный грохот, то и дело озираясь по сторонам, чтобы не угодить под лавину кирпича.

— Есть работа?

Старший не услышал вопроса. Блестящая каска потускне-

ла под слоем пыли, зато металлические наконечники ручек на краю кармана горели на солнце. Старший водил пальцем вверх-вниз вдоль черных тросов крана, человек в костюме следил за его рукой.

— Я говорю, работа есть?

Старший опустил руку, умолк, но взгляда от крана не отвел. Сет решил зайти спереди, чтоб тот его увидел, в это время старший снова заговорил и снова принялся тыкать пальцем в сторону троса, хотя Сет прошмыгнул у него прямо под рукой.

Наконец, старший взглянул на Сета, опустил руку, но продолжал говорить: мол, трос вот-вот лопнет, надо, мол, новый, дело подсудное и вообще закругляться пора. Но произнося все это, старший оглядывал Сета с головы до ног. Как нежелательную помеху.

Один глаз у старшего был стеклянный. Безжизненный и гладкий, как костный хрящ. Другой глаз, налитый кровью, алея, как тормозной фонарь. Старший обратился к человеку в костюме, чтоб продолжить разговор, однако Сет не двинулся с места, и, почувствовав, что Сет впился взглядом в его искусственный глаз, старший снова обернулся, снова осмотрел его с ног до головы: не псих ли часом? И спросил:

— Ты ко мне?

— Угу, — отозвался Сет. — Хочу узнать насчет работы.

Старший развернулся, чтобы скрыть искусственный глаз, и уставился на Сета красным глазом: нет, не псих, оборванец! И отрезал:

— Нету! Нет у меня работы. Своих хватает.

Тогда Сет повернулся и пошел, но, пробираясь между кучами кирпича по бороздам тягачей, он все время чувствовал спешный взгляд этих глаз, стеклянного и зрячего.

*

В скверике Сет нашел свободную скамейку, опустился на нее — отдохнуть, поразмыслить. Вокруг в поисках пропитания прохаживались, томно и вкрадчиво воркуя, жирные голуби с переливчатыми шеями. Сет принялся следить за птицами; вдруг они, все как один, поднялись в воздух, в глазах зарябило от черно-белых крыльев. Голуби с таким трудом оторвали от земли свои тяжелые гузки, будто что-то не пускало их вверх. Но, взлетев, все как один, словно освобождаясь от пут, привольно взмывали все круче и круче, махая крыльями и вытянув вперед шеи; дважды черно-белыми всплесками крыльев пронеслись над сквериком, над головой Сета, над улицей, потом, все как один, устремились к крыше ближайшего дома. Облетели раз, облетели два, только после этого, все как один, опустились — кто на карниз, кто на горящую смоляным блеском крышу, кто на кирпичную трубу. Расхаживали, выставлялись друг

перед другом, хлопали крыльями, а иные просто отдыхали.

Отдыхал на скамейке и Сет, его клонило в сон. Почувствовав, как тяжелеет голова, он попытался было удержаться, не заснуть. Подумал: "Голова валится на грудь, это от голода. Таблеток уже не осталось. Нельзя тут спать! — пронеслось в мозгу. — Где тут разляжешься?"

*

Проснувшись, он пошел в "Белый замок" и выложил там на кофе все свои пятицентовики: "Ладно, пусть сахару побольше, а то ведь ни на что, кроме этого, не хватит". Он подсел с чашечкой к окну, уставился на улицу — напротив был какой-то театрик, у входа толпились люди, читали афиши, пробежал пес, обнюхал что-то в траве, задрал лапу, красномордый торговец сбывал дыни прямо с грузовика.

Мимо окна проплыла девушка, подтянулась к дверям, вошла, застыла на пороге — Сету почудилось, будто она, как паучиха, опутывает его своей сетью. Девушка постояла, вышла, прошла по тротуару, постояла за окном, оборотив к Сету обтянутый джинсами зад. Сет напрягся, жаркая волна накатила изнутри.

Но снова он сказал себе: "Хватит с тебя, парень. Хватит. Ведь через это первым делом все твои беды".

"Будто уж "первым делом"! Мало ли всякой другой в жизни пакости".

"Все, хватит!"

Девушка нехотя повернулась — глаз за волосами не разглядеть — и пошла прочь. Некоторое время после кофе и густой, вязкой сахарной жижи, подобранной со дна чашки, в желудке было сытно и сладко. Но, побродив по переулкам, Сет почувствовал, как сладость куда-то делась, и внутри стало кисло. Он побродил еще, ощущение кислятины тоже прошло, и голод, зашевелившись где-то в глубине бесплотной змеей, начал петлять по кишкам. "Глупо, — подумал Сет, — но я помираю с голоду". Голова качалась, как пустой шар, все шрамы и ссадины на руках заныли.

"Поесть бы только. А так полный порядок".

И он еще с час бродил взад-вперед по переулкам и тупикам, забрел в какой-то дворик: там у мусорного контейнера стояла женщина, пряча что-то в фартуке, она стояла и смотрела на Сета, пока тот не двинулся прочь. А потом он забрел в парк, где лежали вповалку и бубнили что-то друг другу пьяницы, а какая-то пьяная старуха сидела одна, бормоча что-то себе под нос.

И Сет сказал себе: "На черта мне все это, мне работа нужна". И направился в бюро по найму, просидел час в очереди, ерзая на стуле, потом служащая заставила его заполнить какие-то бумажки и велела прийти через пару дней; и он снова оказался на улице.

“Через пару дней, — повторил он про себя. — Знала бы она, что это такое — день да другой”.

*

Сет завернул за угол и вышел к какому-то ресторанчику, на улице мусорщики собирали мусор, бряцая жестяными контейнерами, ряды которых выстроились вдоль тротуара, о край железной пасти мусоросборщика. Гидравлика и моторы со скрипом вздымали контейнер: вперед — дном вверх, вперед — дном вверх, как статыливали содержимое и вновь выворачивали пасть наружу, а Сет стоял посреди мостовой, усыпанной шелестящими обрывками бумаги и мелким мусором, и глядел мимо вонючего помойного жерла в ресторанные окна. Там за стеклом громадных размеров баба с кобыльими глазами, с пунцовыми, как помидоры, щеками и в желтом парике, беззвучно хохоча, махала ему зажатой в руке вилкой.

Она сидела, утопая локтями среди тарелок, а на тарелках — горы блинчиков, куча яиц, груды ломтей сала. Баба снова захотала, подмигнула, потом уткнулась носом в тарелку и принялась запихивать еду в рот, словно у нее не рот, а мукомольня, и каждый раз заглатывая по столыку, будто пища отправлялась на невидимый транспорт. Напротив сидел и глядел выпученными, как фары, глазами куда-то поверх ее головы мужчина, сложив перед собой, на манер проповедника, массивные руки и откинув лысую, как колено, голову назад, отчего адамово яблоко выпирало гигантским орехом. Баба подняла голову, встретилась взглядом с мужчиной и захохотала. Потом взглянула на Сета, улыбнулась, блеснув лоснящимися от подливки зубами.

— Высочество, — услышал Сет голос за спиной. — Их Высочество Покахонтас.

Сет обернулся. Перед ним, засунув руку в карман, стоял черный, как деготь, длинный и сутулый старик негр с близко посаженными глазами.

— Кто ее знает, как ее на самом деле, — продолжал старик, — сама себя так величает. Что, нравится?

Сет отрицательно мотнул головой.

— Ну и молодец.

Их Высочество помахала старику рукой с зажатой вилкой, на которую был насажен блин, сказала что-то, беззвучно шевельнув губами.

— Сидит вот так и ест, — сказал старик. — Ходит по ресторанам, заказывает еще побольше этого и все до крошки уплетает. Не боится лопнуть от обжорства. А когда расплачивается, дает полсотни бумажкой.

Старик вынул из кармана руку, почесал нос. Потом спросил:

— А ты чего тут?

Сет не спешил ответить, и старик снова спросил:

— Работу, что ль, ищешь?

Сет кивнул.

— Ну, есть тут работенка.

Старик снова повернулся к ресторанному окну.

— Хочешь, к ней поди, она тебе тут же всучит американский флаг и долларовую бумажку. Неплохо, а? Флаг можешь себе к двери прибить, а можешь и под себя подстелить, вместо простынки.

Их Высочество выскребала ложкой остатки масла и подливки с тарелки.

— Пойдем-ка отсюда, — сказал старик. — Кофе хочешь?

“Жрать я хочу, жрать! — мысленно выкрикнул Сет. — Пожрать бы только!” Но стоило ему вспомнить про еду, как что-то внутри свернулось, смоталось клубком и живот стянуло, он сделался тяжелым и твердым. “Боже ты мой! — подумал Сет. — Сейчас наизнанку вывернет!” Но он уже шел за стариком.

Высочество помахала им вслед. К пальцам у нее прилипли кусочки сала.

Они прошли с квартал и завернули в крохотный ресторанчик, что-то звякнуло, дверь за ними закрылась. Опершись о спинку стула, женщина в фартуке разговаривала с кем-то, при этом очки у нее то подскакивали на лоб, то съезжали на нос; но вот она заметила старика.

— Тут-Как-Тут, что ли?

Как раз в этот момент старик пытался незаметно прошмыгнуть и сесть на стул. Женщина сдвинула очки на кончик носа и взглянула на старика поверх очков.

— Ну да, — сказала она. — Тут-Как-Тут.

— Это прозвище мое, — объяснил старик Сету. — Вообще-то у меня имя есть, да какая разница? Ну а забудешь, можно просто “Старым шахтером” звать.

Старик кивнул двум рабочим за соседним столиком, снял шляпу. В открытую на кухню дверь было видно, как повар, худющий и длинный, как червяк, и с лицом белым, точно мел, кашляя, скреб плитку.

— Чего тебя принесло? Зачем пожаловал?

— Да вот кофейку попить.

— Как же, кофейку!

Привалившись к стене, сидели двое стариков.

— Привет, дружище! — сказал один, и старик негр кивнул в ответ.

— “Привет”! Еще чего! У меня бы язык не повернулся здороваться со всяким старым алкашом.

— Это кто же алкаш?

— Кто! Глянь на себя.

— Ну а что ты скажешь, если я возьму да булочку закажу?

— У нас булочки по десять центов.

— Всего?

— По пятницам дороже.

— Ладно, дай одну, пока не стали, как камень.

— Видно, ты сегодня еще не набрался, — сказала женщина, потянувшись за тарелкой и за булочкой, потом плюхнула тарелку на столик перед стариком.

— Кофе торгуете?

Женщина встала перед ним, засунув руки в карманы передника.

— А знаешь, почему я поняла, что ты еще не набрался?

— Кофе давай, а то булка в горло не лезет.

— Когда ты пьяный, с тобой спасу нет. Вот почему. Никакого спасу нет.

— И со сливками.

Женщина пошла за стойку, бормоча себе под нос:

— Выпивки тебе, не кофе. Кроме своей выпивки ничего не знаешь. Старый пьяница.

— А вот сегодня с утра я виски принял.

— Чего, чего?

Женщина поставила перед ним чашку кофе, положила ложечку.

— Ну да, "Джек Дэниелс".

— Да откуда у тебя на "Джека" деньги!

— Что ж, меня и угостить уж некому? Ну-ка вот, мальцом этим займись.

— Чего есть будешь?

— Ничего, — выдавил Сет.

— Ладно, ладно, — сказал старик. — Станешь работать, отдашь. А куда надо тебя подкормить, чтоб хоть до работы дотянул.

"Господи, на кого же я стал похож? Мать честная! — думал Сет. — Хорош, наверно, оборванец. Или уж вовсе доходяга".

— Так чего тебе?

Комок в животе стало отпускать, словно отворилась дверца, только внутри оказалась не пустота, а что-то вязкое. И эта вязкая мерзость стала растекаться по желудку.

— Дай ты ему хоть что-нибудь поесть, — попросил старик.

— Тушенка у нас, — сказала женщина.

*

"Ничего мне не надо, — думал Сет, — только б в покое оставили". Он решил, что в любой момент может смыться, потому что, кроме как за еду, он старику ничего не должен, но, когда они снова двинулись по улице, съеденное возстало в желудке: зыбкие волны внутри топили, перемешивали пищу сверху до низу, и вдруг мышечные стенки напряглись, сжались, как кузнечные мехи, и пришлось стремглав бежать в закоулок, потому

что чрево принялось исторгать чужеродное. Отпрянув от кашеобразной кислой жижи, Сет подумал: "Ну вот, теперь и за еду я ему не должен" и еще: "Старик твердит, мол, работа есть, а мне бы теперь только, чтоб не приставал никто, захочу, сам найду работу, захочу — нет". И от всей этой кислятины во рту Сету вдруг захотелось сгрести старика в охапку, вмазать в стену, сказать, чтоб катился ко всем чертям со своей работой: "Куда мне работать, если даже есть не могу, с собой никак не совладаю?" И вот уж Сет готов был ухватить старика своими изуродованными руками за ворот, отпихнуть от себя, и каждый мускул скрутило, свело, до того захотелось шваркнуть старика оземь, сказать ему, сказать им всем: "Да отвяжитесь вы, оклематься хоть дайте!" — но тут как раз старик повернулся к Сету, дряблый желтый рот открылся, и внезапно Сет ощутил, как разверзлась внутри голодная пустота, как в голове все перевернулось вверх тормашками, будто птица под вихрем, и руки, как крылья, наполнились этим вихревым ветром, и когда до его сознания дошло, что старик что-то ему говорит, Сет все еще никак не мог очухаться, взять в толк, откуда накатил этот шквал, что словно потоком мертвых сухих листьев вырвался из него наружу, оставив после себя пустоту.

— Это здесь за углом, — сказал Тут-Как-Тут.

Он завернул за угол, обогнул дешевую лавку, в витрине которой были бутылки, какой-то слесарный инструмент и банджо. На углу через улицу застыл пустой дом, дверь на лестницу распахнута, в проеме видны ступеньки, вход перегороден сломанным стулом. Окна выбиты, осколками стекол усыпало тротуар, с оконной рамы на третьем этаже, как зуб на нитке, свисает выломанная ставня. Когда проходили мимо, из раскрытой двери на Сета повеяло холодом, он скользнул взглядом вверх по лестнице. На нижней ступеньке валялась винная бутылка с отбитым горлышком, из нее что-то сочилося.

— В этих старых домах трубки есть медные, — сказал старик. — Но отсюда-то мы их поснимали.

Он остановился, оба принялись разглядывать дом.

— Медные трубки да чугун. Вот тебе и денежки.

Сет подумал про себя: "Сроду не умел деньги добывать. Сроду без гроша".

Старик двинулся дальше.

— Надо знать, чего искать, — сказал он. — И когда искать.

Сет промолчал. Старик взглянул на него, словно ждал вопроса. Потом оглянулся на ходу, посмотрел куда-то вдаль, пожал плечами.

— Что я, старый человек. Для этих дел не слишком уж го-жусь.

Он шел засунув руки в карманы. Вдруг остановился, принялся вертеть головой — то вперед посмотрит, то назад, и Сет решил: либо старик заблудился, либо у него плохо с глазами,

либо что-то перепутал, никак не разберется. Но тот перестал вертеть головой и уставился себе прямо под ноги.

— Вот состаришься, — произнес он. Голос у него дрогнул, и старик кашлянул, чтоб совладать с голосом. — Состаришься, как я... — И оборвал себя, бросив Сету через плечо: — Ну, пошли, что ли!

Они миновали еще два дома и вышли к засыпанной гравием площадке между домами.

— Вон! — сказал старик, ткнув пальцем вперед.

Гора почерневшего, гора чистого кирпича, и видно, как стоял снесенный дом, на месте которого образовался этот пустырь. Желтой краской на стене соседнего дома, наверное, когда-то делали разметки будущих этажей, помечали, кто здесь работал. А поверх желтых разметок всеми цветами радуги пестрели художества строителей — имена, амурные признания, изречения.

У дома было три подъезда, центральная дверь, выводившая на лестницу, распахнута. Справа и слева от лестницы располагались квартиры первого этажа.

Сет спохватился: где же старик? Но, повернув голову, увидел, что Тут-Как-Тут уже поднялся на крыльцо к левой двери и принялся в нее дубасить с азартом судебного исполнителя. "Надо же, — подумал Сет, — и как ему кулака не жалко!" Старик колотил в дверь с такой неистовой, сокрушительной силой, что гремели петли, и каждый раз больно было смотреть, как его кулак вмазывается в бугристую от наплывов прежней краски, грубую, ободранную деревянную поверхность.

Стукнув несколько раз, старик остановился, прислушался.

— Там он, там!

И снова принялся дубасить.

Как только старик опустил кулак, Сет подошел к двери, приложил ухо — ни звука. Но ему тотчас пришлось отскочить от греха — Тут-Как-Тут возобновил свою громовую канонаду и еще раз пять саданул по двери, приговаривая:

— Ты у меня небось встанешь, голубчик!

Сет взглянул на окна, чтоб уловить хоть какие-нибудь признаки человеческого присутствия в доме. Подумал: "Раз тут у них работа, должны же быть люди поблизости". Отступил на несколько шагов, чтоб получше рассмотреть, что выбито под дверной притолокой. Но буквы были какие-то старинные. Разобрать он не смог ничего. "Что-то не по-нашему, — решил он. — И, видно, давно очень написано".

Сет оглядел улицу. Двое рабочих вошли в пустой дом напротив. По тротуару тащилась в окружении детворы нагруженная бельем женщина. К уличному фонарю прилепился, засунув руки в карманы, мальчишка. На гребне крыши примостился, помаргивая и подрагивая крыльями, голубь.

— Да дома он, — говорил старик. — Сейчас уж поздно, какого черта ему шататься. Он и не работает-то никогда до этой поры.

Старик перестал стучать, стоял, опустив руки, не разжимая кулака, и Сет разглядел глубокие черные рубцы на его сжатых черных пальцах. На мгновение Тут-Как-Тут будто сник, словно вот-вот опустится на землю. И вдруг, совершенно для Сета неожиданно, снова рванулся к двери и заорал:

— Вставай!

И опять принялся барабанить, пока не разбил пальцы в кровь, тогда он стал стучать кулаком. Опустил кулак, поднял глаза к окнам верхнего, третьего, этажа, засунул руки в карманы, пожал плечами, снова вынул разбитую руку из кармана, на сей раз чтобы почесать себе нос, и произнес:

— Значит, дома нету.

Они вернулись обратно уже к ночи. Трое ребят перебрасывались мячом, подкидывая его высоко и рискуя залепить по фонарю, ловили мяч, снова подкидывали.

— Эй, Тут-Как-Тут! Привет, старина! — донеслось с их стороны.

Старик притворился, будто не слышит, поднялся по ступенькам, занес было кулак, чтоб стукнуть в дверь, но застыл, уставившись вниз на Сета — кулак, как крючок вешалки, повис в воздухе, — потом спросил:

— Дома когда-нибудь сносил?

— Никогда, — ответил Сет.

Вспомнились тяжелая груша в пыли, старший и еще тот, с паяльной лампой. Подумалось: "Как же! Кто меня тут на работу возьмет?"

— Ничего, присмотришься.

И старик застучал: бах! бах! — сотрясая ходуном ходившую дверь, но за ней было тихо. На сей раз старик держался уверенней.

— Вечно ему с первого раза не достучишься, надо время дать, чтоб прислушался, понял, что свои.

Тут-Как-Тут снова стукнул, и теперь изнутри явственно донеслось приглушенное шарканье, стихло на мгновение, послышалось вновь. Тут-Как-Тут равномерно, как маятник, отстучал еще раз десять, переждал, прислушался, тут зашаркало у самой двери, и она открылась.

Сначала Сету показалось, что внутри никого нет. Тот, кто открыл им, отступил за дверь, и в крошечной тьме не видно было ничего, кроме едва различимых очертаний какой-то мебели.

— Рей! — рывкнул Тут-Как-Тут.

Сет услышал чей-то тяжелый вздох и следом голос:

— Заходите!

Они вошли, обитатель дома потянулся и щелкнул выключателем, под потолком вспыхнула лампочка без абажура, осветив загаженное, хуже курятника, обиталище с тремя кушетками, с разбросанными там и сям газетами, с битыми пепельницами и грудой пустых бутылок из-под пива.

Спина у незнакомца была широкая, как матрас. Ногой он отпихнул стул со своего пути, при этом майка на спине всколыхнулась и осела, как одеяло поверх просторной постели.

Человек снова повернулся к вошедшим и, прищурясь, словно со сна, стал их разглядывать, опершись о притолоку двери, что вела в темноту комнат. Одну руку он засунул в карман, другой схватился за притолоку, оказавшись как бы в раме, посреди которой огромной желеобразной лавиной застыло брюхо, свисающее поверх запятнанных пластиковой смолой, грязью и краской штанов. Подсвеченные лампочкой волосы оцетинились мотком колючей проволоки. Увесистый, что тормозная колодка, подбородок подрагивал. Человек хмыкнул, поправил на носу съехавшие очки и произнес:

— Ну и как она, жизнь?

— Вот подыскал тебе парня в подручные.

Человек кивнул, глянул на Сета, повернулся к старику, снова кивнул. Еще сильнее сощурил глаза поверх очков, съехавших почти на кончик носа. Глаза у него были маленькие, черные, как угольки, пытливые.

Сет подумал: "Интересно, он всегда так щурится?"

— Может, кофе хотите? — спросил Рей.

Тут-Как-Тут кивнул; Рей, оторвавшись от притолоки, повернулся, и его колышущаяся майка растворилась в темноте за дверью.

— Давайте за мной, — послышалось из глубины дома, и они двинулись следом в крошечную тьму. Со стен на Сета повеяло спиртным и горелым.

Когда они прошли внутрь, Рей включил свет и принялся шарить по коробкам и банкам на полке в углу комнаты. На плите у него стояла кастрюлька с водой. В комнате ничего не было, кроме стола с тремя стульями и матраса за плитой в углу. Хозяин поставил на стол три чашки, кинул в каждую по ложечке растворимого кофе и застыл, прислонившись к стенке, ожидая, пока вскипит вода. Рядом с ним на полу валялась жестянка с гвоздями, высилась стопка касок для строительных работ. Поблескивая, у двери черного хода замер, как часовой, лом. С заднего крыльца за низкой оградой виднелась пустая автостоянка за домом, а дальше, через улицу, светились огни какого-то заведения. На заднем дворе стояла пара покореженных мусорных контейнеров, валялась опрокинутая тачка, а рядом — металлический колпак от колеса, в нем мерцало грязное машинное масло. Больше видно ничего не было, обзор загораживала бетонная лестница, ведущая со двора прямо на второй этаж. Свет фонаря из переулочка падал на гладкие металлические ручки тачки, на ее ободранное, некрашеное дно, на темную, глянцевою поверхность масла.

Вода в кастрюльке закипела; лениво, словно кот, Рей направился к плите, выключил газ, вынул из кармана носовой платок, обернул им горячую ручку, налил кипятка в чашки.

Потом Рей сел и принялся потягивать огненный кофе, не дожидаясь, пока растворится, и когда он поставил чашку, губы у него были в кофейной пене и черненьких точках.

— Ну как дела, ничего? — спросил он старика.

— Ничего, — ответил тот. — Со спиной только что-то. — Он потянулся рукой, потер поясницу. — А так все в порядке. Чем нынче Дейл промышляет?

— Все то же.

— Снова подрядились?

— Ага, снова.

— И что за работа?

— Дом сносим. Ремонт дорого обходится.

— Ну и сколько домов он еще снесет?

— Кто его знает, сколько ему вздумается! Перед нами не отчитывается. Работаем на него, и привет.

Помолчали, выпили кофе.

Тут-Как-Тут опрокинул свою чашку и сказал:

— Пора двигать. — Он кивнул в сторону Сета. — А этот у тебя пусть остается, лады?

— Лады.

— Работу ему подыщешь, а?

— Подыщем.

— Ведь руки-то вам нужны?

— Нужны.

— Ну, значит, все. Мне пора двигать.

Старик кивнул Рею, потом Сету и ушел.

— Так вот, Дейл нам этот дом покуда оставил, — начал Рей. Но, поймав вопросительный взгляд Сета, спохватился: — Дейл — это хозяин наш. У него таких домов штук сто, наверно. Оставляет, значит, нам дом, ну и платит, когда ему вздумается, за то, что мы по всем его старым домам проходимся. Выволакиваем всякие тяжести наружу, вычищаем все внутри, латаем, что надо. Ну а если дом негодный, сносим. Вот так, значит, и работаем. — Он отхлебнул из чашки и снова прищурился. — Меня Реем зовут. А если какой полицейский спросит, тому скажешь, мол, Чарли. Проболтаешься, что я Рей, — меня загребут, а пока я для них Чарли, все в порядке. Если меня выдаст кто, тогда всем нам не поздоровится. Так вот, когда Дейла нет, я вроде как босс. Хотя и не очень чтоб. Чего тут командовать? Работают ребята, знают свое дело, и все. Просто, если Дейла нету, я как бы заместо него. Ребята у нас друг другу в печенки не лезут, не тронут, если сам к ним не полезешь. А чего тебе особенно? Комнату выделю. Хочешь, сиди, вообще ничего не делай. Никто тебе слова не скажет. И на тебя никто жаловаться не побежит. А уйти надумаешь, ска-тертью дорога.

Достав клетчатый платок, он снял очки, чтоб протереть, и тут Сет понял, что у Рея от природы такой прищур, а очки просто скрывают это, и когда глаза за очками, лицо кажется мерт-

вым, безжизненным. Рей поднял глаза, посмотрел на Сета, снова сильно прищурился, так что нос у него сжался и стал похожим на кулачок, а Сету почудилось, будто Рей буравит его взглядом. И Сет подумал: "Будто насквозь меня видит", и не успел подумать, как вся кровь бросилась ему в лицо, и он сказал себе: "Не останусь, зачем мне, ничего из этого не выйдет. Говорит, не сунется ко мне никто. А сам вон как на меня смотрит".

Рей кончил протирать очки, снова водрузил их на нос и принялся рассматривать свою ладонь. Внимательно ощупывая ее другой рукой, он наконец наткнулся на то, что его беспокоило. Под мозолистой кожей засела крупная заноза. Рей вынул перочинный нож, открыл и, держа, словно карандаш, острием вниз, попытался вспороть мозоль и подцепить занозу. На лезвии был выгравирован плуг. Рей надрезал мозоль и нежную кожу под ней, нашел занозу, подцепил ее кончиком, вытянул.

Потом он сложил ножик и взглянул на Сета: как острием лопаты нацелился. И Сету почудилось, будто он задыхается, будто его живьем зарыли в землю, и он жадно носом и ртом ловит воздух. Острие сощуренного взгляда все ближе и ближе, и Сет растерялся, гадая про себя, вызовет ли его из земли эта острая сталь или перережет пополам.

2

От зари до зари под нестерпимо палящим солнцем, обливаясь потом и без усталости толкая вперед тянущего цепь мула, они волокли по склону вниз поваленные в горах деревья. И только бесконечный поток ослепительного света, давящий сверху прямо на голову, бьющий в глаза снизу, с укатанной до блеска стволами горной тропинки. Слепящий свет высасывал жизнь из тела, ноги цепенели, становились неподъемными: подрагивая в зное, впереди маячила черная спина мула, ноздри свербило от запаха упряжи, ярко вспыхивали зелеными кронами и ржавыми стволами кедры; бывало, вдруг метнется за добычей незаметная в сухой листве змея-гремучка, блеснет ее гибкая, вся в мелких блестящих крапинках спина, и снова змея спрячется в густой траве; и опять вяло позвякивает цепь и тяжело скользит по земле дерево.

И все, и ничего больше; но, когда, сорвавшись со скал, прямо над головами спланирует ястреб, все бросают тянуть, начинают следить за полетом птицы, и долго им всем помнить это; особенно он, мальчик, долго еще будет вспоминать неукротимый и безупречный, плавный полет хищной птицы.

Они спустились в долину и услышали выстрелы.

Пробуждение робким земляным дождем посыпалось на погруженного в сон Сета, словно юное растение где-то над голо-

вой встревожило пустившимися в рост корешками застывшую землю.

Еще не проснувшись, Сет почувствовал, как, пытаясь удержать свой сон, он борется с ним, будто это не сон, а человек, может, мужчина, а может, женщина, и хочет улизнуть от Сета, и во время схватки это существо, теперь явно женщина, уступает, и ее видно все ясней, а Сет все сражается, но сам спит, это внутри у него что-то с чем-то борется, и потому нервы обвивают, сдавливают мышцы, притоком крови раздувает вены, выталкивает наружу мозг. И, не в силах вынести такого напряжения, Сет сдерживает разящий кулак, кулак повисает в воздухе, ноя от боли; внутри будто все успокаивается. Но Сет продолжает сдерживать кулак, не давая ему вырваться, и тогда снова внутри все приходит в движение; сотрясаемый внутренней борьбой, Сет переворачивается на другой бок, и тут яркий солнечный луч, упавший из ставен на подоконник и притаившийся у изголовья, как хитрая лиса, подкарауливающая добычу, ослепительной вспышкой вырывает Сета из дремоты, кулак опускается, сон уходит, и Сет просыпается, чувствуя, как ноет все тело, как ломит в висках.

Но дневная явь уже крепко держит его, Сет открывает глаза и видит то, чего не видел вчера: перед глазами комната, в которой он обосновался с разрешения Рея. Помнится, тот сказал: "Ступай на третий этаж, там никто не живет". И Сет поднял с пола сумку, взял свою куртку и пошел по освещенным лишь лунной ступенькам на самый верх, потом двинулся ощупью по темному коридору, подошел к двери комнаты, что выходила окнами на улицу. Дверь была закрыта, пинком Сет распахнул ее: внутри пусто, только на полу в скудном свете, проникавшем через ставни с улицы, серел тюфяк. Сет опустил сумку в угол, и тут вдруг ощутил, что кровь бросилась в лицо, стремглав понеслась по паутинкам капилляров, с силой прилила к голове, заметалась внутри, как плещет вода о стенки поднятого с земли ведра, и Сет повалился на тюфяк, говоря себе: "Надо мне избавиться от этого дурмана внутри, не то он меня скрутит. И тогда мне крышка".

Забывшись, он уже не помнил ни про буйство крови, ни про то, где он был, на чем лежал, в голове пронеслось только: "Как высоко над землей поднялся. Упаду — верная смерть". И он рухнул камнем с высоты, погружаясь в сон.

Сейчас, уворачиваясь и жмурясь от режущего глаза назойливого луча, Сет на мгновение окунулся в темноту, но вот очертания комнаты вновь стали проступать перед глазами. И вместе с этими очертаниями в мозг впилось непонятное: "В этой комнате лежал мертвец. Ну да, конечно! Видно, здесь жил кто-то и умер. Тот, кто здесь жил, умер, и не так давно". На Сета повеяло смертью: чем-то аптечным, влажными простынями и винным духом. В комнате ничего не было, кроме этого тюфяка. На уступе

стены и в тех местах, где была ободрана краска, луч переламывался. Сет оглядывал комнату, переводя взгляд от одного угла к другому — пусто, ни клочка бумажки. "Он умер, и отсюда выволокли все его имущество, может, даже распродали".

Дверца стенового шкафа была открыта, внутри, касаясь друг друга, покачивались две проволочные вешалки-плечики, так и хотелось повесить на них что-нибудь, чтоб перестали качаться. "Здесь все так, будто его только что отсюда вынесли". И Сету в себе самом почудилась смерть, кости рассыпаются в прах, влага в ушах, сквозь мозг прорастает что-то черное. На миг он застыл, привалившись спиной к стене, чтобы страхнуть с себя это наваждение: постепенно стал дышать ровнее, сердце уже билось не так часто, он успокоился. "Не понравится в одной спать, выбирай другую", — вспомнил он слова Рея. Сет скосил глаза и увидел, что на полу у двери так и лежит мешок, как он его оставил, на мгновение захотелось схватить мешок и кинуться обратно на улицу. "Какое им всем до меня дело? До того мертвого старика им же не было дела! Ну и пусть, мне-то что? Все умирают. Сам чуть не помер. Эти хоть дом-то мне на голову не обрушат..." Сет потянулся к мешку, вынул рубашку, оттолкнул одну вешалку от другой, повесил рубашку на плечики.

*

Сет спустился к краю крыши с ломом в руке и увидел, как внизу по улице шествует Их Высочество Покахонтас в том же самом громадном светлом парике, в соломенной шляпе с черной лентой, как у важных государственных чинов, и в больших круглых темных очках. На необъятных телесах болтались обноски одеяний сенаторов и судей, к хвосту облезлой лисы приколоты, как бирка, шерифская звезда. Сжимая в руке черный флажок и бряцая на ходу жестяными бляхами значков, она, как хлыстом, замахивалась флажком на уличных ребят, стоявших, разинув рот, посреди тротуара, и кричала:

— Чего глазеее? Что это вам, цирк?

Рядом, отступя на полшага, поблескивая лысым черепом, выстреливая на ходу острыми, худыми коленками и безвольно мотая руками, шел супруг, выпучив глаза так, будто только что заглотнул целиком яйцо.

Утерев со лба пот, Сет стоял и смотрел вниз, сзади погромыхивали срывааемые с крыши листы железа. Покахонтас остановилась поговорить с каким-то стариком, стоявшим на крыльце, изо рта у него торчала трубка, в трубку воткнута сигара.

— Куда тебя нынче черт понес? — спросил старик.

— Во, в самый раз спросил! — голос ее пулеметной очередью прокатился по переулку. — Иду кандидатуру свою выставить.

— И куда это?

— А везде. Я ведь избранница народа.

Старик утвердительно кивнул, а Их Высочество продолжала:
— Тебе не мешало бы знать. Хотя всех и всюду не охмуришь, но, бывает, целый город обалдуев набирается. Вон их кругом сколько.

Сет выплюнул шарик жеваной бумаги, тот, мелькнув белой горошиной, перевернулся в воздухе пару раз и шлепнулся на тротуар. "Вот гнусь поганая! — подумал он. — Что жрет, что говорит — глаза бы не глядели!" Вещая на всю улицу, Их Высочество махала флажком перед носом у старика. Вот она взмахнула в последний раз и снова важно поплыла вперед по тротуару, увлекая за собой отстававшего на полшага муженька, поравнялась с подъездом дома, на крыше которого стоял Сет, пробежала глазами табличку о сносе с соответствующими инструкциями, задрала голову вверх, увидела Сета, подняла кверху жирную, как окорок, руку с нацеленным на Сета пальцем, рукав платья задрался, блеснули огромные черные часы, утопленные в складках жира. И Их Высочество прогремела снизу вверх:

— Что, ребята, рушим?

Сзади к Сету подошел Эл.

— Да уж не загораем, — отрезал он.

— Еще чего, загорать!

Она опустила руку, уперлась кулаками в бока. Повернула голову, уставилась на Эла. Лицо тарелкой посреди стола маячило на массивном туловище.

— Работка у вас, между прочим, не из лучших, — сказала она. Сморщила лоб, прищурила один глаз. — Как там твой хребет, цел еще?

— Ничего, выдержит.

— Выдержит, говоришь? Ну тогда не иначе грудную жабу себе наживешь. Небось в глазах так и щиплет? И в глотке першит от штукатурки! И ноги тяжелые, как гири! Или, скажешь, ржавчиной все нутро не разъело? Ну что ж! Давай, давай, старайся! Работка для настоящего мужчины, это точно.

Вот, стерва вонючая! Тысяч десять в кубышке, а сама незнамо в чем ходит, прибежняется.

— Что, согласен? — гаркнула она. Гладкий череп мужа маячил рядом, муж поглаживал подбородок.

— Да катись ты! — сказал Эл. — Не то уроню вот этот молоток прямо на твою дурью башку.

Тут Их Высочество вскинула руки, схватилась за парик, присела.

— Раз насилие, я — пас! — проговорила она, пятясь подальше от дома.

Муж тоже съехался и шагнул вниз с тротуара. Высочество отняла руки от головы, снова ткнула пальцем вверх.

— Нечего меня запугивать! Не дорос еще, чтоб меня запугивать. — Тут она перевела палец на остальных на крыше. — А вы работайте, ребята, работайте! Снесите свой дом, как положено

по инструкции. Все подчистую! Нечего это старье беречь.

“Дурочку из себя корчит”, — подумал Сет. Их Высочество пятилась прочь, словно щитом, загораживаясь своим флажком. Муж, как раньше, потирая подбородок, потащился следом. Она допятилась до противоположного тротуара, повернулась и двинулась к углу дома. Тут уличный мальчишка запустил в нее камнем. Чуть не задев мелькающие ноги, камень с силой стукнулся о землю совсем рядом.

Потрескавшийся толь на крыше ударил смоляным блеском в глаза, и Сету показалось, будто голова расплющилась, раскалилась под солнцем, как монетка под колесами поезда; но пора было вместе с другими включаться в работу. Сет обернулся, посмотрел вдаль, туда, где за причудливой вереницей черных крыш и кирпичных труб пульсировало замурованное в бетон сердце города, потом отвел взгляд в сторону, где за коробками новых домов зеленели холмы. И зашагал по крыше вверх: там не прекращалась работа.

*

Он приступил к работе в это самое утро. Спустившись вниз с третьего этажа, Сет увидел Рея на тротуаре перед домом, тот стоял, засунув руки в карманы. Услышав, как Сет спускается по ступенькам, Рей обернулся, спросил:

— Есть хочешь?

Сет кивнул, и они пошли в кухню, где Рей принялся стряпать на скорую руку. Поставив воду для кофе, он с такой быстротой стал разбивать яйца на сковородку, что со стороны казалось, будто он их, как есть, кидает прямо в огонь.

— Хлеб вон там. И масло бери. Все что надо. Еще чего будешь? Хочешь картошку? Возьми вон, в холодильнике.

Рей ел стоя, поел, сунул тарелку с чашкой в раковину. Подождал, пока поест Сет, потом взял длинный, в рост человека, демонтажный лом и направился к двери. Когда Сет, дожидаясь на ходу, выбежал вслед за Реем на улицу, там на крыльце уже поджидали трое. Утро было прохладное: все в куртках; но никакого инструмента при них не было.

— Вчера все перетачил на место, — сказал Рей. — Только лом вот этот и остался.

Один из рабочих, с тяжелым, точно кувалда, подбородком, и сам кряжистый и налитой как кулак, взял у Рея лом и принялся с мощностью копра долбить им землю. Рей спросил:

— Куда идти, все знаете?

Тут кряжистый, воткнув лом острием в землю между стеной и асфальтом, приставил его к стене, привалился к нему спиной. Кряжистого звали Ферном.

Худой, вытянутый, как топорище, малый назвался Элом. Черная куртка на нем была простегана драконами, еще на ней

была выстегана красным какая-то карта и надпись "Дананг". Достав из кармана джинсов расческу, Эл зачесал назад светлые волосы, потом засунул руки в карманы, поиграл локтями.

Третий сидел обособленно на ступеньках, прислонившись спиной к двери. Едва Сет появился на крыльце, этот не сводил с него настороженного взгляда — все в нем заострилось, ошетинилось — и глаза, и вытянутое лицо, и коротко подстриженная борода. Глаза следили за каждым движением Сета, тому даже почудилось, будто в горло неотвратно врезается острая бритва, даже спину жгло, хотелось дернуться, сбросить с себя колючий взгляд. Парня звали Рик.

Рей сказал:

— Ну пошли, что ли? Чего мы ждем?

Ферн взвалил лом на плечо, и они двинулись по улице.

Пока шли, Рей то и дело кивал или махал кому-нибудь из проходивших или проезжавших мимо. У перекрестка их обогнала полицейская машина. Рей кивнул полицейским, которые, сняв фуражки, развалились внутри. Сидевший за рулем походя кивнул, даже не взглянув на Рея, пощипал редкий ус и сосредоточился на каком-то старике впереди: тот сунулся было не глядя переходить улицу.

Когда подошли к тому дому, что предстояло сносить, все двинулись внутрь, а Рей задержал Сета у дверей. К кирпичной стене дома была прибита табличка "На слом".

— Значит, так, этот самый дом надо снести, — начал Рей.

А Сет подумал: "Это ничего. Я видел, как сносят. Видел, как рушат дома". Под солнцем голые по пояс, лоснящиеся потом рабочие сначала сдирают крышу, затем валят стены, тут только успевая поворачиваться, не то прямо на голову ахнет лавина битого стекла, ломаного кирпича, красной пыли. "Да что там, справлюсь!" Вот они стоят, ждут своей участи — и этот, четырехэтажный, кирпичный, и другие, те, что бок о бок рядом с ним; а в тех местах, где цемента кажется много, даже наружу вылез, между кирпичами-то его совсем почти не осталось. Парадная дверь под козырьком из резного камня вела на лестницу, которая снизу доверху пронизывала весь дом и, выводя к комнатам верхних этажей, шла на чердак. Две другие двери, по правую и по левую руку, вели в квартиры первого этажа. Обе эти двери были распахнуты, и Сету, стоявшему возле одной, прямо в глаза бил сквозной поток света. Фасадные окна смотрели из-под нависших каменных бровей, выставив вперед каменную нижнюю челюсть, а под самой крышей вдоль всего здания тянулся деревянный резной фронтон: колонки, бутончики, зубчики. Фронтон навис над чердачными окнами, и они прищурились под ним, как из-под низко надвинутой кепки.

"Подумаешь, дело какое, — думал Сет, — справлюсь!" Но он молчал, не зная, что сказать Рею, задержавшему его в дверях. Дотронулся до стены — краска сухим листом слетела с кирпича.

Местами она вздулась и задралась слоями, как лишайник, а стоило потереть ее, пальцы упирались в шов между кирпичами, и песчаная пыль вперемешку с известковой тихонько сыпалась вниз по стене. Между резными каменными парапетами и ступеньками крыльца цемент потрескался, и Сет представил себе, как по всему фасаду, то тут, то там, все трещит, и крошится: вон щели между рамами и кирпичной кладкой, вон лопнул посредине накладной фронтон, вон стену будто молнией расколело, тянется зигзаг от центральной двери прямо к крыше, на пути выбрасывая к каждому окну трещинки. Сету почудилось, будто наполненное людскими голосами строение стонет под тяжестью человеческих тел, будто слышно, как трещат балки, как песком сыплется высохший раствор.

Здесь и пахло ветхостью: сыростью, гнилым деревом. Сет подумал: "Одолеть дом нетрудно".

— Нелегко придется, — произнес Рей, взглянул вверх на фасад дома и, встретившись глазами с солнцем, сощурился еще сильнее. — Очень даже нелегко. С ними вечно так. Ну пошли, посмотрим, что там внутри.

Они вошли, и на Сета повеяло холодом, как тогда, в детстве. Вспомнился их дом в горах. Однажды родители взяли у кого-то грузовик, погрузили имущество, а он не понимал — куда, зачем; помогал складывать одежду в картонные ящики и потом таскать к машине, и все спрашивал, но ему никто не отвечал, а когда вещи были погружены, и все стояли, чего-то ждали, ему вдруг захотелось есть, и он вернулся в дом, не подозревая, что в доме пусто. Было лето, жаркое, душное, под вязами стрекотали цикады. Но стоило ему перешагнуть порог пустого дома, на него повеяло таким холодом, какого не бывает даже в самые студеные, самые долгие и бесконечные, самые лютые зимы.

Здесь, в этом пустом доме, где-то в глубине слышны были людские голоса, что-то рушилось внутри. Сет огляделся и вновь ощутил немощ этих стен. В первой же комнате потолок над головой осел, как брезент под тяжестью, с него свисали какие-то длинные ключья. Стена под окном вся потрескалась от водяных подтеков; обои побурели, пожухли, вдоль плинтуса тянулась белая полоска осыпавшейся штукатурки. Заколотилось сердце, зачесались руки в предвкушении работы, и снова Сет подумал: "Все же, наверно, это не трудно".

Оглядывая комнату, Рей тихонько присвистнул.

В следующей, в тени под раковиной лежал на боку отопительный блок, из него, изгибаясь змеей, торчала медная трубка. Рей достал из кармана штанов гаечный ключ, вывернул трубку.

— Медь нам сгодится, — сказал он.

Потом повернулся, распахнул стенной шкаф в углу. Там было пусто, ни полок, ни даже перекладины, лишь связка каких-то бумаг на полу; края бумаг закручивались кверху, как капустные листья. Рей поднял связку, и Сет, бросив взгляд че-

рез плечо, увидел, как тот проглядывает пожелтевшие печатные листки.

— Какая-то книжка старая, — произнес Рей, швырнул связку на середину пола, поднял лом и нацелился им на каминную полку в том самом месте, где проходил дымоход. Самого нагревателя не было, иссиня-черное, изогнутое колено трубы застыло на весу, как человеческое, согнутое и загипсованное. Рей просунул лом в щель между полкой и стеной, дернул и вывернул из стены кусок трубы с газовым краном, и она грохнула на пол, усыпав махрами копоты книжные листы. Потом, рванув ломом, Рей выломал левый край полки из стены. Сет своим ломом отдрал правый край. Вместе они потащили полку, выволокли на середину комнаты, с оголившегося кирпича тяжело упали комья сажи, куски высохшего раствора.

Тут Рей выпустил лом из рук и, скрючившись у стенки, принался ощупывать покрытые золой шаткие кирпичи и швы, откуда высыпался раствор.

— Чего это ты там высматриваешь?

— Да может, где деньги припрятаны.

Рей прошелся по всей обнажившейся поверхности стены, ничего не обнаружил. Выпрямился. Снова взялся за лом, начал отдира́ть плитусы.

Когда с этой комнатой было покончено, двинулись по дому дальше, потом поднялись на второй этаж и там разошлись: Сет направился в выделенную ему комнату, проходную: сюда через открытую дверь из передней комнаты с окнами на улицу узким, длинным и тусклым, словно через воду пропущенным, лучом проникал свет. Сет распахнул левую дверь: залитая солнцем ванная, унитаз завален доверху, под ним рой зеленых мух. Сет отступил назад, в комнату, из-под перевернутой кушетки выгреб пятнадцатисентовик вместе с клубком свалявшейся пыли, потом отодрал плитусы и осмотрел стенной шкаф. На полке в коробке из-под обуви обнаружил пачку газетных вырезок, но только взялся их перебирать, как они рассыпались под пальцами. Сет отбросил коробку на середину пола, поднял лом и двинулся к каминной полке в темном углу комнаты.

Когда отди́рал полку от стены, перед глазами, будто гнилушка во тьме, запутавшись в слоях дранки, сверкнул первозданным блеском серебряный доллар: безмятежный лик Статуи Свободы в обрамлении лучей ярко блестел здесь, в самом темном углу, на самой грязной стенке, где дранка вся обуглилась, истлела.

“За такой доллар можно кое-что выручить, — подумал Сет. — Старые деньги всегда в цене”. Но только он дотронулся до монеты, как отделились серебристые чешуйки, посыпалась черная пыль; чешуйки упали на пол, а пылью припорошило кончики пальцев, и Сет почувствовал, как они горят, словно в них проникло что-то едкое, он потер пальцы о рубашку, чтобы пере-

стали гореть. И где-то внутри застрял немой вопрос, заметался, пытаясь вырваться наружу. Но вырваться не получалось, и Сет испугался, что вот-вот захлебнется этим невысказанным, и, подавив внутреннюю дрожь, заставил себя взяться за лом. С верхнего этажа доносились шаркающие шаги Рей; Сет прошел в соседнюю комнату.

Здесь на стенке висело деревянное распятие, алое сердце Христа пламенело чадающей головешкой. У стены напротив темнел деревянный гардероб. Сет распахнул дверцы и обнаружил там мужской костюм, только воротник весь протерт, лацканы слишком узкие, а брюки — как жеванные. "На черта мне это барахло", — подумал Сет. Он понемногу успокаивался. Жар и дрожь внутри утихли.

Открыв дверь в следующую комнату, он на мгновение окунулся во тьму, и застрял в дверях, пока глаза привыкали к темноте; и тут на пороге на него снова нахлынуло то же, что там, в комнате, где он провел ночь: почудилось, будто здесь только что умер кто-то, и опять повеяло покойником, чем-то аптечным, влажными простынями, винным перегаром. Рука сама, словно не его, чужая, забарабанила пальцами по притолоке. Он стоял, вглядываясь в темноту и постукивая пальцами по притолоке, но вот слева в углу выплыли очертания человеческой фигуры, коленки и руки с головой сведены вместе, как у зародыша. "Какой-нибудь старик пьяница, — подумал Сет. — Ну да, старик пьяница, может, спит, а может, помер". Тут на ум пришло: "Если со спящего не сводить глаз, он проснется. А не проснется, значит, помер". Сет потянул носом, и на него так явственно повеяло покойником, чем-то аптечным, влажными простынями, винным перегаром, что Сет решил: мертвец! Он замер, уставившись на неподвижного, свернувшегося клубком человека, стоял и ждал: и вдруг в правое ухо ввинтился окрик. От звука этого голоса Сета всего передернуло, внутри, в спине, в руках тревожно заныло, Сет занес копьём тяжелый лом и рванулся назад, в коридор, готовый в любую минуту грянуть на чужака.

Из комнаты никто не показывался, и тогда Сет выкрикнул:

— Эй ты, сволочь, выходи!

И только тут до него дошло: что крикнули — он ведь не разобрал.

— Есть здесь кто?

Он услышал за спиной шаги, подошел Рей, сказал:

— Давай, приятель, выходи!

Рей прошел вперед мимо Сета, застывшего с поднятым ломом, прислонился к дверному косяку.

И тут на свет, руки в карманах, вышел старик в шапке железнодорожника.

"Чертов негритос!" — пронеслось в голове у Сета.

— Горячий больно парень, — сказал старик.

— Сегодня первый день.

— Что, сносить будете?

— Приказано сносить.

— Что ж, раз приказано... — Старик оглянулся в темноту на лежащего в той же позе человека. — Убираться, значит?

— Выходит, что так, если не хотите, чтоб все это хозяйство вам на башку ахнуло.

— Да нет уж, уберемся! Чего там. Уберемся отсюда. — Старик прошел по коридору, сплюнул в лестничный пролет. — Ну, не враз выметаться-то?

— Не враз.

— А то вон этого разбудить надо, он спать здоров. — Старик подался внутрь комнаты и крикнул: — Эй! — сведенные вместе конечности дернулись. — Сейчас проснется.

Все стояли и ждали, клубок медленно разворачивался у них на глазах.

— А нет ли у вас мелочишки какой, поесть?

Рей покачал головой, старик перевел взгляд на Сета, потом снова посмотрел на Рея и сказал:

— Так свою дуру на весу и держит. Тяжело ему небось, как думаешь?

Сет смутился. Про лом он совсем забыл. Опустил руку.

В коридор вышел заспанный человек, обоими кулаками он тер глаза на красном, опухшем от сна лице.

— Вот, друг, попросили нас отсюда, — бросил ему старый негр. — Вон они тут орудуют.

Заспанный опустил кулаки, стиснул зубы, от чего скулы у него напряглись, и двинулся вниз по лестнице.

— До скорого, ребята! — сказал негр.

Он оглядел Сета с ног до головы, задержал взгляд на ломе, зажатом у того в руках.

И тут Сет ужаснулся, до чего довели его эти таблетки. Лом того и гляди из рук вывалится, мышцы слабые, растянутые, как истертые веревки, а нервы словно заползли куда-то внутрь, притаились, точно змеи в расщелинах.

Двое бродяг сошли по лестнице вниз.

— Ну вот, — сказал Рей. — Первым делом надо пьяниц погонять.

*

В подвале светили себе фонариком; сюда едва проникал свет из узких и длинных оконцев, прикрытых с улицы от крыс проволочными сетками, в которых застряли комья грязи, обрывки веревок, бумажки. Сет, сойдя по ступенькам вслед за Реем, не видел, куда идти дальше, потому что Рей светил фонариком себе прямо под ноги, до Сета луч не доходил. Сет даже не видел, куда ступает, пока вдруг не ощутил под ногой дере-

вянный настил пола. При этом он чуть не уткнулся Рей в спину, и в нос так резко ударил запах разгоряченного тела и пота, что Сет даже сразу не сообразил, откуда это, ведь отовсюду здесь несло холодом и сыростью, пахло известкой, гнилью, плесенью, сырым камнем подземелья.

— Это ты? — спросил Рей.

— Я.

Спустились с лестницы, постояли, Рей осветил фонариком кучу старых электросчетчиков, покрытых белым лишайником коррозии, каменные стены — в песке, в земле, в грязных подтеках раствора, зажатые между стен балки пола, торчавшие из верхних потолочных перекрытий концы шурупов, пирамиду черных автопокрышек, обломок ослиного черепа, кожух коробки передач и грудку черных аккумуляторов с белыми налетами соли. Луч высветил проход вдоль подвала, поймал ряд шкафчиков у стены.

Осмотрев первый шкафчик, они извлекли снизу, прямо из земли полдюжины пустых бутылок.

— Бутылки загнать можно, — сказал Рей. — Тому, кто собирает.

Снова принялись шуровать в твердой, перемешанной с углем земле, раскопали топор, сломанный черпак, проржавевший гаечный ключ, помятый колпак колеса, головку куклы, почерневшую в земле.

На следующем шкафчике висел замок; Сет держал фонарь, а Рей, подсунув лом под ушки, дернул, и болты, ухнув, полетели из дерева. На дне шкафчика, в земле обнаружили коробку, где срослись клубком перекореженные, ржавые отвертки и гаечные ключи. На полке нашли масляную лампу, проржавевшую насквозь банку с гвоздями и шурупами, позеленевшую, влажную от плесени Библию.

Рей кинул банку на пол; Библию положил обратно на полку. Потом протянул Сету фонарик, сказал:

— Глянь-ка, есть тут что еще?

И двинулся обратно к лестнице.

Взметнувшись с пола, угольная и земляная пыль, древесная труха повисли в луче оконного света, потянулись вверх, к улице.

Оставшись один в этом черном бункере, Сет испытал неведомое ему до того чувство замкнутости, будто он в коробке, замурован в клетке, сотканной темнотой, единственный выход — луч, пробитый карманным фонариком, а в голове пронеслось: "Тут, верно, крысы!" И он двинулся вперед, при каждом шаге взмахивая фонарем из стороны в сторону, освещая стены и кидая луч к потолку. Раз, споткнувшись о железяку, хотел было удержаться за стену, наткнулся рукой на какие-то выступы, но, почувствовав не камень, а что-то крошащееся, какую-то грязь, тут же отдернул пальцы. И в этот самый момент прямо перед

собой он увидел человека без рубашки, голова обвязана платком, впалые щеки, ввалившиеся глаза, человек светил в Сета фонариком; на мгновение Сет взглядом поймал луч света у себя на груди, и луч света на груди у незнакомца — и только замахнувшись ломом и увидев, как незнакомец тотчас замахнулся в ответ, только направив лом острием и увидев, как на него самого надвигается острие лома, только тогда, когда все было кончено и раздался звон разбитого стекла, и перед глазами одновременно со стеклом вдребезги раскололся свет, и внезапно встала кирпичная стена в раме, — только тогда Сет понял, что это был за незнакомец.

— Чего там у тебя? — сверху с лестницы крикнул Рей.

И Сет ответил:

— Да вот, с зеркалом воюю.

И подумал: "Так, совсем дошел до ручки!"

— Ну вот, этого нам еще не хватало!

"Что ж, — подумал Сет, — семь лет такой жизни. Уж чего теперь хорошего ждать".

*

Потом все пятеро поднялись на чердак; там было душно и пахло дегтем и утеплителем; туда проникал из щели под самой крышей единственный лучик света, так что всем пятерым приходилось глядеть в оба, чтобы не угодить ногой в дыру на полу, не налететь на моток старого провода или на разбитый ящик со всяким инструментом, не стукнуться головой о косую балку, не напороться на кровельные гвозди, торчавшие остриями из обшивки. Наконец Рей взломал замок верхнего люка, крикнул: "К чертям отсюда, скорее!" и первым ринулся наверх, на крышу.

Вырвавшись на воздух, вздохнули полной грудью, а после Сет вместе со всеми принялся оттащить ящики и коробки от чердачных окон.

— Возьми отвертку и отдери-ка вон то окошко, — велел Рей. — Как увидишь освинцованную раму, так знай: стоящая вещь. Ну а уж если витражное стекло осталось, тем более.

Сет высадил раму со стеклом, снес вниз, на первый этаж, куда складывалась вся их добыча: кучка монет, извлеченный откуда-то из-под линолеума ветхий бумажный доллар, дубовый резной стул, рама зеркала, разбитого Сетом, три старых радиоприемника, с которыми вызвался повозиться Ферн, кинескоп от телевизора, пара книг в кожаных переплетах, множество медных трубок, латунная электроарматура из коридора.

— Стальные трубы не берите. Groш им цена. А все свинцовые и чугунные хватайте. Со свинцом ничего не сделается, даже если чугун сверху сбиваешь, свинец не ломается.

И вот, в подвале, вооружившись кувалдами, они выбивали нижние трубы парового отопления, чтоб верхние съезжали вниз,

после их разбивали на секции, сортировали: железные — отдельно, свинцовые — отдельно, и все волокни потом наверх, в большую комнату.

— Давайте сначала все сложим вместе, — сказал Рей. — А после по-братски поделим.

Потом все они высыпали с чердака на крышу. Тогда-то Сет и стоял на краю, держа в руках ломик, изогнутый гусиной шеей. Ветром холодило влажные от пота грудь, спину, руки, и Сет думал: "Эта гадина смеется надо мной. Ну ясно, я дурак для нее, стою, как есть оборванец, на крыше, а она внизу шныряет, тоже с виду оборванка, а у самой денег видимо-невидимо. А все-таки ребята перед ней не дрейфят!"

Раскаленная крыша сквозь подошвы жгла ему ноги.

*

В тот же день вечером он снова увидел ее, ту самую, Риту. Работу закончили. В самое пекло посреди дня подъехал самосвал, волоча на прицепе мусорник, длиннющий черный ящик с крышкой. Самосвал заурчал, заработал гидравликой, ящик сполз с кузова на тротуар, самосвал отъехал. Они сбивали с крыши водосточные желобы, бросали вниз, и те с жестяным лязгом падали в мусорник; потом со скрежетом срывали железные и рубероидные листы с крыши, они летели вниз громадными одеялами и с клецаньем валились в ящик.

Когда побросали все с крыши, Рей объявил:

— Все на сегодня. Хватит надрываться.

И они ринулись через чердачный люк, через чердак, где узкие лучи света разлиновали обшивку на стенах, исполосовали весь пол, — и по лестнице вниз.

Пока в нагретой солнцем комнате верхнего этажа Сет надевал оставленную там рубашку — остальные направились к выходу. Одевшись, Сет спустился вслед за ними, но, когда вышел, их спины уже маячили далеко впереди; шли гуськом, первым Рей, потом Эл с Ферном, позади Рик.

Сет двинулся по улице, чувствуя, как с каждым шагом все круче вверх по спине взвивается ломота, и нельзя поднять шею; он шел, уставившись в землю, под ногами мелькали трещины в асфальте, — сквозь них пробивалась наружу худосочная трава, — брошенные бутылки, забытый детьми мячик, бортовой камень тротуара, камешки и пятна мазута, — но вот наконец возник срезанный в виде копыта, вытянутый нос сапога Рика. Сет поднял голову.

— Ну как, нравится работа? — спросил Рик.

Сет пожал плечами, а Рик продолжал:

— Ничего, поработаешь — привыкнешь. Может, даже понравится. По-всякому бывает.

Они шли рядом. Рик закурил на ходу, протянул Сету пачку.

И вдруг спросил:

— Ты сам-то откуда, здешний?

Сет только глянул в ответ, но не сказал ничего, а про себя подумал: "Что-то в нем есть такое, темное".

Рик резанул Сета взглядом, отвернулся, сплюнул и выдал сквозь зубы:

— Не хочешь, не говори.

Когда на углу они пережидали, пока проедет автобус, чтоб перейти улицу, Рик, обведя взглядом пьяниц, выстроившихся вдоль стены, проходившую мимо с сумкой сзади женщину, портье, что, сложив руки на груди, пялился в гостиничное окно на улицу, бросил:

— Народец тут — палец в рот не клади!

— А я разве кого трогаю?

— Да нет, я просто сказал...

— Сказал и сказал, мне-то что?

— Нет, я просто говорю, тут тебе не райский уголок, тут надо с оглядкой, тут главное не вступать ни во что.

Завернули за угол, впереди показался их дом, на крыльце спиной к ним, почесывая в затылке, стоял Рей.

— И еще. — Рик остановился, глянул Сету прямо в глаза. — Ты за Рея не очень-то цепляйся. Полиция что-то к нему имеет, при случае могут загresti. Он это чувствует. Потому и шальной какой-то. Да он вообще такой. Живет — не хоронится.

Тут Рик увидел что-то за спиной Сета, и сказал:

— Ну, пока, я пошел.

А вечером Сет вынес на крыльцо те бутылки, что они выгребли из земли в подвале, и, вооружившись ведром с водой и щеткой, принялся их отмывать в свете уличного фонаря. "Рей говорит, их можно по доллару толкнуть". Но ни водой, ни щеткой, ни даже кончиком прутика, ничем не удавалось соскребсти приставшую к стеклу ссохшуюся, комковатую грязь. С горлышка соскобился черный катышек и тотчас, едва Сет взялся за него, накрепко прилип к пальцам.

Бутылка была четырехгранная, из-под виски. "Старая, наверно, хорошие деньги за нее выручу, если только удастся отскоблить эту чертову грязь".

И тут он увидел ее.

Но она его не узнала. Он увидел ее и сразу понял, что она его не узнает. "Но ведь чувствует, что я на нее смотрю", — думал он, заметив, как она дрогнула плечами, будто сбрасывала что-то, тогда-то он и понял: "Не признала меня. Я теперь сам на себя похож". Она дернула головой, взглянула на Сета сверху вниз, задержала взгляд. Он молча смотрел на нее, а она поднялась по ступенькам и, глядя ему прямо в глаза, бросила, как спасательную соломинку:

— Привет!

Будто на свечу дунула.

И близко-близко прошла, край ее жакета мазнул Сета по щеке, и мимо, и вверх по ступенькам. Он услышал ее шаги по лестнице.

Сет даже не удивился, почему она идет сюда, в этот дом. Он подумал: "Было и прошло. Да и давно все было".

Он снова взялся за бутылку, и снова на него глянули загнанные вглубь комочки грязи. И в нем самом, как проросшее семечко, как существо, погребенное заживо, что-то встрепенулось, рванулось наружу. Это упрятанное в недра живое с силой накачивало из глубин, и все в Сете заматалось, понеслось кувырком, завертелось рулеткой и наконец сложилось в безысходную мысль: "Говорю, что мне ничего ни от кого не нужно, а самому нужно все, немедленно, сейчас!" Опять руки у него заныли, затряслись, все пальцы, все суставы напряглись, захотелось пульнуть подальше то, что держал в руках, и, уже замахнувшись и швырнув бутылку, чтоб она, пролетев через улицу, ударилась об стену пустого дома, чтоб разбилась вдребезги, Сет почувствовал, что за спиной стоит Рей; и только стекло бутылки сверкнуло в свете фонаря, Сет, не дожидаясь, пока стеклянная пыль взметнется над тротуаром, вскочил и кинулся с кулаками на Рея, который прилепился к дверному косяку, руки в карманах, очки съехали на нос, в волосах завязли комочки дегтя, и взгляд прищуренных глаз еще глубже, еще настойчивей, чем накануне, ввинчивался в Сета.

В ту ночь, лежа в ожидании сна и понемногу проваливаясь в небытие, Сет вдруг услышал: девичий голос поет под гитару. Голос вырвал его из дремоты. Сет приподнялся в постели на локтях, силясь уловить слова, мотив. Казалось, голос доносится с улицы, откуда-то из-за угла, но, даже подойдя к окну, Сет никак не мог разобрать ни слов, ни мотива, ни тем более увидеть ту, что пела. "Чего колобродишь, спать пора!" — твердил он сам себе. Но стоило ему снова прилечь на тюфяк, как он снова услышал девичий голос и песню, и, взбудораженный, Сет поднялся, спустился по лестнице вниз. Однако, выйдя из дома, обнаружил, что ни песни, ни девушки на улице нет, должно быть, они затерялись в каком-то доме, в какой-то квартире. Сет завернул за угол, огляделся, прислушался, подождал, пока не зажегся зеленый глаз светофора.

Потом, вынув из кармана руки, поднес ладони к глазам. Их сводило, будто судорогой, пальцы подрагивали, как травинки на ветру.

*

"Что-то надо делать. Худо мне, нервы совсем никуда. Даже заснуть не могу. Слишком много дряни принимаю. Третий день. Нет, четвертый. Не помню уж, сколько дней. Ну а как без этого? Вместо этого-то что?"

Сон не шел, Сет поднялся с тюфяка, подошел к окну, сел на стул и принялся смотреть вдаль, за дома, где вставали горы и маячила, мигая красными огнями, радиомачта; и Сет стал думать о тех, кто живет там, за желтыми окнами, как они лягут спать в своих квартирах, как потушат свет, а пьяницы и бродяги вроде него спят там, где и тушить нечего; и тут ему вспомнилось. Дома они как-то рыли колодец, и в земле, в красной глине, им попадались — сначала одна, потом еще, а потом вдруг целая куча — погруженные в спячку белые личинки цикад. И Сет все удивлялся, как же это можно столько лежать под землей и ждать своего часа! Каждая застыла в своем белом сне, глубоко зарывшись в землю, чтобы потом пробуравиться кверху. И застрекотать. А пока они в земле, над ними зеленеют поля, высятся горы, а личинки притаились и ждут, когда наступит срок всем вместе пробуравиться наружу. Пусть даже сверху цементный фундамент ляжет, пусть построят над ними дом, все равно они найдут, как прорваться на волю, потом разлетятся, застрекочут. Брюшком своим. И когда стрекошущая на брюшке кожица станет тесной, из старой оболочки появится на свет новая цикада и тоже застрекочет. На коре дерева или под самой крышей повиснет старая оболочка, будто в ней еще живет цикада, да только нет, через такую оболочку, как сквозь воду, и дерево просвечивает, и дом. Отцепишь оболочку, положишь на ладонь — и только диву даешься, как это новой цикаде удалось протиснуться сквозь эдакую узенькую щель на спинке! И как, должно быть, это больно продираться наружу — лапками, головкой, брюшком и спинкой, чтоб потом вырваться на волю и застрекотать.

И дальше день за днем они дружно наваливались на старый дом. Солнце гигантским воротом выкручивало их, выжимало, высасывало всю соль, все соки. После такого солнечного натиска капли пота становились тягучими. А когда одно разгоряченное тело нависало над другим, сверху на лицо тяжелыми плевками падал незнакомый, пресный пот. И свой стекавший с губ пот потерял и запах, и привкус, и всякое сходство с водяной каплей. Он даже не обжигал кожи, этот ни на что не похожий, нечеловеческий пот.

Легкие разъедало пылью сухой штукатурки, высохшего раствора, битого кирпича, древесной трухи, сухой земли. Казалось, песком забило нутро до предела, и с каждым вдохом чувствовалось, как натужно весь человеческий костяк вздымает затянутый в ребра груз мышц, будто дряхлый старик взваливает себе на спину сосновый гроб.

Сперва Рей с Сетом доска за доской отдирали обрешетку

кровли, начиная от конька и постепенно продвигаясь вниз, от балки к балке; они с обеих сторон ломами подцепляли доску и дергали, и так до самого карниза, до первого ряда обрешетки, а потом снова к коньку, сгибаясь под палящим солнцем, и вниз, вприсядку, визжат гвозди, трещит дерево, и голова гудит от зноя. Остальные на улице сортировали доски, сгнившие — в мусорник, целые — на продажу.

И вот здание, как оскальпированная жертва, глянуло в небо дырой вместо крыши.

— Эта обрешетка сроду солнца не видывала, — сказал Рей.

А половые доски выгорели от солнца, и только в тех местах, куда падала тень еще не сбитых балок и стропил, на белые доски легли темные полосы. Рей подхватил длинную крепкую балку, поднял, ударил по тому месту, где сходилась передняя пара стропил, и немедленно отпрянул: одна из стропильных балок летела ему прямо на голову, другая грозила ударить по спине. Сет кинул обе вниз, на задний дворик, а Рей принялся выбивать очередную пару.

Когда со стропилами было покончено, и все вновь собрались вместе, Рей объяснил Сету, что надо в доме сверху донизу пробить как бы глотку, через которую рушащийся дом сам себя заглочит. Сначала разобрали чердачное перекрытие, побросали рухлядь в мусорник, а то, что годилось на продажу, — на задний дворик. Потом, спускаясь с этажа на этаж и руша за собой пол, каждый раз оставляли узкие, в шаг шириной, мостики, Рей научил Сета сгибать стальную трубу крючком, а потом, стоя на мостках, цеплять им и валить кирпичные стены, чтоб они рушились внутрь пустого дома прямо в подвал. Если же стены не поддавались, Рей показывал, как их крушить кувалдой: замахнулся, ударил, отступил; замахнулся, ударил, отступил; снова замахнулся.

Только дом так просто не сдавался. Когда Ферн рушил молотом часть стены, посыпавшиеся вниз кирпичи выбили у него опору из-под ног; уворачиваясь от летящих кирпичин, Ферн изловчился, ухватился за балку и так повис на высоте четвертого этажа без всякой опоры под ногами. Потом Рей, стоя на подгнившей доске, зацепил крюком стену, кирпичи проломил доску посредине, один конец рухнул вместе с кирпичами вниз, а другой, вместе с Реем, тяжело осел и лег прямо на оштукатуренные перегородки нижнего этажа.

— Думал, верная крышка, ан нет, — пробормотал Рей.

Сет смотрел, как Эл высаживает топором оконную раму: сначала обрубает снизу деревянный каркас, потом ломиком отрывает боковины и подоконник и, цепляясь за верх, сбивает раму вместе с кирпичами. Когда же раму попытался высадить Сет, верхняя часть окна со всем грузом штукатурки, кирпича и досок рухнула прямо на него, он отпрянул, и не туда; на мгновение внутри похолодело, все оборвалось — сверху обломок

стены, внизу пустота, и он летит прямо в эту черную дыру, и там смерть. Страхом сдавило его, перевернуло, и тут мелькнул кусок гнутой трубы, торчащий из стены, и Сет уцепился за него, но все равно почему-то продолжал падать; труба внезапно чуть не вырвалась из рук, ладони обожгло, но Сет удержался, и только тогда понял, что труба просто разогнулась под его тяжестью и что теперь он болтается, точно рыба на этом крючке, подкинутом старым домом.

Прямо перед ним на своей опоре стоял Рик.

— Черт! В жизни такого не видал! — качая головой, произнес он.

Без внутренних стен лестница могла обвалиться под ними в любую минуту. Для опоры приходилось вгонять толстый и длинный брус в стены между слоями штукатурки и дранки. Потом ногами они сбивали потолок, ломали проходы. Дальше выбивали кирпичи, державшие перекрытия, снимали сами балки и, взявшись вдвоем с обоих концов, швыряли их вниз, во двор, оставляя только одну, ту, что держала лестницу. И все спускались на нижний этаж, а последний выбивал оставшуюся балку, сходил по шатким ступенькам, а потом все вместе валили лестницу и стену за ней. Сначала, на верхнем этаже, все шло гладко. Но этажом ниже балка не удержала марша, и Рик повалился с лестницы, расплосовав руку об острый обломок кирпича.

— А, черт, перевяжите кто-нибудь!

Под ними, где-то внизу, погребенное под завалом битого кирпича и штукатурки, осталось земляное дно подвала со всеми его шкафчиками, углем, электропробками, осколками битого зеркала.

И так день за днем они валили стены домов по очереди с четырех сторон; и когда какая-нибудь стена заслоняла от них солнце, казалось, что это не стена, а отвес каньона и они спускаются в ущелье. Но только время подходило к полудню, солнце жгучей лавиной властно обрушивалось сверху — не спасешься, не скроешься. На голову то и дело падали комья сухого раствора. И все вокруг начинало пахнуть по-иному: известью, влагой, землей и особым, ни с чем не сравнимым духом разогретой солнцем пыли.

Тотчас невидимое раньше стало бросаться в глаза: вот утюги на полу, вот пистолет с полной обоймой, всего только раз из него стреляли, даже заклиненную гильзу не вынули, вот чье-то письмо из тюрьмы, ссохшийся голубой листочек, сложенный конвертом. На лестнице в прогрызенной дыре виднелся крысиный помет. Крупные мокрицы, семена легкими, как пушинки, перепончатыми ножками, слепо копошились среди обрывков газет и щепочной крошки. Рей потянул носом, нацелился сапогом и, припечатав, размазал жирных мокриц по полу.

Повернувшись, чтобы закинуть треснувшую балку в мусорник, Сет увидел, что прямо на него с важным видом надвигается Их Высочество. На ней был голубой купальный халат с капюшоном, накинутый, видно, прямо на голое тело. Широкие босые ступни шлепали по тротуару. Из-под капюшона высывались соломенные букли парика. На шее веночек из бумажных цветов, с него свисал плакатик с надписью: "Мир!" Как только она поравнялась с ним, Сет ухнул тяжелую балку в мусорник, та с силой грохнула по металлу, а Их Высочество, выкатив глаза, рывкнула:

— Это еще что такое!

"Гадюка чертова! Думает, всеми может распоряжаться. Думает, ей все дозволено".

Сет взял еще одну старую балку, швырнул ее в ящик, балка описала дугу и концом чуть не сшибла парик с головы Их Высочества. Но спина у нее не дрогнула, и если даже Их Высочество почувствовала что-то, вида она не подала. Пройдя несколько шагов, она повела плечами — раскрылся продольный разрез на спине, обнажилась голая, заплывшая жиром, подрагивавшая на ходу спина.

"О господи! — подумал Сет. — Неужели она — человек?"

Сет увидел: угрожающе сдвинув брови, сжав кулаки и хищно оскалившись, легко пружиня натянутыми в джинсы ногами по тротуару, Ферн наскакивает на огненно-рыжего, вихрастого плотника по прозвищу Кобелек. Кружа на пятачке, они топтались друг перед дружкой, то пуская в ход кулаки, то пинаясь ногами, но вот Ферн с размаху двинул Кобелька так, что тот чуть было не завалился на спину, однако, раскинув крыльями руки, все-таки удержался на ногах. Тут-то оно и случилось: Кобелек рванул из-за голенища изогнутый нож.

И вот тогда из дома вышел Рей и прекратил эту драку. Загнутым концом лома он прижал руку Кобелька с ножом к железной оgrade и так держал, пока тот не разжал пальцы и нож не выпал; только после этого Рей отпустил руку рыжего и сказал, чтоб убирался.

Потом опустился на ступеньки.

— В чем дело? — спросил он.

— Да этот все приставал к старому пьянице, ну, я сказал, отвяжись.

— А он?

— А он — не твое, мол, это дело.

— А ты?

— А я ему — если не отстанет от старика, я ему покажу.

— А он не отстал?

— Я ему сказал, чтоб оставил старика в покое.

— Ты что, не знаешь, что с этой гнусью лучше не связываться? Не знаешь — чуть что, он за нож?

Ферн wygrеб из кармана мелочь — несколько двадцатипяти-центовиков, один десятицентовик, пригоршню центов, — уткнулся в ладонь, принялся считать.

— Скажи спасибо, что еще полиция не набежала.

Ферн пересчитал мелочь.

— Я велел, чтоб не смел лезть к старику, — отозвался он, ссыпал мелочь в карман, повернулся и зашагал по улице прочь.

Пока он не скрылся за углом, Рей все глядел ему вслед, механически тыча концом лома в трещину ступеньки.

— Ох, и влипнет он когда-нибудь, — проговорил Рей. — Да еще кого-нибудь с собой потащит.

— Ну и не лезь к нему, чего лезешь?

Рей повернулся и из рамки дверного проема, где он застрял с тех пор, как ушел Ферн, впился своим прищуром в Сета.

— Ага, а к тебе, значит, можно?

*

Каждый вечер они возвращались в свой дом измученные, молчаливые, в животе, как в пустом шкафу, только голод да жажда так и болтаются в пустоте, будто на вешалке. Пыль разъедала мозг, ноги становились тяжелые, словно гири. Придя, разбредались по своим углам, Сет с Реем ужинали вместе, изредка перекидываясь словом.

А в дождливые дни наступал отдых. Ветер, предвестник дождя, как потерявший управление грузовик, несся по улицам, вздымая пыль, взвывая перед собой бумажки, подкидывая вихрями в небо столбы пыли и мусора. Чем темнее становилось за окнами, тем ярче вспыхивали огни машин, а если тьма на улице сгущалась среди дня, начинали, как вечером, разгораться холодным светом уличные фонари. Внезапный дождь тяжелым и беспощадным потоком смывал прохожих с улиц, загоняя в дома, в пивные.

Если ненастье начиналось прямо с утра, у них из дома никто не выходил, а Сет валялся в постели целый день. Но однажды как-то дождь издевательски обрушился на них среди бела дня, пришлось побросать ломы и зарыться поглубже в дом, туда, куда не проникал дождь. Сет скользнул под лестницу, прилег на пол, отдышал, то поглядывая вверх на белое небо в блестящих нитях дождя, косо струящегося сверху, то на ступеньки, усеянные крупными каплями, то на каплю, что повисла на обломке доски над самой головой: вот она наливается, зреет и падает, уступая место следующей.

Сет повернул голову и увидел, что Эл с Ферном курят, уст-

роившись на деревянных мостках, а Рей спит, в неудобной позе привалившись к кирпичам, и рука у него веткой свешивается вниз в пропасть, которая в два этажа глубиной.

Грянул гром, небо с треском раскололось, и деревянные мостки содрогнулись, словно дом не мог выдержать такого удара, и Сету тотчас представилась глубина пролета и груда битого кирпича внизу, и как вода заливает все это кирпичное крошево, снова обращая строительный раствор в песок, оголяя кирпич, заполняя его поры, пропитывая насквозь обломки старых досок, а потом, фильтруясь через землю, смешанную с камешками, всасывается, уходит вглубь под черный пол подвала.

Дождь белыми потоками выдалбливал жар из асфальта, заболачивал глинистые дворики, широкими реками разливался в намытых руслах. Струился с крыш, гнал водопады из водосточных труб, полоскал стены и тротуары, лавинами неся в сточные канавы. А там вздымались бензиново-мазутные волны уличной грязи и длинными голубовато-желтыми переливчатыми полотнищами тянулись, извиваясь, прямо к решеткам стоков и падали вниз, устремляясь в те каналы, что пролегали под улицами, и дальше через дренажные трубы — прямо в реку. Вот уж кончился дождь, а бензиново-мазутные переливы потоков все тянутся и тянутся водной лентой вдоль улиц, и дальше, дальше, к реке.

И той водой, что точит камень, эти потоки грянули на Сета, словно груда сыпучей щебенки обрушилась на голову.

*

Окно...

Во рту противно, внутри щекочет от затыжки, голову скрутило, пальцы свело, будто пригоршни камней в руках; Сет сидел у окна в своей комнате, упершись локтями в подоконник, стряхивая рядом пепел, и глядел вниз. Подсвеченные фонарем, горевшим перед складом, мальчишки карабкались на высокую металлическую ограду частной автостоянки.

По случаю позднего времени на воротах висел замок. За оградой виднелись бетонные бортики для парковки, площадки, усыпанные гравием, разбитый асфальт, горки красноватого песка из пескоструек, тянулся длинный гараж с колючей проволокой поверху, висела мрачная коробка склада. Ограда шла вдоль улицы и загибалась вбок, отделяя стоянку от задворков. На металлических опорах крепилась проволочная сетка, а над каждой опорой маячила насадка, от которой шли отводки-расстяжки, тянувшие ряды колючей проволоки — три снаружи, три — изнутри.

Мальчишки по очереди, цепляясь ногами за проволочную сетку, подтягивались вверх и перемахивали через колючую проволоку. Сет смотрел, как первый мальчишка взобрался по сет-

ке до верха, завел руку за голову и вверх, ухватился за ближний ряд колючей проволоки, подтянулся, ухватился другой рукой, еще подтянулся, уцепился ногами за сетку ограды и, обеими руками держась за колючую проволоку, навис над колючками. Потом потянулся, схватился за дальний ряд проволоки, осторожно, сначала одной, потом другой ногой стал на колючую проволоку, повернулся, разжал руки и прыгнул вниз прямо на стоянку.

За ним через ограду перемахнули еще трое. Трое ждали на улице своей очереди. Минуту посовещались, потом один из них подошел к оgrade, и только он начал карабкаться вверх, у Сета внутри все так и напряглось. В глазах защипало, ударило в голову: "Вот сейчас, этот..."

Мальчишка добрался до верха ограды, но дальше сделал иначе, не так, как предыдущие. Ухватившись за крепежные стойки, он развернулся между рядами проволоки и неуверенно потянулся вниз, чтоб опереться ногами на ограду. Нащупал, но, как только отпустил руки, ноги соскользнули. Сет увидел, как они дернулись, потеряв опору, заболтались в воздухе, ударились об ограду, мальчишку бросило животом прямо на колючую проволоку, и она провисла под его тяжестью.

Он даже не вскрикнул. Взгляд взметнулся к дому, откуда наблюдал за происходящим Сет, рот раскрылся для крика, но крик словно застрял на колючках проволоки. Взгляд скользнул вверх, на мгновение встретив на пути глаза Сета, но крик все никак не вырывался, снова взгляд упал вниз. Голова замоталась из стороны в сторону. Дрогнули, ища опоры, локти.

Сет попытался встать, пальцы разжались, выпустив невидимую тяжесть, но стоило оторваться от стула, как немедленно сдавило голову, и все поплыло перед глазами. Ноги застряли, прижатые к стене ножкой стула, невесомые пальцы беспомощно скрючились. В голове пронеслось: "Надо спуститься, снять мальчишку! Нет, сперва надо найти лестницу или мусорник, иначе до него не дотянешься! Нет, сперва надо крикнуть ему, чтоб держался. Нет, куда уж теперь бежать, не успеешь!"

Мальчик потянулся, оторвал руку от проволоки, подался вперед, чтоб уцепиться за дальний ряд, не дотянулся, дернулся, теряя опору, и грохнулся мешком оземь, и только тут раздался вырвавшийся на свободу крик.

Когда Сет выбрался на улицу, кто-то уже прорыл под оградой лаз и растянул сетку, чтоб вытащить мальчика. Пока возился с его распоротыми до крови колючей проволокой руками, грудь, исколотым лицом, дули на ранки, промывали, мальчик сидел на земле, тяжело дыша, кашляя и всхлипывая — отрывисто, как позвякивает цепь, что тянет дерево с горы. Улица быстро опустела — не дай бог нагрянет полиция.

Сет сидел, привалившись к стене, на низком и жестком, впи- вающемся в зад тюфяке, от застарелых пятен обивки разило винным духом. Посреди комнаты застыл отсвет уличного фона- ря, почти как лунный, только неподвижный, он прочно припеча- тался к полу отраженным ликом окна. К этому часу в доме все стихло. Кто ушел на ночь, кто уже спал. Сет сидел один на один с неподвижным, тусклым светом из окна и с огоньком сигареты, то тлеющим, то ярко вспыхивающим; негромко поскрипывал серевший в полумраке тюфяк, плавно тянулось кверху белое дымное облачко.

Жар подобрался к кончикам пальцев, сигарета догорела до фильтра, погасла. Сет бросил окурочек на пол, придавил каблук- ом, узкая белая струйка поплыла к носу, рассеялась дымкой вокруг щек. Через открытое окно в комнату доносился с ули- цы людской гул и шум машин; Сет слушал. Сначала улица при- близилась бесплотной паутиной еле уловимых звуков, но Сет все вслушивался, вслушивался, и паутина, заколебавшись, раз- билась на отдельные звуки: дальний вой сирен, перекличку авто- мобильных, человеческие голоса, шорох шагов по асфальту. Кто- то орудовал домкратом: влип! влип! влип! Слух снова перебрал уличные отголоски: урчание моторов, отдаленные выкрики. Бог с ними! И в то же мгновение стало тихо; Сет больше не слы- шал звуков и сам удивился этому. И понял — не слышит пото- му, что перестал вслушиваться. И он забыл про звуки.

Мерзость какая внутри!

Живот сводит судорогой. Водянистая слизь потекла струй- кой изо рта; Сет утерся. Подумал: "Раньше было не так, руки тряслись, кишки распирало, кости как труха, а сам вот-вот лоп- ну. И руки чесались убить кого-нибудь. А теперь — мне страш- но". И глубоко засевшее семя страха прорвало оболочку, пусти- ло белый корень, выкинуло вверх зеленый росток.

Как же там было? Черные железные пожарные лестницы жмутся к стенам домов в переулке, и черный остов "бьюика" перед глазами, и слепящие искорки битого стекла, и шорох — скороговорка крыс, шныряющих вдоль изгороди. И внезапно над головой из горящего желтым светом окна — отрывистый женский хохот.

И ему захотелось прильнуть к ней и поплыть, спастись, уно- симому течением, она влекла его, как река, а одному ему не вы- плыть.

И испугавшись, что потонет, он забарахтался, лоя ртом воз- дух, и тут понял, что дубасит кулаками по чем попало. Он мо- лотил ими по полу, по тюфяку, по стене, по коленям, пока не сбил все костяшки пальцев, пока резкая боль не заставила его остановиться.

И тогда Сет обнаружил, что весь дурман из головы куда-то

улетучился, он ощупал сбитые костяшки на одной руке, потом на другой. И подумал: "Ну, сколько еще, с неделю, больше? Долго ведь не протяну".

3

Она спускала детскую прогулочную коляску с последней ступеньки, собираясь двинуться в полумрак прохода между двумя домами под узкой щелью стиснутого крышами неба, под нависавшей пожарной лестницей, но ей все еще казалось, будто отяжелевшая голова осталась где-то в постели, под одеялом, и вся стянута, скована обручем, который никак не разжать, и нет сил забыться сном, избавиться.

Обруч сдавил сильнее: она приподняла передок коляски, чтоб задними колесами съехать со ступеньки на дорожку, голова снова погрузилась под одеяло, она покачнулась, поплыли зеленые круги, она схватилась за ручку двери, коляска, соскочив с последней ступеньки, кляцнула об асфальт, покатилась вперед, врезалась в стену; ребенка подбросило, он съехал вниз к жердочке с погремушками. Снова голова выплыла из-под одеяла, и донесся плач ребенка, очутившегося на самом дне коляски.

Она подхватила малыша, усадила на место.

— Ш-ш-ш!

Ребенок заплакал еще громче.

Она покачала его, положив руку ему на плечико.

— Ш-ш-ш!

Ребенок успокоился, принялся тыкать пальчиками в шарики погремушек. Она откинула ему прядь со лба и подумала: "Надо поосторожнее. Сама не соображаю, что делаю".

Вспомнила: утром, еще не до конца проснувшись, села в постели, озираясь вокруг, чувствуя, что затылок весь набряк и раскалывается от боли, а жилы будто разбухли, отяжелели, как свинцовые, стали неуловимые, как ртуть.

На простыне большое, с ладонь, кровавое пятно. Она ничего не помнила. И все-таки вид крови ее почему-то не удивил. Сидела, уставившись на пятно. Внезапно показалось, словно вся кровь в ней, сдавленная свинцовой тяжестью, метнулась по своим руслам, словно забили источники под коркой льда. Так и не вставала, сидела в кровати.

Когда вышла потом и стала свозить коляску вниз по ступенькам, помнила только, как стаскивала простыню, чтоб никто не увидел, как засовывала в мешок с грязным бельем, как одевала ребенка, как ела. И только спускаясь с коляской вниз, впервые за все утро встрепенулась с тревогой: откуда кровь?

Она стояла, переживая приступ головокружения. Вспомнила. "Должно быть, ночью что-то со мной стряслось. Никогда еще так худо не было".

Все силилась вспомнить: "Что же случилось? Что произошло ночью, почему я ничего не помню?" Но мысли терялись, упирались в сдавивший виски обруч, в мягкое одеяло, она развернула коляску и двинулась по улице.

Впереди лучик солнца упал на тротуар, осветив часть стены. На асфальте, привалившись крылом к стене, лежал растерзанный, облепленный зелеными мухами воробышка. Голая шейка скручена, головка запрокинулась. Черные веки сомкнуты, клювик разжат. Запекшаяся, почерневшая кровь ниточкой протянулась до самого асфальта.

Она метнула взгляд кверху, к железному каркасу пожарной лестницы. Никакого птичьего гнезда. Может, кошка сюда занесла?

Однажды как-то на ее глазах подбили камнем голубя, он упал с пробитой головой, заметался по асфальту, и крылья у него заходили по воздуху, как два серпа; мальчишка снова запустил ему камнем в грудь, и голубь опрокинулся навзничь. Она застыла под деревом как вкопанная, а мальчишка опять швырнул камнем, и еще раз, и вот крылья птицы замерли, оборвав свою жатву на потрескавшемся асфальте. Тогда она схватила палку, с силой ударила мальчишку по руке, ругая его на чем свет стоит, но было слишком поздно. Страшное уже свершилось.

Ребенок уставился на блестящих, как новенькие монетки, мух, копошившихся над воробьем. "Не надо ему смотреть! — подумалось ей. — Не надо ему видеть всего этого!"

И в это мгновение открылась боль в низу живота. И внезапная ярость забурлила едкой щелочью внутри. Почему, откуда кровь? Что такое сотворил этот мерзавец?

*

Стоило ей выйти на улицу, как тут же ударило в голову: "Меня выгонят с работы!" Но теперь звонить, предупреждать было поздно. Утром, сидя в постели, она чувствовала, как кровь стучит в висках, как сами собой шевелятся напряженные нервы; она смотрела, как движутся стрелки, как проходит время, когда ей надо вставать, потом когда надо заводить ребенка к матери, потом когда надо являться на работу.

Но страх потерять место появился только теперь, на улице, когда голова почти высвободилась из-под тяжелого одеяла. А тогда, когда сидела в постели на простыне с кровавым пятном, поглядывая на ребенка, ворочавшегося во сне в своей кровати у стены, и следя то за утренним лучом, неторопливо ползущим по стене, то за бесстрастным ходом стрелок по кругу и вслушиваясь в звуки города, она вдруг слышала где-то рядом, как будто за стеною, плач ребенка. Уличный шум заглушал этот плач, но ей мучительно захотелось слышать, как он плачет. Она выбралась из постели, чтобы дознаться, откуда доносится плач: сверху,

снизу, а может, и вовсе из окна? Но стоило ей встать, плач тотчас оборвался.

Когда спускала ноги на пол, обожгло холодом. И от этого ледяного холода все силы, поднявшие ее из постели навстречу детскому плачу, иссякли. "Наверно, так бывает, когда умрешь, — подумалось ей. — Не слышишь и не видишь ничего. Но раз я думаю об этом, может, я еще не умерла?"

Тихо, слышно только, как ребенок ворочается в кроватке. Она подошла к нему, вынула из кроватки, прижала к груди, стала укачивать на руках, чтоб уберечь его сон. От укачивания у нее закружилась голова. "Как на ветхом деревенском подвесном мостике в сильный ветер: скрипят покрытые ржавчиной тросы, мостик раскачивается под ветром, пружинит при каждом шаге, — а там, внизу, под серым льдом, речка, и темные полыньи бегут под мостом вслед за тобой". Она опустила малыша обратно в кроватку, а сама снова прилегла, подождать, чтоб унялась круговерть в голове и внутри.

Потом вдруг подумала: "Что ж это я ничего не делаю?" И не сообразив еще, за что бы взяться в первую очередь, зная только, что надо вставать, поднялась, нащупала одежду и постепенно включилась в дневные заботы.

Сейчас, идя по улице и впервые почувствовав боль внутри, она поняла: "Этот мерзавец что-то со мной нехорошее сделал и смылся. Днем ходит, кругом тут все рушит, а по ночам, думает, и со мной так можно? А работу мне терять никак нельзя. Если отправят в исправительную тюрьму, тогда малыша заберут в приют, ведь мать не сможет за ним круглые сутки ходить".

Она поборола накатившее отчаяние: нет, не видать им его! Подумаешь, условия у них! Не видать им его, и все. Они, понятно, ему не враги... Нет, все равно не отдам! Не имеют права. Пусть я плохая мать, но сама решу, кому его отдать. Откуда им, чужим, знать, что моему малышу надо?

Значит, если меня погонят с работы, загребут в исправилотовку, надо будет тогда найти, кому отдать ребенка. Но ведь пока же не загребли? Ну вот и думай, как теперь быть! Сейчас, соберусь с мыслями, может, придумаю что и работу не потеряю.

Да шут с ней, с этой работой! Обрыдло мне это их заведение. Только и знаешь, крутишься целый день с тарелками да все чиркаешь заказы, чиркаешь, еще и орать приходится, а все за горстку чаевых, притом вечно у меня недостача". Да просто нет никаких сил сейчас на работу идти. Что-то он со мной такое сотворил, до сих пор в себя не приду. Самое лучшее сейчас — отвезти малыша к матери, пусть там поживет, пока я не очухаюсь.

Мать орать будет. А куда денешься? Что мне там торчать, слушать ее — повернусь да пойду.

*

Подойдя к дому, где жила мать, она стала было подниматься по ступенькам, но остановилась в раздумье: сможет ли дойти до верха, не накатит ли приступ, и мать — оставит ли у себя ребенка, а что если сообразит, что ни на какую работу сегодня дочь не пойдет? Да что уж тут, думай не думай, другого выхода нет.

Винтовая лестница, четыре витка. Развернула коляску и, поднявшись на ступеньку, потащила за собой наверх.

— Что, опаздываешь? — встретила ее мать.

— Опаздываю.

— Почему не оделась для работы?

Действительно, она об этом даже не вспомнила.

— Да может, меня уж не пустят. Надо автомат найти, позвонить.

— Так и оделась бы все равно в рабочее платье, если пустят, сразу и пошла б.

— Не сообразила.

— Встать надо было вовремя. Ну иди, я за ним пригляжу.

*

Сет встретил ее на улице: жакет нараспашку, она шла выпрямившись, как струна, сжимая ручки коляски; зажженная сигарета гордо, как стяг, торчала между пальцами. Направилась с коляской к краю тротуара, пошла через улицу, и как раз в этот момент из-за поворота вылетел грузовик; взвизгнули тормоза.

— Смотреть надо, куда едешь! — крикнула она.

Вот она, толкая впереди себя коляску, переходит улицу, вот дошла до тротуара, вкатила коляску и, затянувшись на ходу, двинулась по улице дальше.

Потом он встретил ее еще раз: она сидела одна в парке на скамейке, засунув руки в карманы жакета и уставившись на стайку голубей, которым какой-то человек кидал крошки. Мимо прошла женщина, всполошив голубей; она встрепенулась, подняла взгляд, проводила глазами женщину, потом взгляд упал на голубей, снова слетавшихся к крошкам; посмотрела на них, закусил губу, встала, зашагала куда-то.

А Сета опять ждала работа.

*

Оставив ребенка у матери, пообещав ей, что попытается вернуться на работу, она, оказавшись теперь одна, почти восстановила в памяти, что случилось вчера. На работу не пошла. Решила: "Надо прийти в себя. Привести в порядок мысли". И принялась бродить по улицам в надежде, что сможет остаться наедине с собой. Домой ее не тянуло; там давило на голову, оттуда несло холодом.

Сейчас, когда смогла напрячь память, вспомнила: пришел он и еще двое: мол, есть у них кой-чего; а она им — тут ребенок, ничего такого не надо, сама не хочет и им не позволит. И тут чем-то тяжелым ее ударило по голове, и сознание с этим тяжелым куда-то кануло, а место, куда ударило, — дыру — будто наглухо заваляло снегом.

“Его рук дело. Как же я оплошала, как же допустила это?”

Показалось, вот-вот пробьется сквозь снежный завал, стряхнет наваждение, наткнется в памяти на то, что никак не может отыскать. Нет, еще не пора.

“Говорят, память все сохраняет. Все, что случается с нами, все, что мы делаем, оставляет след и где-то глубоко хранится; помним мы об этом, нет ли, все равно это в нас. Что бы мы ни делали, всем движет наша память, порой бывает, сами не знаем, почему так поступаем, что нас заставило. А потом все скрытое проявится, надо только делать свое дело и ждать, взрыхлять забытое, вырывать из пустоты, чтоб вышло на свет, а когда выйдет, не упускать, потому что оно для чего-нибудь да нужно”.

Она помнила, откуда все пошло, откуда в ней это — отвращение ко всему мерзкому.

Однажды дядька приволок самку опоссума и кинул на крыльцо их хибары. Самка была мертвая. Пуля размозжила ей череп, превратив морду в черное, безглазое месиво. В раздавшейся утробе остались нерожденные детеныши. Скрытая жизнь билась в мертвом теле, вздымался пушистый живот, выпячивались соски. Шея, лапы, когти, хвост были неподвижны. Лишь брюхо пульсировало, словно детеныши хотели проскрестить себе путь на свет. Ей подумалось тогда: “Нет, не может быть! Они не понимают, что творят. Они слепые, не видят, просто им стало холодно”. Отец присел на крыльцо, уставился вдаль, откуда доносился грохот перевозящих уголь самосвалов.

— А может, ей разрезать живот, вынуть их?

— Нельзя. Не выживут. Не надо, не смотри!

Но она все смотрела, молча, долго; прошел, наверное, час, и в животе перестало шевелиться.

“Вот тогда я и почувствовала какую-то мерзость в себе, — вспоминала она. — Когда ничего не можешь сделать и остается только смотреть, тогда вся мерзость увиденного переходит в тебя. Вот откуда во мне столько грязи. Эту мерзость в себе оставлять никак нельзя. Удавила бы каждого, кто на глазах у ребенка нехорошее творит, чтоб ребенок смотрел и нельзя было ничего поделять”.

Надо всю себя поломать и попытаться сложить заново. Только складывать-то из чего? Остается все то же, и творишь теми же руками. А ведь так хочется, чтоб было лучше!

— Ах ты сукин сын, ну и дом заковыристый! — сказал Рей.

И они обрушились на дом всей мощью стали, крепостью рук и ног, силой мускулов и упругостью веревок, сбивая руки в кровь, стуча молотами, собрав в кулак всю свою злость. Сет рванул со стены пласт штукатурки, на шлем и на плечи ему посыпались потоки сухого цементного раствора и клочья дранки. Они крушили трубы вместе с проводкой, с оглушительным грохотом валили стены целиком, и тут же лавины удушливой пыли, выползавшие на улицу, оседали на лобовых стеклах полицейских машин и грузовичков, развозивших пиво. С голодной жадностью впивались в балки. С алчным нетерпением отдирали остатки металлических креплений. Гвозди и острые щепки рвали им руки. На голову падали кирпичи. Перерезанные провода, выбиваясь из-под оконных рам, норовили проткнуть глаза. Плыло то и дело готовили западни, чтоб поломать им ноги, чтоб обрушить вниз.

Пятнистые от пыли, со вздутыми мышцами, вспоротые ссадинами тела словно повторяли знакомый рельеф географической карты. Песчаными пятнами пустынь осела на лицах пыль.

В кармане куртки у Сета сохранилась горсть белого песка с калифорнийского побережья. Теперь этот песок смешался с пылью штукатурки, крупинками извести и грубого песка, со сгустками цементного раствора и серой древесной трухой. Проводя расческой по волосам, Сет вычищал гнилые щепочки, чешуйки высохшей краски, комки сухой замазки, а однажды выудил даже гнутый ржавый гвоздь.

А когда наступил всему этому конец, когда балки, и бруссы, и половые доски, и чугунные трубы были погружены в кузов, когда последние гнилые деревяшки догорали в железной бочке, Сет рухнул на ржавую от кирпичной пыли траву во дворе прямо посреди обломков кирпича и осколков стекла, и все то, что еще оставалось в нем, потянулось в землю. Вся кровь, весь пот, вся плоть, весь монолит костей — все поплыло куда-то вниз, просачиваясь сквозь кирпич, сквозь осколки и штукатурку, вливаясь в упругие вены трав, проникая туда, в сплетение белых подземных корней, в черный покров земли и глубже, проваливаясь в глубинные недра глины и окаменелостей, куда не доберется ничей взгляд, где ничего не растет.

Назавтра явились двое негров, очистили кирпич от извести, уложили на поддон для продажи. Когда кирпич вывезли, Дейл прислал самосвал с гравием, чтоб заровнять площадку.

*

Их Высочество пребывала в смятении. Сет смотрел, как она шла по улице, сощурившись под мягкими полями знойно рас-

цветенной "колониальной" шляпки. Шляпка громоздилась поверх массивного, как облако взрыва, парика, точно горный орел в своем гнезде. Их Высочество поигрывала тесемкой у подбородка, которая подстраховывала всю эту пирамиду. Под мышками жакета-сафари уже темнели пятна пота, туго набитые, оттопыренные карманы, откуда вдобавок торчала экзотическим цветком пластмассовая вилка, позвякивали чем-то на ходу, как жестянки на уличном лудильщике. Солнце золотило латунные звезды у нее на плечах. Голые ляжки выпирали из шорт защитного цвета; тугие, белые, как облака, складки жира подрагивали. Она ступала голыми пятками по асфальту осторожно, чтоб не напороться на стекло.

— Диверсия! — вдруг выкрикнула она.

Остановилась, опустила руку на плечо мужу, неотступно шававшему следом, задрала левую ногу, согнула в коленке, при этом с такой силой оперлась рукой на мужа, что тот качнулся и весь напрягся, чтобы удержать ее. Она вытянула из пятки сверкнувший осколок зеркала.

— Ну вот, я же говорю, заговор!

И она многозначительно подмигнула. Лицо у мужа не дрогнуло. Да и ей самой тоже было не до смеха. Вид был явно озабоченным. Пока она, опираясь на его плечо, ощупывала порез, кадык у мужа прыгал туда-сюда.

— Не смертельно, — сказала она. — Бывало и похлеще. Но все-таки жуть как глубоко. А ну, не зевай! Гляди, может, у них тут засада.

Она пошарила взглядом вокруг и, ткнув пальцем в Сета, который вместе с Элом сидел на крыльце, крикнула:

— Ах, вот он, голубчик!

Опустила ногу, сняла руку с мужнина плеча, сунула под нос мужу ладонь. Тот выпучился, при этом кадык у него снова запрыгал, и вложил ей в руку полицейскую дубинку. Она сжала дубинку, ткнула ею в сторону Сета и произнесла:

— Этот вот. Запомни его. И того тоже.

Она ткнула дубинкой в сторону Эла, потом сунула руку за пазуху, пошарила, на мгновение замерла, зарылась пятерней поглубже и извлекла бутылку "кока-колы".

— Не спускай с них глаз, если что, мы их в порошок сотрем!

Повернулась и пошла, ковыляя, прочь; муж двинулся следом.

*

Они спускались с лестницы, волоча кушетку: Рей за низ, Сет за верх. Костяшки сжатых рук обдирались, задевая за облупленные стены. Кушетка никак не пролезала между перилами и стеной, пришлось поднять ее повыше.

— Погоди-ка! Да стой же, черт тебя подери! — сказал Рей. — Опустит!

Кушетку опустили, и она зависла над лестницей, вклинившись между перилами и стеной. В полумраке Сет увидел, как Рей привалился спиной к кушетке, одновременно подпирая, чтоб не съехала вниз.

— Ты чего?

Рей молчал. Рука у него была прижата к правому уху, лица в темноте было не разглядеть.

— Эй! Что с тобой?

Рей отнял руку от уха.

— Все эти чертовы железки, что мне в голову понавтыкали. Когда мне голову разбили. Тут как-то здорово отмолотили меня, чуть умом не тронулся. Теперь как проснусь, голова трещит, нет сил, никак сообразить не могу, где я, бывает, и глаз сильно дрожит, ничего не вижу. А отмолотили меня, понимаешь, потому что я смотрел вокруг и не отворачивался, если что. Ну и насмотрелся всякой пакости.

“Нашел тоже место байки травить”, — подумал Сет.

И, видно, чем-то он эти свои мысли выдал, потому что сразу почувствовал на себе цепкий, как тиски, прищур Рея. Рей продолжал, медленно растягивая слова:

— Меня от гнусностей всегда воротило. Повидал я, как полиция обращается с людьми, с деревенскими и со всякими цветными тоже. Раз, вечером дело было, один полицейский мне и говорит — убирайся, мол, подальше; он тут на пьяницу одного охотился. А я сказал, что нет, останусь лучше, посмотрю, как он тут орудовать будет. А он мне — я, дескать, в два счета тебе покажу. И тот, что с ним был, тут же засвистел, на помощь позвал. Они всегда так. Чуть что, сразу дружков на подмогу зовут. Ну а я все равно говорю, что просто в сторонке постою, погляжу, а он мне: постой, мол, где в другом месте, нечего тут ошиваться! И только я собрался уйти, только ему сказал, чтоб отстал, делал свои дела, только двинулся от него прочь, тут все и началось. “Стой!” — кричит и на меня с дубинкой, хочет к стенке пихнуть, ну я вырвал у него дубинку, бросил наземь, а он тогда пушку свою вынимает и рукояткой прямо мне по голове. И тут они оба про пьяницу, видно, позабыли, и на меня, молотят дубинками, кулаками сыплют; сообразить не успел, что к чему, как взвоят сирены, как понеслось, целая тьма их на меня по улице катит, сшибли с ног, рукояткой по башке и в машину, на заднее сиденье, привезли к реке и там отделили по всем правилам. Даже в участок не свезли, зачем им!

Вот после этого мне в больнице и вставили эти железки, голову чтоб скрепляли. В голове теперь будто радио какое. Все ничего, только, не дай бог, затянет какой пройдоха проповедь...

Рей провел ладонями от ушей к подбородку.

— И болит, бывает, здорово.

Он приподнял свой конец кушетки с перил.

— Ну давай, поволокли эту чертяку вниз.

*

Впервые в ушах Рея стало потихоньку завывать вот уж скоро год тому назад. Сначала он решил, что звуки где-то рядом, будто кошка канючит, в стенку замурованная, будто кличет могильщик, запертый в склепе, будто плачет где-то в пещере малыш. А иногда казалось: может, это с улицы? Неужто это от битья ухо слышит теперь то, чего обычно не слышат? И ему чудился сначала все время один и тот же звук, тоненький, словно кто-то, дрожа от страха, дудит на дудочке; он слышал этот звук посреди ночи, и днем, когда трясся в грузовике, и по утрам, когда пил кофе, и в те дни, когда приходил пьяный. Потом звук стал слышаться не снаружи, а изнутри, завывание доносилось откуда-то из узкого коридорчика в самой голове, словно после того, как его избили, в глубине уха открылся какой-то новый проход: потаенный звук долетал, как далекий крик заваленного в шурфе шахтера, перекрывающий и звон кирки, и рев отбойного молотка спасателей, как крик, который оборвется тогда, когда несчастному не хватит воздуха.

*

Сет увидел, как ее, с пачкой сигарет в кулаке, с отчаянной яростью в глазах, выводят из дома. Перед этим на носилках вынесли Рика, бледного как смерть, голова безжизненно болталась, словно висела на ниточке. Она глядела, как носилки запихнули в машину "скорой помощи" и санитары побежали к дверцам. Потом подняла глаза, посмотрела вперед, поверх полицейских голов, поверх машинной крыши, взгляд упал на Сета. И только. Упал мимоходом, как мелочь в ладонь кассира. Будто расплачивалась за мелкую покупку. Среди глазевших прохожих Сет заметил Рея, тот привалился к столбу, руки в карманах; Сет подошел к нему.

— Вот, пырнули этого мерзавца. Полиция нагрянула, а тут она. Ее и взяли.

— А кто пырнул, она?

— Может, и она. Было за что. Доконал он ее.

— И что теперь?

— Подождем, объявят залог, тогда вызволим.

Ферн с Элом были уже дома, стояли на крыльце, поджидали.

— Слыхали? — спросил Рей.

Эл кивнул.

— А Рик-то живой?

— Выживет. Хоть и не стоило б, но выживет.

— Если не помрет, ей приговор смягчат. Пока это, можно сказать, нападение с применением оружия. Ну, или попытка убийства.

— А мы ее вызволим?

— Если денег наскребем.

— А где их взять-то? Здесь и загнать-то больше нечего. Деньги! С луны они, что ль, упадут! Вон и Дейл нам уж две недели как не платил.

— Заплатит, куда он денется. Возьмем его в оборот.

— Ну да, ищи его, свищи! Сам знаешь, чуть что, он под лед. — Глаза Рея сощурились, нацелились на стену прямо над головой Эла.

— Да будет вам, — произнес он. — При чем тут деньги?

— А чего без них сделаешь?

— Есть вещи и посерьезнее. Понятно?

Эл присел на ступеньки, забарабанил пальцами по стене, потом отозвался:

— Понятно.

А Сет отметил про себя: "Видно, Рей что-то замышляет, и Эл знает, что". И поднял на Рея тревожный взгляд.

Рей сказал:

— Вот что, ступайте-ка туда, в суд, и узнайте, какой назначен залог. А мне тут нужно кое с кем встретиться. Насчет денег.

Эл спустился по ступенькам и двинулся по улице, за ним следом Ферн. Рей повернулся к Сету.

— Хочешь, можешь с нами. А нет, так и не надо. Ты ж ее не знаешь.

На мгновение все внутри у Сета перехватил спазм, ударило в виски: "Нет, не скажу! Потом, когда сам с собой разберусь, потом". Следом шевельнулась мысль: "Соглашусь, и тогда совсем мне крышка!" И при всем этом в голове стучало: "Эх ты, я ведь ее раньше тебя знаю! Ничего-то ты не понимаешь!"

— Я с вами. Куда же мне еще? — сказал Сет.

— Что ж, тогда, если хочешь, пошли со мной. Дело есть.

*

Посреди заднего двора, вооружившись молотками, обложившись камнями, фанерой, содранной с заколоченных окон новых домов и грудями неведомо откуда взятых досок, семеро соорудили себе домик — пятеро мальчишек, две девочки. Они покрикивали друг на дружку, сыпали один другому распоряжения, каждый начальник. Только сложили остов — отлетел кусок обшивки, и все сооружение посыпалось как карточный домик, а они стояли над этой грудой и все спорили, кто виноват, наконец двоим спорить наскучило, и они стали растаскивать попадавшие доски и вновь возводить все заново. Постепенно подтянулись и остальные, включились в работу; дня через три домик был готов. Все это строение держалось на гнутых гвоздях и шатких опорах. Вместо дивана притащили старое сиденье из машины, постелили половичок, повесили занавесочки, высунулись

из окошка, украшенного фанерными обрезками, смотрят прямо на Сета, застывшего в окне дома напротив, хохочут.

Он и раньше с улицы за ними наблюдал. Теперь он в доме, который скоро сносить, с ним Рей, и они рыщут здесь в поисках медных и свинцовых трубок. Двигались с верхнего этажа вниз, сбрасывали с лестницы металлические трубы, да так стремительно, что Сет чуть не задохся от напряжения, а один раз даже кубарем полетел с лестницы.

Удержался, ухватился за перила, повис вниз головой, закрыл глаза, вцепившись ногтями в металл, чувствуя, как в каждой клетке мозга бешено стучит кровь. Он висел, живой и невредимый, как летучая мышь на своде пещеры.

Скинув свой груз на нижний этаж, Рей вытянул Сета, поставил на ступеньки, спихнул из-под ног обломки труб, и они загрохотали вниз по лестнице.

Сет на минутку опустился на ступеньки передохнуть и, входя в себя, чувствовал, как успокаивается кровь, как возвращаются силы. Потом поднялся, пошел вслед за топавшим вниз Реем к грузовику, помог закинуть в кузов трубы. Подъехали к реке, где стояли грузовые краны склада металлолома; отодрали куски ценного металла, кинули на весы, потом сбросили в кучу, и смотрели, как закованный в висящую в небе железную кабинку крановщик поднимает магнитом груды лома. Худой и длинный негр разбил ящик с железными обрезками, покидал обломки в бочку, где горели щепки, и замер, устало опершись о топорщице. Крановщик зевнул, потом задвигал рычагами, и огромный магнитный крюк, размером в колесо тягача, проплыл мимо кабинки и медленно потянулся на сотню метров вниз подхватить кучу их лома — обрезки, обломки труб, автодетали и старую железную кровать. Электромагнит заурчал, и груда задрожала мелко-мелко, как кучка новорожденных щенят, потом железки, подпрыгивая, как собаки, стали налипать на крюк. Взвился трос, поднимая ошестинившуюся кучу вверх, к кабине, и вот все рухнуло вниз, в лоток посреди завала железок и утиля.

*

Когда Рей с Сетом вернулись, Эл и Ферн жарили дома колбасу.

— Залог две тысячи, — сказал Эл, переворачивая колбасу. — Значит, поручителю вносить двести. А у нас с Ферном всего тридцать пять на двоих. Жалко же, черт побери! Какого рожна чужого дядю подкармливать?

— Тоже мне, заботы! — отозвался Рей. — Ну что, колбасу-то вашу можно есть или нет?

Поев, они снова разбрелись кто куда в поисках денег. Нужно было набрать еще сотню долларов. Сет отправился по улицам один. Окна ломбардов светили ярче даже, чем окна баров и рес-

торанов. А ярче всего горели рекламы часов и музыкальных инструментов — на это средств не жалели.

Закладывать в ломбард Сету было нечего, да если б и было, ломбард уже закрыт. А на окнах у них, как пить дать, сигнализация. Несколько девиц стояло на углу; из окон кафе пялились сутенеры. Широкий, украшенный гирляндой фар, задок автомобиля вильнул за угол; девицы переглянулись. Машина развернулась, вынырнула обратно, остановилась неподалеку от угла. Одна из девиц откололась от группки, подбежала, склонилась над окошком. Поторговалась, дернула дверцу.

“Можно было бы и в центр двинуть! — подумал Сет. — Мало ли что эти после скажут. Чего уж там! Хуже не будет”.

Но в центр он все-таки не пошел.

Какое-то зудящее бормотание, какая-то словесная мельтешня докатились до него, Сет обернулся.

— Мазурики!

Их Высочество двигалась к нему из глубины улицы, с каждым ее шагом речь доносилась все явственней.

— Жулики!

Муж семенил следом, весь подавшись к ней, вперед, и приложив ладонь рупором к уху.

— Убийцы, уголовники!

Муж закивал, поймав лысиной неоновый отблеск рекламы. На Их Высочество была накинута судейская мантия, снизу мелькали голые ноги. Грудь, как чашки весов, ходили под мантией вниз-вверх, вниз-вверх. Парик на голове удерживала стянутая на лбу тряпка, желтые свалывшиеся кудельки спадали на выпученные глаза.

— Шлюхи и извращенцы! Ты знаешь, кто такие извращенцы, а?

Муж напрягся, снова подался вперед, будто не расслышал.

— Да нет, откуда тебе знать! Так вот, извращенцы — это мерзкие развратники, попирающие общественные устои. Они ненормальные. Значит, вредные. Тут все связано. Законы природы и устои общества. Такие отщепенцы не считаются с частной собственностью. Расхаживают повсюду, будто хозяева земли. Разбойники! Ворюги! Карманники! Насильники! Мятеежники! Хулиганы! Им не место среди приличных людей. От них надо избавляться. Нужен порядок. Всех засудить, пересажать, потом перевоспитать и выпустить на поруки. А кто не исправится, их, значит, ликвидировать. Надо им показать! Чтоб знали! Всем этим хиппи, наркоманам, всем этим бродягам. Им надо как следует всыпать, чтоб потом вернуть обществу. Их надо перевоспитать. Им надо помочь. Излечить. Шлепнуть по заднице разок-другой. Их надо полюбить.

Девицы на противоположной стороне улицы, проводив Их Высочество взглядами, плюнули ей вслед. Проходя мимо Сета, Высочество ткнула в него пальцем и заговорщицки посмотре-

ла на мужа. Муж кивнул, кинул взгляд на Сета, поскреб подбородок. Затем, кашлянув, бросился вдогонку за супругой, которая успела оторваться.

— Надо, чтоб они покаялись. Чтоб кто-то наставил их на путь истинный. Что у них за вид! Что за речь! Что за походка! Даже есть как следует не умеют! Для них нет ничего святого. Они опасны! Они никчемны! За ними нужен глаз да глаз. Иначе им удержу не будет!

Их Высочество широко вышагивала по улице, заняв собой весь тротуар; старушка, шедшая навстречу с сумками, посторожилась даже, чтоб пропустить эту необъятную, изрыгающую слова громадину. Высочество при этом и бровью не повела, оборотилась к мужу, чуть не сокрушив старушку, та отпрянула, отступила раз, отступила два и оказалась прямо на мостовой, застряв между двумя машинами, припаркованными у тротуара, но Их Высочеству было не до нее.

— У, хавронья старая, — пробормотала старушка.

Сет повернул за Их Высочеством и немедленно окунулся в поток словесной трухи, исторгаемой ею на ходу. Прохожих отбрасывало в разные стороны, будто Их Высочество, как корабль, разрезала носом встречную волну. И всю дорогу, пока она шла по улице, пока переходила через улицу, люди, попадая в шквал исторгаемых ею слов, оборачивались, смотрели ей вслед, качали головами, иногда бормотали что-то, иногда просто смеялись. Следом за ней, неотвязно, как шлюпка при судне, тащился муж.

— Полный вперед! — выкрикнула Их Высочество.

Сет шел за ней по пятам. Это вышло как-то само собой. Он старался держаться на таком расстоянии, чтоб ни она, ни встречные не поняли, что он ее преследует. Даже когда она, сворачивая за угол, скрывалась из виду, до Сета все равно доносилось ее зычное нескончаемое бормотание.

Их Высочество двигалась через пустую стоянку у школы, бормотание стало невнятной, отрывистой. Казалось, она захлебывается своими же словами; звуки вылетали из нее брызгами, как мокрый кашель, как плевки, барабания по кирпичным стенам, застревая в листве деревьев в глубине парка.

Сет следил за ней, укрывшись за мусорником у школы. Она вступила под кроны деревьев парка, и тусклый отсвет фонаря смазал по лысине тянувшегося следом мужа. Сет взгляделся в темноту: их тени замерли у высокого дерева. Оттуда не доносилось ни звука. Они стояли неподалеку от дорожки, можно было подойти к ним поближе — мало ли, прохожий! — и Сет направился к парку, но едва окунулся в темноту, как их тени тотчас слились с другими.

У того самого дерева, рядом с которым он их видел, Сет остановился, прислушался. И тут в спину ему ударил ее голос:

— Юноша, — произнесла Их Высочество, — ты шел за нами!

Сет обернулся: она стояла перед ним руки в боки. Рядом муж постукивал кулаком об ладонь. Несмотря на уличный шум, Сет слышал мерное, глухое тюканье кулака.

— Зачем ты за нами ходишь?

Сет молчал. Он не знал, что сказать. В мозгу пронеслось: "Только попробуйте троньте, я вас обоих прирежу!" — И он скользнул рукой в карман, где лежал ножик.

— А я тебя, юноша, знаю! Ты не подозреваешь, а ведь я тебя знаю.

Муж прекратил тюкать кулаком по ладони, скрестил руки на груди.

— Даже представить себе не можешь, как хорошо я тебя знаю. Ох, как знаю! От меня не скроешься. Я могу обернуться кем угодно.

Она отняла кулаки от боков, воздела руки к небу, всколыхнув складки мантии.

— Нет, от меня не уйдешь! Мои люди за тобой следят. Мне известно, что не туда тебя потянуло. Не туда! Свою жизнь попусту тратишь.

Тут муж принялся медленно, точно псаломщик, кивать.

— Взгляни на него, — призвала Их Высочество. — Ишь, мозгляк! Думает, запугает нас ножичком, тем самым, что у него в кармане. Думает, ага, попались! Думает, нас защитить некому!

И она расхохоталась; у мужа тоже в горле лягушкой, заглотанной удавом, затрепыхался смешок.

— А ну, давай пошли! — оборвав смех, приказала она мужу, у которого все еще барахтался в глотке смешок. Она повернулась и ринулась прочь, да так стремительно, что муж даже опешил, но спохватился и, не успевшая она выйти на свет из тени под деревом, кинулась вдогонку. Оба устремились к дорожке парка, вдруг она обернулась, махнула ладошкой Сету, чтоб шел следом.

— Пойдем-пойдем, тут недалеко!

Они прошли несколько кварталов и остановились у мрачного каменного дома с железными решетками на окнах. Это было здание суда.

— Знаешь, что в этом доме, а?

Сет поднял голову: на верхнем этаже, под самой крышей, чернел ряд окон.

— Там сейчас в душных этих камерах человек сто мается. И никуда им оттуда не деться. Было дело однажды, десятка два сбежало. Помнишь? Ничего, всех обратно доставили. Кроме одного, правда. Но, будь спокоен, жизнь у него хуже, чем у собаки. А тем, кто здесь, уже не выйти. Вон там, ниже, все их дела хранятся. Нынче ночью тут никого, кроме арестантов и тюремщиков. А вот завтра утром сюда пожалуют и судьи, и адвокаты, и судебные исполнители, и секретари, и будет все по форме. По форме! А сейчас — ночь, только арестанты да тюремщики. Но никому отсюда не уйти! Так вот. Вы тут рушите, верно? Дома

сносите. Так? Только этого здания вам ни в жизнь не разрушить. Тут кирпичи намертво положены, крепче, чем иные законы. И балки здесь железные или из векового дуба. Фундамент из гранита, мощный, как и стены банка. Сработано на века. Вам, ребята, его не снести! Этого не снести, а нового не воздвигнуть. Куда вам, с вашими молотками и с этими — как их? — с ломками. Нет, эта штука не про вас. Дом громадный. Прочный. Уж если рушить, гигантские краны нужны и груша чугунная. Так или не так?

Муж, поддерживая локоть рукой, уперся подбородком в ладонь. И снова закивал.

— Так или не так?

Сет молчал; она продолжала:

— Ну а все дерьмовые эти игрушки у нас в руках!

Муж резко кашлянул, и подбородок соскользнул у него с ладони. Она обернулась к нему.

— Прости! Я хотела сказать, что у нас и техника вся, и взрывчатка, и все самое мощное оборудование. Понятно? Так вот: чтоб снести какой угодно дом, тому парню, что при технике, делать нечего, сиди себе, двигай рычагами, крути баранку или кнопки нажимай, и все! Но мы ему платим за то, чтоб сносил дом, какой мы ему укажем. Ну а взбрыкнет, пусть пеняет на себя... А с такими, как ты, не договоришься. Того и гляди, вас что-нибудь ломать потянет. А что ломать, сами как следует не знаете! Вот потому-то я и хочу тебе поведать о непоколебимых движителях правосудия. Как, ничего фразочку завернула? Итак, правосудие. Я тебя насквозь вижу. Ты все мечешься. Ты и сейчас мечешься. Я вижу.

Зря, набирая силы, слова Сета никак не могли прорвать свою оболочку.

— А на мир надо глядеть спокойней. Вся твоя суета, все твое упрямство до добра не доведут. Это так же смешно, как пытаться разрушить тюрьму, этот оплот правосудия. Тебе не по зубам. И пытаться нечего!

— Ты... ты дура ненормальная! — наконец вырвалось у Сета. — Дура!

— Ну вот, пожалуйста! — Она опять повернулась к мужу, который, подбоченясь и прищурившись, глядел на Сета. — Все они такие. Не хотят слушать доброго совета. И, стало быть, они...

— Давай деньги!

— Что?

— Деньги, говорю, давай!

— Ну вот, агрессивность проявляет!..

— Выкладывай деньги, не то я твоему ублюдку черепок проломлю!

— Угрожает! — произнесла Их Высочество, обращаясь к мужу. — Не сдавайся!

— А ну вынимай деньги!

— Юноша, я тебя не этому учила.
— Деньги!
— Геролд! Выдай ему доллар.
— На что мне твой доллар! И флага мне твоего не надо. И ходить я к тебе не собираюсь!

Они переглянулись. Геролд кашлянул в кулак и с шумом глотнул. Она повела глазами из-под кудряшек парика от мужа к Сету, снова к мужу, потом снова к Сету.

— Тут люди ходят...
— Никто не увидит. Даже полиция прибежать не успеет. Ну а увидит кто, подумаешь!

— Шарахнешь, говоришь, его? Честное слово? Хм!
В раздумье она потерла щеку.
— Нет, этого допустить нельзя. Геролд! Отдай ему все, что у тебя есть.

Геролд разинул было рот, но она метнула на него такой недвусмысленный взгляд из-под своего парика, что тот немедленно полез в карман, вынул бумажник и, возведя глаза к небу и покачивая при этом головой, извлек деньги, протянул Сету.

Сет пересчитал бумажки, проверил, не фальшивые ли, потом повернулся и зашагал к дому. Пройдя с квартал, он оглянулся: оба, упершись руками в колени, неподвижно, как две статуи, сидели на ступеньках суда.

*

Откуда-то из глубины слуха донеслись из потаенных норок голоса и зазвучали разом, десятком, а может, больше; их крики, нытье, угрозы сдавленно теснились где-то на самом дне слуховых проходов.

В конце комнаты за железным турникетом на высоком табурете под лампой без плафона сидел охранник и что-то писал на доске, вделанной в стену. Из-за спины охранника, из бесконечности каменных коридоров и камер, доносился гул шагов, лязганье и грохот железных дверей.

Эл сидел напротив Рея.

— Ну выпустят ее, как мы ее потом прокормим? — говорил Эл. — Из Дейла больше ничего не выжмешь. Что он нам, за красивые глазки, что ли, платит? Его ничем не проймешь.

Рей повернулся к охраннику за турникетом.

— Чего долго так?

— Надо все как следует оформить.

Скамьи были с высокими спинками, но с узкими сиденьями, никак не притулиться, чтоб вздремнуть. По дереву ножом были вырезаны какие-то инициалы, просто бороздки, человеческий профиль и рядом надпись: "Вот она, тюрьга". Рею захотелось бежать отсюда: тысячи стен давили на него, оглушающе выли беззвучные sireны. А в ушах катились-перекачивались волнами проклятья, нытье, угрозы...

Не сводя глаз с дверей исправительной тюрьмы, Сет опустился прямо на шершавый асфальт тротуара под деревьями и удобно привалился спиной к хромированному, шуршавшему песчинками колпаку автомобильного колеса. Подумал: целый час уже. Битый час, наверно, с этими бумажками возятся. Чего держат, чего им там не нравится? Окна за железными решетками и сетками казались непроницаемыми. Порой какие-то еще более непроницаемые тени мелькали в них. Сет сидел, слушая непрерывный гул и рев магистрали, пролежавшей за тюрьмой, да птичий гам, доносившийся с деревьев. Другие звуки не долетали.

Он сидел и вспоминал: пьяный Тут-Как-Тут наскочил на него прямо на улице, взял под руку, прильнул, обдав сладковатым перегаром и запахом грязного и потного белья. Сказал: "Запомни. Рея убьют. Они его уже наполовину убили. И ты это запомни". Сет промолчал, а старик прижался к нему еще теснее, и тут уж не сладостью винной, а гнилью желтых зубов пахнуло на Сета, повеяло мраком от черного лица. "Ты слушай, я расскажу, что видел: два дула двустволки, а человек идет прямо на них, хоть и знает: тот, кто с ружьем, пристрелит его, если он не остановится. А он идет. Тогда из обоих стволов обе пули — р-раз! — и тому человеку в живот. Только он умирает не сразу. Еще полчаса живет. И он умирает, а у него из-за спины выходит целая толпа людей, и они проходят в ворота и сжигают весь тот шахтный копер. Ты это запомни. Вот, например, если высоко в небе птицу видишь, так высоко, что она только черненькой точкой плывет в облаках, смотришь и думаешь про себя: ишь как высоко взлетела! А другой-то голос отзывается: ничего, опустится, надо ж ей пить, есть. Но когда птица на землю опустится, то уж может обратно не взлететь, возьмется откуда-нибудь мальчишка да камнем или палкой ее прибьет. Что ж, прибьет так прибьет! Но раз ты видел птицу высоко в небе, никогда ее не забудешь. Что, мудрено небось говорю?" — спросил старик.

А Сет подумал: "И вправду мудрено".

Двери широко распахнулись, и на пороге показался Эл. За ним девушка с бумажной сумкой в руках, между пальцами только что прикуренная сигарета: искусственная кожа жакета вызывающе скрипит, светлые пряди откинута назад, за уши, глаза горят злобой. Следом, искривившись прищуром, Рей, прижимая к виску правую руку.

Потом пошли вместе с ней к матери забрать малыша.

— Я за Джонни, — сказала девушка с порога.

— Ясно, за Джонни.

Во всей квартире горела всего одна лампа. Рей с Сетом остановились в дверях, наблюдая.

— Ну, и сколько ты его на этот раз продержишь? Назад-то в тюрьму когда тебе?

— Все, хватит!

Мать присела за стол, налила себе кофе, указала носиком кофейника на Рея с Сетом.

— Они тебя, что ль, вызволили?

Девушка кивнула, а мать пододвинула к ним кофейник, кивнула на чашки на краю стола. Потом повернулась к дочери, заговорила, при каждом слове тыча в стол пальцем:

— Пока ты там была, тут из благотворительки приходили за ребенком. Я не дала. Хотели в приют его взять, а я им: "Если тронете, я вам покажу!" Мужчина, важный такой. И женщина с ним. Ну они туда-сюда, залебезили, запричитали, заюлили: мол, такие условия, и метрика, и тебе попечительство, и что ребенку хорошо будет, а тут, мол, угроза преступности. А я им и говорю: никуда ребенок отсюда не денется, только если со мной, и я отсюда никуда без него, но пока вот болею, не могу выйти, значит, мы с ним оба тут посидим, а кто сейчас уберется отсюда, так это мне хорошо известно, хотите вы этого или нет, а если не уберетесь, трахну тяжелым по башке, а после скажу, что хотели силой отнять ребенка, а это нарушение закона, уж я-то знаю, сама не раз привлекалась. Ну они и отстали. Вот. Теперь, верно, к тебе за ним пожалуют. Потому что ты для них неподходящая мать. И видно, так оно и есть, раз не сумела даже прикончить мерзавца, который тебе всю жизнь испоганил!

— Не знала я, что он такой...

— Ведь я ж тебе говорила! Сколько раз говорила!

— Ну говорила. Только если б я его прикончила, тут бы с тобой сейчас не сидела.

— Ну вот, а теперь за то, что ты его не дорезала, тебя и загребут лет на восемь!

— Не загребут!

— Думаешь, не загребут?

— Точно.

— Почем ты знаешь?

— Знаю не знаю, только в тюрьму больше ни за что!

Мать потянулась за пачкой сигарет, вытрясла одну на стол, задержала на мгновение в пальцах, забыв про спичку.

— Не маленькая, пора уж соображать.

Она повернулась к Рею.

— Как думаешь, выйдет у нее что?

Но Рей не слышал ее вопроса. Веки его были крепко сомкнуты, брови свело напряжением. Могучая, как из камня высеченная рабочая пятерня в белых неживых рубцах старых порезов пожелтевшими кургузыми пальцами с обломанными ногтями зарылась в вихры волос и тяжелой ладонью, словно кувалдой,

припечатала, вдавила, как гаечным ключом, крепко-накрепко прижала ухо к голове.

*

Сету не спалось, он сидел у окна, а дождь каплями выбивал из стен ударявший в ноздри запах плесени. Откуда-то снизу из коридора до Сета долетал плач ребенка, проникая через дощатые перекрытия, через балки, причудливо вздымаясь кверху под стук дождя по крыше, под хлюпанье капель в желобах, под бормотанье стекавшей по стокам воды. Потом плач стал выбиваться будто толчками: прорвется, смолкнет, прорвется, смолкнет — и точно так же запульсировала внезапная боль где-то под самым теменем — то схватит, то отпустит. Сет взглянул на руки, подумал: "Все, нету больше этой трясучки! Только вот боль в голове не стихает". Внизу Рита сказала что-то громко, и резкий звук голоса, пробив деревянные преграды, взрывной волной ударил Сета, и немедленно боль куполом раскрылась над ним, нависла, покрыв всю голову. "Будь ты неладна! Да прекратишься ты когда-нибудь или нет?"

А потом Сет подумал: "Я не сплю, и она не спит. Может, к ней спуститься?" Но он не мог отделаться от воспоминания: когда его тянуло к ней, всегда в нем вспыхивала внутренняя борьба, просыпались злые, чужие силы и каждый раз возникал страх; шевельнулся и сейчас.

"Да что там! — говорил он себе. — У нее и без меня забот хватает. Меня даже не узнала. Если и узнала, то виду не подала. Да и с чего ей меня помнить? Жизнь здорово ее потрепала. Столько, видно, всякого пришлось повидать. А я вот все помню. Хотя и мне несладко пришлось".

Он сжал кулаки, разжал. Пальцы подрагивали, как отпущенная пружина.

Ночью ему приснился сон: ему снилась радуга, и колючая проволока, и рудничным газом разъедало глаза, и был снег; снилось умытое дождем небо, поле и влажная земля. В бороздах засел последний снег. И совсем близко, так, что слышно, как течет, бурлит черный ручей; он бежит вперед и мимо шахтного копра. Перед Сетом ограда из колючей проволоки, а рядом женщина, лица не видно под козырьком шапочки. Сет поворачивается к ней, а она из-под пальто достает младенца: губки сведены плачем, кулачки сжаты. Женщина протягивает младенца Сету, кончиками пальцев откидывает одеяльце и проводит по голубым жилкам темечка новорожденного, показывает Сету. "Это брат твой, — говорит. — Твое дитя".

Столбы у изгороди ржавые, источенные, в них раскрытыми ртами зияют дыры, краска вылиняла от дождей. А проволока новенькая. Вот бы исхитриться, залезть, думает он. И только полез, извиваясь, тут какой-то человек возник, стащить его хочет;

Сет, уворачиваясь, проволокой рвет на себе одежду, колючки вонзаются в мягкий живот. Но у него ребенок на руках, отогнать того человека он не может, и тогда женщина, что рядом, стала отталкивать чужака, и вот они оба оттолкнули его, и потом идут вместе, выходят на какое-то незнакомое поле.

*

Сет проснулся, выглянул на улицу. Солнце, отраженное дождевой водой в сточной канаве, ударило в глаза. К дому, что ремонтировали напротив, уже подкатил грузовик с рабочими, оттуда выгружали инструмент, вытягивали панели из прессованной стружки. Взмахнув на плечо охапку деревянных планок, рабочий пошагал в дом, и концы планок трепетали за ним на ходу, как крылья.

Старший, привалясь грудью на крышу грузовика и заведя руку с каской за спину, глядел на их дом, пониже Сетова окна и правее, видно, на кого-то пялился. Сет высунулся, проследил глазами за взглядом старшего и увидел: сбоку, прямо под его окном, пряди светлых волос, ее затылок, плечи; она точила что-то о камень наличника: скребу-режу, скребу-режу. Выпрямилась, уставилась на то, что держала в руках: на солнце сверкнуло лезвие ножа. Она провела большим пальцем по острию, заметила, что на нее глаза старший, отпрянула от окна, скрылась в комнате.

Сет спустился вниз, вместе с Реем они позавтракали яичницей с салом. Потом вышли Ферн и Эл, они с Сетом сели в грузовик, отправились на работу.

На углу улицы, у перехода, поджидая, когда загорится зеленый свет, зажав в обеих руках сумки с продуктами, стоял Геролд. Прямо под правым глазом у него пышной розой багровел здоровый синяк. Налитые кровью глазки встретились со взглядом Сета и поспешили отъехать в сторону. Сет рассмеялся и крикнул ему из грузовика:

— Что, врезала тебе твоя?

Геролд отвернулся, скрывая подбитый глаз, тут зажегся зеленый, и он тяжелой поступью навьюченного верблюда прошел перед остановившимся грузовиком. Эл тихонько присвистнул.

— Вот бедолага!

Отработав день, Сет, Эл и Ферн вернулись в дом, вернулся со своей работы и Рей. Сет с Элом принялись готовить из того, что купили по пути, а Рей поплелся вверх, на второй этаж. Слышно было, как он зовет Риту, а потом тяжелые шаги над головой. К тому времени как приготовили ужин, спустился Рей, вышел на крыльцо, выглянул на улицу.

— Ну что она, будет ужинать или нет? — спросил Эл.

Рей внимательно оглядывал улицу.

— Я говорю, ужинать она будет?

— Нету ее.

Рей есть не стал, остальные притихли, ели молча. После ужина Рей сказал:

— Пойдите-ка гляньте поблизости, я тут обожду. Ох, она доиграется!

— А ты чего не с нами? — спросил Эл.

— Боюсь, как встречу, так и врежу.

Эл расспросил по соседству, узнал, что она вышла из дому одна с коляской. Стали искать, разбродились кто куда: один к матери, другой в ресторан, где она раньше работала, третий туда, где раньше жила. Когда все трое вернулись ни с чем, Рей так и стоял в дверях. Только и сказал:

— Ах, стерва безмозглая!

Он будто прилип к притолоке, руки в карманах. Солнце светило прямо в стену здания напротив, озаряя ее красным светом. Они стояли и ждали.

— Может, она на работу опять вышла. Могли ж ее позвать обратно? — сказал Эл.

— Куда это, с ребенком-то?

— Да разве она его на нас оставит!

— А почему нет?

Эл пожал плечами.

— А вдруг полиция ее за что загребля? Может, в участок заглянем?

— Совсем сдурел!

Подождали еще. Солнце садилось, кирпичная стена поблекла, уличные фонари, почуяв приближение темноты, принялись потихоньку разгораться. Эл сказал, что есть у него одна мысль, и куда-то отправился. Ферн чистил свечи зажигания. Сет поднял обломок доски и принялся строгать ножом, получилось что-то наподобие человечка; Сет скоблил ножом, выстругивал, резал, и вот у него в руках возник деревянный человечек со сжатыми кулачками, с выпуклым, как яблоко, лбом. От рук Сета пахло сосновой стружкой.

Медленно, словно старая калитка, поворачиваясь, Рей перевалился с ноги на ногу в дверном проеме, и его скрепленный скобами подбородок натужно напрягся. "Лопнет сейчас!" — подумал Сет. Прищур, вездесущий и меткий, как струя поливальной машины, впился в Сета.

Появился после своей прогулки Эл, подошел, засунув руки в карманы куртки. Рей на него даже не взглянул. Сет поднял на Эла глаза, но тот покачал головой и опустил рядом на крыльцо. Еле слышно произнес:

— Во Вьетнаме вот так же ждать приходилось. Только там мы в этой чертовой норе сидели, по пуп в воде.

Ферн скривился, глядя на последнюю прочищенную свечу, потом ввинтил ее в двигатель. Еще раз осмотрел, нет ли каких неполадок, не нашел, принялся протирать тряпкой корпус.

— Вот сидим в этой собачьей норе, значит. Притаились, не дышим, чтоб нас не засекли и чтоб выманить их из леса, а этот сукин сын лейтенант знай бубнит в самое ухо, как в засаде сидеть, а после, когда полезут из-за деревьев, как в них стрелять надо. Слава богу, хоть под конец заткнулся. А мы в гробу видали все его инструкции. Ну и что, черт подери, ну заметил я, один из тех — юрк из-за дерева, по сторонам оглядывается. Все наши видели. И что с того? Нам бы переждать это дело да поскорей отсюда к чертовой матери. Тот постоял, постоял — и обратно в заросли. Чего выглядывал, шут его знает! Больше никто из них не показывался, но нам, куда денешься, приказано было ждать. А поди разбери, чего тут ждать, вдруг и те, как мы, засели где-нибудь и тоже ждут? Ей-богу, наверно, так и было. Вот сижу я в той чертовой норе, глубоко, только глаза наружу выглядывают, а кругом трава растет, так что мне все хорошо видно, а меня не видеть. И тут, значит, эта самая змея и выползает. Чертова кукла! Прямо на меня ползет. И откуда только взялась! Гадина такая. Зеленая вся, извивается, как хлыст, и на меня. Глазки такие черные. Она на меня смотрит, а я на нее, и моргнуть не смею. Вот она с шипом на меня язык — раз, другой — и, гляжу, подалась назад и в траву. Сначала вроде ничего. А как добрались до базы, меня всего и затрясло. Полдня трясусь, никак остановиться не могу. Так худо было, отправили меня оттуда.

Эл потер ладони, потом опустил глаза, поглядел на обе руки.

Ферн кинул тряпку в сточный желоб и снова принялся осматривать двигатель. Потом глянул на Эла, сидевшего на крыльце, покачал головой. Привалился к радиатору. Скрестил руки на груди, постоял, выглянул на улицу, посмотрел направо, посмотрел налево, снова вынул тряпку из желоба, стал протирать верх аккумулятора.

На углу улицы трое мальчишек с криками играли в мяч. Из верхнего окна доносилось вкрадчивое бормотание радио. Мимо прошли двое полицейских, переговариваясь с кем-то по рации. В конце улицы на крылечке раскатиисто хохотали две женщины. По телебашне на вершине горы то вверх, то вниз пробегали красные огоньки. И тут они увидели ее.

Она показалась в глубине улицы, сперва ее загораживал грузовик, но вот она подошла, и они увидели ее. Малыш спал, уронив головку на подлокотник коляски. Ферн опустил руку с тряпкой, Эл встал и двинулся мимо Рея в дом. Сет поднялся, кивнул ей; только она глядела мимо, на Рея, скулы над впалыми щеками резко выпирали, словно нарисованные. Она направилась было по коридору к лестнице, и тут Рей спросил:

— Ты где это, черт побери, шлялась?

Она взглянула на него, пальцы с силой сжали ручки коляски.

— Где шлялась, спрашиваю?

— Ты меня выкупил, не купил!

Взгляд Рея затянулся на ней узлом.

— Нет, ты все-таки отвечай! — произнес он. — Почему это ты полдня шляешься незнамо где, а мы тут гадай, может, стряслось что, может, за решетку попала, может, закрутила с каким пропойцей, может, сама напилась, а может, прирезали в темном переулке! Ведь знаешь, черт подери, в любой момент тебя загрести могут, если мерзавец, которого ты пырнула, отдаст богу душу.

— А я не обязана перед тобой отчитываться, понятно?

— Ну и выметайся тогда отсюда к чертовой матери!

Она вся сжалась, как змея перед прыжком. Руки напряглись, даже сквозь одежду было видно.

— Ну и выметусь! Пошли вы все с вашим вонючим домом! Заткните его себе в зад, весь по кирпичику!

Она повернулась и так резко дернула за собой коляску, что малыш, проснувшись, чуть не угодил мордочкой прямо в погребушки, замахал ручками и тоненько, боязливо захныкал; она на ходу похлопывала его, успокаивая.

— У тебя вещи там в доме, — сказал Ферн.

— Их тоже в зад себе заткни!

И она направилась в ту сторону, откуда только что появилась.

И тут Сет неожиданно для самого себя произнес:

— погоди!

— Вот именно, куда ее несет!

Она остановилась, но головы не повернула. Эл вышел из-за спины Рея, отодвинул его локтем, спустился с крыльца.

— Никуда ты не пойдешь, Рей тут не один распоряжается. Мы, как и он, свою долю внесли, и мы тебя не гоним. А он с нами не может не считаться.

— Да плевать мне на вас на всех!

— Плевать так плевать. Хочешь уйти — уходи. Но запомни, Рей тебе не указ, вместе это затеяли, вместе и решать.

Она повернула голову, поглядела через плечо на каждого, скользнула рукой вниз, погладила плачущего мальчика. Потом вынула его, хнычущего, из коляски и, гордо вскинув голову, направилась вверх по ступенькам.

Эл снова присел на крыльцо. Потер ладонью об ладонь, уставился на тротуар. Сет поднял глаза: Рея на крыльце не было, он незаметно скрылся в глубине дома.

*

И снова в эту ночь Сету снился тот же сон: та же женщина, и ребенок, и впившиеся в одежду колючки проволоки, и борьба у изгороди; как стояли рядом, как отпихивали того человека, как вместе шагали по полю. Проснувшись, Сет начал думать, что бы это значило, но ни к чему не пришел, понял только: ясно, как

и что он должен теперь делать. Он поднялся и, стоя босиком на полу, принялся натягивать одежду, глядя на красные огоньки телебашни. Одевшись, вышел в коридор и направился к лестнице. Проходя мимо комнаты Рея, услышал его храп.

Выйдя на улицу, Сет сначала взглянул на дом напротив — тот стоял, зияя пустыми проемами окон, а фонари искоса бросали на него свет, — потом повернулся и оказался лицом к лицу с домом, в котором жил. Поднялся на крыльцо, прошел по коридору и стал подниматься по лестнице, нащупывая в темноте перила, думая про себя: "Нет, не признает она меня. Разве я сейчас такой, как тогда? Да и она сильно изменилась". Поднявшись на ее этаж, подумал: "Ей, как и мне, хочется одного — чтоб оставили в покое. Но я должен сейчас к ней войти. Должен во всем разобраться. И больше не буду ей докучать".

И, уже отворяя к ней в комнату дверь, он сказал себе: "Узнаю, и все. А потом все равно, будь что будет".

Войдя в комнату, он понял, что она не спит. Малыш спокойно посапывал в своем углу. Ее постель была у окна, и, озаренные уличным светом, ее плечи голубели в темноте. Она лежала на боку, положив руку под голову. Он вошел, и она шевельнулась. И сказала:

— Учти, сунешься, станешь руки распускать, я тебе все кишки выпущу!

— Да я к тебе не за этим.

Тут Сет разглядел нож у нее в руке. Лезвие блеснуло, словно на поверхность вынырнула рыба. Она молчала.

— Ты, видно, не узнаешь меня? — спросил он.

— Узнаю. Только не прикасайся!

— Нет, вижу, что не узнала.

— А чего это мне узнавать?

— Да так, ничего.

— И зачем мне тебя узнавать?

— Я же не говорю, что надо.

— Чего ж тогда зря трепаться?

— Сам не знаю.

— Ну а явился зачем? Мозги мне хочешь запудрить?

— Не хочу.

Она села в постели. Ножа из руки не выпускала, только теперь держала его небрежно, будто какую отвертку.

— Так зачем явился?

— Чтоб понять, как мне быть?

— С чем быть?

— Со всем тем, что забыть никак не могу.

— О господи!

Она откинулась к стенке.

А он подумал: "Я вот решаю, как мне теперь быть. А у нее свои заботы, зачем ей мои? Но я сейчас, только сейчас должен решить, как быть дальше".

И память заклокотала, заговорила, и сердце сжалось страхом. И все, что теснилось в нем, вся страсть, вся ненависть, стремглав понеслось по жилам грохочущим потоком. Но он почувствовал, что может обуздать этот поток.

Вскрикнул и дернулся во сне ребенок.

— Опять что-то приснилось, — сказала она.

Положила нож рядом с подушкой, встала, подошла к ребенку, принялась укачивать, тихонько похлопывая, чтоб успокоился. Когда малыш затих, вернулась к кровати, села.

— Знаешь что, — произнесла она. — Хоть ты с виду и тихий, но в голове у тебя что-то творится.

— Да нет...

— Так что же с тобой?

— Просто я решаю.

— Чего решаешь?

— Как мне быть дальше. Вот и все. — Он поднялся.

— Ну я пошел?..

— Иди, — отозвалась она. — Если тебе больше нечего здесь делать...

“Не сейчас, — подумал Сет. — Теперь я могу совладать с собой”.

5

И ему вспомнился тот ястреб, грациозность и невесомость полета птицы, безупречная отточенность развернутых по ветру крыльев. И когда ястреб, скользя вниз по небу, пролетал над самыми верхушками сосен и мимо, были отчетливо видны и четко очерченный заостренный клюв, и темный пушок вокруг глаз, и развернутый веер медно-кремового оперения.

Потом они увидели его на самой верхушке колючей медоносной акации; Сет, тогда мальчишка, полез за ястребом, продираясь сквозь пучки толстых, изогнутых змеями шипов — каждая колючка из трех острых лучиков, как тот материнский крестик. Он потянулся достать птицу, застрявшую в шипах, земля далеко под ним, внизу, поплыла, и тут колючка, метя в глаз, воткнулась в нежное веко; в том месте, куда угодила дробь, перья пестрели черными пятнышками-точками, крылья птицы безжизненно поникли, и на Сета уставился остекленевший голубой глаз.

*

Откуда-то из туго перевитых улиткой каналов Реева уха тянулось, расширяясь раструбом, приглушенное завывание. Нарастая, оно рассыпалось гулом скопища голосов. Злобных, жалобных, робких, наглых, смеющихся. Голоса гудели разом и по очереди, и так всю ночь напролет, и Рею не было от них сна до тех

пор, пока самого его не засасывало в пучину, где зудели эти голоса, и пока его собственный, то смеющийся, то ворчливый, то убеждающий, то угрожающий голос не вливался в общий хор. А если этот хор голосов накатывал на него среди дня, спину тянуло так, будто у него не позвоночник, а буксирная цепь, и, чтобы заглушить этот ропот, Рей с грохотом валил кирпичные стены, трубы, крушил проводку, отворачивал муфты.

И все время думал: "Ведь знали, что покалечили, когда меня били. Как поняли, сразу бить перестали".

Тогда, посреди оглушающего зудения в голове, он вдруг услышал, словно откуда-то из утробы лопнувшей трубы, голос: "Хватит! Хватит! Он свое получил!" Услышал и подумал, что уже не жив. Так его и бросили там лежать, на камнях, в воде, и ушли, а он выполз на берег, огляделся, привалился спиной к железной бочке у края аллеи и замер, глядя на огни города, на сновавшие мимо машины, и вниз, на огоньки в реке, и вверх, где высились горы, и понял: им не было смысла его убивать, но покалечили на совесть и бросили валяться здесь, среди камней.

И Рей подумал: "Сделали свое черное дело, избили меня до полусмерти. Но все-таки я жив".

*

Попутру Сет вышел за молоком, и тут какой-то рыжий, вислоухий пес с обрубком вместо хвоста припустил за ним, обнюхивая на ходу. Пес семенил рядом, шерсть его раздувало ветром на хребте, потом обогнул Сета, обнюхал ему колени, припустил дальше, оборачивая морду на каждом углу, пытаясь угадать, куда направится Сет. Так пес и бежал по улице впереди Сета, когда же, оглянувшись, увидел, что тот заворачивает за угол, подбежал, снова понюхал, потянулся следом.

Раздался чей-то крик: пес дернул мордой, побежал на крик. Он бежал, припадая на одну лапу, и темный ворс полосой поблескивал у него на затылке. Сет смотрел и недоумевал про себя: "Чего это он ко мне привязался?"

Вспомнилось: когда-то деревенские собаки выбегали из-за деревьев и припускали за ним вниз, с горы, потом отставали, возвращались в лес или цеплялись еще к кому-нибудь.

Когда Сет, купив молоко, вышел из магазина, пес поджидал у дверей, норовя лапой и носом поддеть с земли расщепленную палочку от мороженого. Только Сет прошел мимо, пес поднял морду и двинулся следом. В проулке двое детишек плясали на мостовой. Взявшись за руки, они кружились, что-то пели, споткнулись, со смехом вцепились друг в дружку, так же со смехом повалились на мостовую.

Пес побежал к ним, оглянувшись, увидел, что Сет идет дальше, припустил вдогонку, потом остановился, повернулся и, задрав нос по ветру, засеменял обратно в проулок.

Когда Сет вернулся в дом, там было пусто. Ушли, даже не позавтракали. Неспроста это. Поставив молоко на полку, Сет прошелся по комнатам; никого, никаких следов; вернулся, вышел на крыльцо, обошел дом — грузовик на прежнем месте; пересек пустырь, вышел с противоположной стороны дома, двинулся по улице. Он заглядывал в пивные, в лавки, в рестораны — никого; столкнулся на улице с Их Высочеством, та ухмылялась.

— Ах вот оно что, тебе никто ничего не сказал, а?

На сей раз парик у нее на голове сидел ровно, волос из-под него было не видать. Их Высочество завела руку за спину, уткнувшись ею мужу в живот, развернула ладонь. Муж зашарил по карманам пиджака, рубашки, джемпера, брюк, извлек маленькую черную Библию. Вложил ей в ладонь, и Высочество помахала Библией перед носом Сета, потом хлопнула ею об другую ладонь и изрекла:

— Тут есть кое-что прямо для тебя. Скоро сам поймешь что. Это я тебе говорю.

Рука Сета уж было потянулась сама собой, чтоб ударить ее, чтоб вырвать эту Библию и дубасить ею Их Высочество по голове, пока не свалится ее парик. Но Сет сдержался. Подумал: "Теперь мне нельзя как раньше. Нужно совсем по-другому. Уж это я точно знаю".

И он пошел по улице, а вдогонку ему летел ее хохот.

Когда Сет снова вернулся в дом, там сидел Тут-Как-Тут.

— Рей велел, чтоб я тебя подловил, — сказал он. — Беда. Парень тот помер.

— Какой парень?

— Да тот, кого она пырнула.

— Ну и что теперь?

— А теперь вот полиция охотится за девчонкой, а Рей сказал, чтоб ты уложил все барахлишко да и перенес в тот дом, что вы сносить собираетесь, они там ее на эту ночь спрячут, пока лучше места не подыщут.

Сет рванулся вверх по лестнице.

— Постой, — остановил его старик. — Зачем носиться сломя голову, чтоб все про всё догадаться. Тут с умом надо. Ты сперва, значит, все прикинь как следует и не суетись. Для начала давай в грузовик, поезди малость и оставь его где подальше. Потом за барахлом придешь, но сноси понемногу за раз. А когда подтаскивать к тому месту станешь, перед самым домом-то не мелькай. С задней стороны зайди, с проулка, чтоб не видели, как ты вещи вносишь. Большинству начхать, но люди всякие есть. Ну и полиция всюду рыщет. Ничего, мы их обманем! Только надо по-тихому, понял?

И вот Сет с грузом принялся петлять туда-сюда по улицам, по задворкам, снес все к заднему крыльцу того дома. Ногой открыл дверь, руками прижимая к себе коробки, вошел в темноту, прислушался: не слышать ли Рея или девушки в доме? Хотел было крикнуть, но, спохватившись, вспомнил, что надо по-тише. Опустил груз на пол посреди комнаты.

Из черневших в темноте дверей одна вела на лестницу, но Сет не помнил, какая именно, и только он, вглядываясь в мрак, шагнул туда, где друг против друга чернели обе двери, как внезапно почувствовал, будто за спиной кто-то шевельнулся. "Засада! — ударило в голову. — Черт, вот болван!.." Все оборвалось внутри, будто он падал на дно колодца; и его охватил с ног до головы неведомо откуда взявшийся страх. Внезапно перед ним, подсвеченный слабым, тусклым светом из забитого досками окна, из темноты возник знакомый силуэт Рея с всклокоченными волосами; тот застыл с киркой на плече, как бейсболист перед ударом.

— Кто ж так дверь пихает? Я уж думал, это полиция, не иначе...

И не дав Сету вставить слово, Рей продолжал:

— Мы ей там наверху разгребли местечко. А я за стулом сюда спустился.

На втором этаже Эл, Ферн и Рита завтракали. Ребенок посапывал во сне. Рей с Сетом тоже подсели к еде. И тут Эл сказал Рею:

— Что, никак не уgomонишься?

Прищур Рея остановился на нем. Потом Рей хмыкнул и уткнулся в еду.

Эл откинулся к стене.

— Знаешь ведь, тебя в любой момент могут взять. Так и ждут, что не туда ступишь, не так посмотришь!

Рей продолжал есть. Он впился в куриную ножку, как богослов в Библию, как любитель бегов в программу скачек.

— Не будешь меня слушать, они за ней погонятся и тебя зацепят.

Рей поднял взгляд от обглоданной ножки.

— Я прятаться не привык.

— Да ну тебя к чертовой матери!

Эл загрохотал сапогами вниз по ступенькам.

*

Сет остался на ночь в том заброшенном доме, он сидел и слушал, как ветер задувает в щели между кирпичами, как от каждого грузовика содрогается фундамент, дребезжат трубы, ходят ходуном доски.

Заплакал ребенок, и Сет поднялся по холодной, точно погреб, точно гроб, лестнице в комнату, где укрывалась она.

— Никак не заснет, — сказала она. — Страшно ему. И я с ним совсем извелась.

Она стояла, прислонившись к стене и не сводя глаз с ребенка в картонной коробке, куда его уложили на ночь. Зябко потерла руками о бока. Снова пискнул малыш, ее руки скользнули вниз, сжались в кулаки.

— Хочешь, я с ним похожу? — сказал Сет.

Он взял ребенка на руки, а она покачала головой, опустилась вниз, на кушетку.

Стоило Сету взять малыша, как тот с силой уперся ему коленками в живот, прижал к себе ручки, одним локотком уткнулся Сету в шею, другим в плечо. И зычно заревел. Плач острым лезвием резанул Сета по уху, и в голове пронеслось: "Господи, как же можно так кричать!" Всхлипы вперемежку с завываниями взрывами будоражили его притупившийся слух, точно острые когти барсука впились в твердую землю. Визг-визг — хрип, визг-визг — хрип — буравило недра слуха, сверлом уходя вглубь, как в песок.

"Господи! — отзывалось в мозгу. — Господи! Господи!" Но он что-то говорил этой воющей у него в руках ноше, он поволок ее в коридор, и снова, и снова говорил, только б не молчать! "Ну же, ну же, ну! Тише, тише, тише! Ш-ш-ш, малыш, ш-ш-ш, малыш, ш-ш-ш!"

И плач мало-помалу затихал, и невидимые острые когти перестали терзать ухо, и коленки ослабли, не упирались в живот, ребенок, сопя и причмокивая, уткнулся Сету в мокрое плечо; и, пока Сет расхаживал так взад-вперед по всем пустым комнатам этажа, подходя к окну, тараща на огни среди темноты, на желтую вспышку тягача, на фонари у дверей домов, на мигающий глаз самолета в небе, малыш уронил головку, тельце его обмякло: он заснул. Сет отнес его обратно к ней в комнату, опустил в коробку. Усталый, измученный, все еще ощущая звон в ухе, он прилег тут же на пол, взглянул, увидел, как ровно она дышит во сне, и погрузился с головой в поток протяжных звуков.

Проснулся Сет, ощущая глубокий звон в ушах, засевший в недрах, как семя, выстреливавшее вниз корнем, вверх ростком. Проснулся с мыслью: "Пора мне становиться на ноги!"

Ни девушки, ни малыша в комнате не было, Сет спустился вниз, попал в самую темную во всем доме комнатку, без окон, рядом с черным ходом, и обнаружил там всего-навсего старика негра — темная тень лица под шапочкой с козырьком; на коленях у старика ревился ребенок.

— Что, никак проснулся? — сказал старик.

— А где все?

— Пришлось им смотаться, опасно, полиция девчонку ищет, Рей и повез ее на грузовике, куда те не сунутся искать.

— Рей повез?

— Рей.

— Ну а с ребенком-то что сказали делать?

— А все вместе ходить за ним будем, пока она не вернется. Не дадим, чтоб в приют его забрали.

— Кто это "все"?

— А ты да я, и Рей, и все наши.

Сет выглянул из двери на улицу, дневной свет ослепил его. От подрубленного корешка внутри кверху потянулся росток, коликот отчаяния пробиваясь наружу.

"Все с собой никак не могу совладать", — подумал он, нервно постукивая себя кулаком по бедру.

— Ты чего, парень?

— Да вот, соображаю, как быть.

— Рей-то небось знает, что делает.

— Ох, боюсь, что не знает!

И отчаяние снова запульсировало в нем. Надо что-то делать. Стены надвинулись со всех сторон, от них повеяло промозглостью, холодом. Обои поползли со стен, доски выскальзывали из под ног. Подумалось: "Это все от наркотиков!" Еще ослепленный уличным светом, он повернулся: старик растворился в темноте, но ребенок, зримый, как вспышка во мраке, как регулировщик с жезлом, колотил по воздуху, словно молотом, своей игрушкой.

Подойдя к дому, где они жили, Сет сперва кинул взгляд на пустырь; там дети громоздили шаткие стены своего двухэтажного домика из фанерных обрезков. Они возбужденно о чем-то спорили.

Притормаживая, как собравшаяся причалить лодка, проплыла мимо полицейская машина. Скрылась из виду, Сет снова пригляделся на детей.

А в окне верхнего этажа почти отстроенного заново дома напротив, заполнив собой все оконное пространство, выставилась, как в раме, Их Высочество — голышом, все тело в жирных, покрытых пушком складках; она стояла, похлопывая себя по бокам, зияя прямо на орудовавших на пустыре ребят громадной, утопленной посреди жирного брюха дыркой пупка. Окно было прямо над Сетом, и ему было видно, как, свисая с плеч тучными крыльями, болтались у нее из-под мышек оковалки жира. На шее цепь с колокольцами. В парик воткнут цветок. Он утонул в хаосе парика, колокольцы терялись в белых клубках жира и складках сала. Их Высочество улыбалась. Сет, не раздумывая, подхватил в траве обломок кирпича и запустил в нее: кирпич, описав дугу, угодил прямо в Их Высочество. Колокольцы брякнули, кирпич стукнул об пол. Она скорчилась от удара, взвыла, оборванная цепочка повисла между грудей, а под грудью, в том месте, куда угодил кирпич, возник дугообразный рубец, от которого потянулись сине-красные щупальца кровоподтеков. Никто из ребятшек даже головы не поднял.

— Ах, чтоб тебя! — крикнула Их Высочество вниз Сету.

Дети подняли головы на голос, увидели ее.

— Смотри! Смотри!

Сет потянулся за очередным кирпичом, но Высочество пригнулась, нырнула вниз. Послышались спотыкающиеся шаги и следом топот ног по только что покрытому пластиком коридору.

*

В их доме не оказалось никого, кроме Ферна.

— Рей заходил и ушел, — сказал он.

— Куда?

— Сел с девчонкой в грузовик, и они укатили. Вернется.

— Что, куда-нибудь спрятать ее повез?

— Спрячет — приедет.

— Самому бы ему побережся.

— Да уж побережется, наверно.

— Так-то оно так...

— Да что ты каркаешь, в самом деле!

А у Сета перед глазами встала фигура Рея, как тогда, на ступеньках: взгляд остановился, ладонь изо всех сил прижата к уху.

■

Рей стоял на крыльце дома, предназначенного на снос. Грузовик на улице. Слышался стрекот включенного двигателя: штурм! штурм! штурм! штурм! штурм!

Сет шел к крыльцу, и ему казалось, что из дома уже веет знакомым запахом тлена, штукатурки, сырости, спиртного.

— Тут-Как-Тут сейчас дома, — сказал Рей. — А ребенок здесь, наверху. Забери его и отнеси к старику, пока полиция или благодетели не нагрянули. Нам надо хорошенько обдумать, как быть с малышом.

— А Рита где?

— После расскажу. Давай-ка снеси малыша к старику.

И, только когда Сет уже бежал по переулкам с малышом на руках, в голове пронеслось: "Почему я? Рей и сам бы мог ребенка снести!"

Спохватился: "Рей ведь знает: если его с ребенком схватят, тогда все и раскроется. Он все рассчитал. Его не собьешь. Он знает, что ему нельзя в эти дела впутываться".

Но что-то все равно зудело внутри. И тогда, когда, оставив ребенка сосать из бутылки молоко у Тут-Как-Тута, Сет вновь вышел на улицу, и тогда, когда убеждал себя: "Нет, Рея не собьешь, он знает, что делает", до него постепенно начало доходить: "Рей не боится, что его убьют, не боится смерти, почему это? Бывает, человек в себе находит такое, что ему и жизнь не мила, а с чего же Рею-то не живет?"

Впереди, посредине длинной улицы, перед тем самым домом на снос, Сет увидел Рея с двумя полицейскими. Сета отделял от них целый квартал, и первой его мыслью было поднять обломок толстой балки, что валялась у края тротуара. Но, подняв балку, он тотчас бросил ее. Подумал: "Нельзя сейчас, нельзя!" И пошел по улице туда, где стоял с полицейскими Рей, шел и думал: "Пока ничего такого не случилось. Узнаем, за что его, тогда видно будет".

Он шагал вперед и вперед и вдруг увидел: там, за Реем и за полицейскими, из самой глубины улицы, согнувшись, будто его пнули в живот, бежит очертя голову, как безумный Ферн, а за ним Эл с криком:

— Не смей, идиот чертов! Не смей!

Сет пробежал чуть-чуть вперед, остановился. Одновременно с ним остановился и Эл, и в это мгновение Ферн с налета сшиб с ног одного полицейского, и тот грохнулся о ступеньки крыльца. Схватился за шею, попытался встать и взвыл от боли. Ферн, еще не придя в себя, огорошенный к тому же последствием собственного удара, отпрянул и попал как раз под дубинку второго полицейского. Мелькнув в воздухе, она обрушилась ему на спину, и Ферн рухнул на тротуар.

Поверженный полицейский тоже вытащил дубинку, взгляды полицейских встретились. Без слов поняв друг друга, они оба обрушились на Ферна, который начал было приподниматься, и принялись молотить его так, словно хотели впечатать в асфальт... и тут Рей потянулся и вырвал дубинку из занесенной руки первого полицейского. Оба полицейских от неожиданности замерли, с опаской глядя на Рея. Ферн лежал не двигаясь. Рей поднял дубинку, взялся поудобнее, взглянул на нее так, как будто хотел выпустить из рук, но как-то нехотя удержал.

Только замахнутья он не успел. Будто из-под земли появились еще двое полицейских — Сет не заметил, как напротив к тротуару подрулила машина. Оба напали на Рея сзади и, когда он повернулся, стали бить его прямо в лицо; кровь залила ему глаза и уши.

Руки Ферна дрогнули, пальцы прошли по разбитой голове. Руки Рея были намертво прижаты к вискам, словно пытались удержать всю его боль, только, видно, скрепы не выдержали, лопнули слуховые проходы, и все, что так болело внутри, хлынуло наружу, прямо на улицу.

Он даже не успел ничего сказать.

Сет и Эл стояли и глядели друг на друга, а между ними лежал мертвый Рей и еле живой Ферн, а полицейские безразлично, боясь замараться кровью, обшаривали их карманы. Потом Эл перевел взгляд на Рея и Ферна, поднял глаза, кивнул Сету в сторону их дома, но тут взвыли сирены, и он отступил назад. Подо-

шли девушка с грязной повязкой, навернутой на пальцы, потом двое из тех ребят, что строили фанерный домик, с пригоршнями гвоздей в руках, почтальон с пачкой писем; медленно стала стекаться толпа.

*

Прошло несколько дней; Эл, Сет и Тут-Как-Тут по очереди ходили за малышом. Днем Эл и Сет уже с новыми ребятами орудовали в том самом доме на снос, где пряталась Рита, возле которого убили Рея.

В ночь после его смерти Сет пришел на то место, стоял на углу, смотрел, а Их Высочество с мужем, вооружившись ведрами и щетками, замывали лужи крови на асфальте. Луж было две, их соединяла тонким стебельком запекавшаяся струйка. За день кровь присохла коричневыми родимыми пятнами, и уборщикам никак не удавалось ее смыть.

Чем только их не засыпали — обломками кирпича и труб, щепками, кусками штукатурки, — пятна не исчезали. Они не исчезли даже и после того, как рабочие разрушили весь дом до основания.

А потом туда каждый день наведывался старик в шапочке рабочего-путейца и молча сидел среди груд черно-красного кирпича и сломанных досок, выбирал годные для продажи кирпичины, сбивал цемент с нерасколотых, складывал все в столбики на деревянные подставки, чтоб затем оттащить отсюда. Разводил в железном бочонке огонь, сжигал обломки и щепки. Старик расчистил площадку, и явились самосвал и бульдозер — все разровняли, посыпали гравием.

Только тогда пятна наконец исчезли, ведь их и солнцем жгло, и кирпичными обломками стирало и подошвами прохожих, и размывало дождем; а размывшая их вода понеслась в стоки и дальше к реке или, просочившись сквозь асфальт, впиталась в землю. Но Сет явственно помнил, где и какие они были, эти пятна.

По вечерам, когда работа кончалась, Сет все равно выходил из дома — либо кто чего просил, либо просто в магазин купить что-нибудь малышу. Раз вечером, когда пятна почти пропали, а старого дома уже давно не было, Сет стоял на углу, поджидая, когда зажжется зеленый; поднял взгляд вверх, и там, над проводами, над дугами фонарей, прямо посреди розоватого песчаникового фасада дома на противоположной стороне, в окошке, примостившемся под двумя гранитными львиными головами с глазами, черными от уличной копоти и дождей, он увидел двух ребятшек лет трех-четырех: голенькую девчонку и мальчишку в рубашонке до плуга — оба стояли на подоконнике.

Девчонка, шевельнув занавеской, соскочила вниз, в комнату, потом снова вскарабкалась на подоконник, зажав в кулачке

какие-то бумажки. И, словно письмо в ящик, принялась просовывать бумажку в щель между фрамугой и окном, а мальчишка подпрыгивал на подоконнике, упираясь пальцами в стекло, и не сводил глаз с рук девчонки. Бумажку приходилось проталкивать, и вот когда листок полностью выехал наружу и двигать оказалось больше некуда, он на мгновение застрял в щели, торча оттуда, как белый флажок. Но вот бумажку подхватил ветер, и мальчишка с девчонкой, прижавшись лбами к подрагивавшему стеклу, следили, как, падая вниз, листок крутится на ветру. Сет глядел, а девчонка пропихнула в щель еще пару бумажек, и вот наконец последнюю, которую порывом ветра сначала подкинуло вверх, к крыше, потом понесло вниз, мимо внимательно следивших мордашек за стеклом, поволокло вдоль каменной ограды перед фасадом дома, потом взметнуло над улицей, пару раз прибило к земле, подняло, опустило на тротуар.

Увернувшись от автобуса, Сет перебежал улицу, подобрал одну бумажку, еще не успевшую отлететь далеко: это была реклама какого-то продуктового магазина, вся в столбиках цен. Сет поднял голову вверх: окно, занавеска — дети, видно, прыгнули с подоконника.

И Сет подумал: "Мне еще во многом надо разобраться. Но кое-что я повидал и этого не забуду". С тех пор он уже никогда не раздумывал о том, сколько он всего упустил, о том, что нет сил совладать с собой, о том, как его однажды чуть не погребло под кирпичами. Он думал о том, как теперь надо жить.

ДЖОН КРОУФОРД

Джон Кроуфорд (John Crawford) — издатель, критик, выпускник Колумбийского университета, специалист по средневековой литературе Англии. Один из основателей издательства "Уэст энд пресс" (Кембридж, штат Массачусетс), которое публикует произведения молодой многонациональной литературы США и находится в контакте с прогрессивным издательством "Интернэшнл пাবলিশерз". Кроуфорд — автор вступительных статей к издаваемым книгам — представляет малоизвестных, но талантливых авторов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПОВЕСТИ М. ХЭНСОНА "НАЙДИ СВОЕ"

Майк Хэнсон, как и некоторые другие молодые авторы, наделенные подлинным классовым чутьем (я имею в виду Джой Харджо, Эрни Брилла, Аню Ахтенберг), стал настоящим писателем. Майк чрезвычайно серьезно смотрит на писательский труд. К классическому наследию относится бережно, как мастер к инструменту, без которого ему никак не обойтись. Расскажу о характерном случае. Я подчеркнул у него в рукописи одну фразу, которая показалась мне слишком вычурной. Он посмотрел, потом твердо сказал: "А мне нравится!"

Надо ли говорить — то, против чего восстает в жизни Майк Хэнсон, вызывает возмущение рабочего класса, откуда он вышел. Как-то я позвонил ему из Канзас-Сити в Цинциннати, чтобы снять вопросы по верстке его книги, позвонил ночью, потому что Майк работает в вечернюю смену на заводе, расположенном у границы между Огайо и Кентукки. Он сказал: "Если так пойдет и дальше, мне придется уйти с завода" — и поведал о том, как начальство давит, подговаривает рабочих не поддерживать его открытые выступления за улучшение условий сверхурочной работы в выходные дни.

Повесть "Найди свое" — важное произведение, не только учитывая то, что автор, выходец из рабочих, обладает острым классовым чутьем. Она важна самой своей темой, важна как голос угнетенных масс, важна тем, что дает руководство к действию. Она не просто выражает классовую сущность чаяний

самых обездоленных трудящихся, как в знаменитом рассказе Пьетро ди Донато "Христос в бетоне" (1938). Книга Хэнсона является образным намеком на необходимость социальной и политической перестройки нашего общества. Повесть не просто, как иные романы тридцатых годов, проповедует обращение в новую веру. Это книга о социальном возрождении. Она не похожа на многие европейские романтические произведения, где показано лишь развитие характеров и событий. Майк Хэнсон счастливо избежал навязчивой, искусственной сосредоточенности на отдельной личности, что так характерно для буржуазной литературы. Повесть призывает к тому, чтобы мы осознали себя как общность, как народ, чтоб создали такой тип общества, который соответствовал бы этому осознанию. Об этом не говорится впрямую. Это литература, не научный трактат. Но именно эта мысль — основа того, о чем повествует Хэнсон. Свою социальную идею он воплотил в образе персонажа, который борется.

Главный герой повести Сет — человек, мучимый внутренней ожесточенностью, что вызвано его пристрастием к наркотикам и проявляется в том, как он ведет себя с женщинами, в которых ошибочно видит враждебную силу, в его отношении к обществу, где он не может найти себе места. Преображение Сета как личности показано в момент, когда он ищет работу и особенно когда начинает трудиться рядом с Реем, который руководит разнородной рабочей артелью, занятой сносом старых домов, и слышит его невеселые рассуждения об обществе, истинная сущность которого только разрушать.

Рей оказывается жертвой самых жестоких орудий этого общества, но Сет избегает смерти и готов начать новую жизнь. Не все его проблемы пока решены. Но основа заложена. "И Сет подумал: "Мне еще во многом надо разобраться. Но кое-что я повидал и этого не забуду". С тех пор он уже никогда не раздумывал о том, сколько он всего упустил, о том, что нет сил совладать с собой, о том, как его однажды чуть не погребло под кирпичами. Он думал о том, как теперь надо жить".

Повесть много дает каждому из нас. Тем, кто озабочен у нас униженным положением женщин, она помогает понять, что должен сделать, что должен изменить в себе мужчина, чтобы положить конец дискриминации женщины. Тем, кто занят поисками путей возрождения боевого духа рабочего класса, она указывает, что политическое самосознание возрастает там и тогда, где и когда усиливается угнетение. Для тех, кто думает, будто реформы могут привести к реальным переменам в обществе, она указывает на безобразное жирное подбрюшье нашей страны, взращенное на крови, поте и слезах не только сохранившихся еще в мире колоний, но и нашей собственной бедноты.

Суровая, волнующая проза этой книги не существует вне этих широких обобщений, напротив, она служит их выражением.

Взять, например, яркий отрывок о долларе с изображением статуи Свободы, который Сет нашел в первый день работы. Этот отрывок — яростное, гневное обличение Американской мечты.

“Когда отдирали полку от стены, перед глазами, будто гнилушка во тьме, запутавшись в слоях дранки, сверкнул первозданным блеском серебряный доллар: безмятежный лик статуи Свободы в обрамлении лучей ярко блестел здесь, в самом темном углу, на самой грязной стенке, где дранка вся обуглилась, истлела.

“За такой доллар можно кое-что выручить, — подумал Сет. — Старые деньги всегда в цене”. Но только он дотронулся до монеты, как отделились серебристые чешуйки, посыпалась черная пыль; чешуйки упали на пол, а пылью припорошило кончики пальцев, и Сет почувствовал, как они горят, словно в них проникло что-то едкое, он потер пальцы о рубашку, чтоб перестали гореть. И где-то внутри застрял немой вопрос, заметался, пытаясь вырваться наружу”.

Нам нужно больше таких книг, и мы должны распространять их всеми доступными нам способами. Они помогают людям понять, какую тяжелую борьбу приходится вести тем, кто обитает в самом чреве монстра, — борьбу тяжелую, но славную. Мы не одиноки в этой борьбе. Как великое искусство является всеобщим достоянием, так и великая борьба близка и понятна всем народам на земле.

ПРЕРИЯ

Прерия Фаркас (Prairie Farkas) — молодая поэтесса, пишет под псевдонимом Прерия, живет в Нью-Йорке, работает в системе социального обеспечения, активный профсоюзный деятель, литературный критик, кинокритик. Ее стихи публикуются в журналах и газетах. "Я никогда не мечтала в детстве быть поэтессой, — говорит о себе Прерия. — Пишу потому, что язвы нашего общества не сгинут, если оборотиться к ним спиной; нет, слова, зреющие в тебе, заставят обернуться, не дадут ни сна, ни покоя, пока ты не выплеснешь их на бумагу. Свой псевдоним я придумала много лет назад... Для меня, заточенной в грязь и мрак моего огромного города, прерия — это свободное, полное воздуха пространство, где сама природа окружает тебя; прерия — это особое ощущение, особый способ бытия..." Публикуемые стихи взяты из журнала "Киндаро" ("Quindaro"), 1982, 1983.

ПРЕКРАСНА МАГИЯ РАБОЧИХ РУК

Прекрасна магия рабочих рук, что пишут повесть созиданья,
и животворен их рассказ.

Это история буйных плодородных нив, чудо рождения пищи,
все многообразие городов, их стремление вверх и вширь, —
все это — творение рабочих, существует
благодаря их искусству, их труду.

Я слагаю гимн непостижимому чуду, что открывается
пытливому, острому взору в напряженном изломе спины,
в неистовом огненном танце крови, в игре мускулов,
в кипении пульпы, в стремительных нервных токах,
пронзающих все тело, пробуждающих жизненные
силы к труду и поющие ему славу, чтобы труд эхом
отозвался во всем человечестве, в массах,
сквозь преграду времен.

Я люблю рабочих, которые создают этот мир, щедро поливая
его своим потом, люблю тех, кто поет и кует, кто
вгрызается зубами и ногтями в чрево земли, извлекая ее дары,

© by "Quindaro", 1982

выворачивая пласты, копая и возделывая, кто, сгибаясь
под ветром, изумляет негаснущим огнем своего
неистребимого упорства.

Да, я преклоняюсь перед волшебством рабочих рук, они —
первооснова зерен и гвоздей, побратимы света;
в дождь и в паводок, в любое время года, они
ведут корабль земли, эти благословенные руки;
убирают урожай, кормят миллионы; ступнями рабочие прочно
вросли в землю и, не страшась ее, корчуют, выбирают корни,
единоборствуют с землей, чтобы она отдала свои сокровенные
богатства; отравленным рудой и пылью рабочим ведомо, как
песок и глина забивают поры, облепляют язык и губы, так что
даже снится, будто земля пропитывает плоть и, притаившись там,
разъедает и подтачивает кости.

Да, я люблю смотреть, как рабочие возводят этот мир, рослые
титаны, стоящие высоко на подмостях; их стальные ребра
сверкают в лучах солнца, их напряженные торсы рассекают
тучи; с яростным жизнелюбием и неутомимостью они рожают
города в своих ладонях, покрывая ими пустынные равнины; и
города тянутся вверх, питаюсь от корней товарищества и
тяжкого труда, и парят, как снеговые вершины, как будто
все человечество рвется ввысь,
простирая руки к небесам.

Да, я люблю магическую силу рабочих рук, когда эти мозолистые
пальцы, скользя и сцепляясь друг с другом, творят
чудеса; люблю полные грации изгибы и повороты узловатых
суставов и фаланг, слитых в гармонии движения.

Да, рабочие переплавили и отлили в единую форму всю землю,
прорубили просеки и тоннели сквозь время и пространство,
воздвигли все мосты, все лестницы и рельсы; напряженным
прорывом мускулов и скелетов своих натруженных тел,
силой гигантского размаха они проложили дороги,
что нежно обнимают землю и, пересекаясь друг с другом,
покрывают планету сетью прямых путей и дружеской любви.

И во всем видна душа первого строителя и формовщика,
он — в каждом из нас: в следопыте, исчезающем за кромкой
горизонта, в ловкой и плавной фигуре, вздымающей бронзовый
молот или целящей гарпуном в кита, он — смелый дух, прыгун
в неведомое, первопроходец, великая тень которого
достигает луны.

Как труд рабочих здоров, как звучен, это — праздник жизни,
урожай зеленых, цветущих столетий, звонкоголосый и
пламенеющий, он освещает всю планету радужным светом
неона и пшеницы.

И все мы, рабочие, излучаем свет, приветствуя неведомые галактики!

РАБОЧАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Это стихотворение — дань восхищения рабочими людьми, оно написано в их честь и посвящено тем, кто шагает в демонстрациях, устраивает забастовки и уличные пикеты. Рядом ли с нами они или вдалеке от нас, из прошлого они или из настоящего, их всех связывает общая крепкая, неразрывная нить. Их усилиями и борьбой история движется по верному пути, неуклонно, день за днем.

Мы шагнули из уличной толпы
И, не раздумывая, метнулись за полицейские кордоны
в лучезарный круг пикетных линий.
Это был невероятный, гигантский шаг в шеренги:
Мы сбросили оболочки наших Я, как одежду,
и устали ими мостовую,
Мы очистили мысли от счетов в бакалейной лавке,
от мелких забот,
Мы позабыли взглянуть на часы,
и время остановилось.
И рабочие обменивались друг с другом песнями, улыбками,
рукопожатиями
И дружескими приветами, делясь с нами добром,
как буханками хлеба.
И многие вне нашего магического круга пытливо следили за нами,
с живым пониманием и вливались в наши ряды,
а мы объединялись, разрастались.
Шагая эти долгие, жаркие часы мерной поступью, в горячем,
четком ритме наших лозунгов,
Мы размышляли о человеческих судьбах во все века,
вспоминая тех рабочих,
тех истинных солдат опаленной боями армии рода человеческого,
Кто, как и мы, выступив из толпы, зашагали
наперекор времени в колоннах; не стерпели,
нужда жгла огнем,
подталкивала в спину.
Их давили унижения власть имущих, насмешки
законников, повеления, директивы, распоряжения,
приказы, указы; ныла от ран,
рыком загнанного зверя
отдавалась истерзанная душа.
Страх риска, призрак нерешительности, как миражи,
вдруг встали перед нами, но мы схватили страх
за горло и задули его, как свечу.
И пламень надежд вырвался наружу,
расправил над нами крылья, как птица.

И, вырастая, зрея и крепчая, мы ощущали, как холодные
камни под ногами становились мягче, теплее,
как серые здания расступались перед нами;
и мы, подняв увесистый ком земли, сдавили,
смяли его в нашем многоедином кулаке
И с силой залепили им в лицо Истории.

ДЖЕЙМС АЛАН МАКФЕРСОН

Джеймс Алан Макферсон (James Alan McPherson) — популярный писатель, род. в 1943 г., окончил Высшую гарвардскую адвокатскую школу в 1968 г. Теперь преподает язык и литературу в крупнейших университетах США.

Писать начал, будучи студентом, и уже первый его рассказ был удостоен литературной премии. Многие рассказы Макферсона публикуются в известном бостонском литературном журнале "Атлантик мансли". Писатель — лауреат премии О'Генри за лучший рассказ и лауреат премии Пулитцера 1977 года, которой был удостоен за сборник новелл "Место под солнцем" ("Elbow Room"), 1977, откуда взят публикуемый здесь рассказ.

"Пишь в одном только заглавном рассказе книги, — писал о сборнике "Место под солнцем" известный негритянский прозаик Ральф Эллисон, — духовная жизнь Америки 60-х годов запечатлелась объемнее, чем в большинстве современных рассказов". Проза Макферсона — проза мастера. Она обладает свойством — порой трагической, порой трагикомической — социальной концентрации, прослеживая пути различных негритянских слоев после формального провозглашения гражданских прав и свобод для чернокожего населения США.

СУТЬ ДЕЛА

Четыре дня, пока слушалось дело об убийстве, подсудимый, Роберт Чарлз Ли, молчал, а назначенный судом защитник старался найти доводы в его пользу. Но, когда он начал свою заключительную речь, обвиняемый внезапно поднялся со стула и обратился к присяжным.

— Никакая это не случайность, — спокойно возразил он. — У меня был паршивый пистолет и в нем девять пуль. Я жалею об одном — что пистолет заело и я всадил в этого подлеца только шесть пуль.

Решив этим признанием свою судьбу, подсудимый сел на место.

В зале все смолкло и лишь защитник проклинал на чем свет

стоит своего клиента. Судья поспешно приказал присяжным удалиться и сделал знак защитнику и секретарю суда подойти к нему. Подсудимый продолжал молча сидеть, не обращая внимания на возмущение защитника. Когда щеголевато одетый помощник окружного прокурора, секретарь суда и подошедший после всех защитник столпились перед судьей, Роберт Чарлз Ли по-прежнему безучастно сидел на стуле. Он ни на кого не смотрел, не поворачивал головы. Взгляд у него был отсутствующий. Вероятно, он смирился с приговором, который сам себе подписал.

Судья пребывал в недоумении. Такой оборот дела не предусматривался никакими правилами. Этого из голов присяжных уже не вычеркнешь. Не было смысла продолжать рассмотрение дела. В конце концов оба адвоката и судья пришли к выводу: поскольку неожиданное признание подсудимый сделал в момент заключительной речи защитника, следовало изучить протокол предыдущих заседаний. Это поможет установить, насколько обстоятельства дела склонили весы правосудия не в пользу обвиняемого, что сводило на нет значение любых его признаний. И это трудное решение, увы, предстояло принять именно судье. Вдумчивый, педантичный человек, он прервал заседание суда, отпустил присяжных и удалился в свой кабинет, захватив с собой все материалы, которые хранились у секретаря. Он велел стенографисту срочно расшифровать последние показания свидетелей. В устланном зеленым ковром, уставленном книгами кабинете он принялся быстро просматривать протокол заседания.

Случай был проще простого. Подсудимый, Роберт Чарлз Ли, обвинялся в том, что после полудня 12 июня 197... года он застрелил своего хозяина Фрэнка Джонсона, у которого проработал тринадцать лет. Непосредственных свидетелей этого не было, но другой служащий, механик по имени Джед Джонс, услышав выстрелы, вбежал в комнату и увидел, что подсудимый склонился над телом убитого. В левой руке он еще держал дымившийся пистолет. По словам Джонса, правой рукой Роберт запикивал в рот убитого пули. Полицейским, которые пришли его арестовать, подсудимый никакого сопротивления не оказал — он спокойно дожидался их в комнате. На предварительном следствии он молчал, предъявленного обвинения не оспаривал и каких-либо показаний никому не давал. И в суде, отказавшись давать показания, предоставил назначенному судом адвокату защищать его так, как тот считал нужным, полагая, что защитник сумеет убедить присяжных, что за лишение человека жизни достаточно приговорить в соответствии с законом к пожизненному заключению. И, отказавшись участвовать в судебном разбирательстве, обвиняемый, надо полагать, то ли в состоянии помрачения, то ли будучи замороженным сверхуверенностью своего защитника обрек себя на смерть.

Судья перелистывал материалы предыдущих трех дней заседания. Он бегло просмотрел показания свидетеля сержанта Ллойда Сайена, полицейского, производившего арест.

Линденберри: Сержант Сайен, что вы увидели, когда вошли в кабинет убитого, чтобы произвести арест?

Сайен: Мистер Джонсон лежал возле стола в луже крови. Подсудимый — этот вот человек, Роберт Чарлз, — сидел на столе, держа в руке пистолет. Мистер Джонс стоял у дверей, наверно чтоб не дать преступнику скрыться.

Линденберри: А что сделал подсудимый, когда вы вошли?

Сайен: Да ничего не сделал. Ну у меня-то пистолет был в руке, так что он ничего и не мог сделать. Я приказал ему бросить оружие. Он повиновался. Я защелкнул на нем наручники.

Линденберри: Что он сказал?

Сайен: Ничего. Ничего он не сказал. Бросил пистолет на пол возле убитого. Совсем не сопротивлялся. Я молча отвел его вниз, без всякой борьбы.

Линденберри: Сержант Сайен, в каком состоянии вы нашли тело убитого, когда вы арестовали подсудимого?

Сайен: Он получил шесть пуль: три в живот, две в грудь и одну в правую руку. И еще...

Грант: Протестую.

Судья: На каком основании?

Грант: Защитник и сержант Сайен уже установили, что Джонсон был мертв. Мой клиент не отрицает, что он его застрелил.

Линденберри: Ваша честь, я полагаю: то, что сержант Сайен хотел сказать, представляет интерес для присяжных. Его нужно выслушать.

Грант: Ваша честь, разрешите мне и моему коллеге обратиться к суду с просьбой?

Судья: Разрешаю...

Линденберри: Сержант Сайен, был ли подсудимый в момент ареста пьян?

Сайен: Нет, сэр...

Грант: У меня больше нет вопросов...

Вот свидетельство Джеда Джонса, который первым после выстрелов вошел в кабинет.

Линденберри: Сколько лет вы проработали в авто-ремонтной мастерской Роджерса?

Джонс: Десять.

Линденберри: Когда вас нанимали, подсудимый там уже работал?

Джонс: Да, сэр.

Линденберри: Сколько лет?

Джонс: До меня?

Линденберри: Да.

Джонс: Два-три года. Скорее, пожалуй, три.

Линденберри: Как по-вашему, когда вы поступили к ним, он считался трудным парнем?

Грант: Протестую.

Судья: Поддерживаю.

Линденберри: Вы ладили с мистером Чарлзом?

Джонс: Ладили. Но никогда не были друзьями.

Линденберри: Почему?

Грант: Протестую.

Судья: Вы хотите задать вопросы?

Линденберри: Да, Ваша честь. Я надеюсь узнать кое-что о характере этого свидетеля, связанное с дополнительными обстоятельствами данного дела.

Судья: Продолжайте.

Линденберри: Быть может, вашей дружбе с мистером Чарлзом мешало то, что он — негр?

Джонс: Нет. Я ладил почти со всеми. Пил пиво со многими цветными... с темнокожими парнями, которые работают у Роджерса. Мы не ходили друг к другу в гости и всякое такое, но мы ладили. А Боб другой.

Линденберри: Вы говорите о подсудимом, мистере Роберте Чарлзе Ли? Так чем же он, на ваш взгляд, отличался от других?

Джонс: Ну, он никогда не слонялся по мастерской, как остальные, а всегда сидел в углу какой-то унылый, что ли. Это трудно объяснить. И так не только со мной. Боб не очень-то общался с другими цветными. Компанейским его не назовешь. Других цветных парней это раздражало.

Линденберри: Откуда вы знаете?

Грант: Протестую.

Судья: Поддерживаю.

Линденберри: Что вы скажете о характере подсудимого?

Джонс: Я уже говорил, что он всегда сидел в углу, со своими мрачными мыслями, что ли. Боб был хорошим работником, просто первоклассным. Но выполнял работу он автоматически, а голова его была занята другим. Раз два я пытался с ним подружиться, но безуспешно. Больше я не пробовал. Мне он никогда ничего обидного не говорил, но держался как-то замкнуто, по-деловому. Думаю, он был одинок...

Линденберри: Расскажите нам, что вы помните о ссоре между подсудимым и покойным, мистером Фрэнком Джонсоном?

Джонс: Впервые я заметил кое-что лет восемь назад, года через два после того, как поступил к Роджерсу. Это было как раз, когда рынок наводнили иностранные автомобили. Все мастерские в городе старались переключиться на них. Мало кто из механиков умел справляться с японскими карбюраторами. Большинство парней привыкло к машинам из Детройта. А Боб как раз один из немногих в нашей мастерской легко разбирался в новых марках машин. Может, он копался в них после работы. В общем, как-то утром он пришел в мастерскую и сказал, что составил такую смазку, с которой клапана и поршни новых машин будут теперь работать намного дольше. Он сказал, что эта смазка проложит ему дорожку к чистой работе в главной конторе. Состав этой смазки он никому не открыл, но я-то знаю, что он подробно рассказывал о ней мистеру Джонсону.

Линденберри: Откуда это вам известно?

Джонс: Потому что две недели спустя старик Джонсон — мистер Джонсон — сказал мне: "Бобби Ли спятил. Вообразил, будто состряпанная им смесь сотворит чудеса. Думает, что создал из всякой дряни нечто чудодейственное, и считает себя героем. Он, как местная знаменитость, налавливая какого-то пошла, несет околесицу. Я не могу себе позволить обращаться в главную контору с такой чушью". Как сейчас помню эти его слова.

Линденберри: А что еще говорил вам мистер Джонсон?

Джонс: Через месяц он сказал: "Джед, Бобби Ли угрожал мне. Его смесь не срабатывает, вроде бы он забыл ее состав или что-то еще там, и он думает, будто я этому верю".

Линденберри: Повторите, пожалуйста, громче, чтобы слышали присяжные, то, что сказал вам мистер Джонсон.

Джонс: Мистер Джонсон сказал мне, что главная контора отвергла смесь и Боб считает его в этом виноватым. Он сказал: "Джед, Боб мне угрожал: его смесь не срабатывает и он думает, что это я настроил против него всех в главной конторе".

Линденберри: Мистер Джонс, вы считаете, что после этого случая подсудимый стал хуже относиться к мистеру Джонсону?

Джонс: Да, сэр. По-моему, явно хуже.

Линденберри: В чем же это выражалось?

Грант: У меня нет вопросов, Ваша честь.

Судья позвонил секретарше и распорядился принести ему кофе и сэндвичей с сыром. И продолжал просматривать прото-

кол. Был уже первый час, а на три часа было назначено совещание судей. Когда секретарша принесла ленч и продолжение протокола, он уже читал материалы допроса мистера Ориона В. Роджерса, владельца мастерской "Автосервис и запчасти Роджерса".

Линденберри: Итак, мистер Роджерс, что вы скажете о вашем покойном служащем, мистере Фрэнке Джонсоне?

Роджерс: Скажу, что он ко всем на свете относился по-доброму.

Линденберри: Как долго проработал у вас покойный?

Роджерс: Фрэнк я нанял одним из первых. Он уже работал со мной восемнадцать лет назад, когда я начинал дело. Он был во все посвящен, один из немногих, кому я полностью доверял — как в смысле денег, так и морали.

Линденберри: Мистер Роджерс, что вы подразумеваете под моралью?

Роджерс: Когда я открыл на улице Гилфорда мастерскую, Фрэнк предложил нанять и одного-двух негров. Должен признаться, такое мне никогда и в голову не приходило. Говорю это со всей откровенностью, чтобы показать, насколько различны уровни общественной сознательности у меня и у Фрэнка. Но он твердил свое и давил на меня до тех пор, пока я не согласился взять в три мастерские по одному-два негра.

Линденберри: Взгляните, пожалуйста, на подсудимого. Может, вы припомните, что это один из тех, кого рекомендовал вам мистер Джонсон?

Роджерс: Не могу припомнить. Человек моего положения, как вы понимаете, не держит в памяти такие факты. Но лицо этого человека я помню. Он часто приходил в главную контору — приносил накладные, брал счета и другие документы. Всегда был весьма вежлив и говорил тихо. Эту его черту я помню особенно хорошо, потому что этим он напоминал мне моего любимого официанта на курорте близ побережья Каролины, куда мы с женой обычно ездили. Как я уже сказал, он обладал качествами, позволявшими считать его преданным, мягким человеком. Поэтому нетрудно себе представить, насколько я был потрясен случившимся.

Линденберри: Мистер Роджерс, не вспомните ли вы случай, когда мистер Джонсон говорил с вами о поведении подсудимого в связи с изобретенной якобы мистером Чарлзом автомобильной смазкой?

Роджерс: Нет, сэр. Не могу припомнить такого разговора. Но смею вас заверить, что Фрэнк прежде других сделал бы все от него зависящее, чтобы наилучшим образом рекомендовать это новшество нашей компании.

Линденберри: Тогда почему же, по-вашему, подсуди-

мый стал относиться к мистеру Фрэнку Джонсону враждебно?

Грант: Протестую. Свидетель не имеет права заниматься психоанализом поведения подсудимого. Он некомпетентен делать такого рода выводы.

Судья: Мистер Линденберри...

Линденберри: Ваша честь, я снова прошу вас принять во внимание мое положение. Заверяю суд, что это не праздные расспросы. Поскольку у меня нет возможности узнать подсудимого поближе, поговорить с его женой, детьми или с кем-либо еще, кто его хорошо знает, мне остается только тщательно отбирать из показаний свидетелей все, что проливает свет на вероятные мотивы его действий. Показания именно этого свидетеля, на мой взгляд, особенно важны, если учесть, что подсудимый молчит. Если этого свидетеля, знающего особенности конфликтов между нанимателем и работником, наводят на мысль, что он в этом вопросе делать выводы некомпетентен, то почему тогда не отвести показания мистера Джеда Джонса? Если показания этого свидетеля по такому важному вопросу не будут приняты судом, то я не вижу путей, как мне наилучшим образом выполнить свой долг.

Судья: Мистер Линденберри, меня по-прежнему беспокоит ясно выраженное вами намерение исходить в оценке черт характера подсудимого не из непосредственных наблюдений, а из какой-то абстрактной оценки, именуемой "типичный служащий", которая существует лишь в представлении свидетеля. Мистер Грант, вы протестуете из этих соображений?

Грант: Да, Ваша честь. Я хочу добавить, что показания свидетеля об этом служащем вдвойне неприемлемы. Во-первых, потому, что он не знал его лично, и, во-вторых, потому, что, даже если бы его представление о типичном служащем было правильным, я утверждаю: этого подсудимого нельзя отнести к типичным. Он живет сам по себе. Полагаю, что у этого неграмотного негра с Юга, выросшего в атмосфере насилия, есть только одно — его мастерство механика. Им двигали мотивы, не доступные пониманию этого свидетеля и большинства белых людей вообще.

Судья: Ваша точка зрения, мистер Грант, убедительна. Это идет вразрез с моими принципами, и, возможно, я ошибаюсь, но интуиция подсказывает мне, что суть дела сокрыта именно тут. Эти показания будут приняты. Напоминаю вам о вашем вчерашнем выступлении и о том, что к этому подсудимому следует применять те же мерки, что и к прочим. Правила общественного поведения одинаковы для всех. И принадлежность подсудимого к негритянской расе...

Судья прервал чтение, чтобы набить трубку и закурить. Потом взял из зеленого стакана на столе карандаш и подчеркнул то место, где он обменялся мнениями с Франклином Гран-

том. Судья откинулся в кресле и, попыхивая трубкой, стал размышлять. Потом взглянул на часы и продолжал читать:

Линденберри: Итак, мистер Роджерс, я повторяю вопрос: как опытный работодатель, знающий, какими бывают обычно трения на работе, скажите нам, что же вероятнее всего явилось причиной этого конфликта?

Роджерс: Иногда нанимаешь служащего, чьи таланты не соответствуют его амбиции. Эту горькую истину непременно должен помнить каждый справедливый работодатель. В Библии сказано, что господь бог не роздал таланты всем поровну. Но некоторые из нанятых с трудом мирятся со своей участью. Они нервничают и видят стремление их обидеть там, где этого нет. В своих неудачах они винят тех, кто всячески идет им навстречу. Такие служащие — мы называем их примадоннами — редко ладят с остальными. Положение еще терпимо, если и у них есть чувство юмора. Если нет — последствия могут быть даже трагическими.

Линденберри: Вы полагаете, что подсудимый относится именно к этому типу?

Грант: Протестую, Ваша честь.

Судья: Нет. Поскольку я счел возможным приобщить это к делу, я не прерву дачу показаний.

Линденберри: Мистер Роджерс, как по-вашему, подсудимый именно такой человек?

Роджерс: После этого трагического случая я просмотрел наши документы. Теперь я знаю, что мистер Чарлз пришел к нам лет тринадцать назад. Вспомнить о нем я ничего не могу, но недели три назад мне позвонила одна из наших бывших секретарш и сказала, что это тот самый человек, который лет девять назад учинил небольшой переполох в моей конторе. Она узнала его по фотографии в газетах. Она сказала...

Грант: Сплетни.

Судья: Поддерживаю.

Линденберри: Ваша честь, когда произошел разбираемый здесь случай, секретарша, миссис Элен Клаус, была...

Роджерс: ...он требовал, чтобы его впустили ко мне, не желая сказать, в чем состояло его дело. Ну а миссис Клаус, как вы понимаете, моим временем дорожила. Сказать, зачем пришел, посетитель не хотел, и поэтому она его не впустила. Больше об этом человеке я сказать ничего не могу...

Грант: У меня вопросов нет.

Судья перевернул несколько страниц и стал читать показания другого служащего мастерской "Автосервис и запчасти Роджерса", мистера Отиса Пинкетта:

Линденберри: Итак, во время упомянутого вами случая каковы были отношения между покойным, мистером Джонсоном, и подсудимым?

Пинкетт: Я скажу так: первый раз мне стало не по себе, когда я убирал в конторе и вошел Бобби Ли. Сдается мне, было это лет пять-шесть назад. Мистер Джонсон сидел у себя за столом и завтракал. Бобби Ли первым делом подошел к нему и спрашивает: "Пора?" А мистер Джонсон посмотрел на него, улыбнулся и сказал: "Нет-нет. Еще не пора". Тогда Бобби Ли повернулся и вышел.

Линденберри: Так как же вел себя во время этого разговора мистер Джонсон?

Пинкетт: Я же сказал: он улыбнулся. Больше ничего вспомнить не могу.

Линденберри: А как вел себя подсудимый?

Пинкетт: Он не улыбался и рассержен не был. Сказать по правде, я его таким никогда прежде не видел. Лицо замкнутое, а глаза прямо на лоб вылезли. Но он не выглядел ненормальным. Шел будто аршин проглотил. На меня и не взглянул. Он просто посмотрел сверху вниз на мистера Джонсона и спросил: "Пора?" А мистер Джонсон улыбнулся ему и ответил: "Нет-нет. Еще не пора". Он сказал это мягко и спокойно, ну как говорят с женщиной. Я это хорошо помню, потому что у меня при этом... все внутри оборвалось. Я хочу сказать...

Линденберри: А когда подсудимый сказал об этой угрозе вам?

Пинкетт: Я не сказал, что...

Грант: Протестую.

Судья: Поддерживаю.

Линденберри: Когда вы слышали слова подсудимого о его неприязни к мистеру Джонсону?

Пинкетт: Я никогда не говорил, что он ему угрожал. Я бы это угрозой не назвал. Вы же знаете, как бывает, когда человек спятит. Люди говорят то, чего совсем не думают.

Линденберри: Мистер Пинкетт, когда мистер Ли передал вам эти слова?

Пинкетт: Года четыре назад. Дело было вот как. Я шутил с ним, рассказывая об одном клиенте, который заставил меня попотеть. И сказал ему что-то вроде: "Мне так и захотелось выдать ему как следует". Тут-то Бобби Ли и посмотрел в сторону конторы и говорит: "Того же хочется и мне, Отис".

Линденберри: А кто в это время находился в конторе?

П и н к е т т: Там был мистер Джонсон...

Г р а н т: Ваша честь, у меня больше вопросов нет.

Показания доктора Торна, Вальтера Р. Торна, районного психиатра при больнице для душевнобольных:

Л и н д е н б е р р и: Доктор Торн, после того как вы обследовали подсудимого, что вы скажете о состоянии его психики?

Т о р н: Прежде всего следует обратить внимание на особенности среды, в какой рос субъект обследования, потому что это позволяет понять начальную фазу его эмоционального развития. Согласно данным, собранным мною во время обследования, его юные годы, когда формируется личность, прошли на Юге, в штате Виргиния. Как вы помните, во времена его детства на Юге свирепствовали жестокие методы расовой сегрегации. Влияние ее на человеческую личность и особенно сопутствующего сегрегации насилия не поддается оценке. К этому добавилась травма от внезапного переезда семьи из трех человек на другое местожительство: сельское окружение сменилось другим, гораздо более развитым, где царит конкуренция, социальная разобщенность и высокий темп жизни. Такое перемещение выбивает человека из колеи, и последствия могут быть самые серьезные.

Л и н д е н б е р р и: Доктор Торн, считаете ли вы, что подсудимый был достаточно психически нормален, чтобы понимать, к чему приведут его действия? Допускаете ли вы, что описанный вами отрыв от привычной обстановки мог настолько лишить его чувства реальности, что он перестал понимать, что можно, а чего нельзя?

Т о р н: По-моему, нет. Говорю это, исходя из трех особых соображений. Во-первых, переезд с Юга произошел, когда подсудимый был еще сравнительно молод, и поэтому нет никаких оснований полагать, что он не смог бы приспособиться. Во-вторых, знакомство с семьей подсудимого убедило меня в том, что все они, и в особенности старший сын, не испытывали на себе влияния аномальной личности. Они вполне нормальны, если сделать скидку на то, что их экономический и общественный статус вписывается в жизнь общества с большими возможностями, чем они имели прежде. В-третьих, то, что подсудимый не пропустил ни одного рабочего дня и пел в церковном хоре своего прихода, говорит о том, по крайней мере мне, что он нашел в структуре общества свое место и чувствовал себя в известной степени устроенным. Учитывая все сказанное, я вынужден заявить, что, совершая то, что сделал, подсудимый был вполне

нормален. Почему он так действовал, предоставляется решить вам или, точнее, этим присяжным, которые лучше, чем я, способны вершить правосудие.

Линденберри: Доктор Торн, встречались вам в вашей практике психиатра случаи паранойи у негров, и в особенности у мужчин?

Торн: Припоминаю, что читал несколько исследований о таких случаях.

Линденберри: Вы можете коротко рассказать нам о прочитанном?

Торн: В одном исследовании, проведенном в Мичигане неким Словином, отмечалось, что негры-мужчины, когда их внезапно напугают, инстинктивно защищают руками область паха. А в старом исследовании из Нью-Йорка приводились данные, показывающие, что, когда негры-мужчины сталкиваются с трудностями, сулящими им неприятности, они гораздо чаще, чем белые, склонны считать виновными в этом не себя, а ближайшего, кто стоит выше его. Вывод этого исследования гласит, что такая реакция может порой привести к фатальным для человека последствиям. И я припоминаю одно недавнее исследование, сделанное во Флориде, имеющее целью показать, что мужчины этой группы больше, чем белые, боятся собак. Но окончательное мое мнение таково: наукой не подтверждается, что в группе негров случаев паранойи бывает больше, чем среди белых. Разумеется, статистика статистикой, но надо всегда учитывать случаи непредвиденные.

Линденберри: Доктор Торн, мог ли, по-вашему, подсудимый действовать под влиянием панического страха перед своим хозяином, мистером Джонсоном?

Торн: Учитывая обстоятельства этого необычного дела, мне придется ответить отрицательно.

Линденберри: Теперь ваша очередь, сэр.

Грант: Вопросов не имею.

Судья допил кофе и задумался над протоколом. Было двадцать пять минут второго. В два ему предстояло встретиться со своим секретарем, чтобы подготовиться к совещанию судей. Он выбил трубку и принялся читать дальше. Но почему-то остановился. Отлистал обратно много страниц, которые уже бегло просмотрел, до места, которое пропустил совсем. То был перекрестный и повторный прямой допрос свидетеля Отиса Пинкетта.

Грант: Почему вы советовали подсудимому уволиться и поискать работу в другом месте?

Пинкетт: Да я же сам такой. Как увижу, что не пришел-

ся ко двору, времени даром не теряю. По мне, тут пора двигать куда-нибудь дальше.

Грант: Мистер Пинкетт, какое место занимаете вы сейчас в мастерской "Автосервис и запчасти Роджерса"?

Пинкетт: Думаю, что после мистера Джонса считаюсь в мастерской третьим. Служу давно, так что, когда кто приходит, обычно обращаются ко мне.

Грант: Как вы думаете, в чем секрет вашего успеха?

Пинкетт: Я умею обращаться с людьми. Ну просто с ними надо ладить, а для этого что-то для них делать.

Грант: Вы советовали мистеру Чарлзу уйти в другое место, потому что он был не слишком любезен с остальными?

Пинкетт: Да, раз уж вы про это спросили. Ни о ком не хочу говорить плохого, тем более про Бобби Ли. Но мне кажется, раз он был с Юга, в голове у него немножко не хватало. Взять меня, так я считаю себя не хуже мистера Джонсона или кого другого. Но Бобби Ли, похоже, считал себя лучше мистера Джонсона. И не то чтобы он думал, будто темнокожий лучше белого. Он вел себя так, будто есть кое-что поважнее, чем темнокожие и белые, и это было у него вроде как за пазухой. Меня вокруг пальца не обведешь, и я-то знаю, что нечего устраивать фокусы с теми, кто тебе платит. Вот я и посоветовал ему от нас уйти.

Грант: А не было ли это у вас проявлением зависти к подзащитному?

Пинкетт: Чего не было, того не было. Зарабатывал я тогда больше его, меня ценили, так что мне бояться было нечего. Просто я его жалел.

Грант: Мистер Пинкетт, не припомните ли вы какой-нибудь случай, когда покойный обошелся с вами плохо из-за того, что вы — цветной?

Пинкетт: Нет, сэр. Я уже говорил вам, что мистер Джонсон был всегда ко мне добр. Он темнокожих любил. Всегда спрашивал, как мы поживаем и как дела в семье, не нужен ли кому кредит в лавке.

Судья: К чему это вы, защитник, клоните?

Грант: Ваша честь, я надеюсь выяснить у этого свидетеля кое-что о характере покойного, но похоже, что мистер Пинкетт по каким-то соображениям говорить этого не желает. Я пытаюсь показать, что покойный был не таким уж образцовым хозяином.

Судья: Мне это ваше выуживание надоело. Но я разрешу вам продолжать, если вы, Поль Линденберри, не возражаете.

Линденберри: Пока у меня возражений нет.

Судья: Продолжайте...

Грант: Вы показали, что покойный относился к вам, безусловно, хорошо.

Пинкетт: И говорить нечего. Он был очень хороший человек. Тут и вопроса нет.

Грант: Можете ли вы сказать, что подзащитный разделял ваше мнение о мистере Джонсоне?

Линденберри: Возражаю, Ваша честь.

Судья: Поддерживаю.

Грант: Мистер Пинкетт, завидовал ли вам подзащитный из-за того, что хозяин относился к вам так хорошо?

Линденберри: Я возражаю, Ваша честь. Защитник пытается вытянуть из свидетеля его соображения, которые не имеют отношения к делу. В данном случае важно, проявлял ли подсудимый достаточно враждебности, чтобы это позволило думать о преднамеренности совершенного. Мне представляется, что мой коллега увлекся досужими домыслами. А возможно, и сплетнями...

Грант: Ваша честь, я учту ваше замечание. Однако я полагаю, что следует внести в протокол, в каком я нахожусь положении. Я напоминаю суду, что обвиняемый и пальцем не шевельнул, чтобы помочь своему защитнику. Он отказался защищать себя сам, не позволил семье свидетельствовать в его пользу и даже отказался обсудить свое дело со мной. Все это поставило меня в очень трудное положение. Поскольку он отказался выступить в свою защиту, я вынужден защищать его, как могу, не понимая мотивов его поведения. Я не хотел браться за это дело, но, поскольку желаю выполнить порученное мне с честью, я делаю все, что от меня зависит. И если мне не дадут приобщить к делу то, что мой коллега называет досужими домыслами, я не вижу возможности продолжать защиту моего клиента.

Грант: А теперь, мистер Пинкетт, повторите, пожалуйста, почетче то, что сказал в тот раз подсудимый.

Пинкетт: Он сказал, что разочаровался в жизни. Он, мол, не понимает того, что, как ему думалось раньше, понимал. Мы тогда были с ним в туалете. Я справлял малую нужду, а он был в кабине. Его лица мне не было видно, но я все слышал. Он сказал: "Отис, мистер Джонсон так меня обидел, что жить не хочется". И сказал еще: "Ничего больше не хочу — только бы умереть".

Грант: А вам доводилось видеть, чтобы подзащитный угрожал покойному или спорил с ним?

Пинкетт: Нет. Я уже говорил, что много раз видел их вместе, но они друг с другом почти не говорили. Вот только в тот вечер, в пятницу, когда мы с Бобби Ли получали деньги. Мне зарплату прибавили, а Бобби Ли, по-моему, нет. Когда подошла очередь Бобби Ли, мистер Джонсон протянул ему конверт и, улыбаясь, сказал: "Я чист".

Г р а н т: И ничего больше?

П и н к е т т: Да.

Г р а н т: Может быть, они о чем-то спорили и, выходит, покойный сказал: "Я прав"?

П и н к е т т: Может. Только мне слышалось: "Я чист".

Г р а н т: Как он при этих словах держался и выглядел?

П и н к е т т: Он сказал это тихо, а когда я взглянул на него, изменился в лице. Прямо как-то чудно.

Г р а н т: Что вы хотите этим сказать?

П и н к е т т: Ну, он не походил на чокнутого или еще что. Когда я взглянул на него в первый раз, глаза у него были вытаращены, синие и блестящие, будто он выпил. А потом я посмотрел опять, и он был какой-то сонный, будто только проснулся и чего-то не мог вспомнить.

Г р а н т: Он изменился в лице до того, как сказал те слова, или после?

П и н к е т т: Немножко до и немножко после. Все случилось так быстро. Не знаю, видел ли он, что я за ним наблюдаю.

Г р а н т: Вспомните — изменился ли он в лице после того, как увидел, что вы за ним наблюдаете?

П и н к е т т: Не знаю. Не могу вспомнить.

Г р а н т: Как выглядел мистер Джонсон?

П и н к е т т: Ну, он был белый, и волосы у него каштановые.

Г р а н т: А какого цвета подзащитный, мистер Чарлз?

П и н к е т т: Сами видите, он черный как уголь.

Л и н д е н б е р р и: Ваша честь, я должен...

С у дья: Не забывайте, Поль Линденберри, кто вы и где находитесь. Я не спал. Господа присяжные, в определенные моменты судебного разбирательства, в особенности такого сложного, как это, судья должен взвесить...

Л и н д е н б е р р и: Повторите, пожалуйста, так, чтобы слышали присяжные.

П и н к е т т: Он одолжил мне эти деньги по доброте душевной. В другой раз он отпустил меня с работы на бейсбол. Не раз замолвил за меня словечко в деловой части города, чтобы мне больше доверяли. Он был ко мне очень добр. По отношению ко мне он был человеком слова. Скажи он, что курица нюхает табак, я бы не посмел в этом усомниться. Так я ему верил. Он был моим покровителем, и я никогда не стану думать по-другому, как бы мне ни хотелось помочь Бобби Ли.

Л и н д е н б е р р и: Мистер Пинкетт, вы сказали, что подсудимый "стал дурить". Что вы имели в виду?

Г р а н т: Возражаю.

С у дья: Это формальность. Разрешаю продолжать допрос.

Доктор Грант, вам никто не мешал, теперь я хочу посмотреть, куда ведет эта нить.

Линденберри: Может быть, вы расскажете об этом подробнее?

Пинкетт: Бобби Ли так себя поставил, что это не могло не привести к трениям между ним и мистером Джонсоном. Я сам замечал, что он указаний хозяина точно не выполнял и частенько тратил свое личное время на ремонт машин. По-моему, этим он просто хотел насолить мистеру Джонсону, завести его. Ничего хорошего из этого выйти не могло. Если кто-то путается у другого под ногами, тому волей-неволей приходится поставить его на место. Это, по-моему, и случилось в конце концов с Бобби Ли.

Грант: Я категорически возражаю, Ваша честь.

Судья: Принято. Мистер Пинкетт, вы не должны делать выводы. Я хочу сказать, что вас не спрашивают, был ли подсудимый, по-вашему, человеком хорошим или плохим и был ли он виноват в собственных ошибках. Вы должны рассказать, что знаете, чтобы помочь решить этот спор.

Пинкетт: Спор?

Судья: Вы должны сказать, какие причины были у мистера Ли желать смерти мистера Джонсона.

Пинкетт: Ваша честь, да я же говорю то, что знаю. Я ничью сторону не беру.

Судья: Мистер Пинкетт, должен напомнить вам, что вас вызвали в суд как свидетеля обвинения. Вы должны воздерживаться от суждений, которые не разделяет прокурор. Возможно, вы этого не знаете, но мистер Линденберри отвечает за правильность ведения допросов, и не перед вами. Вы должны отвечать только на те вопросы, которые он вам задает. Вы меня поняли, сэр?

Пинкетт: Да, сэр, да, Ваша честь.

Судья: Господа, я должен извиниться перед вами за эти многочисленные отклонения. Я пытаюсь предоставить максимум возможностей обеим сторонам, поскольку мое собственное мнение, основанное целиком на обстоятельствах дела, насколько я их понимаю, позволит избежать противоречий, высказываемых обеими сторонами, что я считаю очень важным для разбирательства дела, в котором сталкиваются противоречивые мнения. Но мне представляется, что теперь ведение дела вышло из-под нашего контроля. Я полагаю, что умение применять закон — это искусство и, в сущности, моя роль в этом мало чем отличается от роли литературного критика. Но, как я только что сказал, мне, вероятно...

На столе загудел селектор. Это секретарь суда напоминал судье, что в три часа состоится совещание. Было два часа пять

минут. Судья просил позвонить ему еще раз в половине третьего. Потом позвонил своей секретарше и велел ей сразу же, как перепечатают, принести ему конец протокола. Закурил, затаившись так, что в трубке вспыхнули красные искры, и стал быстро просматривать тонкую стопку бумаг.

Он пробежал их глазами.

Секретарша тихо постучала в дверь, вошла и положила около чашки с кофе записку. Судья прервал чтение и взглянул на листок. Записка была от секретаря суда: "Сэр, я вынужден настаивать, чтобы вы прервались на какое-то время, чтобы подготовиться к совещанию. Гертсон намерен добиваться в этом году переизбрания, и его секретарь сказал мне, что тот намерен блеснуть, учитывая сложившуюся ситуацию, нам невыгодно, если он привлечет к себе на сессии всеобщее внимание. Следующая состоится только в феврале. Позвонить вам в два двадцать? Миллс".

Судья взглянул на часы. Было уже два тринадцать. Он продолжал быстро читать, попыхивая трубкой. Поспешно пробежал показания преподобного Лоренцо Блейка, священника церкви, которую посещал подсудимый.

Г р а н т: Сэр, что вы можете сказать суду о характере мистера Роберта Чарлза Ли?

Б л е й к: Я всегда считал его мягким, богобоязненным человеком. Уверен, что ни один из моих прихожан не скажет ничего другого. С душевной болью должен признать, что содеянное им отразилось плохо и на неграх из Роанока тоже.

Г р а н т: При чем тут Роанок?

Б л е й к: Большинство моих прихожан — выходцы из Роанока, и Роберт Чарлз Ли тоже. Знаете, те, кто сюда приезжают, обычно следуют привычкам прибывших из родных мест раньше их. В любом городе есть квартал выходцев из Бирмингема, Чарлстона, Мейкона, Дарема и тысячи других мест. Техасцы, я думаю, едут в Калифорнию вместе с теми, кто из Арканзаса. Ну а мы — виргинцы. Мы все преданы своей Виргинии.

Г р а н т: Учитывая это, приходил ли мистер Ли к вам за советом? Делился когда-нибудь с вами своими заботами?

Б л е й к: Я вам уже говорил, что не припомню разговоров с ним о его работе. Но мне приходит в голову кое-что другое. Видите ли, Роберт очень, очень терзался тем, что не получил образования. Ни читать, ни писать он не умеет. Но в чем он мастер — это в ремонте автомобилей. По выходным дням дома он тоже ремонтировал машины. Но почему-то этого стеснялся. Однажды в воскресенье он пришел ко мне и признался, что теряет уважение старшего сына, Роберта-младшего. Я так понял, что мальчик связался с какой-то шайкой, пристрастился к наркотикам, а у Роберта Ли не хватало времени его приструнить.

Г р а н т: Значит, ваше преподобие, вы полагаете, он был заботливым отцом?

Б л е й к: Да, сэр. Он был очень обеспокоен. Хотел, чтобы я поговорил с Робертом-младшим. Помог мальчику подружиться с его сверстниками, занятыми более пристойными делами. Спрашивал, знаю ли я мальчиков, которые любят читать.

Л и н д е н б е р р и: Ваша честь, при всем моем уважении к его преподобию, полагаю, что это ничуть не помогает нам продвинуться в разборе дела. Тюрьмы полны маньяков-убийц, тоже любителей чтения.

Г р а н т: Я считаю возмутительным, что мой коллега так бесцеремонно прерывает допрос. И вынужден заявить протест.

С у дья: Мистер Линденберри, я с вами согласен, но должен сказать, что возражаю и против вашего настроения. К чему вы хотите подвести суд, доктор Грант?

Г р а н т: Я только стараюсь показать присяжным, что моего подзащитного заботило образование сына. Хочу показать, что на образование сына он возлагал большие надежды. И если мне удастся, я кое-что объясню.

С у дья: Хорошо, только давайте покороче.

Г р а н т: Хорошо, Ваша честь. Мистер Блейк, считаете ли вы подзащитного набожным христианином?

Б л е й к: К ответу на такой вопрос я не готов.

Г р а н т: А в церковь он ходил регулярно?

Б л е й к: Да.

Г р а н т: Он пил?

Б л е й к: Не могу сказать.

Г р а н т: Напоминаю вам, преподобный Блейк, что вы давали присягу. Кроме того, могу напомнить вам ваши показания на этот счет на предварительном следствии. И я, сэр, снова спрашиваю вас: подзащитный пил?

Б л е й к: Да, сэр.

Г р а н т: Сильно?

Б л е й к: Иногда да. Но он никогда не буянил. Его жена говорила мне, что обычно он отправлялся спать.

Л и н д е н б е р р и: Ну тут уж возражать не в моих интересах, но я все же протестую. Сплетни. Да и, кроме того, лучший свидетель находится здесь, в зале суда.

С у дья: Доктор Грант, я еще раз спрашиваю вас: к чему эти вопросы? Каким образом выяснение того, что подзащитный выпивал, поможет вам построить защиту? Насколько его пристрастие к вину смягчит возможные мотивы, побудившие его убить мистера Джонсона?

Г р а н т: Ваша честь, еще раз напоминаю, что подзащитный и его семья отказались свидетельствовать в его пользу. И я делаю все от меня зависящее, чтобы его защитить. И я докажу связь одного с другим.

С у дья: Согласен с вами, доктор Грант, но покороче.

Г р а н т: Скажите, преподобный Блейк, пил ли подзащитный на рождество, в день благодарения, на пасху и в других таких случаях? Не принято ли так на Юге?

Б л е й к: Это делаем мы все, я уверен. А такой обычай есть, верно.

Г р а н т: Я не спрашиваю вас о поведении людей вообще. Я спросил, водилась ли за подзащитным привычка напиваться в особых случаях и не является ли эта привычка следствием широко распространенной на Юге традиции?

Б л е й к: Да, на Юге принято сильно пить.

Г р а н т: А нет ли также на Юге традиции использовать оружие? Не палят ли там, на Юге, из пистолетов по особым случаям?

Б л е й к: Да, сэр. Это так.

Г р а н т: Значит, среди обычаев, которые негры приносят с собой с Юга, есть и обычай напиваться и хвататься в особых случаях за оружие?

Б л е й к: Я не знаю...

Л и н д е н б е р р и: Я напоминаю присяжным, что, согласно показаниям сержанта Сайена, когда в полдень 12 июня 197... года подсудимого арестовали, он пьян не был...

Секретарша снова тихо постучала в дверь. Она вошла и положила около чашки с кофе последние страницы протокола и еще записку. Она была от секретаря суда: "Уже два часа двадцать пять минут. Я буду ждать. Но вы вредите самому себе. Миллс". На обороте записки судья написал "десять минут" и отдал ее секретарше. Она на цыпочках вышла. Судья откинулся в мягком кресле, набил трубку и закурил. Потом встал, подошел к окну. Внизу на стоянке было много машин, они казались в солнечном сиянии разномастными, отлитыми из металла животными. С высоты они выглядели игрушечными. Судья пыхнул трубкой и взглянул вверх. Сквозь искусно сделанные витражи небо казалось более ярким и голубым, чем было на самом деле. Судья поправил галстук. Стряхнул пепел с рукава своего синего пиджака. Потом вымыл в ванной лицо и руки. Освежившись, он вернулся в кабинет и принялся складывать стопкой протоколы. Последние несколько страниц он не дочитал. Пробежал глазами заключительную речь Линденберри, помощника окружного прокурора. Написал короткую записку, перечислив, что надо сделать секретарше перед уходом домой. Он написал также записку секретарю суда о том, каким должен быть вердикт: "Виновен согласно предъявленному обвинению". Он привел стол в порядок, убрал ненужные бумаги и положил пухлую стопку протоколов текстом вниз на зеленое сукно. Направился к двери. Потом медленно вернулся к столу. Взял последнюю страничку и прочитал заключительную речь защитника Франклина Гранта:

...будет крайне несправедливо, если вы, дамы и господа, составляющие суд присяжных и воплощающие собой совесть нашего общества, не поставите себя на место безграмотного негра и не найдете к нему жалости в своем сердце. Вот он перед вами, потомок рабов, который в день, когда его сын окончил среднюю школу, совершил нечто привычное, чтобы отпраздновать великое событие. Он выпил. Мы все делаем это Четвертого июля. А почему не позволено ему? Мы зажигаем фейерверки, пускаем шутихи и говорим, что придет на ум. Посмотрите на жену этого человека и на его семью, внимательно взгляните на подростка Роберта-младшего и представьте себе, что это, если б не божья милость, могла бы быть ваша семья, ваша плачущая жена. Или вы сами могли бы оказаться этим подзащитным, который помешался оттого, что его старший сын стал грамотным. Вот что должны вы четко осознать, когда будете совещаться в комнате присяжных. Вернувшись с церемонии выпуска окончивших школу, подзащитный, как принято, отметил это торжество. Он выпил. Однако в голове у него с этим связывался и другой обычай отмечать радостные события, принятый у негров на Юге. Но ведь он в городе, и это его сковывает. Поэтому он кладет пистолет в карман. Затем по привычке идет на работу. Там, зная, что хозяин интересуется семейными делами подчиненных, он входит в контору и сообщает ему свою хорошую новость. Но получает по носу. И тут на него находит затмение. Возможно, он вспомнил прежние разногласия, но, вероятнее всего, подзащитный вынул пистолет, чтобы отметить знаменательное событие, и случайно...

Именно в этом месте подсудимый перебил его.

Судья аккуратно положил страничку текстом вниз на пухлую стопку протокола.

ДЖУН ДЖОРДАН

Джун Джордан (June Jordan) — негритянская поэтесса, род. в 1936 г. Стихотворение взято из сборника "Страсть" ("Passion"), 1980.

ПЕСНЬ О СОДЖОРНЕР ТРУТ¹

Катил по улице трамвай, белые все пассажиры,
а Соджорнер так устала — ну просто мочи никакой.
По улице катил трамвай, белые все пассажиры,
а Соджорнер так устала, на ногах весь день-деньской.
"Сяду, — думает, — подъеду. Дам ногам своим покой".

И трамвайщику рукой
принялась она махать:
мол, подвези меня, сынок,
принялась махать рукой:
мол, подвези меня, сынок,
а трамвайщик и не смотрит,
знай трезвонит в свой звонок.
— Стоп! — кричит ему старуха.
Тот и не успел моргнуть,
брякнулась она ничком
прямо на трамвайный путь.
Побелел как мел трамвайщик — и враз остановил вагон.
Не давить же человека, даже если черный он.
Забралась вовнутрь Соджорнер — и дала ногам покой.
Дальше покатил трамвай, только искры над дугой.

Спятила, видать, Соджорнер,
позабыла всякий страх,
спятила, видать, совсем,
лезет на рожон, в сердцах.
Помалкивать бы ей в тряпицу,
а не разевать свой рот,
безрассудными речами
черный весь мутя народ.

¹ Соджорнер Трут (ок. 1797–1883), букв.: "странница правда", — американская аболиционистка, бывшая рабыня. Странствовала по северу Америки, борясь за равноправие негров и женщин.

Надо ей куда теперь, "Сяду, — говорит, — в трамвай
и поеду, точно леди".
Надо ей куда теперь, "Сяду, — говорит, — в трамвай.
Чем я хуже белой леди?"
Что мне этот их "Джим Кроу"¹,
ничего, переживут
белые мои соседи.
Этак гордо говорит:
"Поеду, точно леди...
Кто знает: истина свята,
не станет замыкать уста".
Голос у Соджорнер Трут
громче колокольной меди.
Этак гордо говорит:
"Поеду, точно леди..."

Обзывали образиной, страхолудиной, уродкой
белые ее соседи,
угрожали ей расправой, беспощадной и короткой,
а Соджорнер отвечала:
"Я поеду, точно леди.
Слава богу, я пока
и здорова и крепка.
Я выросла не зря в аду,
все вынесу, не пропаду.
Слава богу, я крепка..."

Спятила, видать, Соджорнер,
позабыла всякий страх.
Спятила, видать, совсем,
лезет на рожон, в сердцах.
Помалкивать бы ей в тряпицу,
а не разевать свой рот,
безрассудными речами
черный весь мутя народ.

¹ Джим Кроу — оскорбительная кличка негра; теперь обозначение расовой дискриминации.

УИЛЬЯМ РИНТУЛ

Уильям Ринтул (William Rintoul) — журналист, писатель-работчий из Калифорнии, ветеран второй мировой войны, служил на нефтяных разработках. Его рассказы — реалистические, окрашенные добрым юмором картины трудовых будней нефтяников Калифорнии — носят частично автобиографический характер. Рисуя самобытные портреты рабочих — от подростков до ветеранов, — Ринтул выявляет те черты добра и товарищества, что объединяют людей, которых случайно столкнула судьба на сезонной работе. Один из читателей Ринтула, инженер-нефтяник, так отозвался о рассказах писателя: "Наверно, так писали бы Стейнбек или Хемингуэй, если б им пришлось работать среди нефтяников..." Рассказы взяты из сборника "Рабочий" ("Roustabout"), 1980.

СУББОТНЯЯ НОЧЬ СОЛДАТА

Над входной дверью в общежитие горела одинокая лампочка, спокойно напоминая нефтяникам, оставившим получку в "Рогах лося", "Оазисе" или "Медном поручне", что тут ступеньки. К этому-то маяку в осенней теплой ночи и двинулся Солдат, который подписывался в рабочем листе именем "Джеймс Свендсен". Держа в руках пакет с шестью банками пива, он вошел в общежитие, стараясь не хлопнуть дверью и не разбудить тех, кто работал в ночной смене с двенадцати до восьми. Замок в его комнате заело, и он раздраженно крутил ключ в разные стороны, пока дверь не открылась. Потом нащупал в темноте выключатель и замигал от желто-соломенного света. Закрыв дверь, Солдат перевернул над раковиной бумажный пакет, вывалил банки, заткнул раковину и наполнил ее холодной водой. Вынув одну из банок, он открыл ее и устало сел на неубранную постель. Солдат пил, глядя, как с банки падают капли на стертый линолеум. Он только что отработал десятидневку, которая один раз в восемь недель по расписанию выпадала на каждую бригаду. Благодаря этому американская нефтяная компания "Конестога" получала возможность не оплачивать сверхурочную работу по воскресеньям.

Кто-то постучал, выбивая мотивчик: "Стрижка и бритье, шесть монет". Дверь открылась, и лицо Солдата прояснилось при виде лысого ухмыляющегося человека.

— Локаторы у тебя, что ли, Смитти? — сказал он, пока вошедший брал себе банку пива. Смитти пил стоя. Янтарная банка казалась блеклой на фоне его темного обветренного лица.

— Сегодня гуляем? — спросил Смитти.

— Без меня. — Солдат равнодушно взбалтывал пиво.

— Я думал, никто не откажется.

— Индюк тоже думал.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать девять. А что?

— Видел в пятом бараке комнату Джекки?

Солдат кивнул.

— Обои видел? Компания разрешила ему их наклеить. А выпить он тебе налил? А что скажешь про бар? Убрал бутылки подальше, да? Всему свое место, и все на своих местах. Говорил он это?

— Пиво у меня есть, и есть место, где его выпить.

— Знаешь, до чего ты докатишься? До фарфоровых статуэток.

— А в городе чего хорошего?

— Не сидеть же всю жизнь в бараке.

— На Цистерновой улице я ничего не терял.

— Сегодня же суббота.

— Ну а мне что?

— Пойдем погуляем.

— Чтоб было о чем рассказать потом ребятам?.. Пили пиво, трепались про футбол.

— Пойдем со мной.

Смитти допил пиво. Солдат смотрел, как он открывает дверь.

— Пошли.

— Выйду, когда мне надо будет на девятую буровую вышку.

Оставшись один, он продолжал неподвижно сидеть на кровати, уставившись на стол, который шатался из-за того, что одна ножка была короче. Потом посмотрел на ящик для обуви, с царапинами от тупоносых ботинок прежних жильцов, на кондиционер, висящий высоко на стене, куда кто-то привязал обрывок шнурка. Через решетку кондиционер гнал летом холодный, а зимой теплый воздух. Сейчас шнурок не шевелился. Он вышел, и дверь захлопнулась.

В Доме ветеранов шумная сквернословящая толпа, толкаясь, двигалась из бара в зал. Купив билет у рыжего парня с веточками красных сосудов на щеках, Солдат в нерешительности стоял у стола. Он почувствовал, что его легонько потянули за рукав, будто малек тронул наживку. Обернувшись, он увидел воспаленные глаза, непривычно сияющие сейчас на знакомом

измученном лице. Это был Кофилд, шофер из бригады Хови, в которой Солдат был рабочим. Криво усмехнувшись, Кофилд обнажил желтые от табака зубы.

— Пошли, — сказал он.

Они свернули в сторону и стали проталкиваться к большому залу, где перед сценой, занавешенной американскими флагами с золотой бахромой, стояли складные стулья. В помещении было душно от табака, лосьона для бритья, вина, сапожного крема, дезодоранта. Первые ряды уже заполнили, главным образом солидные лысеющие мужчины. Пока Кофилд и Солдат проталкивались, в зале поднялся человек с редующими волосами — он явно старался привлечь внимание Солдата и манил его пальцем. Солдат узнал служащего отдела кадров, который, когда он поступал на работу, монотонным голосом наставительно объяснял ему, что если он проработает двадцать пять лет, то получит часы с эмблемой компании. Многозначительно поглядев на Солдата и не отвечая на брань пробравшихся в середину, Кофилд выбрал места у прохода. "Чертов Кофилд", — ругнулся про себя Солдат, но тут же успокоился. Бригадир Хови сказал как-то: "Оставьте в покое Кофи" — и пояснил: "У него неприятности дома".

Кто-то в зале застучал ногами. За ним остальные. Кто-то стал хлопать. Вскоре все хлопали и топали, и Солдат тоже бил ногами, радуясь, что он вместе со всеми. Он вообразил себя снова в армии. У него сейчас свободное время, и он сидит себе, предвкушая выпивку и другие удовольствия. Он посмотрел на соседа. Всегда замкнутое лицо Кофилда оживилось, словно кто-то снял с него маску, а колени поднимались и опускались в общем ритме. Кто-то в форме встал у ступенек на сцену. Солдат узнал Маккейба, монтажника с вышки. Шум усиливался. На Маккейбе, который обычно ходил в синем комбинезоне, была пилотка с пришпиленными на ленточках медалями. Они были не похожи ни на одну из тех, что Солдат видел в Третьей дивизии. Маккейб стоял выпрямившись, живот свисал над поясом. Не обращая внимания на крики, он отпивал большими глотками из фляги, которую достал из заднего кармана. Грозный, уверенный, на лице сосредоточенность и властность.

Верхний свет погас. В проходе послышался шорох. Кто-то пробежал мимо, легко взлетел по ступенькам и встал на сцене, улыбаясь под лучами прожектора. В руках банджо, на голове соломенная шляпа.

— Привет, ребята, — сказал он совсем так, как в передаче музыки вестернов, которая каждое утро в шесть начинала греметь по баракам. — Вы все слышали про бурильщика, который искал работу... — он закатил глаза, — дурильщика?

Рассказав анекдот, конференсье начал брэнчать на банджо и петь о паренке из захолустья, который завербовался в армию и отправился в Париж. Он не успел допеть, как кто-то крикнул:

“Заткнись!” Крик поддержали, все хлопали и свистели, пока конференсье, помахивая рукой, не исчез со сцены.

Смех прекратился, все заерзали, вглядываясь в проход. Сидящий перед Солдатом парень, потный и краснолицый, поспешно глотнул из стакана, словно больше такой случай не представится. По виду в стакане было неразбавленное виски. Сигареты, сигары были на время забыты. Стали оглядываться. Зал с удовлетворением вздохнул. Солдат увидел в проходе женщину. Она ступала медленно, горделиво и смотрела прямо перед собой, будто пробуя перед зеркалом улыбку. Никто не ерничал, разговоры и шутки стихли. Каждый из всех сил старался вести себя благовоспитанно. Одета она была так, будто тут был холл дорогого отеля.

Платье подчеркивало пышные формы. Она шла, почти касаясь мужчин, сидящих около прохода. Солдат взглянул на Кофилда. У того на виске вздулась жила, лоб блестел от пота. Женщина прошла мимо. Солдат успел рассмотреть ее. Лицо казалось маской: тонко нарисованные линии бровей, губы ярко накрашены, неровный нос той формы, что заставляет людей дышать через рот. Он пожалел, что не пришел пораньше, чтобы успеть пропустить пару стаканчиков. Почему-то эта женщина напомнила ему ошипанную курицу. Она взойшла по ступенькам, не обращая внимания на неловко протянутую ей руку Маккейба, которая небрежно скользнула по ее бедру. Маккейб воспользовался своим положением стража сцены.

В свете прожектора женщина расцвела, грим больше не бросался в глаза, стал естественным, подчеркивая пухлый чувственный рот. Луч осветил высокую грудь, округлость бедер. Женщина преобразилась, стала настоящей красавицей. Солдату захотелось забыть свое первое впечатление. Включили проигрыватель. Волнующий голос запел: “Мне нечего дать тебе, кроме любви, моя крошка”. Женщина гибко задвигалась под музыку. Она сняла длинные белые перчатки, не без изящества стянув их с кончиков пальцев, и медленно отбросила в сторону. Затем последовал зеленый шелковый шарф. Она кокетливо провела им сначала по груди, затем за спиной. Музыка заиграла быстрее. “...брильянты, что и в Вулворте не купишь...” Не спеша, хотя темп музыки нарастал, одна рука женщины грациозно скользила по юбке, другая по блузке. Юбка упала, затем блузка. Черные кружевные трусики подчеркивали белизну ног. Теперь она кружилась быстрее, в темпе музыки. “...тот счастливый день ты не забыла...” Мужчины подались вперед. Звуки становились пронзительными, было очень накурено. Женщина отвернулась, а когда снова стала лицом к залу, на ней уже не было лифчика.

Сцену осветила фотовспышка. Музыка смолкла. Женщина стояла у самого края сцены, не делая никаких попыток скрыть наготу. Она подбоченилась, выпрямилась, выпятила грудь.

— Мальчишки, — сказала она. — Так дело не пойдет.

Голос у нее оказался гнусавым. Долгожданное зрелище скрылось.

— У нас тут не обычное шоу. А если пленка попадет в чужие руки? Мне есть что вам показать, но сперва отдайте пленку.

Толпа громко зашумела. Во втором ряду поднялся броско одетый человек в роговых очках. Вид у него был нагловатый, в голосе чувствовалась издевка. Слов его Солдат не мог разобрать, но, судя по акценту, это был житель Нью-Йорка. В зале зашумели еще более гневно. На фотографа посыпались ругательства.

Женщина что-то сказала, но слова ее потонули в общем шуме. Она слегка повела плечами, так что грудь ее заколыхалась. Соски были прикрыты крошечными нащепками.

Солдат присмотрелся к человеку с фотоаппаратом. Он был невысокий, грузный. По бледному лицу видно, что ему не приходилось работать на солнце. Клетчатый пиджак, бабочка. Легче представить такого на бегах. Его явно подсадили специально, чтобы подогревать интерес зрителей. Фотограф сделал вид, что спорит. Женщина снова передернула плечами. Лысые, занимающие первый ряд, еще больше потянулись вперед. Солдат посмотрел на Кофилда. Тот сидел оцепенев и разинув рот.

Толпа облегченно и радостно вздохнула. Женщина сделала шаг назад и засветила пленку. Весело заиграла музыка, все возликовали, а женщина изящно убрала с груди одну из нащепок.

“Если уж им так приспичило, что бы не сходить в публичный дом в Вайкики?” — думал Солдат.

Он хотел было положить руку на плечо Кофилда, но удержался и, напрягая голос, чтобы перекричать гремющую музыку, сказал:

— Пойду выпью чего-нибудь.

Кофилд только посмотрел ему вслед.

В баре было пусто. Кто-то прислонил к бутылке детскую грифельную доску с надписью: “Бар закрыт на время представления”. На стене за стойкой висели в рамках фотографии пожилых ветеранов в пилотках с приколотыми медалями. Из зала донесся восторженный рев. Минуту он раздумывал, не нарисовать ли на доске схему дороги в Вайкики. Но передумал и направился к выходу.

В ночной темноте мигали вычурные изогнутые буквы неоновой вывески “Рикки”.

Войдя в помещение, Солдат едва подавил в себе желание тут же уйти. Длинный бар совсем не походил на место, где люди пьют вино. Высокие табуретки, обтянутые красной кожей, скорее напоминали рекламу клубов для миллионеров. Несколько столиков прятались в тени. В углу виднелся камин.

Чувствуя себя не в своей тарелке, Солдат сел у стойки. Запаха пива даже не ощущалось, не слышалось, как в “Рогах

лося", ни ругани, ни громкого разговора, ни смеха. Только от затененных столиков, за которыми сидели посетители, доносился легкий шум, напоминающий звук хорошо налаженного мотора.

Появился представительный бармен.

— Что прикажете?

— Пива.

Он смотрел, как наполняется высокий стакан. Бармен подвинул его, не пролив ни капли. Солдат пил, глядя на бутылки, выстроившиеся на низких полках под зеркалом. Потом уловил какое-то движение. Официантка с конским хвостом отошла от столика, где в одиночестве сидела худенькая брюнетка. Он поймал устремленный на него взгляд. Она не сразу отвела глаза. "Цены здесь, как видно, повыше", — подумал Солдат, а потом решил: "Была не была" — и, чувствуя нервное возбуждение, направился к столику.

— Выпьем?

Она повела плечами. Официантка вернулась с ее заказом. Он заплатил, бросив на поднос двадцать долларов.

— Ваше здоровье, — сказал он, подняв стакан.

Он смотрел, как она пьет, и не чувствовал прежней уверенности. Не похожа на девиц из Вайкики. Хотя бы потому, что не слишком накрашена.

— Часто тут бываете? — спросил он.

— Бываю, когда захочется.

Она отвернулась, и теперь он мог лучше рассмотреть ее лицо. Легкий грим не скрывал оспинки, глаза смотрели настороженно.

— Не припомню, чтобы видела вас когда-нибудь, — сказала она.

— Иногда захожу.

Она помолчала.

— На какую нефтяную компанию работаете?

— Как вы догадались? Обычно меня спрашивают, сколько я зарабатываю.

Она изучающе поглядела на него.

— Ты из Небраски?

— Из Северной Дакоты.

Он улыбнулся.

— Почему уехал?

— Армия. — Солдат выпил. — И потом, я всегда хотел быть нефтяником.

Ему понравился собственный ответ.

— Ну а ты?

— Какой вариант тебе больше по душе? — Стакан она держала в правой руке, положив левую на стол. Кольца на безымянном пальце не было, но на коже как будто остался от него след. — Как меня обещали устроить в кино или как мы продали ферму и уехали, бросив матрас на крышу машины?

— Наверно, тот, где про матрас.

— Лучше не спрашивай.

— Тогда про ферму.

— Какая там ферма! До шестнадцати лет я думала, булочки растут на деревьях.

Ее настороженность как будто проходила.

— А тебе не хочется назад на ферму? — спросила она. — Не вспоминаешь свои польнные штаты, когдамотришь на польнь?

Он покачал головой, не зная, что сказать.

— Подожди здесь, — сказала она, коснувшись его руки. На ногах она стояла нетвердо. — Не уходи, если ничего не имеешь против оклахомцев.

— Один из моих лучших друзей был из Эл-Рино.

— Вот и хорошо.

Он смотрел, как она пошла к двери, на которой было написано "Ева". Фигура у нее была что надо, тонкая талия, округлые бедра. Хоть будет что рассказать ребятам. Он заметил бармена, стоявшего в углу, как арбитр.

— Кто эта девушка?

Бармен смотрел подозрительно, как будто решая, следует ли отвечать.

— Винни? Она замужем. Муж у нее так себе, шестерка. Зовут Кофилд.

Бар, мягкий свет, разноцветные бутылки с красивыми наклееками вдруг показались Солдату сплошным обманом.

Солдат положил пять долларов на стойку.

— Пусть выпьет за мой счет, — сказал он, направляясь к дверям.

В конце улицы перед "Черной кошкой" брезжил свет. Ночное кафе казалось заброшенным. Для тех, у кого работа кончалась в полночь, было еще рано, а те, кто заглядывали сюда после того, как закрывались другие места, еще не появились.

За окном Солдат заметил ночную официантку, Митси. Она хлопотала у стойки, ставя на поднос стаканы, подготавливая все необходимое. Кто-то напивался в барах, где-то шумели компании, а она работала в субботнюю ночь так же, как всегда, далекая от всеобщего возбуждения и веселья. Она отбросила прядь волос, упавшую на лоб. Не раздумывая, он вошел.

Митси как будто обрадовалась ему. Он смотрел, как она готовит кофе. Все у нее было под рукой: чашка, блюдце, сливки. Ему вспомнилось, что так же хозяйничают на кухне женщины у него дома. Может быть, подумал Солдат, она из такого же небольшого местечка, что и он. Она принесла кофе и улыбнулась ему, и Солдат вспомнил, что ребята говорили, какая она смазливенькая, ничего такого особенного, но из постели не погонишь. Некоторые пытались приударить за ней, полагая, что, раз она в разводе, у них больше шансов на успех. Однако даже Турку,

который уверяет, что в Южной Америке перед ним никто не устоял, ничего не обломилось.

Солдат вдруг ощутил радость, что у Турка ничего не вышло.

Митси кончила свои хлопоты, но не отошла, будто ожидая, не заговорит ли он. Солдат почувствовал себя неуверенно. Он всегда ходил со Смитти или другими ребятами, умеющими обхаживать женщин.

— Откуда ты, Митси? — спросил он.

— Из Юты, из маленького городка, о котором ты, наверно, и не слышал. А что?

— Так просто. Не собираешься возвращаться?

Митси улыбнулась. Она посмотрела на часы, было половина одиннадцатого.

— Через полтора часа я заканчиваю, — сказала она. — Приду домой. Лягу. Завтра встану рано, у меня выходной, уберу в доме и, может быть, свожу Донни на представление. Скучать по Юте у меня нет времени.

— Когда-нибудь я с радостью уберусь отсюда, — сказал Солдат.

— Ну уж, не говори мне, что тебя тянет домой.

— В Северную-то Дакоту? — засмеялся Солдат, вспоминая, зачем он сюда приехал.

Митси поставила солонку и перечницу на поднос. Он допил кофе и встал, выуживая мелочь из карманов.

— Берегись фальшивых монет, — сказал он, расплачиваясь.

Выйдя на улицу, он оглянулся. Митси стояла у кассы, протирая салфеткой стекла очков. Она почувствовала его взгляд и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ, и на душе у него потеплело от возникшей между ними близости. Без очков, улыбающаяся ему вслед, Митси показалась Солдату женой, которая, накинув халат на ночную рубашку, провожает утром мужа на работу, стоя на пороге теплой кухни, и такой ее видит только он один.

Он пошел вниз по улице и неожиданно почувствовал себя страшно одиноким. Шум из "Рогов лося" разносился по всей улице. Подойдя ближе, он учуял сильный запах пива, услышал пьяные выкрики, хохот. Минуту поколебался и вошел.

НЕФТЯНОЙ БОГАТЕЙ

Бернард никогда и думать не думал, что можно разбогатеть. Разве что кто-то возьмет и всучит тебе кучу денег, как в телевизионной передаче, которую он как-то видел. Он даже знаком не был ни с одним богатым человеком. Просто в голову не приходило, что можно что-то там предпринять, чтобы разбогатеть. Если ты родом из Катл-Фиш, штат Монтана, не кончил школу и не умеешь зарабатывать на жизнь ничем, кроме нефти,

которой перепачкан с головы до ног, а богатые люди никогда в жизни не захотят пачкаться, то не похоже, что ты когда-нибудь будешь кататься как сыр в масле.

Подкрепившись бутербродом с ветчиной и куском яблочного пирога, который ему завернули в мебелирашках у миссис Макконки, Бернард растянулся в тени под грузовиком и волея-неволей услышал разговор между сварщиком Бартоломью и инженером-стажером Фрогаттом. Фрогатт работал с бригадой Хови, потому что они сейчас переставляли котлы. В компании только одна вышка работала от пара, да и то не все время, и котлами занимались редко. Вот где-то наверху и решили, что Фрогатту будет полезно ознакомиться с этим делом во время шестимесячной стажировки.

— Молодому человеку с перспективами, вроде вас, — важно рассуждал Бартоломью. — Или одному из этих парней. — Он махнул рукой туда, где в тени грузовика лежал Бернард. — Разбогатеть очень просто.

Бартоломью был в хорошем настроении, что с ним случалось нечасто. Обычно во время работы он только и делал, что ругался с рабочими и издевался. А Фрогатт лишь начинал стажировку и не знал, какая скотина этот сварщик. Еще утром он завел с Бартоломью разговор, в какой клуб вступить, и говорил так, будто членство в клубе положено ему по штату. Он бы не отказался от клуба молодых людей, где можно было бы немного выпить, не вызывая ненужных толков.

Еще он дал понять, что водить компанию с Солдатом или с кем другим из "Рогов лося" не собирается. Бартоломью был польщен, что кто-то просит у него совета, тем более стажер. Он посоветовал Фрогатту клуб "От двадцати до тридцати", в котором когда-то состоял сам и где, по его словам, можно было хорошо выпить.

Фрогатт заинтересовался. Постепенно они разговорились, и во время перерыва на обед Бартоломью решил дать новый совет, на этот раз о том, как разбогатеть.

Для октября день был необычно теплым. Бернард обязательно вздремнул бы после еды, но вместо этого он почему-то стал прислушиваться к разговору. Беседа становилась все интересней.

— Делать деньги — штука нехитрая, — объяснял Бартоломью. — На худой конец можно просто класть их в банк.

Бернард не мог понять, для чего это нужно. Ни он, ни его знакомые никогда не имели счета в банке. Он плохо представлял себе, что это за штука — банковский счет. Единственное, что он понимал, — это то, что можно отложить часть жалованья. Ну а дальше? Видимо, при необходимости можно брать из банка какую-то сумму. Но какой смысл, если вся зарплата и так у тебя на руках? Он хотел было спросить об этом Бартоломью, но передумал, боясь, чтобы тот не высмеял его как безмозглого дурака.

— Но еще лучше, — продолжал Бартоломью, — вкладывать деньги в акции компании. Сейчас они идут примерно по сорок долларов. Вчера, к закрытию биржи, стоили сорок один и три восьмых. Земли у компании хватает. Вот если бы им наткнуться на такое место, как залив Прудхоу, то акции сразу подскочат.

Бернард думал, что только богачи и те, за кого они захотят поручиться, могут покупать акции.

— Если бы вы вложили пару сотен десять лет назад, — говорил Бартоломью, — то сейчас у вас было бы в двадцать раз больше.

Фрогатт кивал. Вид у него был сонный.

— Другой вариант: вы узнаете, где собираются строить плотину, и покупаете там участок на берегу. Проходит время, и вас одолевают просьбами продать его в десять раз дороже.

“Неужели все так просто, как говорит Бартоломью”, — думал Бернард.

— Вы знаете грека с Цистерновой улицы? У него там парикмахерская, так он говорил, что, не поспеши он продать акции нефтяной компании Конестога, был бы сейчас миллионером.

Бернард не мог поверить, что парикмахеру разрешили покупать акции. Может, он когда-то там работал, был каким-нибудь начальником, хотя не похоже...

— А что, грек работал в Конни? — спросил он.

Бартоломью раздраженно посмотрел на него.

— С чего ты взял, что он там работал?

— Но ты же говоришь, что он купил акции.

— Ну и что из этого?

— Разве каждый может купить акции?

— Черт возьми, — насмешливо сказал Бартоломью. — Чтобы купить акции, не нужно работать в компании. Даже такой олух, как ты, может их купить. Покупай каждый месяц, попридержи их подольше, и скоро эта чертова компания будет у тебя в кармане.

Бернард решил не замечать враждебного тона. Слова Бартоломью открывали перед ним грандиозные возможности. Он вообразил себя богатым, в шикарном автомобиле, все готовы ему угождать, нет отбою от женщин. Это была волнующая, потрясающая картина. Как же он не знал до сих пор, что это так просто?

Вечером после следующей полочки Бернард отправился в центр города к зданию, где находился Первый национальный банк Уилсона. Он еще ни разу там не был. Его чек лежал в нераспечатанном конверте. Он надеялся, что кто-нибудь из приятелей увидит, как он входит в банк. Никто не обращал на него никакого внимания. В банке стояла длинная очередь, и было похоже, что люди из очереди подходят к любому окошку, у которого появляется свободное место. Он встал в очередь, успокаивая себя тем, что имеет такое же право находиться здесь,

как и всякий другой. Стояли в основном женщины. Мужчин было совсем немного. И среди них не было никого из тех, кто перелезал через задний борт грузовика после семичасового гудка.

Вскоре дошла очередь и до него. Женщина в одном из окошечек поманила его рукой. Он, смущаясь, подошел к ней.

— Слушаю вас, — сказала она.

Он достал чек.

— Я бы хотел положить деньги в банк.

— Банковская книжка с собой?

— Банковская книжка?

Она удивилась:

— У вас есть счет в нашем банке?

— Нет, — сказал он. — Я только хочу положить в банк деньги.

Она призадумалась.

— Значит, вы хотите открыть у нас счет. Пройдите к мисс Карлайл. Она вам все объяснит. — И она указала на одно из окошечек. — Желаю удачи, — сказала она на прощанье.

Он смутился.

— Я вас слушаю, — сказала женщина из другого окошка.

— Я бы хотел положить половину этой суммы в банк, — сказал он, показывая ей чек.

Она понимающе кивнула.

— Хотите открыть счет?

Он почувствовал себя более уверенно. Он заработал эти деньги и может делать с ними все что захочет.

— Да, — сказал он, удивляясь собственной храбрости. — Я хочу открыть счет.

— Какой именно счет?

Уверенности как не бывало.

— Сберегательный или текущий счет?

Он и не подозревал, что счета бывают разными.

Женщина казалась дружелюбной.

— Если вы положите деньги на сберегательный счет, — объяснила она, — и не будете их забирать, мы вам будем платить пять с половиной процентов. — Она сделала паузу. — А если просто заведете чековую книжку, то процентов, разумеется, не будет.

— Я бы хотел открыть сберегательный счет.

За кого она его принимает? Он же сказал ей, что хочет копить. Для чего же тогда, по ее мнению, класть деньги в банк?

Все дело заняло несколько минут. Он заполнил бланк, отдал ей чек, а она дала ему маленькую книжечку, на которой было напечатано его имя. Сдачу она дала долларами, очень тщательно пересчитав их, совсем не так, как это делалось в "Рогах лося", где ты никогда не мог с уверенностью сказать, что тебя не надули.

Довольный собой, Бернارد вышел из банка, надеясь, что кто-нибудь из ребят увидит его. Но поблизости никого из них

не было. Он направился к "Рогам лося" выпить кружку пива, одну-единственную, так как теперь он копил деньги. По дороге его осенила замечательная идея. Если перейти в общежитие компании, то можно будет сэкономить деньги, которые он платит миссис Макконки. Комнаты в общежитии маленькие, молодые ребята там не живут, но зато там бесплатно. К тому же миссис Макконки стала совать нос не в свои дела. На нервы действует, как она следит за каждым его шагом и выясняет, в какое время он вернулся вечером. Если экономить, сбережения будут расти, и он быстро разбогатеет. У "Рогов лося" Бернард увидел Боггса и поприветствовал его. Тот работал в бригаде Блэки. Боггс как будто уже основательно накачался. Бернард хотел было небрежно вытащить свою банковскую книжку, но передумал. Боггс может решить, что он задается. "Теперь, — думал он, — нужно будет купить акции и богатеть за счет Конни".

Первая неделя экономии прошла легко, Бернард не ощутил никаких лишений. Один вечер у него ушел на перевозку вещей в пустую комнату общежития. Еще за один он устроился там окончательно. Железная койка в общежитии была не так удобна, как кровать миссис Макконки, но это не казалось ему слишком большой жертвой на пути к богатству. На следующий день бригада работала сверхурочно, заделывая течь и исправляя повреждения на дороге. Бернард не любил сверхурочную работу, но теперь обрадовался, потому что она сулила новые деньги. Он так ликовал, что Солдат обозвал его ослом, а Ларки, который раньше не обращал на него внимания, спросил, какой бес в него вселился. Он собрался было рассказать им, в чем дело, но, поразмыслив, передумал. Они только посмеются. Но он почувствовал некоторое превосходство над ними, когда в день полочки Солдат заговорил о картах, другие стали подшучивать над Ларки, который охмурял вдовушку, а его самого дразнили тем, что по субботам он ходит в "Сеновал" на танцы.

Большую часть денег Бернард положил в банк. Выходя оттуда, он почувствовал, что он у цели. Субботу он провел в клубе компании, играя в бильярд с Вилли, помощником крановщика. В клубе, кроме них, никого не было. Несколько раз в течение вечера Бернарда кольнуло желание пойти в "Сеновал" и закадрить какую-нибудь девушку с фермы.

Перемену в нем первым заметил Ларки. Они как раз доели бутерброды и растянулись в тени возле цистерны, и Ларки, посмотрев на него, сказал: "Тобой интересуются в "Сеновале", Бернард. Где же, говорят, старина Бернард. Его не видно уже несколько недель".

Бернард подозрительно посмотрел на Ларки, стараясь понять, шутит тот или нет. Решив, что Ларки любопытствует искренне, он важно сказал:

— Я начал новую жизнь. В "Сеновале" неплохо, но у меня есть дела поважней, чем разглядывать пену в кружке.

Разговором заинтересовался Солдат, и Бернард решил, что ему лучше помалкивать.

— Ты что-то задумал? — спросил Солдат, не слишком дружелюбно взглянув на Бернарда.

— Я уже сказал, что у меня дела поважней, чем разглядывать пивную пену.

Вот бы Солдат и Ларки удивились, узнав, что он собирается разбогатеть. Он даже пожалел, что не было при себе банковской книжки.

— Ну-ну, — снова начал Ларки. — А что ж ты больше не заглядываешь в кегельбан?

— У меня другие дела.

— Например? — Солдат смотрел так, будто вот-вот бросится на него.

Бернарду стало немного жаль их всех.

— Я тут поразмыслил кое над чем. — Он решил не замечать усмешку Солдата. — Не собираюсь я вкалывать тут всю жизнь. У меня на примете кое-что получше.

— Что ж, к примеру?

— А то, к примеру, что счет у меня есть. Деньги у меня в банке. Какой смысл все тратить?

Он чуть было не сказал, что хочет разбогатеть.

— Мистер Ротшильд, — презрительно сказал Ларки. — Значит, собираешься богатыньким стать?

— Поправочка, — сказал Солдат. — Это ты банкирам помогаешь разбогатеть. Ведь не бывает бедных банкиров, правда?

— Как только накоплю еще немного, сразу куплю акции Конни.

Бернард сразу же пожалел, что раскрыл свои планы. Любой из них мог спросить, как покупают акции, а он не знал, что ответить. Пришлось бы признаться, что ему ничего не известно насчет акций. Приобретение пая в компании было пока еще мечтой.

Он вздохнул с облегчением, когда никто ни о чем не спросил.

— Значит, собираешься стать большим начальником, будешь нами командовать? — спросил Ларки.

В его голосе Бернарду почудилось восхищение. Раздался гудок к работе. Кофилд, который всегда вел себя так, будто ему не терпится начать, гремел инструментами в грузовике. Остальные поднялись и разошлись по своим местам. Бернард с облегчением вздохнул. Прилаживая разводной ключ к двухдюймовому ниппелю трубы, через которую переработанная нефть должна была течь в цистерну, он снова ощутил некоторую жалость к товарищам.

Он был доволен собой, но все же решил не пускаться больше в разговоры о своих планах. Ему уже казалось, что Хови смотрит на него по-другому, как-то подозрительно. Да и другие

вели себя с ним не так, как прежде. Как будто он уже стал богачом.

Снова наступил день получения. Бернард опять положил деньги в банк, хотя уже начал сомневаться, стоит ли овчина выделки. Он скучал по "Сеновалу" и думал о том, как проходят теперь субботние вечера, есть ли там сейчас красивые девчонки. Стараясь выкинуть "Сеновал" из головы, он ходил в клуб, пытался найти что-нибудь почитать. В одном из журналов ему попала на глаза реклама, на ней был изображен мужчина с удочкой, а рядом красивая девица в бикини, не спускающая с него нетерпеливых глаз. "На его месте могли быть и вы, — говорилось в рекламе. — Этот человек вложил свои деньги в строительство курорта, и сейчас ему больше не надо работать".

Бернард стал читать дальше и узнал, что за небольшой первый взнос в 300 долларов (дальнейшие условия можно было уточнить потом) дальновидный делец может получить пол-акра земли в Сьерра-Лагуне, высоко в Калифорнийских горах; ценность этой земли обязательно вырастет, и кто своевременно купил ее, сможет потом продать с большой выгодой. Реклама призывала немедленно высылать чеки. Выбрав момент, когда его никто не видел, Бернард вырвал нужную страницу, чувствуя жалость к Ларки и Солдату, которые в погоне за удовольствиями упускали такие возможности.

Следующим вечером Бернард поговорил с Тони, который когда-то работал на нефтяной вышке и часто околачивался в клубе. Он хотел разузнать, о каких таких чеках идет речь в журнале.

— Послушай, — сказал Тони, — раз у тебя деньги в банке, никакого именного чека тебе не нужно. Возьми бланк и напиши свое имя.

Он даже дал ему пустой бланк. Бернард вписал сумму и отправил чек в тот же вечер. Разбогатеть оказалось даже легче, чем он предполагал.

На следующий день он заглянул в магазин подержанных автомобилей. Если уж человек решил стать богатым, ему нужна машина получше. Торговец оказался очень любезным и дружелюбным — совсем не таким, как он представлял. Ему вполне можно было доверять. Да и то, что Бернард работал на нефтяных разработках, явно произвело на него впечатление. "Для такой работенки нужны настоящие мужчины", — сказал он.

Бернард почувствовал себя польщенным.

— Я откладываю деньги в банк, — сообщил он. — Старый "додж". — Он посмотрел на машину, которая стояла на улице. — Вполне надежная машина, но я хотел бы кое-что другое.

— Пришла пора купить что-нибудь получше, — сказал торговец. — Понимаю, что вы имеете в виду. Когда весь день работаешь с нефтью, хочется в свободное время водить красивую

машину. — Он оценивающе поглядел на Бернарда. — Вы женаты?

Бернард отрицательно покачал головой.

— Кажется, у меня есть то, что нужно, — доверительно сообщил торговец. — Это машина не для женатого человека, которому нужна машина, чтобы возить жену и детей, она несколько спортивного типа — для того, кто еще не женат.

Это был "бьюик" с откидным верхом. Бернард мог видеть свое отражение в капоте.

— Чистенькая как стеклышко. Я не стану врать, что ее бывший владелец был школьным учителем. Но он уже не работал и тщательно следил за машиной. Она в хорошем состоянии.

Бернард представил, как приезжает в "Сеновал", когда там собирается народ и начинают играть скрипки. Все обратят на него внимание, когда он подъедет в такой машине.

— Знаете что, — сказал торговец, понизив голос, и посмотрел на маленькое здание, в котором находилась контора. — Цена по прейскуранту три тысячи девятьсот девяносто девять долларов, но я сам работал нефтяником. Я знаю, что это такое. И вот что я сделаю. Я отдам вам ее за две с половиной тысячи, но заберу вашу машину, и часть заплатите сразу. — Он с минуту помолчал. — Никогда не видел, чтобы машина так подходила человеку.

Здорово повезло, решил Бернард, что он понравился продавцу. Не к каждому так отнесутся. В конторе торговец вытаскивал контракт, который Бернард охотно подписал, соглашаясь выплачивать по четыреста долларов в месяц, пока машина не будет полностью выкуплена.

— А на те деньги, которые я получу с вас сейчас, вы выпишете чек? — спросил продавец.

Бернард кивнул.

— В каком банке у вас деньги?

— В банке Уилсона.

— Первый национальный банк Уилсона. Надежный как скала. А чековая книжка у вас с собой?

— Чековая книжка?

Надо непременно сказать об этом в банке. Как вышло, что они забыли об этом?

— Ну не беда. У меня как раз есть бланки этого банка. Я только его заполню, вы подпишете, и все будет в порядке.

Бернард поспешно подписал бланк, пока торговец не передумал. Ну и удивятся же ребята в бригаде, когда он подъедет в "бьюике".

— Отличный мясной фургон, — сказал Солдат про машину. — Жаль, у меня нет денег, чтобы купить такой же, — съязвил он.

Бернард вдруг рассердился.

— Хочешь купить такую же, бери пример с меня.

— Научи, Бернард! — Ларки был весь внимание.

— Я коплю деньги. — Бернард не мог удержаться, чтобы не-

много не похвастаться. — А потом я понравился парню, который торгует подержанными автомобилями, и он уступил ее по дешевке.

Солдат захохотал.

— Может быть, познакомишь меня? Мне тоже нужна машина.

— Не будешь просаживать все деньги в "Рогах лося", — сказал Бернارد, — сможешь приобрести такую же.

Он был доволен тем, что произвел впечатление на Ларки.

К концу недели возобновились обычные шуточки о том, что Солдат напьется, Ларки умаслит вдовушку, а Клейтон просидит все свободное время за чтением.

— А ты будешь изучать курс акций? — спросил Ларки.

— Или прогнозы на урожай, — добавил Солдат.

Умывшись, Бернارد поехал в гараж компании, где разрешилось мыть машины тем, кто жил в общежитии. Он надел высокие резиновые сапоги и тщательно вымыл свой "бьюик". Вытирая его, он заметил, что краска в некоторых местах сошла, а одно крыло было помято, как после аварии.

В общежитии он нашел под дверью письмо из банка. Строго официальное письмо. В нем что-то говорилось о деньгах, снятых с его счета для уплаты по чекам, и содержалась просьба при первой возможности зайти для переговоров с управляющим. Бернارد перечитал письмо, стараясь вникнуть в его смысл, но это оказалось ему не под силу. Начинало темнеть. Стоял прохладный вечер. В такие вечера, когда едешь мимо полей, чувствуешь свежесть и чудесный запах скошенной люцерны. Он отложил письмо, переоделся и отправился в "Сеновал". На кой черт нужно богатство, если от него нет никаких радостей?

Выехав на дорогу, он опустил верх автомобиля и стал обгонять другие машины, испытывая большое наслаждение. Поля действительно пахли люцерной. Жизнь была прекрасна!

Он уже снимал ногу с педали акселератора, готовясь лихо подкатить к автомобильной стоянке, когда перед ним неожиданно выскочила машина. Бернارد нажал на тормоз, но другой шофер не видел его, и пришлось свернуть, чтобы избежать столкновения. Он вывернул руль так резко, что оказался там, где лежали огромные бревна, обозначающие границы стоянки. И напоролся прямо на бревно. Машина накренилась, раздался душераздирающий скрежет, будто из нее вырывали все ее механические внутренности. "Бьюик" замер, поднимая тучи пыли. Люди бежали посмотреть, что произошло. Бернارد выбрался и увидел, что какой-то мужчина смотрит под машину.

— Боже! — воскликнул тот, покачивая головой. — Надеюсь, у вас есть страховка?

— Страховка? — тупо переспросил Бернارد.

МЭРИ МАКЭНЕЛЛИ

Мэри Макэнелли (Mary McAnally) — молодая поэтесса, основатель небольшого прогрессивного издательства "Кэрдинел Пресс", изучала африканистику, зарабатывала на жизнь, служа секретаршей, машинисткой, официанткой, поварихой, подрабатывая в летние месяцы на ферме; кроме того, занималась журналистикой, играла в театре, позже преподавала. Она активно выступает в защиту мира. Живет в городке Талса, штат Оклахома, с двумя приемными детьми африканского происхождения. Ее стихи печатались во многих журналах — "Саут энд уэст", "Уэстиген ревью", "Оуквуд", "Уэст-энд" и др. Публикуемые стихи взяты из первого авторского сборника, "Станем рекой" ("We Will Make a River"), 1979. В 1982 г. вышел второй поэтический сборник Макэнелли, "Строки, рожденные в душе зверя" ("Poems from the Animal Heart"). Поэзии Макэнелли присуща страстность женщины-матери, выступающей от имени своего народа в защиту будущего человечества.

ПЕРЕСМЕШНИК

— У некоторых поэтов вся жизнь обман, —
сказала она. —
Как с ними быть?

В ответ он сказал:
— Но песенка пересмешника
тоже обман.
А ведь этот обманщик
многим из нас
помогает услышать
пенье жаворонка на ранней заре.

— Выходит, надо смириться с обманом,
чтоб жить с песней? —
спросила она.

— Нет,
если он унижает тебя
больше, чем возвышает песня.

— А если обман
так меня оглушит,
что я не услышу песню?

— Вот заладила — "обман, оглушит"!
Слушай — и все поймешь.

ДЕНЬ САМОУБИЙСТВА КИТОВ

Естественная смерть —
величайшая редкость
в естественных природных циклах.

Жак Кусто

Крохотный паразит,
который пока
не виден ученым даже под микроскопом,
внедряется в уши самки кита,
так что она,
не слыша самца,
слепо устремляется к ближайшей земле,
выкидывается на берег
и немедленно погибает.

Китята рвутся
к умирающим матерям,
испуганно бьются в руках людей,
которые стараются сбросить их в воду,
или растерянно
плещутся на мели,
зовя, зовя, зовя матерей.

Мы смотрим с тобой цветной телевизор.
Я плачу. Мне страшно. Всю ночь напролет
я вижу сны о разлуках и войнах
и детях, лишенных материнской любви,
а утром, проснувшись, пишу этот стих.

АМАДО МУРО

Амадо (Антонио) Муро (Amado (Antonio) Muro) — прозаик, представитель литературы американцев мексиканского происхождения. В девятилетнем возрасте переехал с родителями в городок Эль-Пасо, штат Техас. Работал грузчиком на "Пасифик фрут экспресс". Умер в 1971 г. в Мексике, в городке Парраль, штат Чиуауа.

Один из американских критиков так отзывался о его творчестве: "Никто еще не создавал более впечатляющих, более проникновенных картин из жизни юго-западных чикано, чем Антонио Муро. Никому не удавалось так точно воссоздать сущность бытия тех, кто живет или жил в Хуаресе и Бейкерсфилде". Избранные рассказы Муро были опубликованы отдельным изданием в "Торн спринг пресс" в 1977 г. Рассказ "Мария Тепаче" ("Maria Terache") входил во многие антологии литературы чикано.

МАРИЯ ТЕПАЧЕ

В Сан-Антонио я спрыгнул с товарного поезда южной тихоокеанской линии возле рельсов, которые расходились паутиной от поворотного круга. Было около пяти вечера. Небо закрыла темная пелена грозových туч. Я устал, замерз и хотел есть. Я надеялся перекусить здесь и двинуться дальше в Хьюстон.

Невдалеке я увидел покрашенный в белый цвет мексиканский магазинчик с покрытой гофрированной жестью террасой, которую поддерживали покосившиеся подпорки. В витрине были выставлены кочны салата и кофе в бумажных мешках, возле двери стоял проволочный ящик с апельсинами. На террасе перед дверью лежала собака. Я вошел и попросил у полной седой мексиканки с круглым лицом и доброжелательным взглядом корочку хлеба.

— Мать божья, да я только что накормила четырех бродяг. Где же на всех напасешься? — сказала она.

Я потянулся к ручке двери, но она меня окликнула. Она пристально глядела на меня, ее темные глаза смягчились.

— Эй, земляк, какая муха тебя укусила? Тебя словно в воду опустили, — сказала она. — Ладно, я тебя не корю. Когда редко видишь хлеб — не до смеха.

На пожилой женщине был голубой балахон до колен и грубые крестьянские башмаки. Она сказала, что ее зовут Мария Родригес, но все называют ее Мария Тепаче, потому что она любит пить тепаче¹ с кусочками ананаса. Мы разговорились. Она оказалась родом из штата Дуранго. В ее родной деревушке, сказала она, жили одни старики да козы.

— Я родилась в доме, где ослы спят рядом с христианами, — сказала она. — Я умею читать и ем ложкой, но я не из тех женщин, которые живут в роскошных домах. В нашей деревне из саманных хибарок жизнь была простой — свет давало лишь небо, а воду — река. И мой отец не мог купить мне конфет или вырядить в шелка.

Она полюбопытствовала, из каких я краев. Мой ответ удивил ее.

— Черт возьми! Вот бы никогда не подумала, — сказала она.

Я спросил почему, и она улыбнулась.

— В Чиуауа говорят не так быстро, как наши из Дуранго. А ты говоришь быстро и с акцентом.

Она надела передник, завязала сзади большой бант и повела меня на кухню, где протекала вся ее жизнь.

— Входи, — пригласила она. — Будь как дома.

Ее обитель ничем не отличалась от домов бедных мексиканцев, которые я видел в Техасе. Железная печка со сломанными ножками, постель с тиковым матрасом, набитым соломой, стул с прямой спинкой, облешее зеркало, стол, покрытый облупленной клеенкой с грязными краями. За печкой в углу стоял старый буфет с незакрывающимися дверцами. Голый пол кухни сверкал чистотой, стены были выкрашены, и их единственным украшением была криво висевшая картинка из календаря. В углу на крошечной полке стояла икона в позолоченной рамке с изображением пресвятой девы Марии и распятого Христа.

На окне висели занавески из мешковины, и донья Мария объяснила, почему она еще давным-давно повесила их. "Если на окнах нет занавесок — не надейся, что из детей выйдет толк", — сказала она.

Она зажгла керосиновую лампу и поставила на стол. На дворе начал накрапывать дождь. Ветер задувал в окно капли дождя, пламя лампы металось, покрывая копотью стекло. Скоро оно совсем почернело и только у самого фитиля пропускало свет. Донья Мария прикрыла окно, подошла к лампе и сказала, что она вдова. А потом стала рассказывать о муже, а у самой глаза закрыты, голос дрожит. Собака, которая прежде лежала на террасе, теперь свернулась в клубок на полу возле кровати и поглядывала на хозяйку.

— В деревне-то муж дома строил, а сюда приехал подзара-

¹ Слабоалкогольный напиток из кактуса и специй.

ботать на ореховых фабриках, — сказала она. — Я не из тех мексиканских жен, из которых можно веревки вить, но мы были счастливы, и я не боялась, что он найдет себе красавицу на стороне. Он не умел ни читать, ни писать, а я окончила четыре класса и научила его счету, чтобы он считал звезды с нашим первенцем. Когда мы поднакопили денег, он захотел вернуться домой. "Марисита! Если мы вернемся домой, я клянусь взобраться на руках на Попокатепетль¹, — говорил он мне. — Поедем в Пуэблу², что за вулканами, купим землю возле кукурузных полей и агав. Купим трех коров, и каждая будет давать по три литра. Наши дети никогда не будут побираться".

Глаза ее потеплели от нахлынувших воспоминаний. Она сказала, что в устах ее мужа "Пуэбла" звучало как название скалочной страны, а его уговоры были слаще пения марьячис³.

— Сейчас со мной остались лишь мои грехи, — сказала она. — Хлопочу в лавке и латаю одежду внукам.

Она замолчала и снова закрыла глаза, словно пряча их. Ее губы застыли, но вот она провела рукой по лбу, словно прогоняя сон. Ее седые волосы растрепались и казались тучкой, наплывшей на лицо, и я понял, что она старше, чем мне показалось сначала. Она взглянула на меня, улыбнулась, ее темные глаза были спокойны и задумчивы.

— Мои внуки не такие темные, как я, — сказала она. — Они все умеют говорить на языке гринго.

Я повесил свою мятую шляпу на гвоздь, вбитый возле кухонной двери, и вышел во двор наколоть дров. Двор был завален коробками и ящиками, чахлая трава пробивалась сквозь желтый песок. Возле колонки рос приземистый тополь, и душистый горошек обвивал забор. Тополь уже пожелтел, но кое-где сохранились зеленые листья. Порывы ветра раскачивали ветви, сухие листья падали и смешивались с пылью.

Я наколот дров, вынес ведра с золой и принес воды в цинковом ведре. Донья Мария тем временем чистила сковороду и рассказывала о своем отце.

— Он был пастух и добрый человек. Про деньги он и думать не думал, ничего они для него не значили, — сказала она. — Не потерял ягненка да удалось разок-другой спуститься в Сантьяго Папасквиаро послушать народный ансамбль на площади и звон церковных колоколов — вот он и рад и счастлив.

Когда я переделал все дела, уже смеркалось и дождь лил вовсю. Сверкали молнии, их яркие вспышки покрывали шрамами небо, и я видел огни Сан-Антонио, золотистые, как свет керосиновых ламп. Дождь сек желтую полосу света, струящегося из окна кухни, а автомобильные фары горели самоцве-

¹ Гора в Мексике.

² Штат в Мексике.

³ Ансамбль народной музыки.

тами, когда автомашины медленно двигались через высокий мост. Казалось, свет их фар притягивает капли дождя, как мотыльков. Я посмотрел на огни, но дождь уже промочил меня насквозь, и я вошел в дом.

Донья Мария как раз накрыла на стол. Она промокнула пот на лбу передником и начала обмахивать лицо. Потом показала на тарелку разогретых бобов с рисом и яйцами.

— Ешь, — сказала она. — Сразу повеселеешь. Ешь. Когда голоден, хорошие мысли в голову не придут.

Я жадно накинулся на еду. Донья Мария смотрела на меня, спрятав под передник скрещенные на груди руки. Она, казалось, хмурилась, только в уголках губ затаилась улыбка. Собака сидела возле ее босых ног.

Когда я поел, она протянула мне сумку для покупок. Там были тамалес¹, нопалитос², бутылка из-под молока с чампур-радо³ и стопка кукурузных лепешек, завернутых в кусок газеты. Отказывался я не слишком решительно, и она заставила меня взять сумку.

— На сегодня мне хватит, на завтра и послезавтра тоже, — сказала она. — А там бог пошлет.

Я поблагодарил ее, она улыбнулась своей мягкой улыбкой и сказала, чтобы я каждый день молился святой Люсите.

— Пусть индейская богородица, которая говорила с Хуаном Диего, защитит тебя и оградит своим покровом, — сказала она, когда я покидал дом. — Пусть она поможет тебе разбогатеть, чтобы ты пил шоколад с молоком и ел кукурузные лепешки, поджаренные на сливочном масле.

¹ Кусочки мяса в тесте из кукурузной муки.

² Сорт мягкого кактуса, который едят в отваренном виде.

³ Напиток из смеси молока и кукурузной муки.

ЭЛИС УОКЕР

Элис Уокер (Alice Walker) — род. в 1944 г. в штате Джорджия. Прозаик, поэтесса, эссеист, участница движения за равноправие американских негров. Уокер входит в ряд известных в литературном мире США имен. Поэтесса Дениза Левертов говорит об Уокер: "Я всегда с нетерпением жду каждой новой книги Элис Уокер... поэтическая речь Элис Уокер несется потоком печалей, любви, надежд со стремительностью газели или антилопы, неизменно находящей себе путь среди острых скал".

Уокер выпустила несколько поэтических сборников, в том числе: "Однажды" ("Once"), 1968, "Мятежные петунии" ("Revolutionary Petunias"), 1974, и "Что ж, прощай, Уилли Ли!.." ("Good Night, Willie Lee..."), 1979, — из последнего взяты предлагаемые стихи. Ее перу принадлежат три романа и сборники рассказов. Писательница постоянно колесит по стране, живя попеременно то в Нью-Йорке, то в Сан-Франциско. Внешне аскетичный лаконизм ее поэтических строк неизменно несет с собой волну теплой женственности, которой, однако, не чужды резкие, отчаянные всплески.

ПРИЗНАНИЕ

До самой весны
я мучительно ощущала
нож,
приставленный
к сердцу.
Презирая ложь,
я твердила правду:
— Правда убивает меня.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

В последний раз,
измучившись от любви,
я убила любимого.

Но это было в иной стране,
где жарче климат,
и в древние времена.
А смерть доказала,
что он, как и все они,
случайный чужак.

ПАМЯТИ МАЛКОЛЬМА¹

Те, кто теперь твердят,
будто они знали тебя,
творят в своих рассказах совершенно
мертвый от совершенства образ —
или из-за того, что при жизни
не были с тобою знакомы,
или из-за того, что забыли
живые особенности "святого":
стремление утвердить, например,
совершеннейшую
свободу для женщин,
смелость беспечно смеяться
и шумно радоваться шуткам.

В ОТВЕТ НА ТВОЙ НАИВНЫЙ ВОПРОС

Люди охотились и рыбачили
для людей,
работали в полях и на фабриках
для людей,
свергали научные —
от лица людей —
и церковные догмы
во имя людей,
сражались и умирали
ради людей,
но чурались обычной
любить человека.

И вот приближается народный суд.

¹ Малкольм Икс (1925–1965) — видный деятель негритянского движения 60-х годов, оратор и публицист. Застрелен расистами.

НАГИЕ МАРШИ

Феномен семидесятых

Студенты
из кожи вон лезут,
уверая, что они никого
не обидели
и, самое главное,
не испортили
чью-нибудь
собственность, —
с укоризною
бредут по стране,
уязвимые,
как жертвы насильника,
после десятилетней травли
законами, —
не менее голые,
чем творимое ими
десятилетие.

РАЗГОВОР С МОЕЙ БАБУШКОЙ, СКОНЧАВШЕЙСЯ В БЕДНОСТИ

Когда Ричард Никсон заявил: "Я не жулик"

Я кончу свой путь не богаче тебя,
без просторной веранды твоей мечты,
где, обмахиваясь веером, пресыщенная богатством,
я сидела бы над бокалом с холодным коктейлем.
Ты скажешь:

— Увы, моей внучке не удалось
пробиться наверх
в этом мире белых.

Но я и от роду, и по жизни не из жулья,
мой отец никогда не числился президентом
чего бы то ни было, а, как председатель
местного Общества каменщиков, платил
всего-навсего двадцать пять центов в неделю,
да зато уж и не увиливал от уплаты взносов.

Ну а мечта у меня тоже, конечно, есть,
хотя и я могу сбиться с пути,
возжаждав уютный коттеджик у моря

с грудю драгоценностей в туалетной шкатулке...
Да нет, мне удастся преодолеть эту жажду,
и, если наш мир не развеется прахом,
я открою двери и ближним и дальним —
даже живя в единственной комнатухе, —
вот такая у меня мечта.

Поэтому я учусь
беспощадно сражаться
с древней и жадной, как похоть, жаждой,
ограничив свои ежедневные нужды
исключительно тем, что мне нужно для жизни,
учусь
чутко
чувствовать красоту,
вспоминая
твой неподвластный
бедствиям облик.

10. 1. 73

Я часами рассматриваю свою правую руку,
прикидывая, пристрелит ли она судьбу,
обзывающего нас обезьянами на суде,
и добавит ли мышьяка губернатору в кофе
или смертельного яда — тебе.
Не надо напоминать, я знаю:
это давние и банальные размышленья
каждого поколения гонимых —
а их двадцать пять миллионов, —
нежданно вступающих в жизнь.
Нет, мне совсем не легко
писать о давно известном
каждому,
и все же мне кажется,
что я оправдала мертвых.

ПРОЩЕНИЕ

Всякий раз, посылая ее
за линейкой и глядя потом
на покорно протянутую ладошку,
крохотную и пухлую, я вдруг чувствую
резкий удар по своей,

вздрагиваю и становлюсь моей матушкой,
собирающейся меня наказать
так же, как я — свою дочь.
Всматриваясь в собственное лицо —
детское, потерянное, печальное, —
я прощаю себе прегрешения,
которые могла совершить,
и мне хочется, чтобы я всю жизнь
могла себя так же прощать.

ЧТО Ж, ПРОЩАЙ, УИЛЛИ ЛИ, ДО СВИДАНИЯ НА РАССВЕТЕ

Глядя в последний раз
на лицо
скончавшегося отца,
матушка
степенно промолвила —
без улыбки, горечи, слез:
— Что ж, прощай, Уилли Ли,
до свидания на рассвете, —
и я поняла, что в прощенье
кроется
исцеленье
всех наших ран:
надежда
на возвращенье
и встречу.

РЕБЕККА РЭНСОН

Ребекка Рэнсон (Rebecca Ranson) — молодая писательница, драматург, общественный деятель. Уроженка города Чапел-Хилл (штат Северная Каролина). Ее биография изложена в интервью, которое мы публикуем. Пьеса-монолог "Преступница Энни" была опубликована в журнале "Киндаро" в 1981 г. Пьесы Рэнсон ставятся не только у нее на родине, но и в других штатах, и в частности в Нью-Йорке.

ПРЕСТУПНИЦА ЭННИ БРАУН

Звать меня Энни Браун.

Ни одна живая душа не знает, сколько мне годов.

Да нет, сама-то я знаю, только, когда я родилась, меня нигде не записали, так никто и не знает, сколько мне годов.

Чепуха какая-то!

Жаль, вы не были на суде, когда мое дело слушали.

Цирк, да и только!

Мама родила меня дома, вот меня никуда и не записали.

Защитник и судья стоят себе препираются, а я возьми да скажи им: "Эй, послушайте, если меня нет, ну, если я нигде не записана, отпустите меня, и дело с концом". Они юмора вот совсем не просекли. Защитник на меня разозлился и велел замолчать.

Маме точно бы моя шутка понравилась, это ведь она меня родила и вырастила, а эти говорят, может, я живу под чужим именем и я вроде бы не я.

А я им говорю: ни черта подобного.

Я уже взрослая и сама себе хозяйка.

Жаль, там мамы не было, мы бы с ней потешились; да она осталась дома с Маськой.

Вообще-то ее звать не Маська, она Дениза, это мы с Джессом зовем ее Маськой.

Так вот мама была дома с Денизой.

Я не хотела, чтобы моя малышка видела свою мамочку в наручниках и все это дерьмо.

© by "Quindaro", 1981

Джесс на суде тоже не был.
Он загремел в мужскую каторжную тюрьму
на четыре года за ограбление.
Он два года отсидел, да все время ввязывался в драки,
ну они и решили, что он или сволочь, или псих.
А может, он и вправду такой стал?
Я, до того как очутилась в тюрьме, и не знала, как тюрьма может
человека искалечить.
Джесс мне рассказывал,
да только и представить нельзя, до чего люди
доходят, что им только не выдается в тюрьме испытать,
пока сам через это не пройдешь.
Не то чтобы на свободе легко,
а в тюрьме трудно,
нет, так не скажешь,
только в тюрьме
я сплю в огромной камере,
там по двадцать коек на каждой стороне.
Одной никогда не побыть,
никогда.
Все время что-то случается,
то ночью к тебе кто-то пристанет,
никогда не бывает тихо,
вот в одиночке тихо,
так тихо,
слышно, как муха пролетит.

Я здесь уже шесть месяцев.
И называют меня теперь — заключенная Энни Браун.

У меня двое маленьких.
Денизе почти четыре.
Ей третий пошел, когда ее папа в тюрьму попал.
Скоро ей четыре, а у нее и мама и папа в тюрьме.
Бедняжка.
Моя мама очень хорошо ухаживает за Маськой,
да ведь мама старая и не любит шума и возни,
а Маську на месте никак не удержать.
Она из моего живота прямо-таки выскочила.
Отчаянная девчонка!
Носится как ветер!
Когда Маське было три,
мы с ней остались вдвоем, я болела, и меня уволили.
Вот и пришлось подать заявление на пособие.
Я думала, ответ никогда не придет, и вдруг на день
рождения Маськи по почте чек приходит.
Мы купили жареных цыплят
и большой мешок угля;

и наелись, и натопили, чуть не растаяли от жары.

Вот это была жизнь!

Должно же людям везти хоть когда.

Я Маське об Джессе все время говорила, хотя, я думаю, она не очень понимает, что такое "папа", она ведь еще маленькая.

И на свидания к Джессу мы всегда ходили, да только свидания разрешали два раза в месяц, и Маська успевала его забыть; ему хотелось обнять ее покрепче, а она пугалась и плакала.

Я по глазам видела, что Джесс обижается, но Маська-то была не виновата.

Такая малютка, как Маська, конечно же, в тюрьме робела.

Я это хорошенько запомнила.

Я не хочу, чтобы ее сюда приводили на свидания.

Меня потянет ее приласкать,

а она завопит и станет называть свою бабушку мамой.

Я уже видела такое,

видела, как у женщин сердце разрывается, когда их детишки, их плоть и кровь, сидят и говорят: "И вовсе ты не моя мама".

Я пишу Маське письма, правда, пишу я неважно, да и Маська не может отвечать.

Иногда звоню домой.

Маська не любит говорить по телефону, так я все больше мою маму об ней расспрашиваю.

Один раз Маська спрашивает: "Ты в тюрьме?" А я ей говорю:

"Да, детка, пока еще в тюрьме, но скоро буду дома". А она говорит: "Когда "скоро", мама?" Тут я и расплакалась. "Скоро" — это только через год. Какое уж тут "скоро".

Забудет свою маму моя маленькая.

Хотите верьте, хотите нет — ненавидеть себя начинаешь.

А мой мальчик вообще никогда не узнает, что я его мама.

Я отдала его в приют, может, его кто усыновит.

Когда Джесса забрали, я уже носила его второго ребенка.

Но мы с ним ничегошеньки про это не знали.

Понимаете, месячные были как полагается, только вот тошнило меня.

Мне на работу, а я и шагу не могу сделать. Сэм меня уволил, сказал, что лечиться мне надо.

Я посуду мыла и работала подавальщицей у Сэма в этой его помойке, он ее рестораном называл.

Пошла к врачу, а он говорит, что у меня будет ребенок.

Я думала, что умру прямо у него в кабинете.

Джесс в тюрьме, я без работы, а врач говорит, что мне надо побольше лежать. Он сказал, иди туда, где пособия дают, они, мол, тебе помогут, пока ты не можешь работать.

На черта мне их пособие!

Видела я этих надутых дамочек из бюро, где пособия дают, нос свой всюду суют, а так себя держат, будто испачкаться боятся. Может,

там у них есть и хорошие, но мне попалась такая змеюка. Я пришла с Маськой и говорю ей, что мне нужна помощь, а эта змеюка спрашивает: "Где отец этого ребенка?" Я отвечаю: "Ее папа в тюрьме". А она: "Миссис Браун, вы когда-нибудь пытались устроиться на работу?"

Она это так сказала, будто что-то очень новенькое только что придумала.

Тогда я ей говорю, что меня уволили, а она глаза закатила, вздохнула и спрашивает, не потому ли меня уволили, что я плохо справлялась с работой, а потом ответа не дождалась — и пошла, и пошла, что она вот работает каждый день и всегда вовремя приходит на работу, потому ее никогда не выгонят.

Ну я разозлилась!

Со мной так никогда еще не говорили, разве только мама, и очень мне надо слушать всю эту дребедень от какой-то белой цацы. Тут я ее перебила и говорю, что я беременная, и у меня неприятности с женскими делами, и мне надо из-за этого в постели лежать.

Пришлось ей заткнуться, потом она ухмыльнулась и спрашивает, кто бы это мог быть отцом ребенка.

Я на нее так посмотрела.

Я знаю, я могу так посмотреть, что чертям тошно станет.

"Мой муж,

Джесс Браун.

Мой муж и папа этой малышки.

Он отец ребенка, которого я ношу здесь, в животе!!!!"

Маська заплакала.

Я при ней никогда на людей не кричу.

А эта дамочка мне говорит, что в общественном месте надо разговаривать тише.

А потом быстро так сказала, что они все про меня проверят, и если я их не обманываю, то, "вероятно", буду иметь право на пособие.

Мы оттуда вышли, и Маська плачет, и я сама плачу.

Два месяца мы ждали пособие, и каждый раз как я встану, так со мной опять что-то неладное.

Мы с Маськой переехали к маме.

А что было делать?

У мамы, конечно, места маловато, но она никогда не жалуется.

Она верующая.

Мама мне всегда говорила: пути господни неисповедимы.

Я-то уж давно про бога все для себя решила. Если он и есть, так он, извините, просто-напросто подлый и дела ему никакого нет до цветных.

Маме я никогда не говорила, что я думаю про бога.

Она бы сказала, что это грех — так думать.

Мама уступила нам свою кровать.

Она бы ни за что не позволила, чтоб ее внучка в такой холод осталась без жилья.

Ну Джесс мне и выдал, что я пошла за пособием.

Он говорит, пособие тебе не нужно, у тебя муж есть, а я ему и говорю: "Детка, что-то я не вижу мужа, где он, хотела бы я знать?" а он как заорет, что он мне враз морду набок свернет, если я еще слово скажу.

Мне казалось, что хуже тех дней в моей жизни не будет.

Не знала я тогда, чего еще ждать.

А потом Джесс мне и говорит, что это не его ребенка я ношу, не может это быть его ребенок, он-то ведь в тюрьме.

Вот тогда я поняла, что он сдвинулся.

Уж Джесс меня хорошо знал, он знал, что я не стану путаться с другими.

Я Джессу досталась чистая. Он все знал, но из-за

этой тюрьмы у него шарики за ролики зашли. Это, он объяснил, все потому, будто многие в тюрьме рассказывают, что их жены по улицам шляются, а им врут.

А я ему сказала: "Джесс Браун, если я буду шляться по улицам, ты об этом первым узнаешь".

В тот день Джесс пожалел, что такое сказал, а потом, через две недели, все по новой начал.

До того разговора Джесс хорошо со мной обращался и говорил всегда, как он обо мне скучает.

Я очень об нем скучала.

Бывало, прижмусь к нему и сплю, а он меня рукой обнимет; я и потом, бывало, лежу и представляю, что он меня рукой обнимает. А что толку? Чего нет — того не будет.

Мне лишь бы какой мужик не нужен, мне нужен мой муж Джесс.

Посетители в нашей забегаловке стали ко мне приставать, интересоваться, как, мол, трудно без мужа, когда он в тюрьме, трудно его ждать. И Сэм туда же. Джесс бы его убил, если б

узнал. Непросто было с Сэмом, он же мой хозяин, и я все отшучивалась, что такого мужа, как Джесс, можно и подождать.

Я тогда была молодая, чистая была и глупая.

Джесс совсем от меня отказался.

Тюрьма его поломала, а он на мне выместил.

Обидел меня.

Есть такие раны, что не заживают, хоть и знаешь, откуда они взялись.

Я с ним хорошо обращалась.

Я любила его...

Мы жили счастливо, до того как он в тюрьму попал. А там он изменился.

Я ведь тоже могу измениться — вот чего я боюсь.

Неужто и меня тюрьма доконает?

Черт, да и я уж теперь не та, что была, я уже изменилась.

Одна надежда — досижу срок, выберусь отсюда да забуду все к чертям собачьим.

Все забуду, и Джесса забуду.

Я его и видеть-то больше не хочу.

Когда Маська родилась, я так надеялась, что еще рожу мальчика, чтоб у Джесса был сын.

Сына ему, как же, пусть он в аду сгорит на медленном огне!

Он так и не признал своего сына, а сын-то его.

Мне бы, дуре, и в голову не пришло шляться по улицам.

Я ни с кем никогда не была, только с Джессом.

И мальчика тоже хотела назвать Джессом.

Только получилось, что я его вообще никак не назвала.

Женщина из приюта сказала, так будет лучше и чтоб я совсем забыла моего ребеночка.

Пришли и забрали его, а ему всего-то два денька было.

Забрали моего малыша.

Сыночка Джесса.

Ребеночка моего отдала своими руками, еще и бумагу подписала, и вот пришли и забрали его.

(Плачет.)

Так и не пойму, правильно я сделала или нет.

А чего было делать-то?

Малышу мама нужна, а какая я мама, когда мне отсюда нескоро вернуться.

А тут еще моя мама заболела, и Маську у ней взяли и отдали моей сестре в Алабаме, а у ней без того своих трое. Она Маську приютила и сказала, что уж никак не может еще и сыночка моего взять.

Вот и пришлось его отдать.

Я сестру никогда не любила. Она всегда задавалась и капризничала.

Не хочу я, чтоб Маська у ней жила. Мама тоже к сестре переехала.

Я как позвоню туда, сестра только и орет на меня, что я ворую у кого попало, а ей за меня расхлебывать.

Я туда часто не звоню.

Ведь и ей нелегко.

Как мама уехала, ко мне на свидания и ходить-то некому...

До того как Джесс попал в тюрьму, я и понятия не имела о травке да таблетках, в общем, наркотиках всяких.

Бутылочку винца мы, правда, иной раз покупали.

Я выпью немного — и хоть песни пой.

Джесс, бывало, меня дразнил: дай мне только понюхать из бутылки — и я уже пьяненькая.

Как же мы хорошо жили... В молодости, когда много чего не знаешь, беззаботно живешь, счастливо.

Тут, в тюрьме, от спиртного там или травки и таблеток радости мало, но по крайности забыться можно. Пока придумаешь, как чего достать, да с кем поделиться, и как уберечься, чтоб тебя не засекли, глядишь, на пару дней и отвлечешься от мрачных мыс-

лей. Вот так время и убьешь, пока все устроишь. Да ждешь чего-то особенного. Бывает, что потом ну никакого удовольствия. Ждешь себе ждешь чего-то необыкновенного, а как получишь, чего добивалась, так никакой от этого радости.

Если притвориться психом, в лазарете тебе бесплатно дают лекарство, аминазин называется, от него балдеешь. Но тут есть женщины, которые и взаправду сходят с ума. Вот, к примеру, Мэри, она как уборную вычистит, так никому не разрешает туда войти. Подойдешь а она прямо в драку. Мэри послали к врачу из психушки, и он сказал, что ей побольше аминазина надо дать, тогда она заткнется. Теперь она даже щетку в руках держать не может.

И уборная у нас теперь всегда грязная.

Не дай мне бог тут с ума сойти!

В городской тюрьме, где я суда дожидалась, в камере со мной была Джеки. Она ~~все~~ говорила, что ей срок отсидеть — что раз плюнуть. Я-то знаю, почему она так говорила. Как надзиратели придут, она расстегнет блузку и прижмется к решетке. Так надзиратели потом обязательно вернутся: кто пачку сигарет ей принесет, кто котлету. Я тогда думала, что ничего в жизни хуже не бывает. Сейчас бы я и глазом не моргнула, если б такое увидела. Чего только человек не сделает, чтоб выжить.

Сколько же тут всякого народу набралось. Я и тех беру, что здесь работают. Добровольцы тут всякие шляются, помогать ходят, видите ли, да только сытый голодного не поймет. Каких только религий тут нет, все как на подбор, и некоторые думают, если делать вид, что ты уж очень верующий, так тебя домой отпустят. Эх, да на что тут можно надеяться. Некоторые так сильно хотят домой, что кажется, все скажут и сделают ради этого.

Я работала на кухне вместе с одной женщиной, и вот она все говорила, как ей здесь неможется. Однажды она возьми да и отруби себе палец, чтобы ее забрали в больницу в городе: хоть за ворота выбраться и чуток вольного воздуха глотнуть...

Вот лежу ночью на койке и все думаю об этом воздухе; говорят, как за ворота выпустят, ты дышишь, дышишь и не можешь надышаться, и воздух там за воротами совсем иной. Ненавижу ночи. В той вонючей кухне и то лучше. А в камере и ночью покоя нет. Кто стонет, у кого кошмары, кто храпит... Внизу, у подножия холма, тут у нас домики есть для тех, у кого скоро срок кончается. У каждого своя комната. И вот некоторые по ночам спать в этих домиках не могут, привыкли к шуму, а там так тихо — аж страшно. Скоро мое дело будут пересматривать, так, может, и меня в домик переведут.

(Тюремный священник сообщил Энни, что умерла ее мать.)

Мамочка... нет, нет, она не умерла!

Не могла она умереть.

Моя мама жива. Я ей сейчас позвоню. Вот увидите, она жива.

Не говорите мне, что моя мама умерла.

Нет, она не умерла!

У меня папы не было, а мама у меня есть, и она меня любит. Письма она мне шлет нечасто. Писать-то она не больно умеет.

Когда мы тут рождество праздновали, мама мне торт принесла с шоколадным кремом. Она знает, что я люблю такой торт. Она часто болеет, мамочка моя, но она не умерла. Нет, нет, моя мамочка не может умереть. Она меня не бросит, она знает, что она мне нужна; а как же Маська там у моей сестры будет без нее?..

О господи!

О-о-о-о...

Моя мама умерла, а меня на похороны не пускают, говорят, что я еще не так хорошо себя веду, как полагается, и в другой штат меня повезти нельзя.

Кто же меня теперь любить-то будет?

(Энни смеется.)

Я вам еще кое-что хочу сказать.

Знаете, перед вами не я, перед вами по-тен-ци-ал, скрытые возможности. Это во мне, оказывается, скрытые возможности! Так говорит мисс Эстелла Джонс: у меня потенциал. И, мол, что я решу делать со своей жизнью, то и сделаю.

А я ей в ответ — ну, я решила уйти отсюда вот сей момент.

Она смеется.

Я-то совсем серьезно сказала.

Если у меня до черта этих скрытых возможностей, их же надо раскрывать, времени у меня нет валандаться тут у вас в тюрьме.

Правду говорю.

Куда здесь приткнешь этот потенциал, на что его употребишь? Разве что узнаешь, до каких сумасшествий люди доходят и чего только не выкаблучивают, чтоб друг другу досадить, а ведь все потому, что им самим на себя наплевать.

Я когда сюда попала, так ничегошеньки не понимала.

А теперь мне порой кажется, что я все-все на свете знаю.

Нет, не то, что в книгах пишут, а про живых людей, про жизнь.

Я спросила мисс Эстеллу Джонс, что мне делать с этим потенциалом, а она говорит, что я прирожденный руководитель. Ну хорошо, мисс Джонс, говорю я, чем же мне руководить и как использовать этот мой потенциал?

Это, конечно, приятно, когда про тебя такое говорят, но, честное слово, я понять не могу, что бы это значило.

Выбрали меня старшей по камере, вот и приходится ко всем придирааться и заставлять работать. У меня есть справка об незаконченном среднем образовании, так что мне разрешили поступить на курсы в технический институт. Самое лучшее в этих курсах то, что два раза в неделю я выбираюсь отсюда, хоть и возят нас в тюремном автобусе. Когда едешь в этом

автобусе, люди на тебя так смотрят, будто ты прямо сейчас передрежешь им глотку или сумку сопрешь, а мужики так пялятся, словно тебя только вчера на панели видели. И все же, раз уж есть у меня какой-то потенциал, чтоб на жизнь зарабатывать, надо его использовать.

И мне и Маське это пригодится, когда я отсюда выйду.

Мне еще повезло, другим гораздо хуже; некоторые ни писать, ни читать не умеют, вот им и приходится весь срок посуду мыть да полы драить. Противно об этом говорить, но есть тут женщины, которые вообще никогда ни о чем не задумываются. Только и чешут языками и сплетничают да лезут в чужие дела. Лучше бы своими занимались. Никому до них нет дела. Никому не интересно, о чем они думают, так они ни о чем и не думают. И тошно от этого, и жалко их, и зло берет в то же время. Кляп бы им в пасть засунуть, посадить бы их минут на пять и заставить подумать спокойно, пока они еще чего не наделали. Надо пытаться жизнь свою изменить к лучшему, хотя кто знает, что лучше — быть разумным и жить правильно или всю жизнь жить в грехе и не стараться ничего изменить, — кто это знает?..

Когда я только сюда попала, мне казалось, я некоторых надзирателей ненавижу как никого. Теперь я вижу, здесь понять-то невозможно, кого любить, а кого ненавидеть. В тюрьме такой бардак, что не разберешь, кто хороший, а кто плохой.

Я с одной надзирательницей подружилась. Я сплю плохо, а она всегда в ночь дежурила в нашем корпусе, ну, мы с ней и болтали о том о сем. Кофе пили, курили и болтали о разном — ну не о тюрьме, конечно. Она мне настоящей подругой стала. Только здесь не хотят, чтоб люди дружили и чтоб у них были хорошие отношения, вот ее и перевели из нашего корпуса. У меня потенциал.

Кажется, я уже знаю, что это такое.

Это значит, я могу вынести куда больше, чем другие, прежде чем потеряю терпение и сделаю что-нибудь нехорошее.

Не бог весть что, потенциал этот, но здесь сгодится.

Я теперь поняла, что выжить можно, много есть разных для того путей.

У некоторых ума не хватает понять, что и в тюрьме можно быть человеком.

У меня мечта есть, хотя я и не Мартин Лютер Кинг¹. Жаль, конечно, что я не он. Сдается мне, что у него и вправду были

¹ Летом 1963 года Мартин Лютер Кинг произнес речь "У меня есть мечта".

всякие мечты, ну чтоб все люди хотели любви и братства, и чтоб радовались жизни, и не стеснялись быть хорошими. Я сама не знаю ни одного человека, который бы не застенялся, если его хорошим назовут. Там, где я выросла, "хороший" значило "глупый", ну тот, у кого денег нет и кто не умеет обманывать и деньги вымогать, в общем, раз хороший, значит, никудышный.

У нас считается, если ты в тюрьму попал, ничего особенного не случилось. Вот баба в борделе — это хуже, чем мужик в тюрьме. Когда баба в бордель попадает, значит, у нее нет мужика, который бы об ней заботился.

А еще я мечтаю, что мы с Маськой будем жить в хорошей квартире с отоплением и вентиляцией. Уж я там чистоту наведу! И Маська будет вся хорошенькая и чистенькая и никогда ничего не узнает про тюрьму и уличную жизнь, и никто ее не обидит. Она за себя сумеет постоять, что бы ни стряслось. Маська будет умная и красивая. И я всегда-всегда буду ее любить, а она будет любить меня. Все у нас будет хорошо. Мы переедем в другой город, и Маська забудет, что ее мама сидела в тюрьме.

Вот это мечта! Правда?

В этой моей мечте что-то неважно с любовью к ближнему, но мне некогда, мне надо нагонять, что я пропустила в жизни.

У нас тут некоторые вышли, так уже успели вернуться обратно и говорят, что все, о чем здесь мечтаешь, ерунда и никакого от этих мечтаний толку нет.

Надеюсь, это неправда.

Конечно, жаль, что я не Мартин Лютер Кинг, а всего лишь заключенная Энни Браун, но я так много думаю и мечтаю об нас с Маськой, что у меня вот нисколько нет времени обо всех людях думать.

Самого Кинга не оставили в покое, погубили его.

Чего уж я могу сделать?

С кем ни познакомлюсь, сразу спрашивают, за что я сюда попала.

А я им говорю, за то, что на белый свет родилась.

Вот и попала сюда.

Это я так, я ведь родилась, как и все другие люди рождаются.

А в том, что я сделала, сама виновата.

Это ведь я залезла в кассу в магазине мистера Майка и стащила у него сто двадцать восемь долларов. Я, и никто другой.

Я это сделала. В этом моя вина. А мистер Майк сообщил про меня в полицию, а он меня знает с детства. Меня арестовали. И просидела я три месяца в городской тюрьме, пока ждала суда. А потом меня судили и дали срок. И вот я здесь, так-то! Так кто я, преступница или нет? Какое уж тут может быть сомнение.

Я в тот день много чего понаделала.

Наорала на дамочку из бюро пособий, когда она сказала, будто ей очень жаль, что у моей дочки воспаление легких, а еще опять спросила, точно ли Джесс Браун отец моего ребенка — я его тогда еще носила, — потому что Джесс Браун ей сказал, что это не его ребенок.

На Маську накинулась, когда она разлила апельсиновый сок, а моя мама треснула меня, потому что я Маську отшлепала, а я посмела сказать моей родной мамочке, что ненавижу ее за то, что она меня родила на белый свет, и что черной гольтьбе несчастных да нищих плодить не надо. Виновата я, что обидела мою мамочку и отрещивалась от моего народа и кричала, что лучше б мое дитя умерло у меня в утробе. Потом понабрала где попало таблетки и выпивку и наглоталась всего этого, чтоб не побояться войти в магазин мистера Майка да спереть деньги из кассы, а ведь я понимала, что он меня знает с детства, а потом в мою сторону и смотреть не захочет; я понимала, что он вызовет полицию, хотя, честно говоря, надеялась, что он этого не сделает. Только я домой добралась, тут полиция, а моя мама сразу деньги им вернула и сказала, что ей не надо чужого, того, что ей не причитается.

А я ей говорю, тебе, мама, много чего причитается из того, чего у тебя нету. Она заплакала и все спрашивает у господ Иисуса, чего она такого плохого сделала. Тогда я ей говорю, что не у господ надо спрашивать, а у меня. Тут я ей опять сказала, что она не имела права родить меня. А она говорит... "но ведь я тебя люблю. Ты моя доченька".

И вот я здесь.

Осталась я одна, и мамочки моей нет в живых, только и есть у меня что моя маленькая.

Вот я перед вами, заключенная Энни Браун.

Преступница Энни Браун.

Энни Браун.

ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОС. *Когда и как вы начали писать?*

ОТВЕТ. Начала писать в школе, так в классе восьмом, сочиняла стихи о любви. Это занятие мне нравилось, но до двадцати пяти лет я не написала ничего серьезного. Все не могла понять, что бы я хотела сказать людям.

ВОПРОС. *Кто оказывал на вас влияние в детстве?*

ОТВЕТ. Мы жили в Чапел-Хилле, недалеко от центра, от нашего дома я переулками добиралась до главной улицы. Мне нравилось наблюдать за женщинами, которые продавали цветы. Они меня не прогоняли, и я сидела с ними и слушала их разговоры о жизни, о детях, о разных происшествиях. Когда я была малень-

кой, я чувствовала себя гораздо лучше в обществе взрослых. В куклы играть я не любила, просто не знала, что с ними делать, и не увлекалась детскими играми. Мне нравилось бродить по улицам или часами смотреть в окно. Цветами торговали негритянки, очень веселые женщины; с ними было не скучно...

ВОПРОС. *Помните ли вы, которая из ваших работ принесла вам самой удовлетворение, а также была понята вашими читателями?*

ОТВЕТ. Так уж получилось, что я в основном писала пьесы. Мои пьесы ставили, и они имели успех. Одну из них, которая мне самой очень нравилась, поставили студенты университета Северной Каролины и показали на летнем фестивале в Чапел-Хилле. Я страшно волновалась. Когда я писала эту пьесу, я изо всех сил подражала Теннесси Уильямсу. После спектакля какой-то мужчина встал с места и сказал: "Да, милочка, вы не Теннесси Уильямс". Это был первый суровый урок — я поняла, что не надо подражать даже тем писателям, которых любишь. Надо обрести свой собственный голос.

ВОПРОС. *Еще каких писателей вы любите?*

ОТВЕТ. Почти всех южных писателей. Я больше люблю прозаиков, Уильямс, пожалуй, единственный драматург, оказавший на меня влияние. Я много читала Томаса Вулфа, Фолкнера — классиков южной литературы. Я полагаю, что сама имею отношение к южной литературе, и придаю этому большое значение. Я никогда не думаю о себе: я американка, это для меня ничего не значит, я с детства привыкла думать: я южанка, и это действительно так.

ВОПРОС. *Скажите, что, собственно, отличает писателей Юга?*

ОТВЕТ. Писатель, который живет на Юге, совершенно необязательно южный писатель. Причастность к южной литературе определяют образ мышления, отношение к жизни, к людям... Например, я пишу исключительно о южанах, об их жизни. В детстве на меня сильно повлияло то, что по соседству с нашим домом жило много негров, общение с ними стало частью моей жизни. Я часто пишу о неграх, причем их отношение к тому, что я пишу, колеблется от интереса и поддержки до резкого неприятия. Я могу перечислить множество причин, по которым мне интересно писать именно о неграх. Язык негров необычайно поэтичен, меня привлекает то, как красиво они выражают свои чувства и мысли. Их речь приятна моему слуху, мне легко писать о них по многим причинам.

ВОПРОС. *О чем вы пытаетесь рассказать своим читателям?*

ОТВЕТ. На этот вопрос однозначно не ответишь. Ну, скажем, происходят какие-то события, и я чувствую необходимость о них написать; такого рода работа не имеет отношения к высокому вдохновению. Я не жду, когда оно на меня снизойдет, а стараюсь работать ежедневно. Вот когда я чувствую вдохновение, я пишу стихи и складываю их в ящик письменного стола.

Над всем остальным я работаю систематически. Бывает, что не дает покоя какая-то мысль. Например, я долго не могла определить, кто я — писательница или общественный деятель, и никак не могла найти возможность выразить себя в том и в другом качестве одновременно. Я наконец сумела это сделать, когда начала работать в Женском комитете по оказанию помощи заключенным. Семь лет я работала в тюрьмах на Севере и здесь на Юге, организовывала работу в тюремных мастерских и сама работала там с заключенными. Работа в тюрьмах открывала для меня совершенно новые сферы жизни, она также давала мне возможность разъяснять заключенным их права и приобщать их к общественной и политической жизни. Каждый раз я берусь за такую работу прежде всего из желания быть полезной другим.

ВОПРОС. *Как вы начали работать с заключенными?*

ОТВЕТ. Мой знакомый ставил спектакль с заключенными в Северной Каролине. Требовалась сценическая редакция пьесы, но участники спектакля сами никак не могли с этим справиться. Меня попросили помочь. Я приехала в тюрьму, и мы общими усилиями написали ужасную пьесу, все персонажи которой умирают от злоупотребления наркотиками — пьеса была о наркоманах, — так что к концу спектакля вся сцена была завалена трупами. Сразу же после этого я написала совершенно другую пьесу о тех шести персонажах из нашей совместной пьесы и подарила ее участникам спектакля. Они прочитали мою пьесу и захотели ее сыграть. Тогда мы поставили пьесу и повезли спектакль в поездку по разным тюрьмам страны; поездка длилась около двух месяцев. Вот так я начала работать с заключенными. Спектакль увидел кто-то из Нью-Йорка, и меня пригласили вести занятия с заключенными в Аттике, где я проработала полтора года. Я поняла, что заключенные на Севере лучше разбираются в политической обстановке, чем заключенные на Юге. Не следует забывать, что именно в Аттике произошло крупное политическое восстание, в результате которого заключенные добились переустройства тюремной жизни, например для них были организованы различные занятия. Те заключенные, которые посещали занятия, работали очень старательно.

ВОПРОС. *Не могли бы вы рассказать о каких-то случаях, которые принесли вам радость или, напротив, огорчение?*

ОТВЕТ. Должна сказать, что и тех и других было предостаточно. Когда мы ставили "Медею" в женской тюрьме в Рейле, женщины не захотели упрощать язык пьесы, они решили справиться с языковыми трудностями стихотворной пьесы, ничего не меняя в тексте. Участницы спектакля мучительно заучивали длинные поэтические строфы. Это была своего рода победа; нам удалось продемонстрировать, что даже такие литературно не подготовленные люди могут освоить столь сложный материал...

За кулисами во время представления в Аттике один заключен-

ный зарезал участника спектакля, тоже заключенного... Кажется, что трагедия продолжается за кулисами, только это уже была реальность... А в Дареме во время спектакля сбежала одна из заключенных...

ВОПРОС. *Вы ведь написали "Энни" несколько лет назад?*

ОТВЕТ. Я написала эту пьесу после того, как два года проработала в женской тюрьме. Мне хотелось выразить накопленный опыт в пьесе-монологе для одной актрисы. Энни не конкретная женщина, в ней слились черты многих заключенных, которых я знала.

ВОПРОС. *Как вы считаете, вы выросли как писательница за последние годы?*

ОТВЕТ. Выросла ли — не знаю, но писать стала медленней. Раньше я за день могла написать пьесу. Теперь за два-три часа пишу одну страницу. Работаю тщательней, но все еще много словна, иногда одну и ту же мысль излагаю по несколько раз из боязни быть непонятой с первого раза... Учусь редактировать... Пишу о реальных людях и событиях, поэтому многие из моих знакомых меня избегают... Люблю живой язык, мне нравится слушать, как люди разговаривают... Я уже давно думаю о том, что обязана написать о тех, кто лишен в жизни очень многого, кто никогда не путешествовал, у кого не было нормального детства. Это меня очень тревожит, так как мне кажется, что у нас в стране таких много, и не только среди молодежи, но и среди стариков и людей среднего возраста.

С годами я все больше надеюсь на то, что наша молодежь объединится и что-то предпримет. Перемены возможны. Долг писателя — очищать людские души, люди в этом нуждаются. Покажи людям их собственное горе, расскажи, в какое тяжкое время они живут. В наши дни очень много отчаявшихся людей, но я верю, что отчаяние может толкнуть человека и на позитивные поступки... Хотя, честно говоря, я далеко не всегда в это верю...

ВОПРОС. *В большинстве ваших пьес речь идет о том, как отчаявшиеся люди пытаются найти выход из безвыходного положения. При том, что вы понимаете, как много в мире отчаяния, как вам удастся не терять надежду на лучшее будущее?*

ОТВЕТ. Раньше я довольно часто бывала в подавленном состоянии, может быть, именно поэтому я наделяла своих персонажей чертами сильных людей, способных бороться и побеждать; я наделяла их чертами реальных, уважаемых мною людей... К примеру, фильмы Бергмана весьма пессимистичны; что же ему теперь, покончить с собой? Нет, нужно жить и верить в силу жизни, особенно когда в мире так много отчаяния.

ПИТЕР ОРСИК

Питер Орси́к (Peter Oresick) — поэт-рабочий из г. Форд-Сити, штат Пенсильвания; из семьи иммигрантов. "Существенно, — пишет поэт Эд Очестер о творчестве Орси́ка, представляя его стихи читателю, — что Орси́к не принял ложный принцип, свойственный многим нашим писателям: что якобы необходимо "вознестись" над своей рабочей средой... Стихи о реальных людях нам гораздо важнее, чем поэтические описания испанских пустошей или смутных томлений не поймешь о чем..." Публикуемые стихи взяты из поэтического сборника Орси́ка "История стекла" ("The Story of Glass"), 1977.

ИСТОРИЯ СТЕКЛА

Работяги на карьере, на
грузовике, на бункере, стеклянном бое, весах,
на дозаторе, у стекловаренной печи; на

варке, протяжке полосы стекломассы, прокатных
валках, на обжиговой печи — все кормят конвейер.

Они режут, обламывают, шлифуют грани,
листы, листы, листы на конвейерных лентах, комплекты,
стекло, стекло — хватаешь, тащишь,

поднимаешь, пакуешь, пинаешь, считаешь,
смотришь — они кормят конвейер.

Тянешься, хватаешь, пакуешь,
толкаешь, на подставку, на кран,
в пакеты, граненое и нет —

внизу пересчитывают, укладывают, складывают,
ярус на ярус, в ящики, чтоб

кормить транспортер. Сложного профиля,
особо срочное, тебя им кормят, и оно
идет, оно идет, а ты пакуешь, оно

идет, замирает, и ты пакуешь, оно
идет, идет, оно идет без

перерыва, оно идет бездумно, оно
идет, не ведая ни о Христе, ни о Марксе,
оно идет, оно идет, а ты пакуешь — они

кормят конвейер. Ты обиваешь ящики стальной
лентой, оформляешь, отгружаешь в Кувейт, в Детройт,

в Крестлайн в штате Огайо... Другие
получают доход; стекло идет, им кормят,
кормят конвейер. Ты ешь, спишь, во сне

отбиваешься от стекла, тонешь, теряешь
силы, переводишь дух, сатанеешь, любишь,

и кормят, и кормят
конвейер, стекло, промышленность, тебя,
беря из недр земли.

ОТЕЦ

Отец четыре года пробыл на войне,
а потом, как рассказывает мать,
все молчал. Она говорит,
что еще четыре года он вздрагивал во сне.

Два раза отец был отцом
мертворожденных сыновей,
а потом все молчал. Мать тоже
ни слова об этом.

Четырежды мой отец бастовал
и, как рассказывает мать, все
молчал. Она говорит, что компания
тогда не понимала, а теперь вот и я, что
значили в 1956-м лишние 15 центов в час
для того, кто стоял
у стекловаренной печи в августе.

Я его помню вечно усталым.
Как на гостя я смотрел на него
и ласки не ждал.

Сейчас апрель на дворе. Моя жизнь
лежит предо мною, влекущая,
как прекрасная девушка.

Сегодня, в апреле, я хочу, чтобы он заговорил наконец.
Хочу взять его старую, выдавшую виды боль.
Примерить ее на себя,
как пиджак, что тесен мне.

МЕЛЬНИЦА

1

Я на мельницу пойду.
На мельнице мельник,
у него мельница загляденье,
у него мельница хороша.
Он мою пшеничку сметет, за помол денег
не спросит: мелет, мелет.
Полнехонька корзинка,
а он все ласково глядит.
Мелет, мелет,
полнехонько решето.
И целует он меня.

2

Мой муж уехал в Америку,
а когда я приехала вслед,
его не нашла живого.
А нашла я одну его кровь
и плакала горько над ней.
— Ах, что ты, супруг мой, наделал?
— Ты, жена, скажи нашим детям-сиротам,
что лежу я в Америке. Под ее жерновами
я сплю.
Угольная пыль наши слезы вбирает,
наш смех не слышен сквозь дым.
Не скоро мы будем в своей деревеньке малой,
где словацкий наш говор был каждой травинке
родным.

ВДОВЫ ПИТТСБУРГСКОГО СТАЛЕЛИТЕЙНОГО

Мы видели мужчин, идущих
со смены, грязных,
покрытых копотью. Мы
думали: вот они — сильные
люди.

С. Дьюби

Они каждый день встают спозаранку,
моют пол и крыльцо, как мыли
вчера. После трясут под окном
ветхие половички, поджидая
вторую за месяц почту.

Они тихо молятся в церкви,
качаясь, как пламя свечей.
Каждый вечер подолгу
они стоят в детской,
перебирая бывшее,
после идут и ложатся,
свет фонарей, тени деревьев
пляшут в их бессонных глазах.

ЭЛМЕР РУИС

Поверь мне,
наше дело тонкое, как докторское.
Сперва я помечаю
место могилы,
потом насыпаю слой древесного угля,
и к утру земля
оттаивает на 15 дюймов
в глубину.

Это почти как операция.
Сюда тело человека ляжет.
Если не знаешь, с чего начать,
получится срамота.
У меня друг с канавокопателя,
раз пришел посмотреть могилу.
Так он диву дался —
как чисто, как точно сработано!

Слышал о стачке, что мы провели
в Нью-Йорке? На похороны цены
подняли; нам прибавить
не хотят: 20 000 тел ждали,
непогребенные.

Сам я обычно работаю
в солнечных очках потемней.
Я это горе каждый день вижу.
Поверь мне, и тебе придется надеть.
Ты, по глазам видать, парень чувствительный.
Я всегда в этих черных очках.

Ты-то можешь вырыть и яму,
все равно у них выхода нет. Но могильщик,
тут дело другое, тут надо быть мастером.
На нашу работу не стыдно взглянуть.

МАЙК ДЭВИДОУ

Майк Дэвидоу (Mike Davidow) — род. в 1913 г. Журналист, драматург, театральный критик. Корреспондент газеты американских коммунистов "Дейли уорлд", автор книги "Московский дневник" и ряда пьес: "Долгая жизнь" (на Всеамериканском национальном конкурсе 1964 г. получила первую премию), "Орел-голуби", "Ближайшее поле битвы" (опубликована в русском переводе в журнале "Театр").

Очерк "В пути" печатается с небольшими сокращениями по тексту журнала "Иностранная литература", 1984, № 4.

В ПУТИ

Из американского дневника

Прощай, Сан-Франциско, мы переезжаем в Гэри, штат Индиана. В сущности, мы отправляемся в изгнание. Мы изгнаны из Сан-Франциско, изгнаны его домовладельцами. Сегодня таких, как мы, "изгнанников" у нас в стране сотни тысяч. За шесть лет жизни в Сан-Франциско четыре раза мы были вынуждены съезжать с квартиры. Квартирная плата пожирала добрую половину заработков. Незадолго до переселения на нашу последнюю квартиру в Сан-Франциско нас неожиданно известили, что квартплата повышается на сто долларов в месяц, оказывается, дом перешел в другие руки, и его новый владелец, которого мы в глаза не видели, первым делом уведомил о повышении квартплаты. "Платите на сто долларов больше" — и все, никаких объяснений. И некому на него жаловаться, нет на него управы. Никогда еще домохозяин не был здесь таким полным хозяином положения!

Та же история повторилась на новом месте. На этот раз дом приобрела группа хозяев, эвфемистически назвавшихся "домовладельцами, занимающими собственный дом". С помощью этой нехитрой уловки им удалось обойти и тот чрезвычайно мягкий закон о регулировании квартирной платы, который с недавних пор начал действовать в Сан-Франциско. Закон этот был разработан юрисконсультами крупных корпораций, и оставленные в нем лазейки позволяют домовладельцам не считаться даже с более чем скромными мерами защиты интере-

сов квартиросъемщиков. Все жильцы дома, где мы жили, получили повестки с требованием освободить квартиру в двухмесячный срок. Тогда мы с Гейл, моей женой, договорились со всеми восемнадцатью квартиросъемщиками нашего дома совместно бороться против выселения. От имени всех жильцов я написал письмо мэру Сан-Франциско, в котором мы доводили до сведения муниципалитета, что домовладельцы буквально изгоняют нас из города. Наша борьба отсрочила развязку лишь на несколько месяцев. Жильцы один за другим сдавались и съезжали: не очень-то приятно существовать в неопределенности, особенно если тебе известно, что на закон надежда плоха. Наконец мы остались одни. Домовладельцы вступили с нами в переговоры и предложили кое-какие уступки, чтобы кончить дело без обострения конфликта. Бороться в одиночку не имело смысла, и поэтому мы приняли их предложение частично оплатить наши расходы по переезду в Гэри.

Выселение жильцов из квартир принимает в США поистине эпидемические масштабы. Никогда еще со времен кризиса 30-х годов столько людей не выдворяли из обжитых ими домов и квартир. Никогда еще не скиталось по стране такого множества американцев — как будто бы вся Америка тронулась в путь. Миллионы людей снимаются с места и отправляются куда-то в отчаянной и тщетной надежде найти работу. Миллионы колесят по стране в поисках жилья, которое было бы им по средствам. А сотни тысяч уже отказались от этих поисков, они поселились на колесах — в автомобилях и тесных стареньких жилых автоприцепах. Десятки тысяч отчаявшихся живут прямо на городских улицах — в "рейганвилях" (по аналогии с "гувервилями" 30-х годов — поселками, которые были названы так "в честь" президента Гувера безработными, построившими себе "дома" из картонных ящиков).

Среди людей, сорванных с насиженных мест, немало тех, кто, не решаясь взглянуть действительности прямо в лицо и не зная, как противостоять ей, спасаются бегством.

Около десятка тысяч всевозможных религиозных сект и "семейных" общин, возглавляемых "богоподобными" отцами-наставниками, существует сегодня в Америке — их общая численность составляет не менее шести миллионов человек.

Больше всего таких сектантов в Калифорнии. Этот штат давно уже служит приютом для разочарованных и отверженных. Город Сан-Франциско и вся прилегающая к заливу Сан-Франциско округа славятся необычайными красотами природы и терпимостью к любым жизненным стилям, и это как магнитом притягивает сюда молодежь. Религиозные общины и культы отличаются крайней пестротой. Вера некоторых из них представляет собой своеобразную смесь религиозных понятий и идей утопического социализма. Сплошь и рядом на наивном идеализме верующих спекулируют разные ловкие демагоги. С

членами одной из таких общин, носящей название "Мир — одна семья", мне довелось познакомиться ближе. Меня пригласили на обед в ресторанчик, который содержит эта община. Ресторан расположен на той самой Телеграф-авеню в Беркли, которая прославилась многочисленными антивоенными демонстрациями студентов в бурные дни выступлений против "грязной" войны во Вьетнаме.

Стены ресторана покрыты росписями, запечатлевшими религиозные и социальные представления членов этой общины. На украшениях, одежде и куртках, изготавливаемых сектантами, также лежит отпечаток их фантастических социально-религиозных идей. В их ресторане подают вегетарианские блюда. "Мы не питаемся трупами", — гордо объявила мне Джейн, живая и очень миловидная женщина лет двадцати пяти. Группа сектантов, обосновавшаяся в Беркли, живет коммунной в двух больших домах, рассчитанных на двадцать пять семей. Большинство членов общины — семейные, с маленькими детьми. Есть и холостые, но их сравнительно мало. Работают все: стряпают, подают еду, моют посуду в ресторанчике, пекут хлеб, шьют одежду или делают какую-нибудь другую, не слишком тяжелую работу. Никто не получает платы за свой труд. Деньги на удовлетворение сведенных до минимума личных потребностей выдаются членам общины по их просьбе. Мне не вполне удалось уяснить, как они сводят концы с концами. Ресторан не приносит прибыли. Доход от продажи предметов одежды недостаточен. Многие члены вносят в общий котел свои сбережения. Кое-кто получает денежную помощь от родных.

Их "философия" представляет собой смесь метафизических спиритуалистических и галлюцинаторно-фантастических идей — диковинную мешанину, столь характерную для мировосприятия многих моих соотечественников. Подобные путаные утопии пышным цветом расцветают под благодатным калифорнийским солнцем. Вот как, к примеру, изложены взгляды членов этой общины в их печатных изданиях:

"Аллен-Майкл, космический мессия, главный посредник Космического комплекса Галактического командования на планете Земля, излагает Генеральный план объединения людей всего мира посредством развертывания Всемирного движения пассивного сопротивления, победа которого ознаменует собой наступление Новой эры абсолютной свободы, безопасности и изобилия для всех людей на земном шаре, объединившихся в одну большую семью". Притом все это осуществится "без борьбы".

Еще один утопический рецепт немедленного и безболезненного всеобщего обогащения. Беда в том, что миллионы честных американцев, которые ищут путь к более человечному устройству жизни, не представляют, с какой стороны приступить к осуществлению этой цели. Антисоветизм стал в полном смысле

слова "железным занавесом", прячущим от них правду. Тот факт, что подобный человеческий мир уже существует — не выдуманный мир их фантазии, не утопия, а реальный мир, облеченный в плоть и кровь самой жизнью и трудом людей, — от них тщательно скрывают.

Скитальцам, отправившимся на поиски жилья, которое было бы им по средствам, приходится в известном смысле тяжелее, чем их товарищам по несчастью в пору кризиса 1929 — 1933 годов. Ведь квартирная плата тогда была еще сравнительно невысока, а возможностей снять квартиру имелось больше. Квартирная плата поглощала в те времена от силы 20 процентов заработной платы семьи. Сегодня речь идет уже о 40 — 50 процентах. Первым делом вы платите за жилье, а уж потом думаете, как обойтись остатком денег. Квартплата растет из года в год, зачастую домовладельцы повышают плату за квартиру дважды в год. Редкий домовладелец согласится сдать квартиру хотя бы на год (ведь это гарантировало бы стабильную квартплату в течение года). Переезды заняли важное место среди расходных статей бюджетов американской семьи.

На протяжении долгого периода времени в поисках пристанища устремлялись на Запад, и прежде всего в Калифорнию. Переселялись в места, где больше солнца. Появилось даже новое географическое понятие — "Солнечный край". Пожилые перебирались туда в надежде прожить остаток дней в более мягком климате. Молодые рассчитывали получить там работу: благодаря быстрому развитию электронной, космической и военной промышленности "солнечному краю" требовались работники.

Увы, домовладельцы "монополизировали" солнце. В нашей экономической системе оно, так же как живописные ландшафты, имеет свою цену. И цена эта стремительно растет: "Хотите солнца — платите нашу цену".

Ну что же, нам, как и миллионам наших соотечественников, оно оказалось не по карману. Из краев вечной весны переселяемся в край континентального климата и суровой зимы. В чем-то эта перемена даже желанна — я всегда любил зиму, а за наше шестилетнее пребывание в Советском Союзе полюбил ее еще больше.

Пожалуй, труднее всего по возвращении из СССР в США было снова привыкать к жизни с домовладельцами: ведь нам выпало исключительное счастье — забыть, в полном смысле слова забыть, об их существовании. Шесть лет мы наслаждались жизнью без домовладельцев. Эту особенную радость, видимо, наши советские друзья не в состоянии полностью разделить с нами. Какое это было необыкновенное ощущение — считать первое число месяца обычным днем, ничем не отличающимся от других: квартплата в СССР настолько низка, что о ней можно не думать! А разве приходится советским лю-

дям беспокоиться, как бы их не выселил домовладелец? Они уже и не помнят, что это такое! Кто монополизировал в СССР тепло солнечных краев? Побывайте в Крыму, в Сочи, Кисловодске, Одессе, Гагре, Пицунде — и вы своими глазами увидите, для кого в СССР светит солнце!

Итак, впереди — Гэри. Мы едем навстречу зиме. Навстречу снегу. Переселяясь, меняем не только географическую зону, не только часовой пояс, но и самый стиль жизни.

Яркое и теплое зимнее солнце Калифорнии ласково прощается с нами. Прощай, дорогое солнышко, ты слишком дорого для нас. За окном поезда мчатся обтекаемые, сверкающие лакированными поверхностями автомобили. Вот он, пресловутый американский символ богатства! Длительный роман Америки с автомобилем, равно как и ее мечта о доме в пригороде, обернулся сущим кошмаром. Попробуйте-ка объясните это какому-нибудь юному автофанатику в СССР, ослепленному внешним блеском американского "просперити". Попробуйте растолковать такому юнцу, который завидует "счастливчикам", разъезжающим в этих импозантных машинах, что многие из них, не задумываясь, поменяли бы эти блага на возможность жить с такой же уверенностью в том, что они не потеряют работу и жилье, какая есть у него.

Америка, страна крайнего индивидуализма, предпочитает путешествовать в личном транспорте. Я вижу десятки машин с одним-единственным пассажиром — он же водитель. Едет молча, отчужденно от всех, погруженный в свои мысли. Куда он направляется, зачем — это никого не касается, кроме него. Сколько энергии тратится впустую!

Прощайте, калифорнийские пальмы! Вы даете мало тени и не приносите плодов. Но зато вы вестницы бога солнца, его неперменная свита.

Солнце Калифорнии, впрочем, может быть не только ласковым, но и жестоким. Несколько лет тому назад солнечная благодать обернулась для калифорнийцев подлинным бедствием. Два года подряд солнце светило им с чрезмерной щедростью. Прекрасная солнечная погода, казалось, установилась навеки. "Еще один погожий денек!" — грустно иронизировали наши соседи. Иссушенная земля изнемогала от жажды. Во многих округах было введено строгое нормирование воды. Богатые обитатели округа Мэрин, страдавшего от нехватки воды, тайком пробирались в Сан-Франциско, где снабжение водой было относительно лучше. Их шикарные автомобили ломились от пустых бочонков, баков, канистр. На станциях обслуживания они совали заправщикам деньги и просили заполнить всю эту посуду поистине драгоценной влагой. Вода ценилась дороже бензина! Вскоре жители Сан-Франциско — счастливчики, у которых было вдоволь

воды, — начали косо поглядывать на "беженцев" из пораженных засухой мест, видя в них незваных "иждивенцев". Дело дошло до яростных перебранок и едва ли не до драк. Спор между северной и южной Калифорнией по поводу прав на источники водоснабжения корнями уходит в далекую историю и не решен по сей день. Прикрываясь разговорами о "правах штатов", могущественные корпорации прибирают к рукам источники водоснабжения, подобно тому как они присваивают солнечный свет и энергию атома!

Стихийные бедствия в условиях частнопредпринимательской системы могут приносить хорошие барыши! Очередной жертвой стихии стал несколько лет назад Средний Запад, куда мы сейчас направляемся: он пострадал от сильных зимних морозов. Стихийные бедствия считаются у нас в стране несчастьями, затрагивающими только самих пострадавших. Никому и в голову не придет считать их общенациональными бедствиями, касающимися всех, как это произошло после ташкентского землетрясения 1966 года, разрушившего множество зданий в городе. Тогда весь Советский Союз объединенными усилиями отстроил заново столицу Узбекистана.

Пожалуй, самым наглядным примером того, как одни наживаются на несчастье других в условиях системы свободного предпринимательства, могут послужить официальные "переговоры" между штатами Техас и Огайо. Дело обстояло так. В результате чрезвычайно суровой и долгой зимы промышленные предприятия и жилые дома Огайо остались без топлива. Штату позарез требовался газ: монополии, предоставляющие коммунальные услуги, отключили в домах отопление, люди страдали от холода в своих насквозь промерзших жилищах, болели и, были случаи, даже замерзали. Техасцы, а вернее сказать: нефтяные и газовые магнаты Техаса, богаты этим видом топлива. И вот тогдашний губернатор Огайо Родс отправился в Техас униженно просить помощи. Техасцы знали, что Огайо теперь целиком зависит от них. И Техас заломил за топливо такую цену, которую Огайо был не в состоянии заплатить. Губернатор Родс вернулся домой с пустыми руками. Однако красноречивей всего, пожалуй, оказалась позиция самого губернатора. Он не высказал в адрес Техаса ни малейшего недовольства, ни слова упрека. Наоборот, сказал, что относится к техасцам "с полным пониманием". Действуя в духе свободного предпринимательства, Техас, с его точки зрения, поступил так, как поступать совершенно естественно.

Пресса ведет учет стихийных бедствий, которые происходят у нас в стране, постоянно сообщает о больших убытках, приносимых такими бедствиями. Снова и снова города и штаты оказываются не подготовленными к зиме. Наша хваленая эффективность редко оказывается на высоте перед лицом суровых природно-климатических испытаний. И разумеется, не по-

тому, что у нас не хватает техники или технических знаний. Совсем напротив. Дело просто в том, что система свободного предпринимательства не желает тратиться на защитные, предохранительные и восстановительные мероприятия. Ликвидация последствий стихийного бедствия — личное дело пострадавших. В лучшем случае конгресс объявит пострадавшую местность "районом бедствия", отпустит какую-нибудь мизерную сумму на устройство бесплатных столовых и распорядится разместить людей, лишившихся крова, на ночь-другую в армейских зданиях, церквях и школах. Общество Красного Креста и Армия спасения организуют раздачу бесплатного супа и кофе с бутербродами да еще, может быть, распределят среди пострадавших некоторое количество поношенной одежды...

Наш поезд пробирается, извиваясь на поворотах, по предгорьям Сьерра-Невады. Внизу раскинулось море зеленых крон — это гигантские сосны. А вот и снег! Я не видел его уже несколько лет. Чудо! Какой белизной сверкает он на вершинах гор! Одиноким жилой автоприцеп да красные раны глиняных карьеров на склонах — единственные признаки цивилизации в этих местах. Интересно, сколько миль проехал этот любитель одиночества, чтобы вполне насладиться радостью уединения на лоне природы среди захватывающего дух величия? Голые, с облетевшей листвою деревья уныло контрастируют с вечнозеленой гигантской сосной. Эта сосна вынослива и неприхотлива, она ухитряется найти питательные соки даже в здешнем иссушенном красноземе. Вот уж поистине закоренелый индивидуалист наших лесов! Горные пики Сьерра-Невады покрыты снежными шапками. Скоро и мы наденем свои московские меховые шапки, так долго хранившиеся в нафталине. Ах, что это за удовольствие — пройти по только что выпавшему снегу, скрипящему под ногами, ощутить кожей лица острое, но приятное пощипывание мороза!

Поезд прибывает в Рино. Известно, что Рино существует за счет азартных игр и распавшихся браков. Игра, манящая возможностью быстрого обогащения и оборачивающаяся быстрым проигрышем, плюс ускоренная и упрощенная бракоразводная процедура — такова "специализация" этого города.

Поначалу Рино производит впечатление заурядного поселения, типичного для западных штатов: скромные одноэтажные и двухэтажные кирпичные домики, плоский силуэт. И вдруг вы оказываетесь посреди кричащей низкопробной "роскоши" города развлечений, такого Кони-Айленда американского Запада. Со всех сторон ослепительно сияют неоновые призывы: "Выиграйте 25 000 долларов!", "Король азартной игры приглашает вас!"...

В Рино вагон опустел. Почти все наши попутчики — молодежь, пожилые пары, женщины — сошли здесь, чтобы попытаться счастья.

Помимо прочего, наше путешествие поездом свидетельствует и о явном упадке американской железнодорожной системы, когда-то славившейся как одна из лучших в мире: вагоны блистали чистотой, оборудование работало исправно, поезда ходили строго по расписанию, пассажиров вежливо и квалифицированно обслуживали. Пообедать в вагоне-ресторане было истинным удовольствием: еду вкусно готовили, изящно сервировали, билеты стоили сравнительно недорого. Но это было в прошлом — до того, как слово "кризис" вошло в повседневный наш обиход...

Все, что представляется ей недостаточно выгодным, наша система неумолимо выбрасывает за борт. В свое время железные дороги помогли сколотить состояние некоторым богатейшим семействам Америки, теперь время расцвета железных дорог давно позади. Капитал устремился в многопрофильные корпорации, занимающиеся авиа- и автоперевозками. На повестку дня встало сооружение скоростных автострад и роскошных аэропортов. Америка предпочла ездить в личных машинах и летать самолетами. Крупные железнодорожные линии одна за другой прекращали работу, закрывались железнодорожные станции, пустели вокзалы. Многие города, большие и малые, остались без железнодорожного сообщения. Количество работников, обслуживающих железные дороги, сильно сократилось, а уровень обслуживания резко понизился. Пассажирам начинало казаться, что их нарочно обслуживают спустя рукава, чтобы отбить у них охоту ездить поездом. И действительно, число желающих пользоваться железной дорогой из года в год сокращалось.

Однако высокая стоимость услуг воздушного транспорта, назревшая необходимость расширения наземных перевозок и быстрый рост цен на бензин — все это побудило общественность потребовать реанимации умирающей железнодорожной системы. И была предпринята попытка, хоть и слабая, лишенная энтузиазма, вдохнуть в нее жизнь. Созданная в итоге организация, АМТРАК, — сугубо американское изобретение, малопонятное для любого европейца, и особенно для жителя социалистической страны. Это и не совсем частное предприятие, но и никак уж не государственное — что-то среднее между тем и другим. Подобный половинчатый характер заранее обрек АМТРАК на положение пасынка. Как фирма не вполне частнопредпринимательская, да к тому же и нерентабельная, АМТРАК существует на скупо и неохотно выплачиваемые субсидии, причем все и без того скудный бюджет сплошь и рядом еще больше урезают. Администрация Рейгана, надо полагать, скоро нанесет этой организации смертельный удар.

Последствия всего этого мы сполна испытали на себе во время своей поездки поездом в Чикаго по пути в Гэри. Состав, в котором мы ехали, давным-давно пережил свою лучшую пору.

“Его просто взяли и подкрасили снаружи”, — пренебрежительно пояснил нам один старый железнодорожник. Недавно поступило в эксплуатацию несколько новых поездов современного типа, но мы не попали в число тех немногих счастливиц, которым довелось путешествовать в одном из них. Сиденья в нашем вагоне были жесткие, неудобные, обивка совсем протерлась. Обслуживание оставляло желать лучшего: его низкое качество находилось в полном соответствии с жалким состоянием поезда. Похоже, никого из поездной бригады не волновало, прибудет ли поезд в Чикаго по расписанию. То и дело мы подолгу стояли. В последнее время на железных дорогах страны участились катастрофы: поезда сталкиваются друг с другом, сходят с рельсов. Выяснилось, что изготавливаемый фирмой “Дженерал моторс” локомотив имеет много дефектов и ненадежен в эксплуатации, особенно на крутых поворотах, притом даже когда поезд идет с обычной скоростью. Поэтому машинистам приказано на поворотах вести состав со скоростью не более 40 миль в час.

Мы едем в сидячем вагоне. Ни лежачих мест, ни постелей, ни отдельных купе тут нет. Поездка в спальном вагоне обошлась бы в дополнительные 110 долларов (сегодня это стоило бы уже куда дороже), и посему мы, так же как и наши попутчики, “спим”, сидя на своих неудобных сиденьях. Ночью было холодно, пришлось укрыться своими пальто. Лишь часа на два я смог забыться беспокойным сном. Гейл спала и того меньше. С ужасом думали мы о том, как продержимся следующие сутки.

Внезапно отказала система отопления. Поезд остановился — ремонтники принялись устранять поломку. Наконец отопление заработало, вскоре в вагоне было жарко и душно, как в турецких банях. Разбуженный нами проводник отключил отопление, предупредив, что из прошлого опыта нельзя с уверенностью сказать, работает оно или нет. Кондуктора мы так и не нашли. По счастью, отопление отключилось, но уже через полчаса стало так холодно, что зуб на зуб не попадал, отладили систему лишь в восемь часов утра.

За последнее десятилетие уровень общественного обслуживания вообще упал катастрофически. Наиболее очевидно это в сфере общественного транспорта, здравоохранения, уборки мусора, очистки улиц и даже пожарной охраны, которая раньше пользовалась всеобщим уважением. Нож “рейганомикки” беспощадно срезал ассигнования на эти сферы обслуживания, вынужденные обходиться теперь минимальным количеством работников. Пострадали даже почта и телефон...

За окном — штат Вайоминг. Запад прерий: мелкий кустарник, рыжие лысые пригорки. Пустыня без единого деревца — и вдруг, после десятков миль голой степи, как из-под земли вырастает чистенький городок. Рок-Спрингс. Вокзал служит естественным центром города. Невольно вспоминается старая Главная улица в одноименном романе Синклера Льюиса. И

правда, похоже: те же аккуратные домики, магазины, обслуживающие окрестных фермеров, адвокатская контора, приемная врача по соседству с ней, городская церковь. Но сходство чисто внешнее. Главная улица безвозвратно ушла в прошлое. Она канула в небытие вместе с прежним универсальным магазином. По-видимому, главным занятием жителей Рок-Спрингса является работа на сортировочной станции.

Как известно, Америка — страна контрастов. Поездка из одной местности в другую, даже из одного квартала в другой, напоминает подчас визит бедняка в дом богатых родственников.

В Советском Союзе мне не приходилось слышать о гибнущих, разрушающихся городах, о заброшенных районах. А у нас в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте — да едва ли не в каждом большом городе — мерзость запустения царит рядом с роскошью XXI века. Целые городские районы, знакомые мне с детских и юношеских лет как благополучные, полные жизни рабочие кварталы, пришли в состояние полнейшего упадка. Причем в прессе раздаются голоса людей, с ученым видом рассуждающих о п р а в е городов умереть и призывающих дать возможность негритянским и испаноязычным гетто отважно следовать дальше навстречу самоуничтожению.

Вообще, характерная тенденция последнего времени — нездоровый, повышенный интерес к процессам уничтожения, смерти.

Наше телевидение — вот "смелость"! — повело борьбу за "право на смерть". На телеэкранах демонстрируются программы о последних часах больных, умирающих от рака, в зловещих и жутких подробностях изображающие процесс угасания жизни вплоть до последней агонии. А "исполнитель" в этом отталкивающем спектакле, окруженный членами своей семьи, описывает свои сокровенные ощущения от встречи со смертью. Смерть рекламируется по телевидению. Самой большой сенсацией наших телевизионных станций стала документальная передача: "Предсмертная агония Гэри Гилмора". Гилмор — преступник, убийца, которого приговорили к смертной казни и расстреляли в штате Юта, гористом штате, по территории которого мы, кстати, проезжали несколько часов назад. Вопрос о смертной казни решается на основе внутреннего законодательства каждого из штатов. Каждый штат сам избирает для себя способ приведения приговора в исполнение. Гилмор отличался от других преступников лишь тем, что он стал публично настаивать на своем праве умереть. Он потребовал, чтобы его адвокаты оставили все попытки обжаловать приговор суда или отсрочить казнь. Выбрав смерть, Гилмор в мгновение ока стал знаменитостью. Ему отводилось почетное место в программах телевизионных новостей. О нем

ежедневно писали все газеты. Материалы о нем помещались на первой странице. Крупнейшие журналы страны оспаривали друг у друга исключительное право опубликовать отчет о последних мыслях и чувствах Гилмора, а также о его предсмертных судорогах, предлагая за это крупные суммы денег. Гилмор, родившийся и выросший в бедной рабочей семье, мог бы, умирая, стать миллионером. В конце концов предприимчивый антрепренер Ларри Шиллер приобрел все права на предсмертную агонию осужденного по сходной цене в 100 000 долларов. Другой делец обогатился, продавая майки с изображением сердца с мишенью посередине и надписью, воспроизводящей последние слова Гилмора: "Давайте сделаем это..."

Окраины Денвера: громады элеваторов, металлургические заводи, огромные сортировочные станции, забитые товарными составами, гигантский скотопрогонный двор, похожий на город для скота. Жалкие лачуги лепятся друг к другу: кому еще, как не бедным из бедных, неграм и американцам мексиканского происхождения, могут предназначаться эти жилища?

В Денвере к нам подсаживается новый попутчик — рослый, крепкий мужчина средних лет с обветренным и загорелым лицом. Он едет домой, на свою ферму в Айове. Фермер возмущается тем, что конгресс предоставляет финансовую помощь знаменитым богатым курортам для лыжников.

— Конгресс помогает богатым, в то время как мелких фермеров вроде меня доводят до полного разорения. Горючее и сельскохозяйственное оборудование все дорожают, банки дерут безбожные проценты, а цены на зерно падают ниже себестоимости! Короче говоря, богатые становятся богаче, а бедные — беднее.

Недовольство проникает в "глубинку" страны — традиционную консервативную Америку средних американцев.

— Сегодня сельское хозяйство — это большой бизнес, — продолжает фермер из Айовы. — Получил в наследство отцовскую ферму и хотел передать ее своим сыновьям и внукам. Куда там! Нужно иметь по меньшей мере 200 000 долларов, чтобы только удержаться и не пойти ко дну. Даже не знаю, что хуже — засуха или особенный урожай. В любом случае отдувается фермер, а банки гребут барыши. Куда мы катимся?

События минувшей ночи сблизили пассажиров. Симпатичная женщина лет сорока пяти едет с одиннадцатилетним сыном в гости к своей замужней дочери, она живет в пригороде Чикаго. Сама наша собеседница живет в небольшом городке в штате Небраска, неподалеку от Линкольна. Работает в канцелярии. Муж ее — школьный учитель.

— Разве теперь отыщешь хорошую школу? Мы давно мечтаем продать дом и перебраться туда, где найдется хорошая школа. Эрику все до смерти надоело. В той школе он даром теряет время. Ученики сидят на уроках "под кайфом". Нарко-

тиками торгуют даже возле буфетов и закусовых! У моей матери нас было двенадцать. Двенадцать ребятишек — и всех она вырастила! — помолчав, продолжает наша попутчица. — Сегодня трудней вырастить вон его одного! Я училась в самой настоящей сельской школе. Все восемь классов занимались в одной комнате. Чуть ли не половина учеников школы были моими братьями и сестрами. Когда мы заболели ветрянкой, школа закрылась. А учительницей в школе была моя родная тетка...

Гэри в качестве своего нового местожительства мы выбрали не случайно. Лишь бы нашелся там домовладелец, который не стал бы брать с нас за квартиру больше, чем мы сможем заплатить! Дело в том, что в Гэри живет наш старший сын Майкл со своей женой Дженет и тремя детьми, нашими внуками (а всего у нас с Гейл пятеро прелестных внуков и внучек). Мы так часто гостили у них, что Гэри стал для нас словно вторым домом. Однако едва ли не все, с кем мы говорили об этом, в том числе и многие жители Гэри, смотрели на наше переселение сюда как на постигшее нас несчастье.

— Надо же, переехать из красивейшего города в Штатах, а может быть, и в целом мире в дым и копоть металлургического центра! Да к тому же зимой! — сочувствовали нам.

Что же, о Сан-Франциско и впрямь знают во всем мире, тогда как о Гэри известно главным образом то, что это город, расположенный в 35 милях от Чикаго. И нет смысла сравнивать Гэри с Сан-Франциско. Воспоминания о неповторимой красоте и прелести этого "Парижа Тихоокеанского побережья" останутся с нами на всю жизнь. Но Гэри вскоре понравился нам и день ото дня нравился все больше.

Когда мои советские друзья спрашивают меня, что за город Гэри, я им отвечаю: "Это американское Запорожье". Это в полном смысле слова город стали. Правда, история у Гэри совсем другая — и не в пример короче. Гэри существует меньше века (основан в 1906 году) и носит имя основателя крупнейшего стального треста США — "Юнайтед Стейтс стил корпорейшн". В честь Гэри город был назван далеко не случайно: поначалу он создавался не как город, а как промышленный придаток "Ю. С. стил". Почти все время делами города вершил не муниципальный совет, а совет директоров этой могущественной корпорации. (Общезвестно, что сегодня стальные короли отказываются от производства стали ради других видов деятельности, сулящих больше прибыли. "Ю. С. стил" отказалась от модернизации многих своих заводов, предпочитая вкладывать капиталы не в сталь, а в нефть).

На заре XX века "Ю. С. стил" посылала в страны Централь-

ной и Южной Европы и даже в царскую Россию своих агентов для вербовки крепких рабочих рук. Доставленные вербовщиками иммигранты, впрягшись в каторжную, грязную работу, трудились по 12 часов в день, без выходных, за жалкие гроши. Первая мировая война положила конец широкому притоку дешевой рабочей силы из Европы. И тогда охотники за людьми устремились на американский Юг. За три века до этого другие охотники за людьми привезли сюда из Африки на невольничьих кораблях миллионы закованных в цепи рабов для работы на плантациях Юга. И хотя рабство потом было отменено, сохранились рабские условия жизни, вынуждавшие юридически свободных людей продавать свою рабочую силу, чтобы не умереть с голоду. По самой низкой цене продавали свои рабочие руки потомки прежних невольников.

Черные американцы покидали Юг, спасаясь от произвола расистов и линчевателей и рассчитывая обрести на Севере и Среднем Западе относительную "свободу". Трудобой негритянских гетто, разумеется, тоже обрекали их на вопиющее неравенство, но это был конец "маршрута свободы". Дальше разочарованным было некуда бежать — разве что за океан, Тихий или Атлантический. И американцы с черным цветом кожи исполнились решимости бороться за свободу в своей собственной стране, которая принадлежала им в не меньшей степени, чем белым американцам. Если на то пошло, негры могут считать себя такими же старожилами на американской земле, как белые, которые живут здесь более 350 лет!

Нам с Гейл довелось убедиться в том, сколь сильна эта решимость, во время исторического марша на Вашингтон в 1963 году — в столетнюю годовщину прокламации об освобождении рабов. Вместе с двумястами тысячами белых и черных американцев мы как замороженные слушали речь доктора Мартина Лютера Kinga (через пять лет он погибнет от рук убийц), подвергшего уничтожающей критике социальную систему и ее правительство, которые не выполнили своего "договорного обязательства" перед 30 миллионами черных американцев.

А 15 января 1981 года, в день рождения Kinga, мы отмечаем эту памятную дату в одной из негритянских церквей Гэри. Церковь заполнена до отказа: почтить память Kinga пришли ветераны марша на Вашингтон — преимущественно черные мужчины и женщины, в глазах которых до сих пор горит пламень тех дней; пришли их сыновья и дочери — незавершенная "мечта", о которой говорил King, стала для них призывом к действию; пришли белые рабочие-металлурги, которые на опыте ожесточенной стачечной борьбы научились ценить единство черных и белых.

Американцы африканского происхождения не знают себе равных в США, когда дело касается хорового пения, прямо-

таки экстаичного по накалу чувств. Вековые горести и страдания, спрессовавшись в песне, породили этот крик души негритянского народа, это музыкальное выражение его боли, протеста и надежды. Вся история угнетенного, но непокоренного народа запечатлелась в этом пении. Хотя негритянские песни и по форме, и по содержанию совершенно отличны от русских народных песен, они находятся с ними в близком духовном родстве. Недаром бессмертный Поль Робсон глубоко понимал и любил русскую народную песню — как и народ, создавший ее.

И вот хор — все женщины в длинных белых атласных, падающих свободными складками платьях, — руководимый крепко сбитой молодой негритянкой с привлекательным лицом и горящими глазами, запекает волнующий гимн борцов за свободу: "Свети, сияй, огонь моей души!" Впечатление такое, как будто все присутствующие в церкви, подхваченные этой мелодией, вдруг стали участниками марша. Песня льется с помоста в зал, все больше набирает силу и взрывается торжествующим крещендо. "Свети, свети, свети!" — звучит словно боевой клич.

Этот клич подхватывает в своем выступлении прогрессивный мэр города Ричард Хэтчер — молодой, полный боевого задора негр, член демократической партии, один из руководящих деятелей прогрессивного крыла негритянской фракции. Но я несколько отвлекся...

На произвол судьбы брошены не только металлургические и автомобильные заводы, переставшие приносить достаточную прибыль, но и целые города. Обширные городские районы, и в особенности районы, населенные черными и цветными рабочими, обречаются на упадок и запустение. Вообще, запустение стало в наши дни неременной чертой американского городского пейзажа. Заколоченные досками заводские корпуса напоминают полусгнившие днища выброшенных на берег судов. Темные окна витрин универмагов, некогда процветавших, а ныне заброшенных, сиротливо смотрят на прохожих. Тот факт, что в центральных районах многих наших городов закрываются магазины, объясняется не только тем, что торговля перемещается в пригороды и вообще туда, где прибыли выше. Это составная часть такого характерного для второй половины XX века явления, как бегство белого населения из городов, затронутых упадком. Как следствие этого резко изменился национальный состав городского населения и соответственно ошутимее внимание власть имущих к насущным нуждам городов. Расистская администрация Рейгана подчеркнуто проводит политику, которую "либеральный" сенатор Мойнихен от штата Нью-Йорк, известный антисоветчик, однажды назвал политикой "милосердного пренебрежения". Конечно, на самом деле в пренебрежении к нуждам городов, и особенно тех городов Севера и Среднего Запада, где живет много черных и цветных, ничего милосердного нет. Милосердием тут и не пахнет.

Гэри, население которого на 70 процентов состоит теперь из негров, являет собой наглядный пример подобного сознательного пренебрежения. Город остался почти без магазинов и предприятий бытового обслуживания, так что большинству его черных обитателей приходится делать покупки где-то за городской чертой — в тех местах, где живут белые. Но поскольку в большинстве предместий Гэри продовольственные магазины тоже почти все позакрывались, покупка продуктов питания превратилась в серьезную проблему, особенно для тех семей — а число их неуклонно растет, — которых обстоятельства вынудили отказаться от своего даже старенького, потрепанного автомобиля. В немногих оставшихся магазинах продают продукты низкого качества по чудовищно высоким ценам. Не этим ли отчасти объясняется тот факт, что во время беспорядков 60-х годов, вспыхнувших в негритянских гетто, подверглись разгрому многие продуктовые магазины крупных торговых фирм?

В центре Гэри закрывался "Голдблат" — последний большой универмаг города, и по этому случаю там проводилась распродажа товаров. На улицах, в автобусах, в залах универмага — всюду мы были белыми крапинами в море черных лиц. Лишь изредка попадались на глаза белые лица. Чувствовалось, как над этим черным морем беззвучно сгущаются грозовые тучи. Негодование, прорвавшееся наружу в песне, что мы слышали в негритянской церкви в день рождения Кинга, — это предвестие надвигающейся грозы. Кто знает, когда она разразится?

Какому другому народу столь бесцеремонно давали почувствовать, что он — незванный гость у себя на родине? И это в стране, значительная часть материальных и духовных богатств которой создана американцами африканского происхождения! Здесь, в этой стране, которую негры считают своим домом, вот уже больше века попирают их конституционные права. Созданная президентом Джонсоном Национальная комиссия по вопросам гражданского неповиновения предостерегала в 1967 году, в самый разгар восстаний в негритянских гетто: "Надежды, пробужденные великими юридическими и законодательными завоеваниями, породили разочарование, враждебность и чувство горечи перед лицом постоянно сохраняющегося разрыва между обещанным и выполненным... в нашей стране складываются два общества — черное и белое, разделенные и неравные" (выделено мною. — М. Д.). Увы, ни в какой другой стране изучение своих собственных социальных язв не является таким безрезультатным занятием, как у нас! При Рейгане еще больше расширен этот разрыв, превращен, можно сказать, в зияющую пропасть. "Разочарование, враждебность и чувство горечи" — все это можно было прочесть в глазах людей, пришед-

ших на последнюю распродажу в универмаге "Голдблат".

"Вы можете избирать своих черных мэров!" — громко возглашают власть имущие в нашей стране (наряду с Гэри целый ряд городов — Атланта, Детройт, Ньюарк, Бирмингем — имеют теперь мэров-негров). И добавляют про себя: "А мы уж позаботимся о цепях для них". У власть имущих и впрямь имеются в распоряжении политические и экономические средства для того, чтобы связать по рукам и ногам тех, кого они не сумеют купить.

Гэри борется, стремясь противостоять этому. Мэру Хетчеру и горожанам Гэри приходится вести борьбу не только с влиятельными политическими силами, находящимися в подчинении у стальных магнатов, которым принадлежат местные газеты, телевидение и радио, но также с властями округа, властями штата и федеральным правительством. После того как эти высшие инстанции, и в особенности Вашингтон, забирают свою, действительно львиную долю налоговых поступлений, городским властям Гэри почти ничего не остается на нужды школ, больниц, общественного транспорта, санитарной службы, пожарной охраны и на удовлетворение многих других социальных потребностей. Экономика города (а следовательно, и его политическая жизнь) зависит от "Ю. С. стил" и других стальных трестов, имеющих заводы в Гэри и его окрестностях. Однако городские власти практически лишены возможности контролировать деятельность этих металлургических гигантов. Так, муниципалитет Гэри пытался хоть немного уменьшить степень загрязнения дымом доменных печей "Ю. С. стил" воздуха, которым дышат горожане. Суд, действуя в полном соответствии с "Законом о чистом воздухе" (ныне выхолощенным администрацией Рейгана), вынес постановление, запрещающее корпорации эксплуатировать домны, если на них не будут установлены эффективные дымоочистительные системы. "Это слишком дорого, — заявило в ответ руководство корпорации. — Мы скорее закроем завод, чем станем тратить на подобные установки". Оно прекрасно знало, какую тревогу посеет это заявление в семьях металлургов: закрытие завода лишило бы их средств к существованию. Угроза подействовала. Корпорация "Ю. С. стил" добилась своего. Ей было заранее известно, какой выбор будет сделан, если заставить людей выбирать между чистым воздухом и хлебом.

Для Гэри выбор таков: или бороться, или сложить оружие. Город полон решимости продолжать борьбу. Его мэр Хетчер мужественно выступает в защиту интересов горожан. Несмотря на противодействие стальных трестов и их политической машины, Хетчера снова и снова переизбирают на пост мэра. Гэри — небольшой город (его население составляет около 165 000 человек), но он играет в делах страны, особенно в рабочем и негритянском движении, важную роль, никак не соизмеримую

с его величиной. Мэр города Хетчер стал значительной фигурой на политической арене страны. В качестве председателя Национальной конференции мэров городов США, а затем и в качестве вице-президента демократической партии он проявил себя одним из самых последовательных и откровенных противников "рейганомии" и гонки ядерных вооружений. Муниципальный совет Гэри был первым муниципальным советом в стране, призвавшим (еще в 1968 году) к полному прекращению всякого военного вмешательства США в Юго-Восточной Азии. И он же первым в стране потребовал изъятия средств из военного бюджета США и ассигнования их на программы, предусматривающие удовлетворение социальных нужд людей.

Жизнь Гэри определяется состоянием дел в металлургической промышленности. А дела в металлургической промышленности США обстоят нынче из рук вон плохо: производство неуклонно падает. Вот почему металлурги Гэри ведут сегодня борьбу за то, чтобы заводы работали по возможности на полную мощность. В этом наглядно проявляется подлинный патриотизм рабочих, составляющий такой резкий контраст с черствым равнодушием безличных международных корпораций. Рабочие-металлурги борются не только за свое право работать — они борются за свои родные дома, борются за жизнь своего города.

Некогда созданный как придаток "Ю. С. стил", Гэри теперь больше не нужен стальным магнатам. И поэтому они готовы поставить на нем крест, погасить сталеплавильные печи, закрыть заводы и даже списать все это за ненадобностью. Они торопятся снять сливки в других местах. И хотя сотни сталеваров Гэри были вынуждены присоединиться к сотням тысяч безработных, скитающихся по стране в поисках заработков, большинство рабочих готовится к борьбе за свои дома, за свой город.

Мы с Гейл поселились в Миллере — одном из районов Гэри, где бок о бок живут черные и белые.

В Миллере мы нашли наконец домовладельца, который запросил квартплату, оказавшуюся нам по карману. Что говорить, дымовые трубы металлургического завода и порывы ледяного ветра с озера Мичиган вряд ли могут сравниться с калифорнийским солнцем и неповторимым очарованием Сан-Франциско. Но есть свое собственное очарование и у Миллера. В атмосфере этого города сохранилось что-то деревенское.

Для того чтобы узнать город, надо походить по его улицам. Так я узнавал Москву и проникался к ней любовью. Так я открываю для себя Миллер и мало-помалу влюбляюсь в него. Теперь мне понятно, почему здесь жил и создал некоторые из лучших своих вещей американский писатель Нелсон Олгрэн, отобразивший жизнь в чикагских трущобах.

Я прогуливаюсь по улицам Миллера один. Пешеходов почти не видно, обитатели Миллера предпочитают ходьбе автомобиль. На улицах можно встретить лишь ребятишек, спешащих в школу или возвращающихся из школы домой, да еще бродячих собак. Особенно понравилось мне гулять по Дубовой улице. В отличие от многих улиц, названия которых никак не соответствуют их внешнему облику, Дубовая улица и на самом деле дубовая. Кряжистые дубы-ветераны стоят по ее сторонам, широко раскинув свои узловатые ветви, чтобы захватить побольше солнечных лучей. Они, как патриархи, возвышаются над своими отпрысками самых разных поколений. Некоторые молодые дубки вымахали ростом с родителей, но уступают им в объёме. В Миллере я почувствовал себя ближе к природе — это возможно только в таком вот маленьком городке.

На прогулках я чаще знакомился с деревьями и домами, чем с людьми. Лишь изредка встретишь кого-нибудь из здешних жителей, когда он выходит из дому, чтобы сесть в свой автомобиль. Он приветливо здоровается со мной, как это традиционно принято в тех краях, где у людей еще остается время быть по-добрососедски общительными. Ведь в наших больших городах слово "сосед" утратило свой прежний смысл. Многие даже не знают, кто живет в соседней квартире. Но чаще всего со мной раскланиваются только деревья. Автомобиль и телевизор разобщают людей даже в таких городках, где все знакомые.

Большинство домов Миллера построено в одном стиле, но почти каждый чем-то отличается от других. Преобладают домики, типичные для штата Индиана: строгие и опрятные, они напоминают своим видом чопорную учительницу из Новой Англии. Похоже, они внимательно смотрят на вас через пенсне своих окон. Зима украсила эти широкие окна белоснежными карнизами. Но интереснее всего рассматривать старомодные дома с пристройками, с располагающими к досугу верандами и таинственными мансардами, как будто сошедшими во всей своей импозантности со страниц новелл Готорна. Они вызывают в памяти картины моих мальчишеских блужданий по "Дому о семи фронтонах". Глядя на них, я как бы совершаю путешествие в прошлое Миллера...

История Миллера, так же как и история Гэри, складывалась под воздействием его положения на самом берегу озера Мичиган. По этому громадному внутреннему морю доставлялась из штата Мичиган железная руда для ненасытных доменных печей Гэри. Разве мог бы город стали расправить свои мускулы, если бы не было рядом этого дешевого водного пути?

Однако в погожий день поздней весны или лета, когда голубая гладь воды искрится на солнце, воздух прохладен и свеж, а теплый золотой песок пляжей ласкает ноги, начисто забываешь о доменных печах, хотя их силуэты и заслоняют горизонт. Защитники чистоты озера Мичиган, как и защитники боль-

шинства наших крупных рек и водоемов, давно ведут борьбу с промышленным загрязнением. До недавних пор это была безнадежная борьба. Затем мощное народное движение в защиту окружающей среды вынудило губителей наших природных богатств пойти на частичное и временное отступление. Увы, оно вскоре сменилось новым наступлением.

Вот уже восьмой год идет, как мы вернулись домой после шестилетнего пребывания в Советском Союзе, но до сих пор никак не можем привыкнуть к нашей бесчеловечной системе государственного медицинского обслуживания. Наверное, так никогда и не привыкнем. Вчера мы с Гейл побывали в городской больнице округа Кук в Чикаго. У всех больных в мире на лицах написана тревога. Лица больных бедняков — а городские больницы в нашей стране предназначаются главным образом для немущих — выражают неприкрытое страдание. По сравнению с этими несчастными мы с Гейл казались олицетворением благополучия. Сюда, в клинику, принесли свою боль нищие обитатели негритянских и испаноязычных гетто. Лишь изредка в очереди черных и цветных больных можно заметить вдруг белое лицо. Только кисть Пикассо смогла бы изобразить это воплощенное страдание гетто: эти глубокие морщины на лицах, прорезанные долгими годами мучительных лишений, эту печать безысходного отчаяния. Как будто бы в храм Эскулапа явились все беды трущоб с их разрушающимися, гибнущими домами, о которых перестали заботиться их владельцы! В давние времена одетые в рубище больные бедняки шли со своею болью к святым чудотворцам. "Чудотворцами"-врачевателями в клинике округа Кук были способные молодые люди — мужчины и несколько женщин с белым цветом кожи (лишь изредка — чуть коричневого оттенка). Им, явившимся сюда прямо со скамьи медицинского колледжа, не терпится применить полученные знания на деле. Гетто обеспечивает их богатейшей и разнообразнейшей практикой. Некоторые из этих интернов — честные молодые врачи, посвятившие себя медицине и принимающие всерьез клятву Гиппократата. Но многие, если не большинство, помышляют не о преданном служении медицине, а о "хорошем врачебном бизнесе". В Америке на человеческих страданиях наживают деньги. И "бизнес", конечно, прибыльней всего там, где денег много. Сравнение количества врачей на душу населения в "благополучных" районах и гетто дает наглядное представление о действии медицинского ценза в богатой Америке. Страдания гетто дают врачам-бизнесменам возможность попрактиковаться.

Боль заставила этих пожилых людей, что сидят перед дверью врачебного кабинета, покинуть свои грязные комнатухи, где поселился страх, и прийти в эти стены. Одеты они в немыс-

лимую ветошь, без каких бы то ни было претензий на вкус. Сойдет одежда любого цвета и фасона, старая и изношенная — лишь бы она защищала от пронизывающего ледяного ветра с озера Мичиган. Наученные горьким опытом, они знают, что даже обноски, если натянуть их в несколько слоев друг на друга, хорошо защищают от холода. Поэтому из-под широких долгополых пиджаков выглядывают у них выцветшие свитеры и рваные жилеты. Те, кто помоложе и не отличаются благоразумием, одеты легко, как будто мороз им нипочем. Их одежда тоже неописуемо бедна, но ярка. Кое-кто пришел в зеленой солдатской рабочей форме, сохранившейся после демобилизации из армии: форма опрыскана маскировочной краской, а может быть, и химическими отравляющими веществами. Это ветераны бесславной войны во Вьетнаме. Отвоевавшись, они вернулись в нищету трущоб своих гетто.

Над просторной приемной грозовой тучей повисло гнетущее, зловещее молчание. Эта туча пришла сюда вместе с ними из их кишаших крысами жилищ. Она, эта туча, сопровождала их в бюро социального обеспечения и терпеливо дожидалась, пока они часами отвечали на бесконечные вопросы. Она вернется вместе с ними, с их болью и прописанными таблетками домой, в гетто. Я знаю эту тучу. Я видел, как она со всей долгосдерживаемой яростью разразилась грозой в Гарлеме во время бурных волнений 60-х годов.

Войдя в чикагское бюро социального обеспечения, я ощутил все ту же сгустившуюся атмосферу человеческой беды. И здесь повисло гнетущее молчание. Молодая чернокожая мать, держа на руках младенца, сосущего пустышку, еле слышным голосом терпеливо отвечала на нескончаемые дотошные вопросы. Инспектор, молодая высокая белая женщина со строгим лицом и тонкими поджатыми губами, быстро и деловито печатала на машинке ее ответы. Вдруг машинка устало замолкла. В глазах матери-негритянки — мольба. Инспектор принялась листать своими длинными, худыми пальцами устрашающую толстую книгу — свод правил и инструкций. Вот ее пальцы замерли, как перед этим машинка. Тонкие губы сложились в любезную официальную улыбку, и она медленно зачитала соответствующий параграф. Черная мать с ненавистью и недоверием смотрела на страницы книги с мелким убористым текстом. Ведь с этих страниц прозвучал приговор ей и ее ребенку!

Полвека прошло со времен тяжелого кризиса 1929—1933 годов. С тех пор Америка разжирела и разбогатела: на каждого двух жителей страны приходится один автомобиль; на фешенебельной чикагской набережной Лейкшор-драйв построены тысячи шикарных кооперативных квартир, продающихся по цене 250 000 долларов и более; создан арсенал ядерных ракет,

которого хватило бы для того, чтобы несколько раз взорвать весь мир, если сначала он вконец не подорвет экономику США. А матерей и их детей по-прежнему обрекают на голод и отчаяние! Словно и не было этих пятидесяти лет.

События кризиса 1929—1933 годов стали "университетами" для людей моего поколения. Моими классными комнатами были улицы Нью-Йорка. Они превратились в витрину отчаяния, которое, как какая-то таинственная губительная болезнь, поразило "процветающую" Америку. Эпидемия началась в октябре 1929 года. С немногочисленных деревьев в Бруклине осыпалась листва. В воздухе была разлита печаль — не та печаль, что обычна для осенней поры, а с привкусом человеческого горя. Ребят, с которыми я вместе ходил в школу, и их матерей и отцов, которых я раньше никогда не видал, я увидел теперь — вместе со всем их скарбом — на улице. Их быт и домашний уклад предстали перед прохожими во всей своей обнаженности: их сокровенные семейные тайны были открыты для любопытных взоров, их громоздкая мягкая мебель была выставлена на всеобщее обозрение во всей своей жалкой претенциозности. Кресла и кушетки в прозрачных глянцевых чехлах продолжали хранить неприступный вид: ведь мебель в чехлах, как мне сызмальства объясняли, не предназначается для сидения. На них и теперь никто не сидел. Но хуже всего было, когда приходилось идти мимо друзей. Я шел, глядя себе под ноги, красный от смущения: я знал, какой они сейчас испытывают стыд!

А 6 марта 1930 года Америка избавилась от стыда и исполнилась праведным гневом. В этот исторический день больше миллиона безработных вышли на улицы, чтобы потребовать "работы или заработной платы". В одном только Нью-Йорке на Юнион-сквер собралось тогда более ста тысяч демонстрантов. Простая истина, доведенная до сознания людей — и прежде всего усилиями коммунистической партии, — превратила пристыженно кающихся в грозно обвиняющих. Сколько понадобилось голодных маршей, сколько жестоких боев против выселения бедняков, сколько жарких генеральных сражений в органах благотворительности и муниципалитетах, сколько человеческих жертв, сколько проломленных голов, сколько брошенных в тюрьмы, прежде чем в мероприятиях "нового курса" нашли законодательное воплощение страхование по безработице, пособия по бедности, пенсионное обеспечение по старости и талоны на льготную покупку продуктов — социальные меры, представляющие собой в совокупности амортизатор, призванный смягчить удары циклических кризисов капитализма.

19 сентября 1981 года, через восемь месяцев после того, как Рейган вступил в должность президента и повел наступление на социальные завоевания трудящихся, к ликвидации которых давно уже готовился крупный капитал, Америка снова выразила свой гневный протест.

В 30-е годы мы, участвуя в маршах, шли пешком, а когда уставали, ехали в кузовах грузовиков. Там же и спали. Теперь, в сентябре 1981 года, участники марша на Вашингтон совершали его на колесах: в тысячах автобусов и в специальных поездах, отправляющихся из всех уголков нашей обширной страны. Америка была "на дороге" — конечно, совершенно в ином смысле, чем в книге Джека Керуака с таким же названием, где изображенное автором "разбитое поколение" было скорее в бегах, в беспокойной погоне неизвестно за чем.

Более полумиллиона промышленных рабочих, горняков, конторских служащих, строителей и трудящихся других профессий не просто пустились в путь — они выступили в поход. Многие из них впервые в жизни участвовали в марше протеста! Среди участников были тысячи "защитных шлемов"¹. Эти крепкие здоровяки с красными, обветренными лицами, упрямо стиснутыми челюстями и твердым как сталь взглядом питали в свое время недобрые чувства к участникам маршей протеста против "грязной" войны во Вьетнаме. Будучи высокооплачиваемыми строительными рабочими, они опрометчиво кичились своей принадлежностью к "рабочей аристократии". Сейчас от бывшего их "аристократизма" не осталось и следа, а недобрые чувства они питали к архиантикоммунисту, обосновавшемуся в Белом доме. Их "защитные шлемы" отождествлялись теперь с истинной сущностью этих людей как сильных, умелых работников, которые дали мировой архитектуре новое измерение — небоскреб. "Небоскреб". Пока поэты возносились к небу в воображении, рабочие руки этих не слишком начитанных людей возвели до самого неба обители богов, конструкции из стали и бетона. Ныне руки каждого четвертого из них остались без дела. Это при том, что наши города разрушаются, а в наших гетто назревает взрыв гнева и отчаяния! Мне довелось видеть, как преображал советские города устремленный в небо подъемный кран. И я знал, какие чудеса могли бы создать обреченные на бездействие руки наших строителей. Они боролись теперь за право отстроить заново разрушающиеся города Америки. Моим советским друзьям даже трудно представить себе, что кому-то приходится бороться за подобное право! Для большинства этих бывших "аристократов" участвовать в марше протеста было в новинку. Ведь этим занимаются только "коммунисты" и "радикалы"! Они шли по большей части молча и без смущения несли над головой свои плакаты. Для автомобилестроителей и металлургов участие в демонстрациях протеста было более привычным делом. Гигантский автомобильный

¹ Выражение *hard hat* (*hardhat*) имеет в английском языке несколько значений: "защитный шлем", "рабочий-строитель", "монтажник-верхолаз" и "ретроград", "реакционер"; эта его многозначность обыгрывается в оригинале.

завод корпорации "Дженерал моторс" во Флинте, штат Мичиган, стал тем местом, где в годы подъема профсоюзного рабочего движения перед второй мировой войной зародилась такая форма борьбы, как сидячая забастовка. Теперь для Флинта вновь возвратились тяжелые времена кризиса 30-х годов. На многих предприятиях города остановились конвейеры. На рабочих автомобильных заводов обрушился бич безработицы. Экономической жизни Детройта, столицы автомобилестроения, угрожал паралич.

Многотысячные колонны рабочих автомобильной промышленности гневно скандировали: "Мы хотим работы! Мы хотим работы!" Рабочие-строители, новички в этом деле, мало-помалу начали вторить им. "Мы хотим работы! Мы хотим работы!" — скандировали они, поначалу робко, с запинками, а потом все более решительно.

Гэри разворачивал свои силы, включаясь в битву за жизнь. Это был район сосредоточения металлургов. Они шли к автобусам прямо с заводов, некоторые еще в рабочей одежде. Многие металлурги уже лишились работы — они приходили на место сбора из дома. Вереница автобусов покатила по автостраде, как бронетанковая колонна, идущая на фронт! Нашим фронтом будет Вашингтон с Белым домом! Яркие освещенные заправочные станции вдоль автострады были превращены в сборные пункты промышленной Америки. Отряды армии труда протягивали друг другу руку дружбы. Сталевары Гэри и автомобилестроители Детройта обменялись крепким рукопожатием. Это братание наполнило их сознанием собственной силы и чувством гордости, которое было написано на их простых, открытых рабочих лицах. То был настоящий день единения, день братской дружбы! Черные и белые, мужчины и женщины, молодежь и старики — все были едины. Целая армия на колесах — тысячи автобусов! — двигалась на Вашингтон. Трудящиеся выступили в небывалый по размаху поход.

А хозяин Белого дома, по милости которого полмиллиона рабочих, снявшихся с места, проехали сотни миль, чтобы заявить о своем элементарном праве на существование, уехал из Вашингтона. Он просто-напросто не пожелал нас принять. Когда пение и скандирование постепенно смолкли, воцарилось грозное молчание. Все мы понимали, что предстоящее долгое путешествие домой означает не конец, а только начало нашего похода. Америка пришла в движение, и предстоят новые марши.

Я присоединился к маршу протеста в Гэри. Большинство в нашем автобусе составляли черные женщины — работницы металлургических заводов; многие из них взяли с собой детей.

— Это ведь и их доля. Пусть привыкают к борьбе, — высказала свое мнение на этот счет одна молодая женщина.

Автобус, в котором мы ехали, стал не только нашим средством передвижения. Он был для нас домом, школой, клубом.

Ко времени приезда в Вашингтон мы успели открыть друг другу душу, а когда пришла пора разъезжаться по домам, прощание было сердечным и волнующим. Мы расставались как "ветераны" исторической битвы.

В своей бессмертной поэме "Мертвые души" Гоголь, уподобляя Россию мчащейся тройке, спрашивал: "Русь, куда ж несешься ты?" Народы бывшей царской России давно уже дали ответ на этот вопрос, — ответ, изменивший весь ход мировой истории.

Вот так же и Соединенные Штаты мчатся сегодня по дороге своей судьбы. Только не в неказистой бричке, а в лакированном, обтекаемом, сверхмощном автомобиле, ярко сверкающем во всем своем кричащем великолепии. За рулем сидит возбужденный наркоман, который на бешеной скорости гонит машину по крутому, извилистому горному серпантину. "Америка, куда ж несешься ты?" Весь мир ждет ответа на этот роковой вопрос. И в первую очередь от нас, едущих в этом автомобиле.

* * *

Несколько слов к читателям. После того как были сделаны эти дневниковые записи, Америка все более дружно присоединялась к участникам антивоенного похода. Страну охватило широкое движение за мир. Его кульминационным пунктом стала состоявшаяся 12 июня 1982 года демонстрация перед зданием ООН в Нью-Йорке, в которой участвовал миллион американцев.

Я отобрал для печати именно эти страницы дневника, потому что в них, как мне кажется, нашло отражение нечто более существенное, чем личные переживания, впечатления и размышления. Такие события, как "изгнание" нас из Сан-Франциско, приобрели в ретроспективе социальные очертания, далеко выходящие за рамки злоключений одной семьи. Никогда еще такое количество американцев не оказывалось вынужденным менять место жительства и образ жизни. И никогда еще выкорчеванным не было так трудно пустить корни где-нибудь на новом месте. Никогда еще не скиталось по стране столько бездомных, обездоленных людей.

Это чувствуют, хотя пока еще, может быть, и не до конца сознают, все новые и новые миллионы американцев. Завтрашний день для них наступает сегодня: неуверенность в будущем у нас — постоянная спутница преуспевания.

Неуверенностью в завтрашнем дне буквально пронизан весь наш образ жизни. Вот почему так много американцев сегодня в пути. Помыслы их заняты отчаянными поисками точки опоры в жизни: твердого заработка, крыши над головой, надежды, что крыша мира не обрушится всем нам на голову.

Вообще говоря, мы, американцы, — не любители задаваться философскими вопросами. По натуре своей мы практики, прагматики. Я говорю об этом без чувства гордости и без чувства

стыда. Просто констатирую факт. Но сегодня американцы настойчивей, чем когда бы то ни было раньше, спрашивают себя и друг друга: "К у д а м ы и д е м?" Теперь, когда к власти у нас в стране пришли самые оголтелые представители военно-промышленного комплекса, вопрос "Куда мы идем?" стал для нашего народа вопросом жизни и смерти.

Особенно отчетливо я ощутил это после того, как в марте 1982 года мы вернулись в Москву, где я снова занял пост московского корреспондента "Дейли уорлд". Наш приезд совпал с кануном Международного женского дня — светлого, радостного праздника. И праздник был у нас на душе, когда мы сели в 12-й троллейбус и поехали "домой" — наш новый московский дом оказался буквально в двух шагах от прежней квартиры на Ленинградском проспекте. Не успели мы сойти с троллейбуса, как столкнулись с бывшей соседкой, старой женщиной.

— Вы снова у нас? Слава богу! Скажите вашим американцам, — тут же объявила она, — что мы хотим мира. Если надо, я буду снова питаться одной вареной картошкой, только пусть будет мир. Разве мало мы хлебнули горя? Фашисты убили моего сына. Меня увезли в Германию, превратили в рабыню. Выбили у меня зубы. За всю нашу жизнь это первый долгий период мира. Передайте своим американцам: живите как хотите, только дайте нам жить в мире!

Я участвовал в историческом Марше мира—82: из Ленинграда мы направились в Калинин, Москву, Смоленск, Минск, потом в Киев, Ужгород, Будапешт, Вену. Многие участники марша из Скандинавских стран были в Советском Союзе впервые: я видел, какое сильное впечатление произвело на многих из них непосредственное общение с советскими людьми. Я не видал более волнующего зрелища, чем прощание с минчанами. Памятный эпизод произошел и в Смоленске. Этот город-герой сердечно встречал участников марша. Одна пожилая женщина кинулась в их ряды, обняла молодую красивую норвежку.

— Нас в семье было семеро, а в живых осталась я одна! — воскликнула она. Обе женщины, старая и молодая, плакали, обнимая друг друга. Пожилая женщина заметила у меня в руках магнитофон. — А вы кто? — спросила она с подозрением.

— Американский корреспондент, — ответил я. Слова "американский" было для нее достаточно.

— А, американский корреспондент! Ваш Рейган — плохой человек. Вы должны поскорей сменить президента...

"В пути" — эти слова, пожалуй, лучше всего передают характер жизни в наше бурное время. Вопрос в том, куда он ведет, этот путь? К вершинам человеческого бытия или глубочайшим безднам смерти? Я хочу верить, что мы идем к вершинам, но окончательный ответ на этот вопрос как никогда зависит от простых людей — тех, кто в пути.

ЛОННИ НЕЛСОН

Лонни Нелсон (Lonnie Nelson) — поэтесса. Живет в Сиэтле, штат Вашингтон, работает на заводе. Стихи взяты из сборника "Что движет нами" ("What Keeps Us Going On"), 1983.

МОНОЛОГ БЕЗРАБОТНОГО, МУЧИМОГО БЕССОННИЦЕЙ

Два часа ночи.
Мучительная боль не дает уснуть,
и я встаю подогреть молока.
Пробуждение ли страшит меня?
Или отсутствие работы, источника существования?
Пугает ли призрак голода,
сдавливающего болью желудок,
когда сомкнуты веки,
когда я сплю?

Но это не боль одиночества.
Моя боль с теми, кто стоит в уличных пикетах.
Она там, в домишке у Фиделии,
рядом с ее убитым сыном Луисом Мануэлем.
Она притаилась под луной,
на кончике полицейской дубинки.
Она вместе с Сиритой, что
голодной бежит в детский садик.

Я знаю, если бодрствую, боль моя слабеет,
а если сплю, щупальца Рейгана настигают меня,
тогда вся нечисть, все призраки
заползают ко мне в спальню
без приглашения.
Тогда одиночество и кошмары
скребут мои раны когтями.

Доктор прописывает снотворное,
чтоб извести зверя, сидящего во мне.
А у меня и слезы больше не текут,
что-то случилось с глазами,
и руки опухли.

Мои друзья рабочие глушат в себе
тот дьявольский огонь, с силой
сдерживая натиск, стоя в пикетах.

А когда мы соберемся вместе —
профсоюзники, просто друзья, всех цветов кожи,
но все ~~за~~ наше общее дело, — тогда
они встанут стеной вокруг,
обступят меня, и я вслух произнесу великие слова,
наши требования.

Днем
с радостью узнаю о значительной материальной
поддержке, поступившей от портовых рабочих
в адрес нашего стачечного комитета.
И я мурлычу про себя песенку,
хорошо знакомую нашим:
"Рональд Рейган сам не свой:
виноват не кто иной,
как актив рабочих профсоюзов!"

Вечером я пишу письмо
другу
и думаю о "Матери" Горького,
о женщине, что проносила листовки
под буханками хлеба в корзине...
После пью горячее молоко и засыпаю.

Сентябрь 1981

ВМЕСТЕ ВО ИМЯ КАЖДОГО

Братья, сестры,
не убеждайте нас, будто от нас зависит,
получить работу или нет.
Будто, ища работу по восемь часов в день два месяца кряду,
можно ~~ее~~ найти!

Не толкайте нас на самоубийство,
не отравляйте наши души горечью, не протягивайте
таблетку, чтобы дать нам забыться
сном до утра.

Вспомните, как много спилось
из тех, кто искал работу по восемь часов в день!
Иные из тех рабочих парней, кого сотнями выгоняли
с заводов, шли работать дворниками,
только чтоб не испытать ежедневной восьмичасовой
безработицы.
Вы знаете, что с ними стало? Вы не забыли?

Мы мыли автомобили, хотя на них не ездили,
мы продали теплые пальто, потому что
нечем было заплатить по счету в химчистке.
Наши ботинки сносились до дыр, нам не на что сменить
грязные и рваные носки.
Доктора нас не лечат;
мы забыли, когда в последний раз ели
куриный суп.

Платить за квартиру — тратить больше половины
пособия по безработице, а иногда
даже не на что купить мыла для стирки.
Мы берем книги в местной библиотеке,
вот и вся отрада.

Мы вскапываем скудную грядку,
чтобы хоть *что-нибудь* было на ужин.
Тщимся сохранить в семьях мир,
чтобы гнев не сломил нас поодиночке.

Так не затыкайте нам рот словами:
надо сильно стараться,
чтобы найти работу!
Не от наших стараний зависит это.

Давайте вместе защищать друг друга.
Слейтесь с нами, чтобы обрести справедливость.
Встанем вместе во имя каждого.

Нам нужны ваши силы, сестры,
когда мы идем в колоннах.
Нам нужны ваши глотки, братья,
когда мы скандируем наши лозунги.
Нам нужны ваши кулаки, друзья,
когда мы требуем:

**ХВАТИТ УВОЛЬНЕНИЙ! РАБОТУ — РАБОЧИМ! ДОВОЛЬНО
ОБЕЩАНИЙ!**

Так давайте же вместе защитим друг друга.
Слейтесь с нами в борьбе во имя каждого!

Август 1981

УГРОЗА МИРУ ИСЧЕЗНЕТ

С благодарностью Гэсу Холлу

Когда разгоним ФБР и ЦРУ
и Пентагон распределим под жилье,
когда расизм и пропаганду войн
объявим вне закона,

когда налоги из нашего кармана не будут
кормить марионеточные правительства,
прихлебателей американских нефтяных монополий,
не пойдут на изготовление вакуумных бомб —
несущих смерть детям рабочих всех стран, —
тогда угроза миру исчезнет.

Когда на освобожденной земле возникнут
дома с дешевыми квартирами, и парки,
и огородные участки,
когда модно будет ездить по городу куда угодно
всего за пять центов и ждать автобуса
долго не придется,
когда в медицине отбою не будет от специалистов,
врачающих нашего брата, рабочего, —
всех и каждого, —
тогда угроза миру исчезнет.

Когда мы будем уверены, что рабочих мест больше,
чем рабочих, будь то
ремонт мостов, сточных труб, посадка парков,
прокладывание улиц и дорог,
строительство городов без трущоб, создание автомобилей,
грузовых судов и библиотек,
когда каждый ребенок получит будущее,
и школу, и работу,
когда детские сады смогут принять
всех наших детей
и школа станет гарантией
верной работы, —
тогда угроза миру исчезнет.

Когда обмен улыбками на улице
между знакомыми и незнакомыми
станет привычным делом,
когда дорогие книги
будут служить не для прибыли,
но для просвещения,
когда театры и клубы станут общедоступны
в любой день и для
всякого, —
тогда морщинки у глаз побегут не
от огорчений,
а от улыбок!
От уверенности, что нам ничто не угрожает.

БОЛЮ, КРИКОМ ДУШИ ПОДНЯТЬ НА БОРЬБУ ВЕСЬ НАРОД

Разве не прекрасны движения рыбака, бросающего гарпун? Разве не красноречив девиз, начертанный на знамени профсоюза? Разве нет драматического накала в ситуации, когда средства, отведенные государством на социальные нужды, уплывают не по назначению? Разве лишена поэтической правды картина раннего завтрака рабочей семьи, когда, вернувшись с ночной смены, хозяйка ставит на стол кастрюльку с фасолью?

У нас принято считать, что полная труда и лишений жизнь рабочих не способна вдохновить художника. Так формируют наш вкус. Между тем Лонни Нелсон воспевает рабочего человека, его энергию и мужество, безграничные созидательные силы народа.

Первый ее сборник — "Что помогает нам жить" — это гимн, выражение боевого духа рабочего класса. Герои книги — наши современники, простые американцы: водители грузовиков, матросы, голодающие участники забастовок, докеры, безработные, бездомные отчаявшиеся люди, которые пытаются отогреться у вентиляционных решеток. Не в пример "традиционным" поэтам Лонни Нелсон не привыкла смотреть на своих героев со стороны. Они для нее не абстрактные схемы, а люди, которые страдают и борются, она сама одна из них, она всегда в центре борьбы. Лонни Нелсон так же, как все, трудится, часто остается без работы, занимается общественными делами, растит детей. Она рассказывает нам о том, что видит вокруг, вскрывая причины событий и явлений, говорит для нас, от нашего имени и вместе с нами. Поэтесса не проходит мимо коррупции и жестокой эксплуатации, которые мешают нам жить. Ее перо создает яркие, вызывающие гнев и возмущение образы, вскрывает экономическую и политическую несправедливость, при этом не ограничиваясь рамками лишь своей страны. В центре внимания поэтессы всегда человек, зажатый в тиски рейганомии, империализма и дискриминации. Читая стихи, мы четко ощущаем, что безработица — не просто голые цифры. Теплое пальто останется в химистке, потому что нечем оплатить счет. Ты не можешь постирать одежду, потому что не на что купить мыло, а завтра снова поиски работы, необходимо выглядеть прилично... И бессонными ночами, и когда удастся заснуть, тебя неотступно преследует мысль — найти работу... Империализм — это войны. Это замученные дети Намибии. Молодые женщины Сизтла с младенцами на руках выходят на улицы, и на их плакатах одно слово — "Помогите!". Сокращение программ социального обеспечения

связано с пересмотром государственного бюджета, а это значит — еще больше станет бездомных, которых сразу узнаешь по отчаянию в глазах... За социальными проблемами, отраженными в скупых фразах и цифрах, у Лонни Нелсон встают люди, она восстанавливает правду о наших исковерканных судьбах, душах, нашей затаенной боли — эта боль "вместе с Сиритой, что голодной бежит в детский садик".

Читая книгу, мы проникаемся величиим живой народной поэзии, сбросившей путы отживших традиций. Стихи превращаются в песни, их подхватывают, выносят из душных комнат на улицы, где идет борьба. А Лонни Нелсон ведет нас на стройплощадки, к тем, кто работает за гроши до полного изнеможения, на биржу труда, где отчаявшиеся безработные вымаливают хоть какую-нибудь работу, показывает нам энтузиазм и сплоченность пикетчиков.

Перед нами люди из плоти и крови, выписанные ярко и зримо: мы видим, как они ходят, смеются, разговаривают с друзьями, делятся своими бедами. Автор живописует их домашний быт и труд: машины, рыбацкие сети, поля пшеницы, жару, стекающий ручьями пот.

Сборник этот — результат коллективного творчества не только потому, что читатели получили возможность приобщиться к произведениям поэта, но и потому, что этот томик выпускался и распространялся общими усилиями. Стихи, прозвучавшие в рабочих радиопередачах и со страниц журналов, принятые как рабочий документ заседания Совета профсоюзов штата Вашингтон, стали оружием, помогающим крепить движение протеста, крепить ряды его участников. Сборник был издан активистами профсоюзной типографии. Билл Кор, водитель из Сиэтла, работающий на междугородных маршрутах, в свободное время иллюстрировал книгу гравюрами, по эмоциональному воздействию не уступающими стихам.

Стиль поэтессы лишен вычурности, прост и искренен, создается впечатление, что перед нами кадры кинохроники или документального фильма, фильма правдивого, не в пример тем, которыми потчует нас телевидение. Острота зрения, точность и глубина наблюдения в сочетании с чуткостью позволяют Лонни Нелсон создать оригинальную поэтическую картину мира. Это наш гнев, излившийся в слова, принял осязаемую форму, и гнев дает нам силы бороться и надеяться.

Лонни Нелсон не просто рассказывает читателям о творящихся несправедливостях. Она позволяет увидеть и почувствовать ее собственную боль и унижение, боль и унижение жертвы беспощадной экономической системы. И она не боится делиться своей болью, ибо считает, что, помогая друг другу, мы становимся сильнее. Товарищи "встанут стеной вокруг, обступят меня, и я произнесу великие слова — наши требования...". Она призывает нас держаться вместе, верить друг другу свои беды.

Помогите, взывает она, "давайте вместе защищать друг друга...". Наша сплоченность дает нам в руки оружие единства, способное преодолеть непреодолимые преграды, воздвигнутые нашей системой, — эту мысль Лонни Нелсон облакает в слова, полные решимости и надежды: "... хозяину ничего не сделать со мной, ему не уволить меня по старости. Ему не вырвать меня из борьбы за лучшее будущее..."

ЛУИС ВАЛЬДЕС

Луис Вальдес (Louis Valdez) — режиссер, драматург, представляет литературу чикано. Родился в г. Делано, штат Калифорния, в семье иммигрантов-мексиканцев. До восемнадцати лет работал на ферме. Окончил государственный колледж в Сан-Хосе (Калифорния), все годы учебы подрабатывая на жизнь. Одно время работал в труппе мимического ансамбля в Сан-Франциско. Луис Вальдес — основатель и популяризатор народного Театра батраков ("El Teatro Campesino"), представления которого проходят под открытым небом и вначале были задуманы специально для бастовавших фермеров Делано; спектакли этого театра в 1968 году отмечены премией для внебродвейских театров — "За создание театра рабочих, демонстрирующего жизнеспособность их устремлений". Театр батраков стал частью Центра культуры американо-мексиканского крестьянства в Фресно (штат Калифорния). Луис Вальдес одним из первых отметил в печати достоинства книги Сесара Чавеса "Забастовка". Эссе Вальдеса и пьеса "Распродажа" ("Los Vendidos") взяты из антологии литературы чикано "Голоса Ацтлана" ("The Voices of Aztlan"), 1974.

"АКТОС"¹

..."Актос" родились в Делано как бы сами собой. Явились как верный способ отражения реальности. Каждое явление из повседневной жизни стачечников будило мысль, давая материал для "актос". Действительность бастующих батраков полна драматизма (и стала зримой для многих благодаря прессе, телевидению, кино и т.д.), а "актос" попросту отразили эту действительность. Стаечников играли стачечники, слагая свои импровизации из собственных встреч и стычек на полях боев со штрейкбрехерами.

"Братья, товарищи, уходите с поля!"

"Если победим, будем сыты и получим работу!"

"Позор штрейкбрехерам!"

"Только вместе, мы победим!"

"Убирайтесь к чертям собачьим!"

¹ Актос — букв.: театральные действия (исп.).

Сатира стала оружием, которое было вскоре направлено на всем хорошо известных ненавистных подрядчиков, фермеров и домовладельцев. И с первого же показа "актос" завоевали сердца забастовщиков Делано, набившихся в Филиппино-Холл, что имело решающее значение для успеха театра. "Актос" правдиво отразили стачечную действительность.

Оглядываясь назад, на эти первые грубоватые, но живые, прекрасные, мощноголосые "актос" 1965 года, теперь можно выявить особенности этой драматической формы, которая тогда только зарождалась. Конечно же, "актос" вошли в жизнь без какого бы то ни было разработанного плана. Вероятно, и само это название, которое мы дали нашим маленьким спектаклям, свидетельствует, в какой жесткой спешке нам ежедневно приходилось работать. Их можно было бы назвать, скажем, "скетчами", но мы живем в долине Сан-Хоакин, где все говорят на местном диалекте распространенного здесь испанского языка (с сильным влиянием техасского испанского), потому надо было придумать такое название, чтоб было понятно всем, кто здесь живет. Иные названия — "театральные картинки", "юморески", "ауто"¹, "интермедии" — казались чересчур мудреными. Мы остановились на "актос", не найдя ничего удачнее, не имея времени на поиски лучшего и не желая подражать проповедникам испанской классики. В конце концов, ведь мы иной народ, к чему нам подделываться под кого-то?

Однако потребовалось пятилетие поисков, пока "актос" не сложились в самостоятельное, самобытное явление. Так возникла эта краткая драматическая форма, которая нынче в ходу прежде всего на подмостках театров Ацтлана², хотя порой ставится и другими революционными театрами США, в том числе Мимическим ансамблем из Сан-Франциско, театром "Хлеб и марионетки". У каждой из этих групп, вероятно, свое представление об "актос", но за несколько лет нам удалось все же выработать некие общие определения:

"Актос" — это побуждение зрителя к социальному действию. Освещение специфических тем, связанных с социальной проблематикой. Сатирическое высмеивание противника. Явный или неявный показ возможного решения конфликта.

Выражение чаяний народа.

Казалось бы, что тут нового? Театр ставил эти вопросы испокон веков. Все это так, однако основной упор в "актос" делается на коллективное восприятие, а не на индивидуальность актера или трактовку драматурга. "Актос" не пишутся, они создаются коллективно, путем групповой импровизации. Дей-

¹ Ауто (исп.) — короткие драмы-аллегии.

² Ацтлан — символическое название прародины мексикано-американцев; ныне юго-запад США).

ствительность, отражаемая в "актос", — социальная действительность, жизнь крестьян и бедняков; здесь не сложные, индивидуальные характеры, а скорее массовые прототипы. Действующие лица "актос": Дон Сотак, Дон Койот, Джонни Пачуко¹, Хуан Раса, Хорхе, Чикана — массовые прототипы.

Значение "актос" важно не только для стачечного движения, но и в целом для всей деятельности чикано, поскольку чикано стремятся представить себя народным единством. Прототипы на сцене становятся как бы прообразами желаемых единства и общности. Один герой, таким образом, способен представить весь народ, и мексикано-американская аудитория с живостью отзовется на его удачи и неудачи. Пусть стороннему зрителю "актос" могут показаться примитивными, для чикано это есть подлинное выражение его социального статуса и, следовательно, его жизни.

РАСПРОДАЖА

1967

Действующие лица:

Честный Санчо.
Секретарша, мисс Джименес.
Батрак.
Пачуко.
Бунтарь.
Мексикано-американец.

Место действия: лавка подержанных мексиканских товаров и сувениров; ее владелец — Честный Санчо. В витрине — три манекена. Справа — Революционер в сомбреро, патронных лентах и с карабином. В центре на полу сидит батрак в широкополом соломенном сомбреро. Слева Пачуко с ножом в руке. Честный Санчо перед открытием лавки прохаживается между манекенами, смахивая с них пыль.

Санчо. Так-так, милые мои. Поглядим, кого нам удастся сбыть сегодня, о'кей? (*В публику.*) Меня зовут Честным Санчо, вот перед вами моя лавка. Прежде я был подрядчиком, а теперь удалось обзавестись собственным маленьким бизнесом. А сейчас я жду покупателя.

Звонок за сценой.

Ах, вот и покупатель!

¹ Горожанин-чикано, обитатель трущоб.

Секретарша (*входит*). Доброе утро. Меня зовут мисс Джименес, я из...

Санчо. Ах, так сеньорита чикана? Добро пожаловать, добро пожаловать, сеньорита Хименес!

Секретарша (*поправляя его, на англоязычный манер*). Мисс Джименес.

Санчо (*в растерянности*). Как?

Секретарша. Меня зовут мисс Джименес. Вы что, по-английски не говорите?

Санчо. Что вы, что вы, сеньорита Джименес. Говорю, конечно. К вашим услугам.

Секретарша. Ну вот и хорошо. Значит, так. Я служу в секретариате у губернатора Рейгана¹, нам требуется типичный мексиканец на административную должность.

Санчо. Ну что ж, мадам, вы попали по адресу. К вашим услугам подержанный товар Честного Санчо. На любой вкус. Что именно вам угодно?

Секретарша. Значит, так: учтивый...

Санчо. Учтем!

Секретарша. Изящный...

Санчо. Изыщем! De buen aire.

Секретарша. Не белый...

Санчо. Ага, prieto!

Секретарша. Но и не чернокожий...

Санчо. Угу, no muy prieto!

Секретарша. Такой бежевенький...

Санчо. Ах, вот как, бежевенький! Кофеек с молочком, такой?

Секретарша. Да, и еще... Чтоб был работающий!

Санчо. У нас есть как раз такой экземпляр! Пройдите, пожалуйста, на середину, мадам. (*Подводит ее к Батраку.*) Вот стандартная модель сельского труженика. Легко убедиться, что, согласно нашему дорогому сенатору Джорджу Мэрфи, он "просто создан, чтобы быть ближе к земле". Обратите особое внимание на сандалиии-уарачи, они вырезаны из резиновых автопокрышек. Дополнительная деталь — широкополое сомбреро: предохраняет от солнца, дождя и пыли.

Секретарша. На вид вполне добротный экземпляр.

Санчо. К тому же этот манекен из деревенских такой учтивый, muy amiable! Глядите! (*Щелкает пальцами.*)

Батрак (*поднимая голову*). Buenos días, сеньорита! (*Опускает голову.*)

Секретарша. Он и вправду очень мил!

Санчо. Я же вам говорю — обожает своих хозяев. Но самое главное — очень работающий. Позвольте продемонстрировать. (*Щелкает пальцами.*)

¹ Пьеса написана в 1967 году, когда Рональд Рейган был губернатором штата Калифорния.

Батрак выпрямляется.

Б а т р а к. Работа, *el jale!* *(Начинает двигаться.)*

С а н ч о. Видите, он собирает виноград.

С е к р е т а р ш а. О, я в этом ничего не понимаю!

С а н ч о. Он и хлопок убирает.

Щелчок. Батрак принимается убирать хлопок.

С е к р е т а р ш а. Вот как, он универсален?

С а н ч о. Еще может дыни собирать.

Щелчок. Батрак собирает дыни.

К концу сезона скорость у него замедляется. Но можно повисить.

Щелчок. Батрак работает быстрее.

С е к р е т а р ш а. Черт по... то есть я хотела сказать, боже, он и в самом деле прекрасный работник.

С а н ч о *(ставит Батрака на ноги)*. Но это далеко не все! Видите эти маленькие дырочки у него на руках, похожие на поры? В жаркие, томительные дни на полях, где лозы и ветви сплетаются так, что передвигаться среди них почти невозможно, дырочки выделяют особый жир, позволяющий нашей модели скользить сквозь заросли без особого труда.

С е к р е т а р ш а. Прекрасно! А как в смысле содержания?

С а н ч о. Содержания? Сеньорита, да это прямо-таки мексиканский "фольксваген". Ему всего-то и нужно — пенни в день. А от одной миски бобов да тортильи сил ему хватает надолго. Вот и все, поперчить только. Ему много красного и зеленого перца требуется. Только тогда надо раз в неделю менять масляный фильтр.

С е к р е т а р ш а. А куда его на ночь?

С а н ч о. Никаких забот. Знаете эти фермерские трудовые лагеря, что наш достопочтенный губернатор Рейган понастроил близ Парлиера и Рейзин-Сити? Они задуманы как раз для детей! Загоняйте по пять, шесть, семь, даже по десять в каждый батрак — и никаких хлопот. Можно еще содержать в старых сараях, в заброшенных автомобилях, прямо на набережных. Или просто оставляйте в поле на ночь, и ничего с ним не сделается!

С е к р е т а р ш а. Потрясающе!

С а н ч о. Да, только надо помнить: ежегодно в конце сезона эта модель отправляется к себе в Мексику и остается там до следующей весны.

С е к р е т а р ш а. Вот как? Скажите, а он говорит по-английски?

С а н ч о. И вот еще что поразительно: как раз в прошлом году модель была приспособлена для забастовок.

Щелчок.

Б а т р а к (*по-испански*). Стачка! Братья! Бросай работу!..

Щелчок.

(*Замирает.*)

С е к р е т а р ш а. О нет, нет! Администрации нашего штата не позволено бастовать.

С а н ч о. Да, но из него можно сделать и штрейкбрехера!

Щелчок.

Б а т р а к (*по-испански*). Продаюсь задешево, тебе какое дело?

С е к р е т а р ш а. Вот так-то лучше, только вы не ответили на мой вопрос. Он по-английски говорит?

С а н ч о. Э-э... нет, но у него есть и еще...

С е к р е т а р ш а. Не годится!

С а н ч о. ...всякие свойства.

С е к р е т а р ш а. Нет! Не подходит!

С а н ч о. Си, о'кей, о'кей! У нас есть и другие модели.

С е к р е т а р ш а. Посмотрим. Хотелось бы что-нибудь порудированнее...

С а н ч о. Ерунди...

С е к р е т а р ш а. Ну, скажем, городскую модель.

С а н ч о. Ах городскую! Прошу вас вот сюда. Здесь, в углу, как раз то, что вы ищете. Наша новая модель, Джонни Пачуко образца 1969 года! Обтекаемая. Модернизированная. Хорошая скорость, мягкий ход, специально для городской жизни... Только взгляните: магнитные колодки, двойной выхлоп, ярко-зеленый колер, дымчатые стекла. Позвольте включить.

Щелчок.

Джонни выступает вперед вразвалку, характерной походкой пачуко.

С е к р е т а р ш а. Что это он?

С а н ч о. Это, сеньорита, у него походка в стиле чикано.

С е к р е т а р ш а. Понятно, а что он умеет?

С а н ч о. Все что угодно, все, что необходимо для жизни в городе. Скажем, может за себя постоять: умеет орудовать ножом.

Щелчок.

Джонни выхватывает нож и бросается на Секретаршу. Секретарша вскрикивает.

Или танцевать.

Щелчок.

Д ж о н н и (*напевает*). "Ангел-бэби, мой ангел-бэби!.."

Щелчок.

С а н ч о. А вот еще одно свойство, без которого не обходится ни одна городская модель. Если его арестовывают, он, конечно, отпирается.

Щелчок.

Д ж о н н и. Господа полицейские! А что я сделал? Что я сделал? (*Поворачивается к воображаемой стене, расставив ноги, заведя руки за спину.*)

С е к р е т а р ш а. О нет, никаких арестов! Мы должны поддерживать законность и порядок.

С а н ч о. Так он же говорит по-английски! Джонни, скажи нам что-нибудь!

Щелчок.

Д ж о н н и. Да пошла ты!..

С е к р е т а р ш а (*вскрикивая*). Ах! Меня в жизни так не оскорбляли!

С а н ч о. Видно, подхватил, когда учился английскому в вашей школе.

С е к р е т а р ш а. Меня не интересует, где он это подхватил.

С а н ч о. Но модель к тому же не требует больших затрат! Работает на десятицентовиках. Потребляет бутерброды, тако¹, дешевое пиво и виски, ну и травку...

С е к р е т а р ш а. Какую еще травку?

С а н ч о. Ну, это зелье...

С е к р е т а р ш а. Какое такое зелье?

С а н ч о. Да марихуану!

Щелчок.

Джонни вдыхает воображаемую марихуану.

С е к р е т а р ш а. Но ведь это запрещено!

Д ж о н н и (*блаженно улыбаясь, задерживая дыхание*). Угу!

С е к р е т а р ш а. Нет, мистер Санчо, не думаю, чтобы эта модель...

С а н ч о. Погодите минутку, у него есть и другие свойства, которые, безусловно, вам понравятся. Скажем, испытывает комплекс неполноценности...

¹ Тако — дешевое национальное мексиканское блюдо из лепешки с какой-нибудь начинкой.

Щелчок.

Джонни (Санчо). Эх, ты что, думаешь, я хуже тебя, да? (Размахивает ножом.)

Санчо. Еще его можно избивать до синяков, резать до крови, пинать до... (Бьет и пинает Пачуко.) Не желаете попробовать?

Секретарша. Ах нет, нет, зачем?

Санчо. Сделайте одолжение. С ним можно делать что хотите.

Секретарша. Право, не стоит...

Санчо. О, прошу вас, пожалуйста!

Секретарша. Ну, может, разочек... (Ударяет Пачуко.) Ах, мягкий какой!

Санчо. Приятно, правда? Еще разок!

Секретарша (бьет Пачуко). Вот здорово! (Снова бьет.)

Санчо. Хватит, хватит, леди, не то вы испортите мне товар. Вот видите, наша модель Джонни Пачуко способна доставить клиенту столько приятных минут. Лос-анджелесская полиция приобрела двадцать штук для тренировок своих костоломов. Что же касается содержания — этот автомат сам себя содержит! Наш Джонни не встанет в очередь за пособием! Ведь он у нас добытчик-профессионал.

Щелчок.

Секретарша. Добытчик?

Санчо. Ну да, подворовывает.

Щелчок.

Джонни толкает Секретаршу, выхватывает у нее сумочку.

Джонни. А ну давай-ка сумочку, бабка! (Вырывает сумочку и бежит. Санчо щелкает пальцами, Джонни останавливается.)

Секретарша бросается за ним, вырывает сумочку, заодно еще раз ударяет Джонни.

Секретарша. Нет, нет! Хватит нам своих воров в администрации штата! Пусть отправляется на место.

Санчо. Что ж, у нас есть еще образцы. Ладно, Джонни, не горюй, сбудем тебя какой-нибудь старушенции. (Устанавливает Джонни на место.)

Секретарша. Мистер Санчо, мне кажется, вы не совсем понимаете, какого рода товар нам нужен. Нам бы что-то такое, что привлекло бы женщин, в интересах выборной кампании. Что-нибудь привычное, с налетом романтичности...

Санчо. А-а, любовник! (*Понимающе улыбается.*) Пройдите сюда, сеньорита. Позвольте представить вам нашу модель: Мексиканец-бунтарь — или, если угодно, Разбойник эпохи колонизации. Как видите, ладно скроен, крепок, вынослив. Он у мексиканцев козел отпущения в мировом масштабе.

Секретарша. Что он умеет делать?

Санчо. Что ни скажете — все исполнит. Может скакать на лошади, жить в горах, пересекать пустыни, равнины, переплывать реки, устраивать государственный переворот, возглавить хунту, убивать, гибнуть, сыграть роль мученика или героя, стать кинозвездой — я не оговорился, именно кинозвездой. Видали наши фильмы о Панчо Вилье?

Секретарша. Ни одного.

Санчо. Он снимался во всех. Вот глядите!

Щелчок.

Бунтарь (*громко*). ВИВА ВИЛЬЯ-А-А-А!

Секретарша. О, слишком громко!

Санчо. У него есть регулятор звука. (*Крутит ручку.*)

Щелчок.

Бунтарь (*шепотом*). Вива Вилья...

Секретарша. Да, так лучше!

Санчо. Не видели его в фильмах, так, может, видели в телепрограммах? Он рекламирует товары.

Щелчок.

Бунтарь. А заглядывал ли к вам Фрито-Бандито¹?

Секретарша. Да-да, такого я видела!

Санчо. Бесспорное достоинство этой модели в том, что она экономична. Работает на сырой конине и текиле².

Секретарша. Не слишком ли мужицкая еда?

Санчо. Что вы, сеньорита, благодаря конине и водке он настоящий мужчина!

Щелчок.

Бунтарь (*Секретарше*). Малышка, киска моя, иди сюда! (*Хватает Секретаршу, страстно целует.*)

Щелчок.

(*Возвращается в исходное положение.*)

¹ Персонаж, рекламирующий по телевидению картофельные хлопья.

² Текила — дешевая водка из агавы.

Санчо. Ну как, хорош?

Секретарша. Да-а... В общем-то...

Санчо. И, наконец, есть у него еще одно достоинство, которое, я уверен, оценит всякая истинная дама: это подлинно антикварное изделие. Он был изготовлен в Мексике в 1910 году — под Тиуаной, под Гвадалахарой, под Куэрнавакой¹.

Секретарша. Мистер Санчо, я полагала, что это продукт, изготовленный в США.

Санчо. Так он же...

Секретарша. Нет-нет, благодарю покорно! Мы не можем приобретать изделия неамериканского производства. Это нам не подходит.

Санчо. Но он же антикварный!

Секретарша. Неважно. До вас по-прежнему не доходит, что нам нужно. Да, нам необходим мексиканец типа ваших моделей, но он при этом должен быть американцем.

Санчо. Американцем?

Секретарша. Вот именно. Судя по тому, что вы мне показали, видно, у вас такого нет. Ну что ж, обеденный перерыв кончается, мне пора...

Санчо. Погодите! Как вы сказали — мексиканец, но американец?

Секретарша. Совершенно верно!

Санчо. Мексиканец, но... *(Внезапно его осеняет.)* АМЕРИКАНЕЦ! Да-да, мне кажется, у нас есть то, что вам нужно. Товар поступил только сегодня. Одну минуточку! *(Выходит, слышен его голос за сценой.)* Он здесь, в магазине. Сейчас только сниму упаковку. Ну вот! Прошу — наш новейший Мексикано-американец образца 1970 года! Трам-там-там-тататататам! *(Выводит модель Мексикано-американца, гладко выбритого, в очках, одетого как средний американский служащий.)*

Секретарша *(завороженно)*. Где вы прятали это чудо?

Санчо. Он поступил только что, утром. Хорош, не правда ли? Прямо-таки загляденье! Вот: прочный каркас, сразу видно — "Ю. С. стил", современная обтекаемая форма. Между прочим, сконструирован точно по образцу наших англо-американских моделей, но производится в тонах потемнее: под коричневую клеенку, под кожу и под кожаменитель.

Секретарша. Пусть будет под коричневую клеенку.

Санчо. Хорошо, как скажете. Поистине, сеньорита, эта модель апогей американской инженерии! Типаж двуязычен, он выпускник колледжа, честолобив! Только прикажите ему американизироваться — он всегда готов. Умен, воспитан, опрятен — хотите проверить?

¹ Упоминаются места сражений времен Мексиканской революции 1919 г.

Щелчок.

Мексикано-американец поднимает руку.

Понюхайте.

Секретарша (нюхает). Изумительно!

Щелчок.

Модель оборачивается к Санчо.

Санчо. Эрик! (Секретарше.) Мы назвали его Эрик Гарсиа. (Эрику.) Познакомься с мисс Джи-менес, Эрик.

Мексикано-американец. Мисс Джи-менес, счастливы с вами познакомиться. (Целует ей ручку.)

Секретарша. О-о, очаровательно!

Санчо. Вы почувствовали присоски? У него имеется семь специально вмонтированных в губы присосок. Не правда ли, мил?

Секретарша. А его можно настроить на режим работы наших комиссий?

Санчо. Каких хотите — сможет в любой. И в комиссии по взятию на поруки, и в призывной комиссии, и в школьной, и по контролю за качеством тако, и в пляжной...

Секретарша. А как насчет политических программ?

Санчо. Сеньорита, в нем политический механизм. Слыхали о программе "Война нищете", об отделе экономических возможностей и прочее, прочее? Наша модель действует повсюду. Это что, он может еще произносить и политические речи.

Секретарша. А можно послушать?

Санчо. Ну конечно.

Щелчок.

Эрик, скажи речь.

Мексикано-американец. Мистер Конгрессмен, мистер Председатель, члены комиссии, почтенные гости, леди и джентльмены!

Санчо и Секретарша аплодируют.

Благодарю, благодарю. Я, Мексикано-американец, пришел к вам, чтобы поговорить о проблемах мексиканцев. Проблемы мексиканцев происходят от одной, и только одной, причины: мексиканцы глупы. Они необразованны. Им следует еще много учиться. Им следует научиться быть честлюбивыми, глядеть только вперед, трудиться только прилежно! Им следует думать только по-американски, американски, американски, АМЕРИКАНСКИ, АМЕРИКАНСКИ! БОЖЕ, ХРАНИ АМЕРИКУ! БОЖЕ, ХРАНИ АМЕРИКУ! БОЖЕ, ХРАНИ АМЕРИКУ!

В механизме что-то расстраивается. Санчо лихорадочно щелкает пальцами, и вот Мексикано-американец повисает, как марионетка, сложившись вдвое.

Секретарша. О, да он к тому же и патриот!

Санчо. Sí, сеньорита! Он любит свою родину. Позвольте, я слегка подправлю вот здесь... (*Выпрямляет модель.*)

Секретарша. Ну а как в смысле содержания? Не очень дорого обходится?

Санчо. Что ж, не стану скрывать. Мексикано-американец стоит несколько дороже, но вы не пожалеете. Он стоит этих денег. Может работать на сухом мартини, на белом хлебе...

Секретарша. А если дать яблочный пирог¹?

Санчо. Только если "Домашний", из пакетика. Конечно, он запрограммирован по торжественным случаям на мексиканские блюда, но должен вас предупредить: лишняя порция бобов может повредить его внутреннее устройство.

Секретарша. Чудесно! Итак, последнее: сколько вы за него хотите?

Санчо. Ладно, знаете что? Сегодня, и только сегодня, ради вашего обаяния, я отдам вам эту модель за так! За бесценок берите, увозите — взглянем, какой там налог на патент, — ну что ж, берите всего за пятнадцать тысяч!

Секретарша. Что? Пятнадцать тысяч долларов за *мексиканца*?

Санчо. О чем вы, мадам! Какого мексиканца? Ведь это мексикано-американец! Нам пришлось переработать двух пачуко, одного батрака и трех гавачо², чтобы получить эту модель! За хороший товар надо хорошо платить! Это вам не дешевка. Это экстра-класс!

Секретарша. О'кей, я беру его.

Санчо. Точно берете?

Секретарша. Получите деньги.

Санчо. Не возражаете, если я пересчитаю?

Секретарша. Ради бога!

Санчо. Все точно, как в аптеке. Желаете завернуть покупку? У нас есть для него коробка.

Секретарша. Нет, спасибо. У губернатора сегодня обед, и нам как раз не хватает смуглого лица в толпе. Как им управлять?

Санчо. Просто щелкните пальцами. Он сделает все, что прикажете.

Секретарша щелкает. Мексикано-американец выступает вперед.

¹ Яблочный пирог считается одним из национальных блюд в США.

² Уничижительное прозвище белых американцев.

Мексикано-американец *(по-испански)*. ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! ВОЗЬМЕМСЯ ЗА ОРУЖИЕ, ЧТОБЫ СБРОСИТЬ ИГО ПРОКЛЯТЫХ УГНЕТАТЕЛЕЙ-ЯНКИ! ВПЕРЕД!

Секретарша. Что это он говорит?

Санчо. Вроде насчет того, чтоб взять оружие, перебить угнетателей...

Секретарша. Но он же должен говорить совсем другое!

Санчо. Послушайте, мадам, я тут ни при чем, это производственный брак! Вот вам мексикано-американец, вы его купили, теперь забирайте!

Секретарша. Но он же неисправен!

Санчо. Попробуйте щелкнуть с другой руки.

Секретарша щелкает. Мексикано-американец вновь оживает.

Мексикано-американец *(по-испански)*. МОЙ НАРОД ГОВОРИТ: ДОВОЛЬНО! И ВЫХОДИТ НА БОРЬБУ! ДОВОЛЬНО! ДОВОЛЬНО! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ НАРОД! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШЕ ДЕЛО! ДА ЗДРАВСТВУЮТ КОРИЧНЕВЫЕ БЕРЕТЫ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗАБАСТОВКА! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТУДЕНЧЕСТВО! САМОУПРАВЛЕНИЕ — ЧИКАНО! *(Поворачивается к Секретарше, та вскрикивает и пьтится назад. Он поворачивается к Пачуко, Батраку и Бунтарю, щелкает пальцами, включая их одного за другим.)*

Пачуко *(Секретарше)*. Ну, держись, детка! *(По-испански.)* ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОД!

Батрак *(Секретарше, по-испански)*. Стачка! Стачка! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАЧКА!

Бунтарь *(Секретарше, по-испански)*. Да здравствует революция! ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ!

Все трое наступают на Секретаршу, она с криком выбегает из лавки. Санчо застывает на другом конце сцены с деньгами в руках. Пауза. Потом Пачуко начинает разминаться, потягиваясь и встряхивая руками.

То же делают Батрак и Бунтарь. Санчо продолжает стоять в оцепенении.

Джонни. Да уж, долго это длилось, а, ребята?

Остальные кивают.

Батрак. Как мы справились?

Джонни. Молодцы! Ишь гад! *(Подходит к Санчо и отбирает у него деньги. Санчо не смеет двинуться.)*

Бунтарь. Матерь божья, целая куча денег!

Джонни. Если не пустим по ветру — заживем!

Батрак. Они думают, мы машины...

Бунтарь. Выючные ослы...

Джонни. Марионетки...

Мексикано-американец. Одно только мне непонятно: с какой стати я должен все время играть роль этого чертова Мексикано-американца?

Джонни. Вот до чего университеты доводят!

Батрак. Эй, а как насчет нашей доли?

Джонни. Вот, держите. Три тысячи тебе, тебе, столько же тебе и мне. Остальное вложим в дело.

Мексикано-американец. Слишком жирно для дела. Куда нынче вечером, ребята?

Батрак. Я пойду к Конче. Там сегодня вечеринка.

Джонни. Погодите-ка! А что будем делать с этим торгашом? Может, его надо смазать, чтоб задвигался?

Бунтарь. Ладно, я им займусь.

Пачуко, Батрак и Мексикано-американец уходят, громко обсуждая, куда отправиться вечером. Бунтарь подходит к Санчо, снимает с него шляпу, отбирает сигару, поднимает Санчо, закидывает, как тряпичную куклу, через плечо, Санчо безжизненно повисает на Бунтаре.

(В зрительный зал.) Вот вам наша лучшая модель! Не купит ли кто? *(Уходит.)*

ОЛЬГА КЭБРЕЛ

Ольга Кэбрел (Olga Cabral) — известная поэтесса, родилась в семье португальских иммигрантов. Живет в Нью-Йорке. Начала печататься еще в 50-е годы; ее имя постоянно появлялось в антологиях протеста, выходивших под редакцией ныне покойного Уолтера Лоуэнфелса, популярного поэта-демократа и борца за мир. Кэбрел — поэтесса, обладающая обостренным восприятием отрицательных сторон американской буржуазной действительности, болезненно отзывающихся в ней самой, в каждом проявлении ее личной жизни. Эта самобытность восприятия освобождает поэзию Кэбрел, сколь бы ни был конкретен импульс, возбуждающий к жизни ее стихи, от репортерского буквализма. Ее стихи стремительны, экспрессивны, насыщены гротескными образами. Публикуемые стихотворения взяты из книги "Посреди царства льда" ("In the Empire of Ice"), 1980.

КРИК

Сикейросу

Здесь в мастерской кричала киноварь
из горла тюбика голосом минерала.
Ты кисть обмакиваешь. Взрывает краска
выцветшее одиночество небес.
Взрыв принимает форму человека.
Глаз вылетает из глазницы
и замирает на умершем дереве
горящей черной птицей.

Быть может чья-то обувь запылала
быть может город в пламени.
Быть может апельсины у окна
увидев это побледнели.
По четырем лучам все разлетелось
со скоростью страданья.
Мелькает россыпь кулаков ступни
лупят в холст как град камней.

Вот мимо проплывает ухо
сорвавшись с кости-якоря.
Пуп
осью колеса.
Лицо там оставалось.
Но и оно разрознено.
Остался только рот.
Красное жерло страдания
кого-то в мир пришедшего
чтобы голодать.

Раскручивался круг
рот рос и рос
шторм киновари
из горла урагана
выдавливается крик
младенца пришедшего
в мертвый мир.

ЧЕРНЫЕ БЕЛЫЕ СЕРЫЕ И КРАСНЫЕ ГВОЗДИКИ

Ступают изгнанники один за другим
на землю Испании
высокие силуэты на бледном экране
кадры старого тусклого фильма
черно-белый повтор
хроники 1930-го

Ибаррури пламенный цветок
постаревшая Пасионария
Долорес печалей
твои волосы побелели
тебе подносят
красные гвоздики

В дрожащих пальцах красные цветы
смягчают строгость черного платья
стенанием миллионов женщин
плачет твой белый платок
исцарапанная целлулоидная память
твои белые волосы озаряют
алебастровый лик

Долорес
черное

как антрацит
твое платье
дочь шахт Астурии
ты вернулась в платье вечного плача

в черном
 из черных гвоздик
 из гвоздик смерти
в черном
 из черных списков за 40 лет
 из черного черствого хлеба
 из черных могил казненных

Черное белое и серое
"Гернику" Пикассо
дома встречают
воздетые кулаки

Народ понимает
без пояснений
музейных:
распад расчленение
взрывы плоти
людей и животных стонущих вместе

Взорванная лошадь подавилась криком
перепрыгнула океан
и свободная мчится в родные просторы
снова вместе слетелись осколки
и стали лампой
и зажглись на шахтерском столе
чистым светом
бык с изумленным ликом
невинного зверя
смотрит как мертвый ребенок вскакивает и взрослеет
и в новом поколении находит свое место

Черные белые и серые
и красные гвоздики

 черные
 от горсти земли
 стучавшей в сердце
 далеко в изгнании
 белые
 от седины тех
 кто все вынес
 и вернулся

серые
от серых штурмовиков
от праха на лицах
от мрачных процессий
безмолвных десятилетий
красные
красные гвоздики.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД В ПИКСКИЛЛ

Уолтеру Лоуэнфелсу

Как жизнь, Уолт?
Ты занят как всегда
слишком занят тебе не до смерти?
В карманах стихи как всегда
на смятой оленьей коже
с росчерком последних слов
старого вождя?
Или стихи на алмазах
как ты твердил единственных
страницах достойных
молодых поэтесс-негритянок?
Или ты ищешь слова
самых новейших
неведомых поэтов космоса?

Ты так быстро мчишься, Уолт,
так далеко отсюда
на своей астральной машине
и на заднем сиденье все те же
страницы страницы
со стихами всевозможных поэтов
ими забиты картонные коробки
среди пустых зеленых бутылок
позвякивающих дружно
и страницы еще страницы
они точно пропитаны вкусным
соком раздавленных апельсинов
стихи надкусанные как яблоки
и вот разбросана кожа
в этом милом космическом беспорядке.

На скорости света
ты преследуешь свою последнюю поэму
рядом с тобой Лилиан
Лилиан моей первой встречи
легконогая в сандалиях
совсем как одна из ее дочерей.

Есть ли там речь на звездах
столь же прекрасная как земная?
Владеют ли там поэты
пламенным языком неземного
сравнятся ли с поэтами Земли?
Ты повсюду находишь поэтов.

Под старым беретом скрыта
твоя бывшая шевелюра
улыбка открыта лазурным окном
душа как приют нараспашку
ты весь мир бы сумел вместить:
переполнено — но входите!
Поэзией
сыт не будешь ты так говорил
но ты и в лохмотьях
всегда будешь
счастлив.

Ты не встретишь меня, Уолт,
на маленьком полустанке.
Там где время уходит в безвременье
исчезает на карте
пятно
долины Гудзона.
Я еду последним поездом
в Пикскилл.
И в ожидании
замираю как на фотоснимке.
Твоей машины не будет.
Я осталась в долгом дизельном стоне
а космический поезд твоей поэзии
заворожен на вираже
спиральной галактики
где ты всегда находил
свой дом.

КСЕНОНОДЫШАЩИЕ

I

*Водородная
бомба:
атолл
Бикини*

Остров стерт вспышкой
в красную пыль. Скалы вскипали.
Исходила паром вода.
На дне морском
твари без глаз

после тьмы миллионов лет
узрели свет 1000 солнц
и погибли.
Отец всех рыб
ощутил как увязли глаза во лбу
и в воде задыхаясь
возвестил сквозь бездну
из глубин своей огромной рыбьей пастью
всем племенам морским
чудовищную весть
без слов.

II

*Богиня
острова*

Вот остров смерти.
Его обходят стороной
корабли с живыми.
Тошнит океан.
Черепаша в чреве носит смерть.
Древний панцирь наращивает на себе
из стронция.
Кропотливо краб
строит и перестраивает
свою скорлупу
из гранул смерти.
Из чего еще?
Скорбь и скорбь.
Нет моего народа.
Смерть таится
в налете пыли:
так мала
плутониевая смерть
но мощнее тысячекратно древней чумы.

III

*Новая раса
на Земле*

Жизнь продолжится как полужизнь
уверяют нас.
Мы вырастем и привыкнем жить
с 200 радиоизотопами.
Наши дети станут
ксенонодышащими
в атмосфере благородных газов.
Утратив сострадание всего лишь
наши дети-машины
станут разумнее

долговечнее
и освоят холодные
далекие планеты
и будут связаны с нами
только воспоминаниями.

IV

Дымка

С острова поднялось
ядерное облако выше
шести Эверестов.
Растянутая
дымка
дрейфовала
по течению ветра.
В открытом море
тянули
свои сети
рыбаки
на небольшом судне.
Его название
"Счастливый Дракон"
вселяло надежду на добрый улов
и в этот день
когда с неба упал пепел
и рыбакам явил
новое чудо.

V

Новые смерти на Земле

Богине Гее неведомые смерти
жаждут
чего не ведали прежние смерти.
МЕГАСМЕРТЬ жаждет МЕГАВОЙН
МЕГАПРАХ жаждет МЕГАУБИЙСТВ
МЕГАСМЕРТЬ
МЕГАВОЙНЫ
МЕГАПРАХ
МЕГАУБИЙСТВО
жаждут гибели:
всего человеческого рода
всех детей рожденных и нерожденных
зачатых и незачатых
грядущих поколений
человечьих генов.

VI

*Богиня
острова*

Этот остров
лишь точка
зеленая точка
в синих пустынях
океана.
Мой народ
лишь точка
в истории
наций.
Кто заговорит за них?
Века пролетят
ветер пройдет по отравленным пальмам
упадут кокосы с запасом
стронция и цезия.
Призраки предков
глядят сквозь море
в ожидание потомков
что никогда не вернуться:
и умирают смертью вне смерти.

VII

*Земля —
дитя
хаоса*

Эта земля —
всего лишь остров
зеленая точка
в океане
космической пыли.
Гея —
мать всех вещей
мать Океана
мать Неба:
новый род титанов
рожденных от связи машин и людей
хочет тебя убить.

ЛЕСЛИ МАРМОН СИЛКО

Лесли Мармон Силко (Leslie Marmon Silko) — род. в 1948 г. в г. Альбукерке, штат Нью-Мексико. Происходит из племени лагуна. Поэтесса, новеллистка, романистка. Окончила университет в Нью-Мексико, где изучала право. В последние годы живет в Кетчикане, штат Аляска.

Основные истоки творчества Силко — жизнь и история народа лагуна, индейской общины в Нью-Мексико и эскимосов севера США.

Имя Силко, как и имя Скотта Момадея, занимает одно из ведущих мест в современной литературе американских индейцев. Писательница многократно удостоивалась литературных премий, в частности премии журнала "Чикаго ревью" за поэтический сборник "Женщина из лагуны" (1974). Рассказы Силко входили и входят в антологии лучших рассказов года. В числе наиболее значительных ее публикаций — книга "Церемония" ("Ceremony"), 1977, и своеобразная по композиции книга "Сказители" ("Storyteller"), 1981, куда вошли лучшие образцы прозы и поэзии писательницы за последнее десятилетие. Данные публикации взяты из этого издания. Легенды и предания, пришедшие из прошлого, образуют основу произведений Силко. В ее лирике звучит огромная любовь к земле, на которой живет она, на которой жили ее предки. В прозе Силко мы постоянно слышим отголоски ее поэзии — глубокой, многоассоциативной.

МОЛИТВА ТИХОМУ ОКЕАНУ

1

Я отправилась в путь к Океану
ушла
от песчаных холмов юго-запада
к синей подвижной воде
необъятной как миф о твореньи.

2

Бледен
 бледен отсвет воды в желто-белом сияньи
 солнца уносимой на запад
 к Китаю
 где когда-то рожден океан.
 И летят облака над песками.

3

Сесть на мокрый песок и сказать океану:
 я вернула тебе бирюзу и багровый коралл —
 твой подарок.
 Брат Земли я уйду с четырьмя голышами в кармане
 унесу океан чтобы помнить губами на вкус.

4

И тому тридцать тысяч лет:
 на гигантских морских черепахах
 океан переплыли индейцы.
 В этот день были грозные волны.
 Из вечернего серого моря
 тяжко на берег шли черепахи.
 И четырежды Дед-Черепаха на песке повалился
 и канул
 в закатное солнце.

5

С той поры
 незапамятной,
 как старики уверяют,
 дождь нам с запада тучи приносят,
 и дарит их нам океан.

6

Зелень листьев дрожит на ветру,
 и сырая земля под ногами
 глочет дождины,
 прилетевшие к нам из Китая.

ИНДЕЙСКАЯ ПЕСНЯ: УМЕНИЕ ВЫЖИТЬ

1

Мы спешили на север,
уходя от зимы,
пробирались по бледным утесам и на ночь
засыпали у самой реки.

2

Ледяная вода, ледяная река, опаленная севером.
Я спускаюсь в нее на мели,
оседаю в песок и в речную студеную воду.

3

Ты ночуешь в белесых ветвях ивняка,
у реки, над моей головою.
Я учуял твой запах в серебряных листьях: но, пума,
зелень ив не густа и тебя не сумеет укрыть.

4

Я с рекою проспал в эту ночь,
и она согревает теплей человека.
На заре я услышал, как лед зазвенел
в тростнике.

5

Желтоглазая пума,
ты ешь по дороге цветы,
мы тебя поджидаем.
И я не хочу дознаваться, зачем
ты пошла этой смертной тропой на север.

6

Я достойной охотой сумел заслужить эти перья.
Я умею скрываться в сетях паутины,
что повисла на сером непрочном стволе
над рекой.
А ночами я слушаю пение веток,
скрежет жухлой листвы о поверхность луны.

7

Над рекою — напевы зеленых пятнистых лягушек,
и она замерла в ожидании.
Это пума уводит меня за собой
следом горного ветра,
петящего дальше
и выше,
к Скале Облаков.

Это лишь дело времени:
ты не сможешь, индеец, вечно спать у реки.
Слушай запах предзимья и знай.

Я глотаю прогорклую горную пыль,
ты тем временем ловишь колибри
на приманку цветов
и пыльцы, лепестков,
осыпаемых Млечным Путем.

Ты лежишь на припеке со мной,
нас качает тепло, и тебе любопытно,
ощущаю ли я, как и прежде, дыхание зимы.
Горный ветер сместился в лесах на восток.
Я тебе отвечаю: почувствуй мой вкус.
Я как ветер,
ты можешь коснуться меня.
Я седой отощавший олень,
кромкой радуги скачущий в небо.

СКАЗИТЕЛИ

Солнце с каждым днем появлялось все ниже над горизонтом и ползло все медленней и медленней, пока однажды она с испугу не принялась звать тюремного надзирателя. Ей показалось, что она тут целую вечность, а солнце так и не сдвинулось с середины неба. Последние дни цвет неба стал нехорош — бледно-голубой, почти белый, даже когда небо было безоблачным. Она подумала: это дурной знак — небо, неотличимое ото льда реки, смерзшаяся над землей белесая твердь. За рекой тянулась тундра, но границы между рекой, холмами и небом расплылись в бледных льдах.

Она снова крикнула, на этот раз какие-то случайные английские слова, может быть ругательства, которые слышала прошлой зимой от людей, что бурили нефть. Тюремный надзиратель — эскимос, но он не станет разговаривать с ней на юпик¹. Заключенные из других камер пытались заговаривать с ним на юпик,

¹ Язык эскимосов южной и юго-западной Аляски.

но он делал вид, что не слышит, пока они не начинали говорить по-английски.

Пришел надзиратель и уставился на нее. Она заговорила и, лишь когда он взглянул на узкое высокое окошко позади нее, догадалась, что он понимает, о чем она говорит. Он посмотрел на солнце, повернулся и зашагал прочь. Он шел к выходу, и она слышала, как позвякивали пряжки на его ботинках.

Здание тюрьмы походило на все прочие дома, которые привезли с собой белые люди, гуссуки: школу, бюро по делам индейцев; эти переносные дома, разобранные на части, доставили по реке на баржах. Металлическая обшивка снаружи и слои теплоизоляции внутри. Она как-то спросила, зачем это, и ей ответили: для защиты от холода. Тогда она не рассмеялась, зато рассмеялась теперь. Подошла к узкому с двойной рамой окошку и расхохоталась. Они думают, от холода можно защититься тощей желтой подбивкой. Взгляните на солнце. Оно недвижно, оно сковано, оно заледенело в сердцевине неба. Взгляните на небо: твердое, словно река во льду, полонившая солнце. Солнце давно уже недвижимо, а скоро и совсем обессилеет, и жгучий мороз примется лизать его края, а потом и вовсе затянет его лик, точно маска. Бледно-желтый, истощенный зимой свет.

Она видела людей, что шли по заснеженным дорогам; их дыхание клубилось из-под капюшона парки, лица прятались в пушистую меховую оторочку. Ни автомобилей, ни азросаней — мороз вынудил их моторы умолкнуть. Металл леденел, растрескивался и разламывался. Топливо твердело, подвижные части машин цепенели. Прошлой зимой она видела, как это случилось и с их большими желтыми машинами и огромным буром — они тогда бурили пробные скважины. Мороз застопорил работу, и гуссуки оказались беспомощны.

Ее деревня была вверх по реке за много миль от этого городка, и теперь она ясно себе ее представила. Их дом не стоял рядом с другими деревенскими домами. Он был на отшибе еще выше по реке, на самом берегу. Снега обычно наметало по самую крышу с северной стороны, а возле двери на дорожке с западной стороны его почти не было. В прошлое лето она прибила снаружи дома куски красной жести. Но не для тепла, как это делали другие жители деревни, а из-за яркого красного цвета. Приближалась последняя зима; давно уже многие годы являлись ее предвестники.

Она пошла туда потому, что ей интересно было поглядеть на большую школу, куда местные власти послали учиться всех других девочек и мальчиков. Ребенком она редко играла с деревенскими детьми — они боялись старика и разбегались, когда подходила ее бабка. Она пошла туда потому, что ей наскучило быть одной со старухой, у которой, сколько она ее помнила,

вечно деревенело тело. Костяшки пальцев и колени у нее уродливо распухли, бурая кожа лица от боли туго натянулась на скулы, глаза стали походить на речную гальку. Девочка однажды спросила старую женщину, что случилось с ее телом; старуха подняла голову от шитья нерпичьих торбасов¹ и уставилась на девочку.

— Суставы, — тихо проговорила старуха, точно ветер прошестел по крыше, — суставы распухают от гнева.

Иногда старуха не отвечала девочке, а только пристально глядела на нее. С каждым годом старуха говорила все меньше и меньше, а старик — все больше, иногда всю ночь разговаривал сам с собой: негромко, задумчиво рассказывал истории, шевеля поверх одеяла ловкими смуглыми руками. Уже многие годы он не ловил рыбу и не охотился вместе с другими мужчинами, хотя не был больным или калекой. Всю зиму он не вылезал из постели — от него пахло вяленой рыбой и мочой — и рассказывал истории; а когда возвращалось тепло, он отправлялся к своему месту на берегу реки. Там он усаживался и, вороша длинным ивовым прутом тлеющий мох, который зажигал, чтобы отогнать мошкар, снова принимался за свои истории.

Беда была в том, что она вовремя не вняла предостережениям. Она не знала, чем обернется для нее гуссуksкая школа, пока не вошла в спальню интерната и не убедилась, что старик ей не солгал. Она-то думала, он пытается запугать ее, как прежде, когда она была совсем маленькой и бабка, уходя во двор потрошить рыбу, оставляла ее со стариком. Она не верила тому, что он говорил о школе, потому что знала: старик хочет, чтобы она осталась там, в деревянной хижине, рядом с ним. Она знала, чего он хочет.

Воспитательница стащила с нее трусы и отстегала ее кожаным ремнем за то, что она не хотела говорить по-английски.

— Темные люди, деревенщина, — проворчала воспитательница, она сама была эскимоской, но уже давно работала в бюро по делам индейцев. — Продержали девчонку, теперь ее и учить-то поздно.

Остальные девочки перешептывались по-английски. Они умели обращаться с душем и перед сном смачивали волосы и завивали их. И ели гуссуksкую еду. Она лежала в кровати и представляла: что шьет сейчас ее бабка и что ест в постели старик. Когда настало лето, ее отослали домой.

Перед тем как отпустить в школу, бабка крепко обняла ее, и это тоже должно было насторожить, потому что старуха уже давным-давно не обнимала ее, да и вообще не прикасалась к ней. Иное дело — старик, его руки вечно искали ее, они блуждали, точно ленивые вороны, что кружат и кружат в небе.

Когда у посадочной полосы ее встретили священник и ста-

¹ Сапоги из нерпы, обычно на подошве из тюленьей кожи.

рик и сказали, что бабушка умерла, она не удивилась. Священник спросил ее, где она хочет жить. Старика он при этом называл ее дедом, но она не стала его поправлять. Она уже задумывалась над этим: если она пойдет со священником, он отошлет ее обратно в школу. Старик — совсем другое дело. Она знала, он не отошлет ее в школу. Она знала, он хочет, чтобы она осталась с ним.

Старик сказал ей однажды: скорее она станет слишком старой для него, чем он слишком старым для нее; но она не поверила ему, иногда он лгал ей. Он солгал ей о том, что сделает с ней, если она придет к нему в постель. Но с годами она поняла, что он говорил правду. Она была крепка и непоседлива. И нетерпелива со стариком, который, не переставая, ворочался под одеялом.

Всю зиму старик провел в постели, вылезая из нее только для того, чтобы воспользоваться стоящим в углу ведром. Сейчас он дремал с полуоткрытым ртом, губы его подрагивали, они и во сне иногда шевелились, будто он рассказывал историю. Она натянула нерпичьи торбаса, мягкие сапожки на ярко-красной фланелевой подкладке, что сшила для нее бабка, серые шерстяные штаны обвязала вокруг лодыжек красными нитяными шнурами, застегнула молнию парки из волчьего меха. Бабка носила эту парку долгие годы, но перед смертью, по словам старика, велела похоронить себя в старом черном свитере, а парку отдать внучке. Серебристо-кремовая шкура волка местами была почти белой, и зимой старуха бродила по тундре, едва отличимая от снега.

Девушка шла к деревне, пролагая собственную тропу в глубоком снегу. У дома на краю деревни на нее залаяла и стала рваться с цепи упряжка собак. А девушка все шла и шла, то и дело заглядываясь на проступавшие в сумерках первые вечерние звезды. Потеплело, и собаки стали проворны и резвы. Но ударят морозы, и собаки опять свернутся клубками и замрут, оцепенев от холода, не в силах ни лаять, ни рваться с цепи. Она нарочно расхохоталась: пускай повоюют, порычат. Однажды старик увидел, как она дразнит собак, и покачал головой. "Так вот какая ты, — сказал он. — Только зимой и мы с тобой вроде этих собак. Сидим и ждем: кто принесет хоть немного рыбы".

Она снова расхохоталась и пошла дальше. Она думала о бурильщиках нефти, об этих гуссуках. Станные они — внимательно разглядывали ее, когда она проходила мимо их машин. Интересно, какие они под этими ватными стегаными брюками, интересно, как они движутся. Навряд ли они похожи на старика.

Старик орал на нее. И тряс за плечи с такой силой, что голова ее билась о бревенчатую стену.

— Я проснулся и сразу почувял! — кричал он. — Теперь я уверен. Ты меня не проведешь!

Его тощие ноги в мешковатых брюках дрожали, босые ступни то и дело натыкались на ее ботинки. Желтые длинные ногти на ногах торчали, словно птичьи когти; прошлым летом она видела, как у берега в мелководье дрались два серых журавля. Она расхохоталась и выдернула плечо из его цепкой руки. Старик стоял перед ней, задыхаясь и дрожа, он казался совсем слабым. Будущей зимой он, наверно, умрет.

— Я предупреждаю тебя, — говорил он. — Я предупреждаю тебя.

Потом снова забрался на койку и тут же полез под старую замусоленную подушку за вяленой рыбой. Улегшись навзничь и глядя в потолок, он жевал куски сушеного лосося.

— Не знаю, что говорила тебе старуха, — продолжал он, — но быть беде.

Он взглянул на нее: слушает она или нет. Лицо его вдруг смягчила улыбка, темные узкие глаза утонули в смуглых морщинках.

— Говорю тебе... хотя тебя сейчас не примешь. Я чую, что ты делала всю ночь с гуссуками.

Она недоумевала, зачем они пришли сюда — деревушка почти в самом верховье реки и так мала, что даже эскимосы, те, что уезжали учиться, не все вернулись. Они остались в низовьях реки, в городе. В деревне, говорили они, слишком тихо. Они уже привыкли к городу, где была школа-интернат, привыкли к водопроводу и электричеству. Они столько лет провели в школе, что уже забыли, как ставить сети в реке и где охотиться осенью на тюленей. Когда она спросила старика, зачем гуссуки пришли в деревню, его узкие глаза зло блеснули.

— Они приходят, только чтобы чем-нибудь поживиться. Пушного зверя добывать теперь трудно, и рыбу и тюленей ловить тяжело. Вот они и пришли за нефтью, что глубоко в земле. Но это уже в последний раз. — Часто и хрипло дыша, он воздел руки к небу. — Оно приближается. Когда оно придет, льды раздробят небо.

Старик часами лежал, не мигая и не сводя широко раскрытых глаз с низких балок потолка. Она вспомнила все это так ясно, потому что в тот день старик начал свою историю, ту самую нескончаемую историю. Начал он ее с рассказа о медведе: он описывал его мускул за мускулом от загнутых желтоватых когтей до завитков шерсти на массивной голове. Восемь дней старик не спал и не умолкая рассказывал о громадном голубоватом, точно льдина, медведе.

На тропинке к дому снег был грязный и утопанный. А по бокам тропинки лежал выше головы. Перед дверью, там, где

мужчины мочились, на снегу проступили узорные желтые пятна. Она приостановилась у входа и стряхнула с торбасов снег. Внутри тусклый свет — рядом с кассой чадила керосиновая лампа. Длинные деревянные полки ломились от банок с фасолью и тушенкой. На нижней полке — разбитая банка майонеза, и от нее на полу белые маслянистые подтеки. В лавке никого не было, лишь перед длинной стеклянной витриной спала грязновато-желтая собака. Собака отражалась в витрине, и казалось, будто она лежит на ножах и патронах. Гуссуки держат собак прямо в доме; и собачья вонь их вроде не смущает. "Они смотрят на нас брезгливо, потому что мы едим сырую рыбу и мясо с душком. Но мы не живем с собаками", — сказал однажды старик. Она услышала, как в задней комнате разговаривают и тяжело стучат бутылками по столу.

Они всегда были уверены в успехе. В первый год они подождали, пока в верховье вскроется лед, а потом привезли на баржах свои огромные желтые машины. Они надеялись, что успеют пробурить скважины за лето, до заморозков. Там за рекой, на краю тундры, до сих пор виднелись колдобины и следы их машин, которые затягивало летней грязью, едва успевали машины отойти от реки. Деревенские жители собирались, чтобы поглядеть на белых людей и посмеяться над тем, как они отводят эти громадины одну за одной прямо в топь, словно поток машин заставит тундру отвердеть. Старик сказал, что белые люди отчаянные и они обязательно вернуться. Тундра замерзнет, и они снова будут тут.

В заднюю комнату деревенские женщины даже не заглядывали. Священник предупреждал их. Хозяин лавки следил за ней — он не позволял эскимосам и индейцам садиться за стол в задней комнате. Но она знала, он не посмеет ее выгнать, если ее пригласит кто-нибудь из белых посетителей. И она вошла в комнату. Они уставились на нее, но ей это было безразлично, потому что она шла по комнате будто не по своей воле. Рыжий гуссук отодвинул стул и кивнул ей, чтоб она села. Когда он стал наливать ей в стакан сладкого красного вина, она посмотрела на хозяина лавки. И ей захотелось расхохотаться над ним, так, как она хохотала над собаками, что рвались с цепи и рычали на нее.

Рыжий продолжал говорить с гуссуками, которые сидели с ним за столом, а рука его скользнула к ее бедру. Она взглянула на хозяина: наблюдает он за ней или нет — и расхохоталась. Рыжеволосый смолк и обернулся к ней: может быть, она хочет уйти? Она кивнула и поднялась.

В деревне ему кое-что о ней рассказывали, начал рыжий, когда они спускались по дороге к его фургону. Это все, что она поняла, остальное она не расслышала. Урчание огромных генераторов заглушало его слова. Но то, что говорилось по-английски, больше ее не занимало, как и то, что христиане болтали о ней или о старике. Она улыбнулась: в морозном воздухе

лампочки вокруг фургона уже не сияли. Остались только желтые провалы во тьме.

Рыжий долго возился даже после того, как она разделась. Она ждала в кровати, натянув одеяло и наблюдая за ним. Он отрегулировал радиатор, зажег свечи и погасил электрический свет. Порылся в стопке пластинок, пока не отыскал нужную. И наконец сделал что-то не совсем понятное: на стену — так, чтобы ему было видно с кровати, — прикрепил какой-то предмет. Рыжий съежился и побелел от холода и, чтобы согреться, прижался к ее телу. Потом притянул ее руки к своим бедрам; он весь дрожал.

В последний раз она пришла к нему лишь для того, чтоб узнать, что он прикрепляет к стене. Всякий раз, вставая с постели, он снимал это что-то со стены и сворачивал, чтоб она не успела разглядеть, но в этот раз она была начеку: она дождалась, когда он часто задышал и в изнеможении опустился на нее. И тут она выскользнула из-под него и встала возле кровати. Одеваясь, она разглядывала картинку. Он лежал, уткнувшись в подушку, и, когда она выходила из фургона, ей послышалось, будто он скрежещет зубами.

Она вошла в дом и услышала, как старик заворочался. После фургона гуссука в деревянной хижине было прохладно. Пахло вяленой рыбой и подкисшим мясом. В комнате было темно, только в железной печке за слюдяным окошком посверкивало желтое пламя. Она долго сидела на корточках перед печкой и глядела на языки пламени, а потом подошла к кровати, где раньше спала ее бабка. Кровать была покрыта грудой тряпья и обрезков меха, сбереженных старухой. Она зарылась в это тряпье и вдруг наткнулась на что-то холодное и твердое, завернутое в шерстяное одеяло. На ощупь — гладкий камень. Давным-давно, еще до прихода гуссуков, у них была большая каменная лампа — жирник, она и светила, и грела. Старуха сберегала все необходимое до поры до времени.

Утром старик вытащил кусок сушеной оленины из-под одеяла и протянул ей. Пока ее не было, люди из деревни принесли сушеного мяса. Она медленно жевала и думала, до сих пор они приходят из деревни и заботятся о старике и слушают его истории. Но теперь и у нее есть история, о рыжеволосом гуссуке. Старик знал, о чем она думает, он улыбнулся, и лицо его округлилось.

— Ну и что это было? — спросил он.

— Женщина, и огромная собака.

Старик тихо рассмеялся и поплелся к бочке с водой. Опустил жестяную кружку в воду.

— Чему тут удивляться?

— Бабушка, — сказала она, — в то утро я видела в траве что-то красное. Я помню.

Она никогда раньше не спрашивала о родителях. Старуха перестала потрошить и подвешивать рыбу. Кожа у нее на лице так туго обтягивала кости, что девочка подумала: старуха не сможет заговорить.

— Они купили его у лавочника, целую жестяную банку. Поздно ночью. Он сказал, это спиртное безвредное. Они за него отдали ружье. — Старуха говорила так, будто каждое слово отбирало у нее силы. — Ружье им уже было ни к чему. В тот год приплыли гуссуки, они стреляли из больших ружей по моржам и тюленям. Что толку после них охотиться. Так вот, когда твои отец и мать уходили в ту ночь, я им ничего не сказала.

Старая женщина говорила тихо и мягко, давно она так не разговаривала.

— Вот прямо тут, в сторожке. — Старуха указала на поваленные столбы, присыпанные речным песком и скрытые высокой травой. — Солнце тогда стояло до полночи. А рано утром, когда оно еще было низко, явился полицейский. Я велела переводчику сказать ему, что их отравил лавочник.

Старуха повела рукой, показывая, как их тела лежали, скрюченные, на песке; она рассказывала, точно с трудом ковыляла по глубокому снегу, в седых волосах надо лбом заблестели бусины пота.

— Я и священнику сказала, когда он пришел. Я ему сказала, лавочник врет. — Она отвернулась. Губы ее сжались еще резче, но не от горя и не от гнева, а от боли — одна боль и осталась.

— Я всегда не очень-то доверяла этим белым, — снова заговорила старуха. — Священник так ничего и не сделал, и я этому не удивилась.

С реки налетел ветер и, будто речные волны, завил траву. Старуха смолкла, и в воздухе повисла тишина, а девочке хотелось слушать и слушать дальше.

— Бабушка, мне в ту ночь чудились какие-то звуки. Словно кто-то пел. За окном было светло. Я видела на земле что-то красное.

Старуха не ответила; она направилась к бочке с рыбой, что стояла рядом с рабочим столом. Старуха воткнула нож в брюхо сига и вытащила рыбу на стол.

— Этот гуссук, лавочник, сразу уехал из деревни. — Старуха уже потрошила рыбу. — А то бы я тебе что-нибудь еще порассказала.

Слова старухи относил ветром, налетавшим с реки. Больше они об этом не говорили.

Когда на ивах зазеленели листья, а вдоль реки и вокруг топей поднялась высокая трава, она стала отправляться по ут-

рам на прогулки. Пока солнце стояло низко, она слушала ветер с реки: он напоминал тот голос, слышанный ею давным-давно. Вдалеке шумели моторы машин, привезенных прошлой зимой бурильщиками, но она не приближалась ни к деревне, ни к лавке. Солнце ни на минуту не покидало небо, и лето превратилось в один долгий-долгий день, и лишь ветры то ярко высвечивали солнце, то окунали его во тьму.

Она уселась рядом со стариком на берегу реки. И принялась ворошить дымный костер; вдруг ей показалось, будто она распухает и вот-вот засветится на солнце, точно в преддверии зимы ей распорили брюхо и подвесили сушиться на ивовом пруте. Старик теперь молчал. Люди из деревни приносили ему свежей рыбы, и старик прятал ее в прохладную прибрежную траву. Когда старик ушел в дом, она выпотрошила рыбу и развесила сушить на ивовой раме, как когда-то делала старуха. Там, в доме, старик дремал и говорил сам с собой. Всю зиму он беспрестанно тихо рассказывал, как огромный белый медведь преследовал одинокого охотника по льдам Берингова моря. Месяц за месяцем старик рассказывал свою историю: медведь теперь был в ста футах от человека; но тут спустился туман, и человек лишь чуял резкий запах аммиака, исходящий от медведя, да слышал хруст ледяной коры под огромными лапами.

Однажды старик всю ночь во сне рассказывал свою историю — описывал каждый кристаллик льда и все оттенки его скрипа сначала под левой и правой передними лапами, а потом под задними лапами медведя. И вдруг появилась старуха — тенью за печкой. Она заговорила своим тихим обволакивающим голосом, но девушка побоялась приподняться и вслушаться в ее слова. Может быть, слова ее были обращены к старику, потому что он перестал рассказывать и тихонько захрапел, как бывало прежде, когда старуха бранила его за то, что он своими рассказами мешает всем уснуть. Но последние ее слова девушка услышала ясно: "Дело это долгое, но историю надо рассказывать. И рассказывать одну только правду". Девушка натянула одеяло до самого подбородка медленно, незаметно. Она думала, что старуха говорит об истории про медведя; тогда она еще не знала про другую историю.

Когда она выходила из дома, старик все еще сопел и похрапывал. Она побрела по искрившимся на морозе прибрежным травам, их ярко-зеленый летний цвет угасал. Солнце скользило по небу уже низко над горизонтом, отступая все дальше и дальше от деревни. Она остановилась возле упавших бревен сторожки, там, где умерли ее родители. Речной песок тоже искрился на морозе; неделя-другая, и выпадет снег. В такие вот предрассветные сумеречные тона обряжает старость. Старческое, заснеженное небо. В то утро, когда они умерли, на земле точно что-то алело. Раздвигая ногой траву, она снова принялась

искать это. Она опустилась на колени и заглянула под развалины — вдруг там остались следы. Когда она отыщет это, она узнает то, о чем ей никогда не рассказывала старуха. Она присела на корточки возле серых бревен и прижалась к ним спиной. Налетел ветер, и ее пробрала дрожь.

Летний дождь вымыл глину меж бревен; куски дерна, высоко уложенные вокруг бревенчатых стен, потеряли свою прежнюю квадратную форму и слились с снежными мхами тундры и жестколистными травами, склонившимися под тяжестью семян. Она посмотрела на северо-запад, в сторону Берингова моря. Холод придет оттуда и примется выискивать щели в глине, дождевые пробоины в верхнем слое дерна, что предохраняет от холода деревянную хижину. Темно-зеленая тундра расстелилась, беспредельная и плоская. И где-то темно-зеленые земля и море встретились, и границы меж ними больше нет. Так же придет и холод: полярные льды поползут по земле, потом по небу, и граница меж ними исчезнет. Она еще долго не сводила глаз с горизонта. Вот так она встанет к северо-западу от дома и будет вглядываться в северо-западный горизонт — и наконец увидит, как он идет. Она увидит его приближение в свете звезд и услышит его в шуме ветра. Она не сразу узнала его предвестников, но, ступая теперь шаг за шагом по нехоженому снегу, она узнавала их.

Дважды в день она опорожняла ведро, что стояло возле постели старика, и следила, чтобы бочка была полна воды — растопленного речного льда. Старик уже не узнавал ее и, когда обращался к ней, называл именем старухи и говорил о людях и событиях из давнего прошлого, а потом снова принимался за свою историю. Огромный медведь полз на брюхе по свежему снегу совсем близко от человека, и тот слышал его хриплое дыхание. Нежно и певуче выводил старик свою историю, словно пестовал ее, — каждое слово будто взмах легких крыльев.

Небо стало серым, как журавлиное яйцо; оно перетекало в тонкую корку льда, уже покрывшую землю. Она взглянула на жесть, алевшую на фоне неба и земли, и решила попросить людей из деревни принести ей и старику еще жести. Гуссуки для бурения скважин в тундре привозили сотни баллонов с топливом. И люди из деревни вскрывали оставленные на берегу пустые баллоны и раскатывали их в листы жести. Этими листами деревенские жители к зиме обшивали стены и крыши домов. А она прибавала жесть к бревенчатым стенам, потому что ей нравился цвет жести. Она кончила работу и, не выпуская молотка из рук, побрела прочь, и долго-долго не оборачивалась, и лишь когда поднялась на утес, оглянулась. Дрожь пробежала у нее по телу: граница между землей и небом исчезла, словно они перетекли друг в друга. Но красная жесть пронзила густую

белизну неба и земли, и граница вновь проступила — точно рана обнажила ребра и сердце громадного карибу¹, который вот-вот умчится и навек скроется из глаз охотника. Всю ночь выл ветер, и, когда она, процарапав глазок в заиндевелом окне, глянула во двор, взору ее предстала лишь непроницаемая белизна: невозможно было понять, летит ли это снег, или под окном намело сугроб до самой крыши.

Ветер налетел неожиданно, она повернулась к нему спиной и стала глядеть на реку: дымящуюся воду сковывал лед. Ветер гнал снег по замерзшей реке, пряча тонкие голубые прожилки льда над быстрым течением, полупрозрачного льда, хрупкого, словно память. Она видела тени едва очерченных троп, подобно тонким ветвям простершихся с берега. Целые дни она бродила по реке, вглядываясь в переливы льда, — по которому могла ступать без опаски, — пиная каблукom снег и прислушиваясь к резкому отзвуку. А когда случалось выйти на тропинку, она брела к середине реки, где проворная серая вода бурлила под тонкой ледяной пластиной. Она оглянулась. На берегу реки издалека видна была прибитая к деревянной хижине красная жесь, она не затерялась в складках промерзшей земли, ее не поглотило белесое отяжелевшее брюхо неба. Пора.

Волчий мех на капюшоне парки побелел от морозного дыхания. Но в лавке от тепла мех оттаял, и крошечные капли упали ей на лицо. Из задней комнаты вышел лавочник. Она расстегнула парку и встала возле железной печки. Она не взглянула на лавочника, зато уставилась на грязновато-желтую собаку, всю в ключьях спутанной шерсти; собака спала возле печи. Она вспомнила картинку гуссука, прикрепленную к стене над кроватью, и расхохоталась. Хохот пронзил тишину, собака вскочила и ошетибилась. Лавочник пристально смотрел на нее. Ей снова захотелось рассмеяться, потому что он еще не знал про лед. Он не знал, что лед прокрался по земле и уже перетек на небо, чтобы утащить солнце. Она села на стул возле печи и распустила свои длинные волосы. Лавочник сейчас походил на собаку, которую всю зиму продержали голодной на цепи, пока других у нее на виду кормили. Лавочник помнил, как она ушла с бурильщиком нефти, и взгляд его, точно муха, пополз по ее телу. Тонкие бледные губы скривились, будто он хотел в нее плюнуть. "Он ненавидит наш народ, потому что у нас есть богатство, которого у гуссуков не будет никогда, — говорил старик. — Они думают, что могут высосать его из-под земли или вырезать из гор, — до чего они глупы".

На полу возле нее валялся клубок спутанной собачьей шерсти. Он напомнил ей желтые прокладки для тепла: лишь

¹ Северный олень.

только грянут морозы, все их старания защититься от холода рассыплются в прах. На северо-западе лед, словно медведь из рассказа старика, приготовился к прыжку. Она снова расхохоталась. Сейчас солнце потухнет. Пора.

Лавочник заговорил с ней, но она не услышала и потому не ответила и даже не взглянула на него. Лавочник снова заговорил, но слова его были для нее лишь звуки, срывающиеся с бледных губ, — теперь эти губы тряслись от вскипавшей злости. Лавочник дернул ее со стула, стул повалился на пол. Дрожащими руками он ухватился за полы ее парки и резко стиснул их. Он замахнулся на нее кулаком, тощее его тело тряслось от гнева, но кулак разжался — жажда богатства (правду говорил старик, ради него одного они сюда и пришли) пересилила. Он прижался к ней всем телом, задыхаясь и хрипя, и она слышала, как колотится его сердце. Она изогнулась и выскользнула из его объятий.

Она бежала, прижав рукавицу ко рту, и дышала сквозь мех, чтобы ледяной воздух не проник в легкие. Она слышала, как он гонится за ней, слышала тяжелое дыхание и позвякивание металла о металл. Он бежал без парки и без рукавиц, вдыхая ледяной воздух, обжигающий легкие и вдавливающий их в ребра, он ни за что не смог бы поймать ее возле лавки. Лишь на берегу реки он сообразил, как далеко он теперь от своей печи и желтых прокладок, предохраняющих от холода. Но и девушка не могла бежать быстро по наметанным вдоль реки сугробам. А лавочник сквозь прозрачные сумерки ясно видел далеко вокруг; он знал, что сможет догнать ее, и продолжал погоню.

Она добралась до середины реки и оглянулась. Он, минув ее след, бежал к ней коротким путем прямо по льду. Он был уже близко; от натуги и холода лицо его искажилось и побагровело. Глаза злорадно блестели — он был уверен, что догонит ее.

Она знала эту реку: и тонкий лед, и едва приметные трещины, и резкий ломкий звук перед тем, как лед разломится и буйная серая вода вырвется наружу. Она замерла и обернулась: там, где он провалился, льдины грохотали и кружились в водовороте. Она сняла рукавицу и до самого подбородка застегнула молнию. Теперь уже тяжело дышала она.

Она медленно брела по льду, каблуком проверяя, крепок ли лед. Она взглянула перед собой и вокруг себя: в сумраке матово-белое небо перетекало в плоскую снежную тундру. В диком своем беге по реке она сбилась с пути. Она замерла. Восточный берег реки слился с небом, промерзшая белизна поглотила границы. Но тут вдалеке что-то заалело так, как алело в ее воспоминаниях все эти годы.

Она сидела на кровати, ждала и слушала рассказ старика. Охотник отыскал на льду торос. Стажил с головы меховую

шапку, мех внутри ее источал тепло и запах пота. Он оставил ее на льду — сбить огромного медведя со следа, и притаился на подветренной стороне тороса; в руках у охотника был каменный нож.

Слова вырывались из горла старика с хрипом, и ей казалось, что история его подходит к концу, но он все еще лазил в потайной уголок за вяленой рыбой и сосал воду из жестяной кружки. Ночь напролет старик описывал каждый вдох и выдох охотника, каждый поворот головы медведя, когда тот ловил дыхание охотника и принюхивался к ветру, пытаясь учуять запах человека.

Полицейский задавал ей вопросы, а женщина — та, что убирала дом священника, — переводила их на юпик. Они хотели знать, что случилось с лавочником: вчера вечером видели, как он бежал за ней по дороге к реке. Он не вернулся, и главный гуссук в Анкоридже забеспокоился. Она ответила не сразу, потому что старик вдруг уселся на постели и взволнованно заговорил, глядя на полицейского в темных очках и на женщину в вельветовой парке. Он снова и снова повторял: "История! История! Эй-йа! Огромный медведь! Охотник!"

Они опять спросили ее, что случилось с лавочником.

— Он обманул их. Он сказал им, это можно пить. Но я не стану обманывать. — Она поднялась и надела серую волчью парку. — Я убила его. Я не лгу.

Снова пришел адвокат, надзиратель медленно отворил кованую дверь, открыл камеру и впустил его. Адвокат кивнул надзирателю, чтоб тот остался и переводил. Она рассмеялась: сейчас белый человек заставит надзирателя говорить с ней на юпик. За это адвокат ей нравился, и еще — за редущие на затылке волосы. Он был очень высок, и ей приятно было думать, что голова его беззащитна перед морозом; интересно, чувствует ли он низвергающийся с неба холод раньше, чем другие. Он хотел знать, почему она сказала полицейскому, что убила лавочника. Деревенские дети видели, как это произошло. Это был несчастный случай. "Вот и все, что вы должны сказать судье. Это был несчастный случай". Он повторял это снова и снова, медленно и громко, но очень вежливо. "Это был несчастный случай. Он бежал за вами и провалился под лед. Вот и все, что надо сказать в суде. Только и всего. И вас отпустят домой, в деревню".

Надзиратель, уставившись в пол, угрожающе переводил. Она покачала головой.

— Я ничего не изменю в этой истории, пусть даже меня оставят здесь. Я хотела, чтоб он умер. В истории надо рассказывать все как есть.

Адвокат тяжело вздохнул и устало посмотрел на нее.

— Скажите ей, что она не могла убить его. Он белый человек. Он бежал за ней без парки, без рукавиц. Она не могла этого подстроить. — Адвокат умолк и повернулся к двери. — Скажите, я сделаю для нее все возможное. Я объясню судье, что у нее помутился разум.

Когда надзиратель перевел ей слова адвоката, она расхохоталась. Белые не понимают этой истории и ничего не смыслят в том, как ~~ее~~ надо рассказывать: год за годом, как рассказывал старик, ничего не упуская и не останавливаясь.

Она посмотрела в окно на промерзшее белое небо. Солнце наконец вырвалось из льда, но двигалось оно, точно раненый карибу, бегущий из последних сил, которые находит в себе только умирающее животное, с простреленными легкими рвущееся вперед. Свет солнца был слаб и бледен, тусклое, пробивалось оно сквозь облака. Она повернулась и посмотрела на белого адвоката.

— Это началось давным-давно, — нараспев, но твердо заговорила она, — в летнюю пору. Помню, рано утром в высокой прибрежной траве что-то красное...

На следующий день после смерти старика пришли люди из деревни. Она сидела на краю постели, а напротив нее — женщина, нанятая полицейским сторожить ее. Люди медленно входили в комнату и слушали. В изножье ее кровати они положили чавычу, выпотрошенную и вяленную прошлым летом. Но она не прервала рассказа и даже не приостановила его; она продолжала говорить, не умолкая, даже когда люди из деревни ушли и женщина поднялась и затворила за ними дверь.

Старик ничего не изменил в рассказе, даже когда понял, что смерть совсем близко. Грядущее не остановить обманом. Старик метался на постели, сбрасывал одеяла, скидывал на пол связки сушеной рыбы и мяса. "Охотник провел на льду долгие часы. Холод изнурил его, пальцы в рукавицах окоченели от ледяного ветра, стекавшего с тороса. И лишь один мускул на руке дрожал, и дрожь не унималась; каменный нож выпал из рук, зазвенел на льду, и льдисто-голубой медведь медленно обернулся".

ДЖИММИ ДАРЕМ

Джимми Дарем (Jimmie Durham) — художник, поэт, прозаик, индеец племени чероки, представлял Индейский военный совет в ООН. Редактор журнала "Арт энд артистс". Как большинство современных писателей США индейского происхождения, отталкивается в своем творчестве прежде всего от исторического и фольклорного наследия своего народа. Отличительной чертой творчества Дарема является особый тон: его стихи и проза — это как бы нечто среднее между речью на митинге и проповедью. Это глас печали, глас правды, а главное — глас, вселяющий веру в собратьев по борьбе. Просветительно-консолидирующая речь Дарема, страстная, образная, несомненно, созвучна общему процессу развития национального самосознания американских индейцев. Приводимые здесь фрагменты взяты из книги Джимми Дарема "День Колумба" ("Columbus Day"), 1983.

ДЕНЬ КОЛУМБА

Фрагменты из книги

Десятилетие с 1970 по 1980 год явилось важным периодом в жизни американских индейцев. Пожалуй, это было для нас особенно трудное десятилетие; впрочем, все десятилетия, начиная с 90-х годов XV века, особенно трудные. Но в 1970-м мы попытались достичь целей, к которым стремились наши предки. В США, Боливии, Колумбии, Панаме и других странах мы начали создавать боевые национальные индейские организации, которые несли в себе идею демократического самоуправления.

Когда в начале семидесятых годов я стал работать в ООН и заниматься вопросами, связанными с деятельностью этой организации, первой моей задачей было убедить другие страны, что индейцы все-таки существуют в Соединенных Штатах. Второй задачей было убедить людей в необходимости с нами считаться.

В Соединенных Штатах, разумеется, знают о нашем существовании, но воспринимают нас не такими, какие мы есть на самом деле, в конкретной обстановке. Романтизация едва не довела нас до гибели. Каждый президент США во время предвыборной кампании хоть и принимал в дар индейский головной убор, но при этом оставался не другом индейцев, а скорее настоящим, стреляющим без промаха колонистом. Как заметил Вайн Делория¹, у каждого в США, возможно, была бабушка-чероки.

Ежегодно мы теряем все больше и больше земли. Ежегодно мы становимся все беднее и все больше отчаиваемся. Ежегодно все больше и больше молодых индейцев кончает жизнь самоубийством или оказывается в тюрьме. И все же нас использует в своих интересах каждое "движение" и направление от политических партий до хиппи и экологов, и так было всегда. В смятении многие индейцы становятся добровольными жертвами этой эксплуатации.

Однако мы все пытаемся сохранить свою чистоту, уберечь ее от окружающего общества, которое постоянно бьет нас в самое больное место, и в довершение ко всему мы обвиняем друг друга в отступлении от традиций. Это странное явление тесно смыкается с использованием романтики для нашей же эксплуатации.

В 1971 году, когда еще царило смятение, индейцы в США организовали Движение американских индейцев, и к 1973 году внимание всего мира было приковано к крохотной деревушке Вундед Ни в индейской резервации Пайн-Ридж. Там, возглавляемые Движением американских индейцев, несколько сотен человек, вооруженных охотничьими ружьями, дробовиками и одной винтовкой из Вьетнама, к которой не было даже патронов, дали отпор войскам президента Никсона, поддержанным войсками штата, полицейским бюро по делам индейцев и местным шерифом. У этой армии были танки, вертолеты, огнеметы и смертоносное химическое оружие.

Но индейцы заставили правительство пойти на переговоры и заключить соглашение. Кто забудет Лиззи Быструю Лошадь, старую женщину за девяносто, которая еще помнила резню в Вундед Ни в 1898 году? Она участвовала и в битве 1973 года, вооруженная револьвером и ружьем.

За 1973 годом последовали убийства, репрессии, трагедия и еще большее смятение. Но вновь вспыхнула старая надежда. Сколько песен, славящих героев, я слышал в последние десять

¹ Вайн Делория (р. 1934) — индеец из племени сиу, журналист, публицист, общественный деятель.

лет? Больше, чем за всю свою жизнь! И наконец-то у нас появилась своя организация. Первые ее шаги были неуверенными, как шаги пьяного парня на дороге в Талсу. Но тем не менее эта организация приобрела свой статус и голос в Организации Объединенных Наций. Индейцы из всех частей страны стали объединяться в общий демократический фронт, хотя бы на время. Этого было достаточно, чтобы вновь разгорелась надежда, которая никогда не затухала.

Мне хочется вспомнить свой собственный опыт. В пятидесятые годы и в начале шестидесятых я был активистом в Техасе, Оклахоме, Нью-Мексико, Неваде, на Юго-Западе. В те дни мы терпели сплошные неудачи, хотя и, сами того не сознавая, закладывали основание для будущих успехов. В конце шестидесятых годов мне казалось, что все наши усилия бесполезны. Стыдно рассказывать, но в то время я говорил людям, что для нас лучше всего было бы перестрелять как можно больше белых, потому что лучше погибнуть с достоинством, чем медленно умирать от болезней. Много событий произошло в индейских резервациях и в городах в конце шестидесятых годов, меня они встревожили — раньше такого не происходило. События эти оказались началом "новой" политики по отношению к индейцам.

Я уехал в Европу, как я тогда думал, навсегда. Я собирался стать художником в Швейцарии и писать стихи о любви, обуревавших меня кошмарах и мучительном прошлом. Но в одном из женевских баров я встретил индейцев из Южной Америки, которые находились в том же положении, что и я. Мы стали обвинять друг друга в паразитизме и спустя некоторое время образовали Международный комитет индейцев Северной и Южной Америки. Мы проделали полезную работу, но к 1973 году аргентинские индейцы вернулись домой вести работу среди своего народа, так же как индейцы из Чили, Мексики и несколько парней из Перу и Боливии. Многие из них погибли или пропали без вести. Эта книга должна быть их книгой, их стихами, и моя жизнь должна быть продолжением их жизни.

До событий в Вундед Ни, которые наложили новые обязательства на каждого американского индейца, я не собирался возвращаться домой. О отважные бойцы, братья! Это должна быть их книга, их стихи, и моя жизнь должна быть продолжением жизни Педро Биссонетте, Бадди Леймонта, Фрэнка Прозрачной Воды, Маленького Джимми, Байрона Де Серса, Раймонда Желтого Грома, старого безумца Хобарта Коня, Джо Энн Желтой Птицы, Анны Мей Аквош, Энджела Мартинеса, Мориса Ле До, Мило Гоингса и многих других, кто пал в борьбе, которая все еще продолжается.

По крайней мере я могу сказать, что всегда был с простыми людьми в резервациях и никогда не состоял в элитарных организациях, которые устраивают для нас США.

В жизни у меня было много учителей, которые относились с большим терпением к моим претензиям и упрямству. В Женеве друзья из разных африканских стран, люди разных направлений, нередко просиживали со мной всю ночь, только чтобы объяснить мне тот или иной вопрос относительно нашего освобождения; и черные братья и сестры в этой стране с не меньшим терпением разъясняли всю сложность положения индейцев в США. В Европе я впервые смог полюбить белых людей, потому что я не представлял для них угрозы и они мне ничем не угрожали. Между нами было некоторое расстояние, и это позволяло нам смотреть друг на друга как на человеческие существа.

Мое понимание мира основывается на культуре и языке чероки. Отсюда необходимость активного участия в политике. С точки зрения чероки, которые сформировали мой духовный мир, политическое и культурное сопротивление составляет их, а следовательно, и мою сущность. Я хотел бы, чтобы мои стихи стали песнями чероки. Многие поэтические приемы, которые я использую, связаны с нашей манерой петь песни, рассказывать сказки или произносить заклинания.

Мне нравится точность в языке. Это, безусловно, одно из основных требований к поэзии вообще, но это должно быть втрое важно для поэзии, которая стремится служить целям политического освобождения, особенно в США, где язык постоянно деградирует, уродуется и находится под контролем правящего класса.

В США есть четкое разграничение между "серьезной" поэзией и "политической" или "поэзией протеста". Почему так? Отчасти потому, что именно белые прежде всего определяют, что считается серьезным, и вот почему аполитичная поэзия белых главным образом и рассматривается как серьезная поэзия.

"Серьезная" поэзия чрезмерно интеллектуальна, я хочу сказать, что ее словарь и язык далеки от словаря и языка повседневности, таким образом доказывается ее интеллектуальность. Справедливо и то, что некоторая часть поэзии протеста публикуется только ради протеста, а не потому, что это хорошая поэзия. Я считаю, что язык ее часто страдает неряшливостью, а это наносит вред политическому содержанию. Неряшливые стихи — значит, и идеи неряшливые.

Английский язык отражает классовое расслоение, в нем можно найти три-четыре слова с тем же самым смыслом, но каждое используется лишь каким-нибудь одним из классов. Мы определяем, "образован" человек или нет, по его способности употреблять высокопарные слова. Когда рабочие высмеивают эту высокопарность, их обвиняют в том, что они "филистеры" или не интеллектуальны.

Индейцы все еще говорят по-английски, как на втором языке, даже если не знают своего родного. Вот истинная сущность безграмотности в классовом обществе: человек не владеет языком, на котором говорит.

Наши индейские языки отличаются чрезвычайной точностью, позволяют передать тончайшие оттенки мысли. Таким был язык в долитературную эпоху, когда все общение строилось на разговорной речи. Хотя наши языки уже не играют главную роль в общении и мы не живем в долитературную эпоху, умение точно выразить свою мысль все еще очень важно для нас.

В некоторых стихах я употреблял слова и фразы из индейских языков, главным образом для того, чтобы показать ритм и звучание этих языков. Естественно, в стихотворении о Расселе Минсе¹ камни тюрьмы говорят на языке сиу — на каком другом языке может говорить камень в Южной Дакоте? Леонард Вороний Пес, который провел много времени в тюрьме, особенно в Южной Дакоте, объяснил мне, что камни действительно говорят.

Да будут мои слова убедительны,
Как рокот гремучей змеи.

Да будут поступки мои решительны,
Как бросок гремучей змеи.

Пусть достигают они своей цели,
Как укус коралловой змеи в черно-красных кольцах.

"Да будут мои слова убедительны, как рокот гремучей змеи" — такова поговорка шайенов. А шайены — люди мудрые. Другая их поговорка гласит: "Народ непобедим, пока не перестанут биться сердца его женщин". Введя эти поговорки в свои стихи, я лишь хотел напомнить о них, а отнюдь не усовершенствовать.

¹ Известный лидер индейцев племени сиу в период восстания в Вунд-дед Ни в 1973 г.

В краю, где я рос, водилось множество коралловых змей. Благодаря их трехцветной окраске, а также благодаря их яду они приобрели особый смысл для нашего народа, стали своего рода символами. Наш край изобилует ядовитыми змеями и пауками. Они заставляют нас быть всегда начеку, вот почему мы их так ценим. Не думаю, что из этого можно извлечь какой-либо другой урок, мы просто принимаем жизнь такой, какая она есть, и, конечно, восхищаемся решительностью коралловых змей.

Мой народ идет путем солнца.
Наше кольцо — Кецалькоатль¹,
Тупак Амару²,
Читто Хаджо³.
Это кольцо гремучей змеи, готовой к броску.

Мой народ не сойдет с тропы орлов,
Выплесывающих танец солнца.

Орбиту моего народа
Держат когти орлов
И руки
Наших танцоров с винтовками.

КОСТЕР ПОЛЗУЩАЯ ЗМЕЯ⁴

Прислушайся. Они поют.
Половина из них пьянчуги.
Половина из них бродяги.
В голубых комбинезонах.
Они сидят на перевернутых ящиках
Или на корточках у костра
Понуро, словно старые псы.

¹ Кецалькоатль — пернатый змей, одно из главных божеств в мифологии индейцев Центральной Америки.

² Тупак Амару — руководитель борьбы против испанских завоевателей в Перу в XVI веке, его имя принял А. Г. Кондорканки, глава восстания индейцев в Перу в XVIII веке.

³ Читто Хаджо — один из героев освободительной борьбы индейцев Северной Америки в начале XX века.

⁴ Костер Ползущая Змея — индейское название укрепленного поселения в Оклахоме.

Старики вслушиваются в говор сверчков и лягушек,
Не замечая мерцающих во тьме светлячков.
Они поют.
Вспоминая Зика Проктора, Смита Иволгу.
Вспоминая каждую "почти победу",
Которую мы "почти одержали".

Когда костер разгорается,
Деревья отступают в ночь.
Затухает —
Подкрадываются все ближе и ближе,
Волоча за собой темноту.

Прислушайся. Они поют.
Словно змея, ползет пламя.
И другие костры загораются.

Я часто спрашиваю себя, почему прошлый век выдвинул много крупных индейских вождей. Силт, Черный Ястреб, Джеронимо, Кочис, Атакулакулла, Текумсе, Неистовая Лошадь, Галл, Красное Облако, Сидящий Бык, Дикий Кот, Понтиак, Оцеола, Сатанка, Секвойя — этот длинный перечень наводит на мысль, что в определенные периоды мы способны выдвигать великих людей, и мужчин и женщин. Иногда мы, правда, их тут же предавали.

Текумсе был человек удивительный. Он любил Шекспира и английскую литературу. Освоил много языков, включая английский и французский, хотя у него почти не было возможности на них говорить.

Во времена Текумсе — в начале прошлого века — правительство США впервые применило тактику "разделяй и властвуй". Они натравляли индейцев на индейцев с помощью сотен различных уловок. Один из способов заключался в подкупе продажных вождей (подкуп очень эффективное средство в критических ситуациях), переговоры велись исключительно с этими вождями.

С этой проблемой столкнулся и Текумсе. Его собственный брат, который всегда сопровождал его и даже вел от его лица переговоры, в конце концов отдал его в руки правительства.

Текумсе объехал одно за другим все индейские племена в стране, пытаясь создать союз индейцев ради их общего блага. Мое племя, чероки, и многие другие отказались присоединиться к Текумсе, не в силах отрешиться от национализма. "Мы

чероки, мы будем сражаться сами за себя. Зачем нам шауни?" Возможно, если бы мы все объединились, мы бы победили.

Для защиты народа от слабодуших вождей и старейшин Текумсе предложил, чтобы только те, кто непосредственно сражаются за освобождение, могли принимать решения, касающиеся распределения земли, или определять судьбу племени и чтобы все решения выносили сообща, а не единолично, и чтобы за ними непременно следовали политические действия. Это выразилось и в его лозунге: "Пусть наши дела решают воины".

Для нас сегодня важно вновь осознать заветы Текумсе. Народ нельзя покорить только вооруженной силой. Пока у нас нет ясного понимания нашего положения и методов, которые использует враг, мы сами способствуем своему поражению.

"ПУСТЬ НАШИ ДЕЛА РЕШАЮТ ВОИНЫ", — СКАЗАЛ ТЕКУМСЕ

Толстопузые марионетки проводят конференцию в Лас-Вегасе. Правительство США расплачивается по счету кровью нашего народа.

Толстопузые марионетки пьянствуют и убеждают друг друга, что они выражают наши интересы: "Мы просвещенные вожди, мы новые индейцы, мы знаем, откуда берутся деньги". Эти толстопузые марионетки со смехом набивают свои животы. Их пальцы и запястья — все в бирюзе.

Священные камни моего народа взывают: "Пусть наши дела решают воины!"

Наши brave вожди, ставленники правительства, лакают виски, посмеиваясь:
"Свой кусок мы всегда урвем!"

Маис, взращенный моим народом, взывает: "Пусть наши дела решают воины!"

Толстопузые пособники наших убийц говорят веско и внятно в залах и кабинетах Белого дома:
"Наши индейцы жаждут обещаний — это их любимая пища, ею они и питаются".

“Белые отцы, дайте индейцам “школьное обучение”, и тогда им будет на чем поспать. Дайте им “специальные программы”, и тогда им будет чем накрыться”.

Костры, разожженные моим народом, ревут: “Пусть наши дела решают воины!”

Толстопузые марионетки вращают сонными глазами. Они говорят:
“Белые отцы, вы принесли нам прогресс и хорошее виски!
Мы хотим торговать углем, нефтью, медью и лесом.
Берите богатства нашей священной земли —
что там слезы, стенанья и смерть детей, —
берите все богатства! А мы устроим еще одну конференцию
и отдадим индейцам тела их детей —
этого-то им и надо”.

Дети моего народа хватают
камни и винтовки: “Пусть наши дела
решают воины!”

Толстопузые марионетки призывают: “Будьте осмотрительны!
Не теряйте чувства ответственности! Покажите белым отцам,
что мы цивилизованные люди! Это не так уж плохо!”

Пусть наши дела решают воины!

* * *

Мои бывшие друзья заключили странные союзы,
Хоть и ничего не рассказывают.
Дела все хуже и хуже, но не настолько плохи,
Чтобы решить, что настала ночь.

Дикие гуси, оседлавшие луну,
Улетают на исходе зимы.
Так всегда было,
Но теперь все изменилось в этом болотистом краю.

Молча, не выказывая даже любопытства,
Черная ворона стоит
С белой косточкой в клюве.

Я набрел на кости саргана вперемешку с костями броненосца,
Твердые чешуйки перепутались, и казалось,
Будто вода и даже смерть сама
Отныне уже не преграды.

Женщина сказала: мы будем всегда помогать
Друг другу, и опустилась на ложе в белой
Рубашке, которая вдруг превратилась в преграду
Прочнее костей и колючих изгородей.

Другие перешептываются, но я ничего не слышу,
До меня доходят только слухи и отклики.

СЕРЕДИНА

В середине нашего века
Было так много битв,
Так много разных сражений,
Друзья и братья падали,
Не успев понять, что сразило их.

Дети умирали, едва издав свой первый воинственный клич
При появлении врага вдалеке.

Мы пели детям песни,
Отгоняя ос
От топочущих стад.

Много воды утекло с тех пор,
Друзья утратили прежнюю ловкость.
Но в танцах, которые возникли из мук и страданий,
Выражаемых лишь жестами,
Мы говорили со всей Вселенной.

Звезды, орлы, гагары, койоты
Пели "Время за вас",
"История на вашей стороне".
Деревья разметали семена,
И скалы воспряли духом.

СТОРОНА, ПОТЕРПЕВШАЯ ПОРАЖЕНИЕ

У него отобрали землю, из враждебных камней
Воздвигли строения, которые
Всем своим существом и опасно заостренными гранями
Угнетали его,
Так же как и вонь грязных проулков.

У него отобрали родной язык и закидали его
Градом враждебных слов.

Его достоинство, уверенность в своих силах
Были попорчены белокожими парнями,
Танцующими в проулке, где он опустошал одну за другой бутылки,
Угнетавшие его
Коричневыми упаковками из размолотой древесины,
В которые каждая бутылка упрятана по горлышко.

Поражение в борьбе устыдило его,
Внушило чувство вины,
Он оказался за враждебной стеной —
И это тоже его устыдило.

Неспособность перелезть через эту враждебную стену,
Воздвигнутую для защиты от камней, палок и слов,
Угнетала его.

Стиснув зубы, он вынужден был читать
Книги белых, сделанные из разломанной древесины,
Чтобы понять, что же происходит вокруг.

Поняв, в чем дело, он тайно оттачивал гнев,
Возлагая надежды на это
Оружие — им он проложит путь
Сквозь тупики.

Он говорил себе, что не пойдет на сделки,
Ни с чем не смирится и обрушит удар
На безжалостного врага.

Когда белая женщина сказала: "Я понимаю",
Он подумал: эх ты, никогда ты не сидела
На чуждых тебе камнях в этом проулке, ты сорная трава,
Выросшая на гниющих телах моего народа.
Подумав так, он сказал ей без слов:
У тебя-то есть все возможности быть счастливой.
Ты счастлива в этих чуждых мне стенах.
Я угнетен и пристыжен.

На ее языке, навязанном ему,
Они говорили о братстве, любви, понимании
И, преодолевая взаимные обиды, достигали
Перемирия. Но, разъяренный, он бил нещадно
Снова и снова по ее самонадеянности.
Его угнетало то, что ей жилось прекрасно
Среди чуждых ему камней, — он презирал себя самого
За то, что идет на преступную сделку,
Умеряя свой гнев ради любви этой женщины
Из враждебного стана.
И он испытывал стыд.

Бросая один за другим опасные камушки
В воздвигнутые ею стены, он наткнулся
На непреодолимый барьер — ее боль.
Они сообща обсудили его вину и ее отчаянье.
Он обещал себе не причинять ей страданий и терзался
От этой необходимости, вынужденный признать,
Что он извлекает свою выгоду
Из ее мук. Это признание устыдило его и привело в ярость,
Он негодовал на жалость к себе, которую
Ему позволяло его произвольное толкованье, —
Так он стал стороной потерпевшей.

Все, что у него еще оставалось, отобрали
И сложили, как груды мусора, в тупике.
Ощущенье, что он загнан в угол, обернулось жаждой борьбы,
Превратилось в рычаг, способный поднять тяжелые камни.
Ненавидя притворство, он старался быть мудрым
И доброжелательным, что угнетало ее
Враждебной и чуждой сутью.
Все это угнетало и его. Он испытывал стыд.

У него отобрали землю, из полных вражды слов
Воздвигли строенья, которые
Своей неестественностью, опасным избытком
Угнетали его,
Так же как и вонь тех проулков.

Так он стал стороной, потерпевшей поражение.

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ

В тот вечер под нашим навесом
Отец мастерил пряжку из серебра.
Я залез на ящик,
Чтобы получше ее рассмотреть.

Он говорил: не суйся сюда,
Как бы твой нос не прирос к этой пряжке!
А мне хотелось научиться мастерить самому.

Днем отец был разнорабочим,
Зарабатывал нам на хлеб, —
Но вечером он становился мастером
И почитаемым учителем.

Как-то раз резец соскользнул,
И серебряная пряжка обагрилась в его руке.
Он ушел в дом к матери, а я поднял резец,
Потрогал, насколько остро лезвие,
И, конечно, тут же поранил палец, ибо кровь призывает кровь,
Так после я говорил, вспоминая первое прикосновение
К серебряной пряжке.

Годы спустя отец все еще носил эту пряжку
На самодельном ремне, а я в свои четырнадцать
Уже испытал жестокость полицейских
И белых учителей в школе.

Мать часто туда вызывали, чтобы застращать
Плохим поведением детей, дедушка
Жил с нами, он тяжело болел,
Сестра моя рано забеременела, а отец не мог больше
Выполнять тяжелую работу, чтобы заработать нам на хлеб.
Тогда я решил бросить школу.

Мечты развеивались одна за другой, но мать все еще пыталась
Свести концы с концами, в отчаянии она схватила ремень
С вешалки, сколоченной отцом, стегнула меня,
Чтобы заставить пойти утром в школу, но я
Сидел неподвижно, стараясь походить на своих предков
С фотографий на стене. Мать, обезумев, ударила меня
Пряжкой, и опять брызнула кровь.

В тот день я покинул дом и ушел в леса —
Найти свое настоящее имя. То имя, что я нашел,
Было настолько ужасным, что я не мог его узнать,
Но мать узнала его сразу, когда я вернулся домой.
Тишина и покорность царили в доме, снятом у белых.
Мой дед умер, сестра уехала, брат женился, а я все скитаюсь
Неприкаянный, словно странник, который
Не может припомнить своего имени.
Странник, с серебряной пряжкой отца на ремне.

КУПЛЯ ВРЕМЕНИ

На доходы от украденной у нас земли
Они купили время —
Полетное время,
Время плавания
И загробное время.
И возомнили, что купили историю.

Но, оглядываясь через века,
Которыми они хотят владеть,
На наши тысячелетия

И думая о миллионах красных цветов,
Распускающихся весной из этих тысячелетий,
Как бы ни была холодна зима —

Я вижу часы и минуты, сверкающие, точно звезды,
В глазах у наших детей.

МОНЕТЫ С ИНДЕЙСКИМ ПРОФИЛЕМ

Знайте (если вас при этом не было): деньги появляются
После того, как мы, потерпев поражение в битве,
Добываем для победителей металл, а они чеканят из него монеты
И дают нам эти монеты, чтобы мы купили
Немного пищи, у нас же украденной.

На монете — бизон!

В Перу — гуанако, и вместо никеля медь.
В Мексике — голова ацтекского вождя
На серебре.

Кто же этот индеец на монете в пять центов?
У него нет имени.
Еще одно животное вроде гуанако или бизона.

Они наловчились делать монеты с головами индейцев.
И люди коллекционируют и продают их.

За голову Джеронимо¹ давали много монет.
Теперь наши головы — на монетах.

УРОКИ МОЕЙ БАБУШКИ

В одном очень дорогом журнале я прочел,
Как с помощью сложных приборов
Американские ученые установили, что крыса,
Снова помещенная в клетку, где она
Получила электрошок, начинает пищать.

¹ Джеронимо (1829—1909) — один из наиболее известных индейских военных вождей из племени апачи.

Я рассказал об этом моей бабушке, и она вздохнула:
"Мы и раньше об этом знали".

В другом журнале я прочел о человеке, потратившем
Двадцать лет жизни, чтобы постигнуть, зачем поют птицы.
Он сделал тысячи магнитофонных записей, приборы,
Имитирующие пение, и даже искусственных птиц. Он убивал птиц,
Чтобы изучить их, или сажал в клетку, чтобы не улетели
Во время экспериментов.
Наконец он открыл, что птицы поют ради общения
Друг с другом и что у каждой птицы есть своя песня,
Помимо их общих песен.

Я рассказал об этом моей бабушке, и она удивилась:
"Двадцать лет! Ну а чем он кормил семью?"

Я объяснил ей, что правительство и университет
Платили ему за эту работу.

Она вздохнула: "Мы и раньше об этом знали".

В 1980 году правительство США возвело плотину на реке
Малая Теннесси, затопив главный город народа чероки. Так за-
кончилась десятилетняя борьба во имя спасения этого святого
места. Может быть, вы помните, что писали в газетах об одной
маленькой рыбке, существование которой было поставлено под
угрозу? Она так и погибла. Мы потерпели поражение. Росс Суим-
мер¹ потерпел поражение. Даже Джимми Картер² потерпел пора-
жение. Мы уже были близки к победе, но наш "вождь" нас пре-
дал и пошел на сделку с Говардом Бейкером, сенатором от шта-
та Теннесси. Картер тоже пошел на сделку с Говардом Бейке-
ром. Так погибла Экота.

Ниже приводится речь, которую я произнес перед комите-
том конгресса относительно Экоты и плотины. Она широко
цитировалась и переиздавалась, и мы уже надеялись на победу.
Сочувствие общества было на нашей стороне, но требовались
решительные действия.

**ЗАЯВЛЕНИЕ, СДЕЛАННОЕ В ХОДЕ СЛУШАНИЙ В КОМИ-
ТЕТЕ ТОРГОВОГО ФЛОТА И РЫБОЛОВСТВА ПРИ ПАЛАТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПО ВОПРОСУ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ЗА-
КОНА ОБ ОХРАНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖИВОТНОГО МИРА,**

¹ Росс Суиммер — крупный банкир, финансист из Оклахомы.

² Президент США в 1977—1981 гг.

ПОСТАВЛЕННЫХ ПОД УГРОЗУ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, ОТ 20 ИЮНЯ 1978 ГОДА.

Tsi Yunwiyah. Я чероки. На языке моего народа, Ani Yunwiyah, или чероки, как нас называют, земля обозначается словом "элохе". Этим же словом обозначаются история, культура и религия. Мы не можем отделить наше место на земле от нашей жизни на земле, от нашего мирозерцания, от предначертанной нам судьбы. С детства в нас заложено понимание того, что животные и даже деревья и растения, с которыми мы разделяем место на земле, наши братья и сестры.

Поэтому, говоря о земле, мы говорим не о собственности, территории и даже не о клочке земли, на котором стоят наши дома и растет наш хлеб. Мы говорим об истинно для нас священном.

Есть ли в мире народ, который не почитал бы своей родной земли? И есть ли человек, который не почитал бы своей родной земли, даже если он живет вдали от нее без надежды на возвращение? Мы говорим, что верность — большое достоинство. Мы говорим, что почитание земли предков, даже если мы редко вспоминаем о ней в повседневных заботах, даже если она бесконечно далека от наших домов, является жизненно важным для всего человечества.

Наш народ тысячи лет жил на той земле, где сейчас расположены штаты Теннесси, Джорджия и Каролина. Как свидетельствует история, мы здесь возникли, а это вернее всяких антропологических доводов, ибо именно здесь сложилось мирозерцание народа чероки. Но президент Джексон незаконно прогнал нас с этой земли, из нашей Экоты, центра нашего мира.

Нет чероки, живущего на земле, который не помнит Тропы Слез, который не помнит и не чтит этой священной земли и нашей Экоты.

Сегодня власти штата Теннесси планируют затопить священную долину, где находятся два наших главных города Экота и Тенаси, по имени которого назван штат. Осуществление этого проекта приведет к уничтожению области большого религиозного значения, многих поселений, кладбищ, богатых ферм, лесов и самой реки. Эта бесполезная плотина может по прихоти администрации перечеркнуть тысячи лет истории великого и постоянно угнетаемого народа. Поступить так — значит оскорбить не только чероки, но и всех людей в США и все человечество. Да, я с гордостью могу заявить, что история и мирозерцание моего народа важны для всего человечества.

Я хотел бы иметь возможность рассказать моим детям и внукам об Экоте, чтобы в свое время они смогли отправиться туда и прислушаться к голосам своих предков. Антропологи выкопали какие-то кости и глиняную посуду в Экоте, и администрация сообщает нам, что мы можем поглядеть на эти кости в музее.

Но духи наших предков обитают не в музеях. Они живут в соснах, ореховых деревьях и в свободно льющихся ручейках и реках.

Я никогда не буду жить в Экоте, как грек из Нью-Джерси не будет жить в Парфеноне, но сердца индейцев знают, где находится Экота.

То, что в Экоте нет каменных монументов или грандиозных руин, уже само по себе памятник. Наше почитание земли и жизни на ней хранило эту землю тысячи лет. Возможно, кто-то упрекнет меня в излишней эмоциональности, но должно же прийти время, когда американское правительство и американский народ глубоко встревожит угроза гибели земли и всего святого на ней.

Затопление нашей древней долины было временно приостановлено из-за маленькой рыбки, которая обитает только там, и нигде больше. Я видел, как Гриффин Белл¹, "Нью-Йорк таймс" и национальная сеть телевидения потешались над этой маленькой рыбкой, и я хотел бы спросить, почему к ней относятся как к чему-то до смешного незначительному. Потому что она маленькая или потому что она рыба?

Именно невероятное высокомерие по отношению к другому роду жизни привело к такому ужасающему опустошению в этой стране. Какое право имеет Гриффин Белл или американское правительство присваивать себе роль бога и решать вопрос о жизни и смерти целого вида живых существ, которые появились благодаря той же силе, которая поселила здесь и нас? Кто имеет право уничтожить определенный род жизни и в чем смысл присвоения такого права?

Да, я глубоко взволнован: для меня эта рыбка не только абстрактный "вид, которому угрожает исчезновение", хотя это тоже немаловажно. Это наша рыбка, и я ее брат. Так или иначе, она боролась за спасение моей священной земли, и я бесконечно благодарен этой рыбке.

Чероки в Теннесси, Оклахоме, в Северной и Южной Кароли-

¹ Министр юстиции в США в 1977—1979 гг.

не, Джорджии — и где бы мы ни были — единодушно говорят и думают, что строительство позорной плотины должно быть приостановлено. Мы хотим, чтобы наш мир, наш злохе со всей своей рыбой и со всей своей жизнью продолжал существовать. И мы уверены, что это не мешает интересам и чаяниям американского народа.

Джимми Дарем,
Председатель Международного комитета
индейцев

СОН ДРУГА

Мы были в дозоре и говорили
Тихо, зная:
Что-то произойдет
В эту бесконечную ночь.

Мне снилось, какие-то парни гнались за мной,
Я удирал — и вот
Оказался перед мостом,
На другой стороне — парни с ножами,
Я хотел поднять большой камень,
Но он врос в землю, а парни
Уже подбегали ко мне с двух сторон.

Мы были в Сиу-Фолсе, в Южной Дакоте.
С одной стороны пустынной улицы
Ресторан с баром "Радуга",
С другой стороны отель "Высокий",
А дальше — прерии.

Может быть, там, на холодном ветру,
За железнодорожным мостом,
Скрывалось стадо бизонов.
Мы приросли к железным стульям.

К нам медленно подкатила машина.
Мы встали настороженно.

Один из наиболее ужасающих аспектов нашего положения заключается в том, что никто из нас не чувствует себя полноценным. Мы не чувствуем себя настоящими индейцами. Каждый из нас хранит эту "темную тайну" в своем сердце, но мы никогда об этом не говорим.

Чувство неполноценности порождено самим характером нашего угнетения. Загнанные в тупик, терзаемые нищетой (а нищета терзает очень больно), подверженные пьянству, стыдящиеся самих себя, мы хорошо сознаем, как далеко нам до Неистойой Лошади. (Мы редко вспоминаем об этом, как и сподвижники Неистойой Лошади.) И мы обвиняем себя, вместо того чтобы обвинять своих угнетателей.

Не соответствуем мы и другой мерке — сугубо расистскому стереотипу "благородного дикаря". Хотя эти слова и вышли из употребления, сам стереотип все еще широко существует. Мы редко это осознаем, но, в сущности, не можем от него отделиться. Мы все должны быть физически сильными и красивыми, должны знать все тайны природы, быть смелыми до безрассудства, честными при всех обстоятельствах, стойкими и полными мистической духовности. Этот стереотип живет внутри нас, даже если мы его осуждаем как проявление расизма, как нечто ложное и неверное.

Недавно один мой индейский друг из Никарагуа, член революционного правительства, сказал мне, что в отличие от меня он уже неполноценный индеец, потому что носит очки.

Стереотип рисует нам образ индейца как человека, который и действует и думает определенным образом внутри четко очерченного круга, который подобен стене вокруг эдемского сада. Чтобы вырваться из него, мы должны действовать решительно, подавляя свои сомнения.

Чаще всего мы испытываем чувство вины и стараемся соответствовать определению, которое дали нам белые.

Рассел Минс понимает эту проблему почти инстинктивно. Я никогда не слышал, чтобы он говорил о ней, но часто видел, как он уступает давлению обстоятельств, как и все мы. Однако среди его замечательных дарований есть и способность заставить индейцев гордиться тем, что они индейцы. Я сотни раз видел, как он делает это на больших индейских сходках и в разговорах с глазу на глаз.

До нашей первой встречи я много слышал о его тяжелом характере и был как бы начеку. Но он заставил меня почувствовать себя настоящим индейцем, заслуживающим всяческого уважения. Это особого рода талант — вызывать к себе любовь и преданность. В семидесятые годы Рассел Минс мог отправиться в любую индейскую резервацию в этой стране, Канаде или Южной Америке, и его принимали там с истинной любовью, как настоящего вождя. Те же, кто не сочувствовали ему, нередко хотели его убить.

Естественно, американское правительство хотело его гибели. В семидесятые годы на него было совершено несколько покушений, в него стреляли, его били, сажали в тюрьму. В одной из тюрем наняли белого человека, чтобы он зарезал его мясничьим ножом. Но он словно моя тетка Беула: неподвластен смерти.

ИСТОРИЯ БИЗОНА БОЛЬНОЕ СЕРДЦЕ¹

Довольно стихов о смерти, об истории.
Сара, жена Бизона Больное Сердце,
Потеряла несколько сыновей и несколько лет жизни.

Вы слышали этот рефрен:
Взят. Заключен в тюрьму. Убит.
Взят. Заключен в тюрьму. Убит.
Взят. Заключен в тюрьму. Убит.

Вы слышали этот рефрен:
Не покоряйся, держись!
Не покоряйся, держись!

Однажды Сара Больное Сердце пришла ко мне
Выпить чашечку кофе, костяшки ее пальцев
Были разбиты. Она сказала, что белый парень
Пристал к ее детям и она
Врезала хорошенько ему.

Уэсли Бизон Больное Сердце, ее сын, был убит белым
На улицах Кастера в Южной Дакоте, города,
Названного так в честь большого героя,
то бишь грязного убийцы, командира Длинных Ножей².
Сын Сары, Уэсли Бизон Больное Сердце, погиб
В 1972-м. Сара не покорилась.

Семья их всегда была хранителем
Истории племени сиу.
Каждый год на зимнем становище
Они отмечали на шкурах бизонов
Тех, кто вернулся домой,
И тех, кто погиб.
На шкурах бизонов

¹ Амос Бизон Больное Сердце (1869–1913) — талантливый художник, автор рисуночной истории своего племени.

² Кастер Дж. А. (1839–1876) — американский генерал, прославившийся своей жестокостью по отношению к индейцам.

Они рисовали американских солдат
С их ужасным оружием.

Полицейские задушили ее на ступеньках суда
И столкнули вниз. Вниз по ступенькам
Суда. Репортеры успели сделать снимки,
Но газеты не напечатали этих снимков.

ВСЛЕД ЗА ДИКИМ КОТОМ ОНИ ВСЕ УСКОЛЬЗНУЛИ...

Мариу Терезе Морене Онке

Дикий Кот, вождь племени семинолов, был схвачен
И заключен в тюрьму-башню
Вместе с шестнадцатью воинами-семинолами,
Чья вина заключалась

в любви —

К свободе, своим семьям и чудесному плаванию
По озерам, заросшим травой,
В искусно выдолбленных пирогах.
Дикий Кот сказал, что семинолы
Не едят в тюрьме, — и вот
Каждый день в течение двадцати одного дня, целых
Три недели, они ничего не ели.
Голодали три недели, а солдаты смеялись,
Думая, что семинолы обречены на смерть.
Дикий Кот был кожа да кости,
Как все его соплеменники, ибо
Их преследовали

И они сражались
Долгие годы.
Еще до рождения старейших из них.

Послушайте. Семнадцать худющих индейцев
Протиснулись сквозь решетки и прыгнули
На свободную землю.

Все покалечились.
Дикий Кот сломал ногу,
И грудь у него болела,
Как будто ее придавило камнями.
Самые молодые боялись, что закричат
От боли, когда рвались
На свободу

После голодовки.
(И втайне боялись, что солдаты победят.)

Послушайте. Все это случилось очень давно,
Еще до рожденья моего деда, а может быть,
Именно в то время.

Но все знают эту историю
О Диком Коте и прыжке из башни
На твердую землю свободы.

ЖЕНЩИНА УКРАСИЛА КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ МОЮ ГОЛОВНУЮ ПОВЯЗКУ

У нас говорят, когда гагара, самая красивая и темная
Из всех озерных птиц, поет свою песню,
Звезды падают к ней на спину,
Вот почему на спине у гагары белые пятна.

Люди поют в ожидании перемен.

В истории моего народа отмечено:
"В 1833 году падали звезды", а в список великих событий
Занесено: "В 1814-м мы одержали победу
Над солдатами".

Люди помнят перемены.

Известно, что мы находили
Метеориты и делали ножи,
Вдавливая в расплавленные докрасна лезвия
Знаки звезд. Ножи того времени
Выставлены напоказ в американских музеях, но
Американцы ничего не знают об этих знаках.

Люди стремятся к переменам.

Вождь племени команчей Квака, поклонявшихся
Гагарам, на склоне лет нарисовал звезды
На крыше своего вигвама. Мой друг из племени команчей
Идет по Западному полушарию,
Собирая "индейские красные звезды",
Витканые на одеялах, тисненые на коже,
Воспетые в легендах.

Люди готовятся к переменам.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Я пишу эти строки, а праздник уже начался — мы отмечаем десятую годовщину освобождения Вундед Ни в резервации племени сиу в Южной Дакоте.

Я застрял в Нью-Йорке. По правде говоря, я люблю Нью-Йорк; здесь говорят на сотне языков и на улицах течет жизнь, напоминающая общинную жизнь в индейской резервации. Город разместился на острове. Здесь, поблизости, мечет икру почти вся рыба Атлантики (жизни которой теперь угрожают ядовитые отходы), Нью-Йорк словно не желает быть частью этой страны, чуждой ему страны. Я люблю его, потому что он выглядит как вполне европейский город, в нем чувствуется влияние европейского искусства, культуры и любви к культуре. Его не преследуют призраки прерий. Это наиболее мягкий и терпимый город во всей стране. (Не забывайте: Хьюстон до сих пор держит пальму первенства по убийствам.) Но по тем же причинам я ненавижу Нью-Йорк. Это двери надежды для всех, кроме индейцев.

Нынешнее время не способствует увеличению численности людей с цветной кожей. Отцы города "очищают" город, выселяя множество людей, которых они же сделали нищими и поэтому "нежелательными элементами". Нью-Йорк переживает земельный кризис, как некогда Оклахома, что наносит ему большой вред. Я сам на себе испытал трудности с жильем.

Мой издатель тоже испытал эти трудности, а также многие люди, с которыми я работаю. Сейчас он живет среди индейцев в центре континента. Один мой читатель работал со мной в комитете по юридической защите Вундед Ни, другой живет в Нью-Йорке. С точки зрения чероки, эти совпадения весьма значительны и отрадны. Еще одно подтверждение той истины, что, если мы все будем активно действовать, мы в конце концов чего-то добьемся.

Индейцы выйдут из рейгановских восьмидесятых с еще меньшим количеством земли и людей, живущих в резервациях. У нас будет еще меньше выбора. Соглашение, которое мы заключим в конце этой войны, как всегда, оставит нам лишь те жалкие территории, которые есть у нас теперь. Единство индейских "прогрессистов" и "традиционалистов" формируется слишком медленно и поэтому малоэффективно. Суды не будут выносить решений в нашу пользу, как бы красноречивы ни были наши адвокаты. ООН не придет нам на помощь. Большинство людей в США по-прежнему останутся слепы или верны своей расистской романтизации индейцев.

Мы должны бороться со всем курсом политики Рейгана. Школы и больницы закрываются по всей индейской территории. (Те самые школы и больницы, которые вызывали недовольство коррупцией и профессиональной несостоятельностью.) Не пора ли задуматься над тем, что богатые продолжают наживаться на наших страданиях?

Вы спросите у меня: так есть ли у вас надежда? И я отвечу: да, мы не исчезнем с лица земли, мы все-таки выживем. Но надо продолжать сопротивление, надо ждать своего часа. Мир движется вперед, и от этого никуда не деться. Настанет день, когда американцы обратят взор на себя и увидят, какую безумную жизнь они ведут. И тогда им придется понять, что они вовсе не пуп земли, а такой же народ, как и все другие. Выше других они только в том странном краю, что называется воображением. Однажды они обернутся назад и увидят, как ужасно было их прошлое, им останется только одно: обратиться ко всему миру с вопросом: а есть ли и нам место среди других народов? Тогда-то наконец придет наш день — день, ради которого индейцы принесли столько жертв.

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ

Дениза Левертон (Denise Levertov) — род. в 1923 г. в Англии. Поэтесса, публицист, общественный деятель, преподаватель. Во время второй мировой войны работала медсестрой в лондонском госпитале. Первый поэтический сборник Левертон, "Двойной образ" ("The Double Image"), вышел в Англии в 1946 г. В 1948 г. она переезжает в США. Лирической, эмоциональной музе Левертон, особенно в 60-е годы — период подъема массового демократического движения в США, — свойственно обращение к гражданской теме. Левертон в своих стихах прежде всего отражает реальную действительность, преломляя ее в разных человеческих характерах. В своих эссе поэтесса утверждает нерасторжимость современной поэзии и политики (книга "Поэт и мир" ("The Poet in the World"), 1973). Она страстно выступала против агрессии США во Вьетнаме, ее стихи неоднократно публиковались в поэтических антологиях протеста. Левертон была активной участницей всемирных писательских форумов в Софии в 1977 и 1980 гг. По приглашению СП СССР посетила нашу страну в 1971 году. Одна из крупнейших современных поэтесс США, Дениза Левертон неоднократно удостоивалась литературных наград, в том числе премии журнала "Поэтри", премии Национального института искусства и литературы. Поэтесса ведет большую преподавательскую работу в ведущих университетах и колледжах страны. Ее стихи переводились на русский язык, публиковались в наших журналах. Предлагаемые здесь произведения Левертон взяты из различных ее авторских сборников 70–80-х гг.

НЕ ИМЕТЬ...

Нет, не иметь — быть!
О, мака черное сердце,
зерном бы в тебе лежать.

Стать любимой. Света ж если
придет конец — с последним
слиться звуком его песни.

ПЛАЩ

Чтобы выйти нагим,
нужна отвага.

У. Б. Итс

А я вот сразу
вышла нагая,

вдыхая
свою жизнь,
выдыхая
стихи,

бесшабашно невинна.

Но на морозе облачком песни
застыли

мои. Снежным
плащом на плечи упали,

тяжелым,
как камень,

слова искрами вмерзли,
сверкают.

И маска из льда — к чему
она мне? —
скрыла лицо.

В прорезь глаза
глядят — немая тоска в сердце песни.

СЕРДЦЕ

Его надрывает
малейший пустяк:

у богатых — в стремлении казаться лучше,
у бедных — в стремлении казаться богаче, —

каждое событие ежедневной жизни
покрывает его паутиною трещин,

как на старинном китайском фарфоре
после неудачного обжига.

Если бы мускул с этим названием,
дело которого перекачивать кровь,

так надрывался от случайных невзгод,
мир бы давно обезлюдел, а сердце,

робко замирая от малейших переживаний,
стойко переживает любые несчастья.

Бедствия истории
терзают его.

Будущая смерть
травмирует с детства.

И однако оно без устали бьется
пятьдесят, семьдесят, девяносто лет.

Так что же таится под истерзанной оболочкой?!

ПРАХ ЗЕМНОЙ

Столь медленно я умираю,
что это трудно заметить.
Говорят, умираю с рождения.

Однако раковина небес
постоянно остается открытой
или закрывается, чтоб открыться вновь,
и зеленая жемчужина ясно видна.

Медленно, очень медленно
кружась, приближаюсь я к солнцу.

ПЕСНЯ БЕЗ КОНЦА

Лебедь поет,
преодолевая смерть.
Бесцельный полет, шея тягостно вытянута,
но песня длится,
и длится жизнь.
Могучие крылья с шуршащим свистом
врезают воздух —
безудержно, мощно, —
устав от собственной
бесконечной силы,
и нет у песни конца...

ПОВОРОТ

Меж сизыми рельсами,
как бы считая —
правая нога
 ступает на шпалу,
а левая каждый раз между, —

туда, где старый товарный вагон
загнан в тупик среди серых солончаков,
и на нем — несколько разноцветных проб,
проведенных когда-то кистью
 и выцветших
до оттенков, мнившихся в мечтаниях Джотто.

— Скоро ли доберемся?
— Скоро. Гляди —
 линия делает поворот,
 и за ним,
 если без спора и споро идти,
 остается всего ничего.

ВОПРОС

Ты, убивающий строго по графику,
знаешь ли ты, что тебе
вовсе теперь не укрыться от глаз —
хотя ты и выжег им веки, —
которые пристально следят за тобой:
видят, как ты ешь свой сочный бифштекс,
покупаешь продажную женскую плоть,
подторговываешь товарами из армейской лавки
и спишь по ночам?
Она еще не стара —
та, чьи глаза следят за тобой, —
перед ней распахнута вечность.
Она запомнила тебя,
когда
пятеро ее малолетних детей
мучались, медленно умирая.
С тех пор-то она и следит за тобой
навсегда остановившимся взглядом.

СЕГОДНЯ

Я часть человечества:
так обычная туча —
темная и неспешная
или светлая, торопливая —
чувствует себя вечным
воинством туч:
не сегодняшней,
видимой лишь сегодняшним людям,
а тучей вообще, чреватой дождем,
который люди не в состоянии прекратить
или прогнать. Я одна из нас,
отбросивших на сегодня
искусственные личины, —
у каждого в левой руке транспарант,
а в правой эмблема, и каждый — частица,
искорка сверкающей молниями грозы,
атом крепчайшего в мире единства,
где ты — это я и я — это ты,
а мы — это дом,
бесстрашно открытый
и жаркому солнцу,
и снежным ветрам.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОСТОРЫ

Он сказал:
— Мы будем бороться вместе.
И раздвинулись тяжелые шторы.

Раздвинулись тяжелые шторы, явив
распахнутое настежь окно
и за ним —

огромный,
впервые реальный мир,
и, хотя я еще не вышла из дома,

свободный ветер
дохнул мне в лицо.

Это был мир
холмистых полей,
высоких гор и глубоких рек,

но тяжелые плотные шторы —
шоры одинокой печали —
скрывали от меня этот мир.

А теперь мне открылись вдали
широчайшие просторы
с людьми,

которые боролись,
как и я, чтобы подойти
к окну, — боролись за жизнь.

Им было отнюдь не легко, но они
шли на широкий простор борьбы —
общей борьбы, —

на вольный простор,
куда вскоре выйду и я.

ДЕНЬ, КОГДА ПАСТВА ПОКИНУЛА ИЗ-ЗА МЕНЯ СВОЙ ХРАМ, И ПОЧЕМУ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

А было так:
после пения псалмов
и жалостливых ужимок пред алтарем
я прочитала им с амвона стихи —
"Жизнь на войне" и "Какие они?", —
а потом начала свою проповедь,
говоря:

— Хорошо,
что мы помянули сегодня
студентов, безжалостно убитых в Кенте,

но нужно помнить, что наше собрание
обернется ханжеским сборищем, если
мы не помянем черных студентов,
убитых два года назад в Оринджбурге,
и Фреда Хемпстона, застреленного недавно
в собственной постели озверевшими полицейскими.

Я еще говорила, а почтенная паства —
девчонки, матери семейств, мужчины —
начала свой поспешный исход из храма,
явив алтарю и мне свои спины.

А я продолжала проповедь, говоря:
— Хорошо,
что мы помянули убитых,
но нас назовут лицемерами, если
мы не почтим их светлую память
воистину действенным
и активным сопротивлением.

Церковь тем временем почти опустела,
и я возвратилась на свою скамью,
а какой-то мужчина, сидевший у входа
рядом с распахнутыми настежь воротами,
за которыми шелестела майская зелень
и лежали длинные предвечерние тени,
сказал, что я осквернила их храм.

И когда опять убили студентов —
черных —
в Джексоне, штат Миссисипи,
никто уж не осквернил тот храм для белых,
потому что поминовения не было.

АНТОНИО МАЧАДО

Горная роща;
ярящийся родничок
стекает по желобу из выдолбленных стволов
сначала в бочку, обросшую мхом,
потом в бетонный маленький водоем,
а потом, чуть слышно журча, на луг
со стадом лениво жующих коров
и дальше, вниз, вдоль узкой тропы,
окаймленной снежинками диких гвоздик —
белых, душистых, пряных.
Антонио,
 старина,
 ушедший навек,
 если б ты оказался здесь! —
услышал бы говор горного ручейка,
увидел его серебристую рябь,
то ворчливо-сердитую, то нежную, словно шелк,
отведал бы родниковой хрустальной воды
и создал стихотворение —
с той суровой простотой,
которая неизменно звенела в твоих стихах.

ОДИНОЧЕСТВО ПУТНИКА

После заката еще долго пылает,
алея в небе кровью зари,
сокровенное волхование солнца,
и путник успевает найти
пристанище до ночной темноты.

А когда луна уходит за горизонт,
она, опускаясь неспешно,
исчезает всегда неожиданно
и без отсвета серебристой зари,

так что путнику остаются лишь звезды —
холодные, далекие, равнодушные, —
и дорога тонет во тьме.

Такая же судьба у богов,
и полубогов,
и героев.

ВЕЧЕР ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ В КЛУБЕ "КРАСНАЯ КНИГА"

Оказавшись в задних рядах,
я не видела, даже вытянув шею,
незнакомцев, читавших стихи,
и внезапно осознала, что зренье
не главное в моей жизни: я
различала их, слушая голоса,

рисовала в воображении семь
дружеских лиц, а верней,
семь голов с удивительно буйными,

кудрявыми, волнистыми и прямыми
волосами, — вернее, не рисовала,
потому что никогда их не видела,

а *слышала* в голосе личность.
И, вслушиваясь все пристальней, глубже,
проникала в сердцевинную сущность

бытия, как в недра земли
с ее глубинными реками,
скрытыми от человеческих глаз.

А песни этих любимых,
незнакомых мне близких друзей
озаряли мою незрячую голову
мелодиями их бед и надежд,
музыкой познания мира
с их жизнью
в бушующих океанах.

ЛЕТОМ

Чуть луна
скроется — ночь в клевер
ничком. Недвижно
замрет.

Краток миг
тьмы. Ночи ладони
простерты,
рассыпались
пряди.

Не успела забыться —
побудка —
первой птицы стенанье. Белых

рос дымка плывет.
Обнажились
формы деревьев, одетых
листвой, — все
спит. Из-за холма

медленно
проступают краски: кров,
пристанище на день ищут.

Пора,
ночь,
вставай же, и —
не размявшись, сон
не стряхнув, — в путь!

ПОЗНАВАЯ НЕЗНАЕМОЕ

Наши трудности —
это трудности тех —
каждого из нас, — кто однажды отверг
привычный путь, чтоб рвануться ввысь,

даже не зная, сможет ли послужить
стартовая тропка
посадочной полосой,
не зная, примет ли каждого, всех
избравших крылатый рывок вперед —
трудную радугу над вздыбленным бытием, —
планета, скрытая пологом облаков,
и сможем ли мы,
как градины по весне,
растаять, всосаться в обычную жизнь
зеленой,
занятой только собой,
не знающей наших забот земли.

ПОСТУПЬ СТРАХА

В нашем двенадцатизэтажном доме,
где у меня жилье на шестом этаже,
какая-то женщина — я узнаю ее по шагам —
никогда не ездит на лифте
и вечерами,
примерно в одни и те же часы,
спускается, цокая по ступенькам, вниз.
Порой, не успев уснуть, я слышу,
как она подымается ночью домой,
часто останавливаясь отдышаться и отдохнуть,
словно человек, взбирающийся по лестнице
внутри какой-нибудь статуи, чтоб, забравшись
и стоя на смотровой площадке, сказать:
— Ну вот, вскарабкался...
Каждый вечер.

УБЕЖИЩЕ ДОБРОТЫ

Где-то затеряна убогая комната,
и жилец этой комнаты медленно ковыляет
от двери к стулу,
чтоб в смиренном терпенье
мирно довольствоваться покойным теплом
и с тихой, безгласной радостью наблюдать,
как солнечный лучик
почти неприметно
ползет по стенке в угол. Убогий,

блаженно-безграмотный затворник не знает
свирепного мастерства сородичей,
которые хищно изобрели,

а теперь злонамеренно повышают
качество и количество стандартных средств —
а их уже и так мириады —
для массовых убийств на земле.

Но где-то затеряна убогая комната,
и там не тлеет ядовитая злоба,
не вспыхивает, как в дьявольской реторте,
жестокость.

Воображение
уносит меня туда, —
ведь где-то наверняка существует

убогая комната и ее убогий,
не желающий знать, что такое жестокость,
не ведающий злобы затворник.

ОБЫДЕННОСТЬ

Острой, чем обычно, у меня, мирянки,
полностью от мира сего, —
одинокчество.

Бумага, будильник — уродливые названия
привычных предметов... И вдруг среди них —
пушистые парашютики одуванчиков.

Мои нервные окончания, как рожки улитки,
с обнаженной чуткостью ощущают мир:
обожженные, жутко искаженные лица

с застывшей мукой в остекленевших глазах
всегда предо мной и в моих стихах —
я вижу их ежедневно долгие годы.

Но реальнее, чем обычно, привычный образ
предвечной любви, отвечающей моему
вечернему одиночеству
одиноким взглядом.

И как обычно — необычайное счастье,
звучащее

сквозь молчание сердечного одиночества
жаворонком на ранней заре.

КАНЦОНА

Когда я небо,
искрометная птица
вспарывает меня острыми крыльями песни.

Когда я море,
зыбь рдяных рыданий
взламывает мне грудь под ударами молний.

Когда я суша,
моя скальная твердь
медленно развеивается ветром в ничто.

Когда я женщина — о, когда я
женщина,
мои соленые родники
отмыкают мне горло ключами стихов.

МОЛИТВА О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЛЮБВИ

Да не отнимут любимые друг у друга
любимое дело во имя любви.

Да не наложат на страсть оковы
и не вложат ей в руки тяжкий кастет.

Да не окажется верность любимых
помехой их делу, а верность — любви.

Да укрепится их дело любовью,
и укрепится их делом любовь.

ДА УКРЕПИТСЯ ИХ ДЕЛОМ ЛЮБОВЬ,
И УКРЕПИТСЯ ИХ ДЕЛО ЛЮБОВЬЮ!

Да подтвердится их любовь расставаньем
и утвердится от неожиданных невзгод.

Да не отступит любовь перед расстоянием,
и умалится сила невзгод,
даже усиленных неожиданным расставаньем!

ИЗДАЛЕКА, II

*Первый стих
станет последним.*

Мир — шар.
А я —
странница в нем.

Тепло
твоего стройно-
упругого тела
я памятью вызываю.

Самую синюю, дальнюю
даль — вот что в себе
ты несешь,
ее холод,
несокрушимо.

Знаю,
меня ты не слышишь.

Я в поле
зерна собираю
одна во всем свете,

ты ждешь песни,
которой я
не знаю,
которой
никто не пел.

То — не
прощанье.
Храню
в том твой зарок
нерушимо.
Стих последний,

заключенный в янтарь
мира прозрачный,

станет первым.

НА ТРИДЦАТЬ ВТОРУЮ ГОДОВЩИНУ БОМБАРДИРОВКИ ХИРОСИМЫ И НАГАСАКИ

Взрывается новая бомба, неслыханной мощи,
далеко вдали за оградой
нашего воображенья,
и нам говорят, что *на этом*
война завершилась.

Всем нам по двадцать лет.
Наконец-то мы можем скинуть
заношенные униформы, облачиться
в шелк, подобающий юности. Облегченье
срывается вздохом с губ, широко
открыты глаза простодушные. Мы так привыкли
зубрить ежедневно таблицу умноженья,
исчисляя сумму убитых, что не замечаем
количественного скачка:
восемьдесят семь тысяч
убиты одной-единственной бомбой,
пятьдесят одна тысяча
пропали без вести или ранены.
Мы были медсестрами, солдатками, беженками,
рано познали смерть
во всем ее разнообразье. Война
поставила точку на детстве.
Мы знали все о снарядах, бомбах, торпедах,
о газовых печах, но *это*
было нам внове.
Слухи о происшедшем
доносились до нас, приглушенные,
точно шум проезжающих автомобилей
сквозь закрытое плотно окно.
Наши сердца грохотали ликующе
в предлетнюю эту пору:
"Война завершилась".

По миновании трех дней
никто не восстал живым
среди руин Хиросимы. И вот
сей исторический подвиг
был повторен в Нагасаки, с явным намереньем
разъяснить непонятливым важность
того, что случилось:
семьдесят три тысячи
убиты одной-единственной бомбой,
семьдесят четыре тысячи
пропали без вести или ранены.

Простые арифметические подсчеты
уничтоженной брэнной плоти
здесь не годились,
и все же ни я,
ни Сид, ни Рут, ни Бетси, ни Мэтью
не в силах припомнить, что именно было
шестого августа или девятого августа
тысяча девятьсот сорок пятого года.
Мы только знали: *война завершилась*,
но терялись в догадках: *что дальше?*
Как сложится будничная наша жизнь —
та, что придет отошедшей на смену?

Как на рентгеновском снимке,
тень
запечатлелась навеки
на камнях Хиросимы.
Какой-то мужчина, женщина, а может, ребенок
здесь испарился
в пламени адовом.

Эта тень
пала на нашу дальнейшую жизнь.
Вот уже тридцать лет
простертые в ужасе
руки ее
цепляются за наше грядущее,
грядущее наших детей.
Что впереди — продолжение истории
или обрыв, пустота?
Голос тени зовет:
"Не смейте молчать!"
Ногти свои вонзая
в наши сердца,
"Очнитесь", —
зовет.
"Еще не поздно..."
В молчанье ее
рождается шепот,
в шепоте — крик.
Утрачена ясная суть.
Совість людская
извивается в корчах — огромный клубок
змей, пробуждающихся
после долгого сна.
"... еще не поздно
спасти все, что можно спасти.
Боритесь за выживание,
за то, чтобы выволить

*наше провѣденье
из ям выгребных,
куда его толкнули
руки людей — тех самых,
что в тень
превратили меня..."*

ЧИЛИ, 1977

В этом краю обретала желанный приют
душа окрыленная.

Сверканьем своим

Южный Крест затмевало
Андских гор серебро.

Золото берегов
опрозрачивали океанские волны
вплоть до Антарктики.

Но
не ради их красоты
душа улетала туда.

Мы знали,
что бедные там впервые
запели счастливые песни,
бездомные там воздвигали
дома для самих себя,
все, кто веками
был попран пятой угнетенья,
пустились в счастливый пляс...

Каким же коротким оно оказалось, то время,
когда чилийцы нам всем показали,
что это такое — настоящая радость.
Как скоро нагрянули палачи,
в кандалы забивая тех,
кто был рожден для свободы!

Глотки заткнули
певцам,
размозжили руки
строителям,
в тюрьмы швырнули
танцоров.

Как мало краев на земле беспредельной,
где окрыленные наши души

могли бы желанный приют обрести, —
радостных фениксов стая!

В ужасе, в гневе сейчас
они улетают от Чили.
Над городами, лесами
вьется зловещий дым,
и опаленные
стонут надежды.

Когда же рассыплется вновь
бодрая дробь молотков,
снова сойдутся в танце
униженные, оскорбленные,
когда же по струнам гитарным
перебитые пальцы ударят —
и снова
грянет песнь
революции возрожденной?

ДАЛЕКИМ ОКОЛЬНЫМ ПУТЕМ

Элис Уокер и Кэролайн Тейлор

I

“Разрешенье проблемы, — внушают моим друзьям, —
в окончательной (либо “полной”)
ассимиляции. В смешении рас. Для чего же
заваривать смуту?
Сгиньте”, — они говорят.

Я белая американка,
неразделимая смесь
кельтско-семитской крови,
выросла под стеклом
английской теплицы,
чуть старомодная,
беспечная и счастливая
художница.

Вот почему
свое понимание жизни я обрела
в той борьбе, что вели во Вьетнаме
сыновья и дочери этой страны.
Лишь позднее,
много позднее

в бродильном чане воображенья
вызрело осознание:
что это за пытка такая —
каждый день пробуждаться
черным в белой Америке,
что это такое — бороться
за утверждение себя самого,
все это открылось мне, светлокожей,
мало-помалу,
не сразу.
Дальняя Азия стала
школой моей начальной,
лишь много позднее
я училась у ближних своих, черных сестер.

II

Дверь души открываю
под скрип заржавелых петель,
впускаю больничный запах
боли, зловонье плоти,
охваченной разложением,
зову добровольно отчаянье,
чтобы познать
со всей
непреложностью,
что распадающаяся эта плоть
еще недавно
принадлежала
любимому существу,
матери или дитяти.

Толчком открываю дверь,
ведущую в глубь души, начинаю
познавать самое себя,
что во мне есть
и чего не хватает.
Озаренье внезапно,
но путь к нему долог.
Медленно-медленно
тлеющий огонек
переползает по фитилю,
и только в самом конце —
взрыв.

Я увидала сквозь призму
доброжеланья, любви и горя
смутно-зыбкую тень того,
что мне
 никогда
 не познать
на себе,
что это за пытка такая —
что ни день пробуждаться с сознанием,
как все прекрасно в тебе:
и черная кожа,
и черные волосы,
и глаза,
и все разогретое сном
тело,
 которое так ненавистно
недругам, неумолимо
домогающимся твоей гибели.

III

Мы плаваем, все мы плаваем,
одержимые клаустрофобией,
в бассейне, насыщенном хлоркой,
разъедающей нам глаза.
Неумелы, несмелы
 рук наших взмахи,
мы дышим с трудом, задыхаемся.
Собственная тяжесть
нас тянет ко дну.
 И бывает,
мы задеваем чье-то
барахтающееся тело,
"желтое", хоть и не желтое,
"черное", хоть и не черное,
смуглое просто, похожее
неотличимо
 на наше тело,
словно созданное
 для объятий,
для избавленья
 от одиночества.
А тренер, надутый глупец,
расхаживая по краю бассейна,
машет рукой и кричит:

"Вы белые,
стало быть, все остальные,
должны
уступать вам дорогу".

Мы держимся в воде кое-как,
выгребаем с трудом,
стараясь не пойти ко дну, —
и тонем.

Мечта о будущем



Наш мир — весь из меньшинств,
случается, из одиночек
 (если слухам верить — опасных!) .
Когда же мы все,
 из разных меньшинств,
 однажды сольемся вместе —
 мы станем
одним большинством.

Р. Клоук. Меньшинства

УОЛТЕР РОДЖЕРС

Уолтер Роджерс (Walter Rogers) — уроженец Юга США, автор документальных романов, ветеран первой мировой войны, ветеран ИРМ. Текст выступления печатается по публикации в журнале "Киндаро", 1982.

МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

Речь на митинге студентов в защиту мира в Шривпорте,
Луизиана, 16 мая 1970 г.

Сравнивая то, что творилось в первую мировую войну, в водовороте которой мы с женой¹ побывали, с тем, что творится сейчас, когда наше правительство, можно сказать, ведет уже третью мировую войну, мы словно бы сумели перекинуть мост между поколениями.

Единственное, что не изменилось с 1917 года, что по-прежнему вызывает у солдат ненависть, — это необходимость отдавать честь. Мы, бывало, горько шутили, что, отдавая офицеру честь, солдат как бы говорит: "Я твой пес", а офицер, козыряя, отвечает: "То-то и оно". Мы ненавидели таблички "Только для офицеров" на дверях лучших кафе. Острили: «Ладно, пусть в следующий раз и война будет "только для офицеров"».

Для этой солдатской ненависти есть основания. Все войны, в которых участвовали США, были войнами империалистическими, имевшими целью укрепить положение эксплуататоров. Как позже признавал Вудро Вильсон, на костях 10 миллионов погибших в первой мировой войне сколотили состояние 20 тысяч новых американских миллионеров. Вторая мировая война приняла антифашистский характер потому, что многие народы мира развернули во всем мире движение Сопротивления. Но Трумэн предал это движение в Хиросиме и Нагасаки; а Черчилль — в Фултоне, продемонстрировав свою цель — расширить сферы влияния британского империализма.

¹ Элизабет Роджерс — общественный деятель, автор стихов и песен в защиту мира.

Даже наша революция 1776 года, освободившая страну от колониальной зависимости, вначале дала нам конституцию, предусматривающую имущественный ценз при голосовании. Позднее народ изменил такое положение. Американцы отказались ратифицировать конституцию, пока не были приняты первые десять поправок, то есть пока "Билль о правах" не закрепил их права и свободы. Позже под давлением народа были приняты 13-я, 14-я и 15-я поправки, которые были направлены против рабства. Мы как нация не должны прекращать борьбу, пока не добьемся всестороннего выполнения этих прав и не завоюем новые права для рабочих, фермеров, негров, студентов, женщин.

И еще одна особенность нашего опыта. За исключением революции и Гражданской войны, которые теперь уже стали историей, США на своей территории войн не вели. Никому, кроме частей, принимавших участие в военных действиях за границей, не довелось испытать ужасов войны, никому не привелось просыпаться в разрушенном бомбежкой городе. В городе, где нет света, воды, газа, где не ходят автобусы и поезда, где нет больниц, продовольствия и медикаментов. Одни руины, а среди руин бродят люди, разыскивая трупы близких. Не довелось узнать того, что выпадает на долю солдат, — усталости, голода, холода, ненастий. Видеть обезображенные тела друзей и братьев, которые только что были живы. И вдыхать неистребимый запах разложения, от которого негде укрыться.

Войны, которые велись против неизвестных нам народов, вдалеке от нашего мирного, уютного существования, не волновали среднего американца. Такое равнодушие непростительно. Как бы ни искажали факты средства массовой информации, мы знаем, что принес Италии фашизм, пришедший к власти в 1922 году; что принесло Германии и всему миру установление фашистской диктатуры в 1933 году. Из ежедневной информации, предназначенной гражданскому населению США и армии, явствует, что страна может скатиться к фашизму американского образца. Нет, слово "фашизм" при этом не произносится. Мы должны сделать выводы сами и предпринять все возможное и невозможное, чтобы уберечь свой дом от фашистской заразы, которая, как много лет назад предупреждал Синклер Льюис, ему угрожает.

Сравните современный телерадиомир с 1917—1918 годами. Я служил пулеметчиком в Первой дивизии под командованием генерала Першинга; воевал на десяти основных фронтах. Большой частью мы даже не знали, где находимся. О том, что в России в 1917 году произошла революция и русские вышли из войны, мы узнали много позже. Мы не имели представления, что в 1918 году бастовали немецкие рабочие на военных заводах, что немецкие моряки отказывались воевать и дезертировали. После того как нашей Первой дивизии было приказано принять участие в оккупации Германии, нас долго продержали на границе. Прошло много лет, прежде чем мы узнали — почему: от

нас хотели скрыть, что немцы требуют хлеба и мира. Боялись, что нам в голову могут прийти разные глупости — ведь мы были по горло сыты войной. Кстати, теперь именно в ФРГ движение за мир одно из самых сильных в Западной Европе; немцам приходится бороться с нацистскими военными преступниками, которые теперь снова на коне благодаря американскому доллару и закулисным интригам.

Спустя много лет после заключения перемирия 1918 года я узнал о мятежах в армиях всех западных держав, принимавших участие в первой мировой войне; отмечено около 60 случаев мятежей или забастовок, в которых принимали участие англичане, ирландцы, французы, итальянцы, канадцы, американцы. В 1917 году под девизом "Конец войне!" восстали 16 французских армейских корпусов. Французское командование восстановило порядок, расстреляв каждого десятого и выдав затем 350 000 увольнительных. Пьер ван Паассен упоминает об этом в своей книге "Дни нашей жизни", о событиях тех дней повествует и фильм Хамфри Коба "Дороги славы"; возможно, вы его видели. Французский флот, действовавший на Черном море, отказывался принимать участие в подавлении русской революции. В британских войсках, присланных в Архангельск, чтобы сокрушить государство рабочих, начались волнения. Прибывшие на смену американские войска были отозваны, потому что солдаты отказались разгружать военную технику и снаряжение.

Американские войска, направленные в Сибирь, взбунтовались. Командующий американскими войсками генерал Грейвз в книге "Американцы в Сибири" оправдывает действия своих солдат. Мне случалось встречаться в Алякатразе¹ с некоторыми участниками этих событий. В книге "Революция в Сизтле" Харви О'Коннор пишет, что американские профсоюзы отказались грузить военное имущество для генерала Колчака, который вел контрреволюционную деятельность в Сибири. А к тому времени, когда силами штрейкбрехеров оружие погрузили, Колчак был разбит.

Итак, всенародное сопротивление сегодняшним разбойничьим войнам уходит корнями в прошлое, и этим можно гордиться. Все наши захватнические войны встречали сопротивление. Аннексия мексиканских территорий, из которых были образованы штаты Техас, Нью-Мексико, Аризона и Калифорния, захват Кубы, Пуэрто-Рико, Филиппин, уничтожение индейцев или война в Корее, где в 50-е годы США потерпели фиаско, — в каждом случае люди доброй воли, знавшие или догадывавшиеся о правде, мужественно носили оскорбления и насмешки, сидели в застенках, шли на смерть, но не прекращали борьбы. Такие борцы были в прошлом, есть и ныне; это истинные патриоты, для которых честь родины дороже собственного благополучия.

¹ Алякатраз — остров на западе Калифорнии, где раньше была известная тюрьма.

И тем не менее по-прежнему звучит традиционный вопрос: "Вы и впрямь считаете, что протестовать стоит?" Спрашивают студенты, спрашивают их родители. На ум приходит сравнение с безумной матерью, которая говорит: "Я кормлю своего ребенка уже два года, а он все еще не вырос, так стоит ли кормить его дальше?"

Вот мой ответ. Нам есть чем гордиться — не только роскошными ванными, компьютерами и луноходами, но прежде всего богатой событиями историей борьбы трудящихся, цель которой — помешать капиталистам обескровить рабочее движение, помешать им воплотить мечту о мировом господстве. Мы не ждали подарков от судьбы. Наши завоевания достигнуты ценой жертв, лишений, даже жизни. Стоит ли бороться? Вьетнам — вот ответ. Вьетнам выстоял, Вьетнам одержал победу над превосходящими силами, чудовищным современным оружием, капиталом, коварством, бесчинствами и ненавистью американских милитаристов. Военно-промышленный комплекс США вынужден развязывать новые войны в Юго-Восточной Азии, дабы возместить ущерб, нанесенный поражением в войне против маленькой мирной страны.

Подумайте, ведь наши вояки вот уже шестнадцать лет вмешиваются во внутренние дела стран Юго-Восточной Азии — с 1954 года, когда Франция потерпела во Вьетнаме поражение, и в Женеве были подписаны международные соглашения, которые Соединенные Штаты считают себя вправе нарушать.

Как предсказывал Карл Маркс еще в конце прошлого века, американский капитализм зашел в тупик. Были испробованы все возможные уловки, увертки и отговорки, чтобы одурачить народ. Нас втягивали в войны — якобы для того, чтобы нам не "навязали" войну; вначале нас пугали коренным населением Америки — индейцами, на смену пришла "желтая угроза" (Китай, Пуэрто-Рико, Филиппины, Куба, Мексика), "красная угроза" (СССР, ГДР), теперь пугают красной, желтой и черной вместе, угрозой народной власти, которая придет на смену власти миллионов.

Итак, мы должны вести войну! Зачем? Чтобы не допустить "ужасающего" бесплатного питания, бесплатного медицинского обслуживания, бесплатной одежды, бесплатного обучения, оплачиваемого декретного отпуска в 111 дней, укороченного рабочего дня, постоянно растущей заработной платы, постоянного снижения цен, квартплаты, составляющей 3—5% зарплаты, и перспективы отмены квартплаты и всех налогов.

Взамен капитализм предлагает почти 5% безработных, день ото дня повышающиеся цены и налоги, ограничение участия масс в управлении, кризисы, которые могут разразиться в любой момент. Вот какие соображения высказывает президент Кливлендского банка, крупнейшего коммерческого банка штата Огайо: "В 1945 году средний банк имел возможность единовременно

погасить 90% своих обязательств, сейчас — только 20%. Не исключено, что в ближайшем времени крупный банк совсем не сможет отыскать для этого необходимых сумм. И тогда начнется валютная паника, совсем как в прошлые времена”.

Я верю, что мы сумеем выиграть битву за мир, процветание, братство, против отравления наших земель и вод, против отравления сознания отдельных людей и нации в целом, даже если на пути к победе нам придется выдержать наступление фашизма. Я приветствую движение за мир. Я приветствую сплочение профсоюзных рядов и женскую эмансипацию. Я приветствую брожение в школах, университетах, в армии.

Русские запустили спутник. Советское чудо послужило поводом к тому, чтобы на Уолл-стрит и в Пентагоне стали кричать о “русском мирном наступлении”. В те дни моя жена сочинила песенку на мотив мелодии времен “Великой депрессии” 30-х годов. Хоть мы с женой и не можем похвалиться хорошими голосами, мы споем вам эту песенку:

Живите вместе в мире и ширьте круг друзей!
Что может быть прекрасней, надежней и мудрей!
Мир принесет нам счастье и урожай полям.
Так пусть живет и любит прекрасная Земля!

ЭНН САДОВСКИ

Энн Садовски (Ann Sadowski) — молодая поэтесса из рабочих, чьи стихи публикуются прогрессивной прессой США. Ее произведения были представлены в антологии бостонской группы рабочих-писателей "Нам есть что сказать" ("Something to Say"), опубликованной издательством "Уэст энд пресс" в 1979 г. Предлагаемые стихи взяты из газеты "Дейли уорлд".

И ВНОВЬ ПРИЗЫВ К ВОЙНЕ...

И вновь призыв к войне
будоражит набатом Америку.
Стальным тяжким молотом тычется
в человечьи души
и, хоть не в силах
прорваться внутрь,
сотрясает сердца.

Вновь тот призыв
ударит по юным, по беднякам,
по цветным.

Все тот же поток лжи
течет конвейерной лентой,
тянется тележвачкой,
проникая в каждый дом,
каждое утро.

Ну же, взреем рупором,
прокричим призывом
повсюду:

"Вставайте за свободу, за демократию!"

...В сальвадорской деревушке сотни трупов —
не сосчитать, не отомстить!

От страха окаменели малыши.

И потянулись бесконечные каникулы,
но криков радости не слышно:

крик детей наполнен ненавистью к смерти,
к той войне, что нагрянула,
убив безмятежное детство.

И мукам нет ни края, ни конца.

И

новый звучит глас:

"Рабочий люд,

Дяде Сэму мало ваших жертв,

мало ваших лишений —

теперь ему подавай ваших

детей!

Пусть малы они, не помнят

Вьетнама,

пусть малы они, не помнят

выстрелов в Кенте,

пусть малы они, не помнят

Лютера Кинга.

Но кто дал право их убивать?"

...Послушайте,

эта война против свободы,

против жизни.

И эхом пусть отзовется в Аппалачах

набат Сальвадора.

Пусть вся Америка,

услыша, подхватит:

"Вытравить споры войны!

Мы не пойдем под ружье.

Нет, не пойдем,

Никогда!"

АЛМАЗНОЙ РОССЫПЬЮ ВО ТЬМЕ

Да взметнется крик

со всех концов земного шара!

...и бережно из руки в руку капель чувства —

одна лишь суть, одно богатство —

падет хрусталик мира.

Гренада,

ты — не остров!

Ты животворный воздух свободы.

Ты — неуловимость,

недостижимая для тех,

чьи руки долги,

а память коротка.

Забыли Кубу,
мустанга, по волнам бегущего,
забыли огни шахт в Южной Африке, мерцающие
алмазной россыпью во тьме,
и вас, юных солдат Ливана,
уснувших
непробудным сном,
сложивших головы,
не успев понять за что...
Бесценная жемчужина Карибов,
Гренада знает, за что
Ее сыны идут на смерть.

В судьбе Гренады
таятся все ответы —
ее народ поднялся,

и потому
вечно будет жить и дышать
там свобода!

УОЛТЕР ЛОУЭНФЕЛС

Уолтер Лоуэнфелс (Walter Lowenfels). 1897—1976. Прогрессивный поэт и критик, продолжатель уитменовской традиции в поэзии США. Отдав в молодые годы дань поэтическому экспериментаторству, Лоуэнфелс с 50-х годов становится горячим поборником гражданственности в литературе. В своей речи на суде перед маккартистами, обвинившими его в "подрывной деятельности", Лоуэнфелс заявил: "Поэзия — вот мое преступление... Поэзия, воспевающая людей, которые стремятся жить в мире, проникнутая верой в то, что человек восторжествует над всем бесчеловечным". Организаторский талант позволил Лоуэнфелсу сплотить вокруг себя во время подъема 60-х годов силы демократической поэзии, стать создателем знаменитых антологий поэзии протеста: "Поэты сегодня" ("Poets of Today"), 1964, "Где Вьетнам?" ("Where is Vietnam?"), 1967, "Надписи на стене" ("The Writing on the Wall"), 1969. В этих антологиях впервые черные поэты присутствовали на равных правах с белыми. Эстетическая программа поэта-демократа изложена им в известной книге "Революция — это гуманность" ("The Revolution is to be Human"), 1973, отрывок из которой мы публикуем по тексту вышедшего на русском языке сборника произведений Лоуэнфелса (М., "Прогресс", 1977).

РЕВОЛЮЦИЯ — ЭТО ГУМАННОСТЬ

Отрывки из книги

Нам необходимо пополнить наши исторические запасы. В Соединенных Штатах нужно глубже вскапывать пласты нашего континента. Нам нужно объявить себя наследниками всех — от арауканцев Огненной Земли до эскимосских племен Пойнт-Бэрроу — ведь никто из них ни разу не отрекался от борьбы за свое "я".

Как иначе вместить в одну личность общечеловеческую душу?

Чтобы нам быть самими собой и гражданами Соединенных Штатов, нам надлежит быть индейско-африкано-черно-белозападно-латиноамериканскими личностями.

И тогда поэт выразит смысл единого мира, не суть безделу-

шек, хранящихся в воздушном замке на Уолл-стрит, а мира пролетарской солидарности, победоносно реющей надо всем земным шаром.

Нужно черпать не только в прошлом, но и в будущем: в Африке, Латинской Америке, СССР — среди материков и народов, сегодня творящих будущее. Это не означает отказа от нашего, американского революционного наследия; это означает, что мы возрождаем и освежаем его.

Мы идем к всемирной культуре — национальной по форме, интернациональной, гуманной, социалистической по содержанию.

Вот сегодняшняя поэтическая вольность — наша свобода, свобода необходимости, потому что иначе наших запасов не наполнишь.

Именно в объятиях всемирной свободы оживают наши Вэлли-Форджи и Наты Тернеры¹.

Стихов об этом ждут твои товарищи по работе — только самые лучшие стихи; все остальное — позор.

Стихотворение в наше время возникает не из той ситуации, какая есть, а из той, какую она становится.

Кто видит радугу? Кто разглядит нарцисс?

Только мы слышим великую общемировую поэму, мы видим, что все: производство, распределение, потребление, рождение, возрождение — все это одна грандиозная песня, которую поют хором все.

Революция — это гуманность.

* * *

Иные достигают бессмертия и вечности при помощи осмоса², пейота³ или метафизики. Я достигаю этого при помощи Человеческой Геодезии, которая, я уверен, не подведет меня, сколько бы разных существований ни пережило мое "я".
Но вернемся к чему-то мне известному: поэты — жадные слушатели, настроенные на точную словесную волну жизни, с какой немногие из нас

¹ Тернер, Нат (1800—1831) — руководитель крупнейшего в истории США восстания рабов (август—октябрь 1831 года, штат Виргиния). Несмотря на поражение, восстание дало мощный толчок росту аболиционистского движения по всей стране.

² В биологии процесс проникновения растворителя сквозь тонкую перегородку, непроницаемую для растворяемого вещества.

³ Возбуждающий напиток, употребляемый индейцами во время религиозных церемоний.

согласны хоть как-то примириться и в
которой мы отнюдь не нуждаемся, чтобы
жить, как живем.

Отсюда расхожее выражение
"бессмертное слово" и расхожий
ответ "кому оно нужно!".

* * *

Нам не нужны художники для того, чтобы
"вдохновлять"

человечество. Человечество найдет дорогу
вперед благодаря неумолимым законам. Мы
движемся к человечеству, которое
примет эти законы как должное и спросит:
"А что же еще, о чем же все
это? Что вы видели в том
поцелуе, или в той розе, или в той баррикаде,
которую
штурмовали, чего никто другой не видел?
Теперь нам нужно негромкое, и ничто его
не заменит.

* * *

Для нас именно тут место посадки — и путь
к завтрашнему солнцу. Может быть,

потребуется

перископ, чтобы разглядеть
завтра в сегодняшней грязи. Но
иначе ты ничего не увидишь в
столетиях, которые нетерпеливо громоздятся
со всеми своими грядущими снегами и веснами.
Если ты не способен увидеть завтрашний день в
сегодняшнем морге, тогда ты действительно
скис и тебе впору петь стихи о
смерти, которым проигравшие
подражали несколько тысяч лет.
Выигравшие усваивают геологию на
ходу — всегда требуют новый способ
умирать, потому что старым никак не
прокормишься. Ибо это и есть окончательный
ответ — как есть в досталь, вместе,
как одолеть климат, который вечно
грозится стать слишком жарким или холодным и
не дать нам выжить.

Наверное, последнее стихотворение, которое
мы можем различить впереди, — это ритм
производства

и распределения — от луговой травы до
коровьего молока и
человеческого кровообращения — все
синхронизировано

в живом танце, где вера и
действие — одно, а люди воссоединены с
природой, но на другой
гипотенузе. Конечно, именно
ради этого мы живем, об этом
говорим.

Аристофан увидел это 2500 лет назад,
и он был прав.

А тем временем нам нужны стихи,
прошедшие сквозь напалм
для того, чтобы родиться,
стихи со шрамами на прекрасных
строках.

ДАДЛИ РЭНДЕЛЛ

Дадли Рэнделл (Dudley Randall) — негритянский поэт, издатель, популяризатор творчества американских негров. Уроженец Детройта, штат Мичиган, в молодости работал там на автомобильном заводе. В 60-е годы в период подъема движения американских негров за гражданские права основал издательство "Бродсайд пресс", в котором и по сей день издает произведения молодых талантливых писателей. Составитель антологии негритянского фольклора и современных песен протеста — "Чернокожие поэты" ("The Black Poets"), 1971. Публикуемые стихи взяты из поэтического сборника Рэнделла "Литания друзей" ("Litany of Friends"), 1981.

Недавно Рэнделл в знак общественного признания получил звание заслуженного поэта города Детройта.

МОЙ ЮГ

Что за кошмар перенес меня
К подножию этих холмов, в эти долины,
Залитые кровавой луной? Зачем
Я вновь бреду по земле мертвецов,
Лью слезы там, где лились кровь и слезы?
О жестокая власть крови и луны,
Тебе невозможно противиться. Я вылеплен из местной глины.
Кровь, пролитую здесь, я должен искупить собственной кровью.
Слезы — своими слезами. Здешних калек и уродов —
Исцелить своей плотью.
Я — жертва.

Поглядите, как эти хромые
Отчаянно пытаются перескочить границу,
Которой на самом деле нет, но страх каждый раз
Откидывает их назад, хотя там, за чертой, — здоровье и счастье!
А этот вошел, и запер за собой дверь,
И ключ — в окно. Бродяга в лохмотьях
Мурлычет какую-то всеми забытую песенку и провозглашает
Себя Повелителем мира. Изнуренный крестьянин
В изнеможении падает на плуг. В небе
Кружит унылая птица.

РОЗЫ И РЕВОЛЮЦИИ

Я думал о розах и революциях
и увидел, что на землю ложится огромное черное крыло ночи,
и города мерцают во тьме, словно свечи;
и вот я услышал стенание миллионов сердец,
проклинающих жизнь и молящих о смерти,
и увидел Негра с лицом, перекошенным от страха, —
он лежал, вжимаясь в болотную жижу, и я ощутил его дрожь —
дрожь затравленного зверя;
а после я увидел рабочих: они трудились,
не получая от своего труда никакой радости,
они вяло обнимали холодных шлюх,
их не волновали ни жены, ни юные девы.

Ощупью пробирался я в темноте,
неся в себе боль миллионов,
и вдруг увидел, что над землей восходит солнце грядущего:
новые счастливые люди свободно шагают по планете,
а бомбы и ракеты, словно кости динозавров в толще столетий,
лежат на дне океана;
никто не борется за власть, не рвется к богатству,
люди радостно строят друг для друга дома, сочиняют музыку,
пишут стихи.

И вот новым, очищенным зрением
я увидел, как в лучах нахлынувшего видения растет,
наливается соками и наконец распускается
пугающий и все же необычайно прекрасный,
кроваво-красный цветок революции.

ДЖОЗЕФ НОРТ

Джозеф Норт (Joseph North). 1904–1976. Писатель-коммунист, публицист, очеркист, литературный критик. Один из основателей и редакторов еженедельника "Нью мэссиз" (1934–1949), редактор прогрессивного журнала "Америкэн дайзлог". Мастер политического репортажа, участник антологии "Пролетарская литература в США", 1935. Вся многолетняя деятельность Норта была посвящена пропаганде пролетарской культуры, сохранению традиций "красных тридцатых", о чем свидетельствует прежде всего его книга мемуаров "Нет чужих среди людей" ("No Men Are Strangers"), 1958. Издательство "Радуга" опубликовало в 1983 г. сборник мемуаров и публицистики Норта под таким же названием. Статья "Мое кредо" ("My Credo") печатается по тексту этой книги.

МОЕ КРЕДО¹

Я с удовольствием откликаюсь на просьбу "Журналиста" рассказать о своей журналистской судьбе. Мне придется говорить как человеку, пережившему три войны и освещавшему две из них в качестве военного корреспондента, прошедшему через горнило классовых битв, которые являли собой примеры как массового героизма, так и безграничной жестокости. Большая часть моей мирной жизни отличалась от военной главным образом тем, что борьба велась другими, более тонкими, но не менее разящими средствами.

Бомбежки, которые я пережил в Мадриде в 1937 году и в Лондоне в 1945-м, давали мгновенный результат, но голод срабатывает тоньше — медленнее, менее драматично, но так же эффективно. Конечно, я никогда не переставал протестовать против грабительских войн как источника человеческих страданий. Но я заявляю: истинный, счастливый мир в обществе, где один класс эксплуатирует другой, — чистейшая иллюзия. И всю свою сознательную жизнь я посвятил борьбе против грома войн и мук голода. Для меня существуют два вида голода: голод желудка и голод ума. Оба они терзают миллионы американцев наших дней. А между тем прекрасные идеи вдохновляли нас

¹ Использован перевод, опубликованный в еженедельнике "За рубежом" № 26, 1972.

в прошлом и продолжают вдохновлять в настоящем, и сердце мое сжимается при одной мысли о том, чем могла бы стать Америка.

Для того чтобы рассказать обо всем этом, сформулировать мое кредо в этом мире, потребовались бы тома книг. Но если бы наступил мой последний час и перед моим взором промелькнула снова вся жизнь, что, говорят, случается с нами, смертными, то перед забвением, я уверен, память высветила бы такие сцены.

Семидесятилетняя негритянская женщина, застенчивая, с морщинами у глаз, с метлой и корзиной для мусора, распрямляет свою сгорбленную спину по мере того, как отвечает на мои вопросы в небольшой гостинице среди голубых холмов Западного Кентукки в соседстве с заповедником для певчих птиц. Шел 1954 год — год, когда по решению Верховного суда США о совместном обучении маленькие черные дети должны были впервые попытаться пойти в школы для белых, когда определенная часть белых людей с криками неандертальцев нападала на малышей, забрасывая шестилетних детей камнями — лишь бы не пустить черных в школы для белых. Я видел этих детей, их широко открытые, испуганные глаза, когда они шли к школам — нарядно одетые маленькие девочки в накрахмаленных платьях, с бантиками в волосах. Я поехал в те места от своей газеты. Но в тот момент я не решился сказать, что явился сюда просто для того, чтобы написать о детях, черных детях, поскольку, как вы знаете, слово "черный" является проклятием в моей стране.

Я поселился в гостинице в шести милях от города, ожидая, когда обстоительства позволят попасть в Клей. Всего лишь за день до моего приезда там избили и выставили из города корреспондента лондонской "Экспресс". Не лучше обошлись и с журналистом из "Нью-Йорк таймс".

Вот почему я оказался тогда в этой гостинице. Так получилось, что эта старая уборщица вошла в мою комнату, когда я сидел за машинкой. Я писал статью для своей газеты. Уборщица хотела незаметно выскользнуть из комнаты, так как не ожидала застать там постояльца, но я попросил ее задержаться, и между нами завязалась беседа. Я рассказал о цели своего приезда и этим, очевидно, завоевал у нее некоторое доверие. Потом стал расспрашивать ее.

Отложив метлу в угол, застенчиво рассматривая меня, старая женщина начала свой рассказ. Из него я узнал, что она приехала сюда из Алабамы несколько лет назад, когда ей уже было далеко за 60. Потребовалась помощь заболевшей дочери, у которой внезапно умер муж — отец четверых детей. Поэтому бабушка оставила свой дом и отправилась за тысячи миль, чтобы присмотреть за своими внуками. Она считает, что здесь не так плохо, как в Алабаме, поскольку есть вечерние школы для негров-взрослых, одну из которых она посещает дважды в неделю.

С некоторым удивлением взглянув на нее и вновь убедившись, что ей за 70, я спросил, что же она изучает в школе. Тихо, почти шепотом, она ответила: "Тригонометрию". Само собой разумеется, я был поражен ее ответом.

"Тригонометрию?" — повторил я, чтобы убедиться в правильности услышанного. "Да", — сказала она. На дальнем Юге, в Алабаме, фактически ни один человек ее поколения не проучился и четырех лет в школе.

Рассказ слишком долг, чтобы его полностью пересказывать здесь. Однажды в доме, где она работала служанкой, она украдкой перелистала учебник геометрии. Книга заинтересовала ее. Когда ее хозяйка на время уходила из дома, она урывками познавала страну чудес Эвклида. К своему восторгу, она обнаружила, что может понимать премудрости математики, и решила и дальше изучать этот предмет. Эту возможность она получила здесь, в Западном Кентукки, и, хотя жизнь оставила в ее распоряжении немного лет (это было сказано с улыбкой), она решила не терять времени даром и осилить тригонометрию.

Я тщательно подбирал слова, боясь в своем удивлении сбиться на покровительственный тон. В конце концов мне удалось спросить ее о цели учебы. Она пожала плечами.

— Я хочу знать, — сказала она, — я хочу просто знать. Знать суть вещей. Знать, что происходит. Особенно с числами.

Затем с лукавой улыбкой она добавила: "Когда я встречусь со святым Петром у жемчужных ворот рая, что произойдет, видимо, довольно скоро, и он спросит у меня о грехах, я скажу ему: "Господин святой Петр, я прожила жизнь порядочно, я никому не сделала плохого, я тяжело трудилась каждый день своей жизни, и я любила тригонометрию". После этих слов она снова взяла свою метлу и продолжала уборку комнаты.

Эта старая негритянка отчетливо запечатлелась в моей памяти, и я спрашиваю себя, когда попытаюсь ответить на ваши вопросы: почему она остается как одно из самых ярких воспоминаний? Может быть, потому, что сегодня она — символ всех тех в моей стране, чьи устремления неудержимы, символ всепобеждающего стремления Америки черных к полному человеческому равенству? Может быть, эта неприметная служанка является прототипом человека грядущего, может быть, в ней заключено чудо, которое я увидел в простом моем современнике?

Памятные моменты в жизни журналиста? Часто они ложатся тяжелым грузом и свидетельствуют о необъятности времени. Я вспоминаю Испанию, ясный день в Арагоне, в пору одного из трагических отступлений, когда вместе с Хемингуэем мы выехали на фронт для встречи с бойцами Интернациональных бригад. Враг продолжал наносить удары по флангам фактически безоружных республиканцев, превосходя их численностью и огромным количеством итальянских танкеток, так что создавалось

впечатление, что против каждого человека действует танкетка.

Мы услышали гул взрывов, насколько я помню, недалеко от Тортосы, там, где широкая Эбро выходит к Средиземному морю, оставили автомобиль в нескольких милях от линии фронта и добирались к нашим позициям, руководствуясь главным образом инстинктом. Мы натолкнулись на последние арьергардные части. Основная масса войск уже отошла, оставив для прикрытия небольшие группы, которые вскоре также должны были оставить свои позиции.

Хемингуэй, каким я его запомнил, с широкой спокойной улыбкой на лице, выглядел исключительно молодо. Когда он говорил, внимательно рассматривая собеседника, в его словах сквозила скрытая ирония. Когда мы вышли из автомобиля, он похлопал по двум большим нагрудным карманам своей куртки, застегнутым английскими булавками, и пояснил: "Справа я ношу свой американский паспорт. Если меня схватят солдаты Франко, я предъявлю им этот документ с вашингтонскими печатями. А здесь, — он засмеялся и указал на левую сторону, — у меня мандат республиканского правительства Испании, в котором сказано, что я верный друг Республики. Трудность заключается в том, чтобы не перепутать и не вручить документы Народного фронта Франко. Поэтому, — продолжал он, — я храню самый дорогой для меня документ в левом кармане, у сердца".

Мы достигли конца дороги и за рощей олив увидели солдат, прикрывавших отход. Казалось, что перед нами медленно проходят кинокадры. Дымки первых вражеских выстрелов поднялись у подножия ближайшего холма, и молодой солдат лет пятнадцати, которому предстояло уйти с поля боя последним, с любопытством посмотрел на нас и спросил Эрнеста:

— Вы товарищ Хемингуэй, американский писатель? Я видел вашу фотографию в "Мундо обреро". — На лице Хемингуэя появилась довольная улыбка. В одной руке солдат держал винтовку, а за плечами у него висела гитара. — Мне понравилось то, что я прочитал о вас, — сказал он и вдруг с характерным для испанцев достоинством добавил: — От имени Республики я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приехали писать о нас. — Несколько новых снарядов разорвалось совсем рядом. И тогда застенчиво и смущенно солдат добавил: — Я хотел бы просить вас, товарищ, оказать мне большую услугу. — Хемингуэй согласно кивнул. — Я хотел бы, — продолжал солдат, — чтобы вы сохранили для меня это, пока я не вернусь с фронта. — Он снял с плеча гитару и с грустью передал ее Хемингуэю. Писатель взял инструмент в руки, словно хрупкое сокровище, и стоял, держа гитару, как младенца. Молодой солдат улыбнулся и сказал, что должен покинуть нас, чтобы догнать своих товарищей. Указав на ближайший холм, где множилось дымки разры-

вов и усиливалась канонада, он добавил: — Будьте осторожны, они совсем близко.

В конце войны я спросил Хемингуэя, вернулся ли молодой солдат за гитарой. Хемингуэй не взглянул на меня, и ответа я не дождался...

Вы спрашиваете меня о моем кредо журналиста и писателя. Я могу его суммировать в одном слове: "Пробуждай!" Убеди угнетенного, что он непобедим.

Всю свою жизнь я старался быть достойным этого слова. Ни в одной статье, ни в одном абзаце, ни в одном предложении я никогда не лгал сознательно. Я делал ошибки, как всякий смертный, и я признавал их, разобравшись в своих заблуждениях. Как говорят у нас сельские жители штата Пенсильвания — а я оттуда родом, — каждому человеку в жизни уготовано съест свой кусок грязи. И я съел свой.

Пробуждать? Но не покажется ли это слово пустым звуком? Возможно, тут требуется некоторое разъяснение. Как журналист рабочего класса, придерживающийся марксистской философии, я стремился нести свет правды в капиталистической ночи моей страны. Но это еще не все. Я старался сделать нечто большее: убедить людей активно вмешиваться в жизнь. Большая часть из написанного мною была направлена на выявление несправедливости, царящей в нашем западном мире, его жестокости и продажности, его волчьих законов и аморальности. Я обращал внимание людей на все это. Мои противники — буржуазные журналисты — живут, руководствуясь рецептом старого французского циника, который заявлял, что слова предназначены для того, чтобы скрывать правду. Основные факты нашего времени были скрыты от моего народа. В результате и по сей день еще многие мои соотечественники не знают, кто несет ответственность за войны и что приводит к войнам — этому наибольшему злу, — если они направлены на порабощение народов, не знают скрытых законов политики нашего общества, которая представляется им бушующим морем в кромешной тьме. Примером подобных заблуждений может служить губернатор штата Нью-Йорк Рокфеллер, отпрыск богатейшей в мире семьи. Этот человек может многократно избираться губернатором нашего самого населенного штата на том основании, что, будучи богатым, он якобы не позволит себе быть неблагородным, взять взятку, а поэтому будет править с выгодой для народного благосостояния. Концепция классов, классовых интересов, классовых предубеждений все еще не проникла в сознание многих моих соотечественников.

Я стремлюсь, чтобы мои читатели прониклись этим сознанием, этой концепцией. Как журналист, я должен терпеливо разъяснять и разъяснять нашим трудолюбивым, технически

одаренным, но политически темным соотечественникам, что это результат отнюдь не бескорыстия, а политики нашего врага в области образования, литературы и массовой информации.

Именно эта политика привела к тому, что лишь немногие рабочие — благородные, как и весь их класс, — могут представить всю глубину подлости капитализма. 65-миллионный ежедневный тираж коммерческих изданий предназначен затуманить сознание рабочего человека. Телевидение, радио, кино — все они стремятся скрыть правду от моего брата по классу.

Мировая история еще не знает такого примера промывания мозгов, как это имеет место в моей стране. Инквизиция со всем арсеналом ее пыток — детская игра по сравнению с этим.

И в этих условиях я работаю как журналист и писатель большую часть своей жизни.

Все эти годы мною двигали два желания. Во-первых, принести людям свет, правду; во-вторых, желание убедить своего читателя в том, что он не только должен узнавать и знать правду, но что она должна звать его к действию. Кто, как не Карл Маркс, говорил, что недостаточно объяснить мир, надо переделать его. Согласно моему кредо, журналист должен стремиться убедить читателя в необходимости действий.

Мои оппоненты кричат, что такое кредо дискредитирует меня как объективного журналиста. Я отрицаю это и, просматривая их статьи в "Нью-Йорк таймс" и других изданиях, убеждаюсь, что я оставался верен истине в миллион раз больше, чем они. Временами я ошибался, но факт остается фактом, и я заявляю, что вся их деятельность базируется на лжи, будто один класс создан для господства над другим, будто эксплуатируемые должны находиться в вечной кабале у господ. Я являюсь свидетелем того, как на протяжении большого исторического периода эти журналисты делают все возможное для сохранения мощи и господства представляемого ими класса.

Я согласен с Хосе Марти — отцом кубинской свободы, отдавшим многие годы жизни журналистике. Он говорил: "Высшее творение господ бога — порядочный журналист".

Я иду по пути, указанному Лениным, чья публицистическая революционная деятельность явилась путеводной звездой народам царской России в их борьбе за свободу.

Я хотел бы добавить к этому, что журналист не только должен говорить правду, не только призывать к действию, но и вдохновлять. Я всегда писал о героическом, с чем постоянно встречался в жизни. Героизм — это правда. Но в Америке наших дней превозносятся антигерои, антиличности, безвкусица, скандальность, преступность, извращения, то есть делается все, чтобы смешать человека с грязью, пробудить в нем низменные инстинкты.

Было время, когда у нас были герои. У нас были Линкольн, и вместе с нами была правда; в нашем фольклоре был Поль

Баньян, который мог надвое разрубить гору. Был черный Джон Генри¹, чьи кулаки были сильнее молота. Мы рассказывали нашей молодежи о Джефферсоне и Томасе Пейне как о героях и как о людях, соединивших в себе волю, желания и надежды целых поколений соотечественников и обладавших отвагой первооткрывателей. Они, как и Франклин, не боялись поймать в небе молнию.

Я вызываю их образы в своем воображении. Для меня они не икона, не бородатый господь бог на небесах, а люди, которые стремились сделать богатыми других людей.

Таков смысл моего кредо, которого я придерживался на своем пути. Моим оружием была пишущая машинка, клавиши которой стучали в ритме "Интернационала". А он, я думаю, совпадает с ритмом жизни.

¹Джон Генри — герой негритянских народных баллад, распространенных во 2-й половине XIX в.

РИЧАРД КЛОУК

Ричард Клоук (Richard Cloke) — поэт, издатель и редактор "Сан-Франциско поэтри джорнал", который выходит в Норт-ридж, штат Калифорния, и публикует произведения поэтов, призывающие к борьбе за мир и прекращение гонки вооружений. Кроме того, автор нескольких романов. Клоук в составе батальона американских добровольцев воевал против фашизма в Испании. Основные темы поэзии Клоука, в частности поэмы "Земля-прародительница" ("Earth Ovum"), 1983, — взаимосвязь науки, политики и литературы в жизни современного человека, раздумья о судьбе человечества в ядерный век, о вкладе каждого в духовное развитие народов. Стихотворение Клоука "Меньшинства" ("Minority") было опубликовано в журнале "Киндаро", 1982.

МЕНЬШИНСТВА

Каждый из нас часть
меньшинства,
осмотритесь, взгляните в каждого,
вот инженер,
вот фермер,
вот продавец,
вот поэт,
вот чумазый — издалека видать —
рабочий-литейщик,
есть мироеды,
есть трутни,
а есть домохозяйка,
одни факелом пламенеют средь тьмы,
другие в лицо зловонием дышат.
Чего не бывает...
Наш мир — весь из меньшинств,
случается, из одиночек
(если слухам верить — опасных!) .
Когда же мы все,
из разных меньшинств,
однажды сольемся вместе —
мы станем
одним большинством.

СИДНИ ФИНКЕЛЬСТАЙН

Сидни Финкельстайн (Sidney Finkelstein) 1909—1974. Критик, литературовед, искусствовед. Один из основателей Американского института марксизма. Наиболее известные его книги: *"Искусство и общество"* ("Art and Society"), *"Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе"* ("Existentialism and Alienation in American Literature"), 1965, изданная в русском переводе (М., "Прогресс", 1965). Статья *"Что общество ждет от своих писателей?"* печатается по тексту книги *"Культура и общество. Марксистская литературно-художественная критика США"*. М., "Прогресс", 1976.

ЧЕГО ОБЩЕСТВО ЖДЕТ ОТ СВОИХ ПИСАТЕЛЕЙ?

У писателя есть две исторические роли, и они не всегда хорошо согласуются между собой. Во-первых, писатель — это творец, исследующий и изображающий внутреннюю жизнь человечества, растущее осознание того, что есть человек и чем он может быть, расширяющиеся горизонты свободы в соответствии с изменениями внешних условий жизни, будь то освоение природы или социальные сдвиги. Доводя эти открытия до общественного сознания, писатель становится учителем. Вторая роль писателя — это роль искусного ремесленника, слуги, который не должен мыслить самостоятельно, но лишь использовать свое мастерское владение языком и образами для утверждения идеологии, воспринятой им в готовом виде и словно бы слагающейся из забытых вечных истин. Роль учителя определяется выдающимися достижениями литературы, тем, что они стали неотъемлемой частью сознания прогрессивного человечества. Роль слуги вытекает из положения писателя в обществе, от которого он получает свое профессиональное умение, образование, технические средства воплощения творческих замыслов и которое тем самым налагает на него определенные обязательства. Первая из этих ролей нередко выполнялась на чрезмерно индивидуалистическом уровне, тайно, зашифрованно, иногда это был протест против цензуры, ограничений и категорических требований тех, кто говорит от имени общества "голосом власти". Но как раз эта роль обладает глубокой социальной важностью, роль же

слуги, заданная властями, нередко оказывалась крайне антисоциальной, поскольку не отвечала долговременным потребностям прогресса человечества.

Роль слуги особенно заметна в докапиталистическом обществе. В древних рабовладельческих империях и в феодальном обществе искусство письма пользовалось заметно большим уважением, чем живопись или скульптура. Ручной труд считался низменным. А способность читать и писать была источником могущества, ключом к знанию и мудрости. Правящий класс, присваивая плоды труда эксплуатируемых, всегда оставлял за собой исключительное право на произведения искусства. Но для искусства письма, как и для любого другого вида искусства, ему требовались умелые слуги. Какой смысл быть правителем, если нельзя заставить других людей делать за тебя всю работу? И вот в любом сколько-нибудь представительном собрании египетской скульптуры мы обязательно увидим типичного "писца", который сидит на корточках, держа свои таблички и всем своим видом выражая внимание и готовность, — нечто вроде нынешнего личного секретаря. Аналогию, подсказывающую, какую еще роль, вероятно, играли такие писцы в античности, можно найти в "литературных обработчиках", без которых многие американские политические деятели и капитаны промышленности выглядели бы косноязычными и умственно бесплодными.

Тем не менее в докапиталистическом обществе время от времени появлялись подлинные литературные шедевры — эпические поэмы, лирика, трагедии и комедии, записи народных сказаний и легенд, исторические труды, которые хотя и были полны мифов, но тем не менее давали понятие об истинной жизни общества и о путях развития воображения. История того, как рождались подобные произведения, на редкость увлекательна и далеко еще не вся нам известна, однако эти вопросы лежат за пределами настоящего очерка. Многое тут зависело от особенностей социального положения писателя — обычно слуги правящего класса, к которому сам он не принадлежал. А мировоззрение слуги не может не отличаться от мировоззрения господина, особенно во времена социальных потрясений. Связано это было, помимо всего, с тем, что писатель, обслуживающий правящий класс, обычно происходил из среды угнетенных — рабов, крепостных и прочих бесправных тружеников, которые не считались людьми. Во всех этих древних обществах имелись институты, обычно управлявшиеся жрецами или церковью, в задачу которых, в частности, входил отбор наиболее одаренных детей "рабочей скотинки" и воспитание из них полезных слуг правящего класса. В определенные эпохи они становились подлинной "интеллигенцией" своего времени и знали больше своих господ. Объяснение этого лежит отчасти в том, что мировоззрение правящего класса в период, когда он проводит перестройку общества, сменяя предыдущий класс, сильно отлича-

ется от того мировоззрения, которое вырабатывается у него, когда он укрепил свою власть и опасается дальнейших перемен. Вследствие этих и еще многих других причин наследие и традиции литературы обрели своеобразную форму отражения действительности не только через внешние аспекты жизни, но и через внутренний стимул человека к самопознанию, глубинному постижению и далеким горизонтам свободы.

После победы капитализма зависимое положение писателя сохранилось, но приобрело иную форму. Чаще всего он был не эксплуататором, а только наемным мастером слова, служившим эксплуататору, не торговцем литературным товаром, но производителем его для рынка и получал доход от своего труда, только если он приносил прибыль книгопродавцу и издателю. Происхождение писателей Европы и Америки было разным. Некоторые были выходцами из дворян, осознавали упадок своего класса и видели беспощадную погоню капитала за прибылью. Другие были детьми буржуазных родителей, которые нередко твердо верили, что жизнь, посвященная литературе или любому другому виду искусства, безнравственна и порочна. Ряды писателей пополнялись сыновьями фермеров, мелких чиновников и ремесленников, которые сумели получить образование, в литературу они нередко приходили через журналистику. Обычно они исповедовали идеологию правящего класса, объявлявшую эксплуатацию извечным законом природы потому, что от этого зависел их хлеб насущный, или потому, что их образование было пронизано этой идеей, или же потому, что такова была идеология класса, к которому они примкнули. Нередко к писателям и художникам, как и к ученым, прилагается крайне общее определение "мелкобуржуазный". Однако оно требует многих оговорок, и первая из них сводится к следующему: могучая сила великого наследия устанавливает в литературе и искусстве масштабы того, на что способно искусство, масштабы, которые немыслимы без правды жизни и без правды о самом себе. Таковы неписанные "законы" искусства. Эти законы постоянно нарушаются, оскверняются, искажаются и извращаются. И все-таки немало таких писателей и художников, которые не уклоняются от прямых требований великого наследия и отказываются продавать себя.

В XIX веке лишь относительно немногие писатели стали последователями пролетарской революционной теории марксизма или приняли дело рабочего класса как свое дело. Но очень значительное их число подвергало капиталистическое общество острой критике, сравнивая его официальное представление о себе с истинным его обликом, рассказывая о бесчеловечном уничтожении трудящихся и о их духовном обнищании. Они предлагали представления о жизни, противостоящие филлистерскому рыночному сознанию и звериному духу конкуренции, не признающей ни дружбы, ни родства. Писатели и художники даже подняли собственный бунт под лозунгом "Искус-

ство для искусства" — так они объявили войну филистерству и провозгласили свою независимость, отказываясь служить денежному мешку и политиканам.

Этих бунтарей нетрудно высмеять за их явное бессилие. Презирая практичных филистеров, они тем не менее видят в филистерстве нечто непреходящее. Они оставляют всякую надежду на изменение общества и стараются отгородиться от него. Однако под этим знаменем немало истинных талантов приняли жизнь, полную нужды и невзгод, и создали произведения, открывшие для литературы новые области.

Они показали, что внешнее благополучие, построенное на эксплуатации, чревато духовной трагедией. Перекочевав в XX век, этот бунт писателей с особой остротой выявил неразрешимое противоречие, стоявшее перед литератором, который считал буржуазное общество всемогущим и вечным и все же выбирал верность своему искусству. Противоречие это заключается в том, что литературное творчество по самой своей природе является социальным актом. Оно социально, потому что инструмент писателя — язык — вручило ему, сделало обоюдоострым и сохранило живым именно общество. Оно социально, потому что самые формы, в которые он воплощает свою творческую мысль, — эпическая и лирическая поэзия, рассказ, роман, драма, очерк — были выработаны обществом, и не как чисто конструктивные приспособления, но как средства социального общения и исследования жизни, с тем чтобы результаты этого исследования становились достоянием общества. Оно социально, поскольку писатель пишет, чтобы его читали. Даже если он отворачивается от остальных людей, он втайне хочет, чтобы они заглянули через его плечо. И в то же время, чтобы сохранить верность своему искусству, он должен писать только для себя и считать общество своим лютым врагом.

Суть же иронии заключается в том, что, стремясь таким способом сохранить верность наследию подлинного искусства, писатель зачеркивает это наследие. Ведь литература вошла в сокровищницу человечества потому, что принадлежала к числу его великих учителей. А чужаясь общества, видя в нем нечто непостижимое и враждебное, писатель закрывает себе доступ к источнику познания того, чему следовало бы учить других. Он остается верен себе, но его "я" в отчуждении от других людей бесплодно иссыхает.

Индивидуальность писателя, его "я", развивается и обогащается в соприкосновении с жизнью общества во всем ее многообразии. И дело не исчерпывается сбором материала, открытием темы и сюжета или накоплением опыта. Гораздо важнее другое: разделяя жизнь остальных людей, постоянно обретая себя в них, писатель разбивает оковы отчуждения.

Задача литературы — видеть личное в свете общественного и общественное в свете личного. Она показывает жизнь в раз-

личных ее проявлениях, во взаимодействии с внешней реальностью, образы людей, которые кажутся живыми и настоящими не только благодаря множеству документально точных деталей, но и потому, что в них схвачена внутренняя жизнь человека со всеми ее надеждами, страхами, противоречиями, ранами и победами. Каждое проявление жизни или человеческий портрет, воссозданные писателем, кажутся своеобразными и неповторимыми, всегда чем-то отличными от прочих. Но они обладают реальностью, потому что в них — жизнь, прошедшая процесс абстрагирования и вновь наделенная плотью.

Общество — это абстракция, обобщенная система, слагающаяся из бесчисленных индивидуальных жизней. Мы не видим общества, не можем его потрогать, но мы видим людей и можем прикоснуться только к людям. Точно так же обстоит дело с абстрактными категориями и законами природы. Их мы не видим, но мы видим предметы. То есть мы видим не "дерево", а деревья. Однако обобщения необходимы, чтобы мы могли понять то, что видим. Иначе говоря, если для нас существует понятие "дерево", каждое данное дерево мы видим по-иному, видим в нем не просто форму и цвет, но живой меняющийся организм, который вырос из семени, из побега, а теперь приносит цветы, плоды и семена, из которых вырастут новые деревья. Точно так же обстоит дело и с искусством. Писатель показывает нам какое-то проявление жизни и образ человека, которые кажутся единственными и неповторимыми. Но за ними стоит реальная жизнь, высвеченная открытием какой-то социальной закономерности. Многие наблюдения сплелись воедино и позволили увидеть, как социальные силы воздействуют на индивидуальную жизнь. Это провидение помогает писателю оформить то, что в его произведении предстает индивидуальным и личным. Чем вернее и глубже постигнута закономерность, тем большую реальность и действенность приобретает произведение искусства, ибо те же социальные силы отражаются во внутренней жизни других людей, и они убеждаются, что это произведение искусства говорит и о них, и узнают что-то новое о себе и об окружающем мире. Вот так писатели становились великими учителями. Учат они не экономике или политике, но умению острее и шире воспринимать природу, людей и общество, умению чувствовать, что самые личные проблемы являются также социальными проблемами, и умению нащупывать связь между социальными силами и внутренними конфликтами. Другими словами, они пишут историю своего времени, показывая, что значило жить в их время.

Чтобы учить, писатель должен учиться. Он должен быть верен себе. Ему нельзя приказывать: "Пиши то-то и то-то". Он должен писать только о том, во что верит, что в самых глубинах своего сознания считает правдой. Только тогда он — художник. Но масштаб и сила его искусства зависят от того, чему он научился. Всегда лучше знать, чем не знать, и лучше отдавать себе

ясный отчет в том, какие реальные силы на тебя воздействуют, чем оставаться в неведении. Писатель учится, вступая в тесный контакт с жизнью общества и, главное, с теми ситуациями, в которых разыгрывается бой между человеческой свободой и гибелью, а люди выступают в наиболее социальной своей сущности. Он учится, открывая свое родство с другими. Его учат собственные произведения — то есть их критика в той мере, в какой она показывает ему, насколько он сумел (или не сумел) проникнуть в жизнь других. Его учат наука и история, ибо они представляют собой сконцентрированный опыт людей, пытающихся переделать внешний мир и в этом процессе переделывающих себя. Прошлое искусство учит его тому, на что способно искусство. Он учится у своих собратьев-писателей, потому что исследование внутренней жизни эпохи — задача коллективная и художник не может осилить ее в одиночку. Когда развитие капитализма начало сокращать феодальные институты, это сопровождалось укреплением гуманистической веры в то, что мир познаваем и художнику необходимо вооружиться, овладев всеми знаниями о мире, какие только он сумеет получить. О том, что капитализм давно изжил свою полезность, говорит, в частности, его воздействие на писателей, причем не только на тех, кого он развращает, но и на тех, кто остается неподкупным, — их он убеждает, что мир непознаваем, да и познавать-то, собственно, нечего.

Когда писатель становится на сторону рабочего класса, марксизма, движения за социализм, его роль как творца в основе остается прежней, но содержание ее меняется. Он выбирает этот путь не в чаянии похвал и материальных благ. И не потому, что видит свою зависимость от тех же исторических сил и испытывает такие же удары реакции, как и все остальные люди. Тут дело в другом — по мере того как трудящиеся начинают сознательно творить свою историю и утверждать общность людей на все ширящейся основе, перед писателем распаивается совершенно новая область понимания человека. А людям нужны писатели так же, как и ученые. Однако такое движение ослабляет себя, если во главу угла своей программы не ставить требование сохранить вместе с потребностью писателя учиться его целостность, его верность себе. Тогда ему грозит излишний практицизм, в чем-то родственный буржуазному филистерству, а это порождает оппортунизм, который, несмотря на все широковетательные заявления о его полезности для движения, никакой настоящей пользы ему не приносит. Писатели рассматривают как слугу, забывая, что он еще и учитель в особой, только ему принадлежащей области: он открывает, как в действительности живут люди, что происходит в их сознании, в каком облике выступает свобода человека. Как ни верна идеология, задача писателя заключается не в том, чтобы придавать ей форму живой жизни, а в том, чтобы открывать и наблюдать, как она действует в реальной жизни реальных людей.

ДОН ГОРДОН

Дон Гордон (Don Gordon) — один из старейших поэтов-демократов США, друг и сподвижник Томаса Макграта, подвергался преследованиям в годы маккартизма. Автор нескольких поэтических сборников. Живет в Калифорнии. Мастер метафоры и гротеска, в своих последних стихах он, как бы подытоживая жизненный опыт, адресует строки молодым, развенчивая догматы и институты западной цивилизации. С юношеским энтузиазмом Гордон ищет новых путей для преодоления зла и порока в мире. Стихи взяты из авторских сборников "Под стражей" ("On the Ward"), 1977, и "Раскопки" ("Excavations"), 1979.

АРХЕОЛОГ

Ему пришлось от нее уйти
В другое время,
В другую землю,
Где гранитные повалились колонны,
Как деревья на лесоповале.

Куда проще читать
Текст, ему неизвестный,
Чем переводить ее
На понятный ему язык.

Он касался целых династий,
Роясь в склепах и черепках,
И по мусорным отпечаткам
Кожей чувствовал женщин их.

Ему нужен Розеттский камень,
Чтоб проникнуть в дальний Египет.
А она каждый раз исчезает,
Как ушли в потемки свои
Жители древней Паленке¹.

¹ Поселок в Мексике, на территории которого находятся руины древнего города индейцев майя.

Куда легче воссоздавать
Жизнь веков из праха,
Чем во времени жить одним
С той, кого ты любишь.

ПРЕДКИ

Я задумывал жить без предков,
Убежать от их мертвой хватки,
В разношерстном стаде я был бы
белым единорогом.

Они всюду здесь, старые
и великие,
Громко в будущее врываются,
Не уступят и молодым,
Чьи пути они заслоняют
Лесом своих рогов.

Я теперь покинутых предков
придумываю,
В одиссее сыновней прочно забытых;
Я ищу в своих жилах
следы столетий,
В черепной коробке —
мысли отцов,
И они рождаются в общем сердце,
Там, где песни радости и отчаяния.
Зябко, я возвращаюсь к кострам
Родовых потемок.

БЕГСТВО

Ночи прячутся
На рассвете,
Словно можно их утром выследить
И застать их за преступлениями
И фантазиями врасплох.

Звезды мчатся
На все четыре,
Рой светил от этой планеты
Улетает гудя в другие
Удаленные небеса.

Они мчатся от нас
Со скоростью
186 000 миль в секунду,
Выбираются из района,
Где на цели наведены
Нейтронные боеголовки.

Постепенно мы остаемся
Одни в этом скудном созвездии,
Как индейцы на берегу пролива
Перед Огненной Землей.

От всех их племен осталось
Двадцать семь человек всего-то,
Чтобы рыбу ловить костяными крючками
В мертвых водах истории.

ВОЛ

Вол вращает каменное колесо
На оси, словно шар земной,
Перемалывая зерно в муку,
С каждым шагом своим надеясь,
Что вот-вот куда-то уйдет.

Земля открыта зною и стуже
В жизненном цикле работ,
Семя падает на свое место,
И взлетает птица в свой час.

Люди в том же сонном кругу
Бытия, что и вол слепой:
Рождение, смерть, совокупление;
В один день грубый рис и мед
Или ребра крупного зверя;
Боевые схватки и лица
Чужеземок, несколько копий.

Это все, ни больше ни меньше,
И другие мысли ни разу
Над песками не пролетали
Стаями трупоядных птиц.

Почему ж мы не можем забыть об этом
В лихорадочной городской ночи?

ДВУХСОТЛЕТИЕ

Как омрачается лик страны,
Когда она старится:
Смотрится в зеркало
Двух бесконечных морей,
Себя выискивая и следы
Юного облика на равнинах
Снега; среди облаков
Она, как кондор, кружится,
Который до смерти теперь
Никогда не увидит гор.

Были другие сломленные
В хронике завоеваний,
Было и вымирание наций,
Как среди башен Ушмаля;
Вечная скорбь на лицах
У кочевых народов,
Которые и представить не могут
Воды в пустыне веков.

Утро всегда удивительно:
Ночь с ее забытием кончается,
Ночные кошмары со светом встают,
Когда брезжат руины на горизонте
И генераторы мощные спят.

В годы достатка крепка уверенность,
А когда пожирают мыши зерно,
Она колеблется и пропадает,
И мыши глядят не мигая на нас
Своим примеривающимся взглядом
Внушительных плотоядных.

СЕДЬМОЕ ЧУВСТВО

Себя вообразивший птицей
От страха не освободится:
Свобода — существо полета,
Его конечное усилие,
Но обязательно есть кто-то,
Кто норовит обрезать крылья.

Средь царства птиц
Невинно ястреб

На голубых ветвях небес
Повис, высматривая, где там,
Где лепят ласточки свой дом.

Свила невзрачная пичужка
Гнездо свое среди цветов,
И сойка завистью исходит,
Ей нужно основать гнездо
Перед весенней яйцекладкой.

Так пробуждаются пять чувств
И даже, может быть, шестое,
Они как щупальца слабы
В саду воздушном.

А седьмое —
Инстинкт свободы, это он
Их к жизни, слабых, вызывает,
Тетрарх до смерти и Закон.

ДЕТСТВО

Вы видели, как черепами играют
Дети в Бейруте?
Хохот и стук костей
Отдаются на дальнем юге,
У мыса Доброй Надежды
И окраин Суэто.

После года стрельбы —
Пустые глазницы,
Это ли не игра —
В оскале зубов видеть смех?
После нашествий, ракет —
Может статься, игрушкой
В адском кошмаре предстанет
Череп отца или брата...

Черноглазые дети играют
Черепами
В древнем Бейруте.
Дети на берегах
Сотен и тысяч рек
Пока еще мастерят
Кораблики из обрывков газет.

Году к двухтысячному она
 Достигнет совершеннолетия:
 Бессодержательное число,
 Ряд нулей, означающих нечто
 Солнечное и огромное.

Где предстоит ей жить там —
 В облачном замке
 Или воздушном
 Иль в соляных пещерах,
 Где хранятся до полураспада
 Радиоактивные сбросы?

Кто-то там будет рядом —
 Некто ящероподобный
 Или принц, роль которого вечно спасать
 Златокудрое существо
 В темном лесу?

Что она будет делать —
 Заниматься ли нотной грамотой,
 Маринистикой ли, гимнастикой
 Или стоять на коленях
 в Бухенвальде тех лет?

Я говорю себе: и в двухтысячном
 может быть не страшной,
 чем тысячу лет назад.
 И говорю ей:
 Я буду любить тебя.
 Если я доживу.

БЕЗ КОРНЕЙ

У меня есть предки из тех,
 Кто песок для истории,
 Их имена — никто и ничто.
 Бесследны они, бесшумны
 В пустынях столетий.

Дай звезды мне, дай горизонт,
 И я разыщу отцов своих.
 Дай солнце над головой —
 И тысячу матерей обрету,
 если мне будет нужно.

Есть растения, живущие воздухом
всю свою жизнь;
Лишь деревьям с их жадой жизни
нужно корнями буравить землю.
Люди, подобно животным,
ходят всю жизнь по земле:
Но они не идут по стопам
своих прародителей.

Мудрость в том, чтобы жить во времени
и на месте,
Исследовать мир
Как первый Эдем
и последний Эдем.

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ

Я в тех не уверен,
Кто знает все о себе:
Все недоступное нам
Они уже совершили.
Как корабли в обреченном порту,
Они сидят на мели
без признаков жизни.

Мне ближе те, кто ошибаются
каждый день,
Чьи кошмары разыгрываются наяву.
Мало фактов у них, но они летают
Среди недоступных взору планет.

Мне нравятся те, чей дух ныряет
или парит.
Они раздвигают и наш горизонт, они
Две голубые линии вдалеке,
Они избраны слово замолвить
за всех за нас
По делу: о человеческом праве
и об отчаянии.

Да будем избавлены мы
От нации бюргеров,
Которые знают, на чем стоят.
Я тем часом стою со всеми
Свободно падающими вниз,
Которые верят, что парашют
Все же раскроется.

РУИНЫ

Руины грядущего,
Еще не рожденного,
Откапывать нужно уже теперь,
Или оставить их муравьям.

Чтоб разговора последнего не было
По красному телефону,
Все археологи подлежат
мобилизации;
Всем историкам нужно сказать:
Не торопитесь описывать запуск,
Пусть эта дьявольская машина
Сама взорвется.

Никакой комиссии по расследованию
Не придется просеивать пыль земную
С периодом полураспада в тысячу лет,
Пока на земле не появятся люди,
Которых может уже не быть.

Нужно гигантское воображение,
Чтобы предвидеть цивилизации,
Еще не основанные в веках;
Слышать, как рушатся их колонны
В нагромождениях городов;
Задушить их лишенную завтра судьбу,
Притаившуюся
в ущельях сегодняшней ночи.

ФИЛЛИП БОНОСКИ

Филлип Боноски (Phillip Bonosky) — род. в 1916 г., сын рабочего-сталелитейщика, выходца из Литвы. Прогрессивный прозаик, журналист, литературный критик. В своих романах "Долина в огне" (1953) и "Волшебный папоротник" (1959) — оба романа переведены на русский язык — создает реалистические картины жизни и борьбы рабочего класса США. Был корреспондентом американской коммунистической газеты "Дейли уорлд" в Москве. Как публицист и литературный критик, Боноски освещает проблемы современной культуры, противопоставляя культуре буржуазной — демократическую (см., например, его книгу "Две культуры". М., "Прогресс", 1978). Публикуемый отрывок взят из статьи Ф. Боноски "Дети Америки" (журнал "Иностранная литература", 1980, № 12).

ДЕТИ АМЕРИКИ

Несколько штрихов к портрету общества

В американской литературе злой ребенок впервые появился в рассказе Генри Джеймса "Поворот винта". Генри Джеймс бежал из Америки в Англию и занялся там изучением жизни высших классов, которую изобразил в серии романов, в то время не понятых американской критикой, но затем занявших свое место среди хроник нравов и обычаев умирающего класса (правда, тогда он умирающим не казался). Однако Джеймс распознал признаки его упадка в Англии раньше, чем они проявились в Америке. "Я искал ноту странного и зловещего, существующего в самом нормальном и простом", — писал он в предисловии к одной из своих книг.

Двое детей в рассказе Джеймса "Поворот винта" рисуются как носители зла, тем более устрашающего и бесконтрольного, что оно не поддается определению как зло. В этом рассказе патологические элементы существуют не как симптомы болезни, но как выражение социально смутных взаимоотношений.

Неизвестно, болен ли мальчик в рассказе Джеймса, или он сознательно творит зло. Вот тут и возникает дилемма. Что такое "болен"? Что такое "зло"? И еще: почему зло обнаруживает-

ся именно в тех детях, которые до сих пор считались почти подобием небесных ангелов?

Поколение, вышедшее на сцену в 60-х годах, попыталось особенности детства и отрочества преобразовать в самодовлеющую философию, в вечную истину, в нравственную позицию, с которой можно оценивать и судить "правоверный" мир взрослых.

Детей и подростков еще не втянула "жизнь", под которой они, как правило, подразумевали занятия или профессии своих родителей, они подступали к тому удивительному "моменту благодати", когда решительный шаг еще не сделан и ты еще свободен воспринимать красоту и благородство жизни. Необходимость еще не зажала тебя в свои тиски. Они словно бы еще имели возможность выбирать и пытались сделать выбор.

Это поколение белых подростков из среднего класса первое начало пожинать плоды послевоенного процветания Америки, — плоды, которые включали не только материальные, но и духовные блага. Подростки эти были созданием не только школ и церквей, но и массовой культуры, возникшей после войны благодаря развитию техники. Пластинки сделали доступным для них весь мир музыки. Киноленты несли с собой не только звук, но и цвет, и ощущение трехмерности. Кроме того, теперь кто угодно (если у него были деньги) мог снимать собственные фильмы. Появлялось все больше книг и журналов. Радио стало вездесущим. Но, разумеется, главную роль в их мире играло телевидение. По субботам и богатые, и бедные ребяташки, не отрываясь, следили, как на голубом экране разворачивались одни и те же приключения в тех же самых "детских программах".

Обеспеченные дети белых пожинали, кроме того, плоды новых, "прогрессивных" теорий воспитания, исходивших из идеи, что ребенок вступает в жизнь чистым и неиспорченным, а потому, правильно его взращая, можно добиться того, чтобы его личность раскрылась во всей своей прелесть, подобно цветку, который являет миру красоту, заложенную еще в семени.

Всячески подчеркивалась "ценность" ребенка (принадлежащего к обеспеченному классу) — он был центром забот и внимания, вполне того заслуживая. За всем этим пряталась никогда не выражавшаяся вслух мысль, что с помощью хитрой воспитательной стратегии можно каким-то образом оградить его от бесчеловечности буржуазной реальности (плоть от плоти которой он был).

Житейский опыт, классовая борьба (впрочем, не признаваемая официальной Америкой), расизм, тот факт, что преуспеть в обществе можно, лишь став частью общества, условия жизни в империалистической стране — любящие родители считали, что сумеют оградить свое чадо от всего этого с помощью особо тонких и чутких педагогических приемов, так что оно достигнет безопасного приюта достойной старости, не затронутое порчей буржуазной действительности.

В воспитании этих детей искусство и культура играли особую роль. Их героями становились не военные, не политики, уж конечно, не удачливые дельцы и даже не спортсмены, а художники, писатели, поэты — причем главным образом те, кто выражали их собственные ощущения свободы и творчества. В формировании их сознания большую роль сыграли "На дороге" Керуака, "Вопль" Аллена Гинсберга и особенно Боб Дилан и его песни.

Во всех прогрессивных школах детей учили "правильному отношению" к половой жизни человека. Большинство белых американских подростков из обеспеченных семей этого послевоенного поколения "знали о сексе все", едва расставшись с детством. К этому времени сексуальная сторона жизни не только была признана "нормальной", но с нее были совлечены все покровы греха и тайны. Фрейд научил педагогов, что подавление сексуальных влечений ведет к развитию неврозов, а потому для здорового духа требуется тело не просто здоровое, но и ведущее здоровую половую жизнь.

Однако никто не сообщил этому поколению белых обеспеченных детей, что власть, позаботившаяся о такой жизни для них, буржуазная власть, зиждется на эксплуатации и угнетении. Все теории воспитания детей неизменно опирались на подразумеваемый постулат, что речь идет о белом обеспеченном ребенке. И никто не сообщил им, что благоденствие, в котором они купаются, объясняется только тем, что в отличие от остального мира Америка вышла из последней войны без существенных потерь. Наоборот, как и после первой мировой войны, она воспользовалась бедами и разорением стран Европы и Азии. Даже война в Корее не открыла им глаза — ведь она длилась всего два года и посылали туда только сыновей рабочих и представителей национальных меньшинств. Студенты от воинской повинности освобождались и следили за войной из безопасного далека.

Потребовалась война во Вьетнаме, чтобы они наконец осознали, что есть что. От воинской повинности их больше не освобождали — обеспеченных мальчиков, которые при нормальных обстоятельствах пересидели бы и эту войну у себя в классе или в аудитории, теперь призывали в армию и незамедлительно отправляли в джунгли далекого Вьетнама.

Необходимо отметить еще один факт: в большом количестве получаемые от родителей карманные деньги. В прошлое ушли 25 центов в неделю, выдававшиеся за хорошее поведение, за работу по дому или просто так. Теперь по всей стране эти "карманные" деньги слагались буквально в миллиарды долларов, которые дети получали, палец о палец не ударив, чтобы заработать что-нибудь самим. Столь колоссальные суммы в руках подростков, не знавших, что такое работа, немедленно создали "молодежный рынок" (особая одежда, пластинки, спортивный инвентарь, игры, музыкальные инструменты — главным образом

гитары — и так далее, вплоть до излюбленной еды) .

Почему родители столь щедро снабжали их деньгами? Это была своего рода взятка, чтобы оградить от них собственную жизнь. Как писал видный врач-психиатр Джозеф Боббит ("ЮС ньюс энд уорлд рипорт" от 4 марта 1968 года), обеспеченным родителям было проще "снабдить своего отпрыска машиной или кредитной карточкой и сказать: "Развлекайся, а нам не надоедай", — родителям, слишком занятым своей работой или своими удовольствиями, чтобы тратить время на общение с детьми или на то, чтобы в чем-нибудь им отказывать".

Были ли дети благодарны?

Они брали красивые дорогие костюмы, купленные в самых дорогих магазинах, рвали их, обливали краской или вышвыривали в окно и одевались в одежду "бедняков" — синие джинсы с собственноручно нашитыми заплатами!

Они не выражали ни малейшей благодарности родителям, которые "дали им все". Ибо родители не дали им только одного — мира, в котором можно было бы жить.

А потому в числе многого прочего они попытались вернуться к бедности, чувствуя, что добродетель обретается в ней, а не в их обеспеченности. Их родители разбогатели после войны. Состояния, нажитые во время второй мировой войны, умножались за счет войн в Корее и во Вьетнаме. Эти огромные, внезапно образовавшиеся богатства были ненадежными, и признаки такой ненадежности постепенно становились все более явными — особенно во время экономического спада 1974—1975 годов.

Наиболее типичной ситуацией становилось отчуждение между детьми и родителями — вульгарными мещанами, чье духовное убожество особенно резко контрастировало с окружающей их изысканной роскошью. Дети невольно спрашивали себя: чем же их "предки" заслужили свое богатство? Откуда оно у них? Неужели на свете нет ничего важнее, чем откармливать мягкое брюхо, неужели Америка — символ процветания вот таких мещан? Неужели дешево покупать и дорого продавать — это высший закон Вселенной?

Так это выглядело. Не искусство — а умение делать деньги. Даже если отец начинал как врач, кончал он торговцем — вы могли купить его услуги, только если платили требуемую цену. Иначе можете корчиться в агонии — никто вас не услышит.

Мама — "культурный стервятник" — щеголяла новообретенной культурой, которая оставалась для нее совершенно непонятой и недоступной и только лестила ее тщеславию, ничего не открывая ей ни о ней самой, ни о ее жизни. Собственно говоря, "культура" богатых пригородов того времени всячески подменяла подлинную жизнь и все связанные с ней проблемы скроенной на заказ синтетической жизнью. Это был бумажный цветок, который перевозился как более "красный и настоящий", чем реальные цветы.

Но как бы то ни было, подрастающее поколение смотрело на все это с омерзением. В своих усилиях обрести новое восприятие жизни через искусство оно соприкоснулось с чем-то реальным. Ведь искусство — это оценка реальной жизни.

Свое детство они вспоминали как потерянное, а нередко и бессовестно убитое. Особенно они мучились из-за того, что их истории о страдальческом детстве, проведенном среди богатства, ни у кого не находили отклика. Почему-то страдания "бедных богатых мальчиков" не вызывали особого сочувствия — особенно у тех, кто должен работать, чтобы жить. И они задавали вопрос: у меня есть все, что, по заверениям общества, должно дать мне счастье, — вкусная еда, собственная комната, машина — я только что получил права, — самая лучшая одежда и так далее. Так почему же я несчастен?

Почему?

...к дьяволу

Они потратят целое десятилетие и даже больше, чтобы найти ответ на этот вопрос: почему я так несчастен, ведь у меня для счастья есть все? Жизнь отчего-то утратила свой аромат, и никто не знает, как его вернуть.

Ни одно из предыдущих поколений не играло со своим сознанием так, как эти дети, — так рискованно, так сатанински, не заботясь о вреде, который они могут ему нанести. Они принципиально презирали сознание, разум, рассудок и обычные сферы умственной деятельности (при этом уровень развития многих из них был заметно выше среднего). "Миру сейчас нужна любовь, — пели они, — нежная любовь..." Любая любовь: твоя любовь, моя любовь, его и ее любовь — всякая любовь, лишь бы вера в это успокаивала смятение души...

Учиться — зачем? Величайшие умы причиняли величайшие разрушения. Вот Эйнштейн — первый разработал формулу, позволившую разъять атом, что затем привело к Хиросиме и Нагасаки, — и тот же Эйнштейн позднее, в период маккартизма, с горечью сказал, что, будь у него возможность прожить жизнь заново, он стал бы водопроводчиком, а не ученым!

Так вот и они скорее станут "водопроводчиками", лишь бы не стать учеными.

Эти дети Америки — дети "контркультуры" 60-х годов — легко поддавались убеждениям людей вроде Томаса Лири, первосвященника культа наркомании: "...отключаться, настраиваться, вырываться вон", с помощью наркотиков обретая сверхчеловеческие ощущения, которые якобы навсегда сделают их жизнь иной.

Как нам известно теперь, их сознание подвергалось изменениям, но не только по их собственной инициативе: правительство также интересовалось — и более чем интересовалось — тайнами, заложенными в наркотиках, но не как ключами к экстазу, а как средством идеологического контроля, как ору-

дием уничтожения. Пока "цветочные дети" принимали наркотики, чтобы грезить, ЦРУ грезило о наркотике, способном положить конец революции — в данном случае вьетнамской.

Тысячи юношей и девушек становились последователями темных религиозных культов, орудиями таких аферистов и агентов ЦРУ, как "преподобный" Сун Мьон Мун, южнокорейский евангелист, который мешал религию с антикоммунизмом в весьма неравных долях, сумел заставить тысячи белых американцев из состоятельных семей бросить дом и семью во имя его "крестового похода" и использовал все это для личного обогащения.

Как-то утром в марте 1970 года в нью-йоркском районе Гринич-Виллидж взрыв разрушил целый дом. Погибли три студента, изготовлявшие там взрывчатку, намереваясь сровнять с землей некоторые общественные здания. И погибшие, и уцелевшие принадлежали не просто к состоятельным, но к очень богатым семьям.

Поскольку никакие объяснения не пролили света на это невероятное явление, пришлось обратиться к черной магии, чтобы заодно объяснить и другие резкие социальные сдвиги: ведь когда священники становились пикетчиками и обличали своих епископов и кардиналов, это было вполне равносильно тому, что Патриция Херст назвала своего отца "капиталистической свиньей". Тут уж требовался дьявол, а раз он требовался, то он и возник.

На сцене "внезапно" появляется ребенок — совсем иной, непохожий на прежних. Это уже не малолетний преступник в старомодном смысле слова. И появляется он отнюдь не только среди низших классов, хотя и там становится другим, превращаясь из просто "нехорошего" мальчика в страшную опасность.

В Нью-Йорке в 1975 году, например, было арестовано за убийство 54 подростка моложе 16 лет. За грабежи в том же году арестовано 5276 подростков той же возрастной категории. В том же году 1240 подросткам было предъявлено обвинение в разбойном нападении с оружием — пистолетом или ножом. За изнасилование и извращения было арестовано 173 подростка моложе 16 лет. А ведь это только те, кто были арестованы заведомо нерадивой полицией! Это вовсе не полный перечень совершенных преступлений.

В Нью-Йорке же в 1969—1974 годах преобладающей причиной смерти подростков стало злоупотребление наркотиками.

"На школьном выпускном вечере... в Уэймуте, штат Массачусетс, семнадцатилетний юноша поднялся на эстраду, воскликнул: "Вот американский путь!" — и застрелился" ("ЮС ньюс энд уорлд рипорт" от 10 июля 1978 года).

В возрастной категории от 15 до 24 лет число самоубийств с 1965 по 1976 год "более чем удвоилось".

В 1977 году в докладе сенатской подкомиссии указывалось,

что около 70% школьников старшего возраста употребляют спиртные напитки и случаи серьезного пьянства среди них за последние 20 лет участились вдвое ("Нью-Йорк таймс" от 25 мая 1977 года). Причем 40% начали пить в 12 лет.

К 1976 году федеральное правительство выделило 12,6 миллиона долларов на борьбу с хулиганством и преступлениями в стенах школ. "Избиения, грабежи, вандализм, стычки стали в американских школах самым обычным явлением", — говорилось в докладе правительственной комиссии ("Нью-Йорк таймс" от 19 марта 1976 года).

К концу 60-х годов заметно возросла проституция среди несовершеннолетних, становящаяся все более доходной. В порнографическом фильме "Такси" выведена тринадцатилетняя проститутка. Другие фильмы того же рода равным образом широко используют подобные сюжеты со ссылкой на то, что художник — не "моралист", а просто "репортер".

Согласно сообщению "ЮС ньюс энд уорлд рипорт" от 15 января 1979 года, тысячам детей ежегодно требуется медицинское вмешательство после родительских побоев. Около 700 тысяч лишены еды, крова. По оценке министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения, каждый год около пяти тысяч детей умирают от побоев или оттого, что их не обеспечивают самым необходимым.

Ежегодно, говорится в той же статье, восемь миллионов детей (18 из 100) нападают на родителей, а 138 тысяч детей в возрасте от 3 до 17 лет, как показало недавнее обследование, пускали в ход оружие против брата или сестры. За тот же год около 21 тысячи детей и молодых взрослых пропали без вести, но полиция расследовала исчезновение только 5200 из них, поскольку возникло подозрение, что они стали жертвами преступлений. В остальных же случаях специальные розыски не проводились, поскольку, говорилось в полицейском докладе, "мы убедились, что девять родителей из десяти не хотят, чтобы им вернули их детей".

Кто и что тут виной? Просто поразительно, насколько страшно, сумевшая послать людей на Луну, оказывается беспомощной перед этой проблемой.

Некоторые винят телевидение. Как сообщает "Дейли уорлд" (16 апреля 1977 года), к четырнадцати годам средний американский ребенок успевает увидеть по телевизору по меньшей мере 11 тысяч убийств, эмоционально в них соучаствуя. Джин Дай, мать шестерых детей, высказала сотрудникам Национальной ассоциации родителей и учителей следующее мнение: "В результате такой ежедневной обработки жестокостью ребенок утрачивает чувствительность и становится безразличным и равнодушным к человеческим страданиям".

Против обвинения в том, что их программы способствуют росту детской преступности, телевизионные компании выдвигают

гают извечный довод "не пойман — не вор": если невозможно установить прямую и непосредственную связь между конкретной телевизионной программой и преступлением, они отказываются считать себя ответственными за влияние, которое оказывают на детей телевизионные программы, рисующие преступления. И суды становятся на их сторону.

Многие руководители рок-групп довели до диких крайностей тенденцию превращать патологию в развлечение. В репертуаре "Секс-пистолс", типичнейшей группы "панк-рока", была песенка с таким текстом: "Господи, спаси Мартина Бормана и других беглых наци. Они же не были плохими, господа, просто они так развлекались".

Эти провокационные стишки, типичные для омертвевшей совести исполнителей, были настолько скверными, что скоро песенка перестала исполняться. Но знаменательно, что позже один из участников группы, Сид Порочный (псевдоним, придуманный им самим), был арестован в Нью-Йорке за убийство подруги.

Они уже сами не могли разобрать, где кончалась реальная жизнь и начинались фантазии и отвратительные выдумки. Но как бы то ни было, их осыпали деньгами и на некоторое время они становились "героями культуры" — с полного благословения государства, которое предпочитало, чтобы молодежь неистовствовала до изнеможения в огромных концертных залах, вместо того чтобы устраивать демонстрации против войны и военных замыслов.

Коль скоро различие между убийством, бунтом против условностей и самовыражением стерлось и на практике, и в теории, нет ничего удивительного в росте преступности среди подростков. Причем, как подчеркивают психиатры, "несовершеннолетние преступники все реже проявляют раскаяние или осознают вину, даже когда речь идет о самых тяжких преступлениях (изнасилование, убийство, разбой. — Ф. Б.). Наоборот, когда их привозят в Гошен (нью-йоркская исправительная тюрьма для мальчиков. — Ф. Б.), подростки часто утверждают, что виноваты все, кроме них, и считают себя пострадавшей стороной" ("Нью-Йорк таймс" от 2 марта 1976 года).

Преступление утратило свой социальный смысл, превратилось в подобие стихийной катастрофы вроде землетрясения.

Общество уже больше не знало, как ему справиться с преступностью и с преступниками. Когда преступление совершают дети, у которых на губах еще не обсохло материнское молоко, они не могут нести за него всю полноту ответственности. В 1975 году из 25 тысяч несовершеннолетних, дела которых разбирались в нью-йоркском семейном суде, "причем более чем в 6700 случаях им в вину вменялись убийства, изнасилование, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений", к лишению свободы были приговорены всего 887 мальчиков и 42 де-

вочки. Были ли остальные менее виноваты? Нет, но среди судей существует безмолвное соглашение, что проблема несовершеннолетних преступников неразрешима и государству остается лишь изолировать наиболее опасных.

Из ангела, из маленькой Евы и Ширли Темпл с ее ямочками и милым лепетом американский ребенок в буквальном смысле слова преобразился в дьявола.

В 60-х годах на экраны вышел фильм "Дитя Розмэри", поставленный Романом Поланским, чья беременная жена была зверски убита "семьей" изувера Мэнсона, а сам он впоследствии был признан виновным в сожителстве с тринадцатилетней девочкой и бежал из США. Сюжет фильма сводится к тому, что смертная женщина рождает от дьявола ребенка-демона, который выглядит и ведет себя как обычный ребенок.

Фильм этот имел такой успех, что тотчас же экраны, сцена, книжные магазины, а за ними и телевизионные программы были захлестнуты потоком всевозможных сверхъестественных историй с упором на демонологию, причем в отличие от прежней продукции такого рода носителями демонического начала становились не взрослые люди или чудовища (как в голливудских "франкенштейновских" фильмах), а дети. "Книги о детях, рожденных машинами или одержимых дьяволом, о юных убийцах и их жертвах заполнили витрины универсамов, аптек, газетных киосков — и воображение детей, которые их читают" (Нью-Йорк таймс от 11 сентября 1977 года).

В 1977 году издание книг о детях-чудовищах стало, выражаясь языком финансового мира, "развивающейся отраслью промышленности".

"Наша национальная потребность упиваться тем, как детишки с пеной у рта убивают соседей или взрывают школьный гимнастический зал, оказалась настолько неутолимой, что издательский мир поспешил пойти нам навстречу", — пишет Кэрт Супли, рецензент "Вашингтон пост", разбирая новый роман, "Лупе", сюжет которого таков: "Эмили, жена врача, ревнует мужа к его любовнице Дженни и мучится из-за того, что у нее нет детей и это разрушает ее брак. Приятельница ведет Эмили к медиуму, мальчику Лупе американско-мексиканского происхождения, и он просит принести ему прядь волос Дженни. Эмили приносит ему эту прядь, и вскоре после этого Дженни охватывает пламя и она сгорает. Эмили должны судить за убийство с помощью колдовства, но у нее еще остается время стать среди водопадов хлещущей крови и забеременеть от дьявола, который изнасиловал ее, вселившись в труп... Мы утверждаем, что любим детей, — продолжает рецензент, — а втайне их ненавидим. Дети — одна из главных причин разводов: возможно, потому, что они напоминают нам о нашем возрасте и о нашей смертности в обществе, которое хочет, чтобы мы оставались подростками... Вот чем объясняется притягательность таких романов, как

"Лупе". Нам предоставляется возможность ненавидеть наших детей безнаказанно, без ощущения вины, поскольку ими овладел сидящий внутри зверь" ("Нью-Йорк таймс" от 30 июля 1977 года).

"Зверь внутри" — когда и как он возник? И что он такое? Дьявольское начало или человеческое?

"Почти два века дети в романах были носителями надежды и служили для того, чтобы пробуждать в читателях лучшие чувства. За последние три года на страницах десяти с лишним популярных книг, выходящих огромными тиражами, они фигурируют как посланцы смерти и воплощение зла, — пишет психиатр Джеймс Гордон, разбирая 14 романов о детях-чудовищах, и указывает дальше: — В большинстве этих книг их губительная роль подкрепляется сверхъестественными силами, идея которых в последнее время завораживающе действует на стольких американцев, — колдовством, семейными проклятиями, переселением душ, одержимостью бесами, телепатическими свойствами... Хотя эти бестселлеры об опасных демонических детях и представляют собой малохудожественное чтение, они тем не менее являются культурным феноменом. Их изобилие — как и изобилие фильмов, которые они неизбежно порождают, — возможно, отражает тревожные изменения в нашем отношении к детям, рецидив атавистического страха перед ними и реакцию на наше недавнее восторженное упоение детством и детьми... В любом случае заложенный в них общий смысл ясен: мы поработаны нашими детьми, будущее, которое они несут, мрачно и зловеще, и мы над ним не властны" ("Нью-Йорк таймс" от 11 сентября 1977 г.).

А вот каким представлялось "состояние человека" в 1969 году организаторам "свободного университета" в Калифорнии:

"Более, чем когда бы то ни было прежде, человек задается извечными вопросами: "Кто я? Зачем я живу? Куда я иду?" И, оглядываясь вокруг в поисках ответа на эти сугубо личные вопросы, он все больше убеждается, что традиционные ответы пусты и бессмысленны. Для многих бог мертв или, во всяком случае, получил сокрушительный удар. Лишенный религиозной панацеи, которая некогда обеспечивалась церковью, религиозными догмами и обрядами, человек все яснее сознает, что искать полноты личности и духовного спасения он должен где-то еще. Наука тоже не сумела открыть золотой дороги к бессмертию и могуществу, а вместо них предлагает чудовищный призрак мгновенного и всеобщего уничтожения. Даже капитализм, эта некогда священная корова западной цивилизации, теряет свой золотой блеск. Купаясь в неслыханном изобилии и процветании, человек обнаруживает, что его жизнь становится все более поверхностной и регламентированной. В результате возникает раздвоение между внутренним "я" и социально-экономической функцией индивида, и это, с одной стороны, создает ощу-

щение отчужденности, бесцельности жизни и собственного ничтожества, а с другой — усугубляет тоскливую тревогу, порождая духовную пустыню, полностью лишенную противоядия от тупой эмоциональной пресыщенности.

Но в таком случае — что остается делать? "Все более и более осознавая явное банкротство этих давних ответов и решений, люди начали понимать, что для преодоления возрастающего ощущения нереальности собственной личности и жизни, которое характеризует наш современный "шизоидный" мир, необходимо искать новые значимые ответы внутри себя, необходимо заняться самопознанием".

В 60-х годах тысячи молодых людей бежали в первозданную глушь, где организовывали утопические сельские "коммуны" — выращивали собственную пищу, изготавливали собственную одежду, всю работу делали сообща, в том числе и такую "работу", как создание детей.

В середине 70-х годов двое бывших проповедников контркультуры посетили мир, с которым расстались за несколько лет до этого, и изложили свои впечатления в книге "Дети контркультуры" (Джон Ротчайлд и Сьюзен Бернс Вулф, "Даблдей и К^о", 1976).

Они обнаружили, что к середине 70-х годов коммуны, возникшие под такие фанфары в начале 60-х годов, всего за десятилетие превратились в огромные сельские трущобы, населенные детьми, многие из которых не знали твердо своих отцов.

Дело в том, что большинство "цветочных детей", пленников теории, были не готовы к тому, чтобы иметь детей, — ведь они сами еще не расстались с детством. А опыт учит, что хуже и опаснее догматически применяемой здоровой теории может быть только вредная теория, которая громогласно объявляется магической панацеей, лечащей все недуги — от угрей до артрита, с формулой, кладущей конец всем войнам, в придачу.

К концу 70-х годов американцы, принадлежащие к обеспеченным классам, уже не могли толком понять, что же такое их дети. Они не знали, любить их или ненавидеть, отправлять ли их в тюрьмы или в психиатрические лечебницы, панически прятаться от них или отправлять их в школы-интернаты, а при первых же признаках переходного возраста убивать их прежде, чем убьют они, давать ли выход их природной агрессивности, разрешая им мучить кошек, или, вводя их в мир бизнеса, сразу же приобщать их к тайнам секса, или вообще не упоминать о его существовании.

Все сводится к тому, что в целом дети в Америке стали никому не нужны. Они не работали. Они не зарабатывали денег, но тем не менее получали их. Полезных обязанностей для детей становилось все меньше и меньше. Ребенок стал в основном потребителем. Он так или иначе поглощал доход родителей. И всегда был рядом — как их отрицание. Ибо родители со все

возрастающим отчаянием пытались продолжить собственный подростковый возраст до седых волос — не только из-за американского культа юности, но и потому, что быть молодым экономически — значит сохранять шанс не попасть в безработные. Кроме того, родители уже не могли передавать детям свой опыт. В современной Америке взгляды папы, а уж тем более дедушки никому не интересны.

И наконец, они ненавидели своих детей, потому что ненавидели себя. А себя они ненавидели потому, что их дети были правы. Весь их жизненный опыт ничего не стоил. После пятидесяти-шестидесяти лет, потраченных на то, чтобы наживать деньги, они не могли сказать ничего, что стоило бы услышать. Ибо в их свободной демократической республике они показали себя совершенно беспомощными во всех критических вопросах, включая вопросы войны и мира. Они дали своим детям войну во Вьетнаме, и дети швырнули им ее в лицо.

Им предложили искать спасение "внутри себя". Но когда они заглянули внутрь себя, то нашли там Зверя.

Они называли его дьяволом.

Этот дьявол был ребенком — их собственным.

Если ребенок — "отец взрослого человека", то не является ли он и воплощением своего общества?

САЙМОН ОРТИС

Саймон Ортис (Simon Ortiz) — род. в 1941 г. в г. Альбукерке (штат Нью-Мексико), поэт, новеллист, очеркист. Происходит из индейского племени акома. Работал на урановых копях в начале 60-х годов. После армии закончил университет в Нью-Мексико, затем — в штате Айова, преподавал в университете Сан-Диего, Институте искусств американских индейцев, других учебных заведениях. Главный редактор газеты индейцев навахо "Раф-Рок ньюз". Им опубликовано несколько сборников поэзии, сборники новелл. "Я пишу для себя, — говорит Ортис, — для своей матери, для своего отца, жены, детей, для всего моего родного народа. И я не могу иначе, потому что не хочу, чтоб зарастала тропа к отчужденному дому..."

Поэзия Ортиса может быть проникновенно лиричной, а может молниеносным ударом поражать мишень — власть имущих и их стремление утвердиться на этой вечной земле за счет тружеников-созидателей, которые берегут и возрождают ее от поколения к поколению. Публикуемые стихи взяты из поэтической книги "Ударом на удар" ("Fight Back"), 1980.

ТО МЕСТО ИНДЕЙЦАМ НЕ ДАСТ ПОКОЮ

На митинге в Калифорнии я разговорился с пожилым индейцем-пайютом, бывшим объездчиком и сезонником. Он завел речь о горячих ключах Козо, священном и целебном месте шо-шонов, оказавшемся на территории комплекса ВМС на озере Чайна. Как и научно-исследовательский институт в Лос-Аламосе, этот военно-морской комплекс представляет собой центр, где создается, совершенствуется, испытывается боевое вооружение США. И пайют, в очках с толстыми стеклами и в ковбойской шляпе, сказал: "То место индейцам не даст покою".

Придя, мы здесь устраиваем стоянку.
На несколько дней.
Добираемся верхами, в повозке,
пешком,
несколько дней там стоим,
сколько задумаем.

Горячие ключи Козо заведут беседу.
Мы станем беседовать с ними.
Нам, народу, нужна эта беседа.
То место индейцам не даст покою.
Вот оно.

Дети, женщины, мужчины,
все мы ходим сюда.
Выпей здешней воды — и тебе полегчало.
Омочи руки, лицо, все тело —
и тебе легче, и впрямь тебе лучше.
То место индейцам не даст покою,
горячие эти ключи весь наш люд знает.

Вот так возьми в руку
кремень, крепкий камень,
вот так его положи.
После молишься.
После поёшь.
После говоришь с горячим ключом,
говоришь, коль начнет с тобою беседу.
Оттуда, от земли
слово к тебе обратилось.
Ты услышишь.
Слушай же.

Слушай.

Ты услышал.
Камни там, в глубине, бьют один о другой.
Камни внизу трутся друг о дружку, шевелятся.

После молишься.
После поёшь.
После говоришь с камнями,
бьющими один о другой,
с трущимися друг о дружку камнями.
То место индейцам не даст покою.

Да,
и проводишь там несколько дней,
Слушая голос.
Издадека,
из самых глубин, голос движущей силы.
Издали к нам грядет она,
скоро нагрянет.
Близится, близится,
близится сила,
а земля горяча и дрожит.

Что-то неведомое силу направит,
уж это люду известно.

Надо вести ту беседу.
Молясь, как положено по-индейски.
Воспевая, как положено по-индейски.
Живо придет оно.
Знай, что оно вокруг.
Именно здесь,
там, где люд наш живет.
То место индейцам не даст покою.

А теперь
заведен забор вокруг горячих ключей Козо.
Приходим, а кругом забор.
Государственный забор захватил горячие ключи Козо.
Со второй мировой войны государственные ВМС
держат забор вокруг того места.
Идет сюда люд на беседу с горячим ключом,
а забор на замке, встал со всех сторон,
значит, придется толковать с этими ВМС,
чтоб внутрь допустили к горячим ключам.

Мы на беседу с силой горячих ключей,
а ВМС, — мол, с нами беседовать надо!
Разве это дело, когда тебе так говорят?
Нечего нам беседовать с государственным забором,
с государственными ВМС.
То место индейцам не даст покою теперь.

Долгие годы
люд наш ходит сюда,
семьями, отовсюду.
Из Невады, Юты, Аризоны,
из Калифорнии северной и южной,
отовсюду; из всяких краев.
Семьи добираются верхами, пешком,
повозками, ныне автомобилями.
По-прежнему ходим сюда,
все долгие годы, нам без того нельзя.
Вести беседу с силою
сил земли — нам без того нельзя.
Так положено по-индейски.

Не желаем беседовать с забором и с ВМС,
но покамест придется, ведь скоро
снова беседовать будем с горячим ключом.
То место индейцам не даст покою.

Слушай,
тогда ты услышишь.
Живо сможешь услышать
подступающий

из дальних глубин, из недр,
голос силы земной, идущий
все ближе и ближе.
Слушай, тогда ты услышишь
от земли
движущую силу голоса
и речь нашего люда.
Молятся, верно, и тихо поют.

Вслушайся,

тогда ты услышишь.
Люд наш
просит силу явиться,
и скоро грядет она.
Грядет,
движущая сила голоса,
движущая сила земли,
движущая сила нашего люда.
То место всему индейскому роду не даст покою.

* * *

То чувство,
что я не я,
пришло, когда я лежал
в тени
можжевельника.
Чувство минуло,
я поднимаюсь,
шагаю
по каньону,
который выходит
в долину.
Иду
по долине —
лошадей вижу,
одна в яблоках,
рядом гнедая.
Солнце неспешно садится.
Лошади вострепнулись,
завидев меня.
Вдруг срываются с места
и галопом
в каньон
под Шракайей.
Я проводил их взглядом,
пока не скрылись
в изгибах

вечерней земли
там в каньоне,
который уходит
в темень возле горы
Шракайя.

МЫ МНОГО ЧЕГО СЛЫХАЛИ, НО ЗНАЕМ, ГДЕ ИСТИНА

Земля. Народ.
Они друг другу родня.
Мы в единой семье.
Земля трудится вместе с нами.
Народ трудится вместе с ней.
Истинно,
 труд для земли
и народа являет жизнь
и ее продолжение.
Труд, он не только ради народа,
но и ради земли.
Мы не одни на свете,
такому и не бывать.
Земля нас животворит,
мы в ответ должны животворить ее.

Земля трудится ради нас,
чтобы мы жили,
дышали, пили, кормились от нее
благодарно —
потому должны мы трудиться,
чтобы жила она.
В этой семейной взаимосвязи
рождение жизни возможно.
Вот какой нужен труд.
Тогда он будет твореньем.
Так приходит доверие,
крепкое взаимосвязью земли и народа.
Земля и народ
доверяют друг другу.
Это, пожалуй, вера в себя самого,
она возникла —
раньше врунов, воров, убийц, —
и именно ради нее продолжать нам
трудиться.
Именно так трудясь
на благо земли и народа,
ради живого родства
меж собою,

мы приимем жизнь
и она продлится.

Мы много чего слышали,
но знаем, где истина:
земля и народ.

* * *

Есть песни
про дождь,
прямо чудо.
Бел и мягок туман,
нежно на землю лег,
сбежал ручейками,
камни блестят,
прямо чудо.
Есть песни.

* * *

Наутро
я встал и молился
и пел с чувством
и со значеньем,
как припомнить сумел:
— Знайте же,
знайте, пришел с добром,
знайте, что был я усерден,
примите, земля, солнце,
духовные силы края,
меня, ничтожного.
Потом я поднялся
на плоский верх Шракайи.
Мне удивился олень.
Верней, мы с ним удивились друг другу.
Спугнутый, он ускакал.
Я было погнался следом.
И хохотал, ибо радостно
здесь.
Впервые за двадцать лет
дождь ранним летом выпал
и сбрызнул все в меру.
Налились отменно

травы, цветы,
мне частью неведомые.

Я поел гуускани —
плод юкки —
и кактусовых плодов,
слегка незрелых.

* * *

Наше семейство возило
в полстагаллонных железных бочках
питьевую воду.

Отец сладил салазки,
и мы ставили бочки на них,
а сверху стелили брезент
вместо крышек.

Мать вспоминала: люди,
когда девчонкой она была,
пили

из ближней реки.

Но, когда мальчишкой я был,
лишь стирали белье в этой речке.
Пить стало нельзя.

* * *

Мне встретился Эммет,
пасший овец.

Такой же
смурной, весь не в себе.
Через плечо
на ремне винтовка.

— Вчера середь ночи, — он рассказал, —
в чего-то я выстрелил,
то ли в койота,
то ли еще в чего.

Теперь хоть и далеко он
от Вьетнама,
но, значит, все-таки близко,
близко.

— Не дури-ка! — ему я заметил.

ОПЯТЬ

Несколько лет назад
лежал я в госпитале
Форт-Лайонса, в Колорадо.
Мне велели позвонить одной мадам,
и я позвонил.
Она сказала:
— Я ищу индейца,
ведь вы индеец?
— Да, — говорю.
— Чудесно!
Сейчас объясню вам, зачем
мне индеец. —
И объяснила:
— Каждый год мы проводим в городе шествие,
парад по случаю Дня фронта,
все честь по чести,
участников масса.
— Да, — говорю.
— Ну вот, поминаем
фронт,
и хочется, чтоб вышло ярче.
Раньше мы брали индейцев,
сделанных из папье-маше,
то было давно.
— Да, — говорю.
— А в последние годы
несколько человек
наряжались индейцами,
чтоб стало подостоверней,
живые ведь люди.
— Да, — говорю.
— Впрочем, и так
не вполне правдиво,
но в том беда,
что у нас нету индейцев.
— Да, — говорю.
— В этом году хотим все сделать как надо.
С ног сбились в поисках
индейцев, их вроде нет ни единого
в этих местах Колорадо.
— Да, — говорю.
— Все хотим, понимаете, сделать по-настоящему,
в челнок посадить настоящего индейца,
не куклу из папье-маше
и не белого, ряженного под индейца,
а подлинного, с раскраской и в перьях.

Вот бы найти шамана!
— Да, — говорю.
— И тут слух: рядом в госпитале
находится индеец.
Вот радость! —
ворковала она.
— Да, — говорю, —
нас несколько здесь.
— Чудесно!

Ну а прошлой весною
мне в колледже, где я работаю,
сказали опять позвонить ей.
Звоню.
Уж так она рада была,
что я отозвался на просьбу,
и объясняет:
— Сэр Фрэнсис Дрейк —
английский пират тот самый
(она не добавила, сам-то я знаю) —
собрался снова пристать к побережью
Калифорнии, это будет в июне.
Потому она
ищет индейцев.
— Нет! — говорю. — Нет!

МОЛЕНИЕ СРЕДЬ АМЕРИКИ

Вновь купно стоим
среди сущего,
стоим воедино
как сестры и братья, матери и отцы,
дочери и сыновья, бабки и деды —
ушедшие и живущие поколения народа.
Вновь состоим
■ полноте жизни
вместе с землею, реками, горами, растениями, животными —
всем окружением,
которое вбирает и нас.
Вновь состоим в окоеме
с небом дневным и небом ночным,
солнцем, луной, временами года
и с матерью-землей, что нас подняла,
вновь
единосушно со всем,
случившимся в прошлом,
случающимся в настоящем

и должным случиться в будущем,
мы сознаем себя
в родстве, что требует долг
верности, любви и сострадания
на благо земли и всех людей;
мы молим, чтоб от зияющих жизненных сил
нам досталась частица,
с которой мы сможем борьбу
и труд наш также сделать зияющими
продолжение жизни.
Вновь купно стоим среди сущего
и от всего сердца просим надежды, отваги, мира,
мощи, прозренья, сплоченности и продолжения.

ВОЗВРАЩАЯ НАЗАД, ТЫ ДВИНЕШЬСЯ ДАЛЬШЕ

Фрагмент

Энергетические корпорации
и Востока и Запада
ныне покупают урановый концентрат
у горнонефтедобывающих корпораций,
которые роют землю.
Индейскую землю.
Венец, озеро Смита, Сенной,
Соборная скала, Сан-Матео, Амброзия,
Лагуна, Себойета — ясное дело, эти названия
не по-индейски звучат,
но, ясное дело, тут индейские земли,
люди здешние —
индейского Рода.
Хакнок сту тах ак.
Мы — Хакнок. Род. Хакнок. Род.

Энергофирмы и корпорации,
железные дороги, сельхозиндустрия, электроника,
штаты, города, поселки,
мужчины и женщины, там работающие,
все они, вся Америка
берет и берет от земли и Рода.
Земля ссужает.
Кюдраваа йах ани.
Род ссужает.
Кюдраваа йах ани.
Но Америка должна и возвращать.
Иначе не возродить земли.

Иначе не вызволить Род.
Посадишь что-то,
сведишь за ростом, лелеешь
и осторожно и нежно, поёшь, приговариваешь,
сведишь за ростом, потом убираешь,
хранишь, молишься, обсуждая
с людьми, как оно было, видишь, как растут твои дети,
взял что-то для пропитания и — возвращаешь.
С великой заботой и ожиданием,
с сочувствием и любовью,
сажаешь, движешься дальше,
то есть сажаешь,
чтоб выросло снова.
Возвращая назад, возвращая,
движешься дальше, движется жизнь.
Так говорит Род.
Так говорит земля.

Если того не делать,
жизнь по-прежнему будут высасывать,
землю изнурять,
а Род останется в рабском бессилии,
и за решеткою в нашем городе
будет по-прежнему полно индейцев.

До поры, однако,

когда не хватит решеток
держат все племена Рода,
и те восстанут.
Восстанут.

.....

МИЛЛЕН БРЭНД

Миллен Брэнд (Millen Brand), 1906—1980. Прозаик, поэт, один из авторов прогрессивного журнала "Наковальня", редактором которого был Джек Конрой. Автор романов "Внешняя комната" ("The Outward Room"), 1937, "Жестокий сон" ("Savage Sleep"), 1968, книги стихов и прозе "Местные характеры" ("Local Lives"), 1975, последние годы работал редактором крупного издательства "Кроуэлл". Борец за мир, пацифист, Брэнд в семьдесят один год прошагал в рядах сторонников мира от Нагасаки до Хиросимы и создал об этом поэму "Марш Мира" ("Peace March"), 1980, отрывки из которой мы публикуем. "Перед нами свидетельство очевидца, — пишет в поэме Дениз Леввертов. — Это гражданственное произведение, возможно, поможет нам выжить; оно, очевидно благодаря особой поэтической образности, заряжено мощным потенциалом, благодаря чему книгу будут читать и наши потомки, если только она поможет сохранить им будущее".

МАРШ МИРА из Нагасаки в Хиросиму

Фрагменты из поэмы

20 июня 1977

Минувший год,
нынешний год

1

По Тридцать четвертой улице Нью-Йорка,
по широкой улице, заретушированной тенями,
мы идем,
развернув лозунг

ОТ БОСТОНА ДО ВАШИНГТОНА

МАРШ ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Джим Пек держит лозунг вместе со мной.

С нами идут японцы,

бритоголовые монахи и монахини

в шафранных и ржавого цвета одеяниях,
по-старинному ниспадающих на лодыжки.
Они несут барабаны. Мамору Като
сосредоточенно бьет в барабан.
Рядом с ним Масаточи Сибая,
худощавый и властный.
Хидэо Мориока, строгий святой,
и Ешико Мияно, поэтесса, а не монашка,
ее черные волосы непокорно
падают на лицо. И другие японцы
идут вместе с нами
по земле Америки на восток
к зданию Объединенных Наций.
Они поют под размеренные удары:
"Наму мио хо рен ге кио",
растягивая последний слог,
удар палочки — слово ему в такт.
Барабаны — легкие диски,
их тугие мембраны похожи на веера,
держат их в левой руке,
а палочку в правой
и ударяют. Пять ударов, и —
дробь. И все повторяют:
"Народ Хиросимы
ничего не просит у мира..."

2

Минувшей весной в Нью-Йорке и Вашингтоне
с Ешико и с теми же монахами,
членами буддийской общины,
всего шестнадцать японцев
и мы, американцы, шли через континент,
выступая за разоружение.
Одни шли
из Сан-Франциско до Вашингтона,
другие иными ветвями маршрута,
из Нового Орлеана, Бостона и других мест,
представляя страну,
познавшую атомную бомбардировку.
Мы вместе с ними боролись за мир.

3

Этой весной
в знак поддержки и одобрения

нашего содружества, возникшего
во время марша в восемь тысяч миль,
буддийская община приглашает американцев
принять участие
в японском ежегодном Марше Мира
от Токио до Хиросимы.
Я прочитал приглашение
в бюллетене Лиги противников войны
и позвонил Джиму Пеку.
Я был уверен,
что он поедет, и не ошибся.
Я говорил, что буду рад поехать,
и он ответил: "Мы поедем вместе".

РЕШЕНИЕ

Так я решился.
Очарование Японии,
страны под флагом солнца, стремление
к свершению мечты, но главным делом
был для меня Марш Мира.

В детстве
я не был борцом. Отвращение к стычкам
осталось на всю жизнь,
хотя нельзя было не бороться.

В тридцать лет
услышал я о мирных сектах,
о меннонитах, о моравских братьях,
о принципах отказа от войны. И все же
война обрушилась на меня безумьем Гитлера.
В 1943-м

я прибыл в Вашингтон и там служил
в гражданской обороне. И даже
обслуживал торпедный бомбардировщик
в объединенных мастерских
в Аллентауне. Конец войны в Европе,
и я закончил службу.

В 1945-м
преподавал на летнем семинаре
в Нью-Гэмпшире в университете,
когда в начале августа газета
известила, что атомная бомба
сброшена на Хиросиму.
Я принял это за студенческую шутку.
Но нет. На месте Хиросимы, одной
из дельт человеческой реки,

был пепел, радиация, пустыня.
Потом за Хиросимой Нагасаки,
и мое детское миролюбие
опять во мне заговорило.
Жестокость и насилие
стали для меня,
как в детстве, неприемлемыми.
Иная сила, нежели оружие,
для человечества необходима,
чтобы выжить.
С такой уверенностью
пошел бы я, стареющий человек,
по дорогам Японии.

30 июня — 1 июля. Джим

Наш самолет из Лос-Анджелеса
взлетает во тьму навстречу рассвету.

В Гонолулу
часовая стоянка.

На аэродроме Джим Пек
мне показывает Алмазную Голову,
вершину в цепи гор,
вечную вотчину грома.

"Облака, — говорит он,
кивая на их высокие лбы, —
они стоят здесь всегда.

Они словно застыли
над всей горной грядой.

Дождь льет непрерывно и порождает
тропические леса. Никто не может там жить".

У него есть право рассказывать это.

В 1958-м

он был одним из тех пятерых,
кто на судне "Золотой руль" сделал вторую попытку
доплыть до Эниветока из Гонолулу
и помешать Америке в атомных испытаниях.

Береговая охрана перехватила судно,
взяла под стражу команду, и шестьдесят дней
он провел в тюрьме в Гонолулу. "Тоска.

Утешал меня только вид этих облаков,
этих застывших облаков,
они были особенно прекрасны по утрам,
когда над ними занимался рассвет".

И солнце освещает его лицо,
суровое лицо.

В тюрьме им давали желе,
и все заключенные
ели из одной миски,
в результате чего
он заболел туберкулезом.
Во время его болезни
я его навестил
в нью-йоркском госпитале Святого Иосифа.
Над койкой атеиста Джима
висело распятие,
и он сказал: "Разве религия
предотвратила вторую мировую?
Войны не будет, если сами люди откажутся воевать".

Его первая книга с моим вступлением:
МЫ, КТО НЕ ХОЧЕТ УБИВАТЬ.
И в 1961-м,
находясь на юге Франции,
я прочитал в американской газете,
потрясенный,
что Джим во время "рейда свободы"
на остановке в Бирмингеме, в Алабаме,
был вытащен из автобуса в переулок
и избит цепями, дубинками и железными прутьями,
ему потом наложили
пятьдесят три шва на голову и лицо.

Но он выжил. И он продолжал
идти путем борьбы,
несмотря на аресты,
а их было сорок пять,
причем четыре незаконных —
во время Континентального Марша, —
а многократно за вполне законное
гражданское неповиновение. Я вспомнил,
что автор "Гражданского Неповиновения"
однажды был тоже брошен в тюрьму. И Джим
стоял на своем.

из ДУ ФУ, ГОД 759

"У всех городских стен сигналы военных труб:
Когда придет конец несчастным этим песням?"

1

Мы подъезжаем
к Парку Мира, где все стоят
на солнцепеке под зонтиками,
как под шатрами.
Женщины в длинных юбках,
мужчины в выходных костюмах,
строй за строем, и во главе
мальчик с лозунгом,
который больше его самого.

2

Парк Мира находится на холме,
и в его центре — все туда повернулись —
Статуя Мира:
высотой в тридцать футов, она
видна издали, словно мирная пагода Фудзи.
"Скульптор Сэибо Китакура
автор ее. И здесь он родился —
в префектуре Нагасаки". Статуя —
человек из бронзы сидит,
перебросив плащ
через руку и вокруг поясицы,
спокойствие Будды во взгляде.
Правая рука воздета,
указывая на небо,
откуда сброшена атомная бомба,
левая рука из-под плаща
протянута, "взыскупя мира".
Отсюда спускается Парк
к улице вдоль
реки Ураками,
здесь и лежит наш путь.

3

Мы знакомимся.
Мичио Аояма будет вести нас
по первой из пяти префектур,
он молод, худ и подвижен, из тех,
кто благожелательно проникает
в течение жизни. Служит

на исследовательском судне
японского метеорологического агентства,
на нем желтый спортивный свитер.
Наш переводчик —
Тоси Токухиса, серьезный
четверокурсник колледжа.

Аояма говорит по-английски,
он приглашает нас спуститься
к обелиску, "сюда", к отметке
центра атомного взрыва,
"здесь эпицентр". Вокруг
ни здания, сплошная зелень,
укрывшая опустошение. К югу
отсюда Международный Павильон Культуры, там
музей бомбардировки. Стоя рядом
с обелиском эпицентра
и глядя на пустое небо,
я не могу не думать о "Б-29",
о сброшенной с него бомбе,
я вижу ее над собой.

4

Японцы произносят речи,
снут фоторепортеры и телеоператоры —
старт Марша
для них сенсация. Джима
просят выступить.
Он заготовил речь в Нью-Йорке,
и здесь его добрый друг
Юкио Аки
ее перевел на японский.
"Я счастлив
участвовать от континента в Марше
здесь, в Японии,
и передать от народа Америки
заверение в солидарности.
Хиросима не повторится!
Нагасаки не повторится!
Простите, я не могу говорить по-японски.
Эти несколько слов в переводе
пусть до вас доведут глубину
понимания нами проблемы".

Две строки: "Хиросима не повторится!
Нагасаки не повторится!" — звучат по-английски:
ему объяснили, что все японцы
это поймут. И стоящие рядом сказали,

что поняли все, что они благодарны
Джиму и мне за то, что мы здесь.

3 ИЮЛЯ. БУМАЖНЫЕ ЖУРАВЛИКИ

На отдыхе возле святыни
я вижу на одном из спутников
ожерелье с нанизанными птицами,
такими же, как украшение
на здании, мимо которого мы прошли.
Мне объясняет Токухиса:

ожерелье

из бумажных журавликов. Он мне
вручает одного. Что я знаю об этом?

Ничего.

Это символ здоровья. По японской легенде,
журавль живет тысячу лет и бумажный журавль
вам приносит

счастливую долгую жизнь.

Двенадцатилетняя Садако Сасаки
через десять лет после взрыва атомной бомбы
от облучения

заболела лейкемией. Ее друг

послал ей письмо в больницу
с бумажным журавликом в конверте.

Садако стала думать,

что, если смастерит тысячу журавликов,
она поправится. И смастерила

девятьсот шестьдесят четыре перед смертью.

И после ее смерти одноклассники

в начальной школе в Нобори-ко
решили ей поставить памятник —

памятник всем детям,

погибшим после атомного взрыва.

Их поддержала пресса,

по всей стране собрали средства

и статую установили

в Парке Мира в Хиросиме,

там есть такой же парк.

Бронзовая Садако

держит над головой

бумажного журавлика,

у подножия всегда лежат

тысячи жертвенных бумажных журавликов,
из которых складывается призыв:

“Вот наш плач, вот наша молитва —
мир принести в мир”.

Он встречает нас перед станцией.
"Меня зовут Хиёмацу Канагаэ.
Мне семьдесят три,
а когда бомба упала на Нагасаки,
мне было сорок один". На нем
коричневые брюки, белая рубашка
и соломенная шляпа.
Рубашка с короткими рукавами,
и видны обожженные руки
в мелких шрамах, как в рыбьих чешуйках.
"Почему я в ожогах:
я был машинистом
и находился на станции
в двух с половиной километрах
от эпицентра. По тревоге
я пошел в убежище,
но вышел в момент взрыва.
Я решил, что взрыв недалеко,
и сделал так, как учили
школьников. Глаза закрыл
руками и упал на землю.
Когда поднялся,
все вокруг полыхало. Я видел людей
под обломками и детей.
Мои дети, двое,
были на островке вне бухты
Нагасаки. Там, за тем
большим журавлем. Вы видели?"
"Да, я видел его".
"Потому жену и детей миновало.
А я еще болен. Никто не знает,
как от этого исцелить.
Мне сегодня получше.
А вчера был совсем плох".
Дважды в год он должен лечь
на обследование в больницу.
Он не сетует. Спокойны
его уцелевшие глаза.
Он жил прежде
в паровозном депо,
"такова была моя служба".

13 ИЮЛЯ. СЦЕНА НА ХОЛМЕ

Бамбук, поднимающийся на холм,
склоняясь в разные стороны,
похож на нестройную демонстрацию.

14 ИЮЛЯ. УЧАСТНИКИ МАРША

В ожидании начала Марша
выстроились вдоль стены
пятеро старух с родинками на лицах,
волосы стянуты в узел, в простых платьях,
ниспадающих складками на сухие
ноги. Возле них рабочие и работницы
в хлопчатых брюках до икр,
в белых накидках под шляпами,
закрывающих шеи, два разных пола
как отраженья друг друга.
Марш длится день,
и можно уйти с работы.
Учителя идут с нами,
машут студентам на обочине,
машут студенты в ответ.
Дети бегут рядом.

В Америке Марш был —
для посвященных, активистов борьбы.
Здесь же простые люди.
Капитан Шигэтоши мне говорит:
"Помашите рукой — это прекрасно".
Многие останавливаются в поселке,
когда мы проходим, прерывают дела и беседы,
машут нам. Танец рук.
Машет старуха с младенцем.
Всеобщее
единение, дух взаимной симпатии.
Рука поправляет
прическу на голове
и держит лозунг, человек на улице
в голубом кимоно наклоняется в приветствии.
Люди шествуют, наблюдают.

20 ИЮЛЯ. ФОТОСНИМКИ

Вчера достигли Кога вместе
с Ёсихарой. Встали

у маленького храма. На ступенях
складывала свои коробки молодежь,
подсчитывая сбор, — чудесные банкиры
колени преклонили при свете солнца,
девчонки и мальчишки.

И сегодня у храма много
таких же энергичных сборщиков. Они ждут,
а Ёсихара приносит со своей повозки
девять больших фотографий
и их раскладывает на ступенях храма:
взрыв атомной бомбы в Хиросиме;
Хиросима после взрыва;
человек с темными линиями на кимоно,
с письменами огня на спине;
мальчик и его старший брат
лежат неподвижно в пепле;
жертвы в истлевшей и сорванной одежде,
плывущие по реке.
Другие незабвенные виденья.
Сборщики со своими коробками
смотрят на снимки, отводят взгляд.
Сегодня
им придется побегать.

23 июля. СТАНЦИЯ МОДЖИ

В полдень мы все еще в Китакиушу,
полсотни новых демонстрантов
встречают нас на станции Моджи.
Среди них мужчина
с седыми волосами, стройный,
волосы до плеч. И все же
он выглядит нестарым. Он
знакомится со мной: Ёхиро Тая.
Я говорю: "Мне семьдесят один".
Ему, он отвечает, семьдесят шесть.
Он держит меня за руку и говорит:
"Хайку" — и объясняет дальше
через переводчика:
"Я пятьдесят пять лет
скитаюсь по Японии,
записывая хайку".

"Какие хайку?" — я спросил.

"Любые. Сельские сцены,
природа, времена года, но
последние двадцать лет в основном

это хайку против войны”.

“И вы сейчас идете вместе с нами?”

“Я каждый год участвую в походе
против войны.

В пути пишу.

Я написал уже тысячу хайку”. Семнадцать слогов —
единым вздохом,
все это — против войны.

2 АВГУСТА. МУЗЕЙ

Мы с Джимом спускаемся от храма
к Музею мира. Единственный этаж,
в отличие от Центра
истории атомной бомбы в Хиросиме,
рассчитан тщательно. В центральной нише
панорама Хиросимы
после взрыва. Опустошение
до гор вплотную. И только
несколько домов уцелели за холмом.
Снимки выжженной земли.
Муляжи трех жертв в натуральную величину,
полунагих, опаленных, кожа свисает
с пальцев. Взгляд
застывший, ошеломленный, непонимающий,
говорящий:
“Мы не знаем, что с нами”.

Крошево камня, подкошены стены
в отдалении от эпицентра, женщины, девушки,
теряющие волосы, склонили
головы. Опаленные челюсти, лица.
Глаза вылезли из орбит, и, как в Нагасаки,
встали часы, здесь на восьмью
с четвертью. Миг,
когда обычные жесты
труда, ходьбы, глоток чаю из чашки
застыли.

У выхода табличка на английском:
“Вот так погибла Хиросима”.

2 АВГУСТА. КОММЕНТАРИИ

В Музее есть книга для гостей,
где каждый может расписаться.

На правой стороне есть просьба
оставить "комментарий".
Вот пример:
"Мне стыдно быть американцем".
Показываю Джиму, говорю:
"Если бы был музей,
хранящий память о земных
всех войнах, бедах, муках,
о геноциде, травле, —
что можно было вписать
в такую книгу для гостей?"
Джим говорит: "Да, Миллен,
а бомбу все-таки сбросили мы".

2 АВГУСТА. ПРОГУЛКА В ПАРКЕ

Мы с Джимом в Парке Мира.
Вот насыпь в память неизвестных жертв,
глыбы различных форм,
но мы сейчас хотим увидеть
Детский Монумент Мира.
Находим сводчатый купол, под которым
тысячи бумажных журавлей
и наверху в короткой юбке девочка
Садако Сасаки
в воздетых руках держит
бумажного журавлика из бронзы —
она так не хотела
умирать.

4 АВГУСТА. РЕЧЬ УЧАСТНИКА МАРША

Речь говорит в Хиросиме
на международном митинге мира
американка Нэнси Ли Мон.
Вот начало:
"Я вместе со многими другими
самыми разными людьми
прошла от Токио до Хиросимы
в Марше Мира.
Мы все простые люди,
нас волнует будущность мира.
Мы не принадлежим
к политическим партиям или сектам,
мы говорим от себя лично,

лично с каждым другим о мире.
Отвергая насилие в жизни,
мы вместе пришли сюда,
чтобы говорить
от имени тех, кто
стремится жить в мире.
Мы требуем только таких условий,
которые мирным людям позволяют жить.
И наша забота — пища, стирка,
починка одежды. Мы учимся друг у друга
английскому и японскому —
и когда языка мало, нас музыка соединяет.
Мы вытираем друг другу пот,
когда палит ежедневное солнце...”

7 АВГУСТА. ФОНАРИКИ

Вчера в Хиросиме мы с Джимом
после вечера у горы Фудзи
пришли к реке Мотоясу
посмотреть на фонарики со свечами,
плывущие рядом с отражениями
по течению. С берега там и тут
мужчины, женщины, даже дети
благоговейно спускали плотики
с фонарями, они вливались
в вереницу огней, фонарики,
“отданные течению
ради мирного отдохновения духа”.

На озере в Центральном парке Нью-Йорка
я уже опускал такие же фонарики
в знак мира. Здесь эти огни,
вздрагивающие на плотиках под аркой неба,
свою поистине невыносимую красоту
посвящали всем жертвам,
всем погибшим от первой в мире
атомной бомбы.

Рядом с нами
женщина склонила голову.
Ребенок смотрит безмолвно.
Мужчина лицо прикрывает ладонью.
Тысячи по берегам реки
безмолвны, словно в ожиданье
какого-то откровенья,
какого-то слова от этой плывущей полосы света,
слова, услышанного
всем миром.

ТРУМЭН НЕЛСОН

Трумэн Нелсон (Truman Nelson) — публицист, автор исторических романов об аболиционистском движении и Джоне Брауне. В молодые годы работал электриком на заводе. Уроженец г.Ньюберипорт, штат Массачусетс. Исследователь аболиционизма, публиковал антологии произведений писателей-аболиционистов, статьи об их творчестве, об эпохе Гражданской войны в США. В 1983 г. издательство "Нортон" опубликовало роман Нелсона "Влюбленный господь" ("God In Love"). Публикуемый материал взят из журнала "Киндаро", 1982, № 12—13.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ОБЩИННОЙ ЦЕРКВИ БОСТОНА 16 НОЯБРЯ 1980

Мне не часто выпадают такие радостные и вдохновенные минуты, как сейчас, когда я сидел на этом помосте, захваченный торжественной мелодией гимна, а потом взошел на кафедру, собираясь с мыслями и с духом, прежде чем высказать свои обвинения. Они, если воспользоваться выражением Эмерсона, как хлебы, вынутые из печи моей жизни. Из печи, в которой полыхает пламя возмущения человеческой несправедливостью. Возмущения, согревающего меня по утрам...

Эта церковь — единственное место в мире, где мне доступна высокая радость проповедничества и пропаганды. Пожалуй, так случилось потому, что я никогда не верил в то, что бог — это почтенный седобородый старец, который восседает где-то там, в заоблачной выси, и указывает нам, смертным, как жить. И я, наверное, прав, потому что сам стал почтенным седобородым старцем, который сидит в далеком Ньюберипорте, в туманном сказочном краю — если таковой вообще существует на свете, — и никто не живет так, как я учу.

От стариков в нашей стране — будь то хоть сам господь бог — преспокойно избавляются, отправив на пенсию. Старики живут, страдая от высокого давления и благодаря судьбу за то, что на страховку и подавание можно в зимнюю стужу купить топлива и обогреться. Есть, правда, одно исключение... Если вы старик, но

без бороды и сохранили молодую статью и волосы на голове, а также если вы обладаете определенной способностью — пусть это всего-навсего способность к лицедейству — и умеете играть на подмостках, демонстрируя обветшалые добродетели, обычаи и утешения, то в таком случае вы можете попасть в президенты. Я же сегодня хочу продемонстрировать свою полнейшую неспособность делать то, чего ждут от меня важные шишки с большими деньгами. Я говорил и буду говорить: после недавних выборов стало совершенно ясно — у нас кого только не делают президентом!

Полагаю, что его преподобие Лотроп пригласил меня сюда в 1952 году потому, что я написал книгу "Прегрешение пророка". Ему было известно, что я считаю героя моей книги Теодора Паркера — выдающегося проповедника и аболициониста пятидесятих годов прошлого столетия — основателем этой самой церкви, да и сам Лотроп отчасти разделяет это мнение.

Замечу в скобках: было время, когда меня приглашали выступать в самых престижных местах... Правда, за последние двадцать восемь лет такого не случилось.

Так вот, для меня очевидно, что Паркер имел самое прямое отношение к Общинной церкви. Дело в том, что он читал свои проповеди в доме, который назывался тогда Музыкальным собранием. Это был не храм для избранных, не церковь с постоянными прихожанами, а просто помещение, куда мог заглянуть любой человек с улицы, любой путник. В Музыкальном собрании родился Бостонский симфонический оркестр. Потом построили Симфонический зал, который со временем стал Общинной церковью. Теперешний ее настоятель Дональд Лотроп напоминает мне Теодора Паркера. По своей отзывчивости, мужеству и — превыше всего — совестливости он достойный преемник великого проповедника.

О Паркере можно судить по делам его. Он превратил Музыкальное собрание в трибуну, и каждую неделю воскресным утром, когда по всей стране американцев пичкали избитыми, фальшивыми, усыпляющими словесами, которые только отвращают порядочных людей от церкви, он открыто говорил о преступлениях против народа, которые совершают политики и их приспешники, о гонениях, и болезнях, и безразличии. Говорил веско, со знанием дела, опираясь на здравый смысл, иной раз с горечью и гневом. Порой его проповеди звучали как публичное обвинение и всегда с убийственной точностью достигали цели.

Сегодня всем нам нужны такие голоса горечи и гнева. Нужны как хлеб и как воздух. Без них можно потерять веру в человека и доверие к самим себе в тех случаях, когда творящиеся вокруг безобразия будут вызывать у нас невольное отвращение.

Стоит хоть немного приглушить в себе голос протеста, начать утешаться мыслью, что личность бессильна, как мы навеки утратим ту священную ярость, тот дух сопротивления, который единственно и спасает нас от отчаяния, цинизма, злобы и даже от форменного помешательства и самоуничтожения.

Такое место, как эта Общинная церковь, может избавить нас от упреков в молчаливом согласии, в нашем молчаливом согласии с несправедливостью, каждодневно творящейся в распадающемся обществе. Пусть общество не способно решить здесь не только проблемы бедных, больных, престарелых или тех, кому приходится жить как в концентрационном лагере, который белые построили для людей с черной кожей, но даже тех, кто имеют постоянную работу и создают материальные ценности, а в конце недели вдруг видят: так много отнято торговцами, словно бы они и не трудились вовсе.

Не могу выразить словами, как я был счастлив, когда меня пригласили выступить здесь в 1952 году. То была пора двух войн: одну, холодную, мы вели дома против Советского Союза, другую горячую, — далеко, в Корее. Пора напоминаний о смертельных раскатах взрыва той бомбы, которая была сброшена на неких цветных людей и в считанные минуты, а может, и секунды... мы никогда не узнаем этого в точности... убила двести тысяч мужчин, женщин и детей. Все они были буквально сожжены огненным смерчем с температурой пятьдесят миллионов градусов — при такой температуре плавилась огромные сооружения из стали и бетона и обломки разлетались мельчайшими частицами. Это случилось в сорок пятом, но опасность, что это случится снова и погибнут не двести тысяч, а двести миллионов, — эта опасность была повседневной реальностью холодной войны.

Я был против, и потому меня лишили возможности выступать в общественных местах. Я вам вот что скажу... в нашей стране не обязательно преследуют тех, кто высказывается свободно, — чаще достается тем, кто их слушает. Как было со мной? Меня выгнали с завода, и я сидел, почти не вылезая, один у себя на кухне и писал, писал романы. Нет, я не чувствовал себя героем. Напротив, было до боли досадно и горько, что не можешь поднять голос в какой-нибудь стычке... Когда-то я умел это делать.

Героем того времени в моих глазах был человек, которого слышали и здесь, в Общинной церкви Бостона, — Уильям Э. Б. Дюбуа.

Чернокожий человек, известный всему миру, ученый-историк и поэт — человек, какому нет равных, Дюбуа внезапно подвергся таким злобным нападкам со стороны властей, конгресса, судов, прессы, государственного департамента и министерства юстиции, что это, казалось, граничит с безумием, если б не

одно обстоятельство... Оно побуждало к действию его противников, и они были по-своему правы: мудрость и провидческий дар Уильяма Дюбуа угрожали их существованию.

В феврале 1951 года федеральное большое жюри признало Дюбуа виновным. Он говорил: "Ни разу за всю мою долгую жизнь горести и несообразности мира не проявлялись так ясно, как теперь, когда, достойно и честно прожив восемьдесят три года, кое-что сделав и кое-что наметив на будущее, я вступаю в свой восемьдесят четвертый год с наручниками на запястьях".

Ему казалось, что судилище губит самую основу его деятельности, кладет позорное пятно на все его достижения, среди которых ни много ни мало — освободительное движение в Африке. Сначала они снимали у него отпечатки пальцев, обыскивали, надеясь найти припрятанное оружие, подвергали этого достойнейшего человека другим унижительным, варварским процедурам, которые вынуждены проходить люди, попавшие в руки нашей полиции, хотя закон гласит, что гражданин не виновен, пока в ходе судебного разбирательства не доказано обратное. Потом его потащили в суд с металлическими браслетами на руках и кинули в средневековую темницу вместе со всякими человеческими отбросами...

Наконец они согласились выпустить его под залог, и вот этот великий человек, гигант, благодаря которому поспели гроздя освобождения целого континента, был вынужден собирать пожертвования, чтобы обеспечить себе юридическую защиту. Он приехал сюда и нашел здесь братскую любовь и денежную поддержку... увы, деньги в тот момент были для него важнее.

За что? За что они издевались над ним?

Над этим человеком с черной кожей, самым великим американцем своего времени?

За то, что он распространял Стокгольмское воззвание. В нем говорилось, что отныне любое правительство, которое использует атомное оружие против какой бы то ни было страны, совершит преступление против человечества и будет считаться военным преступником. За это, и только за это, Дюбуа предъявили обвинения как агенту иностранной державы и приговорили к пятилетнему тюремному заключению и штрафу в десять тысяч долларов.

Таковы были пятидесятые годы... пора, когда самые лучшие люди страны приезжали сюда, чтобы выступить напоследок в Общинной церкви и пойти в тюрьму за свои убеждения.

Потом пришла добрая весть: кубинская революция. Меня пригласили на Кубу в 1963 году, а затем сюда, чтобы я рассказал о поездке. Для всех нас эта революция была откровением. Трудно поверить, что тогда поднялось! Газеты науськали толпу гусанос; пытаюсь заткнуть мне рот, они то и дело выкрикивали: "Убить его! Убить его!" Больше всех досталось, к сожалению, Дону Гордону: ему разбили лицо. Но он стоял как скала, сдержи-

вая у двери толпу хулиганов, а я тем временем выбрался из церкви целым и невредимым.

В шестидесятые годы колонны белых студентов и студенток отправились в глубинку, на Юг, чтобы рука об руку с обездоленными черными братьями выступить против расистов, которые отказывали им в праве называться людьми. Чего только не испытали эти юноши и девушки! Их травили собаками, били дубинками, обстреливали из водометов, убивали на темных, пустынных проселках. Но они шли спокойно, неся лозунги, не нарушающие ни одно из распоряжений местной полиции. Они не отвечали насилием на насилие.

Их избивали в тюрьмах Миссисипи, Алабамы, Джорджии — ни в чем не повинных белых и доведенных до отчаяния черных. Молодежь прибывала с Севера, чтобы подставить свои неокрепшие юные тела под злое клеймо расизма, скрывающееся под кожей любого американца. Они надеялись, что израненная человеческая плоть будет взывать об избавлении страны от этого чудовищного позора. Общинная церковь Бостона стала сборным пунктом сил антирасистского движения.

Расизм — проблема отнюдь не южная, это проблема общенациональная. В самой американской земле коренится изъяс, глубокий, ужасный изъяс... Как рана, которая никак не затянется. Стало быть, мы должны прислушиваться не только к тому, что творится на темных, пустынных проселках глубокого Юга, но и в наших залитых светом хрустальных городах-дворцах, сулящих такие удовольствия, богатство, роскошь, перед которыми меркнут сокровища царей. Города так выставляют себя напоказ и так пылко восторгаются собой, как будто в тени их светоносных чащоб нет ни Гарлема, ни Уоттса, ни Роксбери, а теперь и Майами. Но мы не прислушивались к предупреждениям, и черные бунтари Гарлема, Уоттса, Роксбери, Либерти-Сити в Майами разворотили целые кварталы. Однако мы и сейчас не хотим ничего слышать, а значит, нас снова ожидают такие же негритянские восстания, как в шестьдесят седьмом.

Да, то были бурные, трудные, яростные годы... И все-таки мы были правы и боролись за правое дело. И если бы ~~весь~~ американский народ собрался тогда в Общинной церкви, он уберегся бы от многих треволнений и горя и сэкономил бы больше денег, чем могут дать все мероприятия республиканской администрации по снижению налогов и все липовые обещания сбалансировать бюджет. Он избежал бы двух кровопролитных, бесплодных, проигранных войн и спас жизнь тысячам и тысячам наших юных сыновей.

Настали семидесятые годы; как только ни силились средства массовой информации убедить нас, что с гражданским подъ-

емом, маршами, волнениями — покончено! Однако конец семидесятых и начало восьмидесятых отмечены страстными, боевыми выступлениями защитников окружающей среды. Они кидались на колючую проволоку и прорывали заграждения в Сибруке, не испугавшись овчарок, дубинок, слезоточивого газа, которые использовала полиция, охраняющая котел, где готовится адское варево, грозящее медленной, мучительной смертью их собственным детям.

Лично для меня главный урок семидесятых заключается в том, что наша нация в целом научилась не доверять президентам больше чем на один срок. Мы научились пережевывать их и выплевывать каждые четыре года, а то и ранее. Линдон Джонсон не посмел выставить свою кандидатуру второй раз, потому что боялся разгневанных толп на улицах. Ричарда Никсона буквально вышвырнули из Белого дома, и можно только пожалеть, что к парадному входу не подкатила машина с вращающимся синим маячком и полицейские не свели по лестнице в наручниках этого жалкого, хнычущего негодяя, кривящего губы в подобострастной улыбочке, не кинули его на заднее сиденье и не отвезли в участок, чтобы составить протокол, обыскать, снять отпечатки пальцев, сфотографировать и бросить за решетку к обыкновенным уголовникам, а те отвернулись бы от него как от последнего подонка, позорящего человечество, — так же как это сделали все страны в отношении его друга, иранского шаха.

Преемник Никсона кое-как доиграл остаток срока, а его преемник, незабвенный Джимми Картер, тоже удержался в Белом доме лишь четыре года...

Не исключаю, что многие из тех, кто слушал мои выступления все эти годы, считают меня проповедником-пессимистом. Они ошибаются: я не так уж мрачно настроен. Напротив, я полон надежд, и мне хочется, чтобы сегодня мы говорили и думали о хорошем и радостном... Да, радостном.

Народ, а не апологеты системы, должен излечить страну. Мы сами найдем путь к своему оздоровлению. Мы — великая нация: в ней смешались народы и племена со всей земли. И если это грандиозное смешение потерпит неудачу — человечество обречено. Помните, в "Балладе для американцев", которую исполнял Поль Робсон, говорится о "прочих национальностях", которые должны пережениться, перемешаться, подружиться? Так вот, если эти "прочие национальности", то есть ирландцы, евреи, шотландцы, венгры, литовцы, индейцы, поляки, японцы, пуэрториканцы, мексиканцы, гаитяне и многие, еще многие, не покажут, на что они способны, мы потеряем нашу последнюю и лучшую надежду.

Известно, что есть два способа изменить устаревшую деспотическую систему: болезненный и безболезненный. Сегодня я хочу говорить о безболезненном способе добиться перемен,

потому что все мы объединены горячим желанием восславить жизнь, выжить и восторжествовать.

В начале восьмидесятых годов образовалась особая категория населения. Сорок восемь процентов зарегистрированных избирателей не приняли участия в голосовании на последних выборах. Они, так сказать, проголосовали ногами. Иначе говоря, пошли прочь от того места, где дурно пахнет. Они ясно и во всеуслышание заявили: мы не хотим того, что было, — того, о чем я говорил. Если добавить к ним семь процентов подавших голоса за кандидатов, которые с самого начала не могли рассчитывать на избрание, то получится, что пятьдесят пять процентов американских избирателей готовы заявить и республиканцам и демократам: мы не хотим и не потерпим того, что было!

Потому что они знают: кто бы ни был избран, ничего не переменится в том,

что богатый делает с бедняком;
что домовладелец делает с жильцом;
что торговец делает с покупателем;
что хозяин делает с рабочим;
что полицейский делает с подозреваемым;
что тюремщик делает с беззащитным узником;
что дельцы от медицины и доктора делают с больными, немощными, престарелыми, нищими...

И нас же после этого уверяют, что надо запастись терпением, иначе мы падем жертвой некой системы, которая замышляет отнять все наши свободы.

Что мы должны, следовательно, воодушевившись, использовать наше право на свободные выборы и каждые четыре года отмечать в избирательном бюллетене имена никому не известных людей либо чересчур известных как проходимцы и демагоги, изрекающие призывы и обещания, каким не верили уже во времена президента Маккинли, актеришки-позеры, у которых вся личность — лик или личина, субъекты, всю жизнь живущие за счет казны, или наемные убийцы, рьяные исполнители воли алчных дельцов, которые не смеют показаться на людях и процветают, загребая миллион за миллионом.

Мы знаем по собственному опыту и опыту наших отцов и дедов, что, несмотря на пламенные речи, несмотря на обещания поправить дела, они будут делать то же самое, что делали их предшественники и предшественники их предшественников, ссылаясь на те же якобы неотложные и насущные проблемы.

И как только кто-нибудь из нас поставит под сомнение политику предрержащих властей, чье жалованье и роскошество оплачиваются из нашего кармана, ему ответят,

что это делается для нашего же блага,
что они — слуги народа, самоотверженно несущие тяжкий
крест долга,
что мы обязаны облечь их полномочиями распоряжаться
нами, как хотят,
с помощью целой армии надсмотрщиков и шпионов,
прокуроров и палачей — начиная с президента и кончая
местным сборщиком налогов,
что мы должны быть счастливы отдать им львиную долю
плодов труда нашего,
чтобы они могли исполнить свой долг, управляя нами,
и нежиться в роскоши после дневных забот о том,
как лучше всего держать нас в узде.

Однако превыше всего из наших гражданских прав и свобод
мы должны чтить готовность поддержать огромные расходы на
вооружение, которые могут быть использованы против любого
народа на земле, даже если это миролюбивый и политически про-
свещенный народ или народ, который борется за то, чтобы по-
кончить с вековым угнетением и эксплуатацией. Нас приучают
видеть в нем смертельного врага, угрожающего самому дорого-
му и сокровенному — нашему дому и нашему семейному очагу.

Ибо после выборов мы должны быть готовы по первому
слову Белого дома и Пентагона морить этот народ голодом,
учинять над ним насилие, жечь и убивать и делать то же самое со
всеми, кто не согласен видеть в нем смертельного врага, как
того хотят Белый дом и Пентагон.

И мы должны делать все это, даже если считаем таких лю-
дей своими братьями и сестрами...

Вот почему все больше и больше американцев говорят на
выборах:

“Мы не хотим того, что было”.

И на следующих выборах несогласных будет пятьдесят пять
процентов, потом больше, и когда наконец они составят шесть-
десят шесть процентов, то есть когда две трети избирателей
скажут, что они не хотят того, что было...

Тогда мы пойдем на выборы, вооруженные новым опытом и
ясным пониманием цели.

Мы проголосуем против того, что было, и начнем строить
новое общество.

Не будем сейчас спорить, как назвать это новое общество,
если оно будет создаваться для того, чтобы положить конец экс-
плуатации человека человеком ради доллара, ради наживы, ради
прибыли... Будем помнить, что проповедовалось с кафедры Об-
щественной церкви Бостона на протяжении последних шестидесяти
лет.

Отринем усталость и боязнь и будем работать!
История на нашей стороне!

ФРЕД УАЙТХЕД

Фред Уайтхед (Fred Whitehead) — род. в 1944 г. в городке Пратт, штат Канзас, в семье рабочего. Работал сварщиком. Окончил Канзасский университет, позже на стипендию Фулбрайта учился в Лондонском, а затем, на стипендию Дэнфорта, в Колумбийском университете. Защитил диссертацию по творчеству Уильяма Блейка. Литературовед, поэт, журналист, общественный деятель, борец за мир. Уайтхед ведет активнейшую деятельность по пропаганде современной многонациональной демократической литературы США. Издавал альманах этой литературы — "Киндаро". По приглашению Советского комитета защиты мира в 1983 г. посетил СССР. Активно содействовал подбору произведений, а также справочного материала для этой книги. Стихи Уайтхеда публиковались в "Дейли уорлд", "Киндаро", "Уэст-энд мэгэзин". Публикуемые стихотворения, отражающие широту интересов их автора, неутомимость его поисков, неукротимую жизненную энергию и просто обаятельную, открытую человеческую личность, взяты из авторского поэтического сборника "Судьба, закованная в сталь" ("Steel Destiny"), 1979, и поэтической антологии "Мечты долгих дорог: пять поэтов из Канзаса и Миссури" ("Dream of the Highway. 5 Kansas and Missouri poets"), 1979. Стихотворение "Глаза "Большого Билла" Хейвуда" поступило в рукописи.

МОЛОТ

Он древнее бесплотной идеи Платона
из много тысячелетий, быть может, и я,
как сотни тысяч кузнецов до меня,
выковываю им фундамент сегодняшней жизни:
металлоконструкции, машины и механизмы,
орудия для бурения и обработки земли, —
все начинается с моей легкой руки,
приручившей тяжелый молот.

© 1979 by "West End Press"

© 1979 by Fred Whitehead

ДОРОГОЙ ПРОГРЕССА

На наших лицах — оспины сажи,
глаза выцвели от строительных взрывов,
чувства обезображены струпьями шрамов —
у нас не очень-то привлекательный вид,
и если нам нужно
выразиться изящно,
кажется, что мы проглотили язык.

Ну а видели вы медальные очертанья
наших сверкающих от испарины мышц,
когда нам нужно разгрузить грузовик?
Видели, как ясно озаряются лица,
когда, в разговоре о наших невзгодах,
я говорю им: — Наш день придет, —
и они широко улыбаются мне,
хотя не верят, что это случится?..

РОК-КУЛЬТУРА

Гиблое поколение идет мне на смену:
души удушены бездуховным цинизмом,
разум разъеден заревами рекламы,
кости обглоданы ядовитыми ливнями,
которые финансирует правительство — тайно.
С тревогой глядя в грядущие годы,
я вижу лишь порожденные умиранием корчи, —
так пусть вопиет мой безмолвный голос
о нашей неонно-пластиковой эпохе!

ПАСХА В КИНДАРО

К северу от гетто,
вдоль зловонной речонки,
грязный, ухабистый и петлястый проселок
всползает на холм к погосту для черных,
где вольно гуляет свободный ветер.

Пока мой двоюродный брат на холме
разглядывает убогие надгробия бедняков,
я лежу в молодой траве, позабыв
свою долю сварщика в заводской преисподней.

А за милю от нас, у местной больницы,
возле высокого и сухого пня,
стоит позабытая, с отбитым носом
статуя — словно бы охраняя Канзас.

Надпись на каменном постаменте гласит:
БЛАГОДАРНЫЙ НАРОД — ДЖОНУ БРАУНУ. Он
держит в руке пророческий свиток,
глядя через долину Миссури на Шенандоа.

Здесь, на погосте, они свободны —
их вольный дух, как грозный ковчег,
гремя камнями, сплавляется по реке
на погибель далеким тронам.

МОФФАТСКИЙ ТУННЕЛЬ

Моим детям

Ваш прадед воздвиг себе этот склеп,
укладывая шестимильный рельсовый путь,
когда взрывники пробили туннель:
он работал здесь, на чужой стороне,
в годы депрессии — для прокорма семьи.
Он свалился в буран под колеса товарняка,
лишился ноги и потерял жизнь,
изойдя кровью на свежем снегу.
Мне тогда было всего пять лет,
я знал, что он умер, но, попав с мамой в морг,
решил на мгновение, что он просто уснул, —
таким спокойным было его лицо.

Да, ребяташки,
ваш прадед здесь —
он сам воздвиг себе памятник-склеп
в горной гряде Великий водораздел.

ГЛАЗА ПОЭТА

В глазах у поэта — незримые зори,
в страстях — первозданность: воздух и океан,
в стихах — возрожденная история и любовь,
рыдания по умершим и плач по осиротевшим,
призыв штурмовать арсеналы, и банки,
и бастионы собственности — с оружием в руках.

Его слова — даже если он позабыт —
сверкают, начертанные кровавым огнем,
на обшарпанных стенах всех в мире трущоб.

ЧТОБ ВОССЛАВИЛИ И ХЛОПКОВЫЕ ПЛАНТАЦИИ

Когда вы сплотитесь на выжженных солнцем полях —
не ради лишь повышения платы, не только в черные времена?
Когда в вас увидят залог величия вашей страны?
Когда соберетесь избавить от голода землю?
Когда, независимые люди, вы созреете для свободы?

Я знаю, фермерские жены добры сердцем и деятельны,
по осени ваши ярмарки — явленный рог изобилия.
Пусть у детей, умирающих с голоду, будет еда!
Отчего б нам не собраться за общим столом
и не подумать, как накормить их?

Тогда наши осенние праздники стали б для каждого радостью,
как если бы рай легендарный вновь предстал нам во образе
мирной земли.

ГЛАЗА "БОЛЬШОГО БИЛЛА" ХЕЙВУДА

Он прав был, всегда поворачиваясь к объективу уцелевшим глазом:
один ему выклевал капитализм, но другой остался,
и он видел все: и ожесточенность невидимых сражений,
и рукопашные с войсками, со штрейкбрехерами в далеких западных
горах,

видел море лиц в Чикаго в тот революционный 1905 год,
распивая с Дебсом виски в номере денверского отеля;
открывая съезд ИРМ, грохнув мощным кулаком, чтоб зал затих,
заявляя: "Это всеамериканский конгресс рабочего класса",
сокрушая обвинение на сфабрикованных процессах,
чреватых смертной казнью,
видел, как с песней погибает его детище, как возрождается вновь.

Без сомненья, он знал, что мы еще скажем о его глазах —
они как глаза всех революционеров упрямо встречали
ярость властителей
о его уме, жившем мыслью о борцах по всей стране,
кто шел впереди, не страшась ни удара из-за угла, ни застенка,
спянные с теми, кто ведет поезда, спускается в шахту, стоит
у станка.

И мы, компаньерос, как он, должны беречь свою зоркость
и другим подставлять плечо,
отдавать себя сестрам и братьям, как они без конца отдают себя нам,
помнить свято, что прах его захоронен в кремлевской стене,
и громовую клятву народа: "Кто был ничем, тот станет всем!"

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЯХ

Тридцать лет
шли один за одним тысяча сеятелей
бросая зерна-слова в пашню разума твоего.

Теперь в день по десять часов погруженный
в нереальную тьму сварочной маски,
ты смотришь как огненным жалом электрод
очерчивает круг штурвала комбайна
и гадаешь: не упало ли семя
на бесплодную почву не забил ли его сорняк
и придет ли когда-нибудь час твоей жатвы?

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ "ИСТОРИЯ ПОДСОЛНУХА"

На летний закат, пересекая реки пылицы
золотарника, маиса и подсолнухов с обступивших дорогу полей,
я иду в поисках пращуров, с которых я начался в сердце равнин,
это словно они с горящей на западе гряды облаков
улыбаются мне, прошедшему жизненный путь наполовину.

Среди этих небесных башен и шпилей пылающей памяти,
на этой земле, в которой они обрели покой,
я воистину — потомок урожаев, что они собирали,
снопов душистой пшеницы, ячменя, кукурузы и озимой ржи...

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Г. Злобин. Другая Америка обретает голос</i>	3
---	---

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

М. ЛЕСЮР

<i>Древний и новый народ. Эссе. Перевод И. Меламеда</i>	21
<i>Doãn Két. Стихи. Перевод Д. Веденяпина</i>	49

Н. СКОТТ МОМАДЕЙ

<i>Песня радости Тсоай-Тали. Стихи. Перевод Г. Русакова</i>	53
---	----

Н. РАССЕЛЛ

<i>Можжевельник. Стихи. Перевод Г. Русакова</i>	55
---	----

Р. ХИЛЛ

<i>Падающая луна. Стихи. Перевод Г. Русакова</i>	56
--	----

Л. ХЕНСОН

<i>Мы — народ. Стихи. Перевод Г. Русакова</i>	58
---	----

Б. СТЕЙВИС

<i>Саднящая рана победы. Сцены из пьесы. Перевод Г. Злобина</i>	59
---	----

Р. ХЕЙДЕН

<i>Невольничий путь. Поэма. Перевод А. Ибрагимова</i>	72
---	----

Т. МАКГРАТ

<i>Интервью. Перевод Оксаны Кириченко</i>	78
<i>Песенка о милосердии. Стихи. Перевод Б. Хлебникова</i>	88
<i>Воспоминание об острове. Стихи. Перевод Б. Хлебникова</i>	89
<i>Ода американцу, погибшему в Азии. Стихи. Перевод Г. Русакова</i>	89
<i>Возвращение домой. Стихи. Перевод Д. Веденяпина</i>	91
<i>Случай из жизни пророка. Стихи. Перевод Д. Веденяпина</i>	91
<i>* Песня рассвета. Стихи. Перевод Д. Веденяпина</i>	92
<i>Замечание по поводу последних выборов. Стихи. Перевод Д. Веденяпина</i>	93
<i>Прощальный блюз. Стихи. Перевод Д. Веденяпина</i>	94

ДЖ. КОНРОЙ

Когда рабочий становится писателем. Из выступления на Первом конгрессе Лиги американских писателей. <i>Перевод</i> <i>Оксаны Кириченко</i>	95
--	----

Д. УЭСТ

Интервью. <i>Перевод А. Малышева</i>	98
История Аппалачей. Статья. <i>Перевод А. Малышева</i>	101
Люди гор в борьбе за свободу. Выдержки из интервью. <i>Пере-</i> <i>вод А. Малышева</i>	106

Стихи

Американский фольклор. <i>Перевод О. Волгиной</i>	113
Едины с этой землей. <i>Перевод О. Волгиной</i>	113
Человек-поэт. <i>Перевод О. Волгиной</i>	114
Наследие гор. <i>Перевод О. Волгиной</i>	116
Ким Малки, человек гор. <i>Перевод О. Волгиной</i>	116
Мои стихи. <i>Перевод О. Волгиной</i>	117
Кое-что об Америке. <i>Перевод О. Волгиной</i>	118
Песня. <i>Перевод Б. Хлебникова</i>	122

М. ЛЕСЮР

"...Наших книг ждет множество читателей". Обращение к Конгрессу американских писателей. <i>Перевод Оксаны Кири-</i> <i>ченко</i>	123
--	-----

ЗА СВОИ ПРАВА

ДЖ. СЕЙЛС

Макнатт-старший. Фрагменты из романа "Профсоюзные взно-	
сы". <i>Перевод М. Загота</i>	131

ФЭЙ ЧАНГ

Стихи

Перевод М. Пастер

Нью-Йорк	200
Десять центов	202
Ли	203
Из цикла "Образы": Выбор	204
Горькая сила	205
Первый шаг культуры — гнев	207
Уцелевший	207

Э. НУРМИ

Стихи

Воспоминание о Морелии. <i>Перевод О. Чухонцева</i>	209
Чужие ландшафты. <i>Перевод О. Чухонцева</i>	211
Из стихов о странствиях. <i>Перевод О. Чухонцева</i>	212
Менестрель. <i>Перевод О. Чухонцева</i>	212
О Боже подари мне "мерседес". <i>Перевод О. Чухонцева</i>	213
Время. <i>Перевод О. Чухонцева</i>	213
Финская народная песня. <i>Перевод Оксаны Кириченко</i>	213
Ночные мысли. <i>Перевод О. Чухонцева</i>	214
Джазмен. <i>Перевод О. Чухонцева</i>	214
"Глубок океан и безбрежен мир..." <i>Перевод О. Чухонцева</i> . .	215
Исторический обзор. <i>Перевод О. Чухонцева</i>	215
"Смысл ясен..." <i>Перевод О. Чухонцева</i>	215
Тем, кто не слышит нас. <i>Перевод О. Чухонцева</i>	216

М. ХЭНСОН

Найди свое! Повесть. <i>Перевод Оксаны Кириченко</i>	217
--	-----

ДЖ. КРОУФОРД

Послесловие к повести М. Хэнсона "Найди свое!" <i>Перевод М. Марковой</i>	293
---	-----

ПРЕРИЯ

Стихи

Прекрасна магия рабочих рук. <i>Перевод М. Березкиной</i>	296
Рабочая демонстрация. <i>Перевод М. Березкиной</i>	298

ДЖ. АЛАН МАКФЕРСОН

Суть дела. Рассказ. <i>Перевод Н. Высоцкой</i>	300
--	-----

ДЖ. ДЖОРДАН

Песнь о Соджорнер Трут. Стихи. <i>Перевод А. Ибрагимова</i> . . .	319
---	-----

У. РИНТУЛ

Субботняя ночь Солдата. Рассказ. <i>Перевод З. Гамзатовой</i> . . .	321
Нефтяной богатырь. Рассказ. <i>Перевод З. Гамзатовой</i>	328

М. МАКЭННЕЛЛИ

Стихи

Пересмешник. <i>Перевод А. Кистяковского</i>	337
День самоубийства китов. <i>Перевод А. Кистяковского</i>	338

А. МУРО

Мария Тепаче. Рассказ. <i>Перевод В. Сергеева</i>	339
---	-----

Э. УОКЕР

Стихи

Перевод А. Кистяковского

Признание	343
---------------------	-----

В последний раз	343
Памяти Малкольма	344
В ответ на твой наивный вопрос	344
Нагие марши	345
Разговор с моей бабушкой	345
10.1.73.	346
Прощение	346
Что ж, прощай Уилли Ли	347

Р. РЭНСОН

Преступница Энни Браун. Драматический монолог. <i>Перевод</i> <i>Р. Козаковой</i>	348
Интервью. <i>Перевод Р. Козаковой</i>	358

П. ОРСИК

Стихи

Перевод В. Минушина

История стекла	362
Отец	363
Мельница	364
Вдовы Питтсбургского сталелитейного	364
Элмер Руис	365

М. ДЭВИДОУ

В пути. Из американского дневника. <i>Перевод В. Ворони-</i> <i>на</i>	366
---	-----

Л. НЕЛСОН

Стихи

Перевод М. Березкиной

Монолог безработного, мучимого бессонницей	391
Вместе во имя каждого	392
Угроза миру исчезнет	393

ПРЕРИЯ

Болью, криком души поднять на борьбу весь народ. Статья. <i>Перевод Л. Селецкой</i>	395
--	-----

Л. ВАЛЬДЕС

"Актос". <i>Перевод А. Ващенко</i>	398
Распродажа. Пьеса. <i>Перевод А. Ващенко</i>	400

О. КЭБРЕЛ

Стихи

Перевод В. Куприянова

Крик	412
Черные белые серые и красные гвоздики	413

Последний поезд в Пикскилл	415
Ксенонодышащие	416

Л. М. СИЛКО

Стихи

Молитва Тихому океану. Перевод Г. Русакова	420
Индийская песня: умение выжить. Перевод Г. Русакова	422
Сказители. Рассказ. Перевод Е. Гасско	423

ДЖ. ДАРЕМ

Фрагменты из книги "День Колумба". Перевод Н. Сидориной	437
---	-----

Д. ЛЕВЕРТОВ

Стихи

Не иметь... Перевод М. Кореневой	461
Плащ. Перевод М. Кореневой	462
Сердце. Перевод А. Кистяковского	462
Прах земной. Перевод А. Кистяковского	463
Песня без конца. Перевод А. Кистяковского	463
Поворот. Перевод А. Кистяковского	464
Вопрос. Перевод А. Кистяковского	464
Сегодня. Перевод А. Кистяковского	465
Революционные просторы. Перевод А. Кистяковского	465
День, когда паства покинула из-за меня свой храм, и почему это случилось. Перевод А. Кистяковского	466
Антонио Мачадо. Перевод А. Кистяковского	467
Одиночество путника. Перевод А. Кистяковского	468
Вечер Общества любителей поэзии в клубе "Красная книга". Перевод А. Кистяковского	468
Летом. Перевод М. Кореневой	469
Познавая незнаемое. Перевод А. Кистяковского	469
Поступь страха. Перевод А. Кистяковского	470
Убежище доброты. Перевод А. Кистяковского	470
Обыденность. Перевод А. Кистяковского	471
Канциона. Перевод А. Кистяковского	472
Молитва о революционной любви. Перевод А. Кистяков- ского	472
Издавека, II. Первый стих станет последним. Перевод М. Ко- реневой	473
На тридцать вторую годовщину бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Перевод А. Ибрагимова	474
Чили, 1977. Перевод А. Ибрагимова	476
Далеким окольным путем. Перевод А. Ибрагимова	477

МЕЧТА О БУДУЩЕМ

У. РОДЖЕРС

Мост между поколениями. Речь на митинге студентов в защиту мира в Шривпорте. *Перевод Л. Селецкой* 483

Э. САДОВСКИ

Стихи

Перевод Оксаны Кириченко

И вновь призыв к войне... 488
Алмазной россыпью во тьме 489

У. ЛОУЭНФЕЛС

*Революция — это гуманность. Отрывки из книги. *Перевод В. Рогова* 491

Д. РЭНДЕЛЛ

Стихи

Перевод Д. Веденяпина

Мой Юг 495
Розы и революции 496

ДЖ. НОРТ

*Мое кредо. Статья 497

Р. КЛОУК

Меньшинства. Стихи. *Перевод Оксаны Кириченко* 504

С. ФИНКЕЛЬСТАЙН

*Чего общество ждет от своих писателей? Статья. *Перевод И. Гуровой* 505

Д. ГОРДОН

Стихи

Перевод О. Чухонцева

Археолог 511
Предки 512
Бегство 512
Вол 513
Двухсотлетие 514
Седьмое чувство 514
Детство 515
2000 516
Без корней 516
Свободное падение 517
Руины 518

Ф. БОНОСКИ

- * Дети Америки. Несколько штрихов к портрету общества.
Статья (с сокращениями). *Перевод П. Гурова* 519

С. ОРТИС

Стихи

Перевод Св. Котенко

То место индейцам не даст покою	531
"То чувство, что я не я..."	534
Мы много чего слышали, но знаем, где истина	535
"Есть песни..."	536
"Наутро я встал..."	536
"Наше семейство возило..."	537
"Мне встретился Эммет..."	537
Опять	538
Моление средь Америки	539
Возвращая назад, ты двинешься дальше	540

М. БРЭНД

- Марш Мира из Нагасаки в Хиросиму. Фрагменты из поэмы.
Перевод В. Куприянова 542

Т. НЕЛСОН

- Выступление в Общинной церкви Бостона 16 ноября 1980.
Статья. *Перевод Г. Злобина* 556

Ф. УАЙТХЕД

Стихи

Молот. <i>Перевод А. Кистяковского</i>	564
Дорогой прогресса. <i>Перевод А. Кистяковского</i>	565
Рок-культура. <i>Перевод А. Кистяковского</i>	565
Пасха в Киндаро. <i>Перевод А. Кистяковского</i>	565
Моффатский туннель. <i>Перевод А. Кистяковского</i>	566
Глаза поэта. <i>Перевод А. Кистяковского</i>	566
Чтоб восславили и хлопковые плантации. <i>Перевод В. Минушина</i>	567
Глаза "Большого Билла" Хейвуда. <i>Перевод В. Минушина</i>	567
Притча о сеятелях. <i>Перевод В. Минушина</i>	568
Вступление к поэме "История подсолнуха". <i>Перевод В. Минушина</i>	568

Справки об авторах О. Кириченко

ВЕРЮ В ЧЕЛОВЕКА
Голоса демократической Америки
Антология

Составитель Оксана Михайловна Кириченко
ИБ № 2047

Редакторы *И. Архангельская, С. Белокриницкая,
И. Заславская, А. Корх*

Художник *А. Платонов*

Художественный редактор *М. Трубецкой*

Технический редактор *В. Гунина*

Корректоры *В. Лебедева, Н. Лукахина, В. Пестова*

Сдано в набор 23. 09. 85. Подписано в печать 16.04. 86. Формат 84х108/32.
Бумага офсетная. Гарнитура Универс. Печать офсетная. Условн. печ. л. 30,24.
Усл. кр.-отт. 60,48. Уч.-изд. л. 35,84. Тираж 50000 экз. Заказ № 515.
Цена Зр. 70к. Изд. № 1862.

Издательство "Радуга" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано с оригинал-макета способом фотоофсет на Можайском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Можайск, 143200, ул. Мира, 93.



БЕПЛОДЪ И ЧЕМОБЕЛКА

